

Пришвин М.М.

Зеленый шум (сборник)

Зеленый шум (сборник)

Пришвин М.М.

Родная земля

Кладовая солнца

Сказка-быль

I

В одном селе, возле Блудова болота, в районе города Переславль-Залесского, осиротели двое детей. Их мать умерла от болезни, отец погиб на Отечественной войне.

Мы жили в этом селе всего только через один дом от детей. И, конечно, мы тоже вместе с другими соседями старались помочь им, чем только могли. Они были очень милые. Настя была, как золотая Курочка на высоких ножках. Волосы у нее, ни темные, ни светлые, отливали золотом, веснушки по всему лицу были крупные, как золотые монетки, и частые, и тесно им было, и лезли они во все стороны. Только носик один был чистенький и глядел вверх.

Митраша был моложе сестры на два года. Ему было всего только десять лет с хвостиком. Он был коротенький, но очень плотный, лобастый, затылок широкий. Это был мальчик упрямый и сильный.

"Мужичок в мешочке", улыбаясь, называли его между собой учителя в школе.

"Мужичок в мешочке", как и Настя, был весь в золотых веснушках, а носик его, чистенький тоже, как у сестры, глядел вверх.

После родителей всё их крестьянское хозяйство досталось детям: изба пятистенная, корова Зорька, телушка Дочка, коза Дереза. Безыменные овцы, куры, золотой петух Петя и поросенок Хрен.

Вместе с этим богатством досталось, однако, детишкам бедным и большая забота о всех живых существах. Но с такой ли бедой справлялись наши дети в тяжкие годы Отечественной войны! Вначале, как мы уже говорили, к детям приходили помогать их дальние родственники и все мы, соседи. Но очень что-то скоро умненькие и дружные ребята сами всему научились и стали жить хорошо.

И какие это были умные детишки! Если только возможно было, они присоединялись к общественной работе. Их носики можно было видеть на колхозных полях, на лугах, на скотном дворе, на собраниях, в противотанковых рвах: носики такие зазорные.

В этом селе мы, хотя и приезжие люди, знали хорошо жизнь каждого дома. И теперь можем сказать: не было ни одного дома, где бы жили и работали так дружно, как жили наши любимцы.

Точно так же, как и покойная мать, Настя вставала далеко до солнца, в предрассветный час, по трубе пастуха. С хворостиной в руке выгоняла она свое любимое стадо и катилась обратно в избу. Не ложась уже больше спать, она растопляла печь, чистила картошку, заправляла обед, и

так хлопотала по хозяйству до ночи.

Митраша выучился у отца делать деревянную посуду: бочонки, шайки, лохани. У него есть фуганок, ладило^[1] длиной больше чем в два его роста. И этим ладилом он подгоняет дощечки одну к одной, складывает и обдерживает железными или деревянными обручами.

При корове двум детям не было такой уж нужды, чтобы продавать на рынке деревянную посуду, но добрые люди просят, кому шайку на умывальник, кому нужен под капли бочонок, кому кадушечка солить огурцы или грибы, или даже простую посудинку с зубчиками — домашний цветок посадить.

Сделает, и потом ему тоже оплатят добром. Но, кроме бондарства, на нем лежит и все мужское хозяйство и общественное дело. Он бывает на всех собраниях, старается понять общественные заботы и, наверно, что-то смекает.

Очень хорошо, что Настя постарше брата на два года, а то бы он непременно зазнался и в дружбе у них не было бы, как теперь, прекрасного равенства. Бывает, и теперь Митраша вспомнит, как отец наставлял его мать, и вздумает, подражая отцу, тоже учить свою сестру Настю. Но сестренка мало слушается, стоит и улыбается... Тогда "Мужичок в мешочке" начинает злиться и хорохориться и всегда говорит, задрав нос:

— Вот еще!

— Да чего ты хорохоришься? — возражает сестра.

— Вот еще! — сердится брат. — Ты, Настя, сама хорохоришься.

— Нет, это ты!

— Вот еще!

Так, помучив строптивого брата, Настя оглаживает его по затылку. И как только маленькая ручка сестры коснется широкого затылка брата, отцовский задор покидает хозяина.

— Давай-ка вместе полоть, — скажет сестра.

И брат тоже начинает полоть огурцы, или свеклу мотыжить, или картошку окучивать.

II

Кислая и очень полезная для здоровья ягода клюква растет в болотах летом, а собирают ее поздней осенью. Но не все знают, что самая-самая хорошая клюква, сладкая, как у нас говорят, бывает, когда она перележит зиму под снегом.

Этой весной снег в густых ельниках еще держался и в конце апреля, но в болотах всегда бывает много теплее: там в это время снега уже не было вовсе. Узнав об этом от людей, Митраша и Настя стали собираться за клюквой. Еще до свету Настя задала корм всем своим животным. Митраша взял отцовское двуствольное ружье «Тулку», манки на рябчиков и не забыл тоже и компас. Никогда, бывало, отец его, направляясь в лес, не забудет этого компаса. Не раз Митраша спрашивал отца:

— Всю жизнь ты ходишь по лесу, и тебе лес известен весь, как ладонь. Зачем же тебе еще нужна эта стрелка?

— Видишь, Дмитрий Павлович, — отвечал отец, — в лесу эта стрелка тебе добрей матери: бывает, небо закроется тучами, и по солнцу в лесу ты определиться не можешь, пойдешь наугад, ошибешься, заблудишься, заголодаешь. Вот тогда взгляни только на стрелку — и она укажет тебе, где твой дом. Пойдешь прямо по стрелке домой, и тебя там покормят. Стрелка эта тебе верней друга: бывает, друг твой изменит тебе, а стрелка неизменно всегда, как ее ни верти, все на север глядит.

Осмотрев чудесную вещь, Митраша запер компас, чтобы стрелка в пути зря не дрожала. Он хорошо, по-отцовски, обернул вокруг ног портянки, вправил в сапоги, картузик надел такой старый, что козырек его разделился надвое: верхняя корочка задралась выше солнца, а нижняя спускалась почти до самого носика. Оделся же Митраша в отцовскую старую куртку, вернее же в воротник, соединяющий полосы когда-то хорошей домотканной материи. На животике своем мальчик связал эти полосы кушаком, и отцовская куртка села на нем, как пальто, до самой земли. Еще сын охотника заткнул за пояс топор, сумку с компасом повесил на правое плечо, двустольную «Тулку» — на левое и так сделался ужасно страшным для всех птиц и зверей.

Настя, начиная собираться, повесила себе через плечо на полотенце большую корзину.

— Зачем тебе полотенце? — спросил Митраша.

— А как же? — ответила Настя. — Ты разве не помнишь, как мама за грибами ходила?

— За грибами! Много ты понимаешь: грибов бывает много, так плечо режет.

— А клюквы, может быть, у нас еще больше будет.

И только хотел сказать Митраша свое "вот еще!", вспомнилось ему, как отец о клюкве сказал, еще когда собирали его на войну.

— Ты это помнишь, — сказал Митраша сестре, — как отец нам говорил о клюкве, что есть палестинка[2] в лесу.

— Помню, — ответила Настя, — о клюкве говорил, что знает местечко и клюква там осыпучая, но что он о какой-то палестинке говорил, я не знаю. Еще помню, говорил про страшное место Слепую елань[3].

— Вот там, возле елани, и есть палестинка, — сказал Митраша. — Отец говорил: идите на Высокую гриву и после того держите на север и, когда перевалите через Звонкую борину, держите все прямо на север и увидите — там придет вам палестинка, вся красная, как кровь, от одной только клюквы. На этой палестинке еще никто не бывал.

Митраша говорил это уже в дверях. Настя во время рассказа вспомнила: у нее от вчерашнего дня остался целый, нетронутый чугунок вареной картошки. Забыв о палестинке, она тихонечко шмыгнула к загнетке и опрокинула в корзинку весь чугунок.

"Может быть, еще и заблудимся, — подумала она. — Хлеба у нас взято довольно, есть бутылка молока, и картошка, может быть, тоже пригодится".

А брат в это время, думая, что сестра все стоит за его спиной, рассказывал ей о чудесной палестинке и что, правда, на пути к ней Слепая елань, где много погибло и людей, и коров, и коней.

— Ну, так что это за палестинка? — спросила Настя.

— Так ты ничего не слыхала?! — схватился он.

И терпеливо повторил ей уже на ходу все, что слышал от отца о не известной никому палестинке, где растет сладкая клюква.

III

Блудово болото, где и мы сами не раз тоже блуждали, начиналось, как почти всегда начинается большое болото, непроходимую зарослью ивы, ольхи и других кустарников. Первый человек прошел эту приболотицу с топором в руке и вырубил проход для других людей. Под ногами человеческими после осели кочки, и тропа стала канавкой, по которой струилась вода. Дети без особого труда перешли эту приболотицу в предрассветной темноте. И когда кустарники перестали заслонять вид впереди, при первом утреннем свете им открылось болото, как море. А впрочем, оно же и было, это Блудово болото, дном древнего моря. И как там, в настоящем море, бывают острова, как в пустынях оазисы, так и в болотах бывают холмы. У нас в Блудовом болоте эти холмы песчаные, покрытые высоким бором, называются борами. Пройдя немного болотом, дети поднялись на первую борину, известную под названием Высокая грива. Отсюда с высокой пролысинки в серой дымке первого рассвета чуть виднелась борина Звонкая.

Еще, не доходя до Звонкой борины, почти возле самой тропы, стали показываться отдельные кроваво-красные ягоды. Охотники за клюквой поначалу клали эти ягоды в рот. Кто не пробовал в жизни своей осеннюю клюкву и сразу бы хватил весенней, у него бы дух захватило от кислоты. Но брат и сестра знали хорошо, что такое осенняя клюква, и оттого, когда теперь ели весеннюю, то повторяли:

— Какая сладкая!

Борина Звонкая охотно открыла детям свою широкую просеку, покрытую и теперь, в апреле, темно-зеленой брусничной травой. Среди этой зелени прошлого года кое-где виднелись новые цветочки белого подснежника и лиловые, мелкие и ароматные цветочки волчьего лыка.

— Они хорошо пахнут, попробуй сорви цветочек волчьего лыка, — сказал Митраша.

Настя попробовала надломить прутик стебелька и никак не могла.

— А почему это лыко называется волчьим? — спросила она.

— Отец говорил, — ответил брат, — волки из него себе корзинки плетут.

И засмеялся.

— А разве тут есть еще волки?

— Ну, как же! Отец говорил, тут есть страшный волк Серый помещик.

— Помню, тот самый, что порезал перед войной наше стадо.

— Отец говорил, он живет на Сухой речке в завалах.

— Нас с тобой он не тронет?

— Пусть попробует, — ответил охотник с двойным козырьком.

Пока дети так говорили и утро подвигалось все больше к рассвету, борина Звонкая наполнилась птичьими песнями, воем, стоном и криком зверьков. Не все они были тут, на борине, но с болота, сырого, глухого, все звуки собирались сюда. Борина с лесом, сосновым и звонким на суходоле, отзывалась всему.

Но бедные птички и зверушки, как мучились все они, стараясь выговорить какое-то общее всем, единое прекрасное слово! И даже дети, такие простые, как Настя и Митраша, понимали их усилие. Им всем хотелось сказать одно только какое-то слово прекрасное.

Видно, как птица поет на сучке, и каждое перышко дрожит у нее от усилия. Но все-таки слова, как мы, они сказать не могут, и им приходится выпевать, выкрикивать, выстукивать.

— Тэк-тэк! — чуть слышно постукивает огромная птица Глухарь в темном лесу.

— Шварк-шварк! — дикий Селезень в воздухе пролетел над речкой.

— Кряк-кряк! — дикая утка Кряква на озере.

— Гу-гу-гу! — красивая птичка Снегирь на березе.

Бекас, небольшая серая птичка с носом, длинным, как сплюснутая шпилька, раскатывается в воздухе диким барашком. Вроде как бы "жив, жив!" кричит кулик Кроншнеп. Тетерев там где-то бормочет и чуфыкает Белая Куропатка, как будто ведьма, хохочет.

Мы, охотники, давно, с детства своего, и различаем, и радуемся, и хорошо понимаем, над каким словом все они трудятся и не могут сказать. Вот почему мы, когда придем в лес ранней весной на рассвете и услышим, так и скажем им, как людям, это слово.

— Здравствуйте!

И как будто они тогда тоже обрадуются, как будто они тогда тоже подхватят чудесное слово, слетевшее с языка человеческого.

И закрякают в ответ, и зачуфыкают, и зашваркают, и затэтэкают, стараясь всеми голосами своими ответить нам:

— Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!

Но вот среди всех этих звуков вырвался один — ни на что не похожий.

— Ты слышишь? — спросил Митраша.

— Как же не слышать! — ответила Настя. — Давно слышу, и как-то страшно.

— Ничего нет страшного. Мне отец говорил и показывал: это так весной заяц кричит.

— А зачем?

— Отец говорил: он кричит "Здравствуй, зайчиха!"

— А это что ухаает?

— Отец говорил это ухаает выпь, бык водяной.

— И чего он ухаает?

— Отец говорил у него есть тоже своя подруга, и он ей по-своему тоже так говорит, как и все: "Здравствуй, выпиха".

И вдруг стало свежо и бодро, как будто вся земля сразу умылась, и небо засветилось, и все деревья запахли корой своей и почками. Вот тогда как будто над всеми звуками вырвался, вылетел и все покрыл особый, торжествующий крик, похожий, как если бы все люди радостно в стройном согласии могли закричать.

— Победа, победа!

— Что это? — спросила обрадованная Настя.

— Отец говорил это так журавли солнце встречают. Это значит, что скоро солнце взойдет.

Но солнце еще не взошло, когда охотники за сладкой клюквой спустились в большое болото. Тут еще совсем и не начиналось торжество встречи солнца. Над маленькими корявыми елочками и березками серой мглой висело ночное одеяло и глушило все чудесные звуки Звонкой борины. Только слышался тут тягостный, щемящий и нерадостный вой.

— Что это, Митраша, — спросила Настенька, ежась, — так страшно воет вдали?

— Отец говорил, — ответил Митраша, — это воют на Сухой речке волки, и, наверно, сейчас это воет волк Серый помещик. Отец говорил, что все волки на Сухой речке убиты, но Серого убить невозможно.

— Так отчего же он страшно воет теперь?

— Отец говорил волки воют весной оттого, что им есть теперь нечего. А Серый еще остался один, вот и воет.

Болотная сырость, казалось, проникала сквозь тело к костям и студила их. И так не хотелось еще ниже спускаться в сырое, топкое болото.

— Мы куда же пойдем? — спросила Настя.

Митраша вынул компас, установил север и, указывая на более слабую тропу, идущую на север, сказал:

— Мы пойдем на север по этой тропе.

— Нет, — ответила Настя, — мы пойдем вот по этой большой тропе, куда все люди идут. Отец нам рассказывал, помнишь, какое это страшное место Слепая елань, сколько погибло в нем людей и скота. Нет, нет, Митрашенька, не пойдем туда. Все идут в эту сторону, значит там и клюква растет.

— Много ты понимаешь! — оборвал ее охотник — Мы пойдем на север, как отец говорил, там есть палестинка, где еще никто не бывал.

Настя, заметив, что брат начинает сердиться, вдруг улыбнулась и погладила его по затылку. Митраша сразу успокоился, и друзья пошли по тропе, указанной стрелкой, теперь уже не

рядом, как раньше, а друг за другом, гуськом.

IV

Лет двести тому назад ветер-сеятель принес два семечка в Блудово болото: семя сосны и семя ели. Оба семечка легли в одну ямку возле большого плоского камня. С тех пор уже лет, может быть, двести эти ель и сосна вместе растут. Их корни с малолетства сплелись, их стволы тянулись вверх рядом к свету, стараясь обогнать друг друга. Деревья разных пород боролись между собой корнями за питание, сучьями — за воздух и свет. Поднимаясь все выше, толстая стволами, они впивались сухими сучьями в живые стволы и местами насквозь прокололи друг друга. Злой ветер устроив деревьям такую несчастную жизнь, прилетал сюда иногда покачать их. И тогда деревья так стонали и выли на все Блудово болото, как живые существа, что лисичка, свернувшаяся на моховой кочке в клубочек, поднимала вверх свою острую мордочку. До того близок был живым существам этот стон и вой сосны и ели, что одичавшая собака в Блудовом болоте, услышав его, выла от тоски по человеку, а волк выл от неизбывной злобы к нему.

Сюда, к Лежащему камню, пришли дети в то самое время, когда первые лучи солнца, пролетев над низенькими корявыми болотными елочками и березками, осветили Звонкую борину и могучие стволы соснового бора стали, как зажженные свечи великого храма природы. Оттуда сюда, к этому плоскому камню, где сели отдохнуть дети, слабо долетело пение птиц, посвященное восходу великого солнца.

Было совсем тихо в природе, и дети, озябшие, до того были тихи, что тетерев Косач не обратил на них никакого внимания. Он сел на самом верху, где сук сосны и сук ели сложились, как мостик между двумя деревьями. Устроившись на этом мостике, для него довольно широком, ближе к ели, Косач как будто стал расцветать в лучах восходящего солнца. На голове его гребешок загорелся огненным цветком. Синяя в глубине черного грудь его стала переливать из синего на зеленое. И особенно красив стал его радужный, раскинутый лирой хвост.

Завидев солнце над болотными жалкими елочками, он вдруг подпрыгнул на своем высоком мостике, показал свое белое, чистейшее белье подхвостья, подкрылья и крикнул:

— Чуф, ши!

По-тетеревиному «чуф», скорее всего, значило солнце, а «ши», вероятно, было у них наше «здравствуй».

В ответ на это первое чуфыканье Косача-токовика далеко по всему болоту раздалось такое же чуфыканье с хлопаньем крыльев, и вскоре со всех сторон сюда стали прилетать и садиться вблизи Лежащего камня десятки больших птиц, как две капли воды похожих на Косача.

Затаив дыхание, сидели дети на холодном камне, дожидаясь, когда и к ним придут лучи солнца и обогреют их хоть немного. И вот первый луч, скользнув по верхушкам ближайших, очень маленьких елочек, наконец-то заиграл на щеках у детей. Тогда верхний Косач, приветствуя солнце, перестал подпрыгивать и чуфыкать. Он присел низко на мостике у вершины елки, вытянул свою длинную шею вдоль сука и завел долгую, похожую на журчание ручейка песню. В ответ ему тут где-то вблизи сидящие на земле десятки таких же птиц, тоже — каждый петух, — вытянув шею, затянули ту же самую песню. И тогда как будто довольно уже большой ручей с бормотаньем побежал по невидимым камешкам.

Сколько раз мы, охотники, выждав темное утро, на зябкой заре с трепетом слушали это пение, стараясь по-своему понять, о чем поют петухи. И когда мы по-своему повторяли их бормотанье,

то у нас выходило:

*Круты перья,
Ур-гур-гу,
Круты перья
Обор-ву, оборву.*

Так бормотали дружно тетерева, собираясь в то же время подраться. И когда они так бормотали, случилось небольшое событие в глубине еловой густой кроны. Там сидела на гнезде ворона и все время таилась там от Косача, токующего почти возле самого гнезда. Ворона очень бы желала прогнать Косача, но она боялась оставить гнездо и остудить на утреннем морозе яйца. Стережущий гнездо ворона-самец в это время делал свой облет и, наверное, встретив что-нибудь подозрительное, задержался. Ворона в ожидании самца залегла в гнезде, была тише воды, ниже травы. И вдруг, увидев летящего обратно самца, крикнула свое:

— Кра!

Это значило у нее:

— Выручай!

— Кра! — ответил самец в сторону тока в том смысле, что еще неизвестно, кто кому оборвет круты перья.

Самец, сразу поняв, в чем тут дело, спустился и сел на тот же мостик, возле елки, у самого гнезда, где Косач токовал, только поближе к сосне, и стал выжидать.

Косач в это время, не обращая на самца вороны никакого внимания, выкликнул свое, известное всем охотникам:

— Кар-кар-кекс!

И это было сигналом ко всеобщей драке всех токующих петухов. Ну и полетели во все-то стороны круты перья! И тут, как будто по тому же сигналу, ворона-самец мелкими шагами по мостику незаметно стал подбираться к Косачу.

Неподвижные, как изваяния, сидели на камне охотники за сладкой клюквой. Солнце, такое горячее и чистое, вышло против них над болотными елочками. Но случилось на небе в это время одно облако. Оно явилось, как холодная синяя стрелка, и пересекло собой пополам восходящее солнце. В то же время вдруг ветер рванул еще раз, и тогда нажала сосна и ель зарычала.

В это время, отдохнув на камне и согревшись в лучах солнца, Настя с Митрашей встали, чтобы продолжать дальше свой путь. Но у самого камня довольно широкая болотная тропа расходилась вилкой: одна, хорошая, плотная тропа шла направо, другая, слабенькая, — прямо.

Проверив по компасу направление троп, Митраша, указывая слабую тропу, сказал:

— Нам надо по этой на север.

— Это не тропа! — ответила Настя.

— Вот еще! — рассердился Митраша. — Люди шли — значит, тропа. Нам надо на север. Идем, и

не разговаривай больше.

Насте было обидно подчиниться младшему Митраше.

— Кра! — крикнула в это время ворона в гнезде.

И ее самец мелкими шажками перебежал ближе к Косачу на полмостика.

Вторая круто-синяя стрела пересекла солнце, и сверху стала надвигаться серая хмарь.

"Золотая Курочка" собралась с силами и попробовала уговорить своего друга.

— Смотри, — сказала она, — какая плотная моя тропа, тут все люди ходят. Неужели мы умней всех?

— Пусть ходят все люди, — решительно ответил упрямый "Мужичок в мешочке". — Мы должны идти по стрелке, как отец нас учил, на север, к палестинке.

— Отец нам сказки рассказывал, он шутил с нами, — сказала Настя. — И, наверно, на севере вовсе и нет никакой палестинки. Очень даже будет глупо нам по стрелке идти: как раз не на палестинку, а в самую Слепую елань угодим.

— Ну, ладно, — резко повернул Митраша. — Я с тобой больше спорить не буду: ты иди по своей тропе, куда все бабы ходят за клюквой, я же пойду сам по себе, по своей тропке, на север.

И в самом деле пошел туда, не подумав ни о корзине для клюквы, ни о пище.

Насте бы надо было об этом напомнить ему, но она так сама рассердилась, что, вся красная, как кумач, плюнула вслед ему и пошла за клюквой по общей тропе.

— Кра! — закричала ворона.

И самец быстро перебежал по мостику остальной путь до Косача и со всей силы долбанул его. Как ошпаренный, метнулся Косач к улетающим тетеревам, но разгневанный самец догнал его, вырвал, пустил по воздуху пучок белых и радужных перышек и погнал и погнал далеко.

Тогда серая хмарь плотно надвинулась и закрыла все солнце с его живительными лучами. Злой ветер очень резко рванул сплетенные корнями деревья, прокалывая друг друга сучьями, на все Блудово болото зарычали, завывали, застонали.

V

Деревья так жалобно стонали, что из полуобвалившейся картофельной ямы возле сторожки Антипыча вылезла его гончая собака Травка и точно так же, в тон деревьям, жалобно завывала.

Зачем же надо было вылезать собаке так рано из теплого, належающего подвала и жалобно выть, отвечая деревьям?

Среди звуков стога, рычания, ворчания, воя в это утро у деревьев иногда выходило так, будто где-то горько плакал в лесу потерянный или покинутый ребенок.

Вот этот плач и не могла выносить Травка и, услышав его, вылезала из ямы в ночь и в полночь. Этот плач сплетенных навеки деревьев не могла выносить собака: деревья животному напоминали о его собственном горе.

Уже целых два года прошло, как случилось ужасное несчастье в жизни Травки: умер обожаемый ею лесник, старый охотник Антипыч.

Мы с давних лет ездили к этому Антипычу на охоту, и старик, думается, сам позабыл, сколько ему было лет, все жил, жил в своей лесной сторожке, и казалось — он никогда не умрет.

— Сколько тебе лет, Антипыч? — спрашивали мы. — Восемьдесят?

— Мало, — отвечал он.

— Сто?

— Много.

Думая, что он это шутит с нами, а сам хорошо знает, мы спрашивали:

— Антипыч, ну, брось свои шутки, скажи нам по правде, сколько же тебе лет?

— По правде, — отвечал старик, — я вам скажу, если вы вперед скажете мне, что есть правда, какая она, где живет и как ее найти.

Трудно было ответить нам.

— Ты, Антипыч, старше нас, — говорили мы, — и ты, наверно, сам лучше нас знаешь, где правда.

— Знаю, — усмехался Антипыч.

— Ну, скажи.

— Нет, пока жив, я сказать не могу, вы сами ищите. Ну, а как умирать буду, приезжайте: я вам тогда на ушко перешепну всю правду. Приезжайте!

— Хорошо, приедем. А вдруг не угадаем, когда надо, и ты без нас помрешь?

Дедушка прищурился по-своему, как он всегда щурился, когда хотел посмеяться и пошутить.

— Деточки вы, — сказал он, — не маленькие, пора бы самим знать, а вы все спрашиваете. Ну, ладно уж, когда помирать соберусь и вас тут не будет, я Травке своей перешепну. Травка! — позвал он.

В хату вошла большая рыжая собака с черным ремешком по всей спине. У нее под глазами были черные полосы с загибом вроде очков. И от этого глаза казались очень большими, и ими она спрашивала: "Зачем позвал меня, хозяин?"

Антипыч как-то особенно поглядел на нее, и собака сразу поняла человека: он звал ее по приятельству, по дружбе, ни для чего, а просто так, пошутить, поиграть. Травка замахала хвостом, стала снижаться на ногах все ниже, ниже и, когда подползла так к коленям старика, легла на спину и повернула вверх светлый живот с шестью парами черных сосков. Антипыч только руку протянул было, чтобы погладить ее, она вдруг как вскочит и лапами на плечи — и чмок и чмок его: и в нос, и в щеки, и в самые губы.

— Ну, будет, будет, — сказал он, успокаивая собаку и вытирая лицо рукавом.

Погладил ее по голове и сказал:

— Ну, будет, теперь ступай к себе.

Травка повернулась и вышла на двор.

— То-то, ребята, — сказал Антипыч. — Вот Травка, собака гончая, с одного слова все понимает, а вы, глупенькие, спрашиваете, где правда живет. Ладно же, приезжайте. А упустите меня, Травке я все перешепну.

И вот умер Антипыч. Вскоре после этого началась Великая Отечественная война. Другого сторожа на место Антипыча не назначили, и сторожку его бросили. Очень ветхий был домик, старше много самого Антипыча, и держался уже на подпорках. Как-то раз без хозяина ветер поиграл с домиком, и он сразу весь развалился, как разваливается карточный домик от одного дыхания младенца. В один год высокая трава иван-чай проросла через бревнышки, и от всей избушки остался на лесной поляне холмик, покрытый красными цветами. А Травка переселилась в картофельную яму и стала жить в лесу, как и всякий зверь. Только очень трудно было Травке привыкать к дикой жизни. Она гоняла зверей для Антипыча, своего великого и милостивого хозяина, но не для себя. Много раз случалось ей на гону поймать зайца. Подмыв его под себя, она ложилась и ждала, когда Антипыч придет, и, часто вовсе голодная, не позволяла себе есть зайца. Даже если Антипыч почему-нибудь не приходил, она брала зайца в зубы, высоко задирала голову, чтобы он не болтался, и тащила домой. Так она и работала на Антипыча, но не на себя: хозяин любил ее, кормил и берег от волков. А теперь, когда умер Антипыч, ей нужно было, как и всякому дикому зверю, жить для себя. Случалось, не один раз на жарком гону она забывала, что гонит зайца только для того, чтобы поймать его и съесть. До того забывалась Травка на такой охоте, что, поймав зайца, тащила его к Антипычу, и тут иногда, услышав стон деревьев, взбиралась на холм, бывший когда-то избушкой, и выла и выла...

К этому вою давно уже прислушивается волк Серый помещик.

VI

Сторожка Антипыча была вовсе недалеко от Сухой речки, куда несколько лет тому назад, по заявке местных крестьян, приезжала наша волчья команда. Местные охотники проводили, что большой волчий выводок жил где-то на Сухой речке. Мы приехали помочь крестьянам и приступили к делу по всем правилам борьбы с хищным зверем.

Ночью, забравшись в Блудово болото, мы были по-волчьи и так вызвали ответный вой всех волков на Сухой речке. И так мы точно узнали, где они живут и сколько их. Они жили в самых непроходимых завалах Сухой речки. Тут давным-давно вода боролась с деревьями за свою свободу, а деревья должны были закреплять берега. Вода победила, деревья попадали, а после того и сама вода разбежалась в болоте. Многими ярусами были навалены деревья и гнили. Сквозь деревья пробилась трава, лианы плюща завили частые молодые осинки. И так создалось крепкое место, или даже, можно сказать, по-нашему, по-охотничьи, волчья крепость.

Определив место, где жили волки, мы обошли его на лыжах и по лыжнице, по кругу в три километра, развесили по кустикам на веревочке флаги, красные и пахучие. Красный цвет пугает волков, и запах кумача страшит, и особенно боязливо им бывает, если ветерок, пробегая сквозь лес, там и тут шевелит этими флагами.

Сколько у нас было стрелков, столько мы сделали ворот в непрерывном кругу этих флагов. Против каждого ворот становился где-нибудь за густой елочкой стрелок.

Осторожно покрикивая и постукивая палками, загонщики взбудили волков, и они сначала тихонько пошли в свою сторону. Впереди шла сама волчица, за ней — молодые переярки и сзади, в стороне, отдельно и самостоятельно, — огромный лобастый матерый волк, известный крестьянам злодей, прозванный Серым помещиком.

Волки шли очень осторожно. Загонщики нажали. Волчица пошла на рысях. И вдруг...

Стоп! Флаги!

Она повернула в другую сторону и там тоже:

Стоп! Флаги!

Загонщики нажимали все ближе и ближе. Старая волчица потеряла волчий смысл и, ткнувшись туда-сюда, как придется, нашла себе выход, и в самых воротцах была встречена выстрелом в голову всего в десятке шагов от охотника.

Так погибли все волки, но Серый не раз бывал в таких переделках и, услышав первые выстрелы, махнул через флаги. На прыжке в него было пущено два заряда: один оторвал ему левое ухо, другой — половину хвоста.

Волки погибли, но Серый за одно лето порезал коров и овец не меньше, чем резала их раньше целая стая. Из-за кустика можжевельника он дожидался, когда отлучатся или уснут пастухи. И, определив нужный момент, врывается в стадо и резал овец и портил коров. После того, схватив себе одну овцу на спину, мчал ее, прыгая с овцой через изгороди, к себе, в недоступное логовище на Сухой речке. Зимой, когда стада в поле не выходили, ему очень редко приходилось врываться в какой-нибудь скотный двор. Зимой он ловил больше собак в деревнях и питался почти только собаками. И до того обнаглел, что однажды, преследуя собаку, бегущую за саниами хозяина, загнал ее в сани и вырвал ее прямо из рук хозяина.

Серый помещик сделался грозой края, и опять крестьяне приехали за нашей волчьей командой. Пять раз мы пытались его зафлажить, и все пять раз он у нас махал через флаги. И вот теперь, ранней весной, пережив суровую зиму в страшном холоде и голоде, Серый в своем логове дожидался с нетерпением, когда же, наконец, придет настоящая весна и затрубит деревенский пастух.

В то утро, когда дети между собой поссорились и пошли по разным тропам, Серый лежал голодный и злой. Когда ветер замутил утро и завyli деревья возле Лежачего камня, он не выдержал и вылез из своего логова. Он стал над завалом, поднял голову, подобрал и так тощий живот, поставил единственное ухо на ветер, выпрямил половину хвоста и завыл.

Какой это жалобный вой! Но ты, прохожий человек, если услышишь и у тебя поднимется ответное чувство, не верь жалости: воет не собака, вернейший друг человека, — это волк, злейший враг его, самой злобой своей обреченный на гибель.

VII

Сухая речка большим полукругом огибает Блудово болото. На одной стороне полукруга воет собака, на другой — воет волк. А ветер нажимает на деревья и разносит их вой и стон, вовсе не зная, кому он служит. Ему все равно, кто воет, — дерево, собака — друг человека, или волк — злейший враг его, — лишь бы он выл. Ветер предательски доносит волку жалобный вой покинутой человеком собаки. И Серый, разобрав живой стон собаки от стога деревьев, тихонечко выбрался из завалов и с настороженным единственным ухом и прямой половинкой

хвоста поднялся на взлобок. Тут, определив место воя возле Антиповой сторожки, с холма прямо на широких махах пустился в том направлении.

К счастью для Травки, сильный голод заставил ее прекратить свой печальный плач или, может быть, призыв к себе нового человека. Может быть, для нее, в ее собачьем понимании, Антипыч вовсе даже не умирал, а только отвернул от нее лицо свое. Может быть, она даже и так понимала, что весь человек — это и есть один Антипыч со множеством лиц. И если одно лицо его отвернулось, то, может быть, скоро ее позовет к себе опять тот же Антипыч, только с другим лицом, и она этому лицу будет так же верно служить, как тому...

Так-то скорее всего и было: Травка воем своим призывала к себе Антипыча.

И волк, услышав эту ненавистную ему собачью мольбу о человеке, пошел туда на махах. Повой она еще каких-нибудь минут пять, и Серый схватил бы ее. Но, помолвившись Антипычу, она почувствовала сильный голод, она перестала звать Антипыча и пошла для себя искать заячий след.

Это было в то время года, когда ночное животное, заяц, не ложится при первом наступлении утра, чтобы весь день в страхе лежать с открытыми глазами. Весной заяц долго и при белом свете бродит открыто и смело по полям и дорогам. И вот один старый русак после ссоры детей пришел туда, где они разошлись, и тоже, как они, сел отдохнуть и прислушаться на Лежащем камне. Внезапный порыв ветра с воем деревьев испугал его, и он, прыгнув с Лежащего камня, побежал своими заячьими прыжками, бросая задние ножки вперед, прямо к месту страшной для человека Слепой елани. Он еще хорошенько не вылинял и оставлял следы не только на земле, но еще развешивал зимнюю шерсточку на кустарнике и на старой, прошлогодней высокой траве.

С тех пор как заяц на камне посидел, прошло довольно времени, но Травка сразу причуяла след русака. Ей помешали погнаться за ним следы на камне двух маленьких людей и их корзины, пахнущие хлебом и вареной картошкой.

Так вот и стала перед Травкой задача трудная — решить: идти ли ей по следу русака на Слепую елань, куда тоже пошел след одного из маленьких людей, или же идти по человеческому следу, идущему вправо, в обход Слепой елани.

Трудный вопрос решился бы очень просто, если бы можно было понять, который из двух человечков понес с собой хлеб. Вот бы поесть этого хлебца немного и начать гон не для себя и принести зайца тому, кто даст хлеб.

Куда же идти, в какую сторону?.. У людей в таких случаях является раздумье, а про гончую собаку охотники говорят: собака скололась.

Так и Травка скололась. И, как всякая гончая, в таком случае начала делать круги, с высоко поднятой головой, с чутьем, направленным и вверх, и вниз, и в стороны, и с пытливым напряжением глаз.

Вдруг порыв ветра с той стороны, куда пошла Настя, мгновенно остановил быстрый ход собаки по кругу. Травка, постояв немного, даже поднялась вверх на задние лапы, как заяц...

С ней было так однажды еще при жизни Антипыча. Была у лесника трудная работа в лесу по отпуску дров. Антипыч, чтобы не мешала ему Травка, привязал ее у дома. Рано утром, на рассвете, лесник ушел. Но только к обеду Травка догадалась, что цепь на другом конце привязана к железному крюку на толстой веревке. Поняв это, она стала на завалинку,

поднялась на задние лапы, передними подтянула себе веревку и к вечеру перемяла ее. Сейчас же, после того с цепью на шее она пустилась на поиски Антипыча. Больше полусуток истекло времени с тех пор, как Антипыч прошел, след его простыл и потом был смыт мелким моросливым дождем, похожим на росу. Но тишина весь день в лесу была такая, что за день ни одна струйка воздуха не переместилась и тончайшие пахучие частицы табачного дыма из трубки Антипыча повисали в неподвижном воздухе с утра и до вечера. Поняв сразу, что по следам найти невозможно Антипыча, сделав круг с высоко поднятой головой, Травка вдруг попала на табачную струю воздуха и по табаку мало-помалу, то теряя воздушный след, то опять встречаясь с ним, добралась-таки до хозяина.

Был такой случай. Теперь, когда ветер порывом сильным и резким принес в ее чутье подозрительный запах, она окаменела, выждала. И когда ветер опять рванул, стала, как и тогда, на задние лапы по-заячьи и уверилась: хлеб или картошка были в той стороне, откуда ветер летел и куда ушел один из маленьких человечков.

Травка вернулась к лежащему камню, проверила запах корзины на камне с тем, что ветер нанес. Потом она проверила след другого маленького человечка и тоже заячий след. Можно догадываться, она так и подумала:

"Заяц-русак пошел прямым следом на дневную лежку, он где-нибудь тут же, недалеко, возле Слепой елани, и лег на весь день и никуда не уйдет. А тот человечек с хлебом и картошкой может уйти. Да и какое же может быть сравнение — трудиться, надрываться, гоняя для себя зайца, чтобы разорвать его и сожрать самому, или же получить кусок хлеба и ласку от руки человека и, может быть, даже найти в нем Антипыча".

Поглядев еще раз внимательно в сторону прямого следа на Слепую елань, Травка окончательно повернулась в сторону тропы, обходящей Слепую елань с правой стороны, еще раз поднялась на задние лапы, уверясь, вильнула хвостом и рысью побежала туда.

VIII

Слепая елань, куда повела Митрашу стрелка компаса, было место погибельное, и тут на веках немало затянуло в болото людей и еще больше скота. И уж, конечно, всем, кто идет в Блудово болото, надо хорошо знать, что это такое, Слепая елань.

Мы это так понимаем, что все Блудово болото со всеми огромными запасами горючего, торфа, есть кладовая солнца. Да, вот именно так и есть, что горячее солнце было матерью каждой травинки, каждого цветочка, каждого болотного кустика и ягодки. Всем им солнце отдавало свое тепло, и они, умирая, разлагаясь, в удобрении передавали его, как наследство, другим растениям, кустикам, ягодкам, цветам и травинкам. Но в болотах вода не дает родителям-растениям передать все свое добро детям. Тысячи лет это добро под водой сохраняется, болото становится кладовой солнца, и потом вся эта кладовая солнца, как торф, достается человеку в наследство.

Блудово болото содержит огромные запасы горючего, но слой торфа не везде одинаковой толщины. Там, где сидели дети у Лежащего камня, растения слой за слоем ложились друг на друга тысячи лет. Тут был старейший пласт торфа, но дальше, чем ближе к Слепой елани, слой становился все моложе и тоньше.

Мало-помалу, по мере того как Митраша продвигался вперед по указанию стрелки и тропы, кочки под его ногами становились не просто мягкими, как раньше, а полужидкими. Ступит ногой как будто на твердое, а нога уходит и становится страшно: не совсем ли в пропасть

уходит нога? Попадаются какие-то вертлявые кочки, приходится выбирать место, куда ногу поставить. А потом и так пошло, что ступишь, а у тебя под ногой от этого вдруг, как в животе, заурчит и побежит куда-то под болотом.

Земля под ногой стала, как гамак, подвешенный над тинистой бездной. На этой подвижной земле, на тонком слое сплетенных между собой корнями и стеблями растений, стоят редкие, маленькие, корявые и заплесневелые елочки. Кислая болотная почва не дает им расти, и им, таким маленьким, лет уже по сто, а то и побольше... Елочки-старушки не как деревья в бору, все одинаковые: высокие, стройные, дерево к дереву, колонна к колонне, свеча к свече. Чем старше старушка на болоте, тем кажется чуднее. То вот одна голый сук подняла, как руку, чтобы обнять тебя на ходу, а у другой палка в руке, и она ждет тебя, чтобы хлопнуть, третья присела зачем-то, четвертая, стоя, вяжет чулок, и так все: что ни елочка, то непременно на что-то похожа.

Слой под ногами у Митраши становился все тоньше и тоньше, но растения, наверно, очень крепко сплелись и хорошо держали человека, и, качаясь и покачивая все далеко вокруг, он все шел и шел вперед. Митраше оставалось только верить тому человеку, кто шел впереди него и оставил даже тропу после себя.

Очень волновались старушки-елки, пропуская между собой мальчика с длинным ружьем, в картузе с двумя козырьками. Бывает, одна вдруг поднимется, как будто хочет смельчака палкой ударить по голове, и закроет собой впереди всех других старушек. А потом опустится, и другая колдунья тянет к тропе костлявую руку. И ждешь, — вот-вот, как в сказке, полянка покажется, и на ней избушка колдуньи с мертвыми головами на шестах.

Черный ворон, стерегущий свое гнездо на борине, облетая по сторожевому кругу болото, заметил маленького охотника с двойным козырьком. Весной и у ворона тоже является особый крик, похожий на то, как если человек крикнет горлом и в нос: "Дрон-тон!" Есть непонятные и неуловимые нашим ухом оттенки в основном звуке, и оттого мы не можем понять разговор воронов, а только догадываемся, как глухонемые.

— Дрон-тон! — крикнул сторожевой ворон в том смысле, что какой-то маленький человек с двойным козырьком и ружьем близится к Слепой елани и что, может быть, скоро будет пожива.

— Дрон-тон! — ответила издали на гнезде ворон-самка.

И это означало у нее:

— Слышу и жду!

Сороки, состоящие с воронами в близком родстве, заметили перекличку воронов и застрекотали. И даже лисичка после неудачной охоты за мышами наострила ушки на крик ворона.

Митраша все это слышал, но ничуть не трусил, — что ему было трусить, если под его ногами тропа человеческая: шел такой же человек, как и он, значит, и он сам, Митраша, мог по ней смело идти. И, услышав ворона, он даже запел:

— Ты не вейся, черный ворон,

Над моею головой.

Пение подбодрило его еще больше, и он даже смекнул, как ему сократить трудный путь по тропе. Поглядывая себе под ноги, он заметил, что нога его, опускаясь в грязь, сейчас же собирает туда в ямку воду. Так и каждый человек, проходя по тропе, спускал воду из мха пониже, и оттого на осушенной бровке, рядом с ручейком тропы, по ту и другую сторону, аллежкой вырастала высокая сладкая трава белоус. По этой, не желтого цвета, как всюду было теперь, ранней весной, а скорее цвета белого, траве можно было далеко впереди себя понять, где проходит тропа человеческая. Вот Митраша увидел: его тропа круто завертывает влево и туда идет далеко и там совсем исчезает. Он проверил по компасу, стрелка глядела на север, тропа уходила на запад.

— Чьи вы? — закричал в это время чибис.

— Жив, жив! — ответил кулик.

— Дрон-тон! — еще уверенней крикнул ворон.

И кругом в елочках затрещали сороки.

Оглядев местность, Митраша увидел прямо перед собой чистую, хорошую поляну, где кочки, постепенно снижаясь, переходили в совершенно ровное место. Но самое главное: он увидел, что совсем близко по той стороне поляны змеилась высокая трава белоус — неизменный спутник тропы человеческой. Узнавая по направлению белоуса тропу, идущую не прямо на север, Митраша подумал: "Зачем же я буду поворачивать налево, на кочки, если тропа вон рукой подать — виднеется там, за полянкой?"

И он смело пошел вперед, пересекая чистую полянку.

* * *

Митраша по елани шел вначале лучше, чем даже раньше по болоту. Постепенно, однако, нога его стала утопать все глубже и глубже, и становилось все труднее и труднее вытаскивать ее обратно. Тут лосю хорошо, у него страшная сила в длинной ноге, и, главное, он не задумывается и мчится одинаково и в лесу и в болоте. Но Митраша, почуввав опасность остановился и призадумался над своим положением. В один миг остановки он погрузился по колено, в другой миг ему стало выше колена. Он еще мог бы, сделав усилие, вырваться из елани обратно. И надумал было он повернуться, положить ружье на болото и, опираясь на него, выскочить. Но тут же, совсем недалеко от себя, впереди, увидел высокую белую траву на следу человеческом.

— Перескочу, — сказал он.

И рванулся.

Но было уже поздно. Сгоряча, как раненый — пропадать, так уж пропадать, — на авось, рванулся еще, и еще, и еще. И почувствовал себя плотно охваченным со всех сторон по самую грудь. Теперь даже и сильно дыхнуть ему нельзя было: при малейшем движении его тянуло вниз. Он мог сделать только одно: положить плашмя ружье на болото и, опираясь на него двумя руками, не шевелиться и успокоить поскорее дыхание. Так он и сделал: снял с себя ружье, положил его перед собой, оперся на него той и другой рукой.

Внезапный порыв ветра принес ему пронзительный Настин крик:

— Митраша!

Он ей ответил.

Но ветер был с той стороны, где Настя. И уносил его крик в другую сторону Блудова болота, на запад, где без конца были только елочки. Одни сороки отозвались ему и, перелетая с елочки на елочку, с обычным их тревожным стрекотанием, мало-помалу окружили всю Слепую елань, и, сидя на верхних пальчиках елок, тонкие, косатые, длиннохвостые, стали трещать.

Одни вроде:

— Дри-ти-ти!

Другие:

— Дра-та-та!

— Дрон-тон! — крикнул ворон сверху.

И, очень умные на всякое поганое дело, сороки смекнули о полном бессилии погруженного в болото маленького человечка. Они соскочили с верхних пальчиков елок на землю и с разных сторон начали прыжками свое сорочье наступление.

Маленький человечек с двойным козырьком кричать перестал.

По его загорелому лицу, по щекам блестящими ручейками потекли слезы.

IX

Кто никогда не видал, как растет клюква, тот может очень долго идти по болоту и не замечать, что он по клюкве идет. Вот взять ягоду чернику, — та растет, и ее видишь: стебелечек тоненький тянется вверх, по стебельку, как крылышки, в разные стороны зеленые маленькие листики, и у листиков сидят мелким горошком чернички, черные ягодки с синим пушком. Так же брусника, кроваво-красная ягода, листики темно-зеленые, плотные, не желтеют даже под снегом, и так много бывает ягоды, что место кажется кровью полито. Еще растет в болоте голубика кустиком, ягода голубая, более крупная, не пройдешь, не заметив. В глухих местах, где живет огромная птица глухарь, встречается костяника, красно-рубиновая ягода кисточкой, и каждый рубинчик в зеленой оправе. Только у нас одна-единственная ягода клюква, особенно ранней весной, прячется в болотной кочке и почти невидима сверху. Только уж когда очень много ее соберется на одном месте, заметишь сверху и подумаешь: "Вот кто-то клюкву рассыпал". Наклонишься взять одну, попробоваться, и тянешь вместе с одной ягодинкой зеленую ниточку со многими клюквинками. Захочешь и можешь вытянуть себе из кочки целое ожерелье крупных кроваво-красных ягод.

То ли что клюква — ягода дорогая весной, то ли что полезная и целебная и что чай с ней хорошо пить, только жадность при сборе ее развивается страшная. Одна старушка у нас раз набрала такую корзину, что и поднять не могла. И отсыпать ягоду или вовсе бросить корзину тоже не посмела. Да так и промаялась до ночи возле полной корзины.

А то, бывает, женщина нападет на ягоду и, оглядев кругом, — не видит ли кто, — приляжет к земле на мокрое болото и ползет.

Вначале Настя срывала с плети каждую ягодку отдельно, за каждой красненькой наклонялась к земле. Но скоро из-за одной ягодки наклоняться перестала: ей больше хотелось.

Она стала уже теперь догадываться, где не одну-две ягодки можно взять, а целую горсточку, и стала наклоняться только за горсточкой. Так она ссыпает горсточку за горсточкой, все чаще и чаще, а хочется все больше и больше.

Бывало, раньше дома часу не поработает Настенька, чтобы не вспомнился брат, чтобы не захотелось с ним перекликнуться. А вот теперь он ушел один неизвестно куда, а она и не помнит, что ведь хлеб-то у нее, что любимый брат там где-то, в темном болоте, голодный идет. Да она и о себе самой забыла и помнит только о клюкве, и ей хочется все больше и больше.

Из-за чего же ведь и весь сыр-бор загорелся у нее при споре с Митрашей: именно, что ей захотелось идти по набитой тропе. А теперь, следуя ощупью за клюквой, куда клюква ведет, туда и она, Настя, незаметно сошла с набитой тропы.

Было только один раз вроде пробуждения: она вдруг поняла, что где-то сошла с тропы. Повернула туда, где, показалось, проходила тропа, но там тропы не было. Она бросилась было в другую сторону, где маячили два дерева сухие с голыми сучьями, — там тоже тропы не было. Тут-то бы, к случаю, и вспомнить ей про компас, как о нем говорил Митраша, и своего-то брата, своего любимого, вспомнить, что он голодный идет, и, вспомнив, перекликнуться с ним...

И только-только бы вспомнить, как вдруг Настенька увидела такое, что не всякой клюквеннице достается хоть раз в жизни своей увидеть...

В споре своем, по какой тропке идти, дети одного не знали, что большая тропа и малая, огибая Слепую елань, обе сходились на Сухой речке и там, за Сухой, больше уже не расходясь, в конце концов выводили на большую Переславскую дорогу. Большим полукругом Настина тропа огибала по суходолу Слепую елань. Митрашина тропа шла напрямик возле самого края елани. Не сплошай он, не упустит из виду траву белоус на тропе человеческой, он давным-давно бы уже был на том месте, куда пришла только теперь Настя. И это место, спрятанное между кустиками можжевельника, и было как раз той самой палестинкой, куда Митраша стремился по компасу.

Приди сюда Митраша, голодный и без корзины, что бы ему было тут делать, на этой палестинке кроваво-красного цвета?

На палестинку пришла Настя с большой корзиной, с большим запасом продовольствия, забытым и покрытым кислой ягодой.

И опять бы девочке, похожей на Золотую Курочку на высоких ножках, подумать при радостной встрече с палестинкой о брате своем и крикнуть ему:

— Милый друг, мы пришли!

Ах, ворон, ворон, вещая птица! Живешь ты, может быть, сам триста лет, и кто породил тебя, тот в яичке своем пересказал все, что он тоже узнал за свои триста лет жизни. И так от ворона к ворону переходила память о всем, что было в этом болоте за тысячу лет. Сколько же ты, ворон, видел и знаешь и отчего ты хоть один раз не выйдешь из своего вороньего круга и не перенесешь на своих могучих крыльях весточку о брате, погибающем в болоте от своей отчаянной и бессмысленной смелости. Ты бы, ворон, сказал им...

— Дрон-тон! — крикнул ворон, пролетая над самой головой погибающего человека.

— Слышу, — тоже в таком же «дрон-тон» ответила ему на гнезде ворониха, — только успевай, урви чего-нибудь, пока его совсем не затянуло болото.

— Дрон-тон! — крикнул второй раз ворон-самец над девочкой, ползающей почти рядом с погибающим братом по мокрому болоту. И это «дрон-тон» у ворона значило, что от этой ползающей девочки вороновой семье, может быть, еще больше достанется.

На самой середине палестинки не было клюквы. Тут выдался холмистой куртинкой частый осинник, и в нем стоял рогатый великан лось. Посмотреть на него с одной стороны — покажется, он похож на быка, посмотреть с другой лошадь и лошадь: и стройное тело, и стройные ноги сухие, и мурло с тонкими ноздрями. Но как выгнуто это мурло, какие глаза и какие рога! Смотришь и думаешь: а может быть, и нет ничего — ни быка, ни коня, а так складывается что-то большое, серое в частом сером осиннике. Но как же складывается из осинника, если вот ясно видно, как толстые губы чудовища прилепнулись к дереву, и на нежной осинке остается узкая белая полоска: это чудовище так кормится. Да почти и на всех осинках виднеются такие загрызы. Нет, не видение в болоте эта громадина. Но как понять, что на осиновой корочке и лепестках болотного трилистника может вырасти такое большое тело? Откуда же у человека при его могуществе берется жадность даже к кислой ягоде клюкве?

Лось, обирая осинку, с высоты своей спокойно глядит на ползущую девочку.

Ничего не видя, кроме своей клюквы, ползет она и ползет к большому черному пню. Еле передвигает за собой корзинку, вся мокрая и грязная, прежняя Золотая Курочка на высоких ножках.

Лось ее и за человека не считает: у нее все повадки обычных зверей, на каких он смотрит равнодушно, как мы на бездушные камни.

А большой черный пенёк собирает в себя лучи солнца и сильно нагревается. Вот уже начинает вечереть, воздух и все кругом охлаждается. Но пенёк, черный и большой, еще сохраняет тепло. На него выползли из болота и припали к теплу шесть маленьких ящериц; четыре бабочки-лимонницы, сложив крылышки, припали усиками; большие черные мухи прилетели ночевать. Длинная клюквенная плеть, цепляясь за стебельки трав и неровности, оплела черный теплый пенёк и, сделав на самом верху несколько оборотов, спустилась по ту сторону. Ядовитые змеи-гадюки в это время года стерегут тепло, и одна громадная, в полметра длиной, вползла на пенёк и свернулась колечком на клюкве.

А девочка тоже ползла по болоту, не поднимая вверх высоко головы. И так она приползла к горелому пню и дернула за самую плеть, где лежала змея. Гадина подняла голову и зашипела. И Настя тоже подняла голову...

Тогда-то, наконец, Настя очнулась, вскочила, и лось, узнав в ней человека, прыгнул из осинника и, выбрасывая вперед сильные длинные ноги-ходули, помчался легко по вязкому болоту, как мчится по сухой тропинке заяц-русак.

Испуганная лосем, Настенька изумленно смотрела на змею: гадюка по-прежнему лежала, свернувшись колечком в теплом луче солнца.

Совсем недалеко стояла и смотрела на нее большая рыжая собака с черными ремешками на спине. Собака эта была Травка. И Настя даже вспомнила ее: Антипыч не раз приходил с ней в село. Но кличку собаки вспомнить она не могла верно и крикнула ей:

— Муравка, Муравка, я дам тебе хлеба!

И потянулась к корзине за хлебом. Доверху корзина была наполнена, и под клюквой был хлеб. Сколько же времени прошло, сколько клюковинок легло с утра до вечера, пока огромная

корзина наполнилась? Где же был за это время брат голодный и как она забыла о нем, как она сама забыла себя и все вокруг?

Она опять поглядела на пенё, где лежала змея, и вдруг пронзительно закричала:

— Братец, Митраша!

И, рыдая, упала возле корзины, наполненной клюквой.

Вот этот пронзительный крик и долетел тогда до елани, и Митраша это слышал и ответил, но порыв ветра тогда унес крик в другую сторону.

Х

Тот сильный порыв ветра, когда крикнула бедная Настя, был еще не последним перед тишиной вечерней зари. Солнце в это время проходило вниз через толстое облако и выбросило оттуда на землю золотые ножки своего трона.

И тот порыв был еще не последним, когда в ответ на крик Насти закричал Митраша.

Последний порыв был, когда солнце погрузило как будто под землю золотые ножки своего трона и, большое, чистое, красное, нижним краешком своим коснулось земли. Тогда на суходоле запел свою милую песенку маленький певчий дрозд-белобровик. Невесело возле Лежачего камня на успокоенных деревьях затоковал Косач-токовик. И журавли прокричали три раза, не как утром «победа», а вроде как бы:

— Спите, но помните: мы вас всех скоро разбудим, разбудим, разбудим!

День кончился не порывом ветра, а последним легким дыханием. Тогда наступила полная тишина, и везде стало все слышно, даже как пересвистывались рябчики в зарослях Сухой речки.

В это время, почуяв беду человеческую, Травка подошла к рыдающей Насте и лизнула ее в соленую от слез щеку. Настя подняла было голову, поглядела на собаку и, так ничего не сказав ей, опустила голову обратно и положила ее прямо на ягоду. Сквозь клюкву Травка явственно чуяла хлеб, и ей ужасно хотелось есть, но позволить себе покопаться лапами в клюкве она никак не могла. Вместо этого, чуя беду человеческую, она подняла высоко голову и завывала.

Мы как-то раз, помнится, давным-давно тоже так под вечер ехали, как в старину было, лесной дорогой на тройке с колокольчиком. И вдруг ямщик осадил тройку, колокольчик замолчал, и, вслушиваясь, ямщик нам сказал:

— Беда!

Мы сами что-то услышали.

— Что это?

— Беда какая-то: собака воет в лесу.

Мы тогда так и не узнали, какая была беда. Может быть, тоже где-то в болоте тонул человек, и, провожая его, выла собака, верный друг человека.

В полной тишине, когда выла Травка, Серый сразу понял, что это было на палестинке, и

скорей, скорей замахал туда напрямик.

Только очень скоро Травка выть перестала. И Серый остановился переждать, когда вой снова начнется.

А Травка в это время сама услышала в стороне Лежачего камня знакомый тоненький и редкий голосок:

— Тяв, тяв!

И сразу поняла, конечно, что это тявкала лисица по зайцу. И то, конечно, она поняла — лисица нашла след того же самого зайца-русака, что и она понюхала там, на Лежачем камне. И то поняла, что лисице без хитрости никогда не догнать зайца и тявкает она, только чтобы он бежал и морился, а когда утомится и ляжет, тут-то она и схватит его на лежке. С Травкой после Антипыча так не раз бывало при добывании зайца для пищи. Услыхав такую лисицу, Травка охотилась по волчьему способу как волк на гону молча остановится на круг и, выждав ревущую по зайцу собаку, ловит ее, так и она, затаиваясь, из-под гона лисицы зайца ловила.

Выслушав гон лисицы, Травка точно так же, как и мы, охотники, поняла круг пробега зайца от Лежачего камня: заяц бежал на Слепую елань и оттуда на Сухую речку, оттуда долго полукругом на палестинку и опять непременно к Лежачему камню. Поняв это, она прибежала к Лежачему камню и затаилась тут в густом кусту можжевельника.

Недолго пришлось Травке ждать. Тонким слухом своим она услышала недоступное человеческому слуху чавканье заячьей лапы по лужицам на болотной тропе. Лужицы эти выступили на утренних следах Насти. Русак непременно должен был сейчас показаться у самого Лежачего камня.

Травка за кустом можжевельника присела и напружинила задние лапы для могучего броска и, когда увидела уши, бросилась.

Как раз в это время заяц, большой, старый, матерый русак, ковыляя еле-еле, вздумал внезапно остановиться и, даже привстав на задние ноги, послушать, далеко ли тявкает лисица.

Так вот одновременно сошлись: Травка бросилась, а заяц остановился.

И Травку перенесло через зайца.

Пока собака выправлялась, заяц огромными скачками летел уже по Митрашиной тропе прямо на Слепую елань.

Тогда волчий способ охоты не удался, до темноты нельзя было ждать возвращения зайца. И Травка, своим собачьим способом, бросилась вслед зайцу и, взвизгнув заливисто, мерным, ровным собачьим лаем наполнила всю вечернюю тишину.

Услыхав собаку, лисичка, конечно, сейчас же бросила охоту за русаком и занялась повседневной охотой на мышей. А Серый, наконец-то услышав долгожданный лай собаки, понесся на махах в направлении Слепой елани.

XI

Сороки на Слепой елани, услышав приближение зайца, разделились на две партии одни остались при маленьком человечке и кричали:

— Дри-ти-ти!

Другие кричали по зайцу:

— Дра-та-та!

Трудно разобраться и догадаться в этой сорочьей тревоге. Сказать, что они зовут на помощь, — какая тут помощь! Если на сорочий крик придет человек или собака, сорокам же ничего не достанется. Сказать, что они созывают своим криком все сорочье племя на кровавый пир: разве что так.

— Дри-ти-ти! — кричали сороки, подскакивая ближе и ближе к маленькому человечку.

Но подскочить совсем не могли руки у человечка были свободны. И вдруг сороки смешались, одна и та же сорока то дрикнет на «и», то дрикнет на «а».

Это значило, что на Слепую елань заяц подходит. Этот русак уже не один раз увертывался от Травки и хорошо знал, что гончая зайца догоняет и что, значит, надо действовать хитростью. Вот почему перед самой еланью, не доходя маленького человека, он остановился и возбудил всех сорок. Все они расселись по верхним пальчикам елок, и все закричали по зайцу:

— Дра-та-та!

Но зайцы почему-то этому крику не придают значения и выделяют свои скидки, не обращая на сорок никакого внимания. Вот почему и думается иной раз, что ни к чему это сорочье стрекотанье и так это они, вроде как и люди, иногда от скуки в болтовне просто время проводят.

Заяц, чуть-чуть постояв, сделал свой первый огромный прыжок, или, как охотники говорят, свою скидку, — в одну сторону, постояв там, скинулся в другую и через десяток малых прыжков — в третью и там лег глазами к своему следу на тот случай, что если Травка разберется в скидках, придет и к третьей скидке, так чтобы можно было вперед увидеть ее...

Да, конечно, умен, умен заяц, но все-таки эти скидки — опасное дело: умная гончая тоже понимает, что заяц всегда глядит в свой след, и так исхитряется взять направление на скидках, не по следам, а прямо по воздуху, верхним чутьем.

И как же, значит, бьется сердчишко у зайчишки, когда он слышит — лай собаки прекратился, собака скололась и начала делать у места скола молча свой страшный круг...

Зайцу повезло на этот раз. Он понял: собака, начав делать свой круг по елани, с чем-то там встретилась, и вдруг там явственно послышался голос человека, и поднялся страшный шум...

Можно догадаться, — заяц, услышав непонятный шум, сказал себе что-нибудь вроде нашего: "Подальше от греха" — и - ковыль-ковыль, тихонечко вышел на обратный след к Лежащему камню.

А Травка, разлетевшись на елани по зайцу, вдруг в десяти шагах от себя глаза в глаза увидела маленького человечка и, забыв о зайце, остановилась, как вкопанная.

Что думала Травка, глядя на маленького человечка в елани, можно легко догадаться. Ведь это для нас все мы разные. Для Травки все люди были, как два человека: один Антипыч с разными лицами и другой человек — это враг Антипыча. И вот почему хорошая, умная собака не

подходит сразу к человеку, а становится и узнает: ее это хозяин или враг его.

Так вот и стояла Травка и глядела в лицо маленького человека, освещенного последним лучом заходящего солнца.

Глаза у маленького человека были сначала тусклые, мертвые, но вдруг в них загорелся огонек, и вот это заметила Травка.

"Скорее всего, это Антипыч", — подумала Травка.

И чуть-чуть, еле заметно вильнула хвостом.

Мы, конечно, не можем знать, как думала Травка, узнавая своего Антипыча, но догадываться, конечно, можно. Вы помните, бывало ли с вами так? Бывает, наклонишься в лесу к тихой заводи ручья и там, как в зеркале, увидишь — весь то, весь человек, большой, прекрасный, как для Травки Антипыч, из-за твоей спины наклонился и тоже смотрится в заводь, как в зеркало. И так он прекрасен там, в зеркале, со всею природой, с облаками, лесами, и солнышко там внизу тоже садится, и молодой месяц показывается, и частые звездочки.

Так вот точно, наверно, и Травке в каждом лице человека, как в зеркале, виделся весь человек Антипыч, и к каждому стремилась она броситься на шею, но по опыту своему она знала: есть враг Антипыча с точно таким же лицом.

И она ждала.

А лапы ее между тем понемногу тоже засасывало: если так дальше стоять, то и собачьи лапы так засосет, что и не вытащишь. Ждать больше нельзя.

И вдруг...

Ни гром, ни молния, ни солнечный восход со всеми победными звуками, ни закат с журавлиным обещанием нового прекрасного дня — ничто, никакое чудо природы не могло быть больше того, что случилось сейчас для Травки в болоте: она услышала слово человеческое, и какое слово!

Антипыч, как большой, настоящий охотник назвал свою собаку вначале, конечно, по-охотничьи — от слова травить, и наша Травка вначале у него называлась Затравка; но после охотничья кличка на языке оболталась, и вышло прекрасное имя Травка. В последний раз, когда приходил к нам Антипыч, собака его называлась еще Затравка. И когда загорелся огонек в глазах маленького человека, это значило, что Митраша вспомнил имя собаки. Потом омертвелые, синюющие губы маленького человека стали наливаться кровью, краснеть, зашевелились. Вот это движение губ Травка заметила и второй раз чуть-чуть вильнула хвостом. И тогда произошло настоящее чудо в понимании Травки. Точно так же, как старый Антипыч в самое старое время, новый молодой и маленький Антипыч сказал:

— Затравка!

Узнав Антипыча, Травка мгновенно легла.

— Ну, ну! — сказал Антипыч. — Иди ко мне, умница!

И Травка в ответ на слова человека тихонечко поползла.

Но маленький человек звал ее и манил сейчас не совсем от чистого сердца, как думала, наверно, сама Травка. У маленького человека в словах не только дружба и радость была, как думала Травка, а тоже тайлся и хитрый план своего спасения. Если бы он мог пересказать ей понятно свой план, с какой радостью бросилась бы она его спасать. Но он не мог сделать себя для нее понятным и должен был обманывать ее ласковым словом. Ему даже надо было, чтобы она его боялась, а то если бы она его не боялась, не чувствовала хорошего страха перед могуществом великого Антипыча и по-собачьи со всех ног бросилась бы ему на шею, то неминуемо болото бы затащило в свои недра человека и его друга — собаку. Маленький человек просто не мог быть сейчас великим человеком, какой мерещился Травке. Маленький человек принужден был хитрить.

— Затравушка, милая Затравушка! — ласкал он ее сладким голосом.

А сам думал: "Ну, ползи, только ползи!"

И собака, своей чистой душой подозревая что-то не совсем чистое в ясных словах Антипыча, ползла с остановками.

— Ну, голубушка, еще, еще!

А сам думал: "Ползи только, ползи".

И вот понемногу она подползла. Он мог бы уже и теперь, опираясь на распластанное на болоте ружье, наклониться немного вперед, протянуть руку, погладить по голове. Но маленький хитрый человек знал, что от одного его малейшего прикосновения собака с визгом радости бросится на него и утопит.

И маленький человек остановил в себе большое сердце. Он замер в точном расчете движения, как боец в определяющем исход борьбы ударе: жить ему или умереть.

Вот еще бы маленький ползок по земле, и Травка бы бросилась на шею человека, но в расчете своем маленький человек не ошибся: мгновенно он выбросил свою правую руку вперед и схватил большую, сильную собаку за левую заднюю ногу.

Так неужели же враг человека так мог обмануть?

Травка с безумной силой рванулась, и она бы вырвалась из руки маленького человека, если бы тот, уже достаточно выволоченный, не схватил другой рукой ее за другую ногу. Мгновенно вслед за тем он лег животом на ружье, выпустил собаку и на четвереньках сам, как собака, переставляя опору-ружье все вперед и вперед, подполз к тропе, где постоянно ходил человек и где от ног его по краям росла высокая трава белоус. Тут, на тропе, он поднялся, тут он отер последние слезы с лица, отряхнул грязь с лохмотьев своих и, как настоящий большой человек, властно приказал:

— Иди же теперь ко мне, моя Затравка!

Услыхав такой голос, такие слова, Травка бросила все свои колебания: перед ней стоял прежний, прекрасный Антипыч. С визгом радости, узнав хозяина, кинулась она ему на шею, и человек целовал своего друга и в нос, и в глаза, и в уши.

Не пора ли сказать теперь уж, как мы сами думаем о загадочных словах нашего старого лесника Антипыча, когда он обещал перешепнуть свою правду собаке, если мы сами его не застанем живым? Мы думаем, Антипыч не совсем в шутку об этом сказал. Очень может быть,

тот Антипыч, как Травка его понимает, или, по-нашему, человек, когда-то, в древнем прошлом его, перешепнул своему другу-собаке какую-то свою большую человеческую правду, и мы думаем: эта правда есть правда вековой суровой борьбы людей за любовь.

XII

Нам теперь остается уже немного досказать о всех событиях этого большого дня в Блудовом болоте. День, как ни долог был, еще не совсем кончился, когда Митраша выбрался из елани с помощью Травки. После бурной радости от встречи с Антипычем деловая Травка сейчас же вспомнила свой первый гон по зайцу. И понятно: Травка — гончая собака, и дело ее — гонять для себя, но для хозяина-Антипыча поймать зайца — это все ее счастье. Узнав теперь в Митраше Антипыча, она продолжала свой прерванный круг и вскоре попала на выходной след русака и по этому свежему следу сразу пошла с голосом. Голодный Митраша, еле живой, сразу понял, что все спасение его будет в этом зайце, что если он убьет зайца, то огонь добудет выстрелом и, как не раз бывало при отце, испечет зайца в горячей золе. Осмотрев ружье, переменяв подмокшие патроны, он вышел на круг и притаился в кусту можжевельника.

Еще хорошо можно было видеть на ружье мушку, когда Травка завернула зайца от Лежачего камня на большую Настину тропу, выгнала на палестинку, направила его отсюда на куст можжевельника, где таился охотник. Но тут случилось, что Серый, услышав возобновленный гон собаки, выбрал себе как раз тот самый куст можжевельника, где таился охотник, и два охотника, человек и злейший враг его, встретились. Увидев серую морду от себя в пяти каких-то шагах, Митраша забыл о зайце и выстрелил почти в упор.

Серый помещик окончил жизнь свою без всяких мучений.

Гон был, конечно, сбит этим выстрелом, но Травка дело свое продолжала. Самое же главное, самое счастливое был не заяц, не волк, а что Настя, услышав близкий выстрел, закричала. Митраша узнал ее голос, ответил, и она вмиг к нему прибежала. После того вскоре и Травка принесла русака своему новому, молодому Антипычу, и друзья стали греться у костра, готовить себе еду и ночлег.

* * *

Настя и Митраша жили от нас через дом, и когда утром заревела у них на дворе голодная скотина, мы первые пришли посмотреть, не случилось ли какой беды у детей. Мы сразу поняли, что дети дома не ночевали и, скорее всего, заблудились в болоте. Собрались мало-помалу и другие соседи, стали думать, как нам выручить детей, если они еще только живы. И только собрались было рассыпаться по болоту во все стороны, — глядим: а охотники за сладкой клюквой идут из лесу гуськом, на плечах у них шест с тяжелой корзиной, и рядом с ними Травка, собака Антипыча.

Они рассказали нам во всех подробностях обо всем, что с ними случилось в Блудовом болоте. И всему у нас поверили: неслыханный сбор клюквы был налицо. Но не все могли поверить, что мальчик на одиннадцатом году жизни мог убить старого хитрого волка. Однако несколько человек из них, кто поверил, с веревкой и большими санками отправились на указанное место и вскоре привезли мертвого Серого помещика. Тогда все в селе на время бросили свои дела и собрались, и далее не только из своего села, а даже из соседних деревень. Сколько тут было разговоров! И трудно сказать, на кого больше глядели, — на волка или на охотника в картузе с двойным козырьком. Когда переводили глаза с волка, говорили:

— А вот смеялись, дразнили "Мужичок в мешочке"!

И тогда незаметно для всех прежний "Мужичок в мешочке", правда, стал переменяться и за следующие два года войны вытянулся, и какой из него парень вышел — высокий, стройный. И стать бы ему непременно героем Отечественной войны, да вот только война-то кончилась.

А Золотая Курочка тоже всех удивила в селе. Никто ее в жадности, как мы, не упрекал, напротив, все одобряли и что она благоразумно звала брата на торную тропу и что так много набрала клюквы. Но когда из детдома эвакуированных ленинградских детей обратились в село за посильной помощью больным детям, Настя отдала им всю свою целебную ягоду. Тут-то вот мы, войдя в доверие девочки, узнали от нее, как мучилась она про себя за свою жадность.

Нам остается теперь сказать еще несколько слов о себе: кто мы такие и зачем попали в Блудово болото. Мы — разведчики болотных богатств. Еще с первых дней Отечественной войны работали над подготовкой болота для добывания в нем горючего — торфа. И мы дознались, что торфа в этом болоте хватит для работы большой фабрики лет на сто. Вот какие богатства скрыты в наших болотах!

1945 г.

На Дальнем Востоке

Орлиное гнездо

Однажды стадо драгоценных диких пятнистых оленей, продвигаясь к морю пришло на узенький мыс. Мы протянули за ними поперек всего мыса проволочную сетку и преградили им путь в тайгу. У оленей для питания много было и травы и кустарника нам оставалось только охранять дорогих гостей наших от хищников — леопардов, волков и даже от орлов.

Однажды я с высоты Туманной горы стал разглядывать скалу вниз. Я скоро заметил, что у самого моря, на высокой скале, покрытой любимой оленями травой, паслась самка оленя и возле нее в тени лежал какой-то желтенький кружок. Разглядывая в хороший бинокль, я скоро уверился, что кружком в тени лежал молоденький олененок.

Вдруг там, где прибой швыряет свои белые фонтаны, стараясь как будто попасть ими в недоступные ему темно-зеленые сосны, поднялся большой орел, взвился высоко, выглядел олененка и бросился. Но мать услышала шум падающей громадной птицы, быстро схватилась и встретила: она встала на задние ноги против детеныша и передними копытцами старалась попасть в орла, и он, обозленный неожиданным препятствием, стал наступать, пока одно острое копытце не попало в него. Смятый орел с трудом оправился в воздухе и полетел обратно в сосны, где у него было гнездо. Мы вскоре после этого разорили гнездо хищника, а красивые скалы назвали Орлиным гнездом.

Голубые песцы

В Японском море есть маленький остров Фуругельм. Наши звероводы привезли с Севера голубых песцов, пустили на остров, и дорогие звери прижились. Я с интересом наблюдал здесь жизнь этих очень семейственных, но чрезвычайно плутоватых зверей, близких родственников нашей хитрой лисицы. Совсем недалеко от рыбацкого лагеря, почти возле самых палаток, устроилась необыкновенно продувная и сильная семья песцов. Тут когда-то стояла фанза, корейская изба, теперь от нее остался лишь кан, или пол, заросший бурьяном в рост человека. У корейцев пол отапливается, устраивается с дымоходами, как печь. И вот под этим каном и устроилась жить пара песцов — Ванька и Машка.

Между прочим, возле кана над бурьяном возвышалась горка старого мусора и служила песцам верандой или наблюдательным пунктом.

Однажды белоголовый орел осмелился спуститься к рыбакам и выхватить с их промысла сардинку. Орел поднял рыбку на скалу. А песцы во главе с Ванькой и Машкой следили за действиями белоголового.

Вот только-только принялся белоголовый клевать свою добычу, откуда ни возьмись белохвостый орел и бросился на белоголового, чтоб отнять у него сардинку. В это время песцы всмотрелись своими желтыми глазами и смекнули: Ванька остался с детьми, а Машка в короткое время с камушка на камушек добралась до вершины скалы, схватила сардинку и была такова. Дома, на своей веранде, отдав добычу детям, песцы как ни в чем не бывало продолжали с интересом следить за борьбой орлов, теперь уже совсем и забывших о рыбке.

Зверь бурундук

Можно легко понять, для чего у пятнистого оленя на шкуре его везде рассыпаны частые белые пятнышки.

Раз я на Дальнем Востоке шел очень тихо по тропинке и, сам не зная того, остановился возле притаившихся оленей. Они надеялись, что я не замечу их под деревьями с широкими листьями, в густой траве. Но, случилось, олений клещ больно укусил маленького теленка; он дрогнул, трава качнулась, и я увидел его и всех. Тут-то вот и я понял, почему у оленей пятна. День был солнечный, и в лесу на траве были «зайчики» — точно такие же, как у оленей и ланей. С такими «зайчиками» легче затаиться. Но долго я не мог понять, почему у оленя назади возле хвоста большой белый кружок, вроде салфетки, а если олень испугается и бросится бежать, то эта салфетка становится много заметнее. Для чего оленю эти салфетки? Думал я об этом и вот как догадался.

Однажды мы поймали диких оленей и стали их кормить в домашнем питомнике бобами и кукурузой. Зимой, когда в тайге с таким трудом оленю достается корм, они ели у нас готовое и самое любимое, самое вкусное в питомнике блюдо. И они до того привыкли, что, как завидят у нас мешок с бобами, бегут к нам и толпятся возле корыта. И так жадно суют морды и спешат, что бобы и кукуруза часто падают из корыта на землю. Голуби это уже заметили прилетают клевать зерна под самыми копытами оленей. Тоже прибегают собирать падающие бобы бурундуки, эти небольшие, совсем похожие на белку полосатые прехорошенькие зверьки. Трудно передать, до чего ж пугливы эти пятнистые олени и что только может им представиться. В особенности же пуглива у нас была самка, наша красавица Хуа-Лу.

Случилось раз, она ела бобы в корыте рядом с другими оленями. Бобы падали на землю, голуби и бурундуки бегали возле самых копыт оленей. Вот Хуа-Лу нечаянно наступила копытцем на пушистый хвост одного зверька, и этот бурундук в ответ впился в ногу оленя Хуа-Лу вздрогнула, глянула вниз, и ей, наверно, бурундук представился чем-то ужасным. Как она бросится! И за ней разом все на забор, и — бух! — забор наш повалился. Маленький зверек бурундук, конечно, сразу спрятался, но для испуганной Хуа-Лу: теперь за ней бежал, неся по ее следам не маленький, а огромный зверь бурундук. Другие олени ее понимали по-своему и вслед за ней стремительно неслись. И все бы эти олени убежали и весь наш большой труд пропал бы, но у нас была немецкая овчарка Тайга, хорошо приученная к этим оленям. Мы пустили вслед за ними Тайгу. В безумном страхе неслись олени, и, конечно, они думали, что не собака за ними бежит, а все тот же страшный, огромный зверище бурундучище.

У многих зверей есть такая повадка, что если их гонят, то они бегут по кругу и возвращаются

на то же самое место. Так охотники зайцев гоняют с собаками: заяц почти всегда прибегает на то же самое место, где лежал, и тут его встречает стрелок. И олени так неслись долго по горам и долам и вернулись к тому же самому месту, где им хорошо живется — и сытно и тепло. Так вот и вернула нам оленей отличная, умная собака Тайга.

Но я чуть было и не забыл о белых салфетках, из-за чего я завел этот рассказ. Когда Хуа-Лу бросилась через упавший забор и от страха у ней назади белая салфетка стала много шире, много заметней, то в кустах только и видна была одна эта мелькающая белая салфетка. По этому белому пятну бежал за ней другой олень и сам тоже показывал следующему за ним оленю свое белое пятно. Вот тут-то я и догадался впервые, для чего служат эти белые салфетки пятнистым оленям. В тайге ведь не только бурундук — там и волк, и леопард, и сам тигр. Один олень заметит врага, бросится, покажет белое пятнышко и спасает другого, а этот спасает третьего, и все вместе приходят в безопасные места.

Рождение Кастрюльки

Мы были в питомнике пятнистых оленей на Дальнем Востоке. Эти олени так красивы, что по-китайски называются «олень-цветок».

Каждый олень имеет свою кличку. Пискунья и Манька со своими оленятами совершенно ручные оленухи, но, конечно, из оленух всех добрее Кастрюлька. С этой Кастрюлькой может такое случиться, что придет под окошко и, если вы не обращаете на нее внимания, положит голову на подоконник и будет дожидаться ласки. Очень любит, если ее почешут между ушами. А между тем она вышла не от домашних, а от диких оленей.

Кастрюлька оттого, оказывается, особенно ласковая, что взята от своей дикой матери в тайге в первый же день своего рождения. Если бы удалось поймать ее только на второй день, то она далеко не была бы такая добрая, или, как говорят, легкобычная. А взятый на третий день олененок и дальше навсегда останется буковатым.

Было это в первой половине июня. Сергей Федорович взял свою Тайгу, немецкую овчарку, приученную к оленям, и отправился в горы. Разглядывая в бинокль горы, долины, ручьи, он нашел в одной долине желтое пятно и понял в нем оленей. После того, пользуясь ветром в ущельях, долго подкрадывался к ним, и они не чувляли и не слышали его приближения. Подкрался он к ним из-под горы совсем близко, и, наблюдая в бинокль одну оленуху, заметил, что она отбилась от стада и скрылась в кустах, где бежит горный ручей. Сергей Федорович сделал предположение, что оленуха скоро в кустах должна растелиться.

Так оно и было. Оленуха вошла в густые дубовые заросли и родила желтого теленочка с белыми, отчетливыми на рыжем, пятнами, совершенно похожими на пятна солнечных лучей — «зайчики». Теленок сначала не мог подняться, и она сама легла к нему, стараясь подвинуть к его губам вымя. Тронул теленок вымя губами, попробовал сосать. Она встала, и он стоя начал сосать, но был еще очень слаб и опять лег. Она опять легла к нему и опять подвинула вымя. Попив молочка, он поднялся, стал твердо, но тут послышался шум в кустах, и ветер донес запах собаки. Тайга приближалась...

Мать поняла, что надо бежать, и свистнула. Но он еще не понимал или был слаб. Она попробовала подтолкнуть его в спину губами. Он покачнулся. Она решила обмануть собаку, чтобы та за ней погналась, а теленка уложить и спрятать в траве. Так он и замер в траве, весь осыпанный и солнечными и своими «зайчиками». Мать отбежала в сторону, встала на камень, увидела Тайгу. Чтобы обратить на себя внимание, она громко свистнула, топнула ногой и бросилась бежать. Не чувствуя, однако, за собой погони, она опять остановилась на высоком

месте и разглядела, что Тайга и не думает за ней бежать, а все ближе и ближе подбирается к корню дерева, возле которого свернулся ее олененок. Не помогли ни свист, ни топание. Тайга все ближе и ближе подходила к кусту. Быть может, оленуха-мать пошла бы выручать свое дитя, но тут рядом с Тайгой показался Сергей Федорович, и она опрометью бросилась в далекие горы.

За Тайгой пришел Сергей Федорович. И вот только что черненькие глазки блестят и только что тельце тепленькое, а то бы и на руки взять, и все равно сочтешь за неживое: до того притворяются каменными.

Обыкновенно таких пойманных телят приучают пить молоко коровье из бутылки: сунут в рот горлышко и булькают, а там хочешь — глотай, хочешь нет, все равно есть захочется, рано или поздно глотишь. Но эта оленушка, к удивлению всех, начала пить прямо из кастрюльки. Вот за это сама была названа Кастрюлькой.

Ухаживать за этим теленком Сергей Федорович назначил свою дочку Люсю, и она ее все поила, поила из той самой кастрюльки, а потом стала давать веники из прутьев молодого кустарника. И так ее выходила.

Барс

В нашем питомнике пятнистых оленей на Дальнем Востоке одно время поселился барс и начал их резать. Китаец Лувен сказал:

— Олень-цветок и барс — это нельзя вместе!

И мы начали ежедневно искать встречи с барсом, чтобы застрелить его. Однажды наверху Туманной горы барс скрылся от меня под камнем. Я сделал далекий обход по хребту, узнал замеченный камень, очень осторожно подкрался, но страшного барса под этим камнем уже не было.

Я обошел еще все это место кругом и сел отдохнуть. На досуге стал я разглядывать одну запыленную плиту горного сланца и ясно увидел на пыли отпечаток мягкой лапы красивого зверя.

Тигры и барсы ходят часто по хребтам и высматривают оттуда свою добычу. И в этом следу не было ничего особенного. Посмотрел я на след и пошел дальше.

Через некоторое время, поискав еще барса, я случайно пришел на то же самое место, опять сел возле той же самой плиты и опять стал разглядывать след. И вдруг я заметил рядом с отпечатком барсовой лапы другой, еще более отчетливый. Мало того, на этом следу, приглядываясь против солнца, я увидел — торчали две иголки, и я узнал в них шерстки от барсовой лапы. Солнце за время моего обхода, конечно, стало немного под другим углом посылать свои лучи на плиту, и я мог тогда, в первый раз, легко пропустить второй след барса, но шерстинок я не мог пропустить. Значит, шерсть явилась во время моего второго обхода. Это было согласно с тем, что приходилось слышать о повадках тигра и барса, это их постоянный прием — заходить в спину преследующего их человека.

Теперь нечего было терять время. Быстро я спустился к Лувену, рассказал ему все, и мы с ним вместе пришли на хребет, где барс крался за мной. Там обошли мы с ним вместе, разглядывая каждый камень, еще раз дважды мной пройденный круг.

Против плиты, чтобы скрыть свой след, при помощи длинной палки я прыгнул вниз, еще раз

прыгнул, до первого кустика, и там притаился и утвердил хорошо на камнях дуло своей винтовки и локти. Лувен продолжал свой путь по тому же самому кругу.

Не много пришлось мне ждать. На голубом фоне неба я увидел черный облик ползущего зверя. Громадная кошка ползла за Лувеном, не подозревая, что я на нее смотрю через прорезь винтовки. Лувен, конечно, если бы даже и глядел назад, ничего бы не мог заметить.

Когда барс подполз к плите, встал на нее, приподнялся, чтобы поверх большого камня посмотреть на Лувена, я приготовился. Казалось, барс, увидев одного человека вместо двух, растерялся, как бы спрашивая окрестности: "Где же другой?" И когда, все кругом расспросив, он подозрительно посмотрел на мой куст, я нажал спуск.

Какой прекрасный ковер мы добыли! Зверь этот ведь у нас на Дальнем Востоке совсем неверно называется почему-то барсом и даже мало похож на кавказского барса: этот зверь есть леопард, ближайший родственник тигра, и шкура его необыкновенно красива.

— Хорошо, хорошо! — радостно говорил Лувен, оглаживая роскошный ковер. — Олень-цветок и барс — это вместе нельзя жить.

Кавказские рассказы

Желтая круча

В заповеднике на Северном Кавказе любимейшее мое место — это Желтая круча, где собирается очень много разных зверей, особенно кабанов. Эта круча, сложенная из желтого песку, глины и гальки, высится над долиной не менее как метров на пятьсот и неустанно осыпается. Далеко можно слышать шум рассыпающейся горы, а когда ближе подойдешь, то и глазами прямо видишь, как скачут камни с высоты вниз. Дорожка, по которой проходишь к Желтой круче, теперь у самого края пропасти, а пятнадцать лет тому назад была в трех метрах от края. Так вот, значит, за пятнадцать лет рассыпался пласт горы, толщиной в три метра — это немало!

Я пришел сюда впервые с двумя охотниками, один был замечательный рассказчик и шутник Люль, другой Гарун, очень молчаливый человек, зато основательный и до крайности честный и верный. Мы пришли к самому краю горы и сели под деревом, корни которого обнажились и, как длинные косы, висели над бездной. Все трое мы довольно долго молчали. Мертвая гора жила своей шумной жизнью, а мы, живые, притихнув, молчали, и звери тоже; множество разных зверей скрывалось в окружающем лесу, спали кабаны, мирно паслись олени и козы. Заметив несколько коз внизу, я спросил Люля:

— Как это козы вон там пасутся и не боятся шума?

— Коза хорошо понимает камень, — ответил Люль. — Для того камень падает, чтобы коза не дремала и всегда помнила: не тут ли где-нибудь Люль?

Этим и начались рассказы Люля возле Желтой кручи, но только на таком русском языке, что мне больше приходилось догадываться, связывая те или другие понятные слова, больше самому сочинять, чем прямо брать от рассказчика. В особенности трудно мне было понять значение слов какого-то магнита и какого-то дерманта, обозначавших какие-то силы. Да, я понимал, что это силы, но различия между магнитом и дермантом не мог себе уяснить, и для этого Люль вынужден был дать мне примеры и случаи из своей охотничьей жизни, по которым я бы мог догадаться, чем отличаются между собой силы магнит и дермант.

Саид

— Значит, — сказал я, — магнит — это сила, но что же такое дермант?

— И дермант — тоже сила, — ответил Люль.

И рассказал один случай из своих охот на медведей вместе с Саидом. Было это на узкой горной тропе. Саид стал в начале тропы, а Люль по ней перешел над пропастью, чтобы выгнать медведя на эту тропу к Саиду. Долго ждал Саид и не вытерпел: стал осторожно перебираться по тропе на ту сторону, к Люлю. И только доходит до середины, медведь тоже сюда лезет — и двум уж тут, на узкой тропе, не разойтись. Не успел выправить винтовку, медведь обхватил Саида лапами, впустил когти в спину, стал прижимать к скале. Саид спрятал голову у медведя под лапой, как птица под крыло, и впустил в него кинжал по самую рукоятку. Медведь заревел и так сильно вздрогнул, что не удержался на тропе и покатился вниз в обнимку с Саидом. Пока вниз катились, медведь кончился, но когтей из спины человека не выпустил. Люль все видел, сел у пропасти, воет и стонет. А Саид и слышит, как плачет Люль, хочет крикнуть и не может: очень ему плохо. После, когда Люль спустился и понял, что жив Саид, пришлось каждый коготь медведя из спины Саида вырезать ножиком, и Саид ни разу не застонал. И целую неделю потом у костра Люль сидел и поворачивал Саида к огню. Так Саид мучился, так метался в жару, но ни разу не простонал. Через неделю Саид встал и пошел. И это, значит, в нем был дермант.

Басни Крылова

Бывает, рассказывал Люль, что человек самый умный, самый образованный, даже басни Крылова знает, а нет магнита, и нет ему на охоте удачи никогда. Раз, было, приехал такой гость к Саиду из Москвы на охоту самую опасную, на кабана. Гость подумал: зачем ему лезть на клыки? Он ведь знал басню Крылова и по басне. Знал, что свинья не может глядеть вверх, а если бы могла, то знала бы, на дубу висят желуди, — и не стала бы подрывать дерево, откуда ей падает пища. Так сказано в басне, и, вспомнив Крылова, гость велел себе устроить помост на дереве и сел туда. Вокруг дерева Люль густо сыпал зернами кукурузы, до которой кабаны большие охотники. Люль хорошо знал, где проходит самый большой гурт кабанов, и стал там нажимать и завертывать свиней к дереву, на котором сидел ученый человек. Люль нажимал только тем, что ломал тонкие сучки на кустах. Услыхав этот треск, первый гуртовой секач, Боа, остановился, сделал свое кабанье "ш-ш!" и повел весь гурт в сторону ученого. И как только Боа увидал кукурузу, он сейчас же подумал об опасности, поднял голову, встретился с глазами профессора, сделал "ш-ш-ш!" и все огромное стадо понеслось обратно в чащу.

Оказалось, в басне свиньи не могут смотреть вверх, а в жизни глядят. Профессор знал только басни...

— Что же это, — спросил я Люля, — у профессора не было, значит, магнита?

Люль ответил:

— У этого ученого ни магнита не было, ни дерманта.

"Рыцарь"

Однажды к Саиду приехало много отличных военных охотников, и среди них был художник. Все военные, само собой, были наездники, а художник верхом никогда не ездил. Но ему было стыдно сказать военным, что на коня он никогда не садился.

— Поезжайте, — сказал он им, — а я вас догоню.

Все уехали, и, когда скрылись из глаз, художник подходит к своему коню, как его учили, с левой стороны, и это было правильно, — с левой; а вот ногу он поставил в стремя неправильно: ему надо было левую ногу поставить, он же сунул правую в стремя и прыгнул. И, конечно, прыгнув с правой ноги, он повернулся в воздухе и очутился на лошади лицом к хвосту. Конь был не особенно горячий, но какой же конь выдержит, если всадник, чтобы удержать равновесие, схватился за хвост! Конь во весь карьер бросился догонять охотников, и скоро военные люди с изумлением увидели необыкновенного всадника, скачущего лицом к задку и управляющего конем посредством хвоста.

— Это рассеянность, — сказал я Люлю, — подобный случай был с рыцарем Дон-Кихотом, когда конь его представил обратно в конюшню. Автору следовало бы посадить рыцаря с левой ноги. Это просто рассеянность, при чем же тут магнит и дермант?

— Нет, это не рассеянность, — сказал Люль, — у него не хватило дерманта сказать военным правду, что на лошадь он никогда не садился. Никакого магнита не нужно, чтобы сказать людям правду, но дермант нужен, и это единственный путь к правде — через дермант.

Мужество

При последнем рассказе Люля о малодушном художнике мне стала, наконец, проясняться разница между силой магнита и силой дерманта, а тут совсем неожиданно заговорил Гарун, и русское слово для обозначения силы дерманта наконец-то явилось. Выслушав последний рассказ Люля, Гарун сказал:

— Если человек здоровый и может бороться с медведем, то это просто магнит, а если человек нездоров и все-таки может бороться...

— Больной с медведем не может бороться, — перебил его Люль.

— Я не говорю, что с медведем, — сказал Гарун. — Человек может с самим собой бороться больше, чем с медведем.

И он рассказал нам подробно, как делали ему операцию в животе. Доктор велел ему вдыхать газ.

— Зачем газ? — спросил Гарун.

— Чтобы не больно, сказал доктор.

— Не хочу газ, хочу понимать.

— Трудно терпеть.

— Могу все терпеть.

Стали резать. Было холодно. После стало жарко. После слезы, много слез. А легче...

— Кончили? — прошептал Гарун.

— Да, мы кончаем.

— Покажи!

Показали красный кусочек кишки.

Гарун поднял голову и увидел весь свой вскрытый живот: там кишки были синие.

— Зачем там синий, а тут кишка красный?

— Красный кусок — больной кусок.

После того Гарун стал слабеть и спрашивать больше ничего не мог. Он лежал, как мертвый, и все говорили вслух, как будто он ничего больше не мог понимать. Он же все слышал и понимал. Дверь отворилась, чей-то голос спросил:

— Жив?

— Еще жив, — сказал доктор.

Когда укладывали на носилки, ничего не слышал, но когда понесли, слышал.

В коридоре кто-то сказал:

— Кончается?

— Плох, но еще жив.

В это время Гарун сказать не мог ничего и пошевелиться и дать знать рукой не мог. Если бы мог он в ту минуту сказать! Если бы мог, он сказал бы тогда докторам:

— Гарун будет жив!

И остался Гарун жив, и убивает много кабанов и медведей.

— Вот она, — воскликнул Люль, — вот она, сила дермант!

И все стало совершенно понятно: магнит — это просто сила, а дермант значит мужество. Стали понятны также и слова Люля о том, что дермант (мужество) — единственный путь к правде.

Гость

На Кавказе гость считается лицом самым уважаемым.

"Вот. — подумал я, — жить бы так и жить: ты ничего не делаешь, а за тобой все ухаживают".

— Неужели, — спросил я Люля, — каждого гостя везде на Кавказе принимают с почетом?..

— Каждого гостя, — ответил Люль, — на всем Кавказе принимают с большим почетом.

— И сколько времени он так может гостить?

— Три сутки, — ответил Люль, — гость может гостить.

— Разве только трое суток? — удивился я. — А как же быть с гостем, если ему после трех суток захочется еще сколько-нибудь пожить?

— После три сутки гость должен объяснить, зачем он пришел.

— И когда объяснит?..

— Когда объяснит, то, конечно, еще может жить.

— Долго ли?

— Если у хозяина есть время ухаживать, гость может жить сколько захочется.

— А если времени нет?

— Тогда извини, пожалуйста!

— Так и говорят гостю прямо: "Извините"?..

— Прямо гостю этого нельзя говорить. У всякого хозяина для гостя есть свои слова. Если я не могу за гостем больше ухаживать, то рано утром иду в конюшню и хорошо кормлю коня моего гостя и хорошо его чищу. После того бужу гостя и хорошо его угощаю, ставлю все: шашлык, буза, чихирь, айран. Когда гость бывает сыт, он понимает: никакого нет праздника, а я так его угостил, — значит, надо уезжать. Гость встает, благодарит меня и отправляется в конюшню.

— Хорошо, — сказал я, — если гость поймет, а если он наестся и опять ляжет спать, что тогда делать?

— Пускай спит. А когда проснется, я возьму его за руку и поведу в свой сад. Птичка прилетает в мой сад и улетает. Когда птичка прилетает, я показываю на нее гостю и говорю: "Смотри, вот птичка прилетела!" А когда птичка улетает, я говорю: "Смотри, птичка улетела!" Сучок после птички качается, гость смотрит, а я говорю: "Птичка знает время, когда ей прилететь и когда улететь, а человек этого часто не знает. Почему человек не знает?" После этого всякий гость прощается и уходит за конем в конюшню.

Колобок

В раннем детстве любил я огромное кресло, носившее странное название «Курым». За это кресло меня прозвали Курымушкой. Прозвище долго мучило и злило меня, пока, наконец, я не поумнел и не понял, что злиться и драться нехорошо. И как только я это понял и перестал злиться, так вскоре все и перестали меня дразнить Курымушкой.

Моя мать, еще молодая, в сорок лет осталась вдовой с пятью малыми ребятами на руках. Она должна была каждый день вставать до восхода солнца. Очень рано, далеко до восхода, няня моя должна была для нее приготовить самовар и вскипятить молоко в глиняном горшочке. Сверху этот горшочек всегда покрывался румяной пенкой, и под этой пенкой наверху было необыкновенно вкусное молоко, и чай от него делался прекрасным. Я однажды случайно встал тоже до солнца, чтобы на заре расставить силки на перепелок. Мать угостила меня этим своим чаем, и такое угощение решило мою жизнь в хорошую сторону: я начал, как мать, вставать до солнца, чтобы напиться с ней вкусного чаю.

Мало-помалу я к этому утреннему вставанию так привык, что уже и не мог проспать восхода солнца.

После чаю мать моя садилась в дрожки и уезжала в поле. Я же уходил на охоту за перепелками, скворцами, соловьями, кузнечиками, горlinkами, бабочками. Ружья тогда у меня не было, но и теперь ружье в моей охоте не обязательно. Моя охота была и тогда и теперь в находках: нужно было найти в природе такое, чего я еще не видал и, может быть, никто еще в

жизни своей с этим не встречался Перепелку-самку надо было силками поймать такую, чтобы она лучше всех подзывала самца, а самца сетью поймать самого голосистого. Тоже и соловья молодого надо было кормить муравьиными яичками, чтобы он потом пел лучше всех. А подика, найди такой муравейник, подика, ухитрись набить мешок этими яйцами и потом отманить муравьев на ветки от своих драгоценных личинок. Хозяйство мое было большое, тропы бесчисленные. Но и теперь, ночью, когда не спится, чтобы заснуть, я представляю себе в закрытых глазах с точностью все тропинки, все овражки, и камушки, и канавки, и хожу по ним, пока не усну.

Особым видом моей охоты была охота за яблоками, грушами, ягодами. К нашему большому саду примыкали сады других владельцев, и так они тянулись очень далеко. Все эти сады сдавались в аренду, и их стерегли страшные караульщики. Охота была очень опасная, но особенно интересная. Добычу забирали я в пазуху и такими «пазухами» ссыпал в амбар. В полднях после обеда, когда мать ложилась отдыхать, я приходил под амбар к своей добыче. Тут на послеобеденный отдых собирались в тень и прохладу все работники, и начинался между нами обмен. Я им давал яблоки, они мне платили за это, кто чем мог: кто сетку сплетет, кто дудочку-жалейку соберет из тростника и коровьего рога, кто поймает горlinkу, кто кузнечиков-трескунков с красными и голубыми крыльями. Но главное, чем они мне платили, было в их рассказах и сказках о какой-то чудесной стране в Золотых горах и на Белых водах.

Сказка эта о чудесной стране рождалась в крестьянском горе. Дело было в том, что у них было мало земли, и эта земля тоже все уменьшалась, потому что новые люди рождались, а кругом земля была помещичья. Вот тогда от большой нужды и горя разведчики из крестьян — ходоки — начали отправляться в Сибирь и потом сманивать наших бедных крестьян туда своими рассказами о чудесной стране Алтае в Золотых горах. Конечно, я расспрашивал о чудесной стране во всех подробностях, и мне выдумывали умелые рассказчики всякий вздор. Только один мужичок, маленький и очень добрый, по прозвищу Гусек, никогда не врал о чудесной стране, а показывал мне настоящие чудеса. Это он научил меня ловить сеткой перепелов, выкармливать молодых соловьев, учить разговору скворцов, разводить голубей-турманов и тысячам-тысяч всяких чудес. Самое главное, чему я у него выучился, это пониманию, что все птицы разные, и зайцы, и кузнечики, и все животные существа тоже, как люди, между собой отличаются, что у них тоже, как у нас, если он Иван, то так он и есть Иван, Петр — это уже другой. Так и воробьи тоже у него были все разные, и он мог это видеть, и это главное, чему я у него выучился.

Гусек был самый бедный мужичок. Он много времени отдавал всяким своим охотам, ловле перепелов, разведению голубей, пчел и всяким охотничьим опытам. Он был всегда радостный и не мечтал о чудесной стране в Золотых горах: его чудесная страна была его родина, тут у нас, в селе Хрущево Елецкого уезда Орловской губернии. Вот этому простому чувству родины своей я тогда еще не мог у него научиться и тоже вместе с другими обыкновенными мужиками мечтал о чудесной стране в Золотых горах.

В девять лет я уже был такой же охотник, как и теперь, конечно, только без нынешнего опыта. Мне бы учиться еще и учиться у Гуська пониманию природы больше и больше. Но мать моя видела вперед, что на этом пути мое положение в будущем будет не лучше, чем у беднейшего из крестьян Гуська. И мать увезла меня в Елец и отдала в классическую гимназию учиться латинскому языку, русскому, арифметике и географии.

Учился я старательно, только учителя меня признавали «рассеянным». Они не знали, что я не мог быть хорошим учеником потому, что и днем, и ночью во сне, и во время занятий по арифметике, и латинского, и географии неотступно думал о том, как бы и мне вместе с мужиками убежать в чудесную страну в Золотых горах. Через год такой упорной думы я нашел

себе четырех товарищей, и мы уехали на лодке по реке быстрой Сосне в Тихий Дон, намереваясь так попасть в Золотые горы в Азии. Через несколько дней нас поймали, и я понял, что чудесная страна — это что самому хочется, а учиться — надо. Так я потом и учился и жил, будто раскладывая нажитое в два ящика: в один ящик я копил то, что надо, а в другой складывал на будущее то, что себе хочется.

Конечно, я не раз срывался с этого пути: когда надо было жить, как надо, я поступал, как мне хочется. Но от этого неизменно получалось несчастье, как в гимназии, когда надо мной издевались и дразнили: "поехал в Азию, приехал в гимназию". Мало-помалу, однако, я хорошо усвоил себе, что непременно надо окончить среднее учебное заведение, и потом высшее, и практически усвоить свою специальность. Все это я добросовестно сделал и, наконец, в один действительно прекрасный день своей жизни понял, что я все кончил, что я готов, что я выполнил все, что надо, и теперь могу свободно жить, как мне хочется.

Вот тогда я купил себе ружье, удочки, котелок. Вспомнилось мне тогда, как учителя мои под амбаром рассказывали о каком-то волшебном колобке: колобок катится, а человек идет за ним в какую-то чудесную страну, в Золотые горы. Так я и пошел на Север за колобком в край непуганых птиц. Было это полвека тому назад. Там, на Севере, я записывал сказки, и это было точно то же самое, что делал я в детстве своем под амбаром. Только тогда я все в себя складывал, а теперь я сам стал складывать сказки и отдавать их на пользу людям, и мне стало от этого хорошо, я до страсти полюбил свое дело.

У росстани

В некотором царстве, в некотором государстве жить людям стало плохо, и они стали разбегаться в разные стороны. Меня тоже потянуло куда-то.

— Бабушка, — сказал я, — испеки ты мне волшебный колобок, пусть он уведет меня в леса дремучие, за синие моря, за океаны.

Бабушка взяла крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела, набрала муки пригоршни с две и сделала веселый колобок. Он полежал, полежал, да вдруг и покатился с окна на лавку, с лавки на пол, по полу да к дверям, перепрыгнул через порог в сени, из сеней на крыльцо, с крыльца на двор, со двора за ворота — дальше, дальше...

У росстани остановился колобок. А я сел на камень и осмотрелся. Впереди меня на берегу плачет последняя березка, позади город — узкая полоска домов между синей тундрой и Белым морем. Направо морской путь в Ледовитый океан, налево береговая тропинка лесами к Соловецким островам: ее протоптали богомольцы в монастырь. Куда поведет колобок: направо — в море, или налево в лес?

Хотелось бы мне идти с моряками. Но море чужое мне. А по тропинке лес, родной. И в лес тянет меня волшебный колобок.

Направо или налево, не могу я решить. Вижу, идет мимо старичок. Попытаю его.

— Здравствуй, дедушка!

Старик останавливается, удивляется мне, не похожему ни на странника, ни на барина-чиновника, ни на моряка.

Спрашивает:

— Куда ты идешь?

— Иду, дедушка, везде, куда путь лежит, куда птица летит. Сам не ведаю, куда глаза глядят.

— Дела пытаешь или от дела пытаешь?

— Попадется дело — рад делу, но только, вернее, от дела лытаю.

— Ишь ты, — старик качает головой, — дела да случаи всех примучили, вот и разбегается народ...

— Укажи мне, дедушка, землю, — прошу я, — где не перевелись бабушки-задворенки, Кощеи Бессмертные и Марьи Моревны?

— Поезжай в Дураково, — отвечает старик: — нет глуше места.

"Шустрый дед!" — подумал я, собираясь ответить смешно и необидно. И вдруг сам увидел на своей карманной карте Дураково — беломорскую деревню против Соловецких островов.

— Дураково! — воскликнул я. — Вот Дураково!

— Ты думал, я шучу? — улыбнулся старик. — Дураково есть у нас, самое глухое и самое глупое место.

Дураково мне почему-то понравилось; я даже обиделся, что старик назвал деревню глупой. Она так называется, конечно, потому, что в ней Иванушки-дурачки живут. А только ничего не понимающий человек назовет Иванушку глупым.

Я подумал о лесных тропинках, протоптанных странниками, о ручьях, где можно поймать рыбу и тут же сварить ее в котелке, об охоте на разных незнакомых мне морских птиц и зверей.

— Подожди немного на камне, — сказал дед, — кажется, здесь есть дураковцы, они лучше меня расскажут. Если тут, я их к тебе пришлю. Счастливый путь!

Через минуту вместо старика пришел молодой человек, с ружьем и с котомкой.

Он заговорил не ртом, казалось мне, а глазами — такие они у него были ясные и простые.

— Барин, раздели наше море! — были его первые слова.

Я изумился. Я только сейчас думал о невозможности разделить море и тем даже объяснил себе преимущества северных людей: земля дробится, но море неделимо.

— Как же я могу разделить море? Это только Никита Кожемяка со Змеем Горынычем делили, да и то у них ничего не вышло.

В ответ он подал бумагу. Дело шло о разделе семужных тонь с соседней деревней.

Нужен был начальник, но в Дураково ехать никто не хотел.

— Барин, — продолжал упрашивать меня деревенский ходок, — не смотри ты ни на кого, раздели ты сам.

Я понял, что меня принимают за важное лицо. В северном народе, я знал, существует легенда

о том, что иногда люди необычайной власти принимают на себя образ простых странников и так узнают жизнь народа. Я знал это поверье, распространенное по всему свету, и понял, что теперь конец мне.

Я по опыту знал, что стоит только деревне в страннике заподозрить начальство, как мгновенно исчезнут все бабушки-заворенки, сам перестанешь верить в свое дело, и колобок останавливается. Я стал из всех сил уверять Алексея, что я — не начальство, что иду я за сказками: объяснил ему, зачем это мне нужно.

Алексей сказал, что понял, и я поверил его открытым, чистым глазам.

Потом мы с ним отдохнули, закусили и пошли. Колобок покатился и запел свою песенку:

*Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел.*

Лес

Шли мы долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли, — добрались до деревушки Сюзьма. Здесь мы простились с Алексеем. Он пошел вперед, а я не надеялся на свои ноги и просил прислать за мной лодку в Красные Горы деревню у самого моря по эту сторону Унской губы. Мы расстались; я отдохнул день и пошел в Красные Горы.

Путь мой лежал по краю лесов и моря. Тут место борьбы, страданий. На одинокие сосны страшно и больно смотреть. Они еще живые, но изуродованы ветром, они будто бабочки с оборванными крыльями. А иногда деревья срastaются в густую чашу, встречают полярный ветер, пригибаются в сторону земли, стонут, но стоят и выращивают под своей защитой стройные зеленые ели и чистые прямые березки. Высокий берег Белого моря кажется щетинистым хребтом какого-то северного зверя. Тут много погибших, почерневших стволов, о которые стучит нога, как о крышку гроба; есть совсем пустые черные места. Тут много могил. Но я о них не думал. Когда я шел, не было битвы, была весна: березки, пригнутые к земле, поднимали зеленые головки, сосны вытягивались, выпрямлялись.

Мне нужно было добывать себе пищу, и я увлекся охотой, как серьезным жизненным делом. В лесу на пустых полянках мне попадались красивые кроншнепы, перелетали стайки турухтанов. Но больше всего мне нравилось подкрадываться к незнакомым морским птицам. Издали я замечал спокойные, то белые, то черные головки. Тогда я снимал свою котомку, оставлял ее где-нибудь под заметной сосной или камнем и полз. Я полз иногда версту и две; воздух на севере прозрачный, я замечал птицу далеко и часто обманывался в расстоянии. Я растирал себе в кровь руки и колени о песок, об острые камни, о колючие сучки, но ничего не замечал. Ползти на неизвестное расстояние к незнакомым птицам — вот высочайшее наслаждение охотника, вот граница, где эта невинная, смешная забава переходит в серьезную страсть.

Я ползу совсем один под небом и солнцем к морю, но ничего этого не замечаю потому, что так много всего этого в себе; я ползу, как зверь, и только слышу, как больно и громко стучит сердце. Вот на пути протягивается ко мне какая-то наивная зеленая веточка, тянется, вероятно, с любовью и лаской, но я ее тихонько, осторожно отвожу, пригибаю к земле и хочу неслышно сломать. И будто стонет она... Я страшно пугаюсь, ложусь вплотную к земле, думаю: все пропало, птицы улетели. Потом осторожно гляжу вверх. Все спокойно; больные сосны на солнце, ослепительно сверкает зелень северных березок; все тихо, все молчит. Я ползу дальше к намеченному камню, готовлю ружье, взвожу курки и медленно выглядываю из-за камня, скрывая ружье в мягком ягеле.

Иногда в четырех-пяти шагах перед собой я вижу больших незнакомых птиц. Одни спят на одной ноге, другие купаются в море, третьи просто глядят на небо одним глазом, повернув туда голову. Раз я так подкрался к задремавшему на камне орлу, раз — к семье лебедей.

Мне страшно шевельнуться, я не решаюсь направить ружье в спящую птицу. Я смотрю на них, пока какое-нибудь нечаянное движение, под влиянием какого-нибудь горького воспоминания не обломит под локтем сучок и все птицы со страшным шумом, плеском, хлопаньем крыльев не разлетятся в разные стороны. Я не сожалею, не сержусь на себя за свой промах и радуюсь, что я здесь один, что этого никто не видел из моих товарищей-охотников. Но иногда я убиваю. Пока птица еще не в моих руках, я чем-то наслаждаюсь еще, а когда беру в руки, то все проходит. Бывают тяжелые случаи, когда птица не дострелена. Тогда я иногда начинаю думать о своей страсти к охоте и природе как о чем-то очень нехорошем... Я так размышляю, но мне на дороге попадаются новые птицы; я забываю то, о чем думал минутой раньше.

Красные горы

В одном из черных домиков у моря, под сосной с сухой вершиной, живет бабушка-задворенка. Ее избушка называется почтовой станцией, и обязанность старушки — охранять проезжих чиновников. Онежский почтовый тракт с этого места уходит на юг, а мой путь — на север, через Унскую губу. Только отсюда начинаются самые глухие места. Я хочу в ожидании лодки отдохнуть у бабушки, изжарить птицу и закусить.

— Бабушка, — прошу я, — дай мне сковородку, птицу изжарить.

Но она отшвыривает мою птицу ногой и шипит:

— Мало вас тут шатается! Не дам, прожгешь.

Я вспоминаю предупреждение Алексея. "Где хочешь живи, но не селись ты на почтовой станции, — съест тебя злая старуха", и раскаиваюсь, что пришел к ней.

— Ах ты, баба-Яга, костяная твоя нога!

За это она меня вовсе гонит — под тем предлогом, что с часу на час должен приехать генерал и занять помещение. Генерал же едет в Дураково, море делить.

Я не успел открыть рот от изумления и досады, как старуха, посмотрев в окно, вдруг сказала:

— Да, вишь, и приехали за генералом. Вон идут с моря. Алексей прислал. Ступай-ка, ступай, батюшка, куда шел.

А потом еще раз оглядела меня и ахнула:

— Да уж не сам ли ты генерал?!

— Нет, нет, бабушка, — спешу я ответить, — я не генерал, а только лодка эта за мной послана.

— Ин и есть! Вот так и ну! Прости меня, ваше превосходительство, старуху! За политика тебя приняла: нынче все политику везут. Сила несметная, — все лето везут и везут... Марьюшка, ощибли ты поскорей курочек, а я яишенку поставлю.

Я умоляю бабушку мне поверить. Но она не верит: я настоящий генерал; я уже вижу, как усердно начинают щипать для меня кур.

Тут вошли три помора и две женки — экипаж поморской почтовой лодки. Старый дед-кормщик, его так и зовут все «коршик», остальные — гребцы: обе женки с грубыми, обветренными лицами, потом "Мужичок-с-ноготок — борода с локоток" и молодой парень, белокурый, невинный, совсем Иванушка-дурачок.

Я генерал, но все здороваются со мной за руку, все усаживаются на лавку и едят вместе со мной яичницу и птицу. А потом Мужичок-с-ноготок, не обращая на меня внимания, сыплет свои прибаутки женке, похожей на бомбу, начиненную смехом. Мужичок болтает, бомба лопается и приговаривает: "Ой, одолил, Степан! Степаны сказки хлебны, скоромны. Вот бородку вокруг кулака обмотаю, да и выдерну".

Но как же это, ведь я же генерал? Даже обидно. Или уже это начинается та страна, где не ступала нога начальства, где люди живут, как птицы у берега моря?

— Приезжай, приезжай, — говорят все, — у нас хороший, приемистый народ. Живем мы у моря. Живем в стороне, летом семушку ловим, зимой зверя промышляем. Народ наш тихий, смиренный; ни в нем злости, ни в нем обиды. Народ, что тюлень. Приезжай.

Сидим, болтаем; близится вечер и белая ночь у Белого моря. Мне начинает казаться, что я подполз совсем близко к птицам у берега, высунулся из-за белого камня, как черная муравьиная кочка, и никто не знает кругом, что это не кочка, а злой зверь.

Степан начинает рассказывать длинную сказку про златоперого ерша.

Море

Мы выедем только на рассвете "полой водой" (во время прилива). Каждые шесть часов на Белом море вода прибывает и потом шесть часов убывает. "По сухой воде" (во время отлива) наша лодка где-то не проходит.

С каждым днем светлеют все ночи, потому что я еду на север и потому что время идет. Каждую такую ночь я встречаю с любопытством, и даже особая тревога и бессонница этих ночей меня не смущают. Спать привыкаю днем.

Мужичок-с-ноготок журчит свою сказку. Мне и сказка интересна, и туда тянет, за стены избушки. Море, хотя и с той стороны избушки, но я угадываю, что там делается, по золотой луже на дороге.

— Солнце у вас садится? — перебиваю я сказку.

— Почитай, что и не закатается: уткнется, как утка, в воду — и наверх.

И опять журчит сказка и блестит лужица. Кто-то слышно, спит.

— Да вы спите, крещеные? — останавливается рассказчик.

— Нет, нет, нет, рассказывай, мани, старик!

— Ай еще потешить вас сказочкой? Есть сказочка чудесная, есть в ней дивы-дивные, чуды-чудные.

— Мани, мани, старик!

Все по-прежнему журчит сказочка.

Захрапел старый дед, свесил голову Иванушка, уснула женка, уснула другая.

— Все уснули, крещенные? — опять окликает Мужичок-с-ноготок.

— Нет, я не сплю, рассказывай.

— Проехал черный всадник, и конь черный, и сбруя черная...

Засыпает и рассказчик, чуть бормочет. Еле слышно... Дремлю и я... Дремлю и слушаю. Из одной бабушки-задворенки делается у меня четыре, из каждого угла глядит черная злая колдунья.

Пробежала Зорька, Вечерка, Полуночка. Проехал белый всадник, и конь белый, и сбруя белая...

Спихватился рассказчик:

— Вставайте, крещенные, вода прибывает, вставайте! Пошлет господь поветрь, в лодке уснете.

Мы тихо идем по песку к морю. Рассыпалась деревенька черными комочками на песке, провожает нас.

— Спите, спите, добрые, мы свои, — отвечаем мы.

— Тишинка! — шепчет женка.

— Краса! — отвечает Иванушка.

Задумалась женка, забыла свое некрасивое лицо, в лодке улетела по цветным полоскам и, прекрасная, засияла во все море и небо. Стукнул веслом Иванушка, разбудил в воде огнистые зыбульки.

— Зыбульки зыбаются...

— А там парус, судно бежит!

Все смеются надо мной.

— Не парус, это чайка уснула на камне.

Подъезжаем к ней. Она лениво потягивается крыльями, зеваает и летит далеко-далеко в море. Летит, будто знает, зачем и куда. Но куда же она летит? Есть там другой камень? Нет... Там дальше морская глубина...

Что это? Прозвенела светлая, острая стрела?... Или это наши южные степи сюда, на север, откликнулись?

— Что это, крещенные?

— Журавли проснулись.

— А там что, наверху?

— Гагара вопит.

— Там?

— Кривки на песочке накликают.

Протянулись веревочкой гуси, строгие, старые, в черном, один за другим, все туда, где исчезла таинственной темной точкой белая чайка.

Потом повалили несметными стаями гаги, утки, чайки. Но странно, все туда, в одном направлении, где горит общий край моря и неба. Летят молча, только крылья шумят.

Зашумели, закричали со всех сторон птицы, рассыпались несметные стаи возле самой лодки, — говорливые, болтливые, совсем как деревенские девушки в праздник. Танцуют, прыгают, ликуют золотые, синие, зеленые зыбульки. Шутит забавный Мужичок-с-ноготок с женкой. И где-то далеко у берега умирает прибой.

— Ивашенько, Ивашенько, выдь на бережочек, — зовут с берега горки, сосны и камни.

— Челнок, челнок, плыви дальшенко, — улыбается рассеянно Иванушка и ловит веслами смешные огнистые зыбульки. Женки затаили старинную русскую песню про лебедь белую, про травушку и муравушку. Ветер подхватывает песнь, треплет ее вместе с парусом, перепутывает ее с огненными зыбулками. Лодка колышется на волнах, как люлька. Все добродушней, ленивей становится мысль.

— Чайку бы...

— Можно, можно... Женки, грейте самовар!

Разводят самовар, готовится чаепитие на лодке, на море. Чарка обошла круговую, остановилась на женках. Немножко поломались и выпили. Много ли нужно для счастья! Сейчас, в эти минуты, я ничего для себя не желаю.

— А ты, Иванушка? Есть у тебя Марья Моревна?

Глупый царевич не понимает.

— Ну, любовь. Любишь ты?

Все не понимает. Я вспоминаю, что на языке простого народа любовь нехорошее слово: оно выражает грубо-чувственную сторону, а самая тайна остается тайной без слов. От этой тайны пылают щеки деревенской красавицы, такими тихими и интимными становятся грубые, неуклюжие парни. Но словом не выражается. Где-нибудь в песне еще прозвучит, но так, в обычной жизни слово «любовь» нехорошо и обидно.

— Жениться собираешься? Есть невеста?

— Есть, да у таты все не готово. Изба не покрыта. В подмоге не сходятся.

Женки наши слышат, сожалеют Иванушку. Времена настали худые, семги все меньше, а подмоги все больше. В прежние годы много легче было: за Катерину десятку дали, а Павлу и вовсе за три рубля купили и пропили.

— Дорогая Марья Моревна?

— Голой рукой не возьмешь, разве убогом.

— Вот, вот, — подхватываю я, — надо украсть Марью Моревну.

— Поди-ка, украдь, как ночи светлые. Попробовал один у нас красть, да поймали, да все изодрались. Потемнеет осенью, может быть, и украду.

Так я и знал, так и думал про эти светлые бестелесные северные ночи.

Усталость! Страшная усталость! Как бы хорошо теперь заснуть нашей темной южной ночью! Бай-бай... — качает море.

Склоняется темная красавица со звездами и месяцем в тяжелой косе.

Усни, глазок, усни, другой!

Я вздрагиваю. Совсем близко от нас показывается из воды большая серебряная спина, куда-куда больше нашей лодки. Чудовище проводит светлую дугу над водой и опять исчезает.

— Что это? Белуха? — неуверенно спрашиваю я.

— Она, она. Ух! И там!

— И там! И там! Что лед! Воду сушит!

Я знаю, что это огромный северный зверь из породы дельфинов, что он не опасен. Но если вынырнет совсем возле лодки, зацепит случайно хвостом?..

— Ничего, ничего, — успокаивают меня спутники, — так не бывает.

Они все, перебивая друг друга, рассказывают мне, как они ловят этих зверей. Когда вот так, как теперь, засверкают на солнце серебряные спины, все в деревне бросаются на берег. Каждый приносит по две крепких сети, и из всех этих частей сшивают длинную, больше трех верст, сеть. В море выезжает целый флот лодок: женщины, мужчины, старые, молодые — все тут. Когда белуха запутается, ее принимают на кутило (гарпун).

— Веселое дело! Тут и женок купают, тут и зверя быют. Смеху, граю! И женки тоже не промах, тоже колют белух, умеют расправиться.

Как же это красиво! Какая сказочная, фантастическая битва на море...

Ветер быстро гонит нашу лодку по морю вдоль берега. Иванушка перестал помогать веслами, задремал у борта. Женки лежат давно уже одна возле другой на дне лодки, у потухшего самовара. Мужичок-с-ноготок перебрался к носу и так и влип там в черную смолу.

Не спит только кормщик, молчаливый северный старик. Возле кормы на лодке устроен небольшой навес от дождя, «заборница», вроде кузова на нашей дорожной таратайке. Туда можно забраться, лечь на сено и дремать. Я устраиваюсь там, дремлю. Иногда вижу бородатого мужика и блески от серебряных зверей, а иногда ничего, — какие-то красные огоньки и искры во тьме под навесом.

Сказки и белые ночи и вся эта бродячая жизнь запутали даже и холодный, рассудочный, северный день.

Я проснулся. Солнце еще над морем, еще не село. И все будто грезится сказка.

Высокий берег с больными северными соснами. На песок к берегу с угора сбежала заморская деревушка. Повыше — деревянная церковь, и перед избами много высоких восьмиконечных крестов. На одном кресте я замечаю большую белую птицу. Повыше этого дома, на самой вершине угора, девушки водят хоровод, поют песни, сверкают золотистыми одеждами. Как в сказках, которые я записываю здесь, со слов народа.

— Праздник, — говорит Иванушка, — девки на угор вышли, песни поют.

— Праздник, праздник! — радуются женки, что ветер донес их вовремя домой.

Наверху мелькают девушки своими белыми плечами, золотыми шубейками и высокими повязками. А внизу из моря на желтый берег выползли черные бородатые люди, неподвижные, совсем как эти беломорские тюлени, когда они выходят из воды погреться на берег. Я догадываюсь, — они сшивают сети для ловли дельфинов.

Мы приехали не вовремя, в сухую воду.

Между нами и песчаным берегом широкая черная, покрытая камнями, лужами и водорослями темная полоса; тут лежат, наклонившись набок, лодки, обнажились рыбные ловушки. Это место отлива, «куйпога».

Мы идем по этой куйпоге, утопая по колено в воде и грязи. Множество мальчишек, приподняв рубашонки, что-то нащупывают в воде ногами. Топчутся. Поют песню.

— Что вы тут делаете, мальчики?

— Топчем камбалку.

Достают при мне из воды несколько рыб, почти круглых, с глазами на боку. Поют:

Муля, муля, приходи, цело стадо приводи,

Либо двух, либо трех, либо целых четырех...

"Муля" — какая-то другая, совсем маленькая рыбка, а эту песенку дети выслушали тут на отливе. И сами эти ребятишки, быть может, скатились сюда на отлив с угора, а быть может, море их тут забыло вместе с рыбами.

Старый кормщик улыбается моему вниманию к детям и говорит:

— Кто от чего родится, тот тем и занимается.

Кое-как мы достигаем берега; теперь уже ясно, что это не морские звери, а люди сидят на песке: поджав ноги, почтенные бородатые люди путают и распутывают какие-то веревочки. Наши присоединяются к ним, и только женки уходят в деревню, верно, собираются на угор. Мужичок-с-ноготок достает себе клубок пряжи, привязывает конец далеко за углом в проулке и начинает крутить, сучить и медленно отступать.

Покрутит-покрутит и ступит на шаг. А навстречу ему с другого конца отступает точно такой же мужичок-с-ноготок. Когда-то встретятся спинами эти смешные старики?

Иванушка зовет меня смотреть Марью Моревну.

Мы поднимаемся на угор.

— Здравствуйте, красавицы!

— Добро пожаловать, молодцы!

Девушки в парчевых шубейках, в жемчужных высоких повязках плавают взад и вперед. Нам с Иванушкой за бугром не видно деревни, но одно только море, и кажется, будто девушки вышли из моря.

Одна впереди: лицо белое, брови соболиные, коса тяжелая. Совсем наша южная красавица — ноченька темная, со звездами и месяцем.

— Эта Марья Моревна?

— Эта... — шепчет Иванушка. — Отец вон там живет, вон большой дом с крестом.

— Кощей Бессмертный? — спрашиваю я.

— Кощей и есть, — смеется Иванушка. — Кощей богач. У него ты и переночуешь и поживешь, коли поглянется.

Солнце остановилось у моря и боится коснуться холодной воды. Длинная тень падает от креста Кощея на угор.

Мы идем туда.

— Здравствуйте, милости просим!

Сухой, костлявый старик с красными глазами и жидкой бородой ведет меня наверх, в "чистую комнату".

— Отдохни, отдохни. Ничего. Что ж. Дорога дальняя. Уморился.

Я ложусь. Меня качает, как в лодке. Качнусь и вспомню: это не лодка, это дом помора. На минутку перестает качать — и опять. Я то засыпаю, то пробуждаюсь и открываю глаза.

Впереди, за окном, большой восьмиконечный крест и горящее полуночной зарей море. На берегу люди все еще сшивают сети, и те два смешных старика все крутят веревочки, все еще не встретились.

Бай-бай... — качает море.

Все тихо. Спят. Как они могут спать такой светлой ночью?

У Марьи Моревны

Радостно стучит и бьется на новом месте волшебный колобок.

Так свежа, молода эта песенка: "Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел".

Я в «чистой» комнате зажиточного помора. Посреди нее с потолка свешивается вырезанный из дерева, окрашенный в сизую краску голубок. Комната эта для гостей, в верхнем этаже, а внизу живут хозяева. Я слышу оттуда мерный стук. Будто от деревенского прядильного станка.

И хорошо же вот так удрать от всех в какое-то новое место, полное таинственных сновидений. Хорошо так касаться человеческой жизни с призрачной, прекрасной стороны и верить, что это — серьезное дело. Хорошо знать, что это не скоро кончится. Как только колобок перестанет петь свою песенку, я пойду дальше. А там еще таинственнее. Ночи будут светлеть с каждым днем, и где-то далеко отсюда, за Полярным кругом, в Лапландии, будут настоящие солнечные ночи.

Я умываюсь. Чувствую себя бесконечно здоровым.

Мечты с самого утра. Я могу летать здесь, куда хочу, я совершенно один. Это одиночество меня нисколько не стесняет, даже освобождает. Если захочу общения, то люди всегда под рукой. Разве тут, в деревне, мало людей? Чем проще душа, тем легче увидеть в ней начало всего. Потом, когда я поеду в Лапландию, вероятно, людей не будет, останутся птицы и звери. Как тогда? А потом, когда останутся только черные скалы и постоянный блеск не сходящего с неба солнца? Что тогда? Камни и свет... Нет, этого я не хочу. Мне сейчас страшно... Мне необходимо нужен хотя какой-нибудь кончик природы, похожий на человека. Как же быть тогда? Ах, да очень просто:

Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел.

Мы бежим по лестнице с моим волшебным колобком вниз.

— Стук, стук! Есть ли кто тут жив человек?

Марья Моревна сидит за столиком, перебирает ниточки, пристукивает. Одна.

— Здравствуй, Марья Моревна, как тебя зовут?

— Машей!

— Так и зовут?

Царевна смеется.

Ах, эти веселые белые зубы!

— Чайку хочешь?

— Налей.

Возле меня за лавкой в стене какое-то отверстие, можно руку просунуть, закрывается плотно деревянной втулкой. Так в старину по всей Руси подавали милостыню.

— Как это называется? — спрашиваю я о какой-то части станка.

— Это ставило, это набилки, бобушки, бердо, разлучница, приставница, пришвица.

Я спрашиваю обо всем в избе, мне все нужно знать, и как же иначе начать разговор с прекрасной царевной? Мы все пересчитываем, все записываем, знакомимся, сближаемся и смолкаем.

Пылает знаменитая русская печь, огромная, теплая. Но без нее невозможна русская сказка. Вот гладкая лежанка, откуда свалился старик и попал в бочку со смолой. Вот огромное горло, куда бросили злую колдунью. Вот подпечье, откуда выбежала к красной девице мышка.

— Спасибо тебе, Маша, что чаем напоила, я тебе за это Иванушку посватаю.

Горят щеки царевны ярче пламени в печи, сердитая, бросает гордо:

— Изба низка! Есть и получше, да не иду.

"Врет все, — думаю я, — а сама рада".

Мы еще на ступеньку ближе с царевной. Ей будто хочется мне что-то сказать, но не может. Долго копается у стенки, наконец подходит, садится рядом. Она осматривает упорно мои сапоги, потом куртку, останавливается глазами на моей голове и говорит ласково:

— Какой ты черный!

— Не подъезжай, не подъезжай, — отвечаю я, — сосватаю и так Иванушку.

Она меня не понимает. Она просто по дружбе подсела, а я уже вижу корыстную цель. Она меня не понимает и не слушает. Да и зачем это? Разве все эти вещи — карандаш в оправе, записная книжка, часы, фотографический аппарат — не говорят больше всяких слов об интересном госте? Я снимаю с нее фотографию, и мы становимся близкими друзьями.

— Поедем семгу ловить, — предлагает она мне совсем уже попросту.

— Поедем.

На берегу мы возимся с лодкой; откуда-то является на помощь Иванушка и тоже едет с нами. Я становлюсь в романе третьим лицом. Иванушка хочет что-то сказать царевне, но она тактична; она искоса взглядывает на меня и отвечает ему презрительно:

— Губ не мочи, говорить не хочу.

Тогда начинается разговор о семге, — как в гостинной о предметах искусства.

— Семга, видишь ли, — говорит мне Иванушка, — идет с лета. Человек ходит по свету, а семга по месяцу. Вот ей на пути и ставим тайник, ловушку.

Мне тут же и показывают этот тайник: несколько сетей, сшитых так, чтобы семга могла войти в них, а уйти не могла. Мы ставим лодку возле ловушки и глядим в воду, ждем рыбу. Хорошо, что тут роман, а вот если бы так сидеть одному и покачиваться в лодке?

— Другой раз и неделю просидишь, — угадывает меня Иванушка, — две, и месяц... ничего. А придет час удачи — за все ответит.

Подальше от нас покачивается еще такая же лодка, дальше — еще и еще... И так сидят недели, месяцы, с весны до зимы, стерегут, как бы не ушла из тайника семга. Нет, я бы не мог. Но вот если слушать прибой, или передавать на полотно эти северные краски, — не тоны, полутоны, а может быть, десятые тонов... Как груба, как подчеркнута наша южная природа сравнительно с этой северной интимной красотой!

Я замечтался и, наверно, пропустил бы семгу, если бы был рыбаком Марья Моревна довольно сильно толкнула меня в бок кулаком.

— Семга, семга! — тихо шепчет она.

— Перо сушит, — отвечает Иванушка.

Это значит, что рыба давно уже попалась и поднялась теперь наверх, показывает перо (плавник) из воды.

Мы поднимаем сеть и вместо дорогой семги вытаскиваем морскую свинку, совсем ненужную.

Жених с невестой заливаются смехом.

Вышел веселый анекдот:

— Семга, семга, а ин свинка!

Не знаю, сколько бы продолжалась наша пастораль на море, как вдруг произошло крупнейшее событие.

Прежде всего я заметил, что к кучке рыбаков на берегу подошла другая кучка, потом третья, потом собралась вся деревня, даже женки и ребятишки; под конец и оба смешных старика бросили клубки на землю и стали у края толпы. Дальше поднялись невероятный шум, крик, брань.

Я видел с воды, как из толпы там и тут выскакивала жидкая борода Кощея Бессмертного, будто он был дирижером этого концерта на берегу Белого моря...

Мало-помалу все улеглось. От толпы отделились десять седых мудрых старцев и направились к дому Кощея. Остальные опять уселись по своим местам на песок. Сам Кощей подошел к берегу и закричал нам:

— Гребите сюда, Ма-аша!

Я беру на руки морскую свинку, Иванушка садится, а Марья Моревна гребет.

— Старики с тобой поговорить хотят, господин, — встретил нас Кощей.

— Что-то недоброе, что-то недоброе! — шепнул мне волшебный колобок.

Мы входим в избу. Мудрецы встают с лавок, торжественно приветствуют.

— Что такое? Что вы? — спрашиваю я глазами.

Но они смеются моей свинке, приговаривают:

— Семга, семга, а ин свинка!

Вспоминают, как одному попал в тайник морской заяц, другому — нерпа, третий вытащил то, что ни на что не похоже.

Так долго продолжался оживленный, но искусственный разговор. Наконец все смолкают, и только один, ближайший ко мне, как отставший гусь, повторяет: "Семга, семга, а ин свинка".

— Но в чем же дело? Что вам нужно? — не выдерживаю я этого тягостного молчания.

Мне отвечает самый старый, самый мудрый:

— Тут приходил человек из Дуракова...

— Алексей, — говорю я и мгновенно вспоминаю, как он сделал меня у бабушки генералом. Верно, и тут что-нибудь в этом роде. Прощай, мои сказки!

— Алексей? — спрашиваю я.

— Алексей, Алексей, — отвечают разом все десять. А самый мудрый, седой, продолжает:

— Алексей сказывал: едет от государя императора член Государственной думы море делить в Дураково. Кланяемся тебе, ваше превосходительство, прими от нас семушку!

Старик подносит мне огромную, пудовую семгу. Я отказываюсь принять и, потерявшись, извиняюсь тем, что у меня на руках уже есть свинка.

— Брось ты эту дрянь, на что она тебе? Вот какую рыбку мы тебе изловили.

Другой старик вынимает из-за пазухи бумагу и подает. Я читаю:

"Члену Государственной думы

по фотографическому отделению.

Прошение.

Население умножилось, а море по-старому, сделай милость, житья нет, раздели нам море..."

Что такое? Глазам не верю... И вдруг вспоминаю, что где-то на станции мы брали обывательских лошадей, и я расписывался: "От географического общества". Потом — фотографический аппарат... И вот я стал членом Думы по фотографическому отделу. Я припоминаю, что Алексей мне говорил о каких-то двух враждебных деревнях, где не хватает хоть какого-нибудь начальства, чтобы кончить вражду.

И у меня мелькает мысль: а почему бы и не разделить мне этим людям море?

— Хорошо, — говорю я старцам, — хорошо, друзья, я разделю вам море.

Мне нужен точный подсчет экономического положения деревни. Я беру записную книжку, карандаш и начинаю с земледелия как основы экономической жизни народа.

— Что вы сеете здесь, старички?

— Сеем, батюшка, все, да не родится ничего.

Я так и записываю. Потом спрашиваю о потребностях и узнаю, что на среднее семейство в шесть душ нужно двенадцать кулей муки. Узнаю, что, кроме необходимых потребностей, существуют роскоши, что едят калачи, по праздникам щелкают орехи и очень любят кисель из белой муки.

— Откуда же вы берете на это деньги?

— А вот, поди знай, откуда взять! — ответили все десять.

Но я все-таки узнаю: деньги получают от продажи зверей, наваги, сельди и семги.

Узнаю, что все эти промыслы ничтожны и случайны, кроме семги.

— Стало быть, кормит вас семга?

— Она, матушка. Сделай милость, раздели!

— Хорошо, — говорю я. — Теперь к разделу. Сколько у вас душ?

Старцы ответили. Я записал.

— С женками?

— Нет. Женские души не считаются, тех хоть сколько ни будь.

Потом я узнаю, что берег моря принадлежит деревне в одну сторону на двадцать верст, в другую — на восемь, что на каждой версте находится тоня. Я записываю названия тоней: Баклан, Волчок, Солдат... Узнаю своеобразные способы раздела этих тонь на жребии и число тонь крестьянских, архиерейских, Сийского, Никольского и Холмогорского монастырей.

Точно таким же образом узнаю положение соседней деревни Дураково. Но претензий старцев на тони этой, еще более бедной деревни понять не могу.

— Почтенные, мудрые старцы, — наконец говорю я. — Без соседей я море делить вам не буду: пошлите немедленно Иванушку за представителями.

Старцы молчат, гладят бороды.

— Да зачем нам дураковцы?

— Как зачем? Море делить!

— Так не с ними делить! — кричат все вместе. — Дураковцы нас не обижают. Это их с Золотицей делить, только не нас. Нас с монахами делить. А дураковцы ничего... тех с Золотицей. Монахи самые лучшие тони отобрали.

— Как же они смели? По какому праву?

— Права у них, батюшка, давние, еще со времени Марфы Посадницы.

— И вы их уважаете... эти права?

Старцы чешутся, поглаживают бороды; очевидно, уважают.

— Раз у монахов такие стародавние права, как же могу я вас с ними делить?

— А мы, ваше превосходительство, думали, что как ты от Государственной думы, так отчего бы тебе этих монахов не согнать?

До этих слов я все еще надеюсь, все еще думаю выискать в своей записной книжке яркую страницу с цифрами и разделить море и соединить поэзию, науку и жизнь. Но вот это роковое слово: «согнуть». Просто и ясно, — я здесь генерал или член Государственной думы: почему бы не согнуть этих монахов, зачем им семга? Я — враг этих длинных рыб на архиерейском столе. Согнуть! Но я не могу. Мне кажется, будто я вошел, как морская свинка, в тайник и, куда ни сунусь, встречаю крепкие веревки. Я еще механически перебираю в голове число душ, уловов,

но все больше и больше запутываюсь.

"Семга, семга, — думают старцы, — а ин свинка!"

А в углу-то сверкают белые зубы Марьи Моревны, и, боже мой, как заливается смехом мой волшебный колобок!

Солнечные ночи

Чем дальше от Соловецких островов, тем больше море покрывается дикими скалами, то голыми, то заросшими лесом. Это Карелия, — та самая Калевала, которую и теперь еще воспевают народные рапсоды в карельских деревнях. Показываются горы Лапландии, той мрачной Похиолы, где чуть не погибли герои Калевалы.

Кольский полуостров — это единственный угол Европы, до XX века почти не исследованный. Лопари — забытое всем культурным миром племя, о котором не так давно (в конце XVIII столетия) и в Европе рассказывали самые страшные сказки. Ученым приходилось опровергать общее мнение о том, что тело лопарей покрыто космами, жесткими волосами, что они одноглазые, что они со своими оленями переносятся с места на место, как облака. С полной уверенностью и до сих пор не могут сказать, какое это племя. Вероятно, финское.

Переход от Кандалакши до Колы, который мне придется совершить, довольно длинный: двести тридцать верст пешком и частью на лодке. Путь лежит по лесам, по горным озерам, по той части русской Лапландии, которая почти прилегает к северной Норвегии и пересекается отрогами Скандинавского хребта, высокими Хибинскими горами, покрытыми снегом. Мне рассказывают в пути, что рыбы и птицы там непочатый край, что там, где я пойду, лопари живут охотой на диких оленей, медведей, куниц...

Меня охватывает настоящий охотничий трепет от этих рассказов; больше, мне кажется, что я превратился в того мальчугана, который убежал в неведомую прекрасную страну.

Страна без имени! Вот куда мы хотели убежать в далеком нашем детстве. Мы называли ее то Азией, то Африкой, то Америкой. Но в ней не было границ; она начиналась от того леса, который виднелся из окна классной комнаты. И мы туда убежали. После долгих скитаний нас поймали, как маленьких лесных бродяг, и заперли. Наказывали, убеждали, смеялись, употребляли все силы доказать, что нет такой страны. Но вот теперь у каменных стен со старинными соснами, возле этой дикой Лапландии я со всей горечью души чувствую, как неправы были эти взрослые люди.

Страна, которую ищут дети, есть.

Так везде, но в дороге особенно ясно: стоит направить свое внимание и волю к определенной цели, как сейчас же появляются помощники.

В виду Лапландии я стараюсь восстановить то, что знаю о ней. Сейчас же мне помогают местные люди: священник, пробывший среди лопарей двадцать лет, купец, скупавший у них меха, помор и бывалый странствующий армянин. Все выкладывают мне все, что знают. Я спрашиваю, что придет в голову. Припоминается длинный и смешной спор ученых: белые лопари или черные? Один путешественник увидит брюнетов и назовет всех лопарей черными, другой блондинов и назовет всех белыми.

"Почему они, — думаю я, — не спрашивают местных людей, из соседней народности? Попробовать этот метод".

— Черные они или белые? — спрашиваю я помора.

Он смеется. Станный вопрос! Всю жизнь видел лопарей, а сказать не может, какие они.

— Да они же всякие бывают, — отвечает он, наконец, — как и мы. И лицом к нам ближе. Вот ненцы, те не такие; у них между глазами широко. А у лопарей лицо вострое.

Потом он говорит про то, что женки у них маленькие. Рассказывает про жизнь их.

— Жизнь! Лопская жизнь! Лопские порядки маленькие, у них все с собой: олень да собака, да рыбки поймают. Сколотит вежу, затопит камелек, повесит котелок, вот и вся жизнь.

— Не может быть, — смеюсь я помору, — чтобы у людей жизнь была лишь в еде да в оленях. Любят, имеют семью, поют песни.

Помор подхватывает:

— Какие песни у лопина! Они — что работают, на чем ездят, то и поют. Был ли то олень — поют, какой олень, невеста — так в каком платье. Вот мы теперь едем, он и запоем: "Едем, едем".

Опросив помора, я принимаюсь за священника.

— Лопари, — говорит он, — уноровчивы.

— Что это?

— Норов хороший. Придешь к ним, сейчас это и так и так усаживают. И семью очень любят, детей. Детьми, так что можно сказать, тешатся. Уноровчивые люди. Но только робки и пугливы. В глаза прямо не смотрят. Чуть стукнешь веслом, сейчас уши наострят. Да и места-то какие: пустыня, тишь.

Лапландия находится за Полярным кругом; летом там солнце не заходит, а зимой не восходит, и во тьме сверкают полярные огни. Не оттого ли и люди там пугаются? Я еще не испытывал настоящих солнечных ночей, но и то от беломорских белых ночей уже чувствую себя другим: то взвинченным, то усталым. Я замечаю, что все живет здесь иначе. У растений такой напряженный зеленый цвет: ведь они совсем не отдыхают, молоточки света стучат в зеленые листья и день и ночь. Вероятно, то же и у животных и у людей. Этот священник, как он себя чувствует?

— Ничего, ничего, — отвечает он, — это привычка. И не замечаем.

— Вы как? — спрашиваю я купца.

— Тоже ничего... Вот только говорят, будто подрядчик один нанял рабочих на юге от солнца до солнца.

Все хохочут: помор, купец, священник, армянин.

— Не верьте никому про полуночное солнце, — говорит мне странствующий армянин. — Никакого этого солнца нету.

— Как нету?

— Какое там полуночное солнце! Солнце и солнце, как и у нас, на Кавказе.

Кандалакша

Я за Полярным кругом. Если взойти на Крестовую гору, то можно видеть полуночное солнце; но мне нельзя уставать, — утром я выйду в Лапландию: из двухсот тридцати верст расстояния от Кандалакши до Колы значительную часть придется пройти пешком.

Как странно то, что я теперь в Лапландии, а в этой русско-карельской деревушке нет ни одного кочевника. И тем загадочнее кажется этот мой путь через горную Лапландию. В Кандалакше ни одного лопаря, ни одного оленя. Кажется, я в дверях панорамы: за спиной улицы, но вот я сейчас возьму билет, подойду к стеклу и увижу совсем другой, не похожий на наш, мир.

Хозяин-помор помогает мне набивать патроны на куропаток и глухарей. Несколько штук мы заряжаем пулями на случай встречи с медведем и диким оленем.

Река Нива

Из недр Лапландии, из большого горного озера Имандра в Кандалакшу сплошным водопадом в тридцать верст длиною несется река Нива. Путь для пешеходов лежит возле реки в лесу. Другой, строящийся путь для экипажей, проходит в стороне от реки. Некоторое время мы с проводником идем по этой второй дороге. Потом я ухожу от него к Ниве поискать там птиц. Мы расстались, и лес обступил меня, молчаливый, чужой. Какой бы ни был спутник, все-таки он говорит, улыбается, кряхтит. Но вот он ушел, и вместо него начинает говорить и это пустынное, безлюдное место. Ни одного звука, ни одной птицы, ни малейшего шелеста, даже шаги не слышны на мягком мху. И все-таки что-то говорит... Пустыня говорит...

Так я иду и, наконец, слышу шум, будто от поезда, невольно ожидаю, что свисток прорежет тишину. Это Нива шумит. Она является мне в рамке деревьев, в перспективе старых высоких вараков (холмов). Она мне кажется диким, странным ребенком, который почему-то жжет себе руки, выпускает кровь из жил, прыгает с высоких балконов. "Что с ним сделать, с этим ребенком?" — думают круглые, голые головы старцев у реки. И ползут от одной головы к другой серые мысли, просыпающийся в горах туман.

Я иду возле Нивы в лесу, иногда оглядываюсь назад, когда угадываю, что с какого-нибудь большого камня откроется вид на ряды курящихся холмов и на длинный скат потока, уносящего в Белое море бесчисленные белые кораблики пены.

Комаров нет. Мне столько говорили о них — и ни одного. Я могу спокойно всматриваться, как ели и сосны у подножья холмов сговариваются бежать вверх, как они бегут на горы. Вот-вот возьмут приступом гору. Но почему-то неизменно у самой верхушки мельчают, хиреют и все до одной погибают.

Бывает так, что, когда я так стою, вдруг из-под ног вылетает с криком птица. Это обыкновенная куропатка, обыкновенный крик ее. Но тут, в тишине незнакомого леса, при неровном говоре реки-водопада я слышу в ее крике дикий смех. Я стреляю в это желто-белое пятно, как в сказочную колдунью, и часто убиваю.

Иду все вперед и вперед.

Вдруг со страшным треском прямо из-под моих ног вылетает глухарь, и сейчас же — другой.

Эта птица для меня всегда была загадочной и недоступной. Раз, давно, я помню ночь в лесу в

ожидании этого царя северных лесов. Помню, как, в ожидании песни, просыпались болота, сосны и как потом в низине, на маленьком чахлом деревце птица веером раскинула хвост, будто боролась за темную ночь в ожидании восходящего солнца. Я подошел к ней близко, почти по грудь в холодной весенней воде. Что-то помешало, и птица улетела. С тех пор я больше не видел глухаря, но сохранил о нем воспоминание, как о каком-то одиноком, таинственном гении ночи. Теперь две громадные птицы взлетели из-под ног при полном солнечном свете. Я прихожу в себя только после того, как птицы исчезают за поворотом реки, у высокой сосны. Они там, вероятно, сели на траву, успокоятся немного и выйдут к реке пить воду.

Изгибаюсь, перескакиваю с кочки на кочку, зорко гляжу на сухие сучки под ногами. Сейчас, когда я вспоминаю об этом, я чувствую во рту почему-то вкус хвои, запах ее и запах сосновой коры. И неловкость в локтях. Почему? Да вот почему? Сосны куда-то исчезли, и я уже не иду, а ползу по каким-то колючим и острым препятствиям к намеченному дереву. Я доползаю, протягиваю ружье вперед, взвожу курок и медленно поднимаю голову.

Реки нет, птиц нет, леса нет, но зато перед глазами такой покой, такой отдых! Я забываю о птицах, я понимаю, что это совсем не то. Я не говорю себе "Это Имандра, горное озеро". Нет, я только пью это вечное спокойствие. Может быть, и шумит еще Нива, но я не слышу.

Имандра — это мать, молодая, спокойная. Быть может, и я когда-нибудь здесь родился, у этого пустынного спокойного озера, окруженного чуть видными черными горами с белыми пятнами. Я знаю, что озеро высоко над землей, что тут теперь солнце не сходит с неба, что все здесь прозрачно и чисто, и все это потому, что очень высоко над землей, почти на небе.

Никаких птиц нет. Это лапландские чародеи сделали так, чтобы показать свою мрачную Похиолу с прекрасной стороны.

На берегу с песка поднимается струйка дыма. Возле нее несколько неподвижных фигур. Это, конечно, люди: звери не разводят же огня. Это люди; они не уйдут в воду, если к ним подойти. Я приближаюсь к ним, неслышно ступая по мягкому песку. Вижу ясно: котелок висит на рогатке, вокруг него несколько мужчин и женщин. Теперь мне ясно, что это люди, вероятно лопари; но так непривычна эта светлая прозрачность и тишина, что все кажется, если сильно и неожиданно крикнуть, то эти люди непременно исчезнут или уйдут в воду.

— Здравствуйте!

Все повертывают ко мне головы, как стадо в лесу, когда к нему подходит чужая собака, похожая на волка.

Я разглядываю их: маленький старичок, совсем лысый, старуха с длинным острым лицом, еще женщина с ребенком, молоденькая девушка кривым финским ножом чистит рыбу, и двое мужчин, такие же, как русские поморы.

— Здравствуйте!

Мне отвечают на чистом русском языке.

— Да вы русские?

— Нет, мы лопари.

— А рыбки можно у вас достать?

— Рыбка будет.

Старик встает. Он совсем маленький карлик, с длинным туловищем и кривыми ногами. Встают и другие мужчины, повыше ростом, но также с кривыми ногами.

Идут ловить рыбу. Я — за ними.

Такой прозрачной воды я никогда не видал. Кажется, что она должна быть совсем легкой, невесомой. Не могу удержаться, чтобы не попробовать: холодная, как лед. Всего две недели, говорят мне, как Имандра освободилась ото льда. Холодная вода и потому, что с гор — налево горы Чуна-тундра, направо чуть видны Хибинские — непрерывно все лето стекает тающий снег.

Мы скользим на лодке по прозрачной воде в прозрачном воздухе. Лопари молчат. Надо с ними заговорить.

— Какая погодка хорошая!

— Да, погоды хорошие!

И опять молчат. Хорошая погода, но какая-то странная. Словно это первый день после какого-то всемирного потопа, когда только начала сбывать вода. Вся земля там, внизу, залита водой; остались только эти черные верхушки гор с белыми пятнами. Все успокоилось, потому что все умерло. Наша лодка скользит в тишине. Вода, небо, кончики гор.

Достаю мелкую монету и пускаю в воду. Она превращается в зеленый светящийся листик и начинает там порхать из стороны в сторону. Потом дальше, в глубине она светится изумрудным светом и не исчезает; ее зеленый глазок смотрит оттуда, из затопленных садов и лесов, сюда наверх, в страну незаходящего солнца.

Как бы хорошо с высоты спуститься туда, куда-нибудь вниз, в густую перепутанную траву между яблонями, в темную-темную ночь...

— Поуч-пуч! — вдруг говорит старик гребцу.

— Что это значит?

— Это значит: поскорей ехать.

И сейчас же еще:

— Сёг-сёг!

Это значит: ехать тише.

Мы у продольника, которым ловят рыбу, и теперь начинаем его осматривать. Это длинная веревка, опущенная на дно, со множеством крючков. Один лопарь гребет, а другой выбирает веревку с крючками и все приговаривает свое: "Пуч-пуч! Сёг-сёг!"

В этом горном озере за Полярным кругом должна водиться какая-нибудь особенная рыба. Я, как многие охотники с ружьем, не очень люблю рыбную ловлю, но здесь с нетерпением жду результата. Долго приходят только пустые крючки. Наконец что-то зеленое, совсем как моя монета, светится в глубине и то расширится до огромных размеров, то сузится в ленту.

— Поуч-поуч! — кричу я радостно.

Все смеются. Это вовсе не рыба, а кусочек белой «наживки» на крючке.

— Сёг-сёг! — печалюсь я.

И опять все смеются.

Теперь я понимаю, в чем дело, принимаю команду на себя и повторяю: "Поуч-поуч! Сёг-сёг!"

Лопари радуются, как дети, — верно, им скучно молчать на этом пустынном озере.

Потом мы вытаскиваем одну за другой серебристых больших рыб.

Голец — род форели, обитатель полярных вод.

Кумжа — почти такая же, как семга.

Паля...

Все редкие, дорогие рыбы.

— А как эта называется... Сиг?

Старик молчит, хмурится, чем-то напуган, оглядывает нас.

— Поуч-поуч! — говорю я.

Но мое средство не действует. Испуганный старик отрывает себе пуговицу, привязывает к сигу, пускает в воду и что-то шепчет.

Что бы это значило?

Лопарь молчит. Темная спина рыбы быстро исчезает в воде, но пуговица долго порхает вниз, как светлая изумрудная бабочка.

Что бы это значило? Вот она, Похиола, страна чародеев и карликов. Начинается!

Только после двух-трех десятков драгоценной форели и кумжи устанавливаются у нас прежние добрые отношения. Покончив с осмотром перемета, мы плывем обратно к берегу, где виднеется дымок от костра.

Подъезжаем. Те же самые люди, в совершенно таких же позах сидят, не шевелятся: даже котелок по-прежнему висит на рогатке. Что же это они делали целых два часа? Осматриваю: у девушки на коленях нет рыбы. Значит, за это время они съели рыбу и теперь, насытившись, по-прежнему смотрят на пустынную Имандру.

— Поуч-поуч! — приветствую я их.

Все смеются. Как просто острить в Лапландии!

Теперь варить уху из форели. Вот она, вот она жизнь с котелком у костра! Вот она, дивная свободная жизнь, которую мы искали детьми! Но теперь еще лучше, теперь я все замечаю, думаю. И хорошо же на Имандре, в ожидании ухи из форели!

Я достаю из котомки свой котелок. Это обыкновенный синий эмалевый котелок. Но какой эффект! Все встают с места, окружают мой котелок и быстро говорят по-своему о нем. Потом, пока девушка кривым ножом чистит для меня рыбу, все по-прежнему усаживаются вокруг костра. Котелок переходит от одного к другому, как дивная, невиданная вещь. Но у меня еще есть карандаш в оправе, складная чернильница, нож и английские удочки-блесны на всякую рыбу. Вещи переходят от одного к другому. Когда кто-нибудь долго задерживает, я говорю: «Поуч». Тогда все смеются, и вещь быстро совершает полный оборот вокруг костра с котелком. Это что-то вроде игры в веревочку, но только в Лапландии, на берегу Имандры.

Если не забыть с собою лаврового листа и перцу, то уха из форели в Лапландии глубоко, бесконечно вкусная. Я ем, а молодая лапландка-хозяйка указывает мне на розовые и желтые куски рыбы в котелке и угощает:

— Волочи, волочи, ешь!

По Имандре

Путь по Лапландии от Кандалакши до Колы остался тот же, как во времена новгородской колонизации. Совершенно так же шли и новгородцы на Мурман и до последнего времени — рыбаки-покрученники из Поморья.

Теперь в разных местах пути выстроены избы, станции; возле каждой станции живет группа лопарей и занимается частью охотой на диких оленей в Хибинских горах, частью рыбной ловлей в озерах и немного оленеводством.

"Как бы провести тут время по-своему? Проехать этот путь и познакомиться немного с жизнью людей, с природой... Не пуститься ли через Хибинские горы к оленеводам? Там поселиться на время в веже..."

Мы долго совещаемся об этом со стариком Василием, почти решаем уже отправиться через Хибинские горы, но сын его не советует. Лопари перекочевали оттуда, и мы можем напрасно потерять неделю. Мало-помалу складывается такой план. Мы поедем на Олений остров по Имандре; там живет другой сын Василия, стережет его оленей; там проживем немного и отправимся в Хибинские горы на охоту.

Ветер дует нам походный. Зачем бы ехать со мной всему семейству, лишний проводник стоит денег? Я советую старику остаться. Он упрашивает меня взять его с собой.

— Денег, — говорит он, — можно и не взять, а вместе веселее.

Как это странно звучит! Вот уже сколько я еду, и ни разу не слыхал этого...

Мы едем все вместе. Двое гребут. Ветер слегка помогает. Лодка слегка покачивается. Передо мной на лавочке сидят женщины: старуха и дочь ее. Лица их совсем не русские. Если бы можно так просто решать этнографические вопросы, то я сказал бы, что старуха — еврейка, а дочь — японка маленькая, смуглая, со скошенным прорезом глаз. Черные глаза смотрят загадочно и упорно: моргнут, словно насильно, и опять смотрят, и смотрят долго, пока не устанут и снова моргнут. На голове у нее лапландский "шамшир, похожий на шлем Афины-Паллады, красный. Мы едем как раз против солнца; лодку слегка покачивает, и я вижу, как блестящий странный убор девушки меняется с солнцем местами. Это — дочь Похиолы, за которой шли сюда герои Калевалы.

Немного неприятно, когда смотрят в глаза и ничего не говорят. Я замечаю на уборе девушки

несколько жемчужин. Откуда они здесь? Приглядываюсь, трогаю пальцем.

— Жемчуг! Откуда у вас жемчуг?

— Набрала в ручье, — отвечает за нее отец. — У нас есть жемчужины по сто рублей штука.

— И платят?

— Нет, не платят, а только так говорят.

— Какой прекрасный жемчуг! — говорю я девушке, похожей на дочь Похиолы. — Как вы его достаете?

Вместо ответа она достает из кармана грязную бумажку и подает.

Развертываю несколько крупных жемчужин. Я их беру на ладонь, купаю в Имандре, завертываю в чистый листок из записной книжки и подаю обратно.

— Благодарю. Хороший жемчуг.

— Не надо... тебе.

— Как!

Боязливо гляжу на старуху, но она важно и утвердительно кивает головой, Василий тоже одобряет. Я принимаю подарок и, выждав некоторое время, *service pour service* предлагаю девушке превосходную английскую дорожку-блесну. Девушка сияет, старуха опять важно кивает головой. Василий тоже. Имандра смеется. Мы спускаем обе дорожки в воду; я — с одной стороны, а дочь Похиолы — с другой, и ожидаем рыбу. Все говорят, что тут рыбное место и непременно должна пойматься.

Скоро показывается лесистый берег; мы едем вдоль него, и лопари, ознакомившись со мною, не стесняясь беспрерывно что-то болтают на своем языке. Время от времени я перебиваю их и спрашиваю, о чем они говорят. Они говорят то о круглой вараке на берегу, то о впадине со снегами на горах, то о сухой сосне, то о большом камне. Там был убит дикий олень, там на дереве было подвешено его мясо, там нашли свою важенку с телятами. Это так, как мы, идя по улице, разговариваем о знакомых домах, ресторанах, о лицах, которые почему-то непременно встречаются всегда на одном и том же месте. Им все здесь известно, все разнообразно; но я схватываю только величественные контуры гор, только длинную стену лесов и необозримую гладь озера.

Мне некогда разглядывать мелочи. Внимание поглощено всесторонне. Нужно держать наготове бечеву, потому что при малейшем толчке я должен ее пустить и задержать лодку, иначе рыба оборвет якорек. Нужно фотографировать, нужно спрашивать у лопарей разные названия и записывать; нужно держать ружье наготове: мало ли что может выйти из леса к воде!

Вдруг на носу лодки у лопарей необычайное волнение: говорят шепотом, берутся за ружья, указывают мне на белый клочок снега далеко впереди, у самого берега... Дикий олень!

Я поскорее свертываю бечеву, вглядываюсь, замечаю движения белой точки. Немного поближе — и разбираю: белый олень с недоразвитыми рогами. Василий долго прицеливается из своей берданки и вдруг опускает ружье, не выстрелив. У него явилось подозрение, что это кормной

(ручной) олень. Если бы подальше, в горах, признался он мне, то ничего, можно и кормного за дикого убить, а тут нельзя: тут сейчас узнают, чей олень, — по метке на ухе. Мы подъезжаем ближе; олень не бежит и даже подступает к берегу. Еще поближе — и все смеются, радуются: олень свой собственный. Это один из тех оленей, которых Василий пустил в тундру, потому что на острове мало ягеля (олений мох). Я готовлю фотографический аппарат и снимаю белого оленя на берегу Имандры, окруженного елями и соснами.

Сняв фотографию, я прошу подвезти меня к оленю. Но вдруг он поворачивается своим маленьким хвостом, перепутывает свой пучок сучьев на голове с ветвями лапландских елей, бежит, пружинится на мху, как на рессорах, исчезает в лесу. Немного спустя мы видим его выше леса, на голой скале, едва заметной точкой.

— Комар обижает! — говорит Василий. — Попил воды и опять бежит вверх, в тундры.

Это происходит где-то около Белой губы Имандры.

Тут мы должны бы и остановиться, дальше меня должны везти другие лопари. Но, выполняя свой план, мы едем немного дальше, на Олений остров. Здесь я опять спускаю в воду дорожку, потому что, как говорит Василий, здесь непременно поймается кумжа.

Спускаю блесну; она вертится, блестит, как рыбка, далеко видна в прозрачной воде Имандры. Спускаю сажень на тридцать; остальная бечева остается смотанной на вертушке, вставленной в отверстие для уключины. Не проходит минуты, сильный толчок вырывает мою бечеву из рук, катушка сразу разматывается.

Я не могу себе представить, чтобы рыба так сильно толкнула, и потому кричу лопарям:

— Стойте, стойте, зацепилось, оборвалось!

— Рыба, рыба, подтягивай! — отвечают они.

Подтягиваю, но там ничего не сопротивляется; очевидно, блесна зацепилась за камень и теперь освободилась.

Я говорю об этом лопарям. И они сомневаются, но все-таки не берутся за весла и смотрят вместе со мной.

Вдруг в десяти шагах от лодки показывается над водой огромный рыбий хвост; от неожиданности он мне кажется не меньше китового. Рыба бунтует и снова уносит всю бечеву в воду. Большие круги расходятся по Имандре.

— Кумжа, кумжа! — говорят лопари. — Мотай.

И вот опять, как в начале пути при виде глухарей, мое я целиком уходит в глубину природы, быть может, именно в ту страну, которая грезится в детских сновидениях.

Я вожусь с этой рыбой целый час. Борюсь с ней. И час кажется секундой, и секунда — тысячелетием. Наконец я ее подтягиваю к борту, вижу ее длинную черную спину. Как теперь быть, как вытащить? Пока я раздумываю, лапландка вынимает из-за пояса нож, ударяет им рыбу и, громадную, серебряную, обеими руками втаскивает в лодку.

Капельки крови на живой убитой твари меня часто беспокоят и, бывает, портят охоту. Но тут я не замечаю этого: я владею рыбой и счастлив обладанием.

Мне так хочется узнать, сколько в ней веса, вкусна ли она, хочется установить ее значение как моей собственности. Кажется, больше пуда весом, а лопари говорят — полпуда. Я спорю. Они соглашаются и смеются.

— А что лучше, — спрашиваю я, — кумжа или семга?

— Какая кумжа, какая семга. Все-таки семга лучше: семга — семга и есть. Ты скажи — кумжа и сиг, вот так...

Тут я вдруг вспомнил о той рыбе, которую старик поймал вначале и привязал к ней пуговицу.

— Какая это рыба?

— Это сиг, — говорит он и тускнеет. — Сиг не может на крючок пойматься, сигов сетью ловят. Отец мой тоже поймал так сига и потонул. А за ним и мать...

— Потонула?

— Нет, так померла.

Мне хочется спросить еще, что значит пуговица, но не решаюсь. Вероятно, жертва водяному.

— Есть водяной царь или нет? — спрашиваю я окольным путем.

— Водяной царь! Как же, есть. Ведь молимся же мы "царь небесный, царь земной".

— И водяной?

— Нет, водяного нет в молитвах, а только есть же царь небесный, царь земной, значит есть и водяной.

Я расспрашиваю Василия дальше о его верованиях, он рассказывает убежденным христианином.

— Но где-то и до сих пор, — рассказывает Василий, — верят лопари не в Христа, а в «чудь». Есть высокая гора, откуда они бросают в жертву богу оленей. Есть гора, где живет нойд (колдун), и туда приводят к нему оленей. Там режут их деревянными ножами, а шкуру вешают на жерди. Ветер качает ее, ноги шевелятся. И если есть мох или песочек внизу, то олень как будто идет Василий не раз встречал в горах такого оленя. Совсем как живой! Страшно смотреть. А еще бывает страшней, когда зимой на небе засверкает огонь и раскроются пропасти земные, и из гробов станет выходить чужь.

Василий рассказывает еще много страшного и интересного про чужь.

Рассказывает сказку о том, как лопарь захотел попасть на небо, настругал стружек, покрыл рогожей и сел на нее, поджег костер. Рогожа полетела, и лопарь попал на небо.

Я слушаю приключения лопаря на небе и вдруг понимаю Василия, понимаю, почему он болтлив, почему он хоть и старик, но глаза у него такие легкомысленные.

Олений остров

Возле берега на Оленьем острове мы испугали глухаря. Я успел его убить. Скорее найти его в траве, скорее подержать в руках!

Выхожу на берег, но меня встречает куча комаров и мошек. Бегом, скорей найти птицу — и в лодку. Но я спотыкаюсь о какие-то сухие сучья, камни, кочки. Комары меня едят, как рой пчел. Мелькает мысль, что и заесть могут, что это дело серьезное. Я поднимаюсь и с позором, без птицы, бегу к лодке. Глухаря достал один из лопарей.

Обогнув остров, мы подъезжаем, наконец, к тому месту, где должна быть вежа (лапландское жилище). Я замечаю их две одна — маленький черный колпачок аршина в два с половиной высоты, другая повыше и подлиннее.

— Одна, — говорит Василий, — для людей, а другая — для оленей. Какая побольше — для оленей, потому и олень побольше человека.

Теперь комары нас преследуют и на воде кажется, все, сколько их есть на острове, устремились к нам в лодку Истязание так сильно, что я непрерывно отмахиваюсь, уничтожая сотни на своем лице. Я не имею мужества достать на дне моей котомки сетку, «накомарник», которым запасся еще в Кандалакше. Пока я ее нашел бы и приспособил, все равно комары съели бы меня.

А лопари с искусанными в кровь лицами и руками терпеливо и спокойно выносят испытание и даже рассказывают, что за каждого убитого комара до Ильина дня прибавляется решето новых, а после Ильина убавляется — и тоже по одному решету за комара.

Выскакиваю из лодки и стремглав несусь к веже, открываю дверцы и вместо людей вижу в полутемной веже оленьи рога. Я попал в оленью вежу. Звери не боятся. Я разглядываю их. Так понятны здесь эти кривые сучки-рога. Здесь, в Лапландии, столько кривых линий кривые, опущенные вниз сучья елей, кривые сосны, кривые березки, кривые ноги лопарей, башмаки с изогнутыми вверх носками. Тут есть белые, есть серые олени, есть совсем маленькие телята. Вся компания штук в тридцать.

Человеческая вежа — маленькая пирамидка, немного выше меня, из досок, обтянутых оленьими шкурами. Открываю дверцу и влезаю. Дверца с силой, своею тяжестью, захлопывается за мною.

Пока я разглядывал оленей, лопари уже все собрались в вежу, между моими знакомыми спутниками я узнаю еще одного молодого лопаря и женщину. В этой веже они все одинаковы, все сидят на оленьих шкурах у огня с черным котелком. Мне дают место на шкуре, я усаживаюсь, как и они, молчу. Отдыхаю от комаров и дыма. Потом начинаю разглядывать.

Вовсе не так плохо, как описывают. Воздух хороший, вентиляция превосходная. Вот только нельзя встать и необходимо сидеть.

С одной стороны огня я замечаю отгороженное место, покрытое хвоей, там сложены разные хозяйственные принадлежности. Это то самое священное место, через которое не смеет перешагнуть женщина.

Отдохнув немного, старуха принимается щипать глухаря, а остальные все на нее смотрят. Начинаю разговор с кривого башмака Василия. Выспрашиваю названия одежды, утвари и все записываю. На оленях ездят, оленей едят, на их шкуре спят, в их шкуры одеваются. Кочующие лопари.

— Почему вас называют кочующие? — спрашиваю я их.

— А вот потому кочующие, — говорят мне, — что один живет у камня, другой — у Ягельного

бора, третий — у Железной варакы. Весной лопарь около рек промышляет семгу, придет Ильин день — переселится на озеро, в сентябре опять к речкам. Около рождества — в погост, в пырт. Потому кочующие, что лопарь живет по рыбе и по оленю. В жаркое время олень от комара подвигается к океану. Лопарь — за ним.

Я узнаю тут же, что здесь, у Имандры, живут ненастоящие оленеводы; здесь пускают оленей на волю в горы, а занимаются больше охотой на диких оленей и рыбной ловлей.

Пока хозяйка чистит глухаря и устраивает его в котелке над огнем, мне рассказывают эту охоту на диких оленей, которая, впрочем, скоро совсем исчезнет со света.

Лопарь выходит в горы с собакой и ирвасом — оленьим самцом. В то время года у диких оленей «рехка», особенная жизнь; олень (ирвас) становится страшным зверем: шея у него надувается и делается почти такой же толщины, как туловище. Сильный старый самец собирает себе в лесу стадо важенков, стережет их и не допускает других. Но в лесу за ним следят другие ирвасы. Чуть только он слабеет, другой начинает с ним борьбу. Вот тут-то лопарь идет на охоту. Собака подводит к стаду. Домашний ирвас идет навстречу дикому. Прячась за оленя, лопарь подходит к дикарю, убивает одного и потом стреляет в растерявшееся стадо. Мясо спускается в озеро, «квасится» там, а лопарь идет за другим стадом. Осенью по талому снегу лопарь катит в горы на своих «чунках» и достает из воды мясо.

Пока варятся глухарь и уха, Василий рассказывает мне жизнь лопарей. Другие все слушают внимательно, иногда вставляют замечания. Женщины молчат, скромные и почтенные, как у Гомера, занятые своим делом. Одна следит за ухой и глухарем, другая оленьими жилами шьет каньги (башмаки), третья следит за огнем.

Жизнь охотников рассказана. Теперь смотрят на меня: какова моя жизнь? Но как о ней спросить — этого никто не смеет. У них — охота, олени, лес. Что у меня?

— А есть ли в других державах лес? — слышу я голос с той стороны костра.

— Есть.

— На ужь!

Общий знак удивления, что и у нас есть лес.

Потом другой вопрос: "Есть ли горы?" И опять то же: "На ужь!" Потом разговор, совсем как и в настоящих гостиных, переходит на политику. Знают о Государственной думе, даже выбирали депутата, но только русского, а не лопаря. Я возмущаюсь: русские купцы, которые так безжалостно спаивают и обирают лопарей, представляют лопарей в Думе! Расспрашиваю ближе. Оказывается, кто-то раньше за них уже решил, кого выбрать.

— Пили вы при этом? — спрашиваю я. — Угощали вас?

— Пили, как же. Хорошо выпили, — отвечает Василий с легкомысленным видом. — А вот если бы меня выбрали, — продолжает он, — я бы тихонечко на ушко шепнул бы кому надо, как лопари живут.

— Что бы ты шепнул ему?

— А что вот у нас в озере сигов много: коптить бы их на казенный счет и отправлять в Питер... Да, я бы сумел, что шепнуть!

"Что бы им дать? — думаю я, представляя себя на месте царя, которому шепнул лопарь на ушко. — Христианскую проповедь? Но это уже использовано... Лопари — теперь христиане. Печенегский монастырь богател и разорялся и опять стал богатеть. Но лопари все такие же, и еще беднее, еще несчастнее, потому что русские и зырянские хищники легче могут проникать к христианам, чем к язычникам. Отдать их на волю цивилизации? Построить железную дорогу и дать образование?"

Я вспоминаю о том, что тут предполагалась железная дорога. Но ведь это не для них. При чем тут лопари?

— А как же! — говорит мне Василий. — И лопари тогда поедут в Петербург со своими сигами.

Василий смеется, радуется, как ребенок, этой воображаемой возможности, смеются и другие, даже женщины; радуюсь и я, потому что удовлетворен как гражданин: убиты зараз два зайца. Вот только образование. Но и образование как-нибудь так тоже неожиданно придет.

— А выучить лопаря, — замечает кто-то, — он тоже будет таким.

— Каким? — спрашиваю я.

В ответ на это мне рассказывают легенду об образованном лопаре.

Один лопарь поехал с оленями в Архангельск и потерял там мальчика. Продав оленей, он возвратился в тундру без ребенка. Между тем маленького лопаря нашли, воспитали, образовали; он стал доктором, и есть слух, что где-то хорошо лечит людей.

— Вот и лопарь, — заканчивает рассказчик, — а сделался доктором.

Я заражаюсь настроением лопарей. Под этим деревянным колпачком, с единственным отверстием вверху для дыма, культурный, прогрессивный мир мне вдруг начинает казаться бесконечно прекрасным, просторным и величественным, как небесный свод.

А я — несомненная частица этого мира!

Мне хочется что-нибудь сказать хорошее этим несчастным людям у костра. Что бы сказать?

Что у нас лучше всего? Конечно, звездная летняя ночь.

— У нас, — говорю, — после дня теперь наступает ночь, темная. Зимой же у нас бывает тоже и день и ночь.

Смотрю на часы и говорю еще:

— Сейчас у нас, если погода хорошая, то звезды горят, месяц светит.

Мои слова производят большой эффект. Женщины интересуются одной, не понимающей по-русски, переводят мои слова.

Теперь уже вся «гостиная» занята мной. Все меня теперь долго и подробно разглядывают. Это тот период сближения гостей с хозяевами в провинциальной семье, когда женщины вступают в беседу, когда дети осмеливаются заговорить. Сама почтенная хозяйка начинает беседу:

— Есть у тебя деточки?

— Есть.

— Но! — не доверяет она.

Я подтверждаю и даже описываю, какие они.

— На ужь! — удивляется старуха и переводит своей, не понимающей по-русски соседке.

Все теперь говорят по-лапландски. Мне кажется, что они говорят о том, что вот как это удивительно: такой необыкновенный человек, а тоже может, как и все живые существа, размножаться.

— Что же тут особенного? — вмешиваюсь я, наконец, в непонятный мне разговор. — Вероятно, здесь русские даже женятся на лапландках.

— Нет, нет! — отвечают мне все в один голос. — Какой же русский возьмет лопку! Одно слово, что лопка!

Это совершенно противоположно тому, что я слышал. У меня, наконец, в кармане письмо от одного священника, прожившего двадцать лет в Лапландии, к сыну, женатому на лопарке. На письме даже адрес: "Потомственному почетному гражданину К-у".

— Как же так?.. Вот... — говорю я и называю фамилию.

— Так это лопарь. Какой же он русский? — отвечают мне.

— Почетный гражданин, сын священника.

— Это все равно, он лопарь: рыбку ловит, оленей пасет. Он лопарь.

Я теперь понимаю: моя сверхъестественность основана не на внешнем виде, не на костюме, не на образовании, а просто на неизвестных для них занятиях, противоположных их делу. Мне это становится еще более понятным, когда такими же сверхъестественными людьми оказываются и один отставной шкипер и один мелкий телеграфный чиновник. Оба — претенденты на руку Варвары Кобылиной. Про эту невесту мне рассказывали еще на Белом море. Она — дочь богатого лопаря. Живут они в тундре, пасут большое стадо оленей. Отец подыскивает дочке жениха, такого же, как она, лопаря, потому что одному трудно управляться с большим стадом оленей. Тут ему пришлось вместе с дочерью довольно долго быть в Архангельске для продажи оленей. И в это время единственная и любимая дочь лопаря сразу влюбилась в двух русских: в шкипера и в телеграфного чиновника. Были и еще претенденты — тысяча оленей стоит десять тысяч рублей, — но она полюбила только двух. Едва-едва отец увез ее. Теперь плачет, тоскует в тундре, еле жива.

— Ну, мыслимое ли дело лопке замуж за русского выходить? — заговорили все после рассказа, и решительно все согласились.

Разговор о романе в тундре, такой увлекательный для женщин и для меня! Мне хорошо здесь, и будто я не в лопарской семье — в пустыне, а где-нибудь в большом незнакомом городе, в единственном знакомом милом доме.

Хозяйка забывает о глухаре. Но он неожиданно напомнил о себе сам. Его нога приподнимает крышку котелка и сталкивает ее в огонь; вода бежит, шипит. Глухарь поспел.

Это напоминает мне, что в котомке у меня для лопарей припасена водка, и лопари — большие охотники до нее.

— Пьете водку?

— Нет, не пьем.

А глаза просят. Я наливаю стаканчик и подношу, как меня учили, сначала хозяйке. Секунду колеблется для приличия, потом берет рюмку, приветствует меня словами: "Ну, пожелаю быть здоровым", и торжественно выпивает. За ней подряд выпивают все мужчины, и все с одинаковой торжественной миной приветствуют меня: "Ну, пожелаю быть здоровым". Доходит очередь до молоденькой лапландки, похожей на японку. Я вижу, как она мучится, колеблется и с отвращением выпивает глоток. Стаканчик совершает еще оборот вокруг костра и опять останавливается у японки. Она умоляет меня глазами; тоже и мать.

— Значит, не надо? — спрашиваю я.

— Нельзя! — говорит старуха. — Надо выпить: от гостя руки нельзя не принять.

— Вот какой странный обычай! Я не знал. Извини.

— Может быть, и вам не надо? — спрашиваю я почтенную мать.

— Нет, нам надо, — отвечает она и, пожелав мне быть здоровым, выпивает и за дочь и за себя. Немного спустя, когда мы все сидим вокруг досок с глухарем и едим, — кто ножку, кто крылышко, кто что, хозяйка преображается: ее строгое, окаменевшее лицо оживает, глаза бегают, губы вытягиваются.

— Ау-уа-уы-кыть! Уа-уы-уа-кыть!

Я понимаю: это лапландская песня, спеть которую я долго и напрасно просил в лодке. Но это так не похоже на песню: скорее это что-то в чайнике или в котелке урчит и, смешавшись с дымом, уносится в отверстие наверху.

— Уа-уы...

Песня оканчивается неожиданным восклицанием: "Каш-карары!"

Что бы это значило?

Василий охотно переводит:

— Мимо еретицы едет Иван Иванович...

— Как, неужели же и у вас есть Иван Иванович? — сомневаюсь я в верности перевода.

— Везде есть Иван Иванович, — отвечает Василий. — Евван-Евваныльт значит — Иван Иванович. — И продолжает: — Едет Иван Иванович мимо еретицы, мимо страшной еретицы, в Кандалакшу и думает, что она не выскочит. Плывет Иван Иванович, ногами правит, руками гребет, миленькой чулочки везет, белые чулочки, варежки с узорами. А еретица как выскочит и закричит: "Иван Иванович, Иван Иванович, кашкиш-карары!"

— Что же с Иваном Ивановичем стало?

— Ничего. На этом песня кончается.

После домашнего концерта доска очищается от пищи, и на ней появляется засаленная колода карт. Сдают всем по пяти.

— Не «дурачки» ли это?

— "Дурачки".

— Так сдавайте же и мне!

Мне с удовольствием сдают; я играю рассеянно и остаюсь дураком.

Такого эффекта, такого взрыва смеха я давно-давно не слышал. Смеется Василий, смеются женщины, смеются все лопари, а старуха долго не может сдать карт; только начнет, посмотрит на меня и ляжет вместе с картами на доску.

Удивительное счастье остаться дурачком в Лапландии! Вообще им быть нехорошо... но тут! Я пытаюсь еще раз остаться, но ничего не выходит, и сколько я потом ни стараюсь, все не могу, всё находится кто-нибудь глупее меня.

За игрой в «дурачки» забываю о главном своем интересе в Лапландии: увидеть полуночное солнце. Мне напоминают о нем несколько капель дождя, пролетевших в отверстие нашей вежи.

— Дождь, — говорю я. — Опять не видать мне полуночного солнца!

— Дождь, дождь! — отвечают лопари. — Скорей куваксу строить!

Кува — это особая походная вежа, палатка. Ее можно сделать из паруса. Василий уже давно мне говорил про нее и обещал, что спать я на острове буду лучше, чем дома, и он знает такое средство, что ни один комар не посмеет пролезть в мою куваксу.

Через несколько минут палатка готова, — маленькая такая, чтобы лечь одному. Я устраиваюсь на теплых оленьих шкурах, покрываюсь простыней и шкурой. Славно. Тепло. Хорошо дышится. Я начинаю раздумывать о своих впечатлениях, выискивать связь между ними. Какой-то странный запах, похожий не то на запах курительной бумаги, не то угара, не то тлеющей ваты, перебивает мои мысли. Что бы это значило? Запах сильнее и сильнее, дым ест глаза. Вскрываю, оглядываю палатку и замечаю в углу ее черный дымящийся котелок. Несколько гнилушек или сухих грибов курятся и наполняют палатку этим едким дымом. Я понимаю: это сюрприз Василия, это выполнение обещания, что ни один комар не заберется ко мне. Не решаюсь выставить котелок на дождь и тем обидеть любезного хозяина. Высовываю для разведки голову. Какие теперь комары? Дождь... Олени один за другим выходят из своей вежи к лесу.

Они заполняют весь треугольник между моей, лопарской и своей вежами, пробуют пощипать траву, но ничего не находят и один за другим исчезают в лесу. Теперь яставляю котелок на дождь, опять устраиваюсь, слушаю, как барабанил капли по палатке, слушаю взрывы веселого детского смеха из лопарской вежи. Все еще играют в «дурачки».

Так странно думать, что вот почти на краю света эти забытые всем миром люди могут смеяться таким невинным, детским смехом.

Хибинские горы

— Вставайте! — бужу я лопарей. — Вставайте!

Но они спят, как убитые, все в одной веже.

В ответ мне из-под склонившихся к земле лап ближайшей ели показывается лысая голова карлика.

— Василий, это ты? Как ты здесь?

Старик спал ночь под еловым шатром. Там сухо, совсем как в веже. Лапландские ели часто имеют форму вежи. Вероятно, они опускают вниз свои лапы для лучшей защиты от холодных океанских ветров.

Пока разводят костер, греют чайник и варят уху, закусывают, собираются, — проходит много времени; наступает уже день, начинают кусать комары; возвращаются олени; солнце греет. Но и день здесь ненастоящий: солнце не приносит с собой звуков в природу, сверкает даже слишком ярко, но холодно и остро, и зелень эта какая-то слишком густая, неестественная. День не настоящий, а какой-то хрустальный. Эти черные горы — будто старые окаменелые звери. На Имандре вообще много таких каменных зверей. Вот высунулся из воды морж, тюлень, вот растянулся по пути нашей лодки большой черный кит.

— Волса-Кедеть! — показывает на него лопарь и прислушивается.

Все тоже, как и он, поднимают весла и слушают. Булькают удары капель с весел о воду, и еще какой-то неровный плеск у камня, похожего на кита. Это легкий прибой перекачивает белую пену через гладкую спину «кита», и оттого этот неровный шум, и так ярко блестит мокрый камень на солнце.

— Волса-Кедеть шумит! — говорит Василий.

Меня раздражает эта медлительность лопарей; хочется ехать скорее. Я во власти той путевой инерции, которая постоянно движет вперед.

— Ну, так что же такое! — отвечаю я Василию. — Шумит и шумит.

— Да ничего... Так... шумит. Бывает перед погодой, бывает так.

Ему хочется мне что-то рассказать.

— Волса-Кедеть значит — кит-камень. Отцы говорят — это колдун...

И рассказывает предание:

— Возле Имандры сошлись два колдуна и заспорили. Один говорит: "Можешь ты зверем обернуться?" Другой отвечает: "Зверем я не могу обернуться, а нырну китом, и ты не увидишь меня, уйду в лес". Обернулся — и в воду. Немного не доплыл до берега и показал спину. Колдун на берегу видал, крикнул. Тот и окаменел.

Такое предание о ките.

— А вот этот морж? — спрашиваю я.

— Нет, это камень.

— А птица?

— Тоже так... камень. Вот у Кольской губы — там есть люди окаменелые. Колдунья тащила по океану остров, хотела запереть им Кольскую губу. А кто-то увидел и крикнул. Остров остановился: колдунья окаменела, и все люди в погосте окаменели.

Мы едем ближе к горам. Мне кажется, что если хорошенько крикнуть теперь, то и мы, как горы, непременно окаменеет. Я изо всей силы кричу. Горы отзываются. Лопари с поднятыми вверх веслами каменеют и слушают эхо.

Подшутить бы над ними? У ног моих на дне лодки большой камень-якорь с веревкой. Беру этот камень и прямо возле девушки бросаю его в Имандру. Бух!

Я не сразу понял, в чем дело. Вижу только — девушка стоит рядом, что она схватилась за нож, но ее удержали. В воде плавают весла.

Лапландка от испуга пустила в меня веслом, промахнулась, хотела зарезать, но ее удержали, и теперь с ней истерика.

— Наших женок, — укоризненно говорит мне Василий, — нельзя пугать. Наши женки пугливые. Могла бы и беда быть...

Немного спустя девушка приходит в себя, а лопари как ни в чем не бывало смеются.

Рассказывают мне множество разных случаев и все приговаривают: "Наши женки пугливые".

— Отчего это? — спрашиваю я.

— Неизвестно.

После всех этих рассказов мне не хотелось больше шуметь и кричать. Мне кажется, что если я теперь крикну еще раз, то все эти окаменевшие звери, рыбы и птицы испугаются, проснутся, и от этого будет что-то такое, отчего сейчас страшно, но что — это неизвестно.

— В горах, — говорит Василий, — есть озера, где лопарь не посмеет слова сказать и веслом стукнуть. Вот там есть такое озеро: «Вард-озеро».

Он показал рукой на мрачное ущелье Им-Егор. Это ущелье — расселина в горах: вход внутрь этой огромной каменной крепости Хибинских гор.

Туда мы и отправимся завтра на охоту за дикими оленями, но сегодня мы заедем в Белую губу.

Там живут лопари в пыртах, живет телеграфный чиновник, у которого можно достать масла и хлеба.

У подножья мрачных Хибинских гор, на которые похожа декорация в дантовом Аду, возле Имандры живет маленький чиновник. Он похож на крошечный винтик от часового механизма: так высоки горы, и так он мал.

Судьба его закинула сюда, в эту мрачную страну, и он покорился и стал жить. Он имеет какое-то отношение к предполагавшейся здесь железной дороге. План давно рухнул наверху. Но внизу дело по инерции продолжается, и винтик сидит на своем месте.

В своем путешествии я боюсь местных людей, и особенно чиновников. Они все заинтересованы лично в этой жизни и смотрят на нее из своего маленького окошечка, то обиженные и раздраженные, то самодовольные и самоуверенные. Все они глубоко убеждены, что мы, сторонние люди, ничего не видим, и, чтобы видеть, нужно, как они, завинтиться на десятки лет.

Я читал где-то, что все путешественники считают лопарей взрослыми детьми — простодушными, доверчивыми, а все местные люди — лукавыми и злыми. Почему это?

Я иду к чиновнику за мукой и маслом и побаиваюсь его, потому что ревниво оберегаю свой собственный, независимый взгляд, добытый из одинокого общения с природой и лопарями. Оберегаю от расхищения все это милое мне путешествие, о котором мечтал еще ребенком.

Мы говорили с чиновником о масле и хлебе, потом о картофеле, который этот человек пробует развести. И как-то сама собой заходит речь о лопарях.

— Это дикие, тупые, жестокие и злые люди, — говорит он мне, — это выродки и скоро вымрут.

— Да ведь это не доказано, — пробую защитить я, — может быть, и не вымирают.

— Нет вымирают, — отвечал он. — Вырождаются.

Он долго бранит лопарей и жалуется на то, как тут трудно жить культурному человеку зимой, когда солнце даже не всходит. Тьма, из-под пола дует... Жутко!

Я чувствую себя так, будто никуда не ездил и от скуки сужу и пересуживаю с кем-то лопарей. Смутно даже чувствую себя неправым перед этим винтиком: ведь его завинтили насильно. И я спасся от этого только потому, что добрая бабушка испекла для меня волшебный колобок. Выхожу на воздух; меня встречает горящая гладь спокойного горного озера.

Сосну часок и буду следить за всем, что случится этой загадочной солнечной ночью.

Станционная изба устроена по типу лопарского пырта. В ней есть камелек, лавки, окна. Лопари к моему приезду все собрались в избу и сидят теперь на лавках в ожидании меня. В избе дым. Это от комаров: хотят их убить. Я ложусь, стараясь уснуть.

Как и зачем я попал в Лапландию? Эти люди такие же обыкновенные, как наши мужики. Наши пасут коров, а эти — оленей. Какие это охотники? Но у нас-то ночь теперь. Как хорошо там! Я теперь дома: темно, совсем темно. Но почему это кто-то неустанно требует открыть глаза! — Не открою, не открою! И не надо открывать, а только чуть подними ресницу, увидишь, как хороша наша ночь! — Я открываю глаза. Вся Имандра в огне. Солнце. И ночь, которая мне грезилась, как большая черная птица с огненными перьями, улетает через озеро на юг.

Лопарей нет. Дым разошелся. Комары мертвые валяются на подоконнике.

Только десять вечера, но горы уже спят, закрылись белыми одеялами. Имандра горит, разгорается румянцем во сне, и близится время волшебных видений в стране полуночного солнца.

Зазвенели струны кантеле. Запел человек.

Пел дела времен минувших, пел вещей происхождение.

Просыпаюсь... Солнца не видно в мое окошко, так оно высоко поднялось уже. Опять я не видал полуночного солнца. Василий сидит у камелька и отливает в деревянную форму пули на диких оленей. Сегодня мы будем ночевать в горах и охотиться.

В горах есть озеро, к которому лопари питают суеверный страх. Это озеро со всех сторон защищено горами и потому почти всегда тихое, спокойное. Высоко над водой есть пещера, и там живут злые духи. В этом озере множество рыбы, но редко кто осмелится ловить там. Нельзя: при малейшем стуке весла злые духи вылетают из пещеры. И вот один молодой ученый из финской ученой экспедиции собрал лопарей на это озеро и принялся стрелять из ружья в пещеру. Вылетели несметные стаи птиц, черных и белых, но ничего не случилось.

С тех пор лопари там не боятся стукнуть веслом и ловят много рыбы.

Хорошо бы побывать внутри этой пещеры и оттуда посмотреть на полуночное солнце. Но это и далеко, и в самую пещеру почти невозможно добраться. Василий советует удовлетвориться ущельем Им-Егор — не менее мрачным, но доступным. В этом ущелье мы переночуем, войдем через него внутри Хибинских гор и по Гольцовой реке вернемся опять к Имандре.

Пока мы набиваем патроны, готовим пищу, собираемся, Имандра уже опять готовится встречать вечер и солнечную ночь.

Неужели опять случится что-нибудь, почему я не увижу солнечную полночь: дождь, туман или просто мы не успеем выбраться из лесу в горы?

Чтобы выбраться из ущелья, нужно часа два ехать на лодке и часа три подниматься в гору. Теперь шесть.

— Скорей, скорей! — тороплю я Василия.

Скользим на лодке по тихому озеру: ни малейшего звука, даже чаек нет. Ущелье видно издали; оно разрезает черную каменную гряду наверху. Снизу, с озера, оно вовсе не кажется таким мрачным, как рассказывают: просто — это ворота, вход в эту черную крепость. Гораздо таинственнее и мрачнее этот лес у подножья гор. Те мертвые, но лес-то живой и все-таки будто мертвый.

Мы причаливаем к берегу, входим в лес: гробовая тишина! В нем нет того зеленого радостного сердца, по которому тоскует бродяга, нет птиц, нет травы, нет солнечных пятен, зеленых просветов. Под ногами какие-то мягкие подушки, за которыми нога ощупывает камень, будто заросшие мхом могильные плиты.

С нами идут в горы двое лопарей: Василий с сыном; остальные разводят костер у берега Имандры, садятся вокруг костра и начинают играть в карты. Завтра они встретят нас в устье Гольцовой реки.

Я надеваю сетку от комаров; от этого лес становится еще более мрачным. С плиты на плиту, выше и выше мы поднимаемся по этому северному кладбищу. Дальше и дальше взрывы смеха лопарей. Разве тут можно смеяться!

Мы вступаем в глубь леса с ружьями, заряженными пулями и дробью. Мы тут можем встретить каждую минуту медведя, дикого оленя, росомаху; глухарей, наверно, встретим, сейчас же встретим. Но я даже не готовлю ружья. Я повторяю давно заученные стихи:

Пройдя полпути своей жизни,

*В минуту унынья вступил
Я в девственный лес.*

Это вход в дантов Ад. Не знаю, в каком мы кругу.

Комары теперь не поют, как обыкновенно, предательски-жалобно, а воют, как легионы злых духов. Мой маленький Вергилий с кривыми ногами, в кривых башмаках, не идет, а скачет. У него вся шея в крови. Мы бежим, преследуемые диаволами дантова Ада.

В чаще иногда бывают просветы, бежит ручей; возле него группа деревьев, похожих на яблони. И нужно подойти вплотную к ним, чтобы понять, в чем дело: это березы здесь так растут, совсем как яблони.

У одного такого ручья мы замечаем тропинку, как раз такую, какие у нас прокладывают пешеходы у краев полей. Это оленья тропа. Теперь мы бежим по этой тропе в расчете встретить гонимого комарами оленя. Как только мы выбежим из лесу, тут и будет конец всего, — голые скалы и сияние незаходящего солнца. Я совсем не думаю ни о птицах, ни о зверях. Вдруг перед нами на тропу выбегает птица, куропатка, и быстро бежит не от нас, а к нам. Как это ни странно, ни поразительно для меня, не выдавшего ничего подобного, но, подчиняясь той атавистической силе, которая на охоте мгновенно переделывает культурного человека в дикого, я навожу ружье на бегущую к нам птицу.

Василий останавливает меня:

— У нее детки: нельзя стрелять, надо пожалеть.

Куропатка подбегает к нам, кричит, трепещет, бьет крыльями по земле. На крик выбегает другая, такая же. Обе птицы о чем-то советуются: одна бежит прямо в лес, а другая — вперед по тропе и оглядывается на нас, будто зовет куда-то. Мы остановимся — она остановится, мы идем — и она катится впереди нас по тропе, как волшебный колобок. Так она выводит нас на полянку, покрытую травой и березками, похожими на яблони, останавливается, оглядывает нас, кивает головой и исчезает в траве. Обманула, завела нас на какую-то волшебную полянку с настоящей, как и у нас, травой и с яблонями и исчезла.

— Вот она, смотри, вон там пробирается, — смеется Василий.

Я присматриваюсь и вижу, как за убегающей птицей остается след шевелящейся травы.

— Назад бежит, к деткам. Нельзя стрелять. Грех!

Если бы не лопарь, я бы убил куропатку и не подумал бы о ее детях. Ведь законы, охраняющие дичь, действуют там, где она переводится; их издают не из сострадания к птицам. Откуда у этого дикаря сознание греха? Или так уж заложена в самом человеке жалость к птенцам?

Под свист комаров я раздумываю о своем охотничьем инстинкте, а на оленью тропу время от времени выбегают птицы, иногда с большими семьями. Раз даже выскочила из-под елового шатра с гнезда глухарка, встрепанная, растерянная, села в десяти шагах от нас и смотрит как ни в чем не бывало, будто большая курица.

— Ну, убей! Что же, убей! — показывает мне на нее Василий.

— Так грех, у ней дети...

— Ничего, что ж грех... бывает, и так пройдет: убил и убил.

Лес становится реже и реже, деревья ниже. Мы вступаем в новый круг дантова Ада.

Сзади нас остается тайбола — лесной переход, а впереди — тундра. Это слово мы усвоили себе в ненецком значении: большое, не оттаивающее до дна болото; а лопари им обозначают, напротив, совсем сухое, покрытое оленьим мохом место.

Здесь мы хотим отдохнуть, развести огонь, избавиться немного от воя комаров. Через минуту костер пылает, комары исчезают, и я снимаю сетку. Будто солнце вышло из-за туч, так стало светло. Внизу Имандра, на которой теперь выступает много островов, за ней — горы Чуна-тундра с белыми полосами снега, будто ребрами. Внизу лес, а тут тундра, покрытая желто-зеленым ягелем, как залитая лунным светом поляна.

Ягель — сухое растение. Оно растет, чтобы покрыть на несколько вершков скалы, лет десять. И вот этой маленькой березке, может быть, уже лет двадцать — тридцать. Вот ползет какой-то серый жук; вероятно, он тоже без крови, без соков, тоже не растет. И тишина-тишина. Медленная, чуть тлеющая жизнь.

Отдохнули у костра и идем выше по голым камням. Ущелье Им-Егор теперь уже не кажется прорезом в горах. Это огромные черные узкие ворота. Если войти в них, то непременно увидим одного из дантовых зверей...

Еще немного спустя мы внутри ущелья Дантовой пантеры нет, но зато из снега — тут много снега и камней — поднимается олень и пробегает через все ущелье внутрь Хибинских гор. Стрелять мы не решились, потому что от звука может обрушиться одна из неустойчивых призматических колонн.

Мы проходим по плотному, слежавшемуся снегу через ущелье, в надежде увидеть оленя по ту сторону, но там лишь необозримое пространство скал, молчаливый, окаменевший океан.

Десять вечера.

Мы набрали внизу моха и развели костер, потому что здесь холодно от близости снега. Так мы пробудем ночь, потому что здесь нет ни одного комара, а завтра рано утром двинемся в путь. На небе ни одного облачка. Наконец-то я увижу полуночное солнце! Сейчас солнце высоко, но все-таки есть что-то в блеске Имандры, в тенях гор вечернее.

А у нас, на юге, последние солнечные лучи малиновыми пятнами горят на стволах деревьев, и тем, кто в поле, хочется поскорей войти в лес, а тем, кто в лесу, выйти в поле. У нас теперь приостанавливается время, один за другим смолкают соловьи и черный дрозд последней песней заканчивает зорю. Но через минуту над прудами закружатся летучие мыши, и начнется новая, особенная ночная жизнь...

Как же здесь? Буду ждать.

Лопари и не думают о солнце, — пьют чай, очень довольны, что могут пить его безгранично: я подарил им целую четвертку.

— Солнце у вас садится? — спрашиваю я их, чтобы и они думали со мной о полуночном солнце.

— Закатается. Вон за ту вараку. Там!

Указывают рукой на Чуна-тундру. Это значит, что они жили внизу, у горы, и не видели за ней незаходящего солнца. В это "комарное время" они не ходят за оленями и не видят в полночь солнца.

Что-то дрогнуло на солнце. Вероятно, погас первый луч. Мне показалось, будто кто-то крикнул за ущельем в горах и потом заплакал, как ребенок.

— Что это? Слышите?

— Птица!

Это, вероятно, крикнула в тишине, при красном свете потухающего солнца полярная куропатка.

После одиннадцати. Один луч потухает за другим. Лопари напились чаю и вот-вот заснут, и я сам борюсь с собою изо всех сил. Нужно непременно заснуть, или произойдет что-то особенное. Нельзя же сознать себя без времени! Не могу вспомнить, какое сегодня число.

— Какое сегодня число?

— Не знаю.

— А месяц?

— Не знаю.

— Год?

Улыбаются виновато. Не знают. Мир останавливается.

Солнце почти потухло. Я смотрю на него теперь, и глазам вовсе не больно. Большой красный мертвый диск. Иногда только шевельнется, взбунтуется живой луч, но сейчас же потухнет, как конвульсия умирающего. На черных скалах всюду я вижу такие же мертвые красные круги.

Лопари смотрят на красный отблеск ружья и говорят на своем языке, спорят.

— О чем вы говорите, о солнце или о ружье?

— О солнце. Говорим, что сей год лекше идет, — может, и устроится.

— А прошлый год?

— Закаталось. Вон за ту вараку.

Будто разумная часть моего существа заснула и осталась только та, которая может свободно переноситься в пространства, в довременное бытие.

Вон эту огромную черную птицу, которая сейчас пересекает красный диск, я видел где-то. У ней большие перепончатые крылья, большие когти. Вот еще, вот еще. Одна за другой мелькают черные точки. Вот и лопари сидят у костра.

— Вы не спите?

— Нет.

— Какие это птицы там пролетели по солнцу? Видели вы?

— Это гуси летят к океану.

Солнце давно погасло, давно я не считаю времени. Везде — на озере, на небе, на горах, на стволе ружья — разлита красная кровь. Черные камни и кровь.

Вот если бы нашелся теперь гигантский человек, который восстал бы, зажег пустыню по-новому, по-своему. Но мы сидим, слабые, ничтожные комочки, у подножия скал. Мы бессильны. Нам все видно наверху этой солнечной горы, но мы ничего не можем...

И такая тоска в природе по этому гигантскому человеку.

Вот я вижу, луч заиграл.

— Видите вы? — спрашиваю я лопарей.

— Нет.

— Но сейчас опять сверкнул, видите?

— Нет.

— Да смотрите же на горы! Смотрите, как они светлеют.

— Горы светлеют. Верно! Вот и заиграло солнышко!

— Теперь давайте вздремнем часика на два. Хорошо?

— Хорошо, хорошо! Надо заснуть. Тут хорошо, комар не обижает. Поспим, а как солнышко станет на свое место, так и в путь.

После большого озера Имандра до города Колы еще целый ряд узких озер и рек.

Мы идем то тайболой, то едем на лодке.

Чем ближе к океану, тем климат мягче от теплого морского течения. Я это замечаю по птицам. Внутри Лапландии они сидят на яйцах, а здесь постоянно попадают с выводками цыплят. Но, может быть, я ошибаюсь и раньше не замечал птенцов, потому что был весь поглощен страстью к охоте.

Тут что ни шаг, то выводок куропаток и глухарей, но мы не стреляем и питаемся рыбой.

Проходит день, ночь, еще день, еще ночь, солнце не сходит с неба, постоянный день.

Чем ближе к океану на север, тем выше останавливается солнце над горизонтом и тем ярче оно светит в полночь. Возле океана оно и ночью почти такое же, как и днем.

Иногда проснешься и долго не поймешь, день теперь или ночь. Летают птицы, порхают бабочки, беспокоится потревоженная лисицей мать-куропатка. Ночь или день? Забываешь числа месяца, исчезает время.

И так вдруг на минуту станет радостно от этого сознания, что вот можно жить без прошлого и что-то большое начать.

1906 г.

Лесная капель

(Записки)

Бывало мы, любознательные мальчики, ломали наши игрушки и всякие подарки даже часы с целью узнать что там внутри. Так точно и в школах в старое время учили нас обращаться с природой. Выведут в поле, мы возьмем по цветку и ну обрывать лепестки и считать сколько у цветка лепестков, сколько тычинок пестиков какая чашечка и т. п. А в общем, с цветами получается то же самое что с детской игрушкой разломан, оципан образ исчез — и нет ни цветка ни игрушки.

Мы же теперь учимся природе не только не разрушая образа цветка животного камня но напротив обогащая природу своими человеческими образами.

Я учился этому сам делая записи на ходу. Так создалась моя "Лесная капель" как опыт поэтического изучения природы понимаемой в единстве с живущим в ней и образующим ее человеком.

Весна света

У нас, фенологов, наблюдающих смену явлений природы изо дня в день, весна начинается прибавкою света, когда в народе говорят, что будто бы медведь переваливается в берлоге с боку на бок, тогда солнце повертывается на лето, и хотя зима на мороз, — все-таки цыган тулуп продает.

Январь, февраль, начало марта — это все весна света. Небесный ледоход лучше всего виден в большом городе наверху между громадами каменных домов. В это время я в городе адски работаю, собираю, как скряга, рубль за рублем и, когда, наругавшись довольно со всеми из-за денег, наконец, в состоянии бываю выехать туда, где их добыть мне невозможно, то бываю счастлив. Да, счастлив тот, кто может застать начало весны света в городе и потом встретит у земли весну воды, травы, леса и, может быть, весну человека.

Когда после снежной зимы разгорится весна света, все люди возле земли волнуются, перед каждым встает вопрос, как в этом году пойдет весна, — и каждый раз весна приходит не такой, как в прошлом году, и никогда одна весна не бывает точно такой, как другая.

В этом году весна света перестоялась, почти невыносимо было глазу сияние снега, всюду говорили:

— Часом все кончится!

Отправляясь в далекий путь на санях, люди боялись, как бы не пришлось сани где-нибудь бросить и вести коня в поводу.

Да, никогда новая весна не бывает, как старая, и оттого так хорошо становится жить — с волнением, с ожиданием чего-то нового в этом году.

Начало весны света

Утром было минус 20, а среди дня с крыши капало. Этот день весь, с утра до ночи, как бы цвел и блестел, как кристалл. Ели, засыпанные снегом, стояли как алебастровые, и весь день

сменяли цвета от розового до голубого. На небе долго провисел обрывок бледного месяца, внизу же, по горизонту, распределялись цвета.

Все в этом первом дне весны света было прекрасно, и мы провели его на охоте. Несмотря на сильный мороз, зайцы ложились плотно, и не в болотах, как им полагается ложиться в мороз, а на полях, в кустах, в островках близ опушки.

Рубиновый глаз

Морозная тишина. Вечереет. Темнеют кусты неодетого леса, будто это сам лес собирает к ночи свои думы. Через тьму кустов глядит солнце рубиновым глазом, через кусты этот красный глаз не больше человеческого.

Весенний мороз

Мороз и северная буря этой ночью ворвались в дело солнца и столько напутали: даже голубые фиалки были покрыты кристаллами снега и ломались в руках, и казалось, даже солнцу этим утром было стыдно в таком сраме вставать.

Нелегко было все поправить, но солнце весной не может быть посрамлено, и уже в восьмом часу утра на придорожной луже, открытой солнечным лучам, поскакали наездники.

Голубые тени

Возобновилась тишина, морозная и светлая. Вчерашняя пороша лежит по насту, как пудра, со сверкающими блестками. Наст нигде не проваливается, и на поле, на солнце, держит еще лучше, чем в тени. Каждый кустик старого полынка, репейника, былинки, травинки, как в зеркало, глядится в эту сверкающую порошу и видит себя голубым и прекрасным.

Медленная весна

Ночью не было мороза. День сложился серый, но не теплый. Весна, конечно, движется: в пруду, еще не совсем растаявшем, лягушки высунулись, урчат вполголоса. И это похоже, будто вдаль по шоссе катят к нам сотни телег. Продолжается пахота. Исчезают последние клочки снега. Но нет того парного тепла от земли, нет уюта возле воды. Нам этот ход весны кажется медленным, хотя весна все-таки ранняя. Неуютно кажется потому, что снега не было зимой, выпал он недавно, и теперь преждевременно открытая земля не по времени холодна. Орех цветет, но еще не пылит, птичка зацепит сережки, и еще нет дымка. Листва из-под снега вышла плотно слежалая, серая.

Вчера вальдшнеп воткнул нос в эту листву, чтобы достать из-под нее червяка, в это время мы подошли, и он вынужден был взлететь, не сбросив с клюва надетый слой листьев старой осины. Я успел его убить, и мы сосчитали: на клюве у него было надето десять старых осиновых листиков.

Дорога в конце марта

Днем слетаются на весеннюю дорогу кормиться все весенние птицы; ночью, чтобы не вязнуть до ушей в зернистом снегу, по той же дороге проходят и звери. И долго еще по рыжей дороге, по навозу, предохраняющему лед от таяния, будет ездить человек на санях.

Дорога мало-помалу делается плотной для бегущих к ней весенних ручьев. Человек со своим

мальчуганом ехал на санях, когда из ручьев на одной стороне дороги слилось целое озеро. С большой силой давила вода на плотину, и, когда новый поток прибавил воды, плотина не выдержала, разломилась, и шумный поток пересек путь едущим на санях.

Земля показалась

Три дня не было мороза, и туман невидимо работал над снегом Петя сказал.

— Выйди, папа, посмотри, послушай, как славно овсянки поют.

Вышел я и послушал, — правда, очень хорошо, и ветерок такой ласковый. Дорога стала совсем рыжая и горбатая.

Казалось, будто кто-то долго бежал за весной, догонял и, наконец, коснулся ее, и она остановилась и задумалась... Закричали со всех сторон петухи. Из тумана стали показываться голубые леса.

Петя всмотрелся в редющий туман и, заметив в поле что-то темное, крикнул:

— Смотри, земля показалась!

Побежал в дом, и мне было слышно, там он крикнул:

— Лева, иди скорее смотреть, земля показалась!

Не выдержала и мать, вышла, прикрывая от света ладонью глаза:

— Где земля показалась?

Петя стоял впереди и показывал рукой в снежную даль, как в море Колумб, и повторял:

— Земля, земля!

Весенний ручей

Слушал на тяге воду. По луговой ложине вода катилась бесшумно, только иногда встречались струйка со струйкой, и от этого всплескивало. И слушая, ожидая следующий всплеск, спрашивал я себя, отчего это? Может быть, там сверху снег, из-под которого вытекал ручей, время от времени обваливался, и это событие в жизни ручья здесь передавалось столкновением струек, а может быть. Мало что может быть! Ведь если только вникнуть в жизнь одного весеннего ручья, то окажется, что понять ее в совершенстве можно только, если понять жизнь вселенной, проведенной через себя самого.

Первые ручьи

Я услышал легкий, с голубиным гульканьем взлет птицы и бросился к собаке проверить, — правда ли, что это прилетели вальдшнепы. Но Кента спокойно бегала. Я вернулся назад любоваться разливом и опять услышал на ходу тот же самый голубино-гулькающий звук. И еще и еще.

Наконец я догадался перестать двигаться, когда слышался этот звук. И мало-помалу звук стал непрерывным, и я понял, что где-то под снегом так поет самый маленький ручеек. Мне так это понравилось, что я пошел, прислушиваясь к другим ручьям, с удивлением отличая по голосу их

разные существа.

Майский мороз

Все обещало ночью сильный мороз. В первом часу при луне я вышел в дубовую рощу, где много маленьких птиц и первых цветов. Так и зову этот уголок страной маленьких птиц и лиловых цветов.

Вскоре на западе стала заниматься заря, и свет пошел на восток, как будто заря утренняя внизу, невидимо за чертой горизонта, взяла вечернюю и потянула к себе. Я шел очень скоро и так согревался, что не заметил даже, как сильный мороз схватил траву и первые цветы. Когда же прошел заутренний час и мороз вступил во всю силу, я взял один лиловый цветок и хотел отогреть его теплой рукой, но цветок был твердый и переломился в руке.

* * *

Лимонница, желтая бабочка, сидит на бруснике, сложив крылья в один листик: пока солнце не согреет ее, она не полетит и не может лететь, и вовсе даже не хочет спастись от моих протянутых к ней пальцев.

* * *

Видел ли кто-нибудь, как умирает лед на лугу в лучах солнца? Вчера еще это был богатый ручей: видно по мусору, оставленному им на лугу. Ночь была теплая, и он успел за ночь унести почти всю свою воду и присоединить ее к большой воде. Последние остатки под утро схватил мороз и сделал из них кружева на лугу. Скоро солнце изорвало все эти кружева, и каждая льдинка отдельно умирала, падая на землю золотыми каплями.

Природные барометры

То дождик, то солнышко. Я снимал свой ручей, и когда промочил ногу и хотел сесть на муравьиную кочку, по зимней привычке, то заметил, что муравьи выползли и плотной массой, один к одному, сидели и ждали чего-то, или они приходили в себя перед началом работы?

А несколько дней тому назад, перед большим морозом тоже было очень тепло, и мы дивились, почему нет муравьев" почему береза еще не дает сока. После того хватил ночной мороз в 18 градусов, и теперь нам стало понятно и береза, и муравьи знали, что еще будет сильный мороз, и знали они это по ледяной земле. Теперь же земля таяла, и береза дала сок.

Запоздалый ручей

В лесу тепло. Зеленеет трава: такая яркая среди серых кустов! Какие тропинки! Какая задумчивость, тишина! Кукушка начала первого мая и теперь осмелела. Бормочет тетерев и на вечерней заре. Звезды, как вербочки, распухают в прозрачных облаках. В темноте белеют березки. Растут сморчки. Осины выбросили червяки свои серые. Весенний ручей запоздал, не успел совсем сбежать и теперь струится по зеленой траве, и в ручей капает сок из поломанной ветки березы.

Весна воды

Снег еще глубок, но так зернист, что даже заяц проваливается до земли и своим брюхом чешет снег наверху.

После дороги птицы перелетают кормиться на поля, на те места, где стало черно.

Все березы на дожде как бы радостно плачут, сверкая летят вниз капли, гаснут на снегу, отчего мало-помалу снег становится зернистым.

Последние хрустящие остатки льда на дороге — их называют черепками. И то ледяное ложе, по которому бежал поток, тоже размыло, и оно размякло под водой: на этом желтом ложе заяц, перебегая на ту сторону ночью, оставил следы.

Ручей и тропинка

Вытаяла возле бора тропинка сухая, и рядом с ней шумит ручей; так вдоль опушки по солнцепеку и бегут, уходя вдаль, ручей и тропинка, а за ручьем на северном склоне среди хвойных деревьев лежит сибирский таежный нетронутый снег.

Светлая капель

Солнце и ветер. Весенний свет. Синицы и клесты поют брачным голосом. Корка наста от лыжи, как стекло, со звоном разлетается. Мелкий березник на фоне темного бора в лучах солнца становится розовым. Солнечный луч на железной крыше создает нечто вроде горного ледника, из-под которого, как в настоящем леднике, струится вода рекой, и от этого ледник отступает. Все шире и шире темнеет между ледником и краем крыши полоса нагретого железа. Тоненькая струйка с теплой крыши попадает на холодную сосульку, висящую в тени на морозе. От этого вода, коснувшись сосульки, замерзает, и так сосулька утром сверху растет в толщину. Когда солнце, обогнув крышу, заглянуло на сосульку, мороз исчез, и поток из ледника сбежал по сосулке, стал падать золотыми каплями вниз, и это везде на крышах, и до вечера всюду в городе падали вниз золотые капли.

Далеко еще до вечера стало морозить в тени, и хотя еще на крыше ледник все отступал и ручей струился по сосулке, все-таки некоторые капельки на самом конце ее в тени стали примерзать и чем дальше, тем больше. Сосулька к вечеру стала расти в длину. А на другой день опять солнце, и опять ледник отступает, и сосулька растет утром в толщину, а вечером в длину: каждый день все толще, все длиннее.

Окладной теплый дождь

Большие зеленеют почки на липе перед моим окном, и на каждой почке светлая капля, такая же большая, как и почка. От почки к почке вниз по тонкому сучку скатывается капля, сливается с каплей возле другой почки и падает на землю. А там выше по коре большого сука, будто река по руслу, бежит невидимо сплошная вода и по малым каплям и веточкам распределяется и заменяет упавшие капли. И так все дерево в каплях, и все дерево каплет.

Полтора суток без перерыву лил дождь. Шоссейная дорога стала, как в весеннюю распутицу. Я снял ее и еще снимал тут около дороги крестики молодой сосны с крупными каплями дождя: верх крестика без капель я ставил на небо, а низ, обрамленный крупными каплями, держал на фоне темного леса, чтобы капли на темном светились.

Первая песня воды

К вечеру мы вышли проверить, не отзовутся ли на пищик рябчики. Весной мы их не бьем, но потешаемся: очень занятно бывает, когда они по насту бегут, останавливаясь, прислушиваясь, и бывает набегут так близко, — чуть что не рукой хватай.

Возвращаться нам было труднее: прихватил вечерний заморозок, ногу наст еще не держал, проваливалось, и ногу трудно было вытаскивать. Оранжевая заря была строгая и стекленеющая, лужи на болотах горели от нее, как окна. Нам было очень нужно узнать, что это — тетерева бормочут или так кажется. Все мы трое взгромоздились на большую вытявшую кочку, прислушались.

Тут я пыхнул дымом из трубки, и, оказалось, чуть-чуть тянуло с севера. Мы стали слушать на север и вдруг сразу все поняли, — это внизу, совсем близко от нас, переливалась вода, напирая на мостик, и пела, совершенно как тетерев.

Песня воды

Весна воды собирает родственные звуки, бывает, долго не можешь понять, что это — вода булькает, или тетерева бормочут, или лягушки урчат. Все вместе сливается в одну песню воды, и над ней согласно всему блеет бекас, в согласии с водой вальдшнеп хрипит и таинственно ухает выпь: все это странное пенье птиц вышло из песни весенней воды.

Эолова арфа

Повислые под кручей частые длинные корни деревьев теперь под темными сводами берега превратились в сосульки и, нарастая больше и больше, достигли воды. И когда ветерок, даже самый ласковый, весенний, волновал воду и маленькие волны достигали под кручей концов сосулек, то они качались, стуча друг о друга, звенели, и этот звук был первый звук весны, эолова арфа.

Первый цветок

Думал, случайный ветерок шевельнул старым листом, а это вылетела первая бабочка. Думал, в глазах это порябило, а это оказался первый цветок.

Начало весны воды

Нельзя сказать, чтобы я удалился так, что не слышно было города, все было слышно: и гудки электровоза, и стукотня всякая, но это было неважно, потому что у леса была своя тишина, очень действенная и увлекающая мое внимание к себе целиком: городского гула я вовсе не слышал.

Я шел, не замечая дождя, но он был. Я впервые догадался о дожде, когда пришел к молодому березняку: он стал чуть-чуть розовым от первой встречи с небесной водой, и большие серые капли висели на ветках, такие большие, почти как вербы.

Дошел до Черного моста, и тут оказалось, что ручей еще глубоко в сугробах, и только лишь кое-где виднеются воронки с водой. Так что сегодня я был свидетелем самого первого начала весны воды.

Дорога

Оледенелая, натруженная, набитая копытами лошадей и полозьями саней, занавоженная дорога уходила прямо в чистое море воды и оттуда, в прозрачности, показывалась вместе с весенними облаками, преображенная и прекрасная.

Свет капелек

Ночью было очень тяжело возвращаться из лесу, но никакая усталость не могла победить радостного сознания, что я был сегодня свидетелем начала буйной весны с цветами и пеньем птиц.

В неодетом лесу ранние ивы, как люстры, как грезы, виденья. Сморчки, примулы, анемоны, волчье лыко, освещенье почек, свет капелек на ветвях.

Перед вечером

Среди дня от жаркого ветра стало очень тепло, и вечером на тяге определилась новая фаза весны. Почти одновременно зацвела ранняя ива и запел полным голосом певчий дрозд, и заволновалась поверхность прудов от лягушек, и наполнился вечерний воздух их разнообразными голосами. Землеройки гонялись перед вечером и в своей стихии в осиновой листве были нам также недоступны, как рыба в воде.

Время пчел выставлять

Бывает, остатки бледного истлевающего льда на лугу перекликаются днем с обрывками истлевающего в солнечных лучах бледного месяца.

Большой хищник, вернувшийся с юга, летел мне навстречу и, разглядев, кто я, вдруг круто повернул обратно.

Сороки слышали хруст льда под моими ногами и тревожно отзывались в глубине леса. Но и лед тоже трещал сам по себе, просто от солнца. Сороки в глубине леса понимали тот и этот треск и тому не отзывались.

Лесные голуби начали гурковать.

Пожалуй, что пора и пчел выставлять.

Наст

Опять ясный день с солнечным морозом, и ручьи по колеям на дороге, и жаркий час на сугробах в лесах, заваленных снегом.

Вылез, по брюхо утопая в сугробах, на лесную поляну, где пробегает мой любимый ручей. Нашел обнажение воды из-под снега возле берез и это снимал, как начало весны воды. Ночью мороз был так силен, что наст не везде проваливался, зато уж как провалишься, так здорово достается. Сейчас можно поутру забраться по насту глубоко в лес, и в полдень, когда разогреет, там в лесу и останешься, не вылезешь и будешь ждать ночного мороза, пока он не намостит.

Весенняя уборка

Еще несколько дней, какая-нибудь неделя — и весь этот невероятный хлам в лесу природа начнет закрывать цветами, травами, зеленеющими мхами, тонкой молодой порослью. Трогательно смотреть, как природа заботливо убирает два раза в год свой желтый, сухой и мертвый костяк один раз весной она закрывает его от нашего глаза цветами, другой раз осенью — снегом.

Еще цветут орехи и ольха, и их золотые сережки еще и сейчас дымятся от прикосновения птичек, но не в них теперь дело они живут, но их время прошло. Сейчас удивляют и господствуют множеством своим и красотой синие цветники звездочкой. Изредка попадает, но тоже удивляет, волчье лыко.

Лед растаял на лесной дороге, остался навоз, и на этот навоз, как будто чуя его, налетело из еловых и сосновых шишек множество семян.

Ореховые дымки

Барометр падает, но вместо благодетельного теплого дождя приходит холодный ветер. И все-таки весна продолжает продвигаться. За сегодняшний день позеленели лужайки сначала по краям ручьев, потом по южным склонам берегов, возле дорог и к вечеру зеленело везде на земле. Красивы были волнистые линии пахоты на полях — нарастающее черное с поглощаемой зеленью. Почки на черемухе сегодня превратились в зеленые копья. Ореховые сережки начали пылить, и под каждой порхающей в орешнике птичкой взлетал дымок.

Слезы радости

Ночью поехали в Териброво, вышли на глухарей в час ночи и под непрерывным дождем проходили в лесу бесплодно до восьми. Ни одна птичка не пикнула. При возвращении увидел осину с набухшими почками, — ту, которая в прошлый раз в темноте на морозе так пахла. А дождь шел до утра.

И встало серое утро, и лес, умытый, в слезах радости или горя, — не поймешь. Но даже через стены дома слышалась птичка, и через это мы поняли, что не горе, а радость сверкала за окном на ветках березы.

Живые ночи

Дня три или четыре тому назад произошел огромный и последний уступ в движении весны. Тепло и дожди обратили нашу природу в парник, воздух насыщен ароматом молодых смолистых листьев тополей, берез и цветущей ивы. Начались настоящие теплые живые ночи. Хорошо с высоты достижений такого дня оглянуться назад и ненастные дни ввести, как необходимые, для создания этих чудесных живых ночей.

Заячья шерсть

Снег встречается как великая редкость. Белая, надранная в весенних боях при линьке, заячья шерсть села на темную землю. Так много было зайцев этой зимой, что везде видишь на осиновом сером листовом подстиле клоки белой заячьей шерсти.

Позеленевшая трава кривоколенцем загибалась среди осиновых стволов по серому осinovому подстилу между длинными желтыми соломинами и метелками белоуса. По этому первому зеленому пути вышел линяющий заяц, еще белый, но в клочьях.

Движение весны

После хвойных засеменились осины, все поляны завалены их гусеницами. Слежу, как зелень пробивается через солому и сено прошлого года. Слежу, как вяжут, вяжут зеленые ковры, больше и больше гудит насекомых.

Цветут березки

Когда старые березы цветут и золотистые сережки скрывают от нас наверху уже раскрытые маленькие листы, внизу на молодых везде видишь ярко-зеленые листики величиной в дождевую каплю, но все-таки весь лес еще серый или шоколадный, — вот тогда встречается черемуха и поражает: до чего же листья ее на сером кажутся большими и яркими. Бутоны черемухи уже готовы. Кукушка поет самым сочным голосом. Соловей учится, настраивается. Чертова теща, и та в это время очаровательна, потому что не поднялась еще со своими колючками, а лежит на земле большой красивой звездой. Из-под черной лесной воды выбиваются и тут же над водой раскрываются ядовито-желтые цветы...

Весенний переворот

Днем на небе были на одной высоте "кошачьи хвосты", на другой — плыл огромный неисчислимый флот кучевых облаков. Мы не могли узнать, что наступает и что проходит: циклон или антициклон.

Вот теперь вечером все и сказалось: именно в этот вечер совершился долгожданный переворот, переход от неодоетой весны к зеленеющей весне.

Случилось это так: мы шли в разведку в диком лесу. Остатки желтых тростников на кочках между елками и березками напоминали нам, какую непроницаемую для солнечных лучей, какую непроходимую глушь представляет собой этот лес летом и осенью. Но глушь эта нам была мила, потому что в лесу теплело, и чувствовалась во всем весна. Вдруг блеснула вода, и мы с большой радостью узнали в этой воде Нерль. Мы пришли прямо на берег и будто попали сразу же в другую страну с теплым климатом: бурно кипела жизнь, пели все болотные птицы, бекасы, дупеля токовали, будто Конек-горбунок скакал в темнеющем воздухе, токовали тетерева, дали сигнал свой трубный почти возле нас журавли; словом, тут было все наше любимое, и даже утки сели против нас на чистую воду. И ни малейшего звука от человека, ни свистка ни ту-туканья мотора.

В этот час и совершился переворот, и начало все расти и распускаться.

Первый зеленый шум

К вечеру солнце было чисто на западе, но с другой стороны погромыхивали тучи, сильно парило, и трудно было угадать, обойдется или нет без грозы в эту ночь. На пару во множестве цветут львиные зевы синие, в лесу заячья капуста и душистый горошек. Березовый лист, пропитанный ароматной смолой, сверкал в вечерних лучах. Везде пахло черемухой... Гомонили пастухи и журавли. Лещ и карась подошли к берегу.

Увидев в нашей стороне большое зарево, мы струхнули "Не у нас ли это пожар?" Но это был не пожар, и мы себя спросили, как всегда спрашиваешь всю жизнь, видя это и не узнавая опять: "А если не пожар, то что же это может быть такое?" Когда, наконец, ясно обозначилась окружность большого диска, мы догадались: это месяц такой. За озером долго сверкала зарница. В лиственном лесу от легкого ветра впервые был слышен зеленый шум.

Первое кукование

Что же другое можно было придумать, увидев открытое озеро: не теряя времени даром, идти краем воды в лес и дальше в глубину леса в село Усолье, где работают лодочные мастера.

Направо от нас у самого озера шумел высокий бор, налево был дикий невылазный болотный лес, переходящий в огромные болотные пространства. В бору на солнечных пятнах по брусничнику нам стали показываться какие-то движущиеся тени, и, подняв голову вверх, я догадался, что это там неслышно от сосны к сосне перелетают коршуны.

— Все как-то холодно было, а вчера вдруг все и пошло, — сказал нам лесник.

— Заря все-таки, — ответил я, — была довольно холодная.

— Зато сегодня утром-то как сильно птица гремела!

В это время раздался крик, и мы едва могли в нем узнать первое кукование: оно гремело и сплывалось в бору. И даже зяблики, маленькие птички, не пели, а гремели. Весь бор гремел, и неслышные, различимые только по теням на солнечных пятнах по брусничнику, перелетали с кроны на крону большие хищники.

Землеройка

Вдруг на моих глазах плотно убитая дождями и снегом листва на земле вздыбилась, отдельные листики стали на ребро, потом в другом месте послышался писк и показался хоботок, и потом все животное величиной с наперсток — землеройка.

* * *

В новой траншее, прорытой нами вчера, оказалась землеройка. Это самое маленькое позвоночное, над которым все мы ходим в лесу, и может быть даже так, что под каждым шагом нашим в земле живет один или два зверька. Мехом своим землеройка напоминает крота: мех короткий, ровный, плотный, с синеватым отливом. На мышь совсем не похожа рыльце хоботком, страшно живая, прыгает высоко в банке, дали червя — сразу съела. Петя стал рыть новую траншею, и когда показывался червяк, клал его землеройке в эмалированную кружку в 12 сантиметров высотой.

Было задумано испытать, сколько она может подряд съесть червей. После того на этой же землеройке мы хотели испытать, что она вообще может съесть: давали ей все. В заключение мы решили испробовать, правда ли, что солнечный прямой луч, как рассказывают, землеройку убивает. Так, убив подземное существо солнечным лучом, мы рассчитывали взвесить ее, смерить как надо, исследовать внутренности, положить потом в муравейник и так очистить скелет. Да мало ли чего мы хотели! Еще хотели достать крота и посадить их вместе.

Но все наши замыслы так и остались неосуществленными: землеройка выпрыгнула через 12 сантиметров высоты на землю, — а земля ей, как рыбе вода, — и мгновенно исчезла.

Появление на свет этого необычайного зверька и его мгновенное исчезновение долго не отпускало мысль мою на свободу и все держало ее под землей, куда погружены корни деревьев.

Отражение

Вода сегодня такая тихая, что кулик над водой и его отражение в воде были совершенно одинаковые: казалось, летели нам навстречу два кулика. Весной в первую прогулку Ладе разрешается гоняться за птичками. Она заметила двух летящих куликов, — они летели прямо на нее, скрытую от них кустиком. Лада наметилась. Какого кулика она избрала себе, настоящего, летящего над водой, или его отражение в воде? Оба были похожи между собой,

как две капли воды.

Ладино дело, погоню за летящими куликами, я перевел на свое: погоню за своей какой-то птицей в моем словесном искусстве. Разве все мое дело не в том состоит, чтобы уберечься от погони за призраком?

Вот бедная Лада выбрала себе отражение и, наверно, думая, что сейчас поймает живого кулика, сделала мгновенно с высокого берега скачок и бухнула в воду.

Черемуха

Сочувствуя поваленной березе, я отдыхал на ней и смотрел на большую черемуху, то забывая ее, то опять с изумлением к ней возвращаясь: мне казалось, будто черемуха тут же на глазах одевалась в свои прозрачные, сделанные как будто из зеленого шума, одежды: да, среди серых еще не одетых деревьев и частых кустов она была зеленая, и в то же время через эту зелень я видел сзади нее частые белые березки. Но когда я поднялся и захотел проститься с зеленой черемухой, мне показалось, будто сзади нее и не было видно березок. Что же это такое? Или это я сам выдумал, будто были березки, или... или черемуха оделась в то время, как я отдыхал...

* * *

Вчера зацвела черемуха, и весь город тащил себе из лесу ветки с белыми цветами. Я знаю в лесу одно дерево: сколько уж лет оно борется за свою жизнь, старается выше расти, уйти от рук ломающих. И удалось — теперь черемуха стоит вся голая, как пальма, без единого сучка, так что и залезть невозможно, а на самом верху расцвела. Другая же так и не справилась, захирела, и сейчас от нее торчат только палки.

Гости

Гости у нас были. От штабелей дров рядом (два года лежат в ожидании большой воды) пришла к нам трясогузка, просто из любопытства, только чтобы на нас поглядеть. Мы рассчитали, что нам этих дров хватило бы для отопления лет на пятьдесят — вот сколько их было! И за несколько лет лежки бесполезной на ветру, под дождями и на солнце дрова эти потемнели, многие штабеля наклонились друг к другу, некоторые живописно рассыпались. Множество насекомых развелось в гниющих дровах, и в громадном числе тут поселились трясогузки. Мы скоро открыли способ, как снимать этих маленьких птичек на близком расстоянии: если она сидит на той стороне штабеля и надо ее к себе подзвать, для этого надо показаться издали и тут же от нее спрятаться. Тогда трясогузка, заинтересованная, побежит по краешку штабеля и с уголка заглянет на тебя, и ты увидишь ее на том самом полence, куда заранее навел аппарат.

Бывает очень похоже на игру в палочки-постукалочки, только там дети играют, а тут я, старый человек, играю с птичкой.

Прилетел журавль и сел на той стороне речки в желтом болоте среди кочек и стал, наклонившись, разгуливать.

Скопа, рыбный хищник, прилетела и, высматривая себе внизу добычу, останавливалась в воздухе, пряла крыльями.

Коршун, с круглой выемкой на хвосте, прилетел и парил высоко.

Прилетел болотный лунь, большой любитель птичьих яиц. Тогда все трясогузки вылетели из

дров и помчались за ним, как комары. К трясогузкам вскоре присоединились вороны, сторожа своих гнезд. У громадного хищника был очень жалкий вид, этакая махина и мчится в ужасе, улепетывает, удирает во все лопатки.

Слышалось «ву-ву» у витютней.

Неустанно куковала в бору кукушка.

Цапля вымахнула из сухих старых тростников.

Совсем рядом бормотал неустанно тетерев.

Болотная овсянка плакала и раскачивалась на одной тоненькой тростинке.

Землеройка пискнула в старой листве.

И когда стало еще теплей, то листья черемухи, как птички с зелеными крылышками, тоже, как гости, прилетели и сели, фиолетовая анемона пришла, волчье лыко и так дальше, пока не стали показываться в зеленых почках все этажи леса.

Еще была ранняя ива, и к ней прилетела пчела, и шмель загудел, и бабочка сложила крылышки.

Лисица, лохматая, озабоченная, мелькнула в тростниках.

Гадюка просыхала, свернувшись на кочке.

И казалось, этому чудесному времени не будет конца. Но сегодня, перепрыгивая с кочки на кочку в болоте, я что-то заметил в воде, наклонился и увидел там бесчисленное множество комариных жгутиков.

Пройдет еще немного, они окрылятся, выйдут из воды и станут ногами на воду, для них твердую, соберутся с духом, полетят и загудят. Тогда солнечный день станет серым от кровопивцев. Но эта великая армия охраняет девственность болотного леса и не дает дачникам использовать красоту этих девственных мест.

Пошла плотва. Приехали на лодке два рыбака. И когда мы сложились, чтобы уехать, тут же на нашем месте они развели костер, повесили котелок, поскоблили плотву и потом без хлеба хлебали уху и ели рыбу.

На этом единственном сухом местечке, наверно, и первобытный рыбак тоже разводил костры, и тут же стала наша машина. Когда же мы сняли и палатку, в которой у нас была кухня, то на место палатки прилетели овсянки что-то клевать. И это были наши последние гости.

Бедная мысль

Внезапно стало теплеть. Петя занялся рыбой, поставил в торфяном пруду сети на карасей и заметил место: против сети на берегу стояло около десяти маленьких, в рост человека, березок. Солнце садилось пухлое. Лег спать: рев лягушек, соловьи и все, что дает бурная "тропическая ночь".

Только бывает так, что, когда совсем хорошо, бедному человеку в голову приходит бедная мысль и не дает возможности воспользоваться счастьем тропической ночи Пете пришлось в

голову, что кто-то, как в прошлом году, подсмотрел за ним и украл его сети. На рассвете он бежит к тому месту и действительно видит там люди стоят на том самом месте, где он поставил сети. В злобе готовый биться за сети с десятком людей, он бежит туда и вдруг останавливается и улыбается это не люди — это за ночь те десять березок оделись и будто люди стоят.

Жизнь на ремешке

Прошлый год, чтобы заметить место на вырубке, мы сломали молодую березку, она повисла почти только на одном узеньком ремешке коры. В нынешнем году я узнал то место, и вот удивление березка эта висела зеленая, потому что, вероятно, ремешок коры подавал сок висящим сучьям.

Девушка в березах

На березах только что обозначилась молодая зелень, и леса оказались такими большими, такими девственными. Наш поезд в этих лесах не казался чудовищем, — напротив, поезд мне казался очень хорошим удобством. Я радовался, что могу, сидя у окна, любоваться видом непрерывных светящихся березовых лесов. Перед следующим окном стояла девушка, молодая, но не очень красивая. Время от времени она откидывала голову назад и озиралась по вагону, как птица нет ли ястреба, не следит ли за ней кто-нибудь? Потом опять нырнула в окно.

Мне захотелось посмотреть, какая она там про себя, наедине с зеленой массой берез. Тихонечко я приподнялся и осторожно выглянул в окно. Она смотрела в зеленую массу светящейся молодой березовой зелени и улыбалась туда и шептала что-то, и щеки у нее пылали.

Иволги

Свечи на соснах стали далеко заметны. Рожь в коленах. Роскошно одеты деревья, высокие травы, цветы. Птицы ранней весны замирают самцы, линяя, забились в крепкие места, самки гонят на гнездах. Звери заняты поиском пищи для молодых. У крестьян всего не хватает весенняя страда, посев, пахота.

Прилетели иволги, перепела, стрижи, береговые ласточки. После ночного дождя утром был густой туман, потом солнечный день, свежевато. Перед закатом потянуло обратно, с нашей горы на озеро, но рябь по-прежнему долго бежала сюда. Солнце садилось из-за синей тучи в лес большим несветящим лохматым шаром.

Иволги очень любят переменную, беспокойную погоду им нужно, чтобы солнце то закрывалось, то открывалось и ветер играл листвой, как волнами. Иволги, ласточки, чайки, стрижи с ветром в родстве.

Темно было с утра. Потом душно, и сюда пошла на нас большая туча. Поднялся ветер, и под флейту иволги и визг стрижей туча свалила, казалось, совсем куда-то в Зазерье, в леса, но скоро там усилилась и против нашего ветра пошла сюда черная, в огромной белой шапке. Смутилось озеро ветер на ветер, волна на волну, и черные пятна, как тени крыльев, быстро мчались по озеру из конца в конец. Молния распахнула тот берег, гром ударил. Иволга петь перестала, унялись стрижи. А соловей пел до самого конца, пока, наверно, сто по затылку не ударила громадная теплая капля. И полилось, как из ведра.

Мёд

Кончились майские холода, стало тепло, и зажухла черемуха. Зато наметились бутоны рябины и расцветает сирень. Зацветет рябина, и кончится весна, а когда рябина покраснеет, кончится лето, и тогда осенью мы откроем охоту и до самой зимы будем на охоте встречаться с красными ягодами рябины.

Сказать, какой именно запах у черемухи, невозможно не с чем сравнить, и не скажешь. В первый раз, когда весной я понюхаю, мне вспоминается детство, мои родные, и я думаю о них, что ведь и они тоже нюхали черемуху и не могли, как и я, сказать, чем она пахнет. И деды, и прадеды, и те, кто жили в то время, когда пелась былина о полку Игореве, и много еще раньше, в совсем забытые времена — все была черемуха, и пел соловей, и было множество разных трав, и цветов, и певчих птиц, и связанных с ними разных чувств и переживаний, составляющих наше чувство родины. В запахе одной только черемухи соединяешься со всем прошлым. И вот она отцветает. В последний раз я хочу поднести цветы к себе — в последней и напрасной надежде понять наконец-то, чем все-таки пахнет черемуха. С удивлением чувствую, что цветы пахнут медом. Да, вот я вспомнил, перед самым концом своим, цветы черемухи пахнут не собой, как мы привыкли, а медом, и это говорит мне, что недаром были цветы. Пусть они теперь падают, но зато сколько же собрано меду!

Верхняя мутовка

Утром лежал вчерашний снег. Потом выглянуло солнце, и при северном холодном ветре весь день носились тяжелые облака, то открывая солнце, то опять закрывая и угрожая...

В лесу же, в заветрии, как ни в чем не бывало продолжалась весенняя жизнь... Какая восхитительная сказка бывает в лесу, когда со всех этажей леса свешиваются, сходятся, переплетаются ветви, еще не одетые, но с цветами-сережками или с зелеными длинными напряженными почками. Жгуттики зеленые черемухи, в бузине — красная каша с волосками, в ранней иве, из-под ее прежнего волосатого вербного одеяльца, выбиваются мельчайшие желтенькие цветочки, составляющие потом в целом как бы желтого, только что выбившегося из яичной скорлупы цыпленка.

Даже стволы нестарых елей покрылись, как шерстью, зелеными хвоинками, а на самом верхнем пальце самой верхней мутовки явно показывается новый узел новой будущей мутовки...

Не о том я говорю, чтобы мы, взрослые, сложные люди, возвращались к детству, а к тому, чтобы в себе самих хранили каждый своего младенца, не забывали о нем никогда и строили жизнь свою, как дерево: эта младенческая первая мутовка у дерева всегда наверху, на свету, а ствол — это его сила, это мы, взрослые.

Расставание и встреча

Наблюдал я с восхищением начало потока. На одном холме стояло дерево очень высокая елка. Капли дождя собирались с ветвей на ствол, укрупнялись, перескакивали на изгибах ствола и часто погасали в густых светло-зеленых лишайниках, одевающих ствол. В самом низу дерево было изогнуто, и капли из-под лишайников тут брали прямую линию вниз в спокойную лужу с пузырями. Кроме этого, и прямо с веток падали разные капли, по-разному звучали.

На моих глазах маленькое озеро под деревом прорвало, поток под снегом понесся к дороге, ставшей теперь плотиной. Новорожденный поток был такой силы, что дорогу-плотину

прорвало, и вода помчалась вниз по сорочьему царству к речке. Ольшаник у берега речки был затоплен, с каждой ветки в заводь падали капли и давали множество пузырей. И все эти пузыри, медленно двигаясь по заводи к потоку, вдруг там срывались и неслись по реке вместе с пеной.

В тумане то и дело показывались, пролетая, какие-то птички, но я не мог определить, какие это. Птички на лету пищали, но за гулом реки я не мог понять их писка. Они садились вдали на группу стоявших возле реки деревьев. Туда я направился узнать, какие это к нам гости так рано пожаловали из теплых краев.

Под гул потока и музыку звонких капель я, как бывает это и при настоящей человеческой музыке, завертелся мыслью о себе, вокруг своего больного места, которое столько лет не может зажить...

Я очнулся, услышав песнь зяблика. Ушам своим не поверил, но скоро понял, что те птички, летевшие из тумана, те ранние гости — были всё зяблики. Тысячи зябликов всё летели, всё пели, садились на деревья и во множестве рассыпались по зяби, и я в первый раз понял, что слово «зяблик» происходит от «зяби». Но самое главное при встрече с этими желанными птичками был страх, — что, будь их поменьше, я, думая о себе, очень возможно, и вовсе бы их пропустил.

Так вот, — раздумывал я, — сегодня я пропущу зябликов, а завтра пропущу хорошего живого человека, и он погибнет без моего внимания. Я понял, что в этой моей отвлеченности было начало какого-то основного большого заблуждения.

Неведомому другу

Солнечно-росистое это утро, как неоткрытая земля, неизведанный слой небес, утро такое единственное, никто еще не вставал, ничего никто не видал, и ты сам видишь впервые.

Допевают свои весенние песни соловьи, еще сохранились в затишных местах одуванчики, и, может быть, где-нибудь в сырости черной тени белеет ландыш. Соловьям помогать взялись бойкие летние птички — подкрапивники, и особенно хороша флейта иволги. Всюду беспокойная трескотня дроздов, и дятел очень устал искать живой корм для своих маленьких, присел вдали от них на суку просто отдохнуть.

Вставай же, друг мой! Собери в пучок лучи своего счастья, будь смелей, начинай борьбу, помогай солнцу! Вот слушай, и кукушка взялась тебе помогать. Гляди, лунь плывет над водой: это же не простой лунь, в это утро он первый и единственный, и вот сороки, сверкая росой, вышли на дорожку, — завтра так точно сверкать они уже не будут, и день-то будет не тот, — и эти сороки выйдут где-нибудь в другом месте. Это утро единственное, ни один человек его еще не видел на всем земном шаре: только видишь ты и твой неведомый друг.

И десятки тысяч лет жили на земле люди, копили, передавая друг другу, радость, чтобы ты пришел, поднял ее, собрал в пучки ее стрелы и обрадовался. Смелей же, смелей!

И опять расширится душа: елки, березки, — и не могу оторвать своих глаз от зеленых свечей на соснах и от молодых красных шишек на елках. Елки, березки, до чего хорошо!

Лягушки ожили

Ночью мы сели в шалаш с круговой уткой. На заре хватил мороз, вода замерзла, я совершенно

продрог, день ходил сам не свой, к вечеру стало трепать. И еще день я провел в постели, как бы отсутствуя сам и предоставляя себя делу борьбы живота и смерти. На рассвете третьего дня мне привиделся узорчатый берег Плещеева озера и у частых мысков льда на голубой воде белые чайки. Было и в жизни точно так, как виделось во сне. И до того хороши были эти белые чайки на голубой воде и так впереди много было всего прекрасного: я увижу еще и все озеро освобожденным ото льда, и земля покроется зеленой травой, березы оденутся, услышим первый зеленый шум.

Еще вчера повернуло на тепло и был слышен легкий раскат отдаленного грома.

Я, слабый от борьбы за жизнь, но счастливый победой, встал с постели и увидел в окно, что вся лужайка перед домом покрыта разными мелкими птицами: много было зябликов, все виды певчих дроздов, серых и черных, рябинники, белобровики, — все бегали по лужайке в огромном числе, перепархивали, купались в большой луже. Был валовой прилет певчих птиц.

Собаки наши, привязанные к деревьям, вдруг почему-то залаяли и как-то глупо смотрели на землю.

— Что гром-то наделал, — сказал сосед и указал нам в то место, куда смотрели собаки.

Сверкая мокрой спиной, лягушка скакала прямо на собак и, вот только бы им хватить, разминулась и направилась к большой луже.

Лягушки ожили, и это как будто наделал гром: жизнь лягушек связана с громом, — ударил гром — и лягушки ожили и уже прыгали, сверкая на солнце мокрыми спинами, и все туда — в эту большую лужу. Я подошел к ним, все они из воды высунулись посмотреть на меня: страшно любопытные!

На припеке много летает насекомых и сколько птиц на лужайке! Но сегодня, встав с постели, я не хочу вспоминать их названия. Сегодня я чувствую жизнь природы всю целиком, и мне не нужно отдельных названий. Со всей этой летающей, плавающей, бегающей тварью я чувствую родственную связь, и для каждой в душе есть образ-памятка, всплывающий теперь в моей крови через миллионы лет: все это было во мне, гляди только — и узнавай.

Просто, вырастая из чувства жизни, складываются сегодня мои мысли: на короткое время я расстался по болезни с жизнью, утратил что-то и вот теперь восстанавливаю. Так миллионы лет тому назад нами были утрачены крылья, такие же прекрасные, как у чаек, и оттого, что это было очень давно, мы ими теперь так сильно любимся.

Мы потеряли способность плавать, как рыба, и качаться на черенке, прикрепленном к могучему стволу дерева, и носиться из края в край семенными летучками, и все это нам нравится, потому что это все наше, только было очень, очень давно. Мы в родстве со всем миром, мы теперь восстанавливаем связь силой родственного внимания и тем самым открываем свое же личное в людях другого образа жизни, даже в животных, даже в растениях.

К полудню, когда, как и вчера, слегка прогремело, полил теплый дождь. В один час лед на озере из белого сделался прозрачным, принял в себя, как вода заберегов, синеву неба, так что все стало похоже на цельное озеро.

В лесу на дорожках после заката поднимался туман, и через каждые десять шагов взлетала пара рябчиков. Тетерева бормотали всей силой, весь лес бормотал и шипел. Потянули и вальдшнепы.

В темноте, в стороне от города, были тройные огни: наверху голубые звезды, на горизонте более крупные желтые жилые городские огни и на озере огромные, почти красные лучи рыбаков. Когда некоторые из этих огней приблизились к нашему берегу, то показался и дым и люди с острогами, напоминающие фигуры с драконами на вазах Оливии и Пантикапей.

Первый соловей

При выезде из реки в озеро, в этом урве, в лозиновых кустах вдруг рявкнул водяной бык, эта большая серая птица — выпь, ревущая, как животное с телом, по крайней мере, гиппопотама. Озеро опять было совершенно тихое и вода чистая — оттого, что за день ветерок успел уже все эти воды умыть. Малейший звук на воде был далеко слышен.

Водяной бык вбирал в себя воду, это было отчетливо слышно, и потом "ух!" на всю тишину ревом, раз, два и три; помолчит минут десять и опять «ух»; бывает до трех раз, до четырех — больше шести мы не слышали.

Напуганный рассказом в Усолье, как один рыбак носился по озеру, обняв дно своей перевернутой волнами вверх дном долбленки, я правил вдоль тени берега, и мне казалось — там пел соловей. Где-то далеко, засыпая, прогомонили журавли, и малейший звук на озере был слышен у нас на лодке: там посвистывали свиязи, у чернетей была война, и потом был общий гомон всех утиных пород, где-то совсем близко топтал и душил свою самку кряковой селезень. Там и тут, как обманчивые вехи, вскакивали на воде шеи гагар и нырков. Показалось на розовом всплеске воды белое брюхо малой шуки и черная голова схватившей ее большой.

Потом все небо покрылось облаками, я не находил ни одной точки, чтобы верно держаться, и правил куда-то все влево, едва различая темнеющий берег. Каждый раз, как ухал водяной бык, мы принимались считать, дивясь этому звуку и загадывая, сколько раз ухнет. Было удивительно слышать эти звуки очень отчетливо за две версты, потом за три, и так все время не прекращалось и за семь верст, когда уже слышалось отчетливо пение бесчисленных соловьев Гремячей горы.

Майские жуки

Еще не отцвела черемуха, и ранние ивы еще не совсем рассеяли свои семена, а уж и рябина цветет, и яблоня, и желтая акация, — все догоняет друг друга, все разом цветет этой весной.

Начался массовый вылет майских жуков.

Тихое озеро по раннему утру все засыпано семенами цветущих деревьев и трав. Я плыву, и след моей лодки далеко виден, как дорога по озеру. Там, где утка сидела, — кружок, где рыба голову показала из воды, — дырочка.

Лес и вода обнялись.

Я вышел на берег насладиться ароматом смолистых листьев. Лежала большая сосна, очищенная от сучьев до самой вершины, и сучья тут же валялись, на них еще лежали сучья осины и ольхи с появившимися листьями, и все это вместе, все эти поврежденные члены деревьев, тлея, издавали приятнейший аромат на диво животным тварям, не понимающим, как можно жить и даже умирать, благоухая.

Гроза

К обеду поднялся очень сильный ветер, и в частом осиннике, еще не покрытом листьями, стволы стучали друг о друга, и это было тревожно слушать. Вечером началась гроза довольно сильная. Лада от страха забралась ко мне под кровать. Она вовсе обезумела, и это продолжалось у нее всю ночь, хотя гроза уже и прошла. Только утром в шесть часов я вытащил ее на двор и показал, какая хорошая, свежая утренняя погода. Тогда она быстро пришла в себя.

Отцветает черемуха

По лопухам, по крапиве, по всякой зеленой траве рассыпались белые лепестки: отцветает черемуха. Зато расцвела бузина и под нею внизу земляника. Некоторые бутоны ландышей тоже раскрылись, бурые листья осин стали неясно-зелеными, взошедший овес зелеными солдатыками расставился по черному полю. В болотах поднялась высоко осока, дала в темную бездну зеленую тень, по черной воде завертелись жучки-вертунки, полетели от одного зеленого острова осоки к другому голубые стрекозы.

Иду белой тропой по крапивной заросли, так сильно пахнет крапивой, что все тело начинает чесаться. С тревожным криком семейные дрозды гонят дальше и дальше от своих гнезд хищную ворону. Все интересно: каждая мелочь в жизни бесчисленных тварей рассказывает о брачном движении всей жизни на земле.

Суковатое бревно

Пыльца цветущих растений так засыпала лесную речку, что в ней перестали отражаться береговые высокие деревья и облака. Весенний переход с берега на берег по суковатому бревну висит так высоко, что упадешь и расшибешься.

Никому он не нужен теперь, этот переход, речку можно переходить просто по камешкам. Но белка идет там и во рту несет что-то длинное. Остановится, поработает над этим длинным, может быть, поест — и дальше. В конце перехода я пугнул ее в надежде, что она выронит добычу, и я рассмотрю, что это такое, или, может быть, она вскочит на осину. Белка, испуганная, действительно бросилась вверх по осине вместе с добычей, но не задержалась, а большим полетом с самой верхушки перелетела вместе с добычей на елку и там спряталась в густоте.

Осиновый пух

Снимал жгутики с осины, распускающие пух. Против ветра, солнца, как пушинки, летели пчелы, не разберешь даже — пух или пчела, семя ли растения летит для прорастания или насекомое летит за добычей.

Так тихо, что за ночь летающий осиновый пух осел на дороги, на заводы, и все это словно снегом покрыто. Вспомнилась осиновая роща, где пух в ней лежал толстым слоем. Мы его подожгли, огонь метнулся по роще, и стало все черным.

Осиновый пух — это большое событие весны. В это время поют соловьи, поют кукушки и иволги. Но тут же поют уже и летние подкрапивнички.

Время вылета осинового пуха меня каждый раз, каждую весну чем-то огорчает: растрата семян тут, кажется, больше даже, чем у рыб во время икрометания, и это подавляет меня и тревожит.

В то время, когда со старых осин летит пух, молодые переодеваются из своей коричневой младенческой одежды в зеленую, как деревенские девушки в годовой праздник показываются на гулянье то в одном наряде, то в другом.

После дождя горячее солнце создало в лесу парник с одуряющим ароматом роста и тления: роста березовых почек и молодой травы и тоже ароматного, но по-другому, тления прошлогодних листьев. Старое сено, соломины, мочально-желтые кочки — все порастает зеленой травой. Позеленели и березовые сережки. С осин летят семена-гусеницы и виснут на всем. Вот совсем недавно торчала высоко прошлогодняя высокая густая метелка белоуса; раскачиваясь, сколько раз, наверное, она спугивала и зайца и птичку. Осиневая гусеница упала на нее и сломала ее навсегда, и новая зеленая трава сделает ее невидимой, но это еще нескоро, еще долго будет старый желтый скелет одеваться, обрастать зеленым телом новой весны.

Третий день уже сеет ветер осинкой, а земля без устали требует все больше и больше семян. Поднялся ветерок, и еще больше полетело семян осиневых. Вся земля закрыта осиневыми червяками. Миллионы семян ложатся, и только немного из миллиона прорастет, и все-таки осинник вырастет вначале такой густой, что заяц, встретив его на пути, обежит.

Между маленькими осинками скоро начнется борьба корнями за землю и ветвями за свет. Осинник начинает прореживаться, и когда достигнет высоты роста человека, заяц тут начнет ходить глодать кору. Когда поднимется светолюбивый осиневый лес, под его пологом, прижимаясь робко к осинкам, пойдут теневыносливые елки, мало-помалу они обгонят осины, задушат своей тенью светолюбивое дерево с вечно трепещущими листьями...

Когда погибнет весь осиневый лес и на его месте завоюет сибирский ветер в еловой тайге, одна осина где-нибудь в стороне на поляне уцелеет, в ней будет много дупел, узлов, дятлы начнут долбить ее, скворцы поселятся в дуплах дятлов, дикие голуби, синичка, белка побывает, куница. И, когда упадет это большое дерево, местные зайцы придут зимой глодать кору, за этими зайцами — лисицы: тут будет звериный клуб. И так, подобно этой осине, надо изобразить весь связанный чем-то лесной мир.

Недовольная лягушка

Даже вода взволновалась, — вот до чего разыгрались лягушки. Потом они вышли из воды и разбрелись по земле: вечером было, — что ни шаг, то лягушка.

В эту теплую ночь все лягушки тихонечко урчали и даже те урчали, кто был недоволен судьбой: в такую-то ночь стало хорошо и недовольной лягушке, и она вышла из себя и, как все, заурчала.

Первый рак

Гремел гром и шел дождь, и сквозь дождь лучило солнце и раскидывалась широкая радуга от края до края. В это время распускалась черемуха, и кусты дикой смородины над самой водой позеленели. Тогда из какой-то рачьей печуры высунул голову и шевельнул усом своим первый рак.

Звонкое утро

Звонкое, радостное утро. Первая настоящая роса. Рыба прыгала. На горе токовали два раздутых петуха, и с ними было шесть тетерок. Один петух обходил всех вокруг, как у оленей

ирвас обходит своих важенков. Встретив на пути другого петуха, он отгонял его и опять обходил и опять дрался. Вспыхнули в серых лесах ранние ивы — дерево, на котором цвет, как желтые пуховые цыплята, и пахнет все медом.

Реки цветов

Там, где тогда мчались весенние потоки, теперь везде потоки цветов.

И мне так хорошо было пройти по этому лугу; я думал: "Значит не даром неслись весной мутные потоки".

Солнечная опушка

На рассвете дня и на рассвете года все равно: опушка леса является убежищем жизни.

Солнце встает, и куда только ни попадет луч, — везде все просыпается, а там внизу, в темных глубоких овражных местах, наверное, спят часов до семи.

У края опушки лен с вершок ростом и во льну — хвощ. Что это за диво восточное — хвощ-минарет, в росе, в лучах восходящего солнца!

* * *

Когда обсохли хвощи, стрекозы стали сторожками и особенно тени боятся...

Лесной ручей

Если хочешь понять душу леса, найди лесной ручей и отправляйся берегом его вверх или вниз.

Я иду берегом своего любимого ручья самой ранней весной. И вот что я тут вижу, и слышу, и думаю.

Вижу я, как на мелком месте текущая вода встречает преграду в корнях елей, и от этого журчит о корни и распускает пузыри. Рождаясь, эти пузыри быстро мчатся и тут же лопаются, но большая часть их сбивается дальше у нового препятствия в далеко видный белоснежный ком.

Новые и новые препятствия встречает вода, и ничего ей от этого не делается, только собирается в струйки, будто сжимает мускулы в неизбежной борьбе.

Водная дрожь от солнца бросается тенью на ствол елки, на травы, и тени бегут по стволам по травам, и в дрожи этой рождается звук, и чудится, будто травы растут под музыку, и видишь согласие теней.

С мелкоширокого плеса вода устремляется в узкую приглубь, и от этой бесшумной устремленности вот и кажется будто вода мускулы сжала, а солнце это подхватывает, и напряженные тени струй бегут по стволам и по травкам.

А то вот большой завал, и вода как бы ропшет, и далеко слышен этот ропот и переплеск. Но это не слабость, и не жалоба, не отчаяние, вода этих человеческих чувств вовсе не знает, каждый ручей уверен в том, что добежит до свободной воды, и далее если встретится гора, пусть и такая, как Эльбрус, он разрежет пополам Эльбрус, а рано ли, поздно ли добежит...

Рябь же на воде, схваченная солнцем, и тень, как дымок, перебегает вечно по деревьям и травам, и под звуки ручья раскрываются смолистые почки, и травы поднимаются из-под воды и на берегах.

А вот тихий омут с поваленным внутрь его деревом; тут блестящие жучки-вертунки распускают рябь на тихой воде.

Под сдержанный ропот воды струи катятся уверенно и на радости не могут не перекликнуться: сходятся могучие струи в одну большую и, встречаясь, сливаются, говорят и перекликаются: это перекличка всех приходящих и расходящихся струй.

Вода задевает бутоны новорожденных желтых цветов, и так рождается водная дрожь от цветов. Так жизнь ручья проходит то пузырями и пеной, а то в радостной перекличке среди цветов и танцующих теней.

Дерево давно и плотно легло на ручей и даже позеленело от времени, но ручей нашел себе выход под деревом и быстрым, с трепетными тенями бьет и журчит.

Некоторые травы уже давно вышли из-под воды и теперь на струе постоянно кланяются и отвечают вместе и трепету теней и ходу ручья.

Пусть завал на пути, пусть! Препятствия делают жизнь: не будь их, вода бы безжизненно сразу ушла в океан, как из безжизненного тела уходит непонятная жизнь.

На пути явилась широкая, приглубная низина. Ручей, не жалея воды, наполнил ее и побежал дальше, оставляя эту заводь жить своей собственной жизнью.

Согнулся широкий куст под напором зимних снегов и теперь опустил в ручей множество веток, как паук, и, еще серый, насел на ручей и шевелит всеми своими длинными ножками.

Семена елей плывут и осин.

Весь проход ручья через лес — это путь длительной борьбы, и так создается тут время.

И так длится борьба, и в этой длительности успевает зародиться жизнь и мое сознание.

Да, не будь этих препятствий на каждом шагу, вода бы сразу ушла и вовсе бы не было жизни-времени.

В борьбе своей у ручья есть усилие, струи, как мускулы, скручиваются, но нет никакого сомнения в том, что рано ли, поздно ли он попадет в океан к свободной воде, и вот это "рано ли, поздно ли" и есть самое-самое время, самая-самая жизнь.

Перекликаются струи, напрягаясь у сжатых берегов, выговаривают свое: "рано ли", "поздно ли". И так весь день и всю ночь журчит это "рано ли, поздно ли". И пока не убежит последняя капля, пока не пересохнет весенний ручей, вода без усталости будет твердить: "Рано ли, поздно ли мы попадем в океан".

По заберегам отрезана весенняя вода круглой лагункой, и в ней осталась от разлива щучка в плену.

А то вдруг придешь к такому тихому месту ручья, что слышишь, как на весь-то лес урчит снегирь и зяблик шуршит старой листвой.

А то мощные струи, весь ручей в две струи под косым углом сходится и всей силой своей ударяет в кручь, укрепленную множеством могучих корней вековой ели.

Так хорошо было, что я сел на корни и, отдыхая, слышал, как там внизу, под кручей, перекликались уверенно могучие струи, они пе-ре-кли-кались в своем "рано ли, поздно ли".

В осиновой мелочи расплескалась вода, как целое озеро, и, собравшись в одном углу, стала падать с обрыва высотой в метр, и от этого стало бубнить далеко. Так Бубнило бубнит, а на озерке тихая дрожь, мелкая дрожь, и тесные осинки, опрокинутые там под водой, змейками убегают вниз беспрерывно и не могут убежать от самих себя.

Привязал меня ручей к себе, и не могу я отойти в сторону, скучно становится.

Вышел на какую-то лесную дорогу, и тут теперь самая низенькая трава, такая зеленая, сказать — почти ядовитая, и по бокам две колеи, переполненные водой.

На самых молодых березках зеленеют и ярко сияют ароматной смолой почки, но лес еще не одет, и на этот еще голый лес в нынешнем году прилетела кукушка: кукушка на голый лес — считается нехорошо.

Вот уже двенадцатый год, как я рано, не одетой весной, когда цветет только волчье лыко, анемоны и примулы, прохожу этой вырубкой. Кусты, деревья, даже пни мне тут так хорошо знакомы, что дикая вырубка мне стала как сад: каждый куст, каждую сосенку, елочку обласкал, и они все стали моими, и это все равно, что я их посадил, это мой собственный сад.

Из этого своего «сада» я вернулся к ручью и смотрел тут на большое лесное событие: огромная вековая ель, подточенная ручьем, свалилась со всеми своими старыми и новыми шишками, всем множеством веток своих легла на ручей, и о каждую ветку теперь билась струйка и, протекая, твердила, перекликаясь с другими: "рано ли, поздно ли"...

Ручей выбежал из глухого леса на поляну и в открытых теплых лучах солнца разлился широким плесом. Тут вышел из воды первый желтый цветок, и, как соты, лежала икра лягушек, такая спелая, что через прозрачные ячейки просвечивали черные головастики. Тут же над самой водой носились во множестве голубоватые мушки величиной почти в блоху, и тут же падали в воду, откуда-то вылетали и падали, и в этом, кажется, и была их короткая жизнь. Блестящий, как медный, завертелся на тихой воде жучок водяной, и наездник скакал во все стороны и не шевелил даже воду. Лимонница, большая и яркая, летела над тихой водой. Маленькие лужицы вокруг тихой заводи поросли травой и цветами, а пуховые вербочки на ранней иве процвели и стали похожи на маленьких цыплят в желтом пуху.

Что такое случилось с ручьем? Половина воды отдельным ручьем пошла в сторону, другая половина в другую. Может быть, в борьбе своей за веру в свое "рано ли, поздно ли" вода разделилась: одна вода говорила, что вот этот путь раньше приведет к цели, другая в другой стороне увидела короткий путь, и так они разошлись, и обежали большой круг, и заключили большой остров между собой, и опять вместе радостно сошлись и поняли: нет разных дорог для воды, все пути рано ли, поздно ли непременно приведут ее в океан.

И глаз мой обласкан, и ухо все время слышит: "рано ли, поздно ли", и аромат смолы тополей и березовой почки — все сошлось в одно, и мне стало так, что лучше и быть не могло, и некуда мне было больше стремиться. Я опустил между корнями дерева, прижался к стволу, лицо повернул к теплоте солнца, и тогда пришла моя желанная минута.

Ручей мой пришел в океан.

Ромашка

Радость какая! На лугу в лесу встретила ромашка, самая обыкновенная "любит — не любит". При этой радостной встрече я вернулся к мысли о том, что лес раскрывается только для тех, кто умеет чувствовать к его существам родственное внимание. Вот эта первая ромашка, завидев идущего, загадывает "любит — не любит?". "Не заметил, проходит не видя, не любит, любит только себя. Или заметил... О, радость какая: он любит! Но если он любит, то как все хорошо: если он любит, то может даже сорвать".

Красные шишки

Росы холодные и свежий ветер днем умеряют летний жар. И только потому еще можно ходить в лесу, а то бы теперь видимо-невидимо было слепней днем, а по утрам и по вечерам комаров. По-настоящему теперь бы время мчаться обезумевшим от слепней лошадям в поле прямо с повозками.

В свежее солнечное утро иду я в лес полями. Рабочие люди спокойно отдыхают, окутываясь паром своего дыхания. Лесная лужайка вся насыщена росой холодной, насекомые спят, многие цветы еще не раскрывали венчиков. Шевелятся только листья осины, с гладкой верхней стороны листья уже обсохли, на нижней бархатная роса держится мелким бисером.

— Здравствуйте, знакомые елочки, как поживаете, что нового?

И они отвечают, что все благополучно, что за это время молодые красные шишки дошли до половины настоящей величины. Это правда, это можно проверить: старые пустые рядом с молодыми висят на деревьях.

Из еловых пропастей я поднимаюсь к солнечной опушке, по пути в глуши встречается ландыш, он еще сохранил всю свою форму, но слегка пожелтел и больше не пахнет.

Цветущие травы

Как рожь на полях, так в лугах тоже зацвели все злаки, и когда злачинку покачивало насекомое, она окутывалась пылью, как золотым облаком.

Все травы цветут и даже подорожники, — какая трава подорожник, а тоже весь в белых бусинках.

Раковые шейки, медуницы, всякие колоски, пуговки, шишечки на тонких стебельках приветствуют нас. Сколько их прошло, пока мы столько лет жили, а не узнать, кажется, все те же шейки, колоски, старые друзья. Здравствуйте, еще раз здравствуйте, милые!

Расцвет шиповника

Шиповник, наверное, с весны еще пробрался внутрь по стволу к молодой осинке, и вот теперь, когда время пришло осинке справлять свои именины, вся она вспыхнула красными, благоухающими дикими розами. Гудят пчелы и осы, басят шмели, все летят поздравлять и на именинах роски попить и медку домой захватить.

Ель и березка

Ель хороша только при сильном солнечном свете: тогда ее обычная чернота просвечивает

самой густой, самой сильной зеленью. А березка мила и при солнце, и в самый серый день, и при дождике.

Мой гриб

В грибном лесу одна полянка другой полянке руку подает через кусты, и когда эти кусты переходишь, на полянке тебя встречает твой гриб. Тут искать нечего: твой гриб всегда на тебя смотрит.

Анютины глазки

Бабочка, совсем черная, с тонкой белой каймой, сядет и становится, как моль, — треугольником. А то из этих же маленьких бабочек есть голубая, всем очень знакомая. Эта, когда сядет на былинку, то делается как цветок. Пройдешь мимо и за бабочку ни за что не сочтешь, — цветок и цветок: анютины глазки.

Иван-чай

Вот и лето настало, в прохладе лесной заблагоухала белая, как фарфоровая, ночная красавица, и у пня стал на солнцепеке во весь свой великолепный рост красавец наших лесов — Иван-чай.

Звери

Все бранятся зверем, хуже нет, когда скажут "вот настоящий зверь". А между тем у зверей этих хранится бездонный запас нежности. Сколько заложено в природе любви — можно видеть, когда дети зверей разлучаются с родной матерью и на место родной становится чужая.

Маленького слепого лисенка вынули из норы, дали воспитывать молочной кошке, и она вслепую любила его, и он ласкался к ней, как к родной матери.

Окотилась кошка, котят забросили, другая вскоре окотилась в том же лукошке, ей оставили одного. Тогда обе кошки стали кормить одного котенка родная уйдет, лезет в лукошко чужая, как будто в молоке ее заключается повелительная сила, которая все чужое роднит. И не только волк, даже тигр будет с величайшей нежностью заглядывать в глаза, если человек выходит его и с малых лет станет ему вместо матери.

А у собак перед всеми зверьми особенная любовь к человеку. Характер этой любви такой же, как любовь слепцов к молочной матери. Собака, выхваченная из дикой жизни, сохранила, вероятно, чувство утраты всей матери-природы и на веру отдалась человеку, как матери. По собаке заметнее всего, какая возможность любви заложена в звере и вообще в дикой природе.

Лесное кладбище

Выхватили на дрова полоску леса и почему-то не вывезли все, так и остались на вырубке поленницы, местами вовсе исчезнувшие в молодом осиннике с огромными светло-зелеными листьями или в частом ельнике. Кто понимает жизнь леса, нет ничего интересней таких вырубок, потому что лес — это книга за семью печатями, а вырубка — страница развернутой книги. После рубки соснового леса солнце сюда ворвалось и выросли оттого гигантские травы, которые не давали прорасти семенам сосны и ели. Маленькие осинки, буйно густые и лопоухие, однако, побеждают даже траву и вырастают, несмотря ни на что. Когда осинник заглушит траву, тенелюбивая елка начинает расти в осиннике, обрастает его, и оттого ель обыкновенно сменяет сосну. На этой вырубке, однако, был смешанный лес, но самое главное,

что тут были заболоченные моховые пятна, которые оживились и очень повеселели с тех пор, как лес был вырублен.

И вот на этой вырубке теперь можно было прочесть всю жизнь леса, во всем ее разнообразии тут был и мох со своими голубыми и красными ягодами, красный мох и зеленый, мелкозвездчатый и крупный и редкие пятна белого ягеля, со вкрапленными в него красными брусничинами, ерник. Всюду, возле старых пней, на их черном фоне, ярко светились в солнечных лучах молоденькие сосны, и ели, и березки. Буйная смена жизни вселяла веселые надежды, и черные пни, эти обнаженные могилы прежних высоких деревьев, вовсе не удручали своим видом, как это бывает на человеческих кладбищах.

Дерево умирает по-разному. Вот береза, та гниет изнутри, так что долго принимаешь ствол ее белый за дерево. Между тем там внутри только труха. Эта древесная губка напитана водой и довольно тяжелая, если такое дерево толкнуть и не оберечься, то верхние куски могут, падая, ушибить и даже убить. Часто видишь, березовый пенек стоит, как букет одна только береста остается белым воротником, одна она, смолистая, не гниет, а изнутри, на трухе — и цветы и новые деревца. Ель и сосна после смерти роняют прежде всего кору, она сваливается вниз кусками, как одежда, и лежит грудой под деревом. Потом валится верхушка, сучья, и наконец разваливается и самый пенек.

Множество цветов, грибов, папоротников спешат возместить собой распад когда-то великого дерева. Но прежде всего и оно само, тут же возле пня, продолжается маленьким деревцом. Мох, ярко-зеленый, крупнозвездный, с частыми бурыми молоточками, спешит укрыть голые коленки, которыми дерево когда-то держалось в земле, на этом мху часто бывают гигантские красные, в тарелку, сыроежки Светло-зеленые папоротники, красная земляника, брусника, голубая черника обступают развалины. Бывает, нитям ползущей клюквы понадобится зачем-то перебраться через пенек, глядишь, вот и ее кроваво-красные ягоды на тонких нитях с мельчайшими листиками висят, чрезвычайно украшая развалины пня.

Темный лес

Темный лес хорош в яркий солнечный день, — тут и прохлада и чудеса световые райской птицей кажется дрозд или сойка, когда они, пролетая, пересекут солнечный луч, листья простейшей рябины в подлеске вспыхивают зеленым светом, как в сказках Шехерезады.

Чем ниже спускаешься чащей к речке, тем гуще заросли, тем больше прохлада, пока, наконец, в черноте теневой, между завитыми хмелем ольхами, не блеснет вода бочага и не покажется на берегу его влажный песок. Надо тихо идти: можно увидеть, как горlinka тут пьет воду. После на песке можно любоваться отпечатками ее лапок и рядом — всевозможных лесных жителей: вот и лисица прошла...

Оттого лес называется темным, что солнце смотрит в него, как в оконце, и не все видит. Так вот нельзя ему увидеть барсучьи норы и возле них хорошо утрамбованную песчаную площадку, где катаются молодые барсуки. Нор тут нарыто множество, и, по-видимому, все из-за лисы, которая поселяется в барсучьих норах и воню своей, неопрятностью выживает барсука. Но место замечательное, переменить не хочется: песчаный холм, со всех сторон овраги, и все такой чащей заросло, что солнце смотрит и ничего увидеть не может в свое небольшое окошко.

Пень-муравейник

Есть старые пни в лесу, все покрытые, как швейцарский сыр, дырочками, и сохранившие прочную свою форму... Если, однако, придется сесть на такой пенек, то перегородки между

дырочками, очевидно, разрушаются, и чувствуешь, что сам на пне немного осел. И когда почувствуешь, что немного осел, то вставай немедленно: из каждой дырочки этого пня под тобой выползет множество муравьев, и ноздреватый пенёк окажется весь сплошным муравейником, сохранившим обличие пня.

Зарастающая поляна

Лесная поляна. Вышел я, стал под березкой... Что делается! Елки, одна к другой, так сильно густели и вдруг останавливались все у большой поляны. Там, на другой стороне поляны, были тоже елки и тоже остановились, не смея двинуться дальше. И так кругом всей поляны стояли густые высокие ели, каждая высылая впереди себя березку. Вся большая поляна была покрыта зелеными бугорками. Это было все наработано когда-то кротами и потом заросло и покрылось мохом. На эти взрытые кротами холмики падало семя и вырастали березки, а под березкой, под ее материнской защитой от мороза и солнца вырастала тенелюбивая елочка. И так высокие ели, не смея открыто сами высласть своих малышей на полянку, высылали их под покровом березок и под их защитой переходили поляну.

Пройдет сколько-то положенных для дерева лет, и вся поляна зарастет одними елками, а березы-покровительницы зачахнут в тени.

Лесные жилища

Мы нашли осинку со старым дятловым гнездом, которое сейчас облюбовала пара скворцов. Еще видели одно старое квадратное дупло, очевидно желны, и узенькую длинную щелку на осине, из которой выскочила гаечка.

Нашли на елях два гайна^[4], темные клубки прутьев, в которых снизу ничего не разглядишь. Оба гайна помещались на елках средней высоты, так что во всем большом лесу белки занимали средний этаж. Нам удалось также застать белку внизу и загнать ее невысоко на дерево. Белка была еще во всем зимнем меху.

Сарычи вились над вершинами деревьев, очевидно, тоже у гнезда. Караульный ворон чуть ли не за полкилометра от своего гнезда с криком совершал свой облет.

С необычайной быстротой промчалась тетерка и удачно сбила полет преследующего ее ястреба. Промажнувшись, он разочарованно уселся на сук дерева. У него была белая голова: по-видимому, это был кречет или сокол.

Дупла дятлов приходится искать точно так же, как и грибы: все время напряженно смотришь перед собой по сторонам, куда только хватает зрения, и все вниз и вниз, хотя дупла дятлов, конечно, вверх. Это оттого, что именно вот в это время дятлы начинают долбить себе гнезда и роняют светлую посорку на еще темную, не покрытую зеленью землю. По этим посоркам и узнаешь, какое дерево избрал себе дятел. По-видимому, ему не так-то легко выбрать себе подходящее дерево: постоянно видишь вблизи дупла, отработанного дятлом, начала их на этом дереве или на соседних. Замечательно, что огромное большинство найденных нами дупел располагалось непременно под осиновым грибом. Делается это, чтобы предохранить гнезда от дождя, или гриб показывает дятлу выгодное ему, мягкое для долбления место, — мы пока решить не могли.

Интересно было дупло у верхушки небольшой распадающейся от гниения березы. Высота ее — метра четыре, одно дупло было у самого верха, другое делалось немного пониже под грибом. Рядом с этим стволом дерева валялась его верхняя часть, трухлявая, насыщенная, как губка,

водой. И самый ствол с дуплом плохо держался, — стоило чуть качнуть его, и он бы свалился. Но, может быть, долбежка была не для гнезда.

Хозяин

После грозы вдруг стало очень холодно, начался сильный северный ветер. Стрижи и береговые ласточки не летят, а сыплются откуда-то массой.

Этот непрерывный днем и ночью ветер, а сегодня при полном сиянии солнца вечно бегущие волны с белыми гребнями и неустанно снующие тучи стрижей, ласточек береговых, деревенских и городских, а там летят из Гремяча все чайки разом, как в хорошей сказке птицы, только не синие, а белые на синем... Белые птицы, синее небо, белые гребни волн, черные ласточки, — и у всех одно дело, разделенное надвое: самому съесть и претерпеть чужое съедение. Мошки роятся и падают в воду, рыба подымается за мошками, чайки за рыбой, пескарь на червя, окунь на пескаря, на окуня щука и на щуку сверху скопа.

По строгой заре, когда ветер немного поунялся, мы поставили парус и краем ветра пошли по огненному литью волн. Совсем близко от нас скопа бросилась сверху на щуку, но ошиблась; щука была больше, сильнее скопы, после короткой борьбы щука стала опускаться в воду, скопа взмахнула огромными крыльями, но вонзенные в щуку лапы не освободились, и водяной хищник утянул в глубину воздушного. Волны равнодушно понесли перышки птицы и смыли следы борьбы.

На глубине, где волны вздымались очень высоко, плыл челнок без человека, без весел и паруса. Один челнок, без человека, был такой жуткий, как лошадь, когда мчит телегу без хозяина прямо в овраг. Было нам опасно в нашей душегубке, но мы все-таки решили ехать туда, узнать, в чем же дело, не случилась ли какая беда, как вдруг со дна челнока поднялся невидимый нам хозяин, взял весло и повел челнок против волн.

Мы чуть не вскрикнули от радости, что в этом мире появился человек, и хотя мы знали, что это просто измороженный рыбак уснул в челноке, но не все ли равно: нам хотелось видеть, как выступит человек, и мы это видели.

Кукушка

Кукушка во время моего отдыха на поваленной березе, не заметив меня, села где-то почти рядом и с каким-то придыханием, вроде того, как если бы нам сказать: — а ну-ка, попробую, что будет? — кукукнула.

— Раз! — сказал я, по старой привычке загадывая, сколько лет еще остается мне жить.

— Два!

И только она выговорила свое «ку» из третьего раза, и только собрался я сказать свое «три»...

— Кук! — выговорила она и улетела.

Свое три я так и не сказал. Маловато вышло мне жить, но это не обидно, я достаточно жил, а вот обидно, что если эти два с чем-то года будешь все собираться для какого-нибудь большущего дела, и вот соберешься, начнешь, а там вдруг "кук!"... Все кончится!

Так стоит ли собираться?

"Не стоит!" — подумал я.

Но, встав, бросил последний взгляд на березу — и сразу все расцвело в душе моей: эта чудесная упавшая береза для последней своей, для одной только нынешней весны раскрывает смолистые почки.

Ветер в лесу

Ветрено, прохладно и ясно. В лесу "лес шумит", и через шум слышна яркая летняя песенка подкрапивника.

Лес шумит только вверху, в среднем ярусе, в молодом осиннике только дрожат и чуть слышно постукивают друг о друга нежные круглые листики. Внизу в травах полная тишина, и в ней, слышно, работает шмель.

Сушь

Продолжается сушь великая. Речка пересохла совершенно, мостики деревьев, когда-то поваленных водой, остались, и тропинка охотников по уткам сохранилась на берегу, и на песочке свежие следы птиц и зверушек, по старой памяти приходящих сюда за водой. Они, правда, находят воду для питья кое-где в бочажках.

Рожь наливает

Рожь наливает. Жара. По вечерам солнце косыми лучами ложится на рожь. Тогда каждая полоска ржи, как перина: это вышло оттого, что воде между полосками было хорошо стекать. Так на перинке со скатами рожь выходит лучше. В лучах заходящего солнца теперь каждая полоска-перина так пышна, так привлекательна, что самому на каждую хочется лечь и поспать.

Горlinkка

Мирный звук воркующей горlinkки свидетельствует в лесу всем живущим: жизнь продолжается.

Закат года

Для всех теперь только начало лета, а у нас закат года: деньки ведь уже убывают, и, если рожь зацвела, значит, по пальцам можно подсчитать, когда ее будут жать.

В косых утренних лучах на опушке ослепительная белизна берез, белее мраморных колонн. Тут, под березами, еще цветет своими необыкновенными цветами крушина, боюсь, что плохо завязалась рябина, а малина сильная и смородина сильная, с большими зелеными ягодами.

С каждым днем теперь все реже и реже слышится в лесу «ку-ку», и все больше и больше нарастает сытое летнее молчание с перекличкой детей и родителей. Как редчайший случай — барабанная трель дятла. Услышишь вблизи, даже вздрогнешь и думаешь: "нет ли кого?" Нет больше общего зеленого шума, вот и певчий дрозд — поет как хорошо, но поет он один-одинешенек... Может быть, эта песенка теперь и лучше звучит — впереди самое лучшее время, ведь это самое начало лета, через два дня Семик. Но все равно, того чего-то больше уж нет, то прошло, начался закат года.

Осинкам холодно

В солнечный день осенью на опушке елового леса собрались молодые разноцветные осинки, густо одна к другой, как будто им там, в еловом лесу, стало холодно и они вышли погреться на опушку, как у нас в деревнях люди выходят на солнышко и сидят на завалинках.

Осенняя роска

Заосеняло. Мухи стучат в потолок. Воробьи табунятся. Грачи — на убранных полях. Сороки семьями пасутся на дорогах. Роски холодные, серые. Иная росинка в пазухе листа весь день просверкает...

Осень

В деревне овинный дух.

На утренней заре весело стучат гуськи — дубовые носки.

Гриб лезет и лезет.

Листопад

Вот из густых елок вышел под березу заяц и остановился, увидя большую поляну. Не посмел прямо идти на ту сторону и пошел кругом всей поляны от березки к березке. Вот он остановился, прислушался... Кто боится чего-то в лесу, то лучше не ходи, пока падают листья и шепчутся. Слушает заяц: все ему кажется, будто кто-то шепчется сзади и крадется. Можно, конечно, и трусливому зайцу набраться храбрости и не оглядываться, но тут бывает другое: ты не побоялся, не поддался обману падающих листьев, а как раз вот тут кто-то воспользовался и тебя сзади под шумок схватил в зубы.

Осень

Ехал сюда — рожь начинала желтеть. Теперь уезжаю обратно — эту рожь люди едят, и новая опять зеленеет. Тогда деревья в лесу сливались в одну зеленую массу, теперь каждое является само собой. И такая уж осень всегда. Она раздевает массу деревьев не сразу, каждому дает немного времени побыть и покрасоваться отдельно.

Роса

С полей, с лугов, с вод поднялись туманы и растаяли в небесной лазури, но в лесу туманы застряли надолго. Солнце поднимается выше, лучи сквозь лесной туман проникают в глубину чащи, и на них там, в чаще, можно смотреть прямо.

Зеленые дорожки в лесу все будто курятся, туман везде поднимается, вода пузырьками садится на листья, на хвоинки елок, на паутинные сети, на телеграфную проволоку. И, по мере того как поднимается солнце и разогревается воздух, капли на телеграфной проволоке начинают сливаться одна с другой и редеть. Наверное, то же самое делается и на деревьях: там тоже сливаются капли.

И когда, наконец, солнце стало порядочно греть на телеграфной проволоке, большие радужные капли начали падать на землю. И то же самое в лесу хвойном и лиственном — не дождь пошел, а как будто пролились радостные слезы. В особенности трепетно-радостна была осина, когда

упавшая сверху одна капля приводила в движение чуткий лист, и так все ниже, все сильнее вся осина, в полном безветрии сверкая, дрожала от падающей капли.

В это время и некоторые высоконастороженные сети пауков пообсохли, и пауки стали подтягивать свои сигнальные нити. Застучал дятел по елке, заклевал дрозд на рябине.

Ветреный день

Этот свежий ветер умеет нежно разговаривать с охотником, как сами охотники часто болтают между собой от избытка радостных ожиданий. Можно говорить и можно молчать: разговор и молчанье легкие у охотника. Бывает, охотник оживленно что-то рассказывает, но вдруг мелькнуло что-нибудь в воздухе, охотник посмотрел туда и потом: "А о чем я рассказывал?" Не вспомнилось, и — ничего: можно что-нибудь другое начать. Так и ветер охотничий осенью постоянно шепчет о чем-то и, не досказав одно, переходит к другому; вот донеслось бормотанье молодого тетерева и перестало, кричат журавли...

Всходы

Двойное небо, когда облака шли в разные стороны, кончилось дождем на два дня, и дождь кончился ледянистыми облаками. Но солнце засияло поутру, не обращая внимания на этот заговор неба, и я поспешил идти на охоту с камерой. Выходила из-под земли посеянная рожь солдатиками: каждый из этих солдатиков был в красном до самой земли, а штык зеленый, и на каждом штыке висела громадная, в брусничину, капля, сверкавшая на солнце то прямо, как солнце, то радужно, как алмаз. Когда я прикинул к глазу визирку камеры и мне явилась картина войска в красных рубашках с зелеными ружьями и сверкающими у каждого солдатика отдельными солнцами, — восторг мой был безмерный. Не обращая никакого внимания на грязь, я улегся на живот и пробовал на разные лады снять эти всходы.

Нет, оказалось, моими средствами нельзя было снять: ведь красные рубашки солдатиков непременно должны были выйти темными и слиться с землей, а брусничины росы при большой диафрагме выйдут только передние, если же сильно задиафрагмировать и поставить на постоянный фокус, то они выйдут слишком мелкими. Не все возьмешь камерой, но не будь камеры, не лег бы я в грязь и на живот и не заметил бы, что всходящие ржинки похожи на красных солдатиков с зелеными ружьями.

Последние цветы

Опять морозная ночь. Утром на поле увидел группу уцелевших голубых колокольчиков, — на одном из них сидел шмель. Я сорвал колокольчик, шмель не слетел, стряхнул шмеля, он упал. Я положил его под горячий луч, он ожил, оправился и полетел. А на раковой шейке точно так же за ночь оцепенела красная стрекоза и на моих глазах оправилась под горячим лучом и полетела. И кузнечики в огромном числе стали сыпаться из-под ног, а среди них были трескунки, взлетающие с треском вверх, голубые и ярко-красные.

Силач

Земля, разрыхленная муравьиной работой, сверху покрылась брусникой, а под ягодой зародился гриб, и мало-помалу напирая своей упругой шляпкой, поднял вверх над собой целый свод с брусникой, и сам, совершенно белый, показался на свет.

Березы

Зимой березы таятся в хвойном лесу, а весной, когда листья разворачиваются, кажется, будто березы из темного леса выходят на опушку. Это бывает до тех пор, пока листва на березах не потемнеет и более или менее не сравняется с цветом хвойных деревьев. И еще бывает осенью, когда березки, перед тем как скрыться, прощаются с нами своим золотом.

На воре шапка горит

Тихо в золоте, и везде на траве, как холсты, мороз настоящий, видимый, не тот, о котором хозяева говорят морос, значит, холодная роса. Только в восемь утра этот настоящий видимый мороз обдался росой и холсты под березами исчезли. Лист везде потек. Вдали ели и сосны прощаются с березами, а высокие осины — красной шапкой над лесом, и мне почему-то из далекого детства вспоминается тогда совсем непонятная поговорка: "На воре шапка горит".

А ласточки все еще здесь.

Парашют

В такой тишине, когда без кузнечиков в траве в своих собственных ушах пели кузнечики, с березы, затертой высокими елями, слетел медленно вниз желтый листик. Он слетел в такой тишине, когда и осиновый листик не шевелился. Казалось, движение листика привлекло внимание всех, и все ели, березы и сосны со всеми листиками, сучками, хвоинками и даже кусты, даже трава под кустами дивились и спрашивали: "Как мог в такой тишине стронуться с места и двигаться листик?" И, повинуясь всеобщей просьбе узнать — сам ли собой сдвинулся листик, я пошел к нему и узнал. Нет, не сам собой сдвинулся листик это паук, желая спуститься, отяжелел его и сделал своим парашютом: на этом листике опустился небольшой паучишко.

Рябина краснеет

Утро малоросистое. Вовсе нет паутин на вырубках. Очень тихо. Слышно желну, сойку, дрозда. Рябина очень краснеет, березки начинают желтеть. Над скошенной травой изредка перелетают белые, чуть побольше моли, бабочки.

Заводь

Среди обгорелых от лесного пожара в прошлом году деревьев сохранилась одна небольшая осинка на самом краю высокого яра, против нашей Казенной заводи. Возле этой осинки летом стог поставили, и теперь осенью от времени он стал желтым, а осинка ярко-красной, пылающей. Далеко видишь этот стог и осинку и узнаешь нашу заводь, где сомов столько же, сколько в большом городе жителей, где по утрам шелеспер, страшный хищник, выбрасывается на стаю рыбок и так хлещет хвостом по воде, что рыбки перевертываются вверх брюхом, и хищник их поедает.

Мелкой рыбицы (мальков) так много в воде, что от удара весла впереди часто выскакивает наверх стайка, будто кто-то ее вверх подбросил. На удочку рыба уже плохо берется, а сомы по ночам идут на лягушку, только лягушек в этом году по случаю сухмени очень мало, так же мало и пауков, и этими красными осенними днями в лесу вовсе нет паутины.

Несмотря на морозы, на Кубре еще встречаются цветущие лилии, а маленьких мелких цветочков, похожих на землянику, на воде целые поляны, как белые скатерти.

Лилии белые лежали на блюдцах зеленых, и грациозные ножки их в чистой воде так глубоко виднелись, что если достать их, смериться, то, пожалуй, нас и двух на них не хватило бы.

Первый мороз

Ночь прошла под большой чистой луной, и к утру лег первый мороз. Все было седое, но лужи не замерзали. Когда явилось солнце и разогрело, то деревья и травы обдались такой сильной росой, такими светящимися узорами глянули из темного леса ветки елей, что на эту отделку не хватило бы алмазов всей нашей земли.

Особенно хороша была сверкающая сверху донизу королева — сосна. Молодой собакой прыгала в груди моей радость.

Борьба за жизнь

Время, когда березки последнее свое золото ссыпают на ели и на уснувшие муравейники. Я замечаю даже блеск хвоинок на тропе в лучах заходящего солнца и все иду, любясь, иду без конца по лесной тропе, и лес мне становится таким же, как море, и опушка его, как берег на море, а полянка в лесу, как остров. На этом острове стоит тесно несколько елок, под ними я сел отдохнуть. У этих елок, оказывается, вся жизнь вверх. Там, в богатстве шишек, хозяйствует белка, клесты и, наверное, еще много неизвестных мне существ. Внизу же под елями, как на черном ходу, все мрачно, и только смотришь, как летит шелуха.

Если пользоваться умным вниманием к жизни и питать сочувствие ко всякой твари, можно и здесь читать увлекательную книгу вот хотя бы об этих семечках елей, падающих вниз при шелушении шишек клестами и белками. Когда-то одно такое семечко упало под березой между ее обнаженными корнями. Елка, прикрытая от ожогов солнца и морозов березой, стала расти, продвигаясь между наружными корнями березы вниз, встретила там новые корни березы, и своих корней елке некуда девать. Тогда она подняла свои корешки поверх березовых, обогнула их и на той стороне впустила в землю. Теперь эта ель обогнала березу и стоит рядом с ней со сплетенными корнями.

Белки

При первом рассвете выходим по одному в разные стороны в ельник за белками. Небо тяжелое и такое низкое, что, кажется, вот только на елках и держится. Многие зеленые верхушки совсем рыжие от множества шишек, а если урожай их велик, значит, и белок много.

В той группе елей, куда я смотрю, есть такие, что вот как будто кто их гребешком расчесал сверху донизу, а есть кудрявые, есть молодые со смолкой, а то старые с серо-зелеными бородками (лишайники). Одно старое дерево снизу почти умерло, и на каждой веточке висит длинная серо-зеленая борода, но на вершине плодов можно собрать целый амбар. Вот одна веточка на нем дрогнула. Белка, однако, заметила меня и замерла. Старое дерево, под которым мне пришлось дожидаться, с одной стороны внизу обгорело и стоит в широкой круглой яме, как в блюде. Я раскопал прелые листья, напавшие в блюдо с соседних берез, и открылась черная, покрытая пеплом земля. По этому признаку и по тому, что нижняя часть ствола обгорела, я разгадал происхождение блюда. Прошлый год в этом лесу охотник шел зимой по следу куницы. Вероятно, она шла верхом, прыгая с дерева на дерево, оставляя на снежных ветках следы, роняя посорку. Преследование дорогого зверька увлекло, сумерки застали охотника в лесу, пришлось ночевать.

Под тем деревом, где я теперь стою, жил огромный муравейник, быть может, самое большое

муравьиное государство в этом лесу. Охотник очистил его от снега, поджег, все государство сгорело, и остался горячий пепел. Человек улегся на теплое место, закрылся курткой, поверх завалил себя пеплом, уснул, а на рассвете дальше пошел за куницей.

Весной в то блюдо, где был муравейник, налилась вода. Осенью лист соседних берез завалил его, сверху белка насыпала много шелухи от шишек, и вот теперь я пришел за пушниной.

Мне очень захотелось использовать время, ожидая белку, и написать себе что-нибудь в книжечку об этом муравейнике. Совершенно тихо, очень медленным движением руки я вынимаю из сумки книжку и карандаш. Пишу я, что муравейник этот был в лесу огромным государством, как в нашем человеческом мире Китай. И только написалось «Китай», прямо как раз в книжку падает сверху шелуха от шишки. Догадываюсь, что наверху как раз надо мной сидит белка с еловой шишкой. Она затаилась, когда я пришел, но теперь ее мучит любопытство, живой я или совсем остановился, как дерево, и ей уже не опасен. Быть может, даже она нарочно для пробы пустила на меня шелуху, подождала немного и другую пустила и третью. Ее мучит любопытство, она больше теперь, пока не выяснит, никуда не уйдет. Я продолжаю писать о великом государстве муравьев, созданном великим муравьиным трудом: что вот пришел великан и, чтобы переночевать, истратил все государство. В это время белка бросила целую шишку и чуть не выбила у меня книжку из рук. Уголком глаза я вижу, как она осторожно спускается с сучка на сучок, ближе, ближе и вот прямо из-за спины поверх плеча моего смотрит, дурочка, в мои строки о великане, истратившем для ночевки в лесу муравьиное государство.

Вот раз тоже было, я выстрелил по белке, и сразу с трех соседних елей упало по шишке. Нетрудно было догадаться, что на каждой из этих елей сидело по белке и, когда я выстрелил, все выпустили из лапок своих по шишке и тем себя выдали.

Так мы в "подмосковной тайге" ходим за белками в ноябре до одиннадцати дня и от двух до вечера: в эти часы белки шелушат шишки на елках, качают веточки, роняют посорку, в поисках лучшей пищи перебегают от дерева к дереву. С одиннадцати до двух мы не ходим, в это время белка сидит на сучке в большой густоте и умывается лапками.

Тень человека

Утренняя луна. Восток закрыт. Все-таки, наконец, из-под одеяла показывается полоска зари, а возле луны остаются голубые поляны.

Озеро как будто было покрыто льдинами, так странно и сердито разрушались туманы. Кричали деревенские петухи и лебеди.

Я плохой музыкант, но мне думается, у лебедей верхняя октава журавлиная — тот самый их крик, которым они по утрам на болотах как будто вызывают свет, а нижняя октава гусиная, баском-говорком.

Не знаю, наверно, от луны или от зари на голубых полянках вверх я, наконец, заметил грачей, и потом скоро оказалось, все небо было ими покрыто — грачами и галками: грачи маневрировали перед отлетом, галки по своему обыкновению их провожали. Где бы это узнать, почему галки всегда провожают грачей? Было время, когда я думал, что все на свете известно и только я, горемыка, ничего не знаю, а потом оказалось, что в живой природе ученые часто не знают даже самого простого.

Так недавно еще мы узнали, что некоторые из наших ворон являются перелетными. Почему же

и некоторые из галок не могут улетать вместе с грачами?

Подул утренний ветер и свалил мою елочку, поставленную среди поля, чтобы можно было из-за нее подползти к гусям. Я пошел ее ставить, но как раз в тот момент, когда я поставил ее, показались гуси. Добросовестно я ползал вокруг елочки, прячась от гусей, но они сделали несколько кругов, елочка все казалась им подозрительной, да так и улетели подальше и расселись возле Дубовиц. Я стал к ним подползать из-за большого куста ивы посредине поля. На жнивье лежал белый мороз, и тень моя на белом выползала раньше меня, долго я не замечал ее, но вдруг в ужасе заметил, что она, огромная, страшная, подбирается к самым гусям. Страшная тень человека на белом морозе дрогнула, начался переполох у гусей, и вдруг все они с криком в двести голосов, из которых каждый был не слабее человеческого «ура» при атаке, бросились прямо на мой куст. Я успел прыгнуть внутрь куста и в прогалочек навстречу длинным шеям высунуть двойной ствол.

Барсук

Прошлый год в это время земля была уже белая, теперь осень перестоялась, и по черной земле, далеко заметные, ходят и ложатся белые зайцы. Вот кому теперь плохо! Но чего бояться серому барсуку. Мне кажется, барсуки еще ходят. Какие теперь они жирные! Пробую постеречь у норы. В это мрачное время в еловом лесу не сразу доберешься до той тишины, где нет нашей комнатной расценки мрачных и веселых сезонов, а неизменно движется все и в этом неустанном движении находит свой смысл и отраду. Этот яр, где живут барсуки, до того крут, что, взбираясь туда, часто приходится на песке оставлять свою пятерню рядом с барсучьей. У ствола старой ели я сажусь и сквозь нижнюю еловую лапину слежу за главной норой. Белочка, обкладывая мохом на зиму свое гайно, обронила посорку, и вот тут началась та самая тишина, слушая которую охотник может, не скучая, часами сидеть у норы барсука.

Под этим тяжелым небом, подпертым частыми елками, нет ни малейших намеков на движение солнца, но, когда солнце садится, барсук это знает в своей темной норе и, немного спустя, с большой осторожностью пробует выйти на свою ночную охоту. Не раз, высунув нос, он фыркает и спрячется и вдруг с необычайной живостью выскочит, — и охотник не успеет моргнуть. Гораздо лучше садиться перед рассветом, когда барсук возвращается, — тогда он просто идет и далеко шелестит. Но теперь по времени надо бы лежать барсуку в зимней спячке, теперь не каждый день он выходит, и жалко ночь напрасно сидеть и потом днем отсыпаться.

Не в кресле сидишь, ноги стали, как неживые, но барсук вдруг высунул нос, и все стало лучше, чем в кресле. Чуть показал нос и в тот же миг спрятался. Через полчаса еще показал, подумал и скрылся вовсе в норе.

Да так вот и не вышел. А я еще не успел дойти к леснику, полетели белые мухи. Неужели барсук, только высунув нос из норы, это почувял?

Власть красоты

Художник Борис Иванович в тумане подкрался к лебедям, близко стал целиться, но, подумав, что мелкой дробью по головам больше убьешь, раскрыл ружье, вынул картечь, вложил утиную дробь. И только бы стрелкнуть, — стало казаться, что не в лебедя, а в человека стреляешь. Опустив ружье, он долго любовался, потом тихонечко пятился, пятился и отошел так, что лебеди вовсе и не знали страшной опасности.

Приходилось слышать, будто лебедь недобрая птица, не терпит возле себя гусей, уток, часто их убивает. Правда ли? Впрочем, если и правда, это ничему не мешает в нашем поэтическом

представлении о девушке, обращенной в лебедя: это власть красоты.

Иван-да-Марья

Поздней осенью бывает иногда совсем как ранней весной там белый снег, там черная земля. Только весной из проталин пахнет землей, а осенью снегом. Так непременно бывает: мы привыкаем к снегу зимой, и весной нам пахнет земля, а летом принимаемся к земле, и поздней осенью пахнет нам снегом.

Редко бывает, проглянет солнце на какой-нибудь час, но зато какая же это радость! Тогда большое удовольствие доставляет нам какой-нибудь десяток уже замерзших, но уцелевших от бурь листьев на иве или очень маленький голубой цветок под ногой.

Наклоняюсь к голубому цветку и с удивлением узнаю в нем Ивана: это один Иван остался от прежнего двойного цветка, всем известного Ивана-да-Марьи.

По правде говоря, Иван не настоящий цветок. Он сложен из очень мелких кудрявых листиков, и только цвет его фиолетовый, за то его и называют цветком. Настоящий цветок с пестиками и тычинками только желтая Марья. Это от Марьи упали на эту осеннюю землю семена, чтобы в новом году опять покрыть землю Иванами и Марьями. Дело Марьи много труднее, вот, верно, потому она и опала раньше Ивана.

Но мне нравится, что Иван перенес морозы и даже заголубел. Провожая глазами голубой цветок поздней осени, я говорю потихоньку:

— Иван, Иван, где теперь твоя Марья?

Туман

Звездная и на редкость теплая ночь. В предрассветный час я вышел на крыльцо, и слышно мне было — только одна капля упала с крыши на землю. При первом свете заворошились туманы, и мы очутились на берегу бескрайнего моря.

Драгоценное и самое таинственное время от первого света до восхода, когда только обозначаются узоры совершенно безлиственных деревьев: березки были расчесаны вниз, клен и осина — вверх. Я был свидетелем рождения мороза, как он подсушил и подбелил старую, рыжую траву, позатынул лужицы тончайшим стеклышком.

При восходе солнца в облаках показалось строение того берега и повисло высоко в воздухе. В солнечных лучах явилось, наконец, из тумана и озеро. В просвеченном тумане все казалось сильно увеличенным, длинный ряд крякв был фронтом наступающей армии, а группа лебедей была, как сказочный выходящий из воды белокаменный город.

Показался один летящий с ночевки тетерев и несомненно по важному делу и не случайно, потому что с другой стороны тоже летел и в том же направлении, и еще, и еще... Когда я пришел туда, к озерному болоту, там собралась уже большая стая, немногие сидели на дереве, большинство бегало по кочкам, подпрыгивало, токовало совершенно так же, как и весной.

Только по очень ярко зеленеющей озими можно было различить такой день от ранне-весеннего, а еще, может быть, и по себе, что не бродит внутри тебя весеннее вино и радость не колет: радость теперь спокойная, как бывает, когда что-нибудь отболит, радуешься, что отболело, и грустно думаешь: да ведь это же не боль, это сама жизнь прошла...

Во время этого большого заимка озеро было совершенно черное в ледяном кольце, и каждый день кольцо сжимало все сильней и сильней черную воду в белых берегах. Теперь распалось кольцо, освобожденная вода сверкала, радовалась. С гор неслись потоки, шумели, как весной. Но когда солнце закрылось облаками, то оказалось, что только благодаря его лучам видима была и вода, и фронт крякв, и город лебедей. Туман все снова закрыл, исчезло даже самое озеро, и почему-то осталось лишь высоко висящее в воздухе строение другого берега.

Гуси-лебеди

Ночь была ясная, звездно-лунная. Сильный мороз, утром все белое. Гуси пасутся на своих местах. Прибавился новый караван, и всего стало летать с озера на поле штук двести. Тетерева до полудня были все на деревьях и бормотали. Потом небо закрылось, стало мозгло и холодно.

После обеда опять явилось солнце, и до вечера было прекрасно. Мы радовались нашим уцелевшим от общего разгрома двум золотым березкам. Ветер был, однако, северный, озеро лежало черное и свирепое. Прилетел целый караван лебедей. Слышал, что лебеди не очень долго держатся у нас, и когда уже так замерзнет, что останется только небольшая середка и уже обозы зимней дорогой едут прямым путем по льду, слышно бывает ночью во тьме, в тишине, как там, на середине, где-то густо разговаривают, думаешь — люди, а то лебеди на незамерзшей середочке между собой.

Вечером из оврага я подобрался к гусям очень близко и мог бы из дробовика произвести у них настоящий разгром, но, пока лез по круче, приустал, сердце слишком сильно билось, а может быть, просто хотелось поозорничать. Был пенек у самого верха оврага, и я сел на него так, что поднять только голову, и покажется ржанице с гусями, ближайшее от меня в десяти шагах. Ружье было приготовлено, мне казалось, что даже при внезапном взлете им без больших потерь нельзя от меня улететь, и я закурил папироску, очень осторожно выпуская дым, рассеивая его ладонью у самых губ. Между тем за этим маленьким пальцем была другая балка, и оттуда совершенно так же, как и я, пользуясь сумерками, к гусям подползала лисица. Я не успел ружья поднять, как целая огромная стая гусей снялась и стала вне выстрела. Еще хорошо, что я догадался о лисице и не сразу высунул голову. Она ходила, как собака, по гусиным следам, заметно все ближе и ближе подвигаясь ко мне. Я устроился, утвердил локти, примерился глазом, тихонечко свистнул мышкой она посмотрела сюда, свистнул другой раз, она пошла на меня...

Осенние листики

Перед самым восходом солнца на поляну ложится первый мороз. Притаиться, подождать у края, — что там только делается, на лесной поляне! В полумраке рассвета приходят невидимые лесные существа и потом начинают по всей поляне расстилать белые холсты. Первые же лучи солнца убирают холсты, и остается на белом зеленое место. Мало-помалу белое все исчезает, и только в тени деревьев и кочек долго еще сохраняются беленькие клинушки.

На голубом небе между золотыми деревьями не поймешь, что творится. Уносит ветер листы или стайками собрались мелкие птички и несутся в теплые далекие края.

Ветер — заботливый хозяин. За лето везде побывает, и у него даже в самых густых местах не остается ни одного незнакомого листика. А вот осень пришла — и заботливый хозяин убирает свой урожай.

Листья, падая, шепчутся, прощаясь навек. У них ведь так всегда: раз ты оторвался от родимого царства, то и прощайся, погиб.

Поздняя осень

Осень длится, как узкий путь с крутыми заворотами. То мороз, то дождь, и вдруг снег, как зимой, метель белая с воем, и опять солнце, опять тепло и зеленеет. Вдали, в самом конце, березка стоит с золотыми листиками: как обмерзла, так и осталась, и больше уже ветер с нее не может сорвать последних листьев, — все, что можно было, сорвал.

Самая поздняя осень — это, когда от морозов рябина сморщится и станет, как говорят, «сладкой». В это время самая поздняя осень до того сходится близко с самой ранней весной, что по себе только и узнаешь отличие дня осеннего и весеннего — осенью думается: "Вот переживу эту зиму и еще одной весне обрадуюсь".

Тогда думаешь, что и все так в жизни непременно должно быть: надо поморить себя, натрудить, и после того можно и радоваться чему-нибудь. Вспомнилась басня "Стрекоза и муравей" и суровая речь муравья: "Ты все пела — это дело, так поди же попляши". А ранней весной точно в такой же день ждешь радости без всяких заслуг; придет весна, ты оживешь в ней и полетишь, как стрекоза, вовсе не раздумывая о муравье.

Быстрик

Вот полянка, где между двумя ручьями я недавно белые грибы собирал. Теперь она вся белая: каждый пенек накрыт белой скатертью, и даже красная рябина морозом напудрена. Большой и спокойный ручей замерз, а маленький быстрик все еще бьется.

Деревья в лесу

Снежная пороша. В лесу очень тихо и так тепло, что только вот не тает. Деревья окружены снегом, ели повесили громадные тяжелые лапы, березы склонились и некоторые даже согнулись макушками до самой земли и стали кружевными арками. Так вот и у деревьев, как у людей: ни одна елка не склонится ни под какой тяжестью, разве что сломится, а береза чуть что — и склоняется. Ель царствует со своей верхней мутовкой, а береза плачет.

В лесной снежной тишине фигуры из снега стали так выразительны, что странно становится: "Отчего, думаешь, они ничего не скажут друг другу, разве только меня заметили и стесняются?" И когда полетел снег, то казалось, будто слышишь шепот снежинок, как разговор между странными фигурами.

Кристалльный день

Закончили охоту на зайцев: начались двойные следы, заяц гонялся за зайцем. День весь сверкал кристаллом от зари до зари. Среди дня солнце значительно пригревало, ветерок покачивал ветки деревьев, и оттого падали фигурки, рассылались в воздухе пылью, и эта мельчайшая пыль снова взлетала и сверкала на солнце искорками.

Верхняя мутовка высокой ели, как ваза, собирала внутрь себя снег больше, больше, пока, наконец, этот ком не скрыл в себе даже тот высокий палец ели, на который весенней порой на вечерней заре садится птичка-невеличка и поет свою песенку.

Барсуки

Поехал зимой около рождества на пойму за сеном, шевельнул вилами стог, а в нем барсук зимовал.

А то еще было: ребяташки собрались бить барсуков. Пустили в нору собаку. Барсучиха выбежала. Увидели ребяташки, что барсучиха тихо бегаёт, что можно догнать, не стали стрелять и бросились за ней. Догнали. Что делать? Ружья побросали у нор, палок в руках нет, голыми руками взять боязно. А между тем барсучиха нашла себе новый ход под землю и скрылась. Собака вытащила гнездо и барсучонка: порядочный, с хорошего щенка.

Деревья в плену

Дерево верхней своей мутовкой, как ладонью, забирало падающий снег, и такой от этого вырос ком, что вершина березы стала гнуться. И случилось в оттепель падал опять снег и прилипал к тому кому, и ветка верхняя с комом согнула аркой все дерево, пока, наконец, вершина с тем огромным комом не погрузилась в снег на земле и этим не была закреплена до самой весны. Под этой аркой всю зиму проходили звери и люди изредка на лыжах. Рядом гордые ели смотрели сверху на согнутую березу, как смотрят люди, рожденные повелевать, на своих подчиненных.

Весной береза возвратилась к тем елям, и если бы в эту особенно снежную зиму она не согнулась, то потом и зимой и летом она оставалась бы среди елей, но раз уж согнулась, то теперь при самом малом снеге она наклонялась и в конце концов непременно каждый год аркой склонялась над тропинкой.

Страшно бывает в снежную зиму войти в молодой лес: да ведь и невозможно войти. Там, где летом шел по широкой дорожке, теперь через эту дорожку лежат согнутые деревья, и так низко, что только зайцу под ними и пробежать. Но я знаю одно простое волшебное средство, чтобы идти по такой дорожке, самому не сгибая спины. Я выламываю себе хорошую увесистую палочку, и стоит мне только этой палочкой хорошенько стукнуть по склоненному дереву, как снег валится вниз со всеми своими фигурами, дерево прыгает вверх и уступает дорогу. Медленно так я иду и волшебными ударами освобождаю множество деревьев.

Беличья память

Думаю о белках понятно, если большой запас, ты помнишь о нем легко, но мы видим сейчас по следам, что вот здесь белка через снег пробилась в мох, достала спрятанные там с осени два ореха, тут же их съела, потом, отбежав десяток метров, опять нырнула, опять оставила в снегу скорлупу от двух-трех орехов и через несколько метров сделала третью полазку. Нельзя же предположить, что она чуяла орех через талый слой снега и обмерзлого льда. Значит, помнила с осени о двух орехах во мху в стольких-то сантиметрах от ели... Притом, помня, она могла не отмеривать сантиметры, а прямо на глаз с точностью определять: ныряла и доставала.

Лиловое небо

В декабре, если небо закрыто тучами, странно смеркается в хвойном лесу, почти страшно: небо наверху становится ровно лиловым, свисает, нижеет и торопит спасаться, а то в лесу скоро начнется свой, нечеловеческий порядок.

Мы поспешили домой обратно по своей утренней дорожке и увидели на ней свежий заячий след. Прошли еще немного и еще увидели новый след. Это значило, что зайцы, у которых день наш считается ночью и ночь — их трудовой день, встали с лежки и начали ходить.

Страшное лиловое небо в сумерках им было, как нам радостная утренняя заря.

Всего было только четыре часа. Я сказал:

— Какая будет длинная ночь!

— Самая длинная, — ответил Егор — ходить, ходить зайцу, спать, спать мужику.

Рождение месяца

Небо чистое. Восход роскошный в тишине. Мороз минус 12. Трубач по белой тропе гонит одним чутьем.

Весь день в лесу был золотой, а вечером заря горела в полнеба. Это была северная заря, вся малиново-блестящая, как в елочных игрушках, бывало, в бомбоньерках с выстрелом, особая прозрачная бумага, через которую посмотришь на свет, и все бывает окрашено в какой-нибудь вишневый цвет. Однако на живом небе было не одно только красное посредине шла густо-синяя стрельчатая полоса, ложась на красном, как цеппелин, а по краям разные прослойки тончайших оттенков, дополнительных к основным цветам.

Полный рассвет зари продолжается какие-нибудь четверть часа. Молодой месяц стоял против красного на голубом, будто он увидел это в первый раз и удивился.

Мои тетрадки

Мои тетрадки

Некоторые мои читатели время от времени просят меня написать рассказ о такой любви мастера к своему ремеслу, чтобы им можно было поучиться. Желая ответить читателям, много перебрал я в своей памяти всякого рода мастеров в разных областях науки, искусства и техники, таких замечательных, что я, как мастер слова, им не гоюсь и в подметки. Но все-таки из всех мастеров для примера я выбрал себя, потому что себя самого я знаю лучше других. И пусть мне дано не так много, любви к своему делу я имел не меньше их и могу поучить, как надо беречь свой талант.

Что значит — талант? Однажды весной я подумал об этом, и вот вижу, на высокой елке, на самом верхнем ее пальчике, сидит маленький птичик. Я догадался, что птичик этот поет, потому что клювик его маленький то откроется, то закроется. Но такой он маленький, птичик, что песенка его до земли не доходит и остается вся там, наверху. Птичик этот крохотный пел, чтобы славить зарю, но не для того он пел, чтобы песенка славилась птичку.

Так я тогда в этом птичке и нашел себе ответ на вопрос что такое талант? Это, по-моему, есть способность делать больше, чем нужно только себе это способность славить зарю, но не самому славиться.

Вот еще что я думаю о таланте эта птичка поет не только у поэтов, музыкантов и всякого рода артистов, в каждом деле движение к лучшему непременно совершается под песенку такой птички.

Я знал в былые времена одного башмачника, по имени Цыганок, в Марьиной роще. Крыша в его домике развалилась — ему нет дела до крыши; штаны изнашивались спереди — ничего, закрывается фартуком; просиделись сзади штаны опять ничего, закрывается другим фартуком сзади. Но какое мастерство! Я только потому не привожу его в пример, что он вином зашибал. О мастерстве этого Цыганка легенды сложились.

Рассказывают, будто приехала к нему в Марьину рощу из Парижа настоящая француженка, и

мастер сделал ей две пары башмаков. Одну эту пару француженка в грязь окунула, чтобы вид получился для таможни ношенный, другую пару завернула в газету, свою же, парижскую, бросила. По приезде в Париж очищает грязную пару, продает и окупает все расходы по этой поездке в Марьину рошу.

Сколько в жизни своей видал я таких мастеров, и думаю теперь, что артисты бывают не только в искусстве: всякий артист, кто делает свое дело под пение птички...

Было это давным-давно, я в то время не писателем был, а служил агрономом в имении графа Бобринского. Однажды на молотье услышал я разговор и для памяти на спичечной коробочке записал услышанные выразительные народные слова. С этого разу я стал такие слова записывать на чем-нибудь и дома вносить в особую тетрадку. Заноса однажды с клочка бересты в тетрадку какой-то разговор, я почувствовал желание писать не о чужих словах, а о себе самом. За этим писанием прошло у меня часа два, и с тех пор начинаю я свой день с того, чтобы записать пережитое предыдущего дня в тетрадку. Год за годом проходили, исписанная тетрадка ложилась на другую исписанную тетрадку, и так собиралась моя драгоценная словесная кладовая. Никакие сокровища в свете не могли бы возместить мне эту кладовую записанных слов и переживаний, хотя я из нее очень мало беру для своих рассказов. И не раз я очень многим рисковал, чтобы только спасти свои тетрадки.

В 1909 году вздумал я поселиться прочно в селе Брыни, привез туда всю свою, годами собранную библиотеку и все, какое у меня было имущество. Случился в этом селе пожар, и я увидел его на охоте верст за пять от села. Пока я прибежал, все село было в огне, но я, думая о тетрадках, бросился бежать к своему дому в такой жаре, что, помню, на ходу увидел чей-то вытащенный из дому диван и подивился, как он, деревянный, при такой жаре не загорается. Смотрю на свой каменный дом: еще цел, но занавески горят и лесенка на террасе дымится. Вбежал я в дом, бросился к тетрадкам, схватил их, и чувствую, секунды больше остаться нельзя, наклониться нельзя вон к тому чемодану, где лежат деньги и белье, нельзя шубу вытащить из сундука. Так, с одними тетрадками, вылетел и на ходу видел, что тот диван, на который я обратил тогда свое внимание, теперь горел, как свеча. А когда с тетрадками прискакал в безопасное место, увидел, что весь мой дом в огне.

Так все и сгорело, и остались только тетрадки, да заяц в печке, в чугунном котелке, прикрытом вьюшкой. Собирая серебряные комочки, в которые превратились наши ложки, мы обратили внимание на этот котелок, и уцелевший в печке заяц был нашей первой радостью после такого большого несчастья. Так все дочиста у меня сгорело, но волшебные тетрадки сохранились, и слова мои не сгорели.

Нес я эти тетрадки, эту кладовую несгораемых слов, за собою всюду, и раз они выручили меня из еще большей беды, чем пожар.

В 1919 году пришел к нам в Елец Мамонтов и предал наш родной город мечам и пожарам. Какой-то офицер Мамонтова, прослышав о пребывании писателя в городе, решил его «спасти» от большевиков и прислал за мною двух казаков. Им была дана инструкция, переговорив со мною, сделать вид, будто они меня арестуют: это на случай, если Мамонтов провалится, меня не обвинили бы в добровольном побеге. Все было мне сказано тихо и вежливо. "Сейчас они со мной вежливы, — подумал я, — но если я откажусь, то, может быть, сделают свое и невежливо, и по-настоящему арестуют меня..."

— Благодарю вас, — ответил я, — повремените немного...

Весь этот разговор был на Манежной улице, а тетрадки мои хранились на Соборной, и эти

тетрадки и навели меня на удачный ответ.

— Повремените здесь, — сказал я, — сейчас я схожу за тетрадками, а то без своих тетрадок я не писатель.

Казаки повременили, а я, схватив тетрадки на Соборной улице, пустился наутек и пробыл в засаде, пока им стало не до меня.

И вспоминая теперь этот случай, тоже записанный в тетрадь, понимаешь, что смелость в борьбе за жизнь мне пришла опять от тетрадок. Только не подумайте, что мне корысть была в сохранении этих тетрадок: прямой корысти тут никакой не было, и только сейчас, почти через сорок лет, один литературный музей предлагает мне за них очень скромную сумму. В том-то и дело, что тетрадками своими я дорожил не для какой-нибудь выгоды, а просто любил их, как люблю все свое ремесло, увлекательное, опасное и трудное.

Я начал свое ремесло с того, что, ничего не имея в кармане, отправился за сказками в тот край, где прошел теперь Беломорский канал, и даже мысли у меня не было, какая мне от этих сказок будет корысть. В те времена, после поражения революции 1905 года, некоторые писатели уже начинали терять связь с народом и брали слова больше из книг, чем из уст. Я же думал, что словесные богатства русского народа заключаются больше в устной словесности, чем в письменной. Еще я и так думал, что интересно слово не то, которое в книгах, а то, которое услышал сам из уст народа.

Бывало не раз устанешь на охоте и заночуешь в лесу, и вот к твоему огоньку придет какой-нибудь местный человек, и тут, у костра, этот местный человек что-нибудь расскажет. Только через эти слова в лесу кажется, будто это сама природа о себе что-то сказала по-своему. А после вспомнится и то дерево, под которым развел теплинку, и тот ручей, который пел тебе всю ночь. До того мне с первого же раза полюбились охотиться за такими словами, что однажды я собрал себе котомку ранней весной и вернулся только осенью: мне казалось, что всю весну и все лето я шел за коlobком по волшебным северным лесам. А в городах, где деньги за слова платили, не за те, что свои, а за те, что по заказу, — там я редко появлялся. И много лет нужно было странствовать по лесам, ночевать у костров и подчас кормиться только удачливой охотой на птицу или зверя, чтобы пришло, наконец, то время, в какое живете вы и в какое я свободно печатаю вам свои сказки.

Да, многих из вас, друзья, тогда и на свете не было, когда я писателем делался, но мои тетрадки есть мое оправдание, суд моей совести над делом жизни: они ответят, хорошим ли мастером ты был, делал ли больше в своем мастерстве, чем это нужно только себе, — все равно — писатель ты или сапожник Цыганок из Марьиной рощи.

Гусек

В старые времена это было: теперь я старик, а был я тогда мальчишкой.

Земляки мои — большие любители перепелиного крика. Повесят себе, бывало, у окна лубяную круглую клетку с перепелом и наслаждаются, а тот-то разливается:

— Пить-полоть!

Не раз, проезжая рыбными рядами, видал я, как на утренней заре, обнажив волосатую грудь, слушает купец своего голосистого.

А тот-то старается! Вот как дует, что в соседнем железном ряду ведра звенят.

И не раз приходило мне в голову: почему бы не съездить землякам в поля, не полюбоваться на свободных птиц, как они, бороздя утреннее поле, ищут и кличат себе подругу:

— Пить-полоть!

А та тюкает тихо и скромно:

— Тюк-тюк!

Потому не идут купцы в поля, что любят голоса своих собственных перепелов. Каждый купец гордится своим перепелом. Вот, думает, нынче мой перекричит соседского! А, глядишь, соседский-то в железных рядах перекричал. Хотел вырыть яму ближнему, а и сам в нее попал. Так от века спорят у нас рыбные ряды с железными, и до сего времени неизвестно, чьи перепела сильнее.

Когда-то я думал, как и многие, что все перепела кричат на один лад.

— Во-наа! — сказал мне один охотник, по прозвищу Гусек. — Вона, на один лад! Да знаешь, братец ты мой, голосистого перепела верст за двадцать слышно. А ежели он на поповом огороде треснет или у Горелого пня, так ты, братец...

— Что, Гусек?

— Ножками брыкнешь, вот что, милый.

Перепела в поле разные; хорошие — редки; вот почему сидят купцы в железных и рыбных рядах. Разве-разве залетит когда в поле какой-нибудь звонкий, — и двинутся почтенные люди в поля.

— В прежнее время, — рассказывает Гусек, — к нам купцы в каретах съезжались с женами слушать голосистого.

— В каретах? — сомневаюсь я.

Но Гусек не выносит сомнений. Тащит меня за рукав в избу. А в избе у него всякие птицы: тут и петух-драчун, и курица кахетинская, и скворец-говорец, и соловей-певец, и голуби-космачи, и голуби-вертуны, и куропатка ручная, а перепелов! Всякие есть. Но Гусек подводит к любимому, открывает клетку.

— Люб ли тебе?

— Серенький...

— Вот то-то и горе, мой милый, что серый. Настоящий-то купеческий белый.

— Белый?!

— Как бумага. Не веришь? — покажу. Сам, своими глазами видел. Приходи на вечернюю зорю к Горелому пню.

С тех пор — не помню, сколько уж лет, — мы ловим с Гуськом белого перепела.

Во что бы то ни стало хочет старик поймать белого, продать его купцам и купить хороший тульский самовар. И постарел Гусек! Раньше серый — побелел, и порыжел, и позеленел, и

опять посерел. Но не потерял старик надежды, и зимой на гулянках, когда соберутся к нему соседи, заведет такую историю про белого перепела, что пчелы в подполье гудят, соловей-певун запекает, скворец говорит и, не моргая, слушает на шесте плотный ряд турманов и космачей. Слушают и думают: "Красно говорит, а самовара не выдумает. Нет того, чтобы гостей чайком попоить".

Выхожу я вечером к Горелому пню. Смеркается. Едет мужик в ночное, будто черный парус плывет по зеленому морю. Заяц зачем-то плетется на попов огород. Лягушки-квакушки стихли, зато лягушки-турлушки завели трель на всю ночь. Кукушки охрипли и смолкли. Черный дрозд пропел. А перепела все не кричат.

— Рано?

— погоди, — шепчет Гусек. — Слышишь: соловьи еще зорю играют, а дай стихнуть...

— Закричат?

— Во-на!

Гусек шепчет свое «во-на» совсем на перепелиное любовное токование «ма-ва».

Стихают один за другим соловьи.

— Чмок-чмок! — И конец.

И кажется — звенит тугая струна.

— Жук?

— Жук прожундел. К чему-й-то много жундит жуков! — шепчет Гусек.

— К чему?

— Да бог его знает, к чему. Молчи!

Гусек нюхает табак. Сегодня табак у него сухой, — завтра будет погода отличная. А будь он сырой, Гусек не сказал бы «молчи», а — «молчите». "Ты" знак нашего охотничьего союза.

Молчу. Но лягушки-квакушки отчего-то вдруг проснулись, взгомонились и заглушили лягушек-турлушек.

— Куа-куа! — передразнивает недовольный старик. Квакушки замолчали. Заголосили девки в деревне.

— Эк вас!

Собаки залаяли.

— Пропадите вы пропадом!

На колокольне сторож ударил. Глянула на небе первая звезда. Пахнуло от озими рожью. Пала роса. Тогда-то, наконец, по всему росистому полю, от попова огорода и по наш Горелый пенёк, будто кто-то невидимый хлопнул длинным-предлинным арапником: крикнул перепел.

— Голосистый, белый?

— Купеческий!

И тихо, как полевые звери, крадемся мы по росистому полю вниз, к оврагу и на ту сторону, к попову огороду.

Старик на колокольне еще звонит, и еще я нахожу в уголку небес молодую звезду, и еще, и еще...

Голосистый не шутит: бьет — в ушах звенит. Самка молчит. Берет опаска: тюкнет не вовремя. Расстелить бы и оправить поскорее сеть. Слава богу, молчит; чуть копается в своей темной лубяной клетке, обвязанной бабьим платком. Сытая она теперь и довольная: перед ловом Гусек напоил ее для чистоты голоса теплым молоком.

Зовет голосистый. Самка молчит под сетью в пахучей росистой ржи.

Осторожно берет Гусек свою кожаную, с мехом гармоники, тюкалку и тюкает. Когда самка молчит, необходимо подтюкнуть:

— Тюк-тюк!

И наступает последний решительный миг. Самка взяла:

— Тюк-тюк!

Если бы можно было теперь съжаться в маленький комочек, как перепел, и притаиться под глудкой[5]. Если бы уйти по самое горло в землю и покрыться краешком сети!

И загорелось же там, у голосистого перепела. Мечется он по полю, выбегает, как мышь, на межу, поднимает головку, смотрит под стеблями. И опять в рожь, и со всего маху:

— Пить-полоть!

А она в ответ тихо:

— Тюк-тюк!

Но ему ли отвечает она? Ведь теперь по всему полю кричат перепела.

Она отвечает ему, конечно, ему.

Он егозит на рубеже. Поднимается на цыпочки: нет, не видно. Он мечется и лотошит, перескакивая с глудки на глудку. Пробует взобраться на сухой татарник — колко. На прошлогоднюю полынь — гнется. Хочет крикнуть — голос пропал: вместо прежнего звонкого «пить-полоть» — хриплое и неслышное, страстное «ма-ва».

— Тюк-тюк! — отвечает она.

Он хлопает крыльями о сырые темные комки и больше не слышит земли под ногами. Куда летит? Бог знает! Свет велик.

Позади роса. Вверху звезды. Впереди месяц. Внизу пахучие росистые озими.

— Летмя, летмя! — шепчет Гусек, сгибаясь над сетью в три погибели.

Хочет уменьшиться — и не может. Хочет быть, как перепел, — тесно. И чудится старику, будто четверка белых коней мчит из оврага карету на зеленое поле. Едет купец, не глядит, что топчет чужие поля: у него ли не хватит денег! Вот остановился. А Гусек будто открывает дверцу:

— Ваше степенство, извольте слушать: кричит!

Кричит белый перепел. Задумался купец в карете, забыл свои счета, кули, мешки, трактиры и мельницы. Загорелось сердце.

— Поймай, Гусек, христа ради!

— Сию минуту, — отвечает Гусек, — не извольте беспокоиться. Самка у меня хорошая! Молочком ее тепленьким поил для голоса, для чистоты. Для вас старался, вас ждал. Сию минуту.

И будто уходит Гусек и возвращается с перепелом.

— Ваше степенство, извольте!

— Белый?

— Так точно, ваше степенство. Купеческие перепела — белые.

— Что же ты хочешь за белого?

— Сколько пожалуете.

Озолотил купец старика. Мчится в своей карете на белых конях с белым перепелом целиной по полям, по оврагам, по мужицким и поповским огородам.

И чудится старику из своего собственного самовара поит он всю деревню и рассказывает быль о праведном купце и белом перепеле.

Перепел летит. Куда летит? Бог знает. Свет велик.

И вдруг упал возле сети. Шуркнул в зеленях, шепчет страстно:

— Ма-ва!

— Тюк-тюк! — отвечает она.

— Иди, иди, любезный перепел! — замирает у нас сердце.

Он ходом идет, шевеля верхушками озимых стеблей. Перед самой сетью плешинка, вымочина, рожь едва-едва прикрывает его. Он останавливается, боится. Может быть, видит уже, что тут, в десяти шагах, согнувшись над полем, сидит другой, огромный перепел, и отблеск зари зловеще сверкает на его голом перепелином носу.

— Видит или не видит? — замирает у нас сердце.

Не видит. Идет напролом. Последнее «ма-ва», последнее «тюк-тюк», и рожь шевелится под

сетью возле самой клетки.

Теперь самка высунула свою серую головку из лубяной темницы в окошко, где привязана фарфоровая чашечка для питья, а он тоже у чашечки. И глядят друг на друга: очи в очи, клюв в клюв. Густые озими пахнут, призывают: разбей, голосистый белый перепел, лубяную темницу, — думать тут нечего!

Где тут думать! Он ерепенится, хохлитесь и бьет грудью и крыльями о сухой лубок.

Час пробил: пора!

Мы встряхиваем сеть. Перепел висит в петле, как раз против стаканчика с водой, где он только что видел склоненную головку. Не упустить бы только теперь! Не ускользнуло бы из рук его тепленькое бьющееся тельце!

Голосистый туго завязан в мешочек из-под проса. Полевая песня его спета. Теперь он будет петь в рыбных или железных рядах, услаждая купеческое ухо.

Мы, мокрые от росы, шагаем по полю домой; будто два водяных переходим из озера в озеро.

Церковный сторож давно отзвонил. Давно уже небо покрылось звездами. Месяц взошел. И тысячи маленьких земных звезд засияли на стеблях озими, на сапогах, на чекмене, на бороде у Гуська, на завязанном мешке, где во тьме притих голосистый. Все птицы притихли. И лишь лягушки-турлушки ведут свою вечную трель от вечерней зари и до утренней.

Дома при огне мы хотим полюбоваться драгоценной добычей, пересадить из мешочка в клетку. Развязываем, вынимаем.

— Во-на!

— Что ты, Гусек? Покажи!

— Серый! — качает головой Гусек. — Опять мимо капнуло: русака ловили.

— Что это? Или совсем на свете нет белого?

Тускло горит керосиновая копчушка в избе старика. Спит петух-драчун, спит соловей-певун, спит скворец-говорец, спит плотный ряд космачей и турманов на шесте. Нет купеческого перепела, нет у Гуська тульского самовара.

Каждую весну ловим. Поймаем — будет у Гуська самовар; нет — так позабавимся.

Но уж когда-нибудь да настанет наша весна, серые, серые, а тут вдруг да и выскочит беленький.

Дедушкин валенок

Хорошо помню — дед Михей в своих валенках проходил лет десять. А сколько лет в них он до меня ходил, сказать не могу. Поглядит бывало себе на ноги и скажет:

— Валенки опять проходились, надо подшить.

И принесет с базара кусок войлока, вырежет из него подошву, подошьет и опять валенки идут, как новенькие.

Так много лет прошло, и стал я думать, что на свете все имеет конец, все умирает и только одни дедушкины валенки вечные.

Случилось, у деда началась сильная ломота в ногах. Никогда дед у нас не хворал, а тут стал жаловаться, позвал даже фельдшера.

— Это у тебя от холодной воды, — сказал фельдшер, — тебе надо бросить рыбу ловить.

— Я только и живу рыбой, — ответил дед, — ногу в воде мне нельзя не мочить.

— Нельзя не мочить, — посоветовал фельдшер, — надевай, когда в воду лезешь, валенки.

Этот совет вышел деду на пользу: ломота в ногах прошла. Но только после дед избаловался, в реку стал лазить только в валенках и, конечно, тер их беспощадно о придонные камешки. Сильно подались от этого валенки, и не только в подошвах, а и выше, на месте изгиба подошвы, показались трещинки.

"Верно, это правда, — подумал я, — что всему на свете конец бывает, не могут и валенки деду служить без конца: валенкам приходит конец".

Люди стали деду указывать на валенки:

— Пора, дед, валенкам твоим дать покой, пора их отдать воронам на гнезда.

Не тут-то было! Дед Михей, чтобы снег в трещинки не забивался, окунул валенки в воду — и на мороз. Конечно, на морозе вода в трещинках валенка замерзла и лед заделал трещинки. А дед после того валенки еще раз окунул в воду, и весь валенок от этого покрылся льдом. Вот какие валенки после этого стали теплые и прочные: мне самому в дедушкиных валенках приходилось незамерзающее болото зимой переходить, и хоть бы что...

И я опять вернулся к той мысли, что, пожалуй, дедушкиным валенкам никогда и не будет конца.

Но, случилось, однажды дед наш захворал. Когда пришлось ему по нужде выйти, надел в сенях валенки, а когда вернулся, забыл их снять в сенях и оставить на холоду. Так в этих обледенелых валенках и залез на горячую печку.

Не то, конечно, беда, что вода от растаявших валенок с печки натекла в ведро с молоком, — это что! А вот беда, что валенки бессмертные в этот раз кончились. Да иначе и быть не могло. Если налить в бутылку воды и поставить на мороз, вода обратится в лед, льду будет тесно, и бутылку он разорвет. Так и этот лед в трещинках валенка, конечно, шерсть везде разрыхлил и порвал, и когда все растаяло, все стало трухой...

Наш упрямый дед, как только поправился, попробовал валенки еще раз заморозить и походил даже немного, но вскоре весна пришла, валенки в сенцах растаяли и вдруг расползлись.

— Верно, правда, — сказал дед всердцах, — пришла пора отдыхать в вороньих гнездах.

И всердцах швырнул валенок с высокого берега в репейники, где я в то время ловил щеглов и разных птичек.

— Почему же валенки только воронам? — сказал я. — Всякая птичка весною тащит в гнездо шерстинку, пушинку, соломинку.

Я спросил об этом деда как раз в то время, как он замахнулся было вторым валенком.

— Всяким птичкам, — согласился дед, — нужна шерсть на гнездо, и зверькам всяким, мышкам, белочкам, всем это нужно, для всех полезная вещь.

И тут вспомнил дед про нашего охотника, что давно ему охотник напоминал о валенках, — пора, мол, их отдать ему на пыжи. И второй валенок не стал швырять и велел мне отнести его охотнику.

Тут вскоре началась птичья пора.

Вниз к реке на репейники полетели всякие весенние птички и, поклевывая головки репейников, обратили свое внимание на валенок. Каждая птичка его заметила, и когда пришла пора вить гнезда, с утра до ночи стали разбирать на клочки дедушкин валенок. За одну какую-то неделю весь валенок по клочку растащили птички на гнезда, устроились, сели на яйца и высиживали, а самцы пели. На тепле валенка вывелись и выросли птички и, когда стало холодно, тучами улетели в теплые края. Весною они опять вернуться, и многие в дуплах своих, в старых гнездах найдут опять остатки дедушкина валенка. Те же гнездышки, что на земле были сделаны и на кустах, тоже не пропадут; с кустов все лягут на землю, а на земле их мышки найдут и растащат остатки валенка на свои подземные гнезда.

Много в моей жизни походил я по лесам, и когда приходилось найти птичье гнездышко с подстилом из войлока, думал, как маленький:

"Все на свете имеет конец, все умирает, и только одни дедушкины валенки вечные".

О чем шепчутся раки

Удивляюсь на раков — до чего много, кажется, напутано у них лишнего: сколько ног, какие усы, какие клешни, и ходят хвостом наперед, и хвост называется шейкой. Но всего более дивило меня в детстве, что когда раков соберут в ведро, то они между собой начинают шептаться. Вот шепчутся, вот шепчутся, а о чем — не поймешь.

И когда скажут: "раки перешептались", это значит — они умерли и вся их рачья жизнь в шепот ушла.

В нашей речке Вертушинке раньше, в мое время, раков было больше, чем рыбы. И вот однажды бабушка Домна Ивановна со внучкой своей Зиной собрались к нам на Вертушину за раками. Бабушка со внучкой пришли к нам вечером, отдохнули немного — и на реку. Там они расставили свои рачьи сеточки. Эти рачьи сачки у нас все делают сами: загибается ивовый прутик кружком, кружок обтягивается сеткой от старого невода, на сетку кладется кусочек мяса или чего-нибудь, а лучше всего кусочек жареной и духовитой для раков лягушки. Сеточки опускают на дно. Учув запах жареной лягушки, раки вылезают из береговых печур и ползут на сетки.

Время от времени сачки за веревки вытаскивают кверху, снимают раков и опять опускают.

Простая это штука. Всю ночь бабушка со внучкой вытаскивали раков, наловили целую большую корзину и утром собрались назад — за десять верст к себе в деревню. Солнышко взошло, бабушка со внучкой идут, распарились, разморились. Им уж теперь не до раков, только бы добраться домой.

— Не перешептались бы раки, — сказала бабушка.

Зиночка прислушалась.

Раки в корзинке шептались за спиной бабушки.

— О чем они шепчутся? — спросила Зиночка.

— Перед смертью, внученька, друг с другом прощаются.

А раки в это время совсем не шептались. Они только терлись друг о друга шершавыми костяными бочками, клешнями, усиками, шейками, и от этого людям казалось, будто от них шепот идет. Не умирать раки собирались, а жить хотели. Каждый рак свои ножки пускал в дело, чтобы хоть где-нибудь найти дырочку, и дырочка нашлась в корзинке, как раз чтобы самому крупному раку пролезть. Один рак вылез крупный, за ним более мелкие шутя выбрались, и пошло и пошло: из корзинки — на бабушкину кацавейку, с кацавейки — на юбку, с юбки — на дорожку, с дорожки — в траву, а из травы рукой подать речка.

Солнце палит и палит. Бабушка со внучкой идут и идут, а раки ползут и ползут.

Вот подходят Домна Ивановна с Зиночкой к деревне. Вдруг бабушка остановилась, слушает, что в корзинке у раков делается, и ничего не слышит. А что корзинка-то легкая стала, ей и невдомек: не спавши ночь, до того уходилась старуха, что и плеч не чувствует.

— Раки-то, внученька, — сказала бабушка, — должно быть, перешептались.

— Померли? — спросила девочка.

— Уснули, — ответила бабушка, — не шепчутся больше.

Пришли к избе. Сняла бабушка корзинку, подняла тряпку:

— Батюшки родимые, да где же раки-то?

Зиночка заглянула — корзинка пустая.

Поглядела бабушка на внучку — и только руками развела.

— Вот они, раки-то, — сказала она, — шептались! Я думала — они это друг с другом перед смертью, а они это с нами, дураками, прощались!

Таинственный ящик

В Сибири, в местности, где водится очень много волков, я спросил одного охотника, имеющего большую награду за гражданскую войну:

— Бывают ли у вас случаи, чтобы волки нападали на человека?

— Бывают, — ответил он. — Да что из этого? У человека оружие, человек сила, а что волк! Собака — и больше ничего.

— Однако, если эта собака да на безоружного человека...

— И то ничего, — засмеялся партизан. — У человека самое сильное оружие — ум, находчивость и, в особенности, такая оборотливость, чтобы из всякой вещи сделать себе оружие. Раз было, один охотник простой ящик превратил в оружие.

Партизан рассказал случай из очень опасной охоты на волков с поросенком.

Лунной ночью сели в сани четыре охотника и захватили с собой ящик с поросенком. Ящик был большой, сшитый из полутеса. В этот ящик без крышки посадили поросенка и поехали в степь, где волков великое множество. А было это зимой, когда волки голодные. Вот охотники выехали в поле и начали поросенка тянуть кто за ухо, кто за ногу, кто за хвост. Поросенок от этого стал визжать: больше тянут — больше визжит, и все звонче и звонче, и на всю степь.

Со всех сторон на этот поросежий визг стали собираться волчьи стаи и настигать охотничьи сани. Когда волки приблизились, вдруг лошадь их почуяла и как хватит! Так и полетел из саней ящик с поросенком, и, самое скверное, вывалился один охотник без ружья и даже без шапки.

Часть волков умчалась за взбешенной лошадей, другая же часть набросилась на поросенка, и в один миг от него ничего не осталось. Когда же эти волки, закусив поросенком, захотели приступить к безоружному человеку, вдруг глядят, а человек этот исчез, и на дороге только ящик один лежит вверх дном.

Вот пришли волки к ящику и видят, ящик-то не простой, ящик движется с дороги к обочине и с обочины в глубокий снег. Пошли волки осторожно за ящиком, и как только этот ящик попал на глубокий снег, на глазах волков он стал ниже и ниже.

Волки оробели, но, постояв, справились и со всех сторон ящик окружили. Стоят волки и думают, а ящик все ниже да ниже. Ближе волки подходят, а ящик не дремлет: ниже да ниже. Думают волки: "Что за диво? Так будем дожидаться ящик и вовсе под снег уйдет".

Старший волк осмелился, подошел к ящику, приставил нос свой к щелке...

И только он свой волчий нос приставил к этой щелке, как дунет на него из щелки! Сразу все волки бросились в сторону, какой куда попал. А тут же вскоре охотники вернулись на помощь, и человек живой и здоровый вышел из ящика.

— Вот и все, — сказал партизан. — А вы говорите, что безоружному нельзя против волков выходить. На то и ум у человека, чтобы он из всего мог себе делать защиту.

— Позволь, — сказал я, — ты мне сейчас сказал, что человек из-под ящика чем-то дунул.

— Чем дунул? — засмеялся партизан. — А словом своим человеческим дунул, и они разбежались.

— Какое же это слово такое он знал против волков?

— Обыкновенное слово, — сказал партизан. — Какие слова говорят в таких случаях? "Дураки вы, волки", сказал — и больше ничего.

Синий лапоть

Через наш большой лес проводят шоссе с отдельными путями для легковых машин, для грузовиков, для телег и для пешеходов. Сейчас пока для этого шоссе только лес вырубил коридором. Хорошо смотреть вдоль по вырубке: две зеленые стены леса, и небо в конце. Когда лес вырубали, то большие деревья куда-то увозили, мелкий же хворост — грачевник — собирали в огромные кучи. Хотели увезти и грачевник для отопления фабрики, но не успели, и кучи по всей широкой вырубке остались зимовать.

Осенью охотники жаловались, что зайцы куда-то пропали, и некоторые связывали это исчезновение зайцев с вырубкой леса: рубили, стучали, гомонили и распугали. Когда же налетела пороша и по следам можно было разгадать все заячьи проделки, пришел следопыт Родионыч и сказал:

— Синий лапоть весь лежит под кучами грачевника.

Родионыч — в отличие от всех охотников — зайца называл не "косым чертом", а всегда "синим лаптем"; удивляться тут нечему: ведь на черта заяц не более похож, чем на лапоть, а если скажут, что синих лаптей не бывает на свете, то я скажу, что ведь и косых чертей тоже не бывает.

Слух о зайцах под кучами мгновенно обежал весь наш городок, и под выходной день охотники во главе с Родионычем стали стекаться ко мне.

Рано утром, на самом рассвете, вышли мы на охоту без собак: Родионыч был такой искусник, что лучше всякой гончей мог нагнать зайца на охотника. Как только стало видно настолько, что можно было отличить следы лисьи от заячьих, мы взяли заячий след, пошли по нему, и, конечно, он привел нас к одной куче грачевника, высокой, как наш деревянный дом с мезонином. Под этой кучей должен был лежать заяц, и мы, приготовив ружья, стали все кругом.

— Давай, — сказали мы Родионычу.

— Вылезай, синий лапоть! — крикнул он и сунул длинной палкой под кучу.

Заяц не выскочил. Родионыч оторопел. И, подумав, с очень серьезным лицом, оглядывая каждую мелочь на снегу, обошел всю кучу, и еще раз по большому кругу обошел: нигде не было выходного следа.

— Тут он, — сказал Родионыч уверенно. — Становитесь на места, ребяташки, он тут. Готовы?

— Давай! — крикнули мы.

— Вылезай, синий лапоть! — крикнул Родионыч и трижды пырнул под грачевник такой длинной палкой, что конец ее на другой стороне чуть с ног не сбил одного молодого охотника.

И вот — нет, заяц не выскочил.

Такого конфуза с нашим старейшим следопытом еще в жизни никогда не бывало; он даже в лице как будто немного опал. У нас же суета пошла, каждый стал по-своему о чем-то догадываться, во все совать свой нос, туда-сюда ходить, по снегу и так, затирая все следы, отнимать всякую возможность разгадать проделку умного зайца.

И вот, вижу, Родионыч вдруг просиял, сел, довольный, на пень поодаль от охотников, свертывает себе папироску и моргает, вот подмаргивает мне и подзывает к себе.

Смекнув дело, незаметно для всех подхожу к Родионычу, а он мне показывает вверх, на самый верх засыпанной снегом высокой кучи грачевника.

— Гляди, — шепчет он, — синий-то лапоть какую с нами штуку играет.

Не сразу на белом снегу разглядел я две черные точки — глаза беляка — и еще две маленькие

точки — черные кончики длинных белых ушей. Это голова торчала из-под грачевника и повертывалась в разные стороны за охотниками: куда они, туда и голова...

Стоило мне поднять ружье — и кончилась бы в одно мгновение жизнь умного зайца. Но мне стало жалко: мало ли их, глупых, лежит под кучами!..

Родионыч без слов понял меня. Он смял себе из снега плотный комочек, выждал, когда охотники сгруппировались на другой стороне кучи, и, хорошо наметившись, этим комочком пустил в зайца.

Никогда я не думал, что наш обыкновенный заяц-беляк, если он вдруг встанет на куче, да еще прыгнет вверх аршина на два, да объявится на фоне неба, — что наш же заяц может показаться гигантом на огромной скале!

А что стало с охотниками! Заяц ведь прямо к ним с неба упал. В одно мгновение все схватились за ружья — убить-то уж очень было легко. Но каждому охотнику хотелось раньше другого убить, и каждый, конечно, хватил, вовсе не целясь, а заяц живехонький пустился в кусты.

— Вот синий лапоть! — восхищенно сказал ему вслед Родионыч.

Охотники еще раз успели хватить по кустам.

— Убит! — закричал один, молодой, горячий.

Но вдруг, как будто в ответ на «убит», в дальних кустах мелькнул хвостик: этот хвостик охотники почему-то всегда называют «цветком».

Синий лапоть охотникам из далеких кустов только своим «цветком» помахал.

Дрова

Ложится пороша, другая, третья. Санный путь установился. Является с возом старенький-престаренький мужичок, складывает себе потихоньку полено за поленом на дворе, а хозяйка моя, славная такая, сердобольная женщина, жалеет старика, что далеко ему возить, что зябнет он.

Поставила хозяйка самовар, все выложила на стол: сахар, булки, студень, огурцы.

Пришел старик к нам в дом. Уж он молился-молился в угол, потом стал отговариваться от угощения, как это уж всегда полагается у крестьян. Ссылался и на дальний-то путь, и на волков, что какие-то волки особенные у них в голоперовских лесах, с гривами, и на людей бросаются; одну старуху прошлый год в клочки разорвали, и сказывала старуха, что волки эти были сибирские.

— Как же так она могла сказывать, — спросил я, — когда они ее в клочки разорвали?

Старик принялся смеяться и грозить мне, насмешнику, пальцем: само собой, это уж другая старуха сказывала, самовидцем была.

После этого смеха хозяйка сказала:

— Ну, садись, дедушка, будем чай пить.

Старик сел, и такой оказался речистый, насказистый. Сел он за чай надолго, пока всего

самовара не выпил, и потом студень ел с хлебом потихоньку. Рассказывал же больше все про божественное: что будто бы там у них в голоперовских лесах есть гора, и на той горе дивное место: ступит лошадь копытом — и сразу же начинает из-под копытины выступать вода, а ведь высокая гора, и никак нельзя и думать бы о воде на таком нагорье. Вот на этой удивительной горе есть у них святой ключ, вокруг колодца березки, на каждом сучке у берез рубашки висят: это значит, у кого больное дитя бывает, приносят, окунают в холодную воду, а рубашонку его оставляют на березке и с рубашонкой болезнь.

Много чудес бывает...

Старик все и рассказывает про чудеса, а хозяйка моя рада повидать и послушать настоящего православного человека.

Так и пошло у нас через день, потому что далеко старику, день лошадь отдыхает, а на другой уж старик везет свою четвертинку. Уж он складывает-складывает, а хозяйка непременно ставит самовар и обед ему готовит. Так и пошло у нас через день, с утра сидит за чаем старик и рассказывает про чудеса ихнего загорья.

Мне даже скучно стало, когда старик кончил возку все бывало будто сытый кот мурчит.

— Ну, — сказала хозяйка, — теперь мы обеспечены на всю зиму: при такой кладке не меньше как два сажня уложил старик лишнего.

— Не лишнего, — заметил я, — ведь он одного студню-то сколько поел!

Хозяйка на меня и рукой замахала, вроде как на безбожника.

— Не простой это старичок, — сказала она. — Мне от него стало вроде как наш дом господь посетил.

Ноябрь месяц морозы были несильные, мы топились старым, летним запасом осиновых легких дров, и дом не выдувало. Стариковы березовые дрова хозяйка берегла на лютое время. И она была права: в декабре, когда начались настоящие морозы, как мы ни топили осиновыми дровами, прохолодило дом сразу.

— Ну, — сказала однажды хозяйка, — с завтрашнего дня принимаемся за березовые дрова, эти уж не подведут, а осина — не дрова, осина — прах.

Утром я залежался в постели: страшно было вставать, дожидался, пока хозяйка затопит печку новыми березовыми дровами. И вот слышу крик, вот шум, вот брань великая. Подумал — не сцепилась ли моя хозяйка с соседкой. Прислушался, — нет, и соседка в один голос с моей хозяйкой обе кого-то отделивают.

Я поскорее оделся и вышел на помощь женщинам. Тут все сразу и оказалось, почему старичок тогда при кладке так долго всегда возился: дрова-то были осиновые, а он их снежком притрушивал, от этого дрова становились белыми, и по белому старик тыкал мошок, убирал снегом и мохом поленце к поленцу под березовые, и глазом бы ни за что не узнать, а как взял в руки — снег осыпается, и сразу береза становится осиной.

И так благочестивый старик целых пять сажень осиновых дров расписал под березовые.

Старухин рай

Старушка одна шла по дороге. Закружилась у нее голова: нездорова была.

— Видно, делать нечего, — сказала старушка, — пришел мой час помирать.

Огляделась вокруг себя, где бы ей получше было тут прилечь и помереть.

— Не два же века жить, — сказала она себе, — надо и молодым дать дорогу.

И увидела она чистую лужайку, всю покрытую густой травой-муравой. Белая, чистая тропинка с отпечатками босых человеческих ног проходила через полянку. А посередине была старая разваленная поленница, мохом от времени закрылась, поросла высокими былинками. Понравилась эта мягкая поленница старухе.

— Не два же века жить! — повторила она.

И легла туда, в прутьи, сама, ноги же вытянула на тропинку: пойдут когда-нибудь люди, ноги заметят и похоронят старуху.

Под вечер идем мы с охоты по этой самой тропинке и видим: человеческие ноги лежат, а на поленнице воробьи между собой разговаривают. Чудесно это бывает на вечерней алой зорьке, воробушки так, бывает, соберутся кучкой и, как дружные люди, между собой наговориться не могут: "Жив!" — говорят, вроде того, как бы радуется каждый, что жив, и каждый об этом всем говорит.

Но вдруг все эти воробьи — пых! — и улетели. А на месте их, среди былинки, показалась старушкина голова. Живой рукой мы тут чай развели, обогрели старуху, обласкали, она ожила, повеселела и стала нам рассказывать, как она тут, в этой поленнице, собралась помирать.

— Вот, милые охотнички, — рассказала она, — закружилась у меня голова, и я думаю: не два же века мне жить, надо дать дорогу и вам, молодым. Ну, легла я в эту мягкую поленницу, в эти самые былинки. И стало мне хорошо, как в раю. Так и подумала, что все кончилось мне на земле. И тут прилетели птички; думаю, наверно, райские, вот какие хорошенькие петушки и курочки, вот какие ласковые и уветливые. Я таких птушек на земле никогда не видала. А что они между собой говорили, то мне было все там понятно — один скажет: жив! и другой отвечает: и я жив! И все так повторяют друг другу: жив, жив, жив!

Простые птушки, подумала я, тут, в раю, понимают, как хорошо жить на свете, а у нас, на земле, люди все-то жалуются, всем-то им нехорошо.

Тут один петушок, задорный такой, сел на веточку против самого моего рта, чирикнул:

— На, вот тебе!

Долго ли петушку, и капнул мне в самый рот, и поняла я, что не на небе лежу, на земле.

— Что ж, — засмеялись мы, — или ты думала: в раю птицы не капают?

— Нет, батюшки мои милые, не к тому я говорю, что птицы на небе не капают, а к тому, что не след у нас на земле рот разевать.

Жалейка

Наш пастух в Переславищах давно пасет и все немой, только свистит. А в Заболотье по росам играют и пастух на трубе и подпасок на жалейке, что я за грех считаю, если случится проспять и не слышать его мелодии на дудочке, сделанной из волчьего дерева с пищиком из тростника и резонатором из коровьего рога. Наконец, однажды я не выдержал и решил сам заняться болотной музыкой. Заказал жалейку. Мне принесли.

Слушок у меня есть, попробовал высвистывать даже романсы Чайковского, а вот чтобы как у пастуха — нет, ничего не выходит. Забросил я дудочку.

Однажды был дождь на весь день. Я сидел дома и занимался бумагами. Под вечер дождь перестал. Заря была желтая и холодная. Вышел я на крыльцо, лицом к вечерней заре, и стал насвистывать в свою дудочку. Не знаю, заря ли мне подсказала, или дерево — у нас есть одна большая ива при дороге, когда вечереет или на утренней темнотке очень оно бывает похоже на мужика с носом и с вихрами. — смотрел я на эту голову, и вдруг так все просто оказалось, не нужно думать об операх, а только перебирать пальцами, и дудочка из волчьего дерева, тростника и коровьего рога сама свое дело делает.

Пришли женщины, сели на лавочку. Я им говорю:

— А что, бабочки, у меня как будто не хуже Заболотского пастуха?

— Лучше! — ответили женщины.

Я долго играл. Заря догорела. Показалась на дороге телега, и в ней много мужиков, один к одному. Я подумал, вот сейчас все кончится, мужики, наверно, смеяться будут. Но, к моему удивлению, мужики лошадь остановили и долго слушали вместе с бабами.

Окончив игру, я быстро повернулся и вошел в дом. Окно в избе было открыто. Трогая лошадь, один мужик — мне было слышно — сказал:

— Вот каши наелся!

Вслед за ним другой:

— На голодное брюхо не заиграешь!

Из этого я понял, что мужики приняли меня за пастуха на череду в хорошем доме каши наелся и заиграл.

Сочинитель

Наверху сошла с кустов роса, и внизу, под кустами блестит только в пазухе такого листка, где никогда и не просыхает. Коровы наелись и грудой стояли у болотного бочага.

Подпасок Ванюшка лежал на кочках дугой. Не сразу и догадаешься, как вышла дуга, он, должно быть, лег на кочку головой, но, пока спал, кочка умялась, голова опустилась, получился высокий живот, и голова и ноги внизу.

Я его давно знаю, — ярко-рыжая голова, и на лице крупные веснушки, одна к другой, глаза блестящие, чистые, как обсосанный леденец. Я давно его принял в Берендеево царство и, когда вижу, мимо ни за что не пройду. Мне сегодня удача, хочу с ним побыть и бужу маленького

Берендея. Он открыл один глаз на мгновение, вынул начатую полбутылку, протянул мне и опять уснул.

Я стал трясти его и хохотать.

— Пей! — сказал он. — Вчера гулял на празднике, тебе захватил.

Когда он совсем пришел в себя, опохмелился, я вынул из сумки последний номер «Охотника» с моим рассказом и дал ему.

— Прочитай, Ваня, это я написал.

Он принялся читать. А я закурил папиросу и занялся своей записной книжкой на пятнадцать минут, — так уже замечено, что курится у меня ровно пятнадцать минут. Когда кончилась папироса, а пастух все читал, я перебил его вопросом:

— Покажи, много прочел?

Он указал за четверть часа он прочел две с половиной строчки, а всего было триста.

— Дай сюда журнал, — сказал я, — мне надо идти. Не стоит читать.

Он охотно отдал журнал со словами:

— Правда, не стоит читать.

Я удивился. Таких откровенных и добродушных читателей как-то не приходилось встречать даже среди крестьян. Чуть ущемило, но больше понравилось.

Он же зевнул и сказал:

— Если бы ты по правде писал, а то ведь, наверное, все выдумал?

— Не все, — ответил я, — но есть немного.

— Вот я бы — так написал!

— Все бы по правде?

— Все. Вот взял бы и про ночь написал, как ночь на болоте проходит.

— Ну, как же?

— А вот как. Ночь. Куст большой-большой у бочага. Я сижу под кустом, а утята — свись, свись, свись...

Остановился. Я подумал — он ищет слов или дожидается образов. Вот очнулся, вынул жалею и стал просверливать на ней седьмую дырочку.

— Ну, а дальше-то что? — спросил я. — Ты же по правде хотел ночь представить.

— А я же и представил, — ответил он, — все по правде. Куст большой-большой! Я сижу под ним, а утята всю ночь — свись, свись, свись...

— Очень уж коротко.

— Что ты, "коротко"! — удивился подпасок. — Всю-то ночь напролет: свись, свись, свись...

Соображая этот рассказ, я сказал:

— Как хорошо!

— Неуж плохо, — ответил он.

И заиграл на дудочке, сделанной из волчьего дерева, тростника и коровьего рога.

Лимон

В одном совхозе было. Пришел к директору знакомый китаец и принес подарок. Директор, Трофим Михайлович, услышав о подарке, замахал рукой. Огорченный китаец поклонился и хотел уходить. А Трофиму Михайловичу стало жалко китайца, и он остановил его вопросом:

— Какой же ты хотел поднести мне подарок?

— Я хотел бы, — ответил китаец, — поднести тебе в подарок свой маленький собак, самый маленький, какой только есть в свете.

Услышав о собаке, Трофим Михайлович еще больше смутился. В доме директора в это время было много разных животных: жил кудрявый пес Нелли и гончая собака Трубач, жил Мишка, кот черный, блестящий и самостоятельный, жил грач ручной, ежик домашний и Борис, молодой красивый баран. Жена директора Елена Васильевна очень любила животных. При таком множестве дармоедов Трофим Михайлович, понятно, должен был смутиться, услышав о новой собачке.

— Молчи! — сказал он тихонько китайцу и приложил палец к губам.

Но было уже поздно: Елена Васильевна услышала слова о самой маленькой во всем свете собачке.

— Можно посмотреть? — спросила она, появляясь в конторе.

— Собак здесь! — ответил китаец.

— Приведи.

— Он здесь! — повторил китаец. — Не надо совсем приведи.

И вдруг с очень доброй улыбкой вынул из своей кофты притаенную за пазухой собачку, каких я в жизни своей никогда не видел и, наверное, у нас в Москве мало кто видел. Моей мягкой шляпой ее можно было, бы прикрыть, прихватить и так унести. Она была рыженькая, с очень короткой шерстью, почти голая и, как самая тоненькая пружинка, постоянно отчего-то дрожала. Такая маленькая, а глазища большие, черные, блестящие и навывкате, как у муравья.

— Что за прелесть! — воскликнула Елена Васильевна.

— Возьми его! — сказал счастливый похвалой китаец.

И передал свой подарок хозяйке.

Елена Васильевна села на стул, взяла к себе на колени дрожавшую не то от холода, не то от

страха пружинку, и сейчас же маленькая верная собачка начала ей служить, да еще как служить! Трофим Михайлович протянул было руку погладить своего нового жильца, и в один миг тот хватил его за указательный палец. Но, главное, при этом поднял в доме такой сильный визг, как будто кто-то на бегу схватил поросенка за хвостик и держал. Визжал долго, взлаивал, захлебывался, дрожал, голенький, от холода и злости, как будто не он директора, а его самого укусили.

Вытирая платком кровь на пальце, недовольный Трофим Михайлович сказал, внимательно вглядываясь в нового сторожа своей жены:

— Визгу много, шерсти мало!

Услыхав визг и лай, прибежали Нелли, Трубач, Борис и кот. Мишка прыгнул на подоконник. На открытой форточке пробудился задремавший грач. Новый жилец принял всех их за неприятелей своей дорогой хозяйки и бросился в бой. Он выбрал себе почему-то барана и больно укусил его за ногу. Борис метнулся под диван. Нелли и Трубач от маленького чудовища унеслись из конторы в столовую. Проводив огромных врагов, маленький воин кинулся на Мишку, но тот не побежал, а, изогнув спину дугой, завел свою общеизвестную ядовитую военную песню.

— Нашла коса на камень! — сказал Трофим Михайлович, высасывая кровь из раненого указательного пальца. — Визгу много, шерсти мало! — повторил он своему обидчику и сказал коту Мишке, подтолкнув его ногой: — Ну-ка, Мишка, пыхни в него!

Мишка запел еще громче и хотел было пыхнуть, но быстро, заметив, что враг от песни его даже не моргнул, он метнулся сначала на подоконник, а потом и в форточку. А за котом и грач полетел. После этого большого дела победитель как ни в чем не бывало прыгнул обратно на колени своей хозяйки.

— А как его звать? — спросила очень довольная всем виденным Елена Васильевна.

Китаец ответил просто:

— Лимон.

Никто не стал добиваться, что значит по-китайски слово «лимон», все подумали: собачка очень маленькая, желтая, и Лимон — кличка ей самая подходящая.

Так начал этот забияка властвовать и тиранить дружных между собой и добродушных зверей.

В это время я гостил у директора и четыре раза в день приходил есть и пить чай в столовую.

Лимон возненавидел меня, и довольно мне было показаться в столовой, чтобы он летел с коленей хозяйки навстречу моему сапогу, а когда сапог легонечко его задевал, летел обратно на колени и ужасным визгом возбуждал хозяйку против меня. Во время самой еды он несколько примолкал, но опять начинал, когда я в забывчивости после обеда пытался приблизиться к хозяйке и поблагодарить.

Моя комната от хозяйских комнат отделялась тоненькой перегородкой, и от вечных завываний маленького тирана мне совсем почти невозможно было ни читать, ни писать. А однажды глубокой ночью меня разбудил такой визг у хозяев, что я подумал, не забрались ли уж к нам вору или разбойники. С оружием в руке бросился я на хозяйскую половину. Оказалось, другие жильцы тоже прибежали на выручку и стояли кто с ружьем, кто с револьвером, кто с топором,

кто с вилами, а в середине их круга Лимон дрался с домашним ежом. И много такого случилось почти ежедневно. Жизнь становилась тяжелой, и мы с Трофимом Михайловичем стали крепко задумываться, как бы нам избавиться от неприятностей.

Однажды Елена Васильевна ушла куда-то и в первый раз за все время оставила почему-то Лимона дома. Тогда мгновенно мелькнул у меня в голове план спасения, и, взяв в руки шляпу, я прямо пошел в столовую. План же мой был в том, чтобы хорошенько припугнуть забияку.

— Ну, брат, — сказал я Лимону, — хозяйка ушла, теперь твоя песенка спета. Сдавайся уж лучше.

И, дав ему грызть свой тяжелый сапог, я сверху вдруг накрыл его своей мягкой шляпой, обнял полями и, перевернув, посмотрел: в глубине шляпы лежал молчаливый комочек, и глаза оттуда смотрели большие и, как мне показалось, печальные.

Мне даже стало чуть-чуть жалко, и в некотором смущении я подумал: "А что, если от страха и унижения у забияки делается разрыв сердца? Как я отвечу тогда Елене Васильевне?"

— Лимон, — стал я его ласково успокаивать, — не сердись, Лимон, на меня, будем друзьями.

И погладил его по голове. Погладил еще и еще. Он не противился, но и не веселел. Я совсем забеспокоился и осторожно пустил его на пол. Почти шатаясь, он тихо пошел в спальню. Даже обе большие собаки и баран насторожились и проводили его удивленными глазами.

За обедом, за чаем, за ужином в этот день Лимон молчал, и Елена Васильевна стала думать, не заболел ли уж он. На другой день после обеда я даже подошел к хозяйке и в первый раз имел удовольствие поблагодарить ее за руку Лимон как будто набрал в рот воды.

— Что-то вы с ним сделали в мое отсутствие? — спросила Елена Васильевна.

— Ничего, — ответил я спокойно. — Наверно, он начал привыкать — и ведь пора!

Я не решился ей сказать, что Лимон побывал у меня в шляпе. Но с Трофимом Михайловичем мы радостно перешепнулись, и, казалось, он ничуть не удивился, что Лимон потерял свою силу от шляпы.

— Все забияки такие, — сказал он: — и наговорит-то тебе, и навизжит, и пыль пустит в глаза, но стоит посадить его в шляпу — и весь дух вон. Визгу много, шерсти мало!

Голубая стрекоза

В ту первую мировую войну 1914 года я поехал военным корреспондентом на фронт в костюме санитаря и скоро попал в сражение на западе в Августовских лесах. Я записывал своим кратким способом все мои впечатления, но, признаюсь, ни на одну минуту не оставляло меня чувство личной ненужности и невозможности словом своим догнать то страшное, что вокруг меня совершалось.

Я шел по дороге навстречу войне и поигрывал со смертью: то падал снаряд, взрывая глубокую воронку, то пуля пчелкой жужжала, я же все шел, с любопытством разглядывая стайки куropаток, летающих от батареи к батарее.

— Вы с ума сошли, — сказал мне строгий голос из-под земли.

Я глянул и увидел голову Максима Максимыча: бронзовое лицо его с седыми усами было строго и почти торжественно. В то же время старый капитан сумел выразить мне и сочувствие и покровительство. Через минуту я хлебал у него в блиндаже щи. Вскоре, когда дело разгорелось, он крикнул мне:

— Да как же вам, писатель вы такой-рассякой, не стыдно в такие минуты заниматься своими пустяками?

— Что же мне делать? — спросил я, очень обрадованный его решительным тоном.

— Бегите немедленно, поднимайте вон тех людей, велите из школы скамейки тащить, подбирать и укладывать раненых...

Я поднимал людей, тащил скамейки, укладывал раненых, забыл в себе литератора, и вдруг почувствовал, наконец, себя настоящим человеком, и мне было так радостно, что я здесь, на войне, не только писатель.

В это время один умирающий шептал мне:

— Вот бы водицы...

Я по первому слову раненого побежал за водой.

Но он не пил и повторял мне:

— Водицы, водицы, ручья...

С изумлением поглядел я на него, и вдруг все понял: это был почти мальчик с блестящими глазами, с тонкими трепетными губами, отражавшими трепет души.

Мы с санитаром взяли носилки и отнесли его на берег ручья. Санитар удалился, я остался с глазу на глаз с умирающим мальчиком на берегу лесного ручья.

В косых лучах вечернего солнца особенным зеленым светом, как бы исходящим изнутри растений, светились минаретки хвощей, листки телорежа, водяных лилий, над заводью кружилась голубая стрекоза. А совсем близко от нас, где заводь кончалась, струйки ручья, соединяясь на камушках, пели свою обычную прекрасную песенку. Раненый слушал, закрыв глаза, его бескровные губы судорожно двигались, выражая сильную борьбу. И вот борьба закончилась милой детской улыбкой, и открылись глаза.

— Спасибо, — прошептал он.

Увидев голубую стрекозу, летающую у заводи, он еще раз улыбнулся, еще раз сказал спасибо и снова закрыл глаза.

Прошло сколько-то времени в молчании, как вдруг губы опять зашевелились, возникла новая борьба, и я услышал:

— А что, она еще летает?

Голубая стрекоза еще кружилась.

— Летает, — ответил я, — и еще как!

Он опять улыбнулся и впал в забытие.

Между тем мало-помалу смерклось, и я тоже мыслями своими улетел далеко, и забылся. Как вдруг слышу, он спрашивает:

— Все еще летает?

— Летает, — сказал я, не глядя, не думая.

— Почему же я не вижу? — спросил он, с трудом открывая глаза.

Я испугался. Мне случилось раз видеть умирающего, который перед смертью вдруг потерял зрение, а с нами говорил еще вполне разумно. Не так ли и тут: глаза его умерли раньше. Но я сам посмотрел на то место, где летала стрекоза, и ничего не увидел.

Больной понял, что я его обманул, огорчился моим невниманием и молча закрыл глаза.

Мне стало больно, и вдруг я увидел в чистой воде отражение летающей стрекозы. Мы не могли заметить ее на фоне темнеющего леса, но вода — эти глаза земли остаются светлыми, когда и стемнеет: эти глаза как будто видят во тьме.

— Летает, летает! — воскликнул я так решительно, так радостно, что больной сразу открыл глаза.

И я ему показал отражение. И он улыбнулся.

Я не буду описывать, как мы спасли этого раненого, — по-видимому, его спасли доктора. Но я крепко верю: им, докторам, помогла песнь ручья и мои решительные и взволнованные слова о том, что голубая стрекоза и в темноте летала над заводью.

Как заяц сапоги съел

Нынешний председатель колхоза в Меринове Иван Яковлевич — великий мастер подвывать волков. Суеверные люди думают даже, что если нет в округе волков, на его вой приходят и отзываются. В этом охотничьем деле он был учеником известного по всей нашей области мага и волшебника охоты Филата Антоновича Кумачева.

Проезжая на днях возле Меринова, мы завернули к председателю чайку попить и кстати узнать, благополучно ли теперь поживает друг наш Филат Антонович. Так пришли мы в избу, поздоровались, сели за стол и, конечно, с охотником то-се про охотничью жизнь: что в начале войны охотничьи ружья почему-то отобрали, а теперь вернули, — не значит ли это, что война скоро кончится.

— Вам-то, Иван Яковлевич, — спросили мы, — вернули ваше ружье?

— Вернули, — сказал он с горечью, — только поглядите, в каком виде вернули.

Мы поглядели на свет стволы — ни одной раковины, и только в левом патроннике две, не имеющие никакого значения царапинки. Ясно было, что царапинки были предлогом, чтобы похвалиться перед нами уходом своим за любимым ружьем.

— Такое ружье, — сказал хозяин, — и такое обращение.

— Царапинки не имеют никакого значения...

— Вам это царапинки, а мне раны, — ответил хозяин.

— Это ружье дорогое, — поддержала мужа жена его Авдотья Ивановна, — это ружье стоит, пожалуй, рублей тысячу двести.

— Что-о? — огрызнулся хозяин.

Жена поняла по строгому голосу, что ошиблась, и стала заботливо вытаскивать муху из меда.

А Иван Яковлевич покачал головой с ехидной улыбкой и сказал своей почтенной и любимой жене, что не бабьему уму судить о таких вещах, как охотничье ружье, и что есть вещи на свете драгоценные, и есть, которым и быть не может никакой цены.

— Это ружье, — сказал он значительно, — вещь неоценимая, мне подарил его сам Филат Антонович Кумачев.

И тут мы с большой радостью узнали, что не только жив и здоров наш старый друг и охотник, но еще и ведет за собой самый отчаянный партизанский отряд из своих друзей-охотников.

— В такие-то годы! — подивились мы.

— А что ему годы, — ответил Иван Яковлевич, — на то и есть мужественный человек и герой, чтобы годы свои красить. Не берут его годы.

Председатель наклонился в сторону подпечья и сказал туда, в подпечь, тихо и ласково:

— Руська, Руська.

И как только вымолвил председатель это слово, из-под печи вышел здоровенный матерый заяц-русак.

— Вот, товарищи, — сказал Иван Яковлевич, — этот заяц — не простой русак. Прошлый год я поймал его, — был меньше кошки. Держал в кадushке, на капусте вырастил, а когда осенью хотел к празднику зарезать, — что-то в этом зайце мне показалось: пожалел. И вот через этого зайца владею теперь ружьем.

— Значит, — сказали мы, — не ружье принесло зайца охотнику, а заяц ружье.

— Кроме шуток, — ответил Иван Яковлевич, — истинно так, через этого зайца именно я свое ружье получил.

И рассказал нам историю, как заяц Руська у начальника партизанского отряда Кумачева съел сапоги.

Было это на переломе войны, когда немцы подходили к Москве, и их артиллерийские снаряды стали так недалеко ложиться от Меринова, что один попал даже в пруд. В это время отряд Кумачева затаился в лесном овраге, а сам начальник, Филат Антонович, пришел ночевать к своему ученику председателю Ивану Яковлевичу.

— Какой же он стал теперь, Кумачев, в партизанском-то виде? — спросили мы с интересом.

— А точно такой, как был, — ответил Иван Яковлевич: — рост колокольня, плечи — косая сажень, ну, глаз, вы знаете, у него один, другой выбило пистонem, одноглазый великан, зато какие сапоги — американские, рыжие, на крючках. И вооружение полное, и притом еще

дробовик. "Зачем, спрашиваю, — еще и дробовик-то носите?" — "А для потехи", — говорит. Вот какой молодец! И годов шестьдесят с хвостиком.

Мы подивились. Хозяин опять нам повторил, что мужественный человек свои годы красит, и продолжал свой рассказ о том, как заяц сапоги съел.

Случилось это ночью, все уснули в избе, а Руська вышел из-под печи и принялся работать над сапогами начальника. Что он там нашел себе, этот заяц русский, в том месте, где американцы своим способом соединяют голенища с головкой? За целую ночь заяц только и сделал, что начисто отделил голенища от головок. Русский заяц будто захотел понять, как надо шить сапоги на американский манер. Ну, конечно, и на головках и на голенищах тоже выгрыз пятнышки и вокруг сапогов за ночь наложил много орешков. Поутру первая встала Авдотья Ивановна. Как глянула, так и обмерла: на глазах ее заяц кончал сапоги. И какие сапоги!

— Иван Яковлевич, — разбудила она мужа, — погляди, заяц что сделал.

— Что такое заяц? — спросил спросонья муж.

— Сапоги съел, — ответила жена.

Открыл глаза спящий — и не верит глазам. А русак шмыг — и под печь. Ужаснулись супруги. Шепчутся меж собой, ахают, тужат.

— Чего вы там шепчетесь? — спросил начальник, не открывая глаз. — Я не сплю.

— Батюшка, Филат Антоныч, прости нас, беда у нас в доме, такая беда сказать страшно.

— Что? Немцы? — вскочил начальник партизан и схватился за наган.

— Какие там немцы — заяц, заяц, родной... Погляди сам.

Поглядел начальник своим единственным глазом: головки и голенища лежат отдельно и вокруг пол усыпан заячьими орешками.

— Так это заяц мои сапоги съел?

— Так точно, батюшка, никто другой — заяц съел сапоги.

— Вредная тварь, — сказал начальник.

И надел сначала голенища, потом головки, концы же голенищ вмял под края головок. После этого оделся, умылся и зарядил дробовик.

— Ну, вызывай своего зайца на расправу. А то он и твои сапоги съест.

— Руська, Руська, — позвал хозяин.

И как невиноватый, заяц выходит, перебирает губами, глядит кругло, ждет узнать, для чего его вызвали.

Партизан в него целится. И чуть бы еще... партизан опустил ружье.

— Ты сам убей его, — сказал он, — мне что-то противно в ручного зайца стрелять.

После того поклонился хозяйке, поблагодарил, простился и вышел. А ружье так и оставил на столе заряженное, с взведенными курками.

— Значит, — сообразил Иван Яковлевич, — надо сейчас зайца убить, а ружье вынести хозяину.

Ничего не стоило зайца убить: сидит на месте, ждет и что-то жует.

Хозяин прицелился.

Вдруг Авдотья Ивановна — бац в зайца с печки валенком. Руська — под печь, а хозяин весь заряд в печь вlepил.

— Ты баба неглупая, — сказал он.

И с ружьем догонять Филата Антоновича.

— Убил? — спросил тот.

— Слышали? — ответил хозяин.

— Вредная тварь в доме, — сказал Филат Антонович, — а жалко чего-то, никогда не было со мной такого на охоте, то ли, может, время такое: сегодня ты зайца, а завтра самого тебя, как зайца. Ну, ладно, убил и убил, больше он у тебя в доме не будет вредить. А ружье сам на память возьми от меня, может быть, и не увидимся, помнить будешь меня, а мне теперь уже не до охоты. Прощай.

И ушел.

В тот же день немцы пошли в атаку, и полетели у нас из окон стекла со всеми своими наклеенными бумажками с крестиками и в елочку. Все бегут из деревни в лес, кто с чем.

— А мы с женой, — рассказывает Иван Яковлевич, — дружно взялись за лопаты: ямы у нас были уже заготовлены, картошку, зерно — все закопали. Утварь хозяйственную тоже зарыли. Кое-что взяли с собой необходимое для жизни в лесу. Со скотиной чудеса вышли, у нас вся скотина — коза да корова. Ну, конечно, скотина по-своему тоже понимает: война. Прижались в углах, трепещут и не хотят выходить. Зовем — не слушают. Пробовали тащить сопротивляются. А уже не только снаряды рвутся — начинают и пчелки свистеть. Пришлось бросить скотину: самим бы спастись. И только мы со двора — им без людей страшно — они к нам и выходят из ворот: коза вперед, а за ней и корова. Да так вот и пошли в порядке: коза впереди, корова позади, а посреднике заяц любимый.

Так пришли мы в партизанский овраг и заняли пустые землянки. Вскоре снаряды и бомбы со всех сторон весь лес нам изломали, мы же сидим ни живы, ни мертвы в своих землянках. Недели две прошло, и мы уже и смысл потеряли и не знаем даже, немцы ли у нас в Меринове или все еще наши держатся.

Однажды утром на рассвете глядим, а краем оврага идет наш весь партизанский отряд и впереди Филат Антоныч, весь ободранный, черный лицом, босиком, в одних американских голенищах, и на месте стеклянного глаза дыра.

— Живо смывайтесь, — кричат нам, — немцы далеко, деревня цела, идите, очищайте нам землянки!

Мы, конечно, радешеньки, живо собрались, идем в прежнем порядке: коза впереди, корова позади, у меня за плечами дареный дробовик, у Авдотьи Ивановны заяц.

— Стой, любезный, — дивится Филат Антоныч, — да никак это ты, Руська?

И только назвал «Руська», заяц повернул к нему голову и заработал губами.

— Я же велел тебе застрелить его, — сказал Кумачев, — и ты мне соврал, что убил?

— Не соврал, Филат Антоныч, нет, — ответил я, — ты меня спросил тогда: "Убил?" А я ответил вежливо: "Вы слышали?" И ты мне: "Да, слышал".

— Ах, ты, плут, — засмеялся Филат Антоныч.

— Нет, — отвечаю, — я не плут, а это вот она, супруга моя, по женскому чувству к домашней скотине валенком в Руську — он шмыг под печь, а я весь заряд ввалил в печь.

Посмеялись, тем все и кончилось.

После этого рассказа председателя Авдотьи Ивановна повеселела и говорит:

— Вот ты бранил меня за ружье, что не могла я, баба, понять неоценимую вещь. А Руська? Не кинь я валенком, ты бы, по мужицкому усердию своему, убил бы его. Бабым умом, а все-таки лучше тебя, мужика, сделала. Ружье неоценимое. Нет, батюшка, ружье — вещь деловая и наживная, а заяц был — и нет. И другого такого Руськи не будет. И никогда на свете такого зайца не было, чтобы охотнику ружье приносил.

Старый гриб

Была у нас революция тысяча девятьсот пятого года. Тогда мой друг был в расцвете молодых сил и сражался на баррикадах на Пресне. Незнакомые люди, встречаясь с ним, называли его братом.

— Скажи, брат, — спросят его, — где...

Назовут улицу, и «брат» ответит, где эта улица.

Пришла первая мировая война тысяча девятьсот четырнадцатого года, и, слышу, ему говорят:

— Отец, скажи.

Стали не братом звать, а отцом.

Пришла Великая Октябрьская революция. У моего друга в бороде и на голове показались белые серебряные волосы. Те, кто его знал до революции, встречались теперь, смотрели на бело-серебряные волосы и говорили:

— Ты что же, отец, стал мукой торговать?

— Нет, — отвечал он, — серебром. Но дело не в этом.

Его настоящее дело было — служить обществу, и еще он был врач и лечил людей, и еще он был очень добрый человек и всем, кто к нему обращался за советом, во всем помогал. И так, работая с утра и до поздней ночи, он прожил лет пятнадцать при Советской власти.

Слышу, однажды на улице кто-то его останавливает:

— Дедушка, а дедушка, скажи.

И стал мой друг, прежний мальчик, с кем мы в старинной гимназии на одной скамейке сидели, дедушкой.

Так вот время проходит, просто летит время, оглянуться не успеешь.

Ну хорошо, я продолжаю о друге. Белеет и белеет наш дедушка, и так наступает, наконец, день великого праздника нашей победы над немцами. И дедушка, получив почетный пригласительный билет на Красную площадь, идет под зонтиком и дождя не боится. Так проходим мы к площади Свердлова и видим там, за цепью милиционеров, вокруг всей площади войска — молодец к молодцу. Сырость вокруг от дождя, а глянешь на них, как они стоят, и сделается, будто погода стоит очень хорошая.

Стали мы предъявлять свои пропуска, и тут, откуда ни возьмись, мальчишка какой-то, озорник, наверно, задумал как-нибудь на парад прошмыгнуть. Увидел этот озорник моего старого друга под зонтиком и говорит ему:

— А ты зачем идешь, старый гриб?

Обидно мне стало, признаюсь, очень я тут рассердился и цап этого мальчишку за шиворот. Он же вырвался, прыгнул, как заяц, на прыжке оглянулся и удрал.

Парад на Красной площади вытеснил на время из моей памяти и мальчишку и "старый гриб". Но когда я пришел домой и прилег отдохнуть, "старый гриб" мне опять вспомнился. И я так сказал невидимому озорнику:

— Чем же молодой-то гриб лучше старого? Молодой просится на сковородку, а старый сеет споры будущего и живет для других, новых грибов.

И вспомнилась мне одна сыроежка в лесу, где я постоянно грибы собираю. Было это под осень, когда березки и осинки начинают сыпать на молодые елочки вниз золотые и красные пятачки.

День был теплый и даже паркий, когда грибы лезут из влажной, теплой земли. В такой день, бывает, ты все дочиста выберешь, а вскоре за тобой пойдет другой грибник и тут же, с того самого места, опять собирает: ты берешь, а грибы все лезут и лезут.

Вот такой и был теперь грибной, паркий день. Но в этот раз мне с грибами не везло. Набрал я себе в корзину всякую дрянь: сыроежки, красноголовики, подберезники, — а белых грибов нашлось только два. Будь бы боровики, настоящие грибы, стал бы я, старый человек, наклоняться за черным грибом! Но что делать, по нужде поклонись и сыроежке.

Очень парко было, и от поклонов моих загорелось у меня все внутри и до смерти пить захотелось.

Бывают ручейки в наших лесах, от ручейков расходятся лапки, от лапок мочежинки или просто даже потные места. До того мне пить хотелось, что, пожалуй бы, даже и мокрой землицы попробовал. Но ручей был очень далеко, а дождевая туча еще дальше: до ручья ноги не доведут, до тучи не хватит рук.

И слышу я где-то за частым ельничком серенькая птичка пищит:

— Пить, пить!

Это, бывает, перед дождиком серенькая птичка — дождевик — пить просит:

— Пить, пить!

— Дурочка, — сказал я, — так вот тебя тучка-то и послушается.

Поглядел на небо, и где тут дожждаться дождя: чистое небо над нами, и от земли пар, как в бане.

Что тут делать, как быть?

А птичка тоже по-своему все пищит:

— Пить, пить!

Усмехнулся я тут сам себе, что вот какой я старый человек, столько жил, столько видел всего на свете, столько узнал, а тут просто птичка, и у нас с ней одно желание.

— Дай-ка, — сказал я себе, — погляжу на товарища.

Продвинулся я осторожно, бесшумно в частом ельнике, приподнял одну веточку: ну, вот и здравствуйте!

Через это лесное оконце мне открылась поляна в лесу, посредине ее две березы, под березами пень и рядом с пнем в зеленом брусничнике красная сыроежка, такая огромная, каких в жизни своей я еще никогда не видел. Она была такая старая, что края ее, как это бывает только у сыроежек, завернулись вверх.

И от этого вся сыроежка была в точности как большая глубокая тарелка, притом наполненная водой.

Повеселело у меня на душе.

Вдруг вижу: слетает с березы серая птичка, садится на край сыроежки и носиком — тюк! — в воду. И головку вверх, чтобы капля в горло прошла.

— Пить, пить! — пищит ей другая птичка с березы.

Листик там был на воде в тарелке — маленький, сухой, желтый. Вот птичка клюнет, вода дрогнет, и листик загуляет. А я-то из оконца вижу все и радуюсь и не спешу: много ли птичке надо, пусть себе напьется, нам хватит!

Одна напилась, полетела на березу. Другая спустилась и тоже села на край сыроежки. И та, что напилась, сверху ей.

— Пить, пить!

Вышел я из ельника так тихо, что птички не очень меня испугались, а только перелетели с одной березы на другую.

Но пищать они стали не спокойно, как раньше, а с тревогой, и я их так понимал, что одна спрашивала.

— Выпьет?

Другая отвечала:

— Не выпьет!

Я так понимал, что они обо мне говорили и о тарелке с лесной водой одна загадывала — «выпьет», другая спорила — "не выпьет".

— Выпью, выпью! — сказал я им вслух.

Они еще чаще запищали свое «выпьет-выпьет».

Но не так-то легко было мне выпить эту тарелку лесной воды.

Конечно, можно бы очень просто сделать, как делают все, кто не понимает лесной жизни и в лес приходит только, чтобы себе взять чего-нибудь. Такой своим грибным ножиком осторожно подрезал бы сыроежку, поднял к себе, выпил бы воду, а ненужную ему шляпку от старого гриба жмякнул бы тут же о дерево.

Удаль какая!

А, по-моему, это просто неумно. Подумайте сами, как мог бы я это сделать, если из старого гриба на моих глазах напились две птички, и мало ли кто пил без меня, и вот я сам, умирая от жажды, сейчас напьюсь, а после меня опять дождик нальет, и опять все станут пить. А там дальше созреют в грибе семена — споры, ветер подхватит их, рассеет по лесу для будущего.

Видно, делать нечего. Покряхтел я, покряхтел, опустился на свои старые колени и лег на живот. По нужде, говорю, поклонился я сыроежке.

А птички-то! Птички играют свое.

— Выпьет — не выпьет?

— Нет уж, товарищи, — сказал я им, — теперь больше не спорьте теперь я добрался и выпью.

Так это ладно пришлось, что когда я лег на живот, то мои запекшиеся губы сошлись как раз с холодными губами гриба. Но только бы хлебнуть, вижу перед собой в золотом кораблике из березового листа на тонкой своей паутинке спускается в гибкое блюдце паучок. То ли он это поплавать захотел, то ли ему надо напиться.

— Сколько же вас тут, желающих! — сказал я ему. — Ну тебя.

И в один дух выпил всю лесную чашу до дна.

Соловей

(Рассказы о ленинградских детях)

Ботик

На берегу Плещеева озера, вблизи древнего русского города Переславля-Залесского, на красивом холме расположена усадьба Ботик, где хранится ботик Петра Первого. В летние

тихие дни в тихих водах виднеются спокойные отражения древних церквей, холмов с городищами, собор XI века и много такого, на что и сам Петр со своим Санкт-Петербургом смотрел, как на древности.

Мало найдется под Москвой мест красивее Ботика с высоты овалом шесть на девять верст стелется озеро, совершенно прозрачное, с чудеснейшим пляжем, направо, часто из дымки, выступает древний город, как невидимый град, налево — леса не дачные, а дикие, с лосями, медведями, и уходят, почти без перерыва, на север.

Двадцать лет тому назад мы жили здесь совсем уединенно в белом дворце среди старинных берез, будто бы екатерининского времени. Только один раз в году, в Петров день, когда расцветают все травы, сюда во множестве собирались переславские граждане почтить память Петра. В другое время редким случайным посетителям усадьбы мы показывали памятник, поставленный в 1852 году владимирским дворянством Петру Великому. На этом памятнике золотыми буквами по серому мрамору был написан грозный указ царя о неминуемом возмездии потомкам ярославских воевод, если они не будут беречь остатки его потешного флота. После чтения грозного указа всегда оставлял на нас тяжелое впечатление вид жалкого ботика с перепревшими канатами, единственного уцелевшего суденышка от многих петровских галер и фрегатов. Каждому посетителю должно было приходиться в голову при виде ботика, что не поздно ли хватилось переславское дворянство, что, пожалуй, не миновать уже потомкам воевод петровского возмездия.

Характерным для природы Петра было непрерывное стремительное движение вперед, и это так было прекрасно понято Фальконе и Пушкиным, давшими нам образ гиганта на бронзовом коне. Трудно себе вообразить после этих памятников что-нибудь более жалкое, чем то мраморное пресс-папье, что стоит на Ботике. В пределах сил наших мы решили устроить из Ботика памятник чисто в духе Петра устроили в прекрасном белом каменном доме географическую станцию.

После географической станции на короткое время здесь мелькнула станция биологическая, потом здесь был дом отдыха, потом техническая школа и другие учреждения, вытеснявшие друг друга.

Год тому назад, во время блокады Ленинграда, сюда эвакуировали детей, чьи матери погибли в Ленинграде. Дети были очень истощены, косточки да мешочки, но наша: простая и сильная природа пришла им на помощь, и к тому времени, когда запел соловей, детишки оправились, забегали, запели, защебетали.

Вот тогда прошлое потешного флота Петра и наличие самого детского ботика, все вместе связалось, как будто сам Петр обрадовался детям и отменил свой суровый указ о возмездии.

Дети

Двадцать лет тому назад мы пришли на Ботик и, прикоснувшись к местной природе, в себе самих открыли детей, способных радоваться при добывании себе пищи ружьем в лесу и сетью в озере. С нами был пожилой художник, совершенный ребенок душой, и, глядя на него, нам приходило в голову, что, может быть, каждый настоящий художник хранит в себе ребенка своего, как нежная мать, и воспитывает его, как разумный отец. Мы сами тогда благодаря художнику настроились, как дети, и восхищались природой.

Какие были тогда над Ботиком звезды!

Теперь мы пришли сюда, измученные не своим личным горем, а ужасным бедствием всего человечества на земле, общественным горем, ломающим всякую личную жизнь.

И вот они опять над Ботиком, те же самые большие блестяще-лучистые звезды. Какие они теперь стали холодные, какие стойко-равнодушные к человеческому горю! Очень больно было при виде этих пустых звезд расставаться. Со всем лучшим в своем прошлом: никаких сказок мы больше не видели за этими благополучно-неизменными украшениями небесного свода. Но, конечно, это были только сокровенные поэтические чувствования, мы не могли к звездам предъявить какие-то требования, все разочарование было только оттого, что мы сами больше уже не были просты, как дети. Но когда потом прибежали к нам дети, в их глазах мы узнали сказки детства, теперь как будто сошедшие со звезд. Мы очень обрадовались этому чувству, как будто вдруг нашли свое лучшее распределенным в этих карих, и синих, и черных, и голубых детских чистых глазах.

Мы брали их за руки и на руки, мы позволяли каждому прикоснуться к нашей одежде и очень внимательно слушали их щебет и лепет.

Ленинградские дети, никогда еще не имевшие тесной близости с живой природой, рассказали прежде всего о сером быстро бегущем зайце.

— С огромным хвостом! — выкрикнул голос из толпы.

— Неправда, — ответили мы, — у зайца хвост — небольшая белая пуховочка, и у охотников называется не хвостом, а цветком.

— Неправда, — выкрикнул тот же голос, — у всех зайцев, может быть, и цветок, а у нашего, все мы видели, вот какой огромный хвостище!

Еще рассказали нам о котенке, который забрался к вороне в гнездо, и ворона выклевала ему глаз.

— Смотрите, вон он идет, одноглазый.

— Ах, бедный!

— Нет, он не бедный, так ему и надо: зачем он лез в чужое гнездо.

Еще рассказали о лягушке: она прыгала, ее поймали, пожали немного, чтобы удержать, а она после того прыгать больше не стала.

— Ах вы, безобразники! Вы замучили лягушку, а это, может быть, и была сама лягушка-царевна.

И рассказали им по-своему, как выйдет, о лягушке-царевне. Вероятно, вышло неплохо, все дети были растроганы, все жалели лягушку-царевну и обещались никогда лягушек не душить.

— Пусть себе прыгают!

— Лягушек не будем душить, — сказал один маленький бутузик, — но если медведь придет?

— Медведей тут близко нет, медведь не придет.

— Как же так: вчера ночью к нам медведь приходил. Ночью я сам слышу: стук-стук! — отворяется дверь, и входит огромный медведь, и прямо ко мне, а я во весь голос орать.

Прибежали скоро няни, а медведь убежал.

— Медведей, — сказали мы, — не бойся: они очень человека боятся.

И рассказали им действительный случай с нами на севере, когда мы целый месяц в тайге искали встречи с медведем и не могли встретиться. Но когда сели в лодку и поехали, то медведь вышел из лесу и долго смотрел нам вслед, как мы ехали вниз по реке.

— Чего же вы его не били?

— А не видели.

— А как же узнали, что он глядел?

— После один охотник рассказал: он видел с другого берега из своего шалаша. И еще этот охотник рассказал, будто бы, когда река повернула и мы скрылись из виду, медведь залез на высокое дерево и оттуда опять долго глядел. А под конец он помахал нам лапой, язык нам показал, слез с дерева и убежал в лес.

Рассказывая о медведе, мы сидели на широком пне, а дети плотно прижались к нам, как, бывает, многочисленные отпрыски обступают тесно пень материнского дерева. Все дети были чистенько и заботливо убраны, вполне здоровые, с розовыми и загорелыми личиками. Но только как-то уж очень плотно они к нам прижимались, слишком тянулись к нам. Так бывает в лесу, когда срежут дерево и корневая сила выбрасывает пуки свежих отпрысков, и листки на них как-то очень уж зелены, кора слишком нежная, стволики чересчур частые, кругом обнимают пустое место, дерева-матери нет, а внизу пень.

Маленькая девочка Мария-Тереза, дочь испанской комсомолки, умершей в Ленинграде, гордая, нелюдимая, робко-застенчиво опустив глаза, спросила не позволим ли мы ей называть нас папой и мамой. Вслед за Терезой все начали просить нас об этом. Так мы были на месте умершего дерева-матери, и бедные человеческие отпрыски спрашивали нас:

— Не вы ли пришли, наши папа и мама?

Что нам было сказать... Когда видишь крошечные существа четырех, пяти лет, тянущиеся к нам с вопросом: "Не вы ли папа и мама?" — это потрясает.

Жизнь возле пня

Нигде не найдешь в лесу жизни более обильной и страстной, как возле старого пня. И мы тут сидели на пне, радуясь, что ребятишки так жадно слушают нас. Мы спросили одного мальчугана:

— Скажи, милый, кого ты больше любишь папу или маму?

— Папу, — ответил мальчик, — я, конечно, больше люблю: папа с нами играл, наш папа был, как мы.

— А мама?

— Мама готовила на кухне, стирала белье.

Это значило у мальчика, что папа мог играть с ним, а маме было трудно. И еще это значило:

мама умерла, но это страшно, об этом лучше молчать, а папа жив.

— Твой папа на фронте, что он там делает?

— Пишет письма.

Значит, есть надежда, что он вернется и опять будет играть. Короче говоря, мальчик ответил, как ответил бы любой из побегов, обступающих старый пенёк:

— Мне хочется жить, и это я "больше люблю".

Бедный мальчуган! Сколько весен еще надо петь соловью свою песенку, чтобы ребячьему сердцу победить пережитое, чтобы снова вошла в это испуганное сердечко и навсегда там осталась прекрасная мама его первого детства.

Папа-доктор

Доктор в колонии чуть ли не единственный мужчина в женском царстве, обслуживающем семейку человек в триста. Приводят к нему мальчика Мишу с кожной болезнью, последствием ленинградского голодания. Приходится сделать небольшую операцию.

Доктор готовит инструменты. Мальчик бледнеет.

— Не бойся, мальчик, я хочу тебе помочь. Не будешь бояться?

— Не буду.

— Начинаю, держись.

— Держусь.

— Больно?

— Не хочу больно, держусь.

— Молодец... Вот и все.

Миша счастлив. Миша очарован добрым доктором, возбудившим в нем мужество, преодолевающее боль. И вот тогда из безобманной, целомудренной, застенчивой природы сердечной поднимается чувство благодарности.

Неуверенно, робко, вспыхнув, Миша говорит:

— Доктор, разреши мне звать тебя папой.

— А разве нет у тебя папы?

— Папа на фронте, далеко, тот папа мой, а ты будешь нашим папой.

Доктор согласился при обещании мальчика держать договор в тайне.

Вечером, при обходе, в спальне все дети разом закричали доктору:

— Наш папа идет!

Доктор не обрадовался этому назначению своему — быть общим папой. Он человек деловой, должен блюсти дисциплину, он им доктор, не папа. Да так и запретил, и тому мальчику Мише запретил за то, что он не сохранил тайны.

— Болтун! — сказал он строго.

И поворчал в нашу сторону:

— Извольте понимать эту мудрость: "Будьте, как дети", если дети эти плуты и разбойники.

После занятий доктор, однако, своим перочинным ножом сделал змей для детей, запустил его вместе с ними, и тут дети забыли запрещение и опять сделали доктора папой. И видно было, что сам доктор радовался, как ребенок.

Тогда мы подошли к доктору, запускавшему змея, и повторили его слова:

— Извольте понимать эту мудрость: "Будьте, как дети".

Козочка

Из Берендеева на Ботик стала ходить повариха, хорошая, ласковая женщина, Аграфена Ивановна; никогда к детям она не придет с пустыми руками, и одевается всегда чистенько, дети это очень ценят. Женщина она бездетная, за мужем своим бывало ходила, как за ребенком, но муж пропал без вести на фронте. Поплакала, люди утешили: не одна она ведь такая осталась на свете, а на людях и смерть красна.

Очень полюбилась этой бездетной вдове в детдоме на Ботике одна девочка, Валя, — маленькая, тонкая в струнку, личико всегда удивленное, будто молоденькая козочка. С этой девочкой стала Аграфена Ивановна отдельно прогуливаться, сказки ей сказывала, сама утешалась ею, конечно, как дочкой, и мало-помалу стала подумывать, не взять ли и вправду ее себе навсегда в дочки. На счастье Аграфены Ивановны, маленькая Валя после болезни вовсе забыла свое прошлое в Ленинграде, и где там жила, и какая там у нее была мама и кто папа. Все воспитательницы в один голос уверяли, что не было случая, когда бы Валя хоть один раз вспомнила что-либо из своего прошлого.

— Вы только посмотрите, — говорили они, — на ее личико, не то она чему-то удивляется, не то вслушивается, не то вспоминает. Она уверена, что вы ее настоящая мама. Берите ее и будьте счастливы.

— То-то вот и боюсь, — отвечала Аграфена Ивановна, — что она удивленная и как будто силится что-то вспомнить; возьму ее, а она вдруг вспомнит, что ж тогда?

Крепко подумав, все взвесив, совсем было решила вдова взять себе в утешение Валу, но при оформлении вдруг явилось препятствие. Хотя в детдоме все были уверены, что отец Вали погиб, об этом говорили и прибывшие с фронта бойцы: погиб у них на глазах, — но справки о смерти не было, значит, по закону нельзя было отдать на сторону девочку.

— Возьмите, — говорили ей, — условно, приедет отец — возвратите.

— Будет вам шутить, — отвечала Аграфена Ивановна, — дочку так брать страшно, все будет думаться — придет час, и отберут: нет уж, что уж тут, брать так брать, а так уж, что уж тут!

После этих слов повариха целый месяц крепилась, не заглядывала на Ботик. Но, конечно,

дома, в своем желтом домике в Берендееве, тосковала по дочке, плакала, а девочка тоже не могла утешиться ничем: мама ее бросила! А когда повариха не выдержала и опять пришла с большими гостинцами — вот была встреча! И опять все уговаривали взять условно, и опять Аграфена Ивановна упорно повторяла свое:

— Брать так брать, а то уж, что уж так-то брать.

Так длилось месяца два. В августе пришла бумага о смерти отца Вали, и Аграфена Ивановна увезла свою дочку в Берендеево.

Кого прельстит рыженький блеклый домик в три окошка, обращенный в туманы Берендеева болота! Никому со стороны не мило, а себе-то как дорого! Все ведь тут сделано руками своих близких людей; тут они рождались, жили, помирали, и обо всем память оставили. Собачку отнимут от матери, принесут в чужой дом, и то, бывает, пузатый кутенок озирается вокруг мутно-голубыми глазами, хочет что-то узнать, поскулит. А Вале, девочке-сироте, было в рыжем домике все на радость. Валя ко всему тянется, весело ей, как будто и в самом деле пришла в свой родной домик к настоящей маме. Очень обрадовалась Аграфена Ивановна и, чтобы девочке свой домик совсем как рай показать, завела патефон.

Сейчас и на Ботике есть патефон, а в то время, когда Вальку брали, дети там патефона вовсе не слышали, и Валя не могла помнить патефон вовсе. Но патефон заиграл, и девочка широко открыла глаза.

— Соловей мой, соловей, — пел патефон, — голосистый соловей...

Козочка удивилась, прислушалась, стала кругом озиаться, что-то узнавать, вспоминать...

— А где же клеточка? — вдруг спросила она.

— Какая клеточка?

— С маленькой птичкой. Вот тут висела.

Не успела ответить, а Валя опять:

— Вот тут столик был, и на нем куколки мои...

— Погоди, — вспомнила Аграфена Ивановна, — сейчас я их достану.

Достала свою хорошую куклу из сундука.

— Это не та, не моя!!

И вдруг у маленькой Козочки что-то сверкнуло в глазах: в этот миг, верно, девочка и вспомнила все свое ленинградское.

— Мама, — закричала она, — это не ты!

И залилась. А патефон все пел:

"Соловей мой, соловей".

Когда пластинка кончилась и соловей перестал петь, вдруг и Аграфена Ивановна свое что-то вспомнила, закричала, заголосила, с размаху ударилась головой об стену и упала к столу. Она

то поднимет со стола голову, то опять уронит, и стонет, и всхлипывает. Эта беда пересилила Валино горе, девочка обнимает ее, теребит и повторяет:

— Мамочка, милая, перестань! Я все вспомнила, я тебя тоже люблю, ты же теперь моя настоящая мама.

И две женщины — большая и маленькая, — обнимаясь, понимали друг друга, как равные.

Роман

Когда мальчика взяли в детдом, он сам подробно в полном сознании все рассказал о гибели своей матери, и этот рассказ подробно записан в книге детдома. Через несколько дней мальчик заболел менингитом, и за ним днем и ночью ухаживала Анна Михайловна. Эта обыкновенная женщина, с обыкновенными слабостями в те дни действительно была прекрасна и боролась за жизнь мальчика целыми ночами, не закрывая глаз. Когда менингит был побежден, началась новая борьба с дифтерией, и когда прошел дифтерит, начались тяжелые последствия голодной болезни.

Сам доктор называл выздоровление Вовочки биологическим чудом и после «чуда» — делом рук Анны Михайловны. Трудно представить нам, что переживал мальчик во время борьбы его за жизнь. Но можно догадываться, что в минуты просветления его сознания образ новой мамы замещал прежний, и мало-помалу Вовочка, выздоравливая, выходил из старой жизни в новую с полным забвением всего, что было с ним в страшные дни блокады.

Можно сказать, прежний Вовочка умер, и от него, как надгробный памятник, осталась в книгах детдома только запись рассказа о гибели его старой мамы. Новый Вовочка вышел на свет силой материнской любви своей новой мамы, сохраняющей от него ревниво тайну его мучительного прошлого. И тут нет ничего особенного: каждая мать, во всей радости своей, обращенной к младенцу, в сердце своем таит тревогу и скорбь...

Стороной от людей узнал, наконец, отец Вовочки о гибели жены своей в Ленинграде и о спасении сына, и что за мальчиком самоотверженно ухаживает новая женщина, и что ребенок вовсе забыл свое прошлое.

"Вовочка, мальчик мой милый, — писал он, — как же ты не помнишь белую дорожку в траве, и как мы с тобой по этой дорожке гоним лошадку на колесах, как ты захотел на нее взобраться и упал, а на дорожке этой были муравьи, и ты их испугался и закричал, и мы с муравьиной тропинки перешли на чистую..."

Конечно, Анна Михайловна скрыла от Вовочки это письмо и сама написала отцу, чтобы для жизни Вовочки он постарался забыть свое прошлое.

"Боюсь вам сказать, — писала она, — как это «забыть». Может быть, вы возьмете пример, большой Вовочка, с вашего маленького: он болел и со мной выздоравливал, и теперь живет и любит меня не меньше, чем старую маму. Я осмелюсь напомнить вам, что для большого Вовочки наша родина, как для маленького, тоже ведь как мать, и что вы так много для нее делаете. Простите, мне трудно выразить то, что я чувствую: сейчас у нас поют соловьи, и мне кажется, что они в пении своем тоже трудятся. Вот я сейчас вижу перед окном одного: дождик начинается, на него уже каплет, а он все поет, и одна капелька уже висит на носике, и он ее стряхнул, и поет. Трудится он, и не для себя поет, и будет петь на другой год, пусть другой соловей, но песенка все та же. И так вот и я тоже вместо старой мамы тружусь, и песенка моя Вовочке все та же, и вы тоже свою жизнь отдаете. И все это вместе складывается и выходит

родина, для которой мы все живем: кажется — для себя, а выходит — для родины".

Так писала Анна Михайловна, сама того не зная, что делает для Вовочки-отца то же самое, что и для сына его. И письма с фронта в детдом получались все чаще и чаще.

В последнем своем письме он писал:

"Соловьи и у нас на фронте поют, только я до сих пор не обращал на них никакого внимания. Но теперь после ваших писем слышу: поют и даже не очень считаются с грохотом нашей артиллерии.

Теперь мне видится далеко за нашим фронтом и за нашим рабочим тылом вот эта благословенная страна, где, как вы мило пишете, трудятся для нас соловьи. Я это понимаю, и не благодарю вас: за такое хорошее не благодарят".

На этом письме переписка надолго обрывается. Кажется, Вовочка-отец вышел из строя бойцов... Но Анна Михайловна не оставляла его, как и маленького Вовочку, когда тот был и для докторов безнадежным. Она все писала на фронт по прежнему адресу и все ждала письма, все ждала и ждала.

Он был тяжело ранен. Когда же выздоровел, то опять возвратился в строй. Однажды, под вечер, он вернулся в свою часть из опасной разведки, и ему вручили целую пачку давно искавших его писем. После многих бессонных ночей он еле мог держаться на ногах, теперь бы только спать и спать. Но при взгляде на почерк он встряхнулся, и сон прошел.

Вечерело. Мелко убористые строчки невозможно стало разбирать на воздухе, и не хотелось идти в тесноту к товарищам и там при всех читать.

Тогда недалеко от наших батарей он увидел яркий огонь — это горел ковыль в степи, вечерний ветерок его раздувал, и костер, кем-то разведенный, быстро становился степным пожаром, ползущим в безопасную сторону. Он подошел к огню, взял первое письмо и, читая его, пошел невольно вслед за пожаром.

Может быть, и видел его кто-нибудь так идущим с письмом из далекой страны соловьев вслед за пожаром? А может быть, и не один боец, исполнив свое обычное дело, тоже шел с письмом за огоньком...

Рассвет остановил этих странников и вернул их из страны соловьев к обычному делу.

Рассказывая об этих странствиях вслед за степным пожаром, Вовочка-отец писал:

"Милый друг, я кончаю письмо, слышу, опять взялась наша артиллерия. И знаете, я не забочусь о снарядах, о силах, — этого хватит у нас, я думаю лишь о том, чтобы хватило ваших материнских сил для победы".

Так он выздоравливал. И еще он сделал в этом письме, на уголке, маленькую приписочку: "Милый друг, если я вернусь, не согласитесь ли вы..."

Прочитав эту приписочку, Анна Михайловна улыбнулась и, сильно помолодев, посмотрела на себя в зеркало.

Бабушка и внучка

При детдоме на Ботике живет одна бабушка, Евдокия Ивановна. Ей нужно бывает три раза в день спускаться вниз по крутой лестнице покормить своих цыплят. Трудно ей, старой, недужной, спускаться, но зато уж как достигнет своей лавочки, придет в себя, то непременно что-нибудь увидит свое, удивится, как-нибудь по-своему отзовется и примет участие.

Может быть, даже всеми замечаемый семейный характер этой детской колонии исходит больше всего от этой, как будто никому не нужной, бабушки.

Всю свою жизнь она прожила в Ленинграде на службе у хороших людей, и так верно служила, что о себе-то, пожалуй, что и забыла, и вот теперь только на Ботике вспомнила, и всему на старости лет удивилась. И первое, что удивило ее, — это соловей.

Всю свою жизнь она безвыездно прожила в Ленинграде и не удосужилась даже хотя бы раз весной попасть на острова и там послушать соловья. Так вся жизнь прошла без соловья, и оказалось, что хорошие-то люди, пожалуй, вяжут крепче дурных: от хороших не убежишь.

И вот, после небывалой катастрофы, после опасной эвакуации под бомбами по Ладожскому озеру, после страха замерзнуть на том же Ботике, если бы повторились прошлогодние морозы, пришла весна и, наконец-то, для нашей бабушки запел соловей.

— Бабушка, — сказали ей, — откройте окно, вечер прекрасный!

— Что вы, милые, гроза еще не прошла.

— Смело открывайте, гроза прошла, радуга.

Открыли окно в парк. Теплая сырость после грозы собралась в тесной ароматной чаще акаций, сирени, черемухи и ясеней.

— Ну вот, слушайте же, бабушка, вот это поет соловей.

— Где соловей?

— А вот и слушайте: вот свистит.

— Слышу...

— Вот коленко выводит, а вот покатился...

— Дивно как! — шепчет бабушка.

И села на подоконник. Да так вот всю ночь, как молоденькая, просидела! И была ей песня соловья, наверно, мила и прекрасна больше, чем нам: мы слушали с детства без понимания, и, может быть, своего-то соловья, предназначенного, чтобы самому, вот такому-то, еще один раз услышать, — и пропустили.

— Озорник-то какой! — повторяла, радуясь, бабушка.

И мы, завидуя ей, говорили друг другу:

— Зачем живем мы не как надо, зачем спешим и все смешиваем? Своего соловья надо дожидаться, своего соловья надо заслужить, как заслужила его эта бабушка.

Теперь уже почти целый месяц прошел с тех пор, как запел этот первый бабушкин соловей. Теперь их уже сотни поют кругом в кустах, уже цветет шиповник, и слышно бьет в полях перепел, и в сырых лугах горло дерет дергач.

Маленькие дети выпалились, позавтракали, свеженькие, чистенькие выходят группами из дому и направляются какие к огородам, какие просто в траву и цветы между старыми березами.

Каждую группу, как ягнят, пасет отдельная воспитательница и следит, как бы не отбилась от стада какая-нибудь овечка.

Своим зорким глазом бабушка заметила одну такую, совсем маленькую, и скоро узнала: это Мария-Тереза Рыбакова. Имя этой девочки содержит всю историю ее жизни. Во время испанских событий прибыла вместе с испанскими детьми мать Терезы. Она здесь вышла замуж за комсомольца Рыбакова, погибла вместе с мужем своим в Ленинграде и оставила после себя крохотное существо, Марию-Терезу. Ну, вот она теперь идет, испанка, в русской траве, в цветах, видна только ее головка со вздернутым носиком.

Тереза идет к бабушке не просто, она даже и не идет, и группу свою не бросает. Она сделает один только самый маленький шаг в сторону бабушки и остановится, и потом через какое-то время еще один, и чем дальше от группы, чем ближе к бабушке, тем обильнее текут из глазок ее слезинки. В случае теперь ее бы поймали, она бы сказала, может быть, что заблудилась в высокой траве и не знает, как из нее выйти, и по слезам поняли бы, что она говорит правду. Но никто на нее, такую маленькую, не обращает никакого внимания, следит за ней одна только бабушка и замечает, как мало-помалу сокращается расстояние между нею и девочкой.

— Вот уж хитрая-то, — бормочет она и улыбается.

Но бледное личико и горячие слезки испаночки между березами смутили далее и бабушку.

— Чего ты плачешь?

— Головка болит.

— А, может быть, и животик?

— Животик тоже болит.

Бабушка все поняла, и делать нечего приходится Терезу лечить. С трудом, опираясь на костыль, поднимается бабушка, за ней медленно движется Тереза, за Терезой большая курица, за курицей бегут чистенькие цыплятки.

Вот добрались наверх, в комнату бабушки.

А бабушка ничего не спрашивает, а только одно:

— Так у тебя головка болит?

— Болит, бабушка.

— На-ко, вот тебе от головки.

И дает ей ложечку вкусного повидла. А потом:

— Что у тебя еще, кажется, животик болит?

— Да, и животик.

— Ну вот, на тебе и от животика.

И дает ей еще ложечку повидла Тереза повеселела, улыбнулась и говорит бабушке:

— Ну вот, бабушка, мне кажется, теперь у меня все прошло.

— Вот и хорошо, дитятко, иди с богом! — благословляет русская бабушка испанскую внучку.

Лисичкин хлеб

Лисичкин хлеб

Однажды я проходил в лесу целый день и под вечер вернулся домой с богатой добычей. Снял я с плеч тяжелую сумку и стал свое добро выкладывать на стол.

— Это что за птица? — спросила Зиночка.

— Терентий, — ответил я.

И рассказал ей про тетерева как он живет в лесу, как бормочет весной, как березовые почки клюет, ягодки осенью в болотах собирает, зимой греется от ветра под снегом. Рассказал ей тоже про рябчика, показал ей — что серенький, с хохолком, и посвистел в дудочку порябчиному и ей дал посвистеть. Еще я высыпал на стол много белых грибов, и красных, и черных. Еще у меня была в кармане кровавая ягода костяника, и голубая черника, и красная брусника. Еще я принес с собой ароматный комочек сосновой смолы, дал понюхать девочке и сказал, что этой смолкой деревья лечатся.

— Кто же их там лечит? — спросила Зиночка.

— Сами лечатся, — ответил я. — Придет, бывает, охотник, захочется ему отдохнуть, он и воткнет топор в дерево и на топор сумку повесит, а сам ляжет под деревом. Поспит, отдохнет. Вынет из дерева топор, сумку наденет, уйдет. А из ранки от топора из дерева побежит эта ароматная смолка, и ранку эту затынет.

Тоже, нарочно для Зиночки, принес я разных чудесных трав по листику, по корешку, по цветочку кукушкины слезки, валерьянка, петров крест, заячья капуста. И как раз под заячьей капустой лежал у меня кусок черного хлеба: со мной это постоянно бывает, что когда не возьму хлеба в лес — голодно, а возьму — забуду съесть и назад принесу. А Зиночка, когда увидела у меня под заячьей капустой черный хлеб, так и обомлела:

— Откуда же это в лесу взялся хлеб?

— Что же тут удивительного? Ведь есть же там капуста!

— Заячья...

— А хлеб — лисичкин. Отведай.

Осторожно попробовала и начала есть:

— Хороший лисичкин хлеб!

И съела весь мой черный хлеб дочиста. Так и пошло у нас: Зиночка, копуля такая, часто и белый-то хлеб не берет, а как я из лесу лисичкин хлеб принесу, съест всегда его весь и похвалит:

— Лисичкин хлеб куда лучше нашего!

Золотой луг

У нас с братом, когда созревают одуванчики, была с ними постоянная забава. Бывало идем куда-нибудь на свой промысел — он впереди, я в пяту.

— Сережа! — позову я его деловито.

Он оглянется, а я фукну ему одуванчиком прямо в лицо. За это он начинает меня подкарауливать и тоже, как зазеваешься, фукнет. И так мы эти неинтересные цветы срывали только для забавы. Но раз мне удалось сделать открытие.

Мы жили в деревне, перед окном у нас был луг, весь золотой от множества цветущих одуванчиков. Это было очень красиво. Все говорили "Очень красиво! Луг — золотой". Однажды я рано встал удить рыбу и заметил, что луг был не золотой, а зеленый. Когда же я возвращался около полудня домой, луг был опять весь золотой. Я стал наблюдать. К вечеру луг опять позеленел. Тогда я пошел, отыскал одуванчик, и оказалось, что он сжал свои лепестки, как все равно если бы у нас пальцы со стороны ладони были желтые и, сжав в кулак, мы закрыли бы желтое. Утром, когда солнце взошло, я видел, как одуванчики раскрывают свои ладони, и от этого луг становится опять золотым.

С тех пор одуванчик стал для нас одним из самых интересных цветов, потому что они спать ложились вместе с нами, детьми, и вместе с нами вставали.

Белый ожерелок

Слышал я в Сибири, около озера Байкал, от одного гражданина про медведя и, признаюсь, не поверил. Но он меня уверял, что об этом случае в старое время даже в сибирском журнале было напечатано под заглавием: "Человек с медведем против волков".

Жил на берегу Байкала один сторож, рыбу ловил, белок стрелял. И вот раз будто бы видит в окошко этот сторож — бежит прямо к избе большой медведь, а за ним гонится стая волков. Вот-вот бы и конец медведю... Он, мишка этот, не будь плох, в сени, дверь за ним сама закрылась, а он еще на нее лапу и сам привалился. Старик, поняв это дело, снял винтовку со стены и говорит:

— Миша, Миша, поддержи!

Волки лезут на дверь, а старик выцеливает волка в окно и повторяет:

— Миша, Миша, поддержи!

Так убил одного волка, и другого, и третьего, все время приговаривая:

— Миша, Миша, поддержи!

После третьего стая разбежалась, а медведь остался в избе зимовать под охраной старика. Весной же, когда медведи выходят из своих берлог, старик будто бы надел на этого медведя

белый ожерелок и всем охотникам наказал, чтобы медведя этого — с белым ожерелком — никто не стрелял: этот медведь его друг.

Журка

Раз было у нас — поймали мы молодого журавля и дали ему лягушку. Он ее проглотил. Дали другую — проглотил. Третью, четвертую, пятую, а больше тогда лягушек у нас под рукой не было.

— Умница! — сказала моя жена и спросила меня: — А сколько он может съесть их? Десять может?

— Десять, — говорю, — может.

— А ежели двадцать?

— Двадцать, — говорю, — едва ли...

Подрезали мы этому журавлю крылья, и стал он за женой всюду ходить. Она корову доить — и Журка с ней, она в огород — и Журке там надо, и тоже на полевые, колхозные работы ходит с ней, и за водой. Привыкла к нему жена, как к своему собственному ребенку, и без него ей уж скучно, без него никуда. Но только ежели случится — нет его, крикнет только одно: "Фру-фру!", и он к ней бежит. Такой умница! Так живет у нас журавль, а подрезанные крылья его все растут и растут.

Раз пошла жена за водой вниз, к болоту, и Журка за ней. Лягушонок небольшой сидел у колодца и прыг от Журки в болото Журка за ним, а вода глубокая, и с берега до лягушонка не дотянешься. Мах-мах крыльями Журка и вдруг полетел. Жена ахнула — и за ним. Мах-мах руками, а подняться не может. И в слезы, и к нам "Ах, ах, горе какое! Ах, ах!" Мы все прибежали к колодцу. Видим — Журка далеко, на середине нашего болота сидит.

— Фру-фру! — кричу я.

И все ребята за мной тоже кричат:

— Фру-фру!

И такой умница! Как только услышал он это наше «фру-фру», сейчас мах-мах крыльями и прилетел. Тут уж жена себя не помнит от радости, велит ребятам бежать скорее за лягушками. В этот год лягушек было множество, ребята скоро набрали два картуза. Принесли ребята лягушек, стали давать и считать. Дали пять — проглотил, дали десять — проглотил, двадцать и тридцать, да так вот и проглотил за один раз сорок три лягушки.

Ребята и утята

Маленькая дикая уточка чирок-свистунок решила наконец-то перевести своих утят из лесу, в обход деревни, в озеро на свободу. Весной это озеро далеко разливалось, и прочное место для гнезда можно было найти только версты за три, на кочке, в болотном лесу. А когда вода спала, пришлось все три версты путешествовать к озеру. В местах, открытых для глаз человека, лисицы и ястреба, мать шла позади, чтобы не выпускать утят ни на минуту из виду. И около кузницы, при переходе через дорогу, она, конечно, пустила их вперед. Вот тут их увидели ребята и зашвыряли шапками. Все время, пока они ловили утят, мать бегала за ними с раскрытым клювом или перелетывала в разные стороны на несколько шагов в величайшем

волнении. Ребята только было собрались закидать шапками мать и поймать ее, как утят, но тут я подошел.

— Что вы будете делать с утятами? — строго спросил я ребят.

Они трусили и ответили:

— Пустим.

— Вот то-то "пустим"! — сказал я очень сердито. — Зачем вам надо было их ловить? Где теперь мать?

— А вон сидит! — хором ответили ребята.

И указали мне на близкий холмик парового поля, где уточка действительно сидела с раскрытым от волнения ртом.

— Живо, — приказал я ребятам, — идите и возвратите ей всех утят!

Они как будто даже и обрадовались моему приказанию и побежали с утятами на холм. Мать отлетела немного и, когда ребята ушли, бросилась спасать своих сыновей и дочерей. По-своему она им что-то быстро сказала и побежала к овсяному полю. За ней побежали утята — пять штук. И так по овсяному полю, в обход деревни, семья продолжала свое путешествие к озеру.

Радостно снял я шляпу и, помахав ею, крикнул:

— Счастливый путь, утята!

Ребята надо мной засмеялись.

— Что вы смеетесь, глупыши? — сказал я ребятам. — Думаете, так-то легко попасть утятам в озеро? Вот погодите, дождетесь экзамена в вуз. Снимайте живо все шапки, кричите "до свиданья"!

И те же самые шапки, запыленные на дороге при ловле утят, поднялись в воздух, все разом закричали ребята:

— До свиданья, утята!

Луговка

Летят по весне журавли.

Мы плуги налаживаем. В нашем краю старинная примета: в двенадцатый день после журавлей начинается пахота под яровое.

Пробежали вешние воды. Выезжаю пахать.

Наше поле лежит в виду озера. Видят меня белые чайки, слетаются. Грачи, галки — все собираются на мою борозду клевать червя. Спокойно так идут за мной во всю полосу белые и черные птицы, только чибис один, по-нашему, деревенскому, луговка, вот вьется надо мной, вот кричит, беспокоится. Самки у луговых очень рано садятся на яйца. "Где-нибудь у них тут гнездо", подумал я.

— Чьи вы, чьи вы? — кричит чибис.

— Я-то, — отвечаю, — свойский, а ты чей? Где гулял? Что нашел в теплых краях?

Так я разговариваю, а лошадь вдруг покосилась и — в сторону плуг вышел из борозды. Поглядел я туда, куда покосилась лошадь, и вижу — сидит луговка прямо на ходу у лошади. Я тронул коня, луговка слетела, и показалось на земле пять яиц. Вот ведь как у них: невитые гнезда, чуть только поцарапано, и прямо на земле лежат яйца, — чисто, как на столе.

Жалко стало мне губить гнездо: безобидная птица. Поднял я плуг, обнес и яйца не тронул.

Дома рассказываю детишкам: так и так, что пашу я, лошадь покосилась, вижу — гнездо и пять яиц.

Жена говорит:

— Вот бы поглядеть!

— погоди, — отвечаю, — будем овес сеять, и поглядишь.

Вскоре после того вышел я сеять овес, жена боронит. Когда я дошел до гнезда, остановился. Маню жену рукой. Она лошадь окоротила, подходит.

— Ну вот, — говорю, — любопытная, смотри.

Материнское сердце известное: подивилась, пожалела, что яйца лежат беззащитно, и лошадь с бороной обвела.

Так посеял я овес на этой полосе и половину оставил под картошку. Пришло время сажать. Глядим мы с женой на то место, где было гнездо, — нет ничего: значит, вывела.

С нами в поле картошку садить увязался Кадошка. Вот эта собачонка бегают за канавой по лугу, мы не глядим на нее: жена садит, я запахиваю. Вдруг слышим — во все горло кричат чибисы. Глянули туда, а Кадошка, баловник, гонит по лугу пятерых чибисенков, — серенькие, длинноногие, и уже с хохолками, и все как следует, только летать не могут и бегут от Кадошки на своих на двоих. Жена узнала и кричит мне:

— Да ведь это наши!

Я кричу на Кадошку; он и не слушает — гонит и гонит.

Прибегают эти чибисы к воде. Дальше бежать некуда. "Ну, — думаю, схватит их Кадошка!" А чибисы — по воде, и не плывут, а бегут. Вот диво-то! Чик-чик-чик ножками — и на той стороне.

То ли вода еще была холодная, то ли Кадошка еще молод и глуп, только остановился он у воды и не может дальше. Пока он думал, мы с женой подросли и отозвали Кадошку.

Гаечки

Мне попала соринка в глаз. Пока я ее вынимал, в другой глаз еще попала соринка.

Тогда я заметил, что ветер несет на меня опилки и они тут же ложатся дорожкой в направлении ветра. Значит, в той стороне, откуда был ветер, кто-то работал над сухим деревом.

Я пошел на ветер по этой белой дорожке опилок и скоро увидел, что это две самые маленькие синицы, гайки, — сизые, с черными полосками на белых пухленьких щечках, — работали носами по сухому дереву и добывали себе насекомых в гнилой древесине. Работа шла так бойко, что птички на моих глазах все глубже и глубже уходили в дерево. Я терпеливо смотрел на них в бинокль, пока, наконец, от одной гаечки на виду остался лишь хвостик. Тогда я тихонечко заплел с другой стороны, подкрался и то место, где торчит хвостик, покрыл ладонью. Птичка в дупле не сделала ни одного движения и сразу как будто умерла. Я принял ладонь, потрогал пальцем хвостик — лежит, не шевелится; погладил пальцем вдоль спинки — лежит, как убитая. А другая гаечка сидела на ветке в двух-трех шагах и попискивала. Можно было догадаться, что она убеждала подругу лежать как можно смирнее. "Ты, говорила она, — лежи и молчи, а я буду около него пищать; он погонится за мной, я полечу, и ты тогда не зевай".

Я не стал мучить птичку, отошел в сторону и наблюдал, что будет дальше. Мне пришлось стоять довольно долго, потому что свободная гайка видела меня и предупреждала пленную:

— Лучше полежи немного, а то он тут, недалеко, стоит и смотрит...

Так я очень долго стоял, пока, наконец, свободная гайка не пропищала совсем особенным голосом, как я догадываюсь:

— Вылезай, ничего не поделаешь, стоит.

Хвост исчез. Показалась головка с черной полоской на щеке. Пискнула:

— Где же он?

— Вон стоит, — пискнула другая. — Видишь?

— А, вижу! — пискнула пленница.

И выпорхнула.

Они отлетели всего несколько шагов и, наверно, успели шепнуть друг другу:

— Давай посмотрим, может быть, он и ушел.

Сели на верхнюю ветку. Всмотрелись.

— Стоит, — сказала одна.

— Стоит, — сказала другая.

И улетели.

Говорящий грач

Расскажу случай, какой был со мной в голодном году. Повадился ко мне на подоконник летать желторотый молодой грачонок. Видно, сирота был. А у меня в то время хранился целый мешок гречневой крупы, — я и питался все время гречневой кашей. Вот бывало прилетит грачонок, я посыплю ему крупы и спрашиваю:

— Кашки хочешь, дурашка?

Поклюет и улетит. И так каждый день, весь месяц. Хочу я добиться, чтобы на вопрос мой. "Кашки хочешь, дурашка?" он сказал бы: «Хочу».

А он только желтый нос откроет и красный язык показывает.

— Ну, ладно, — рассердился я и забросил ученье.

К осени случилась со мной беда: полез я за крупой в сундук, а там нет ничего. Вот как воры обчистили — половина огурца была на тарелке, и ту унесли!

Лег я спать голодный. Всю ночь вертелся. Утром в зеркало посмотрел лицо все зеленое стало.

Стук, стук! — кто-то в окошко.

На подоконнике грач долбит в стекло.

"Вот и мясо!" — явилась у меня мысль.

Открываю окно и хватаю его. А он прыг от меня на дерево. Я в окно за ним, к сучку. Он повыше. Я лезу. Он выше — и на самую макушку. Я туда не могу — очень качается. Он же, шельмец, смотрит на меня сверху и говорит:

— Хо-чешь каш-ки, ду-ра-шка?

"Изобретатель"

В одном болоте на кочке под ивой вывелись дикие кряковые утята. Вскоре после этого мать повела их к озеру по коровьей тропе. Я заметил их издали, спрятался за дерево, и утята подошли к самым моим ногам. Трех из них я взял себе на воспитание, остальные шестнадцать пошли себе дальше по коровьей тропе.

Подержал я у себя этих черных утят, и стали они вскоре все серыми. После из серых один вышел красавец разноцветный селезень и две уточки, Дуся и Муся. Мы им крылья подрезали, чтобы не улетели, и жили они у нас на дворе вместе с домашними птицами: куры были у нас и гуси.

С наступлением новой весны устроили мы своим дикарям из всякого хлама в подвале кочки, как на болоте, и на них гнезда Дуся положила себе в гнездо шестнадцать яиц и стала высиживать утят Муся положила четырнадцать, но сидеть на них не захотела. Как мы ни бились, пустая голова не захотела быть матерью.

И мы посадили на утиные яйца нашу важную черную курицу — Пиковую Даму.

Пришло время, вывелись наши утята. Мы их некоторое время подержали на кухне, в тепле, крошили им яйца, ухаживали.

Через несколько дней наступила очень хорошая, теплая погода, и Дуся повела своих черненьких к пруду, и Пиковая Дама своих — в огород за червями.

— Свись-свись! — утята в пруду.

— Кряк-кряк! — отвечает им утка.

— Свись-свись! — утята в огороде.

— Квох-квох! — отвечает им курица.

Утят, конечно, не могут понять, что значит «квох-квох», а что слышится с пруда, это им хорошо известно.

"Свись-свись" — это значит: "свои к своим".

А «кряк-кряк» — значит: "вы — утки, вы — кряквы, скорей плывите!"

И они, конечно, глядят туда, к пруду.

— Свои к своим!

И бегут.

— Плывите, плывите!

И плывут.

— Квох-квох! — упирается важная птица-курица на берегу.

Они всё плывут и плывут. Сосvistались, сплылись, радостно приняла их в свою семью Дуся; по Мусе они были ей родные племянники.

Весь день большая сборная утиная семья плавала на прудике, и весь день Пиковая Дама, распушенная, сердитая квохтала, ворчала, копала ногой червей на берегу, старалась привлечь червями утят и квохтала им о том, что уж очень-то много червей, таких хороших червей!

— Дрянь-дрянь! — отвечала ей кряква.

А вечером она всех своих утят провела одной длинной веревочкой по сухой тропинке. Под самым носом важной птицы прошли они, черненькие, с большими утиными носами ни один даже на такую мать и не поглядел.

Мы всех их собрали в одну высокую корзинку и оставили ночевать в теплой кухне возле плиты.

Утром, когда мы еще спали, Дуся вылезла из корзины, ходила вокруг по полу, кричала, вызывала к себе утят. В тридцать голосов ей на крик отвечали свистуны. На утиный крик стены нашего дома, сделанного из звонкого соснового леса, отзывались по-своему. И все-таки в этой кутерьме мы расслышали отдельно голос одного утенка.

— Слышите? — спросил я своих ребят.

Они прислушались.

— Слышим! — закричали.

И пошли в кухню.

Там оказалось, Дуся была не одна на полу. С ней рядом бегал один утенок, очень беспокоился и непрерывно свистел. Этот утенок, как и все другие, был ростом с небольшой огурец. Как же мог такой-то воин перелезть стену корзинки высотой сантиметров в тридцать?

Стали все мы об этом догадываться, и тут явился новый вопрос: сам утенок придумал себе

какой-нибудь способ выбраться из корзины вслед за матерью или же она случайно задела его как-нибудь своим крылом и выбросила? Я перевязал ножку этого утенка ленточкой и пустил в общее стадо.

Переспали мы ночь, и утром, как только раздался в доме утиный утренний крик, мы — в кухню.

На полу вместе с Дусей бегал утенок с перевязанной лапкой.

Все утята, заключенные в корзине, свистели, рвались на волю и не могли ничего сделать. Этот выбрался.

Я сказал:

— Он что-то придумал.

— Он изобретатель! — крикнул Лева.

Тогда я задумал посмотреть, каким же способом этот «изобретатель» решает труднейшую задачу: на своих утиных перепончатых лапках подняться по отвесной стене. Я встал на следующее утро до свету, когда и ребята мои и утята спали непробудным сном. В кухне я сел возле выключателя, чтобы сразу, когда надо будет, дать свет и рассмотреть события в глубине корзины.

И вот побелело окно. Стало светать.

— Кряк-кряк! — проговорила Дуся.

— Свись-свись! — ответил единственный утенок.

И все замерло. Спали ребята, спали утята.

Раздался гудок на фабрике. Свету прибавилось.

— Кряк-кряк! — повторила Дуся.

Никто не ответил. Я понял: «изобретателю» сейчас некогда — сейчас, наверно, он и решает свою труднейшую задачу. И я включил свет.

Ну, так вот я и знал! Утка еще не встала, и голова ее еще была вровень с краем корзины. Все утята спали в тепле под матерью, только один, с перевязанной лапкой, вылез и по перьям матери, как по кирпичикам, взбирался вверх, к ней на спину. Когда Дуся встала, она подняла его высоко, на уровень с краем корзины. По ее спине утенок, как мышь, пробежал до края — и кувырк вниз! Вслед за ним мать тоже вывалилась на пол, и началась обычная утренняя кутерьма: крик, свист на ведь дом.

Дня через два после этого утром на полу появилось сразу три утенка, потом пять, и пошло и пошло: чуть только крякнет утром Дуся, все утята к ней на спину и потом валятся вниз.

А первого утенка, проложившего путь для других, мои дети так и прозвали Изобретателем.

Ёж

Раз шел я по берегу нашего ручья и под кустом заметил ежа. Он тоже заметил меня, свернулся и затукал: тук-тук-тук. Очень похоже было, как если бы вдали шел автомобиль. Я прикоснулся

к нему кончиком сапога — он страшно фыркнул и поддал своими иголками в сапог.

— А, ты так со мной! — сказал я и кончиком сапога спихнул его в ручей.

Мгновенно еж развернулся в воде и поплыл к берегу, как маленькая свинья, только вместо щетины на спине были иголки. Я взял палочку, скатил ею ежа в свою шляпу и понес домой.

Мышей у меня было много. Я слышал — ежик их ловит, и решил: пусть он живет у меня и ловит мышей.

Так положил я этот колючий комок посреди пола и сел писать, а сам уголком глаза все смотрю на ежа. Недолго он лежал неподвижно: как только я затих у стола ежик развернулся, огляделся, туда попробовал идти, сюда, выбрал себе, наконец, место под кроватью и там совершенно затих.

Когда стемнело, я зажег лампу, и — здравствуйте! — ежик выбежал из-под кровати. Он, конечно, подумал на лампу, что это луна вошла в лесу: при луне ежи любят бегать по лесным полянкам. И так он пустился бегать по комнате, представляя, что это лесная полянка.

Я взял трубку, закурил и пустил возле луны облачко. Стало совсем как в лесу: и луна, и облака, а ноги мои были, как стволы деревьев, и, наверное, очень нравились ежику он так и шнырял между ними, понюхивая и почесывая иголками задник у моих сапог.

Прочитав газету, я уронил ее на пол, перешел в кровать и уснул.

Сплю я всегда очень чутко. Слышу — какой-то шелест у меня в комнате. Чиркнул спичкой, зажег свечку и только заметил, как еж мелькнул под кровать. А газета лежала уже не возле стола, а посередине комнаты. Так я и оставил гореть свечу и сам не сплю, раздумывая: "Зачем это ежику газета понадобилась?" Скоро мой жилец выбежал из-под кровати — и прямо к газете; завертелся возле нее, шумел, шумел и, наконец, ухитрился: надел себе как-то на колючки уголок газеты и потащил ее, огромную, в угол.

Тут я и понял его: газета ему была, как в лесу сухая листва, он тащил ее себе для гнезда, и оказалось, правда: в скором времени еж весь обернулся газетой и сделал себе из нее настоящее гнездо. Кончив это важное дело, он вышел из своего жилища и остановился против кровати, разглядывая свечу луну.

Я подпустил облака и спрашиваю.

— Что тебе еще надо?

Ежик не испугался.

— Пить хочешь?

Я встал. Ежик не бежит.

Взял я тарелку, поставил на пол, принес ведро с водой, и то налью воды в тарелку, то опять волью в ведро, и так шумлю, будто это ручеек плескивает.

— Ну, иди, иди, — говорю. — Видишь, я для тебя и луну устроил, и облака пустил, и вот тебе вода.

Смотрю: будто двинулся вперед. А я тоже немного подвинул к нему свое озеро. Он двинется —

и я двину, да так и сошлись.

— Пей, — говорю окончательно.

Он и залакал.

А я так легонько по колючкам рукой провел, будто погладил, и все приговариваю.

— Хороший ты малый, хороший!

Напился еж, я говорю:

— Давай спать.

Лег и задул свечу.

Вот не знаю, сколько я спал, слышу: опять у меня в комнате работа.

Зажигаю свечу — и что же вы думаете? Ежик бежит по комнате, и на колючках у него яблоко. Прибежал в гнездо, сложил его там и за другим бежит в угол, а в углу стоял мешок с яблоками и завалился. Вот еж подбежал, свернулся около яблок, дернулся и опять бежит — на колючках другое яблоко тащит в гнездо.

Так вот и устроился у меня жить ежик. А сейчас, я как чай пить, непременно его к себе на стол и то молока ему налью в блюдечко — выпьет, то булочки дам — съест.

Филин

Ночью злой хищник филин охотится, днем прячется. Говорят, будто днем он плохо видит и оттого прячется. А по-моему, если бы он и хорошо видел, все равно ему бы днем нельзя было никуда показаться — до того своими ночными разбоями нажил он себе много врагов.

Однажды я шел опушкой леса. Моя небольшая охотничья собачка, породю своей спаниэль, а по прозвищу Сват, что-то причуяла в большой куче хвороста. Долго с лаем бегал Сват вокруг кучи, не решаясь подлезть под нее.

— Брось! — приказал я. — Это еж.

Так у меня собачка приучена: скажу «еж», и Сват бросает.

Но в этот раз Сват не послушался и с ожесточением бросился на кучу и ухитрился подлезть под нее.

"Наверно, еж", подумал я.

И вдруг с другой стороны кучи, под которую подлез Сват, из-под нее выбегает на свет филин, ушастый и огромных размеров и с огромными кошачьими глазами.

Филин на свету — это огромное событие в птичьем мире. Бывало в детстве приходилось попадать в темную комнату — чего-чего там не покажется в темных углах, и больше всего я боялся черта. Конечно, это глупости, и никакого черта нет для человека. Но у птиц, по-моему, черт есть — это их ночной разбойник филин. И когда филин выскочил из-под кучи, то это было для птиц все равно, как если бы у нас на свету черт показался.

Единственная ворона была, пролетала, когда филин, согнувшись, в ужасе перебежал из-под кучи под ближайшую елку. Ворона увидела разбойника, села на вершину этой елки и крикнула совсем особенным голосом:

— Кра!

До чего это удивительно у ворон! Сколько слов нужно человеку, а у них одно только «кра» и на все случаи, и в каждом случае это словечко всего только в три буквы благодаря разным оттенкам звука означает разное. В этом случае воронье «кра» означало, как если бы мы в ужасе крикнули:

— Че-р-р-р-рт!

Страшное слово прежде всего услышали ближайшие вороны, и, услышав, повторили. И более отдаленные, услышав, тоже повторили, и так в один миг: несметная стая, целая туча ворон с криком: "Черт!" прилетела и облепила высокую елку с верхнего сучка и до нижнего.

Услышав переполох в вороньем мире, тоже со всех сторон прилетели галки черные с белыми глазами, сойки бурые с голубыми крыльями, ярко-желтые, почти золотые иволги. Места всем не хватило на елке, много соседних деревьев покрылось птицами, и все новые и новые прибывали: синички, гаечки, московки, трясогузки, пеночки, зарянки и разные покрапивнички.

В это время Сват, не понимая, что филин давно уже выскочил из-под кучи и прошмыгнул под елку, все там орал и копался под кучей. Вороны и все другие птицы глядели на кучу, все они ждали Свата, чтобы он выскочил и выгнал филина из-под елки. Но Сват все возился, и нетерпеливые вороны кричали ему слово:

— Кра!

В этом случае это означало просто.

— Дурак!

И, наконец, когда Сват причуял свежий след и вылетел из-под кучи и, быстро разобравшись в следах, направился к елке, все вороны в один общий голос опять крикнули по-нашему:

— Кра!

А по-ихнему это значило:

— Правильно!

И когда филин выбежал из-под елки и стал на крыло, опять вороны крикнули:

— Кра!

И это теперь значило:

— Брать!

Все вороны поднялись с дерева, вслед за воронами все галки, сойки, иволги, дрозды, вертишейки, трясогузки, щеглы, синички, гаечки, московочки, и все эти птицы помчались темной тучей за филином и все орали одно только:

— Братъ, братъ, братъ!

Я забыл сказать, что когда филин становился на крыло, Сват успел-таки вцепиться зубами в хвост, но филин рванулся, и Сват остался с филиновыми перьями и пухом в зубах. Озлобленный неудачей, он помчался полем за филином и первое время бежал, не отставая от птиц.

— Правильно, правильно! — кричали ему некоторые вороны.

И так вся туча птиц скоро скрылась на горизонте, и Сват тоже исчез за перелеском.

Чем все кончилось, не знаю. Сват вернулся ко мне только через час с филиновым пухом во рту. И ничего не могу сказать: тот ли это пух у него остался, который взял он, когда филин на крыло становился, или же птицы доконали филина и Сват помогал им в расправе со злодеем.

Что не видал, то не видал, а врать не хочу.

Муравьи

Я устал на охоте за лисицами, и мне захотелось где-нибудь отдохнуть. Но лес был завален глубоким снегом, и сесть было некуда. Случайно взгляд мой упал на дерево, вокруг которого расположился гигантский, засыпанный снегом муравейник. Я взбираюсь наверх, сбрасываю снег, разгребаю сверху этот удивительный муравьиный сбор из хвоинок, сучков, лесных соринки и сажусь в теплую сухую ямку над муравейником. Муравьи, конечно, об этом ничего не знают: они спят глубоко внизу.

Так не один раз мне приходится делать, и всегда при этом пожалеешь муравьев, что приготовил им лишнюю работу, но тут же и успокоишь себя мыслью: а что им стоит собрать, если их миллионы! Да и я сам заслужил тоже, чтобы муравьи на меня поработали.

Несколько повыше муравейника, где в этот раз я отдыхал, кто-то содрал с дерева кору, и белая древесина, довольно широкое кольцо, была покрыта густым слоем смолы. Колечко прекращало движение соков, и дерево неминуемо должно было погибнуть. Бывает, такие кольца на деревьях делает дятел, но он не может сделать так чисто.

"Скорее всего, — подумал я, — кому-нибудь нужна была кора, чтобы сделать коробочку для сбора лесных ягод".

Отдохнув хорошо на муравейнике, я ушел и вернулся случайно к нему, когда стало совсем тепло и муравьи проснулись и поднялись наверх.

Я увидел на светлом пораненном смолистом кольце дерева какое-то темное пятно и вынул бинокль, чтоб рассмотреть подробнее. Оказалось, это были муравьи: им зачем-то понадобилось пробиться через покрытую смолой древесину вверх.

Нужно долго наблюдать, чтобы понять муравьиное дело. Много раз я наблюдал в лесах, что муравьи постоянно бегают по дереву, к которому прислонен муравейник. Только я не обращал на это внимания: велика ли штука муравей, чтобы разбираться настойчиво, куда и зачем он бежит или лезет по дереву.

Но теперь оказалось, что не отдельным муравьям зачем-то, а всем муравьям необходима была эта свободная дорога вверх по стволу из нижнего этажа дерева, быть может, в самые высокие. Смолистое кольцо было препятствием, и это поставило на ноги весь муравейник.

В сегодняшний день в муравейнике была объявлена всеобщая мобилизация. Весь муравейник вылез наверх, и все государство, в полном составе, тяжелым шевелящимся пластом собралось вокруг смолистого кольца.

Впереди шли муравьи-разведчики. Они пытались пробиться наверх и по одному застревали и погибали в смоле. Следующий разведчик пользовался трупом своего товарища, чтобы продвинуться вперед. В свою очередь, он делался мостом для следующего разведчика.

Наступление шло широким, развернутым строем и до того быстро, что на наших глазах белое кольцо темнело и покрывалось черным: это передние муравьи самоотверженно бросались в смолу и своими телами устилали путь для других.

Так в какие-нибудь полчаса муравьи зачернили смолистое кольцо и по этому бетону побежали свободно наверх по своим делам. Одна полоса муравьев бежала вверх, другая вниз, туда и сюда. И закипела работа по этому живому мосту, как по коре.

Ночевки зайца

Утром со мной шла Зиночка по заячьему следу. Вчера моя собака пригнала этого зайца сюда прямо к нашей стоянке из далекого леса. Вернулся ли заяц в лес, или остался пожить около людей где-нибудь в овражке? Обошли мы поле и нашли обратный след. Он был свеженький.

— По этому следу он возвратился к себе в свой старый лес, — сказал я.

— Где же он ночевал, заяц? — спросила Зиночка.

На мгновение вопрос ее сбил меня с толку, но я опомнился и ответил:

— Это мы ночуем, а зайцы ночью живут; он ночью прошел здесь и дневать ушел в лес; там теперь лежит, отдыхает. Это мы ночуем, а зайцы днюют, и им днем куда страшнее, чем ночью. Днем их всякий сильный зверь может обидеть.

Лягушонок

В полднях от горячих лучей солнца стал плавиться снег. Пройдет два дня, много три — и весна загудит. В полднях солнце так распаривает, что весь снег вокруг нашего домика на колесах покрывается какой-то черной пылью. Мы думали, где-то угли жгли. Приблизил я ладонь к этому грязному снегу, и вдруг — вот те угли! — на сером снегу стало белое пятно: это мельчайшие жучки-прыгунки разлетелись в разные стороны.

В полдневных лучах на какой-нибудь час или два оживают на снегу разные жучки-паучки, блошки, даже комарики перелетывают. Случилось, талая вода проникла в глубь снега и разбудила спящего на земле под снежным одеялом маленького розового лягушонка. Он выполз из-под снега наверх, решил по глупости, что началась настоящая весна, и отправился путешествовать. Известно, куда путешествуют лягушки: к ручейку, к болотцу.

Случилось, в эту ночь как раз хорошо припорошило, и след путешественника легко можно было разобрать.

След вначале был прямой, лапка за лапкой к ближайшему болотцу. Вдруг почему-то след сбивается, дальше больше и больше. Потом лягушонок мечется туда и сюда, вперед и назад, след становится похожим на запутанный клубок ниток.

Что случилось? Почему лягушонок вдруг бросил свой прямой путь к болоту и пытался вернуться назад?

Чтобы разгадать, распутать этот клубок, мы идем дальше и вот видим: сам лягушонок, маленький, розовый, лежит, растопырив безжизненные лапки.

Теперь все понятно. Ночью мороз взялся за вожжи и так стал подхлестывать, что лягушонок остановился, сунулся туда-сюда и круто повернул к теплой дырочке, из которой почуял весну.

В этот день мороз еще крепче натянул свои вожжи, но ведь в нас самих было тепло, и мы стали помогать весне. Мы долго грели лягушонка своим горячим дыханием — он все не оживал. Но мы догадались: налили теплой воды в кастрюльку и опустили туда розовое тельце с растопыренными лапками.

Крепче, крепче натягивай, мороз, свои вожжи — с нашей весной ты теперь больше не справишься! Не больше часу прошло, как наш лягушонок снова почуял своим тельцем весну и шевельнул лапками. Вскоре и весь он ожил.

Когда грянул гром и всюду зашевелились лягушки, мы выпустили нашего путешественника в то самое болотце, куда он хотел попасть раньше времени, и сказали ему в напутствие:

— Живи, лягушонок, только, не зная броду, не суйся в воду.

Курица на столбах

Весной соседи подарили нам четыре гусиных яйца, и мы подложили их в гнездо нашей черной курицы, прозванной Пиковой Дамой. Прошли положенные дни для высиживания, и Пиковая Дама вывела четырех желтеньких гуськов. Они пищали, посвистывали совсем по-иному, чем цыплята, но Пиковая Дама, важная, нахохленная, не хотела ничего замечать и относилась к гуськам с той же материнской заботливостью, как к цыплятам.

Прошла весна, настало лето, везде показались одуванчики. Молодые гуськи, если шеи вытянут, становятся чуть ли не выше матери, но все еще ходят за ней. Бывает, однако, мать раскапывает лапками землю и зовет гуськов, а они занимаются одуванчиками, тукают их носами и пускают пушинки по ветру. Тогда Пиковая Дама начинает поглядывать в их сторону, как нам кажется, с некоторой долей подозрения. Бывает, часами, распушенная, с квохтаньем, копает она, а им хоть бы что, только посвистывают и поклевывают зеленую травку. Бывает, собака захочет пройти куда-нибудь мимо нее, — куда тут! Кинется на собаку и прогонит. А после и поглядит на гуськов, бывает, задумчиво поглядит...

Мы стали следить за курицей и ждать такого события, после которого, наконец, она догадается, что дети ее вовсе даже на кур не похожи и не стоит из-за них, рискуя жизнью, бросаться на собак.

И вот однажды у нас на дворе событие это случилось. Пришел насыщенный ароматом цветов солнечный июньский день. Вдруг солнце померкло, и петух закричал.

— Квох, квох! — ответила петуху курица, зазывая своих гусят под навес.

— Батюшки, туча-то какая находит! — закричали хозяйки и бросились спасать развешанное белье.

Грянул гром, сверкнула молния.

— Квох, квох! — настаивала курица Пиковая Дама.

И молодые гуси, подняв высоко шеи свои, как четыре столба, пошли за курицей под навес. Удивительно нам было смотреть, как по приказанию курицы четыре высоких, как сама курица, гусенка сложились в маленькие штучки, подлезли под наседку и она, распушив перья, распластав крылья над ними, укрыла их и угрела своим материнским теплом.

Но гроза была недолгая. Туча пролилась, ушла, и солнце снова засияло над нашим маленьким садом. Когда с крыш перестало литься и запели разные птички, это услышали гусята под курицей, и им, молодым, конечно, захотелось на волю.

— На волю, на волю! — засвистали они.

— Квох-квох! — ответила курица.

И это значило:

— Посидите немного, еще очень свежо.

— Вот еще! — свистели гусята. — На волю, на волю!

И вдруг поднялись на ногах и подняли шеи, и курица поднялась, как на четырех столбах, и закачалась в воздухе высоко от земли.

Вот с этого разу все и кончилось у Пиковой Дамы с гусями: она стала ходить отдельно, гуси отдельно, видно, тут только она все поняла, и во второй раз ей уже не захотелось попасть на столбы.

Выскачка

Наша охотничья собака, лайка, приехала к нам с берегов Бии, и в честь этой сибирской реки так и называли мы ее Бией. Но скоро эта Бия почему-то у нас превратилась в Бьюшку, Бьюшку все стали звать Бьюшкой.

Мы с ней мало охотились, но она прекрасно служила у нас сторожем. Уйдешь на охоту, и будь уверен: Бьюшка не пустит чужого.

Веселая собачка эта Бьюшка, всем нравится: ушки, как рожки, хвостик колечком, зубки беленькие, как чеснок. Достались ей от обеда две косточки. Получая подарок, Бьюшка развернула колечко своего хвоста и опустила его вниз поленом. Это у нее означало тревогу и начало бдительности, необходимой для защиты, — известно, что в природе на кости есть много охотников. С опущенным хвостом Бьюшка вышла на траву-мураву и занялась одной косточкой, другую же положила рядом с собой.

Тогда, откуда ни возмись, сороки: скок, скок! — и к самому носу собаки. Когда же Бьюшка повернула голову к одной — хват! другая сорока с другой стороны хват! — и унесла косточку.

Дело было поздней осенью, и сороки вывода этого лета были совсем взрослые. Держались они тут всем выводком, в семь штук, и от своих родителей постигли все тайны воровства. Очень быстро они оклевали украденную косточку и, недолго думая, собрались отнять у собаки вторую.

Говорят, что в семье не без урода, то же оказалось и в сорочьей семье. Из семи сорок одна

вышла не то чтобы совсем глупенькая, а как-то с заскоком и с пыльцой в голове. Вот сейчас то же было: все шесть сорок повели правильное наступление, большим полукругом, поглядывая друг на друга, и только одна Выскочка поскакала дуром.

— Тра-та-та-та-та! — застрекотали все сороки.

Это у них значило:

— Скачи назад, скачи как надо, как всему сорочьему обществу надо!

— Тра-ля-ля-ля-ля! — ответила Выскочка.

Это у нее значило:

— Скачите как надо, а я — как мне самой хочется.

Так за свой страх и риск Выскочка подсакала к самой Вьюшке в том расчете, что Вьюшка, глупая, бросится на нее, выбросит кость, она же изловчится и кость унесет.

Вьюшка, однако, замысел Выскочки хорошо поняла и не только не бросилась на нее, но, заметив Выскочку косым глазом, освободила кость и поглядела в противоположную сторону, где правильным полукругом, как бы нехотя — скок! и подумают — наступали шесть умных сорок.

Вот это мгновение, когда Вьюшка отвернула голову, Выскочка улучила для своего нападения. Она схватила кость и даже успела повернуться в другую сторону, успела ударить по земле крыльями, поднять пыль из-под травы-муравы.

И только бы еще одно мгновение, чтобы подняться на воздух, только бы одно мгновеньишко! Вот только, только бы подняться сороке, как Вьюшка схватила за хвост и кость выпала...

Выскочка вырвалась, но весь радужный длинный сорочий хвост остался у Вьюшки в зубах и торчал из пасти ее длинным острым кинжалом.

Видел ли кто-нибудь сороку без хвоста? Трудно даже вообразить, во что превращается эта блестящая пестрая и проворная воровка яиц, если ей оборвать хвост. Бывает, деревенские озорные мальчишки поймают слепня, воткнут соломинку и пустят эту крупную сильную муху лететь с таким длинным хвостом, — гадость ужасная! Ну, так вот, это муха с хвостом, а тут — сорока без хвоста; кто удивился мухе с хвостом, еще больше удивится сороке без хвоста. Ничего сорочьего не остается тогда в этой птице, и ни за что в ней не узнаешь не только сороку, а и какую-нибудь птицу: это просто шарик пестрый с головкой.

Бесхвостая Выскочка села на ближайшее дерево, все другие шесть сорок прилетели к ней. И было видно по всему сорочьему стрекотанию, по всей суете, что нет в сорочьем быту большего сраму, как лишиться сороке хвоста.

Хромка

Плыву на лодочке, а за мной по воде плывет Хромка — моя подсадная охотничья утка. Эта утка вышла из диких уток, а теперь она служит мне, человеку, и своим утиным криком подманивает в мой охотничий шалаш диких селезней.

Куда я ни поплыву, всюду за мной плывет Хромка. Займется чем-нибудь в заводи, скроюсь я за

поворотом от нее, крикну: "Хромка!", и она бросит всё и подлетает опять к моей лодочке. И опять — куда я, туда и она.

Горе нам было с этой Хромкой! Когда вывелись утята, мы первое время держали их в кухне. Это пронюхала крыса, прогрызла дырку в углу и ворвалась. На утиный крик мы прибежали как раз в то время, когда крыса тащила утенка за лапку в свою дырку. Утенок застрял, крыса убежала, дырку забили, но только лапка у нашего утенка осталась сломанная.

Много трудов положили мы, чтобы вылечить лапку; связывали, бинтовали, примачивали, присыпали — ничего не помогло: утенок остался хромым навсегда.

Горе хромоту в мире всяких зверушек и птиц: у них что-то вроде закона больных не лечить, слабого не жалеть, а убивать. Свои же утки, свои же куры, индюшки, гуси — все норовят тюкнуть Хромку. Особенно страшны были гуси. И что ему, кажется, великану, такая безделушка утенок, — нет, и гусь с высоты своей норовит обрушиться на каплюшку и сплюснуть, как паровой молот.

Какой умишко может быть у маленького хромого утенка, но все-таки и он в своей головенке величиной в лесной орех сообразил, что единственное спасение его в человеке.

И нам по-человечески было жалко его: эти беспощадные птицы всех пород хотят лишить его жизни, а чем он виноват, если крыса вывернула ему лапку?

И мы по-человечески полюбили маленькую Хромку.

Мы взяли ее под защиту, и она стала ходить за нами, и только за нами. И когда выросла она большая, нам не нужно было ей, как другим уткам, подстригать крылья. Другие утки, дикари, считали дикую природу своей родиной и всегда стремились туда улететь. Хромке некуда было улетать от нас.

Дом человека стал ее домом.

Так Хромка в люди вышла.

Вот почему теперь, когда я плыву на лодочке своей на утиную охоту, моя уточка сама плывет за мной. Отстанет, снимается с воды и подлетает. Займется рыбкой в заводи, заверну я за кусты, скроюсь, и только крикну: "Хромка!" вижу, летит моя птица ко мне.

Верхоплавка

На воде дрожит золотая сеть солнечных зайчиков. Темно-синие стрекозы в тростниках и елочках хвоща. И у каждой стрекозы есть своя хвощевая елочка или тростинка: слетит и на нее непременно возвращается.

Очумелые вороны вывели птенцов и теперь сидят, отдыхают.

Листик, самый маленький, на паутинке спустился к реке и вот крутится, вот-то крутится.

Так я еду тихо вниз по реке на своей лодочке, а лодочка у меня чуть потяжелее этого листика, сложена из пятидесяти двух палочек и обтянута парусиной. Весло к ней одно — длинная палка, и на концах по лопаточке. Каждую лопаточку окунаешь попеременно с той и другой стороны. Такая легкая лодочка, что не нужно никакого усилия: тронул воду лопаточкой, и лодка плывет, и до того неслышно плывет, что рыбки ничуть не боятся.

Чего, чего только не увидишь, когда тихо едешь на такой лодочке по реке!

Вот грач, перелетая над рекой, капнул в воду, и это известково-белая капля, тукнув по воде, сразу же привлекла внимание мелких рыбок-верхоплавков. В один миг вокруг грачиной капли собрался из верхоплавков настоящий базар. Заметив это сборище, крупный хищник — рыба-шелеспер — подплыл и хватил своим хвостом по воде с такою силой, что оглушенные верхоплавки перевернулись вверх животами. Они бы через минуту ожили, но шелеспер не дурак какой-нибудь, он знает, что не так-то часто случается, что грач капнет и столько дурочек соберется вокруг одной капли: хватил одну, хватил другую, много поел, а какие успели убраться, впредь будут жить, как ученые, и если сверху им капнет что-нибудь хорошее, будут глядеть в оба, не пришло бы им снизу чего-нибудь скверного.

Этажи леса

У птиц и зверьков в лесу есть свои этажи: мышки живут в корнях, в самом низу; разные птички, вроде соловья, вьют свои гнездышки прямо на земле; дрозды — повыше, на кустарниках; дупляные птицы — дятлы, синички, совы, еще повыше, на разной высоте по стволу дерева, и на самом верху селятся хищники: ястреба и орлы.

Мне пришлось однажды наблюдать в лесу, что у них, зверушек и птиц, с этажами не как у нас в небоскребах: у нас всегда можно с кем-нибудь перемениться этажами, у них каждая порода живет непременно в своем этаже.

Однажды на охоте мы пришли к полянке с погибшими березами. Это часто бывает, что березы дорастут до какого-то возраста и засохнут. Другое дерево, засохнув, роняет на землю кору, и оттого непокрытая древесина скоро гниет и все дерево падает. У березы же кора не падает, эта смолистая белая снаружи кора — береста — бывает непроницаемым футляром для дерева, и умершее дерево долго стоит, как живое. Даже когда и сгниет дерево и древесина превратится в труху, отяжеленную влагой, с виду белая береза стоит, как живая. Но стоит, однако, хорошенько толкнуть такое дерево, как вдруг оно разломится все на тяжелые куски и упадет. Валить такие деревья — занятие очень веселое, но и опасное: куском дерева, если не увернешься, можно здорово хватить себя по голове. Но все-таки мы, охотники, не очень боимся, и когда попадаем к таким березам, то друг перед другом начинаем их рушить.

Так пришли мы к полянке с такими березами и обрушили довольно высокую березу. Падая, в воздухе она разломилась на несколько кусков, и в одном из них было дупло с гнездом гаечки. Маленькие птенчики при падении дерева не пострадали, только вместе со своим гнездышком вывалились из дупла. Голые птенцы, покрытые перышками, раскрывали широкие красные рты и, принимая нас за родителей, пищали и просили у нас червячка. Мы раскопали землю, нашли червячков, дали им перекусить. Они ели, глотали и опять пищали.

Очень скоро прилетели родители: гаечки-синички, с белыми пухлыми щечками и с червячками во ртах, сели на рядом стоящих деревьях.

— Здравствуйте, дорогие, — сказали мы им, — вышло несчастье; мы этого не хотели.

Гаечки ничего не могли нам ответить, но, самое главное, не могли понять, что такое случилось, куда делось дерево, куда исчезли их дети.

Нас они нисколько не боялись, порхали с ветки на ветку в большой тревоге.

— Да вот же они! — показывали мы им на гнездо на земле. — Вот они, прислушайтесь, как они

пищат, как зовут вас.

Гаечки ничего не слушали, суетились, беспокоились и не хотели спускаться вниз и выйти за пределы своего этажа.

— А может быть, — сказали мы друг другу, — они нас боятся? Давай спрячемся.

И спрятались.

Нет! Птенцы пищали, родители пищали, порхали, но вниз не спускались.

Мы догадались тогда, что у птичек не как у нас в небоскребах, они не могут перемениться этажами: им теперь просто кажется, что весь этаж с их птенцами исчез.

— Ой-ой-ой, — сказал мой спутник, — ну какие же дурачки! Жалко и смешно: такие славные, и с крылышками, а понять ничего не хотят.

Тогда мы взяли тот большой кусок, в котором находилось гнездо, сломали верх соседней березы и поставили на него наш кусок с гнездом как раз на такую высоту, на какой находился разрушенный этаж.

Нам недолго пришлось ждать в засаде через несколько минут счастливые родители встретили своих птенчиков.

Дергач и перепелка

В середине лета и соловей и кукушка перестают петь, но почему-то еще долго, пока не скосят траву и рожь, кричат дергач и перепелка. В это время, когда все смолкает в природе от больших забот по выращиванию малышей, выйдите за город после вечерней зари, и вы непременно услышите, как дергач кричит, вроде как бы телушку зовет изо всей мочи:

"Тпрусь, тпрусь".

И вслед за тем перепелка очень торопливо и отрывисто, похоже на слова:

"Вот идет", "вот ведет".

Раз я спросил бабушку, как это она понимает: почему дергач кричит «тпрусь», а перепелка "вот идет, вот ведет". Старушка рассказала про это сказочку:

"Дергач сватался весной к перепелке и обещался ей телушку привести. Наговорил ей, как они хорошо будут жить с коровушкой, молочко попивать и сметанку лизать. Обрадовалась перепелка и согласилась с радостью жить с дергачом, обласкала его, угостила всеми своими зернышками. А дергачу только это и надо было, чтобы посмеяться над перепелкой. Ну, какая же, правда, у дергача может быть корова — одно слово дергач голоногий, бесштаный насмешник. Вот когда смеркается и перепелке ничего не видно на лугу, дергач сядет под кустик и зовет нарочно корову:

— Тпрусь, тпрусь!

А перепелка дождалась, — рада; думает, дергач и вправду корову ведет. Хозяйственная она, перепелка, радость радостью, а забота сама собой одолевает: нет у нее хлеба, куда девать ей корову.

— Тпрусь, тпрусь! — кричит дергач.

А перепелка беспокоится:

— Вот идет.

— Вот ведет.

— Хлева нет.

— Негде деть.

Так всю ночь дразнит и беспокоит дергач перепелку от вечерней зари до утренней..."

Матрешка в картошке

В прежнее время в нашей деревне пастуха никогда не нанимали, все, бывало, дети пасут, а дед Михей на пригорке сидит, лапти плетет, детей пасет, чтобы не зевали, ворон не считали.

Бывает с дедом, забудется, лапти тачает, свои годы считает и не видит, что дети все полезли на дерево Москву смотреть. Очнется дед, глянет в сторону детей — все на дереве. Глянет на овец — овцы все в овсе рассыпались. Кони во ржи, как в море, плавают, коровы в лугах, а свиньи все на собственной же дедовой полосе картошку рылом роют.

Тут бывает плохо ребятишкам, хорошо еще успеют с дерева слезть и разбежаться, а не успел, — то прямо и попадает в Михеевы мохнатые лапы.

Выдумали однажды наши пастухи вот какую игру. Есть славный цветок ромашка, в нем солнышко, и к желтому солнышку во все стороны приставлены белые лучи. Вот если оторвать все лучики и оставить только один — это будет поп с одной косичкой, если два — с двумя косичками, три — с тремя, и так, сколько ребят играет, столько можно наделать попов с косичками, только один оставляется без косичек, лысый. Потом каждый пастух вырывает себе на лугу ямку, сундучок, и непременно с крышкой из дерна, сундучок к сундучку, сколько детей, столько и сундучков. И когда наши пастухи всякий себе выкопали по сундучку, то выбрали старосту и отдали ему всех своих попов. Староста разложил попов в разные сундучки, конечно, никто не мог заметить, какой поп пришелся к какому сундучку, — это вот и надо теперь отгадать. А у каждого отгадчика заготовлен крючок; делается обыкновенно из сучковатого прутика. Ну, скажем, что мой поп с одной косичкой лежит во втором сундучке, и это верно пришлось, то я свой крючок вешаю на первый сук дерева, не угадал — крючок остается при мне, пока не угадаю. Но если я во второй раз угадаю, то перевешиваю свой крючок на второй сук, повыше, значит, поближе к Москве. Так, если кто счастлив, из разу в раз перевешивает крючок все выше и выше, да так вот и едет в Москву и за ним все едут, кто поскорей, кто потише. В этот раз первым ехал Антошка Комар, а самой последней девочка — Рыбка.

Но вдруг счастье переменялось. Рыбка забрала верх, а Комар остался в самом низу.

Так ехали, ехали, и вот, наконец, Рыбка сверху кричит:

— Москва!

Дальше ехать некуда, на верхушке дерева больше и сучьев нет.

Между тем дед Михей вовсе заплелся, сидит себе на горке и не видит, что дети по дереву едут в Москву, а самая большая, черная с белым поясом, свинья Матрешка пошла на его собственную полосу картошку копать. Эта Матрешка самая озорная свинья, и как только она ушла, то и все свиньи за ней, а свиньи ушли, как и кони, и коровы, и овцы. Рыбка сверху первая заметила проказу Матрешки и крикнула:

— Слезай, ребята, Матрешка — в картошке!

Сразу все бросились с дерева и пригнали Матрешку. Стали наказывать Матрешку, как обыкновенно: ставят свинью рылом к реке, и кто-нибудь из пастухов садится на нее верхом, сзади хлестнут прутиком, и свинья мчит всадника до речки. Вот затем и ставят Матрешку рылом к реке, чтобы ей дальше бежать было некуда, а то мало ли куда она может увезти седока. После, когда один прокатится, и другой так, все по очереди Рыбке надо бы первой катиться, она же первая и в Москву приехала и первая заметила Матрешку в картошке, но ребята все прокатились, свинья и рот разинула, а Рыбка все ждала свою очередь.

Вовсе ребята свинью измучили, и такой дед чудак, ничего не замечает, весь в свои старые годы ушел. Но Рыбка от своего не отступает, садится верхом на свинью. В это время Антошка Комар, тот, что первый ехал поначалу в Москву а потом оказался самый последний, взял и устроил скверную штуку Комар и был во всем виноват.

У свиней как бывает с хвостами муха сядет, и то она сейчас же хвостик спрячет между окороками. А Комар взял да и надел Матрешке на хвостик берестяную трубочку и сам изо всей силы потянул за кончик Матрешка со всех ног бросилась бежать и как почувствовала на хвосте трубочку, то и думала, что боль от нее, и как только добежала до реки против самого глубокого омута — бух в омут и вместе с Рыбкою.

И скрылась.

— Бух! — в воду.

— Ах! — пастухи.

И только круги на тихой воде да по кругам плавают берестяная трубочка.

Дед Михей лапти плетет, ничего не видит, ничего не слышит, весь в свои старые годы ушел.

Онемели ребята от страха, стоят и не шевельнутся, и только во все глаза смотрят на страшное место, где плавают берестяная трубочка. Вдруг из воды пузыри и целый фонтан, потом пятачок нарыльный свиной, уши, на ушах руки, спина, и на спине Рыбка.

Взвизгнули от радости все пастухи.

Думали, вот как только свинья до берега доплывет, Рыбка непременно на сухом месте соскочит. Но вода Матрешке только силы подбавила из воды она как выскочила, прямо в лес. Рыбка не успела соскочить и вместе с Матрешкой исчезла в лесу.

Наш лес, говорят, на сто верст раскинулся, но кто говорит на сто — до ста и считать только может. Куда больше наш лес, и в лесу этом зверья всякого видимо-невидимо волк, медведь, рысь, всякая всячина. В этот лес и увезла Матрешка маленькую Рыбку.

Скрылась девочка в темном лесу, и в это время дед Михей поднимает, наконец, от лаптей свою старую седую голову. Глянул дед да так и обмер все деревенские свиньи на его же полосе

картошку копают, с полдесятины овцы положили овса, кони от слепней в рожь забрались — высокая рожь, только головы конские видны.

Старый бросился к пастухам, а те же стоят себе кучкой и все в лес смотрят за реку.

Оторопел дед:

— Что же, ай вы стеклянные?

Дед Михей показал на коней во ржи, на свиней в картошке.

Пастухи все посмотрели туда и не тронулись, стоят молчат.

Тут дед и заметил — Рыбки нет между ними, спрашивает:

— Где Рыбка?

Все молчат, боятся сказать: Рыбка — дедова внучка.

Тут хорошую выбрал дед Михей прutowинку и на Комара. И все Комар рассказал, одно утаил, как он берестяную трубочку Матрешке на хвостик надел и за кончик больно потянул.

Дед больше не стал допытываться, бежит скорее в деревню, сход собирает. Бросились враз мужики все спасать рожь, овес, картошку, а когда с этим покончили, скорей за реку в лес и там рассыпались в разные стороны. Так у них в поисках вся ночь прошла. Солнышко уже высоко было, когда дядя Митрофан вдруг загукнул сбор. Увидал дядя Митрофан белую рубашку на кусту, глянул под куст, а там голенькая Рыбка в мох закопалась и вот как сладко спит. И какая оказалась хозяйственная: мокрую рубашонку на куст повесила, и славно она у нее за ночь высохла. Собрались мужики, веселые пошли домой, горевали только, что волк свинью съел. Но и то хорошо обошлось: оказалось, Матрешка еще ночью к своей хозяйке Матрене из лесу прибежала. В тот день постановили на сходе, чтобы у нас, как и в других деревнях, был настоящий пастух и детей этим трудным делом больше не мучить.

Оставили детям одно только занятие — приглядывать за гусями. Но гуси весь день на реке, и за ними глядеть легко. Теперь наши дети без опаски ездят в Москву.

1925 г.

Щегол-турлукан

В Сокольниках, под Москвой, живет один мой приятель, зовут его Петр Петрович Майорников — большой любитель и первый в Москве ценитель маленьких певчих птиц. Из окна у него проведена веревочка в сад, к понцам — сетка для лова. Почти на каждом дереве в саду висит клетка с какой-нибудь певчей птицей. И так уж всегда у птиц: если какая-нибудь пролетает над садом, птичка в клетке непременно ей голос подаст, и та сядет на дерево. В это время Петр Петрович открывает окно, берется за веревочку и, когда прилетевшая птица станет клевать рассыпанные между понцами семечки, — дернет за веревку. От этого понцы — две натянутые на рамы сетки — хлопываются и закрывают, как ладони, птичку. Пойманную птичку Петр Петрович сажает в клетку и выслушивает, хорошо ли она поет, — хороших оставляет себе или продает таким же любителям, плохих выпускает. Мы с вами, не зная этого дела, ничего не поймем ни в пении птиц, ни даже о чем говорят между собой птицеловы: у них и язык свой.

Раз я был на "Трубе"[6] и услышал, как из-за бочки насвистывает разными коленцами и в

птичьих лавочках насвистыванию отвечают подобные голоса. Скоро я понял, что за бочкой не на один голос, а на голоса разных птиц кто-то насвистывает. Заглянув туда, я увидел своего приятеля Петра Петровича Майорникова.

— Что вы тут делаете? — спросил я.

— Птиц выслушиваю, — сказал Петр Петрович, — кажется, есть недурной чиж.

И засвистел чижом.

В лавочках похоже ответили.

— Так и есть, — обрадовался Петр Петрович, — как он овсянку стегнул.

Проверили еще раз, и чиж действительно спел одно коленце, подобно птичке овсянке.

Мы пошли, купили чижа, и оказалось, — он не только был с овсянкой, но еще и с копейкой на голове.

— Конечно, — сказал Петр Петрович, — бывают чижи и получше...

— Какой же этот, самый-то лучший? — спросил я.

— Самый лучший чиж, — сказал Петр Петрович, — бывает с овсянкой и с двумя копейками, но и то не самый первый.

— А первый?

— Тот должен быть и с овсянкой, и с двумя копейками, и еще с касаткой.

Мы пересмотрели, переслушали разных птиц: были тут клесты, кривоносы, лубоносы, снегири, юрки, зяблики, овсянки, реполовы, чечетки, синицы, глушки, московки...

Но среди всех этих птиц не хватало любимого мной щегла, птички изумительной по красоте своего оперения. Один торговец предложил было нам плохонького щегла и назвал его турлуканом...

Петр Петрович засмеялся:

— Слышал, брат, ты звон, а лучше никому не говори.

— Отчего?

— Оттого, что у твоего щегла лысинка на голове велика, с такой лысинкой не может быть турлукана.

— Как так?

— Очень просто, — сказал Петр Петрович, — настоящий турлукан у нас тут есть только один, он у меня и в руках был, да я собственноручно ему хвост оторвал...

Вокруг нас собрались охотники и стали упрашивать Петра Петровича рассказать, как он оторвал хвост турлукану.

— Бейте меня, — начал свой рассказ Петр Петрович. — Бейте, кто хочет, я того заслужил, да, я собственной рукой оторвал хвост турлукану. Конечно, вы знаете, не мной это начато, это у всех охотников водится, рвать негодным певцам хвосты, чтобы знать потом, и больше его не ловить, и не кормить, и людей не обманывать. Но чтобы турлукану хвост вырвать, — за это надо бить и бить... Прошлой осенью я наловил себе двадцать девять щеглов, рассадил их по разным клеткам, кормлю, ухаживаю, выслушиваю, и нет мне за это ничего: до рождества ни один даже не пикнул. Потом скоро и свету прибавилось, и в полднях капель началась — тут же непременно бы должны птицы начинать, а они все молчат.

И вот уж и снег подтаивает, слышу легонькое обыкновенное «цибить-бить», и то без всякой заркости. На пасхе показалось, будто один из них пик-пикнул синицу, но как потом ни слушал, не повторилось. И так у меня за всю зиму не только турлуканья не было, но даже ни один из двадцати девяти не циперекнул. Весь я издержался на корм птицам, вижу, ничего больше не остается делать, как только рвать хвосты и выпускать на волю. Выхожу я за этим делом в сад, день самый лучший, весенний, и стало мне жалко немного рвать птицам хвосты, но очень уж я на них досадовал, и не хотелось тоже, чтобы другие охотники ловили их и расходовались или бы обманывали других. И вот оборвал я первому хвост, он полетел, сел сначала на мою грушу, обобрался, очистился и летит в сад к соседу, а сосед мой такой же щеглятник, как и я Ваня-Шапочка камнем гонит его дальше, потому что по хвосту видит — щегол был в руках. Так и другой, и третий, и все двадцать восемь бесхвостых разлетелись. Наконец, вырываю последнему, двадцать девятому, и вот видите ли что... вот как только он сел на мою грушу, обчистился, оправился, да как запоем. Дух у меня захватило, стою, как истукан. Он и турлуканит, и трещит, и циперекает, а как из-под ципереканья турлукана пустит — тут у меня коленки затряслись, из-под пяток дрожь по ногам побежала, выше и выше, по животу, и вдруг изо рта вроде как бы сельтерской водой шибануло. Сыграл все двенадцать колен, под конец еще пик-пикнул синицу и смолк. Сидит, молчит, я на него смотрю, а он помолчал, помолчал, да как хватит на заркость: «цибить-бить». Со всех сторон, вижу, слетаются мои бесхвостые. Собрал всех своих друзей, турлукан ударил в последний раз «цибить-бить». И вся стая махнула в сад к Ване-Шапочке. Тот, видно, не слышал турлукана, — бац камнем в бесхвостых, и все улетели.

Прыг я тогда через забор к Ване-Шапочке, кричу:

— Бей меня, бей, подлеца!

Он сначала было подумал, — с ума сошел, а потом, когда я все рассказал, темный весь сделался и спрашивает:

— Зачем же тебе нужно было рвать хвосты всем подряд?

— Но ты же не понимаешь, Ваня... — бормочу я.

И так сурово отвечает мне Ваня-Шапочка:

— Нет, брат, не понимаю я тебя и всех вас таких безжалостных охотников, я о каждой птице отдельно думаю и никогда не рву хвосты, и, особенно, чтобы всем подряд, безжалостные вы охотники, оборвете хвосты всем подряд, а после оказывается, что среди бесхвостых есть турлукан.

Гуси с лиловыми шеями

Однажды колхозный мальчик Миша прочитал книгу о разных животных; особенно понравился

ему рассказ об утках, и ему самому захотелось написать рассказ о гусях. Недалеко был один колхоз, где на речке всегда бывает много гусей.

— Попробую! — сказал он.

И отправился по лесной зеленой дорожке к гусям.

Скоро нагнал его колхозник Осип.

— Хочу рассказ написать о гусях, — сказал ему Миша, — подвези меня к речке.

— Садись, — ответил Осип, — только не зевай, не забывай рук на грядке: в лесу едем, о дерево можно руку повредить.

И, подумав немного, сказал:

— О гусях написать можно много. Вот я тебе расскажу, случай был на реке. Пропало у Якова четыре гуся, а были у него гуси меченые, с лиловыми шеями. Яков был нечист на руку: он отбил четырех гусей на реке и загнал к себе на двор. Дома он разломал лиловый чернильный карандаш, сделал краску и намазал шеи гусям. Тогда четыре чужих гуся стали тоже с лиловыми шеями. Три дня Яков за ними ухаживал, кормил, поил и купал в корыте. Гуси делали вид, что привыкли, а когда Яков их выпустил, они пошли к тетке Анне. Раз и два все так, гуси идут к тетке Анне. В третий раз люди заметили и не дали Якову загонять гусей к себе обратно.

— Если гуси идут на двор к тетке Анне, — сказали колхозники, — значит, это гуси ее.

— Добрые люди, — сказал им Яков, — у тетки Анны все гуси белые, немеченые, а мои гуси с лиловыми шеями.

— Разве вот что с лиловыми шеями, — задумались добрые люди. И отпустили Якова.

— Всё? — спросил Миша.

— Чего тебе еще? — ответил Осип. — Так это было — рассказ об умном воре и о недогадливых людях: на то щука в море, чтобы карась не дремал.

— Никуда не годный рассказ! — сказал Миша.

И так возмутился, так взволновался неправдой, что забыл наказ Осипа не класть руку на грядку телеги. Мишин безымянный палец на левой руке попал между грядкой и деревом.

— Скажи еще хорошо, что не всю руку размяло, — сказал Осип.

Он вымыл раздавленный палец в ручье, перевязал тряпочкой и велел Мише бежать скорей обратно в колхоз.

Бедная Мишина мать! Как она испугалась, когда увидала Мишу в крови! Но хорошо, что в аптечке колхозной нашлась свинцовая примочка. Она сделала Мише компресс, перевязала палец чистым бинтом и велела ложиться в постель.

— Нет, — ответил Миша, — я буду сейчас писать рассказ о гусях.

И передал матери все, что слышал от Осипа.

— Так это было, — сказал Миша, — но разве можно писать о такой гадости? Я хочу написать, как надо.

— Правда, — ответила мать, — глупого и так у нас довольно, не надо об этом писать. Напиши, если можешь, как надо, я же прилягу сейчас, и ты потом меня разбуди: я сделаю на ночь тебе перевязку.

Миша писал рассказ, не обращая никакого внимания на боль. И когда кончил, то мать не стал будить. Довольный, улыбаясь, он сам перевязал себе очень хорошо палец и крепко уснул.

— Написал? — спросила его утром мать.

— Написал, — ответил Миша, — я написал как надо, а не как рассказывал Осип. Помнишь то место, когда добрые люди хотели остановить вора? "Раз гуси идут к Анне, — значит, это ее гуси", — сказали добрые люди. "Добрые люди, ответил им Яков, — у тетки Анны все гуси белые, немеченые, а мои гуси с лиловыми шеями". — "Разве вот что с лиловыми шеями", — сказали добрые люди. И только хотели было отпустить Якова, вдруг вдали, на реке, показываются какие-то четыре гуся с темными шеями, ближе, ближе плывут, и, наконец, все видят: гуси эти неведомые тоже с лиловыми шеями. И они так важно по-гусиному выходят на берег, стряхивают с себя воду, оправляются и, вытянув вперед лиловые шеи, направляются ко двору Якова.

Яков остолбенел и опустил хворостину, и гуси Анны, тоже важно, по-гусиному вытянув вперед лиловые шеи, пошли на двор к своей любимой хозяйке. И все стало ясно. "Вор! Вор! Вор!" — закричали колхозники. И выгнали вора из колхоза, и с тех пор нет в колхозе воров.

— Вот как надо! — с гордостью сказал Миша. — А Осип хочет, чтобы у нас в колхозе было, как в море: "На то и щука в море, чтобы карась не дремал".

Но мать не слышала конца рассказа Миши и не могла радоваться. Испуганно, изумленно глядела она на его руку. Совершенно черный, страшный ноготь с сочащейся из-под него кровью был на его безымянном пальце, а указательный хорошо, туго был перевязан бинтом.

С таким волнением Миша писал свой рассказ, что боль свою забыл и сгоряча даже палец перевязал не тот. Ничего не помня от радости, он вместо больного, безымянного пальца перевязал указательный.

Так написал Миша свой первый рассказ.

Звери-кормилицы

Соболь — небольшой, меньше кошки, зверек. Водится он только у нас, в СССР, в сибирской тайге. В старину шкурки соболя были деньгами, и на них, как на золото, можно было покупать всякие товары. Да и теперь соболий мех один из самых драгоценных в мире, и оттого охотники преследовали и уничтожали зверька, не заботясь о будущем. Даже на далекой Камчатке соболь начал исчезать и скоро, наверно, исчез бы навсегда с лица земли, как исчезло немало зверей, которых теперь мы знаем только по скелетам и чучелам в музеях.

К счастью, наука в советское время успела взять в свои руки соболийное дело. Соболей стали разводить в неволе. Теперь уже и под Москвой, на Пушкинской зооферме, соболи растут и размножаются сотнями.

И в Соловках, и в Пушкине, и на Урале я наблюдал с интересом жизнь соболей, и самое первое,

на что я обратил свое внимание, была их внутренняя, страстно-хищная кровожадность и внешняя пушистость, гибкость и грация. Этот зверек вполне отвечает пословице: "Мягко стелет — жестко спать".

Однажды, наблюдая кормление соболей в Соловецком питомнике, я сказал заведующему питомником, ученому-звероводу:

— Если бы соболи хотя бы наполовину были так велики и сильны, как тигры, то благодаря своей ловкости, гибкости и хищности они бы всех тигров поели, как кроликов.

На эти слова зверовод ответил:

— Да, соболь — хищник примерный, но у нас был необыкновенный случай в питомнике, он доказывает, что даже у таких хищников бывает в жизни так, что они могут быть очень добрыми и нежными к зверям другой породы.

И он рассказал действительно необыкновенный случай.

Было это у них в Соловецком питомнике, кажется, в 1929 году. Там жила в то время старая, но очень красивая соболюшка Муся. У нее должны были родиться соболята, и все служащие в питомнике волновались.

И как было не волноваться!

У соболей часто бывает, что старая самка родит и тут же сама кончается, истратив на эти последние роды все силы. Опасность гибели дорогой старушки или ее потомства увеличивалась еще тем, что наблюдать и помогать, когда надо, при рождении соболей невозможно: соболи посторонних не выносят.

И вот придумали установить в клетке микрофон и отвести все звуки из клетки в кабинет ученого-зверовода точно так же, как отводят звуки со сцены в квартиры.

Перед письменным столом был установлен громкоговоритель, и, когда наступил день родов, зверовод сел за стол и стал дежурить.

В одиннадцать ночи из клетки Муси послышался первый стон, и в ту же минуту из другой комнаты, взволнованные, настороженные, с наостренными ушами, явились кормилицы: собаки и кошки. У таких собак и кошек в зверопитомнике отнимают детей, отчего у них собирается много молока, и животному очень хочется освободиться от него: хоть бы кого-нибудь покормить. В питомнике собаки-кормилицы кормят лисят, кошки — соболей. Собаки и кошки кормилицы — бесшумно прокрались в комнату зверовода и, наострив уши, сели против громкоговорителя. Всю ночь, до восьми утра, все кормилицы, не стронувшись с места, слушали, как Муся долго облизывала новорожденных и как они пищали.

Зверовод все время записывал в журнал, отмечая каждый звук по часам.

Все кончилось благополучно для матери, но молодые, четыре соболенка, все погибли. Первое время после родов Муся была очень слаба, за жизнь ее сильно боялись и кормили только живыми новорожденными кроликами.

Когда прошло значительное время, Муся поправилась, стала есть даже рубленую конину с рисом и день ото дня становилась все веселей. Вот тут наблюдатели заметили, что молоко у соболюшки почему-то не исчезает. Об этом странном явлении сказали звероводу, и тот без

всякого колебания решил, что раз молоко столько времени у матери не пропадает, значит, она кормит кого-то, значит, четырех мертвых соболят выбросили в свое время, а пятого проглядели, и он затаился где-нибудь в подстилке. Подняли крышку клетки и с изумлением увидели, что Муся не соболенка кормила, а кролика, и он теперь был уже довольно большой. Как, почему из множества съеденных Мусей живых кроликов она избрала себе одного, — было непонятно. Скорее всего маленькому счастливцу, пока хищница ела другого, удалось попить соболиного молока. Таким образом, хищница-соболюшка выкормила и воспитала кролика-грызуна.

Многих ученых-натуралистов я потом спрашивал как могло это случиться, как это возможно?

Все они пожимали плечами и отвечали:

— Да, соболь — хищник самый ужасный, и случай в Соловецком питомнике необыкновенный: он показывает, что даже и у таких страшных хищников бывает, что они могут быть очень добрыми и нежными к зверушкам, им вовсе чужим.

Пиковая дама

Курица непобедима, когда она, пренебрегая опасностью, бросается защищать своего птенца. Моему Трубачу стоило только слегка пожать челюстями, чтобы уничтожить ее, но громадный гонец, умеющий постоять за себя в борьбе и с волками, поджав хвост, бежит в свою конуру от обыкновенной курицы.

Мы зовем нашу черную наседку за необычайную ее родительскую злобу при защите детей, за ее клюв — пику на голове — Пиковой Дамой. Каждую весну мы сажаем ее на яйца диких уток (охотничьих), и она высиживает и выхаживает нам утят вместо цыплят. В нынешнем году, случилось, мы не досмотрели: выведенные утята преждевременно попали на холодную росу, подмочили пупки и погибли, кроме единственного. Все наши заметили, что в нынешнем году Пиковая Дама была во сто раз злей, чем всегда.

Как это понять?

Не думаю, что курица способна обидеться на то, что получились утята вместо цыплят. И раз уж села курица на яйца, не доглядев, то ей приходится сидеть, и надо высидеть, и надо потом выхаживать птенцов, надо защищать от врагов, и надо все довести до конца. Так она и водит их и не позволяет себе их даже разглядывать с сомнением: "Да цыплята ли это?"

Нет, я думаю, этой весной Пиковая Дама была раздражена не обманом, а гибелью утят, и особенное беспокойство ее за жизнь единственного утенка понятно: везде родители беспокоятся о ребенке больше, когда он единственный.

Но бедный, бедный мой Грашка!

Это — грач, с отломанным крылом он пришел ко мне на огород и стал привыкать к этой ужасной для птицы бескрылой жизни на земле и уже стал подбегать на мой зов «Грашка», как вдруг однажды в мое отсутствие Пиковая Дама заподозрила его в покушении на своего утенка и прогнала за пределы моего огорода, и он больше ко мне после того не пришел.

Что грач! Добродушная, уже пожилая теперь, моя лягавая Лада часами выглядывает из дверей, выбирает местечко, где ей можно было бы безопасно от курицы до ветру сходить. А Трубач, умеющий бороться с волками! Никогда он не выйдет из конуры, не проверив острым глазом своим, свободен ли путь, нет ли вблизи где-нибудь страшной черной курицы.

Но что тут говорить о собаках — хорош и я сам! На днях вывел из дому погулять своего шестимесячного щенка Травку и, только завернул за овин, гляжу: передо мною утенок стоит. Курицы возле не было, но я себе ее вообразил и в ужасе, что она выключет прекраснейший глаз у Травки, бросился бежать, и как потом радовался — подумать только! — я радовался, что спасся от курицы!

Было вот тоже в прошлом году замечательное происшествие с этой сердитой курицей. В то время, когда у нас прохладными, светло-сумеречными ночами стали сено косить на лугах, я вздумал немного промять своего Трубача и дать погонять ему лисичку или зайца в лесу. В густом ельнике, на перекрестке двух зеленых дорожек, я дал волю Трубачу, и он сразу же ткнулся в куст, вытурил молодого русака и с ужасным ревом погнался по зеленой дорожке. В это время зайцев нельзя убивать, я был без ружья и готовился на несколько часов отдаться наслаждению любезнейшей для охотника музыкой. Но вдруг где-то около деревни собака скололась, гон прекратился, и очень скоро возвратился Трубач, очень смущенный, с опущенным хвостом, и на светлых пятнах его была кровь (масти он желто-пегой в румянах).

Всякий знает, что волк не будет трогать собаки, когда можно всюду в поле подхватить овцу. А если не волк, то почему же Трубач в крови и в таком необычайном смущении?

Смешная мысль мне пришла в голову. Мне представилось, что из всех зайцев, столь робких всюду, нашелся единственный в мире, настоящий и действительно храбрый, которому стыдно стало бежать от собаки. "Лучше умру!" — подумал мой заяц. И, завернув себе прямо в пята, бросился на Трубача. И когда огромный пес увидел, что заяц бежит на него, то в ужасе бросился назад и бежал, не помня себя, чаще и обдирал до крови спину. Так заяц и пригнал ко мне Трубача.

Возможно ли это?

Нет!

Я знал одного робкого человека: его смертельно оскорбили, он поднялся и вмиг уничтожил своего врага. Но... то был человек. У зайцев так не бывает.

По той самой зеленой дорожке, где бежал русак от Трубача, я спустился из лесу на луг и тут увидел, что косцы, смеясь, оживленно беседовали и, завидев меня, стали звать скорее к себе, как все люди зовут, когда душа переполнена и хочется облегчить ее.

— Ну и дела!

— Да какие же такие дела?

— Ой-ой, ой!

И пошло, и пошло в двадцать голосов, одна и та же история, ничего не поймешь, и только вылетает из гомона колхозного:

— Ну и дела! Ну и дела!

И вот какие это вышли дела. Молодой русак, вылетев из лесу, покатил по дороге к овинам, и вслед за ним вылетел и помчался врасстяжку Трубач. Случалось, на чистом месте Трубач у нас догонял и старого зайца (поратая англо-русская порода), а молодого-то догнать ему было очень легко. Русаки любят от гончих укрываться возле деревень, в ометах соломы, в овинах. И Трубач настиг русака возле овина. Косцы видели, как на повороте к овину Трубач раскрыл уже и пасть

свою, чтобы схватить зайчика...

Так бывает часто в борьбе, что все карты биты и остается какая-то одна, и уже тянет сонливая слабость стать жертвой и отдаться врагу: становится так, будто игра не стоит свеч, и надо сдаваться и делаться жертвой. Бывает, враг все рассчитал, он знает даже три карты победы: вот тройка.

Тройка!

И тройка взяла.

Семерка!

Семерка взяла.

Туз!

И нет: вместо туза дама пик.

Это было на глазах у всех косцов.

Трубачу бы только хватить, но вдруг на него из овина вылетает большая черная курица — и прямо в глаза ему. И он поворачивается назад и бежит. А Пиковая Дама ему на спину — и клюет и клюет его своей пикой.

Ну и дела!

И вот отчего у желто-пегого в румянах на светлых пятнах была кровь: гонца расклевала обыкновенная курица.

Куница-медовка

Понадобилась мне однажды на кадушку черемуха, пошел я в лес. В тридцать первом квартале нашел я черемуху, и с ней рядом стояла елка с подлупью. Вокруг этой елки были птичьи косточки, перья, беличий мех, шерстка.

Тогда я глянул наверх и увидел бурак[7], и на бураке сидит куница с птичкой в зубах.

В летнее время мех дешевый, она мне не надобна. Я ей говорю:

— Ну, барыня, стало быть, ты тут живешь с семейством.

От моих слов куница мызгнула на другое дерево и сгнула. Я же полез наверх, поглядел на гнездо и прочитал всю подлость кунью. Бурак был поставлен для диких пчел и забыт. Прилетел рой, устроился, натаскал меда и зимою уснул. Пришла куница, прогрызла внизу дырку, мороз пожал пчел кверху, а снизу мед стала подъедать куница. Когда мороз добрался до пчел и заморозил их, куница доела мед и улей бросила.

Летом явилась белка, облюбовала улей на гнездо. Осенью мох натаскала, все вычистила и устроилась жить. Тут опять куница пришла, съела белку и стала жить в ее теплом гнезде барыней и завела семейство. А после пчел, белки, куницы я пришел. В гнезде оказались четыре молодых. Поклад я молодежь в фартук, принес домой, посадил в погреб. Дня через два поднялся из погреба тяжелый дух от куниц, и женщины — все на меня. Стало невыносимо в

избе от куньего духа. А в саду у меня был амбарчик. Я заделал в нем все дырки и перенес туда куниц. Все лето хожу за ними, стреляю птичек, и они весело их едят. У молодых куниц характер не злобный, из-за еды дерутся, а спят все вместе клубком.

Раз ночью разломали недруги мой амбарчик, я ничего не слышал. Утром приходит мой сосед.

— Иди, Михалыч, скорей, твои куницы на яблоне.

Выбежал я, а куницы с яблони на поленницу, с поленницы под застрех, через двор и в лес. Так все и пропали.

Пришла зима, навалило снегу, оказались следы тут же в лесу рядом с деревней и жили. Трех я вскоре убил и продал, а четвертую, верно, воры украли, когда ломали сарай.

Охота

Моим молодым друзьям

Мы все немного поэты в душе, особенно охотники. Бывало, входим мы в лес вдвоем с собакой. На одной росистой полянке собака причуяла след, поглядела на меня, и я понял ее тут ночевали вблизи и вышли в поле через эту полянку тетерева. Но как раз, когда собака причуяла след и повела, вдруг сквозь густую крону дерева пробился солнечный луч и полетел вниз. И так вышло случайно, что солнечный луч попал как раз на тот листик заячьей капусты, от которой запахло собаке перышком тетеревенка. Обласканный солнечным лучом листик заячьей капусты сейчас же сложился, как складывается зонтик, когда дождь перестал. Собака приостановилась, и, пока она стояла, человек видел, как солнечный луч обласкал всю полянку, и вся тесная заячья капуста на всей полянке сложилась зонтиками.

Так в первый раз в своей жизни и первым собственными глазами я увидел, как от солнечного луча заячья капуста складывается зонтиком, и самое главное, что после того и все стало в лесу мне показываться такое, чего раньше я не видал. И оттого вокруг все стало волшебным мы все немного поэты в душе, и особенно охотники.

Конечно, это в каждой ботанической книге можно найти, что тенелюбивое растение прячется от солнца и что заячья капуста, как тенелюбивая, должна была тоже свернуться. Но ведь в ботанической книге сказано вообще о тенелюбивых растениях, и если даже о заячьей капусте, то, конечно, тоже вообще, а не о том самом листике, от которого собаке пахло тетеревенком и в тот самый момент, когда сквозь ветви густых елок вышел на него солнечный луч.

Довольно бывает какого-то листика капусты, чтобы повязка спала с глаз, и охотник с легавой собакой вошел внутрь самой природы, и где-то в подмосковном лесу открылся ему волшебный лес, как открылся Тургеневу Бежин луг с чудесными мальчиками.

Так я понимаю поэзию как силу души человеческой и знаю, что наши русские охотники почти все такие поэты в душе. Но редко, очень редко такой поэт в душе может заключить свою поэзию в словесные шлюзы и по этой реке направить, как настоящий поэт, к желанной цели свои корабли.

Такова тургеневская охота с легавой, и я начал с нее потому, что такая охота воспитала во мне живого человека, способного видеть природу своим собственным глазом. Но есть другая, любительская охота, имеющая значение народного праздника, требующая покровительства и поощрения со стороны государственных органов охраны народного здоровья и военной

подготовки.

Любимая у нас по всей стране народная охота — это охота с гончим мастером. Во времена дорогих барских охот у нас процветала охота с борзыми, и как подсобная ей была выгонка зверя из лесных и болотных угодий в поле гончими стаями. Мало-помалу из этой сложной охоты с борзыми и гончими выделилась в самостоятельную стайная охота с гончими, и на место борзой стал охотник с ружьем. Но эта стайная охота с гончими была еще дорога: при двух-трех мастерах в этих стаях было много собак-приживалок, и дело их было лишь в том, чтобы создавать любимым охотниками хор собачьих голосов. Мало-помалу из такой стайной охоты стала откалываться охота с мастером, доступная всем, потому что одну собаку каждый может держать.

Теперь почти в каждом значительном селении есть охотник с гончей, но, конечно, не везде, и даже не знаю, есть ли где-нибудь на свете такой мастер, каким был у меня Соловей, способный гонять, самостоятельно выправляясь при сколе, и зайца и лисицу зимой от последней утренней звезды и до первой вечерней. Не буду, однако, упираться в свое лучшее, допускаю, что и в наше время есть достойные мастера, и наверно знаю, что дальше будет все лучше и лучше.

Эта охота с мастером тем хороша, что с одной собакой может охотиться целая стая дружных охотников и целый день, сливаясь душой в праздничной радости, перебегать поляны, перелезать снежные овраги, прыгать через плетни и незамерзающие ручьи, затаиваться намертво в просеках в ожидании зверя и после удачного выстрела победным криком созывать товарищей на общую радость. И если тургеневская охота есть школа поэтических открытий, то народная охота с гончей, как она у нас существует повсюду, есть школа воинов с простой, открытой душой.

Интересна строгостью своего коллектива охота волчьих команд. В этих коллективах воспитывается разумный охотник, умеющий сдерживать свою личную страсть ввиду серьезной задачи избавить край от "серых помещиков".

Есть вид охоты, еще дальше отстоящий от спорта, чем даже охота на хищников: охота, подсобная во время путешествий как в целях добывания пищи, так и шкурок редких животных и птиц. Самым редким представителем такого рода охотников был у нас знаменитый путешественник Пржевальский. Он является примером для всех нас, в какое полезное для науки дело может превратиться свойственная многим мальчикам охотничья страсть. И путешествия и открытия у Пржевальского выросли из его детской страсти к охоте в смоленских лесах.

И, наконец, есть целая огромная область охоты промысловой, которой занимаются не только люди с праздником в душе, но и самые простые, принужденные пользоваться охотой как средством своего существования. Конечно, и среди них тоже, как и всюду, есть поэты в душе и люди, склонные к знанию, и художники своего дела.

Все виды охот я в своей жизни изведаль, и в одно трудное время пришлось мне даже немного заниматься добыванием шкурок лисиц, зайцев и белок и даже присматривался к ловле кротов капканами. Для своего словесного дела, мне кажется, я выбрал все, что может дать охота, и теперь мне даже не очень и нужно ружье, чтобы в лесу быть всегда, как на охоте. Мало того! Мне, пожалуй, и леса не нужно: не описать за жизнь и того, что набрано от леса в себя. Но меня очень волнует одна мысль: как бы удержать и развить в нашей новой, советской культуре те особенности русской народной охоты, которые так замечательно повлияли на творчество наших ученых, путешественников, писателей, художников, композиторов и уж, конечно, само собой, на мастеров военного дела.

Первая особенность нашей охоты в том, что она насквозь пропитана духом товарищества.

Вторая особенность нашей охоты — что она содержит в себе священное чувство охраны природы, как нашей родины.

Наш идеал — это дедушка Мазай, который вместе с Некрасовым со всей охотничьей страстью осенью бьет дупелей, а весной во время наводнения спасает зайцев.

И если бы я не знал в себе как охотнике такого же Мазая, хорошо понимающего, когда можно убить зайца и когда, может быть, и самому убиться, чтобы этого зайца спасти, я бы с отвращением бросил охоту и восстал бы против охотников.

Наша молодежь должна идти в охоту по этому трудному пути образования себя самого от простого охотника до охотника — охранителя природы и защитника своей родины.

Смертный пробег

Случалось не раз мне зимой пропадать в лесу, видал цыган мороза! И до сих пор, когда в сумерках гляну издали на серую полосу леса, отчего-то становится не по себе. Зато уж как удастся утро с легким морозцем после пороши, так я рано, далеко до солнца, иду в лес и справляю свое рождество, до того прекрасное, какое, думается самому, никто никогда не справлял.

В этот раз недолго мне пришлось любоваться громадами снежных дворцов и слушать великую тишину. Мой лисогон Соловей подал сигнал: как Соловей-разбойник зашипел, засвистал и, наконец, так гавкнул, что сразу наполнил всю тишину. Так он добывает по свежему следу зверя всегда этими странными звуками.

Пока он добывает, я спешу на поляну с тремя елями, там обыкновенно проходит лисица; становлюсь под зеленым шатром и смотрю в прогалочки. Вот он и погнался, нажимает, все ближе и ближе...

Она выскочила на поляну из частого ельника далековато, вся красная на белом и как бы собака, но, подумалось, зачем у ней такой прекрасный, как будто совсем ненужный хвост? Показалось, будто улыбка была на ее злующем лице, мелькнул пушистый хвост, и нет больше красавицы.

Вылетел вслед Соловей, тоже, как и она, рыжий, могучий и безумный: он помешался когда-то, увидев на белом снегу след коварной красавицы, и с тех пор на гону из доброго домашнего зверя становится самым диким, упорным и страшным. Его нельзя отозвать ни трубой, ни стрельбой. Он бежит и ревет изо всех сил, положив раз навсегда — погибнуть или взять. Его безумие так заражает охотника, что не раз случалось опомниться в темноте, верст за восемь в засыпанном снегом неизвестном лесу.

След его и ее выходил из разных концов поляны, в густоте лес бежал по чутью и тут, увидев след, пересекал всю поляну и схватился след в след у той маленькой елочки, где лиса показала мне хвост. Еще остается небольшая надежда, что это местная лисица, что вернется и будет здесь бегать на малых кругах. Но скоро лай уходит из слуха и больше не возвращается: чужая лисица ушла в родные края и не вернется.

Теперь начинается и мой гон, я буду идти, спешить по следу до тех пор, пока не услышу. Большею частью след идет опушками лесных полей и у лисы закругляется, а лес сокращает. Стараюсь идти по прямому, и сам сокращаю, если возможно. В глазах у меня только следы и в

голове одна только и мысль о следах: я тоже, как Соловей, на этот день маниак и тоже готов на все.

Вдруг на пути открывается целая дорога разных следов, больше заячьих, и лисица туда, в заячий путь. У нее двойной замысел: смазать свой след и соблазнить Соловья какой-нибудь свежей заячьей скидкой. Так оно и случилось. Вот свежая скидка, и, кажется, под этим кустиком непременно белый лежит и поглядывает своими черными блестящими пуговками Соловей метнулся. Неужели он бросит ее и погонится за несчастным зайчишкой?

Одинокий след ее с заячьей тропы бежит в болото, на край по молодому осиннику, изгрызанному зайцами, пересекает поляну и тут... здравствуй, Соловей! Его могучий след выбегает из лесу, снова схватываются следы зверей и уходят в глубину в смертном пробеге.

Мне почудился на ходу вой Соловья. На мгновение я останавливаюсь, ничего не слышу и думаю: так, показалось. Тишина, и все мне кажется, будто свистят рябчики. А следы вышли в поле, солнце их все поглубило, и так через все большое поле голубеет дорога зверей.

Она, проворная, нырнула под нижнюю жердинку изгороди и пошла дальше, а он попробовал, но не мог. Он пытался потом перескочить через изгородь. На верхней жердине остались два прохвата снега, сделанные его могучими лапами. Вот теперь я понимаю: это я не ослышался, это он, когда свалился с изгороди, с горя провыл мне и пустился в обход. Где уж он там выбрался, мне было не видно, только у границы горелицы следы снова сбегаются и уходят вместе в эти пропастные места.

Нет для гонца испытания больше этой горелицы. Тут когда-то тлела в огне торфяная земля, подымая громадных земляных медведей, и полегли деревья одно на другое и так лежат дикими ярусами, а снизу уже вновь поросло. Не только человеку, собаке, но тут все равно и лисице не пройти. Это она сюда зашла для обмана и не надолго. Нырнула под дерево и оставила за собой нору, он же смахнул снег сверху и прервал хорьковый след на бревне. Вместе свалились, обманутые снежным пухом, в глубокую яму и у нее скачок на второй ярус наваленных елей, перелаз на третий и потом ход по бревну до половины, и он продержался, но свалился потом в глубокую яму. Слышно, недалеко кто-то заготавливает дрова, тот, наверно, любовался спокойно, видел все, как звери один за другим вздымались и падали. Человеку невозможно пройти этим звериным пробегом. Я делаю круг по краю горелицы, и вот как тоскую, что не могу, как они.

Встретить выходные следы мне не пришлось. Я вдруг услышал со стороны казенника долгий жалобный залиvistый вой. Бегу прямо на вой, гоню помогать, трудно мне дышать и жарко на морозе, как на экваторе.

Все мои усилия оказались лишними. Соловей справился сам и снова вышел из слуха. Но разобрать, почему он так долго и жалобно выл, мне интересно и надо. Большая дорога пересекает казенник. Я понимаю, она выбежала на эту дорогу, и по ее свежему следу прямо же проехали сани. Может быть, вот эти самые сани теперь и возвращаются, расписные сани, в них сваты, накрашив носы, едут с заиндевелыми бородами, за вином ездили... Соловей сюда выбежал на дорогу за лисцей. Но дорога не лес, там он все знает, куда лучше нас, от своих предков волков. Здесь дорога прошла много после, и разве может человек в лесных делах так научить, как волки? Непонятна эта прямая человеческая линия и страшна бесконечность прямых. Он пробовал бежать в ту сторону, откуда выехали сваты за вином, все время поглядывая, не будет ли скидки. Так он долго бежал в ложную сторону, и бесконечность дороги, наконец, его испугала, тут он сел на край и завыл, звал человека раскрыть ему тайну дороги. Сколько времени я путался в горелице, а он все выл!

Верно, он просто вслепую бросился бежать в другую сторону. В одном краешке дороги осталось ее незатертое чирканье, тут он ободрился. А дальше она пробовала сделать скачок в сторону, и почему-то ей не понравилось, вернулась, и на снегу осталась небольшая дуга. По дуге Соловей тоже прошел, но дальше все было стерто: тут возвратились с вином сваты и затерли следы Соловья. Может быть, и укрылось бы от меня, где она с дороги скинулась в куст, но Соловей рухнул туда всем своим грузом и сильно примял. А дальше на просеке вижу опять, смерть и живот схватились в два следа и помчались, сшибая с черных пней просеки белые шапочки.

Недолго они мчались по прямой — звери не любят прямого, опять все пошли целиной от поляны к поляне, от квартала в квартал.

Радостно я заметил в одном месте, как она, уморенная, пробовала посидеть и оставила тут свою лисью заметку.

И спроси теперь, ни за что не скажу, не найду приблизительно даже, где я настиг, наконец-то, гон на малых кругах. Был высокий сосновый бор и потом сразу мелкая густель с большими полянами. Тут везде следы пересекались, иногда на одной полянке по несколько раз. Тут я услышал нажимающий гон: тут он кружил. Тогда моя сказка догадок окончилась, я больше не следопыт, а сам вступаю, как третий и самый страшный, в этот безумный спор двух зверей.

Много насело снежных пушинок на планку моей бескурковки, отираю их пальцем и по ожогу догадываюсь, как сильно крепнет мороз. Из-за маленькой елки я увидел, наконец, как она тихо в густели ельника прошла в косых лучах солнца с раскрытым ртом. Снег от мороза начинает сильно скрипеть, но я теперь этого не боюсь, у нее больше силы не хватит кинуться в бег на большие версты, тут непременно она мне попадется на одном из малых кругов.

Она решилась выйти на поляну и перебежать к моей крайней елочке, язык у нее висел на боку, но глаза по-прежнему были ужасающей злости, скрываясь в своей обыкновенной улыбке. Руки мои совсем ожглись в ожидании, но хоть бы они совсем примерзли к стальным стволам, ей не миновать бы мгновенной гибели! Но Соловей, сокращая путь, вдруг подозрил ее на поляне и бросился. Она встретила его сидя, и белые острые зубы и улыбку свою обернула прямо в его простейшую и страшную пасть. Много раз уж он бывал в таких острых зубах и по неделям лежал. Прямо взять ее он не может и схватит только, если она бросится в бег. Но это не конец. Она еще покажет ему ложную сторону взмахом прекрасного своего хвоста и еще раз нырнет в частый ельник, а там вот-вот и смеркнется.

Он орет. Дышат пасть в пасть. Оба заледенели, заиндевели, и пар их тут же садится кристаллами.

Трудно мне подкрадываться по скрипящему снегу какой, наверно, сильный мороз! Но ей не до слуха теперь: она все острит и острит через улыбку свои острые зубки. Нельзя и Соловью подозревать меня: только заметит и бросится, и что если она ему в горло наметилась?

Но я незаметный смотрю из-за еловой лапки, и от меня до них теперь уже немного.

На боровых высоких соснах скользнул последний луч зимнего солнца, вспыхнули их красные стволы на миг, погасло все рождество и никто не сказал кротким голосом:

— Мир вам, родные, милые звери.

Тогда вдруг, будто сам дед-мороз щелкнул огромным орехом, и это было не тише, чем выстрел в лесу.

Все вдруг смешалось, мелькнул в воздухе прекрасный хвост, и далеко отлетел Соловей в неверную сторону. Вслед за дедом-морозом, точно такой же, только не круглый, а прямой, с перекатом, грянул мой выстрел.

Она сделала вид, будто мертвая, но я видел ее прижатые уши. Соловей бросился. Она впиалась ему в щеку, но я сушиной отвалил ее, и он впиался ей в спину, и валенком я наступил ей на шею и в сердце ударил финским ножом. Она умерла, но зубы так и остались на валенке. Я разжал их стволами.

Всегда стыдно очнуться от безумия погони, подвешивая на спину дряблого зайца. Но эта взятая нами красавица и убитая не отымала охоты, и ее, мертвую, дать бы волю Соловью, он бы еще долго трепал.

И так мы осмеркались в лесу.

Гон

Пришел ко мне Федор из Раменья, промысловый охотник. Раменье недалеко от Москвы, всего несколько часов, и все-таки сохранились тут настоящие промышленники, всю зиму только и занимающиеся охотой на лисиц, зайцев, белок и куниц. Занятые люди, и среди них этот Федор, по мастерству своему башмачник, ему охота, конечно, невыгодна, да вот поди рассуди людей.

Федор прослышал, будто у нас лисиц много развелось, пришел ко мне проведать, привел своих собак, известных в нашем краю, один Соловей, другой называется вроде как бы по-французски — Рестон.

Соловей — великан смешанной породы костромича, борзой, дворняжки — все спуталось, и получилась безобманная промысловая собака лисиц с ним хочешь стреляй, а хочешь — так бери, если только не успеет занориться, непременно загоняет и не изорвет, а сядет против нее и бумкнет, охотник приходит и добывает.

От Соловья выходят щенки, с виду совершенно дворные, но в работе прекрасные, ходят и по зайцам, и по лисицам, и по куницам, забираются в барсучьи ходы и там, под землей глубоко, гонят, как на земле, еле слышно, и кто этого не знает, очень удивительно и почему-то даже смешно.

Федоровская порода известная.

Последний сын Соловья, кобель по второму полю, особенно умен, но вид бери и на цепь сажай двор караулить.

Московские охотники только головами качают:

— Это не собака!

Да так и зовут.

Шарик.

Я сам зову этого лохматого, рыжего, совершенно дворного кобеля Шариком, но не потому, что презираю, как москвичи, федоровскую породу, а просто язык не повертывается назвать такого обыкновенного кобеля Аристомом.

Какие-нибудь тертые егеря барских времен, наверно, сбили Федора на древнегреческое имя, но мужицкий язык оживил мертвое слово. Рестон, и дальше рациональное объяснение: Рестон значит резкий тон, с упрощением — рез-тон.

Ну, вот, под седьмое число октября месяца приходит ко мне Федор, с ним Соловей и этот рыжий Шарик. Наши деревенские охотники все, у кого есть хоть какое-нибудь ружьишко, с вечера объявились и назвали вместе идти. А неохотники всю затею всерьез приняли и просили:

— Волка убейте!

Всем этим охотникам родоначальник сосед мой слесарь Томилин, человек лет за сорок, семья — девять человек, не прокормишь же всех лужением самоваров да починкой ведер, вот он и занялся еще и ружьями, собирает из всякого лома и особенно хвалится своими пружинами.

Изредка я очень люблю эти деревенские охоты, но держусь всегда в стороне, потому что каждую охоту непременно у кого-нибудь разрывает ружье. Да немудрено, простым глазом издали видишь, как сверкают там и тут на стволах заплаты на медном припое. У одного даже и курок на веревочке: взлетает вверх после выстрела и потом висит. Но это им нипочем, и что ружья в цель не попадают — тоже ничего, только бы ахали...

В особенности страшны мне шомполки, заряженные с прошлого года, в начале охоты их обыкновенно всем миром разряжают в воздух, и потом, когда хозяин продувает дым и он, синий, выходит не только в капсулю, а фонтаном во все стороны, все хохочут и говорят:

— Решето! Отдай бабе муку отсевать.

И так сами над собой все потешаются. У нас предмет охоты иногда листопадник-белячок, величиной с крысу, ни к чему не обязывает, а радости охотничьей и хлопот все равно, как и за мамонтом. И так славно бывает, когда на выходе тот охотник со взлетающим курком погрозится в лес тому невиданному мамонту и скажет:

— Вот, погляди, я тебе галифе отобью!

Конечно, если бы настоящий мамонт, непременно бы кто-нибудь сказал:

— Не хвались, как бы тебе галифе не отбил.

Но тут просто:

— Ты лучше гляди, не улетел бы курок...

И какое волнение! Мастер Томилин перед охотой встает часа в два ночи, проверяет погоду. Я это слышу, встаю и ставлю себе самовар.

Три часа ночи.

Мы с Федором чай пьем. Видно напротив, что и Томилин с сыном чай пьют. Разговор у нас о зайце, что хуже нет разыскивать в листопад — очень крепко лежит.

Четыре часа.

Чай продолжается. Разговор о лисице, какая она хитрая. Сотни примеров.

В пять часов решаем вопрос, как лучше всего выгнать дупляную куницу. Решаем: лучше всего лыжей дерево почесать, она подумает — человек лезет, и выскочит.

В окне начинается белая муть рассвета. Охотники все собрались под окном и на лавочке тихо беседуют.

Подымаемся. Среди нас нет ни одного из тех досадных людей, кто вперед перед всяким делом общественным думает про себя, что ничего не выйдет, плетется хило и слегка оживает, когда против ожидания вышло удачно.

И даже эта тяжелая муть рассвета не смущает нас, напротив, едва ли кто-нибудь из нас променял бы это на весенний соловьиный дачный восход.

Только поздней осенью бывает так хорошо, когда после ночного дождя с трудом начинает редеть ночная мгла, и радостно обозначится солнце, и падают везде капли с деревьев, будто каждое дерево умывается.

Тогда шорох в лесу бывает постоянный, и все кажется, будто кто-то сзади подкрадывается. Но будь спокоен, это не враг, и не друг идет, а лесной житель сам по себе проходит на зимнюю спячку.

Змея прошла очень тихо и вяло, видно, ползучий гад убирается под землю. Ей нет никакого дела до меня, чуть движется, шурша осенней листвой.

До чего хорошо пахнет!

Кто-то сказал в стороне два слова. Я подумал, это мне кажется так, слух мой сам дополнил к шелесту умирающей природы два бодрых человеческих слова. Или, может быть, чокнула неугомонная белка? Но скоро опять повторилось, и я оглянулся на охотников.

Они все замерли в ожидании, что вот-вот выскочит заяц из частого ельника.

Где же это и кто сказал?

Или, может быть, это идут женщины за поздними рыжиками и, настороженные лесным шорохом, изредка очень осторожно одна с другой переговариваются.

— Равняй, равняй! — услышал я над собой высоко.

Я понял, что это не люди идут в лесу, а дикие гуси высоко вверху подбодряют друг друга.

Великий показался, наконец, в прогалочке между золотыми березами, гусиный караван, сосчитать бы, но не успеешь. Палочкой я отмерил вверху пятнадцать штук и, переложив ее по всему треугольнику, высчитал всего гусей в караване больше двухсот.

На жировке в частом ельнике изредка раздавалось "бам!" Соловья. Ему там очень трудно разобраться в следах: ночной дождик проник и в густель и сильно подпортил жировку.

Этот густейший молоденький ельник наши охотники называли чемоданом, и все уверены, что заяц теперь в чемодане.

Охотники говорят:

— Листа боится, капли, его теперь не спихнешь.

— Как гвоздем пришило!

— Не так в листе дело и в капели, главное, лежит крепко, потому что начинает белеть, я сам видел: галифе белые, а сам серый.

— Ну, ежели галифе побелели, тогда не спихнешь, его в чемодане, как гвоздями, пришило.

Смолой, как сметаной, облило весь ствол единственной высокой ели над густелью, и весь этот еловый чемодан был засыпан опавшими березовыми листочками, и всё новые и новые падали с тихим шепотом.

Зевнув, один охотник сказал, глядя на засыпанный ельник:

— Комод и комод!

Зевнул и сам мастер Томилин.

С тем ли шли: зевать на охоте!

Мастер Томилин сказал:

— Не помочь ли нам Соловью?

Смерили глазами чемодан, как бы взвешивая свои силы, пролезешь через него или застрянешь.

И вдруг все вскочили, решив помогать Соловью.

И ринулись с криком на чемодан, сверкая на проглянувшем солнышке заплатами чиненых стволов.

Всем командир мастер Томилин врезался в самую серединку, и чем его сильнее там кололо, тем сильнее он орал.

Все орали, шипели, взвизгивали, взлаивали: нигде таких голосов не услышишь больше у человека, и, верно, это осталось от тех времен, когда охотились на мамонта.

Выстрел.

И отчаянный крик:

— Пошел!

Первая, самая трудная часть охоты кончилась, все равно, как если бы фитиль подложили под бочку с порохом, целый час он горел и вдруг, наконец, порох взорвался.

— Пошел!

И каждому надо было в радости и в азарте крикнуть:

— Пошел, пошел!

Уверенный и частый раздался гон Соловья, и после него, подвалив, Шарик ударил, Рестон, действительно, очень резко рез-тон.

Вмиг вся молодежь, как гончие, не разбирая ничего, врассыпную бросается куда-то перехватывать, и с нею мастер Томилин, как молодой — откуда что взялось, — летит, как лось, ломая кусты.

Таким никогда не подстоять зайца, но, может быть, им это и не надо, их счастье — быстро бежать по лесу и гнать, как гончая.

Мы с Федором, старые воробьи, переглянулись, улыбнулись, прислушались к гону и, поняв, куда завертывает заяц, стали: он тут на лесной полянке перед самым входом в чемодан, я немного подальше на развилочке трех зеленых дорог между старым высоким лесом и частым мелятником.

И едва только затих большой, как от лося, треск кустов, ломаемых на бегу сорокалетним охотником, далеко впереди на зеленой дорожке, между большим лесом и частым мелятником, мелькнуло сначала белое галифе, а потом и весь серый обозначился: ковыль-ковыль, прямо на меня. Я смотрел на него с поднятым ружьем через мушку: мамонт был самый маленький белячок из позднышков-листопадников, на одном конце его туловища, совсем еще короткого, были огромные уши, на другом — длинные ноги, такие, что весь он на ходу своим передом то высоко поднимался, то глубоко падал.

На мне была большая ответственность — не допустить листопадника до чемодана и не завязить там опять надолго собак: я должен был убить непременно этого мамонта. И я взял на мушку.

Он сел.

В сидячего я не стреляю, но все равно ему конец неминуемый, побежит на меня — мушка сама станет вниз на передние лапки, прыгнет в сторону — мушка мгновенно перекинется к носику.

Ничто не может спасти бедного мамонта.

И вдруг...

Ближе него из некоей мелятника показывается рыжая голова и как бы седая от сильной росы.

— Шарик?

Я чуть было не убил его, приняв за лисицу, но ведь это же не Шарик, это лисица...

И все это было в одно мгновение, седая от росы голова не успела ни продвинуться, ни спрятаться. Я выстрелил, в некоей заворошилось рыжее, вдали мелькнуло белое галифе.

И тут налетели собаки.

Налетел Федор. С ружьем наперевес, как в атаке, выскочил из лесу на дорожку мастер Томилин и потом все, сверкая заплатами ружей. Сдержанные сворками собаки рвались на лисицу, орали не своим голосом. Орали все охотники, стараясь крикнуть один громче другого, что и он видел промелькнувшую в густели лисицу. Когда собаки успокоились и молодежь умолкла, осталась радость у всех одинаковая, как будто все были один человек.

Федор сказал:

— Шумовая.

Мастер Томилин по-своему тоже:

— Чумовая лисица.

1925 г.

Дружба

— Есть степная поговорка в Казахстане о дружбе: "Если товарищ твой кривой, старайся быть ему под пару". Как вам это нравится? — спросил я своих двух товарищей по охоте.

Замойский кивнул мне сочувственно головой, но Бородин, самый молодой из нас, как это иногда бывает, оказался больше скептиком, чем мы, сильнее потрепанные жизнью.

— Как это ни хорошо звучит, — ответил он, — но пеший конному не товарищ.

И рассказал нам один случай охоты на лыжах.

— Было это, — сказал он, — в Загорске, тоже вот в такую же снежную зиму и под самый конец зимнего охотничьего сезона. В то время, впрочем, не очень давно, в Загорске еще только начиналось строительство заводов, и на том конце города, где строился завод, одновременно складывалась и новая жизнь, а на этом конце в лесу, где жила моя матушка, днем всюду козы паслись и ночью стучала колотушка. Я приехал тогда в отпуск к своей матушке и захватил еще несколько последних охотничьих дней. Приехал я поздно вечером, искать кого-нибудь из знакомых для охоты было уже некогда, в одиночку охотиться как-то не очень люблю. Но делать было нечего, пропускать драгоценный денек не хотел и вышел на дворик свой покормить Трубача.

Редкая погода была для февраля легкий морозец, полная тишина, чистое небо с мерцанием всех звезд, и в полной тишине совсем недалеко от нашего домика ночной сторож шел с колотушкой и так мерно постукивал, что, казалось, в этом же ритме и звезды на небе дышали. Вдали на том же конце города свистели паровозы, гудели электровозы, какой-то шелудивый моторчик шепелявил на третьем такте, и тут вот эти звезды и доисторическая колотушка.

— А что это такое? — спросил я себя.

И с удивлением вспомнил, что в жизни своей я никогда не видал колотушку.

"Скоро колотушки вовсе исчезнут, — подумал я, — и потом я уже их никогда больше не увижу: история никогда уже больше не вернется к колотушкам. Надо посмотреть".

Я вышел за калитку, а сторож как раз тут и проходил возле самого дома. Я подошел к нему, взял у него из рук колотушку, постучал, посмеялся. Сторож тоже смеялся, а когда я заговорил, он тоже одновременно со мной заговорил, и тут оказалось, что я имею дело с глухим человеком.

"И немудрено оглохнуть, — подумалось мне, — если всю ночь напролет каждые сутки проводить с такой колотушкой".

Руками, глазами, ногами даже я старался показать сторожу мой особенный интерес к колотушке, с тем чтобы понять, почему сторож, которому надо бы ловить воров и затаиваться для этого, сам открывает вора место своего пребывания.

И вот вы говорите, что если товарищ кривой, то должно себе глаз поджимать: я ли не старался с этим глухим говорить, как глухой, а он понял, что я не о колотушке спрашиваю, а

приглашаю его завтра идти с собой на охоту. Узнав, однако, что он охотник, я с большой радостью позвал его наутро с собой на охоту, и только просил его сказать мне, каким образом он, глухой, будет мне давать знак о себе: без этого нам двум из-под одной гончей будет трудно охотиться. Он понял меня и спросил:

— А колотушка на что?

Это мне было понятно: колотушка на охоте, как охотничий рог, но для чего колотушка нужна сторожу — это так и осталось мне тайной.

Сторож поклонился мне дружески, пошел вперед и застучал.

Рано утром при первом свете он явился ко мне с ружьем. Километра два мы прошли и Трубач поднял беляка и погнал. Мы, как полагается нескольким охотникам с одной гончей, разбежались в стороны, каждый со своим собственным планом в голове.

Против всякого ожидания гон оказался и при глубоком снеге неплохим. Не так давно была осадка снега, и после того на этот наст снегу навалило не больше как на собачью ногу.

К великому нашему счастью, оказалось, что Трубач сквозь тот засыпанный наст не проваливается и летит, как по первой пороше. К сожалению, белячишко попался умнейший, один из тех, кого охотники зовут «профессорами» или «химиками». Воскресные охотники до того настегают таких зайцев, что с подъема они по прямой линии мчат версты две и потом, когда вернутся, начинают так кружить, что никогда на свой след не приходят, подстоять их почти невозможно, и убивают их только случайно.

Наш заяц с подъему бросился вперед по прямой, а потом нашел себе болото с таким частым ельником, что Трубач мог только еле-еле продираться, но никак не бежать. Кроме того, в этом болоте, как это бывает, вода обмерзла и после куда-то сбежала, получился лед-тощак, белый с узорами, проваливается под ногой, как стекло, с треском. Не было никакой возможности войти в это болото и ловить на кругах зайца-профессора. Приходилось только идти кругом в надежде, что когда-нибудь Трубач вытурит из болота мучителя. Самое лучшее было бы отозвать собаку и найти другой след. Но Трубач, как все замечательные гонцы-мастера, был непозывист и, пока зайца не убьешь, до тех пор с собакой не встретишься и не подзовешь к себе даже стрельбой.

Случилось, наконец, заяц вздумал бежать краешком болота, и я увидел его и взял на мушку, и вот только бы спустить курок, откуда ни возмись Трубач, и чуть его не схватил. Заяц с испугу шархнулся вон из болота, и Трубач с безумным ревом пустился по зрячему.

Теперь начался гон возле глубокого оврага, и так, что заяц ходит по одной стороне, а перелезешь овраг туда, он станет ходить по этой. Особенно плохо было тем, что к вечеру быстро стало морозить, и когда, перелезая овраг, разогреешься, вспотеешь, то потом мороз быстро схватывает и зубы начинают дробь выбивать. Будь бы товарищ мой не глухой, я потрубил бы ему, мы бы сговорились и ждали зайца на той и другой стороне. А вы говорите, что зрячий человек из-за дружбы должен поджимать себе глаз. Я считаю, что это в корне неверно: не поджимать себе глаз или затыкать себе уши хотел я на этой охоте с глухим товарищем, а просто, как лютый зверь, разорвал бы его в то время в клочки. Между тем охота — это такое занятие, что чем больше крепнет мороз, тем сильнее растет в тебе упорство...

В последний раз я решил перелезть овраг и, приступив к этому труднейшему делу, заметил свежий заячий след. Это не был след нашего гонного зайца, это был новый след, и мало того: лапка этого зайца в одном месте пришлась на мою лыжницу. Это значило, что день уже кончался, и спавшие днем зайцы начали вставать. Этот свежий заячий след как будто

выговаривал:

— Спи, спи, человек, ходи, ходи, заяц.

Мне всегда становится жутко, когда зимой в лесу вечереет и зайцы встают. В это время природа как будто говорит:

— Уходи, уходи, человек, гуляй, гуляй, заяц.

Торопясь перебраться через овраг, я нажал на правую лыжу, и вдруг моя лыжа треснула пополам, и правая нога глубоко вместе с поломанной лыжей уткнулась в снег. Я освободил ногу сначала из поломанной лыжи, потом из целой, в надежде, что, может быть, подснежный наст, державший так хорошо Трубача, при моей осторожности выдержит и меня. Но расчет мой бы неверен: подснежный наст легко хрустнул, и я по грудь очутился в снегу. На этом снегу потерять лыжу значило то же самое, что в открытой воде остаться с худым челноком: там зальет вода, здесь заостенит мороз. По такому снегу без лыж полверсты не пройдешь, и выбьешься из сил, и замерзнешь.

В лесу вечереет, а морозное небо разгорается, по минутам нарастает мороз, и деревья начинают трещать и шептать:

— Спи, спи, человек, ходи, ходи, заяц.

Теперь оставалась только одна надежда, что глухой застучит в колотушку и, не дождавшись меня, станет искать: не бросит же он в лесу товарища.

Я осмотрел поломанную лыжу. Причиной поломки оказался один только гвоздик, несколько лет тому назад второпях забитый мною, чтобы прикрепить ремешок. Этот гвоздик от сырости давал постоянно ржавчину, и мало-помалу эта желтая разъедающая дерево жидкость распространялась и ослабляла сопротивление дерева. Пришло время, и на этом месте доска просто треснула насквозь и теперь держалась на тонкой древесной планке... Я попробовал выправить лыжу и стать на свежем снегу, она опять согнулась. Но когда я поставил лыжу в старый след, лыжа держалась. В этом мало было утешения...

Стало быстро смеркаться, и вдруг недалеко от меня, в каких-нибудь ста шагах, раздался резкий стук колотушки. Обрадованный, я закричал во все горло, забывая, что имею дело с глухим человеком. Мой крик оказал обратное действие на поведение товарища: колотушка стала быстро удаляться. В отчаянии я принялся стрелять, и с каждым выстрелом колотушка слышалась все дальше и дальше: это был совершенно глухой человек. Тогда я сообразил, что ведь это охотится со мной ночной сторож, что при наступлении сумерек ему надо спешить на место своей работы, что на сломанной лыже мне догнать его невозможно.

А деревья всерьез начали стрелять, как бывает это только в самый сильный мороз. Мне оставался один только выход — идти своим следом обратно, лазить из оврага в овраг, потом прийти к болоту, ходить вокруг болота и вообще сделать столько же движений, сколько я сделал за весь день. Возможно ли это?

Будь у меня спички, я бы не горевал, я развел бы костер и переночевал бы у костра, но только недавно я бросил курить и спички с собой не захватил...

Мало-помалу наступила такая тьма, что исчезли из глаз в лесу даже следочки зверей. Тьма шептала невидимым зверькам:

— Ходи, ходи, заяц!

Мороз, сам хозяин Мороз начинал мне шептать:

— Спи, спи, человек.

Лыжа по старому следу сама вела меня, я двигался вперед и вдруг уперся возле оврага. Рискнуть скатиться в овраг в темноте было невозможно, лыжа могла зацепиться за куст и совершенно сломаться, если же лезть на ту сторону и потом лезть опять обратно, и опять, и опять...

Я погибал в пяти километрах от города, мне были слышны свистки паровоза, гудки электровоза, и так хорошо знакомый четырехтактный моторчик с пришепетыванием на третьем такте отчетливо вел свою обычную беседу с тишиной, как будто я не погибал, а вышел на свой дворик покормить Трубача.

— Спи, спи, человек!

И вдруг страх гибели проник в мою душу, в мое тело до косточки, и сразу же явился план спасения. Я должен идти без лыж, лезть по снегу, как медведь, до того места, откуда мне слышалась колотушка. Осилю — так, не осилю погибну. Значит, надо осилить: весь я должен собраться теперь в одно это надо.

Мне удалось сделать все, как я замыслил. Лыжи глухого были значительно шире моих, и мои по этому широкому прямому следу пошли, как неполоманные, так вот и пошли, и пошли.

И что-то очень скоро вырос передо мной телеграфный столб, и на дорогу я вышел с такою же радостью, как моряк, потерпевший кораблекрушение, приплывает к берегу.

Этой морозной ночью все звезды собрались над Загорском, и шепелявил моторчик, и колотушка стучала как ни в чем не бывало.

Так Бородин закончил свой рассказ и после того обратился ко мне с нравоучением:

— Нет, не согласен я с вами: если и товарищ кривой, не советую поджимать себе глаз, а с глухим затыкать себе ухо.

— Позволь, мой друг, — сказал полковник Замойский, — ты что же это на глухого обиделся и на кривого, когда сам кругом виноват?

— Я ни в чем не виноват. Что я мог сделать в лесу, когда лыжа сломалась и глухой товарищ бросает тебя?

— А при чем тут глухой? — спросил Замойский. — Ты же сам рассказал, что несколько лет тому назад вбил в лыжу гвоздик и он несколько лет распускал в дереве ржавчину, а ты не обращал на это никакого внимания. Тут все дело не в глухом товарище, а в собственном гвоздике: у тебя не хватило в голове какого-то гвоздика.

И когда мы весело посмеялись над молоденьким лейтенантом, Замойский сказал:

— Нет, я все-таки согласен с казахами: если твой товарищ кривой, старайся поджимать глаз, чтобы стать ему под пару. Кто же понимает вообще пословицы, поговорки, загадки в буквальном смысле слова! Пословица казахов говорит только о дружбе: что дружба через друга

дает глухому уши, слепому глаза. Вот в чем дело!

Я знаю один удивительный случай, когда дружба помогла слепому достигать больше, чем если бы он был зрячим, и глухому действовать, как если бы он обладал тончайшим слухом.

И рассказал нам об одном глухом поваре в Вологде и слепом музыканте. Оба любили до смерти глухариную охоту, требующую особенно тонкого слуха и зрения. Слепой музыкант, как это постоянно бывает со слепыми, обладал чрезвычайно тонким слухом, а глухой повар замечательным зрением. Никто не мог из охотников услышать на току глухаря так далеко, как слепой музыкант, и никто не мог его так скоро оглядеть в полумраке, как глухой повар. И так оба неразлучные друга, глухой и слепой, приносили каждую весну глухарей много больше, чем все обыкновенные охотники.

Лесные загадки

В лесу много было тетеревов: все муравейники были расчесаны их лапами. Но одна кочка выглядела по-иному, в ней было значительное углубление; так тетерева не раскапывают, и я не мог догадаться, какое лесное существо пробило такую глубокую брешь в муравьиной республике.

Очень досадно бывает уходить, не решив лесной загадки, и так это часто бывает: тысячи вопросов ставит природа, а справиться негде, кроме как только в своей собственной голове. Обыкновенно я так и оставляю вопрос без ответа, но запоминаю его и верю, что дождусь когда-нибудь в том же лесу и ответа. Помню, раз стал передо мною в юности вопрос: отчего начинаются болотные кочки? Читал дома книги, и все ответы мне не нравились: причин указывалось множество, а все как-то неясно и предположительно. Раз я сел отдохнуть на лесной вырубке. Вокруг были пни на сыром месте, и между пнями на большом пространстве начался свежий моховой покров, так было красиво: эта моховая зелень была, как будто на солнце, а луна ее освещала. И везде весь этот лунно-зеленый покров был небольшими бугорками. Я подумал: "Вот первое начало кочек!" Однако опять стало непонятно: конечно, по этим началам легко можно было представить дальнейшее нарастание кочек, но где же причина этому началу? Тут сама рука помогла: взял я один бугорок, снял с него моховой покров, а под ним оказалось старое гнилое березовое полено, то полено и было причиной мохового бугорка.

На ходу у меня как-то все больше являются вопросы, а решения приходят на отдыхе. Так случилось и с этой, непонятным образом взрытой муравьиной кочкой. Мне захотелось тут чаю напиться. Отвинтив стаканчик термоса, я сел под сосной на мягкую моховую кочку, налил чаю, стал потихоньку пить, мало-помалу забылся и слился с природой. Темные, теплые дождевые облака закрыли солнце, и тогда вместе со мной все задумалось, и вот какая тишина наступила перед дождем: я услышал очень издали порхание дятла, звук этот все нарастал, нарастал и вот... здравствуйте! — появляется и садится на вершине моей сосны. Подумал он там о чем-то немного, оглянулся во все стороны и так смешно: на меня-то, на такого страшного великана, вниз и не посмотрел. Это я много замечал у птиц, — вертит головой, а под собой не видит. Не только дятлы, а и глухари случалось сидели долго так над головой во время моих лесных чаепитий.

Так дятел не обратил на меня внимания и спустился на тот самый муравейник, о котором был поставлен вопрос, и ответ был у меня на виду: дятел забрался в отверстие муравейника и принялся там воевать, добывая себе какое-то пропитание.

А то был у меня один день этим летом, вот так денек, — столько загадок сразу, что согрешил:

обругал одну ни в чем не повинную бабушку. Вышла у меня в этот день из рук на болоте первопольная моя собака Нерль. Не слушает свистка. Потяжка кончается взлетом бекаса без стойки. Я разгорячился, потерял себя, потому что мне надо было охотиться, а приходилось собаку учить. Делаю промах за промахом и опять спешу к наседающей на бекаса собаке, не успевая даже вынуть из волос своих вечно жужжащую пчелу. Наконец беру собаку к ноге, снимаю шляпу, взъерошиваю волосы, и неприятнейший звук прекращается.

Так освободился от пчелы, стало полегче, и опять захотелось пострелять. Пускаю Нерль в карьер и вижу, шагах в пятидесяти от меня она опять начинает, переступая с лапки на лапку, подбираться к бекасу. Хотел поспешить к ней, чтобы задержать наступление, но сразу обеими ногами попал в коровий растоп. Выбираюсь из грязи и слышу, опять эта же самая надоедливая пчела жужжит у меня в волосах во всю ночь.

— Чирк! — взлетел бекас без стойки.

Не успел вскинуть ружье. А какой был хороший... И вдруг мне послышалось, опять чиркнул бекас, но не взлетел. Так, однако, не бывает. "Чирк!" — сзади другой Обертываюсь, нет никого. Прислушиваюсь. Жужжит пчела в волосах, стрекочет сорока в кустах. Сделал предположение, что от волнения на ходу мне так по-бекасиному сорочий крик переиначивается. Но вдруг — чирк! — а сорока сама собой. Вот тут-то я и дошел до того, что обругал одну бабушку, которая при встрече вместо обычного "ни пера, ни пуха" от всего своего чистого сердца пожелала: "Пошли тебе, господи, полную сумку набить!"

Измученный вошел я в лес на суходол, сел на заготовленные кем-то жерди, снял шляпу, хорошо перебрал свои волосы, пчелы не было, звук перестал. Мало-помалу силы мои стали возвращаться, и вместе с тем явилась моя обычная уверенность, что догадкой можно преодолеть всякую неприятность с собакой. Необходимость таких догадок вытекает, как я думаю, из неповторимости в природе индивидуумов; каждый человек, каждое животное хоть чем-нибудь да отличаются между собой, а значит, невозможно для всех случаев найти общее правило и приходится непременно догадываться самому.

Пока я предавался таким размышлениям, Нерль тихонько встала, что-то причуяла на земле, робко взглянула на меня, сделала небольшой кружок, потом побольше. Я сказал ей тихонько, намекая на приказание лежать: "Что сказано?"

Она стала приближаться, но не сразу, а тоже кругами, не дошла, опять удалилась, и опять я сказал: "Что сказано?"

При этом я заметил, что Нерль, сдержанная в поиске, старалась как можно выше задрать нос и так заменяла невозможное для нее теперь копоройство потяжкой по воздуху. В этот момент у меня мелькнула догадка. Я встаю, иду вперед, и как только Нерль отходит от меня дальше десяти шагов, говорю ей тихонько: "Что сказано?" Так мы подходим к кусту. Она останавливается. Я повторяю. "Что сказано?" — и держу ее долго на стойке. Потом вылетает черныш.

Конечно, я спешу опять на болото и сдерживаю поиск, дальше десяти шагов ей идти не разрешается, а потому она и поднимает голову вверх, чтобы причуять по воздуху. Вот прихватила, подбирается.

— Что сказано?

Останавливается, выше, выше поднимает нос, втягивает воздух, замирает, по ошибке лапу поджала сначала заднюю — не понравилось, поджала переднюю, и с этой лапы стала капать в

лужу вода...

Я убил этого бекаса, потом убил другого и третьего, догадкой и упрямством мало-помалу снимая «колдовство» столь незаслуженно обруганной мной бабушки. И когда дошло до пчелы, которая продолжала жужжать, я догадался: пчела не в волосах была, а попала в шляпу за ленту. И последнее, — бекасиное «чирк», это было у меня что-то в носу, как в топком болоте, сильно потянешь в себя дыхание, так и чиркнет в носу совершенно по-бекасиному.

Птичий сон

Замерли от холода все пауки. Сети их сбило ветром и дождями. Но самые лучшие сети, на которые пауки не пожалели лучшего своего материала, остались невредимы в дни осеннего ненастья и продолжали ловить все, что только способно было двигаться в воздухе. Летали теперь только листья, и так попался в паутину очень нарядный, багровый, с каплями росы осиновый лист. Ветер качал его в невидимом гамаке. На мгновение выглянуло солнце, сверкнули алмазами капли росы на листе. Это мне бросилось в глаза и напомнило, что в эту осень мне, старому охотнику, непременно нужно познакомиться с жизнью глухарей в то время, как их самым большим лакомством становится осиновый лист и, как не раз приходилось слышать и читать, будто бы приблизительно за час до заката они прилетают на осины, клюют дотемна, засыпают на дереве и утром тоже немного клюют.

Я нашел их неожиданно возле маленькой вырубki в большом лесу. При переходе через ручей у меня чавкнул сапог, и оттого с осины над самой моей головой слетела глухарка. Эта высокая осина стояла на самом краю вырубki среди бора, и их тут было немало вместе с березами. Спор с соснами и елями за свет заставил подняться их очень высоко. В нескольких шагах от края вырубki была лесная дорожка, разъезженная, черная, но там, где стояла осина, листва ее лежала на черное ярким, далеко видимым бледно-желтым пятном; по этим пятнам было очень неудобно скрадывать, потому что глухари ведь должны быть теперь только на осинах. Вырубка была совсем свежая, последней зимы, поленицы дров за лето потемнели и погрузились в молодую осиновую поросль с обычной яркой и очень крупной листвой. На старых же осинах листья почти совсем пожелтели. Я крался очень осторожно по дорожке от осины к осине. Шел мелкий дождь, и дул легкий ветер, листья осины трепетали, шелестели, капли тоже всюду тукали, и оттого невозможно было расслышать звук срываемых глухарями листьев.

Вдруг на вырубке из молодого осинника поднялся глухарь и сел на крайнюю осину по ту сторону вырубki, в двухстах шагах от меня. Я долго следил за ним, как он часто щиплет листья и быстро их проглатывает. Случалось, когда ветер дунет порывом, и вдруг все смолкнет, до меня долетал звук отрыва или разрыва листа глухарем. Я познакомился с этим звуком в лесу. Когда глухарь ощипал сук настолько, что ему нельзя было дотянуться до хороших листьев, он попробовал прыгнуть на ветку пониже, но она была слишком тонка и согнулась, и глухарь поехал ниже, крыльями удерживая себя от падения. Вскоре я услышал такой же сильный треск и шум на моей стороне, а потом еще, и понял, что везде вокруг меня наверху в осинах, спрятанных в хвойном лесу, сидят глухари. Я понял, что днем все они гуляли по вырубке, ловили насекомых, глотали камешки, а на ночь поднялись на осины, чтобы перед сном полакомиться своим любимым листом.

Мало-помалу, как почти всегда у нас, западный ветер перед закатом стал затихать. Солнце вдруг все, со всеми своими лучами, бросилось в лес. Я продолжил ладонями свои ушные раковины и среди легкого трепета осиновых листьев расслышал звук отрыва листа, более глухой и резкий, чем гулкое падение капель. Тогда я осторожно поднялся и начал скрадывать. Это было не под весеннюю песню скакать, когда глухарь ничего не слышит, поручая всего себя песне, направляемой куда-то в зенит. Особенно же трудно было перейти одну большую лужу,

подостланную как будто густо осиновым листом, на самом же деле очень тинистую и топкую. Ступню нужно было выпрямлять в одну линию с ногой, как это у балерин, чтобы при вынимании грязь не чавкнула. И когда вынешь тихо ногу из грязи и капнет с нее в воду, кажется ужасно как громко. Между тем вот мышонок бежит под листвой, и она разваливается после него, как борозда, с таким шумом, что если бы мне так, глухарь давно бы улетел. Верно, звук этот ему привычный, он знает, что мышь бежит, и не обращает внимания. И если сучок треснет под ногой у лисицы, то, наверное, он будет знать наверху, что это по своим делам крадется безопасная ему лисица. Но мало ли что не придет в голову человеку, чего-чего ему только не вздумается, и оттого все его шумы резко врываются в общую жизнь.

Однако страсть рождает неслыханное терпение, и, будь бы время, вполне бы возможным было достигнуть кошачьих движений, но срок поставлен, солнце село, еще немного, и стрелять нельзя. У меня сомнения не оставалось нисколько в том, что мой глухарь сидит с той стороны стоящей передо мной осины. Но обойти ее я бы не решился и все равно не успел бы. Что же делать? Было во всей желтой кроне осины только одно узенькое окошечко на ту сторону в светлое небо, и вот это окошечко теперь то закроется, то откроется. Я понял, — это глухарь клюет, и это его голова закрывает, видна даже бородачка этой глухариной головы.

Мало кто умеет, как я, стрельнуть в самое мгновение первого понимания дела. Но как раз в это мгновение произошла перегрузка на невидимый сучок под ногой, он треснул, окошко открылось... И потом еще хуже — почувяв опасность, глухарь стал хрюкать, вроде как бы ругаться на меня. А еще было: другой ближайший глухарь как раз в это время съехал с ветки и открылся мне совершенно. По дальности расстояния не мог я стрельнуть в него, но также не мог и сдвинуться с места: он бы непременно увидел. Я замер на одной ноге, другая, ступившая на сучок, осталась почти без опоры. А тут какие-то другие глухари прилетели ночевать и стали рассаживаться вокруг. Один из них стал цокать и ронять с высокой осины веточки, те самые, наискось срезанные, по которым мы безошибочно узнаем ночевку глухарей. Мало-помалу мой глухарь, однако, успокоился. По всей вероятности, он сидел с вытянутой шеей и посматривал в разные стороны. Скоро внизу у нас с мышонком, который все еще шелестел, стало совершенно темно. Исчез во мраке видимый мне глухарь. Полагаю, что все глухари уснули, спрятав под крылья свои бородастые головы. Тогда я поднял онемелую ногу, повернулся и с блаженством прислонил усталую спину к тому самому дереву, на котором спал теперь безмятежно потревоженный мною глухарь.

Нет слов передать, каким становится бор в темноте, когда знаешь, что у тебя над головой сидят, спят громадные птицы, последние реликты эпохи крупных существ. И спят-то не совсем даже спокойно, там шевельнулся, там почесался, там цокнул... Одному мне ночью не только не было страшно и жутко, напротив, как будто к годовому празднику в гости приехал к родне. Только вот что: очень сыро было и холодно, а то бы тут же вместе с глухарями блаженно уснул. Вблизи где-то была лужа, и, вероятно, это туда с высоты огромных деревьев поочередно сучья роняли капли, высокие сучья были и низкие, большие капли были и малые. Когда я проникся этими звуками и понял их, то все стало музыкой прекраснейшей взамен той хорошей обыкновенной, которой когда-то я наслаждался. И вот, когда в диком лесу все ночное расположилось по мелодии капель, вдруг послышался ни с чем не сообразный храп...

Это вышло не из страха, что-то ни с чем не сообразное ворвалось в мой великий концерт, и я поспешил уйти из дикого леса, где кто-то безобразно храпит.

Когда я проходил по деревне, то везде храпели люди, животные, все было слышно на улице, на все это я обращал внимание после того лесного храпа. Дома у нас в кладовке диким храпом заливался Сережа, хозяйский сын, в чулане же Домна Ивановна со всей семьей. Но самое странное я услышал среди храпа крупных животных на дворе тончайший храп еще каких-то

существ и открыл при свете электрического фонарика, что это гуси и куры храпели...

И даже во сне я не избавился от храпа. Мне, как это бывает иногда во сне, вспомнилось такое, что, казалось бы, никогда не вернется на свет. В эту ночь вернулись все мои старые птичьи сны...

И вдруг понял, что ведь это в лесу не кто другой, а глухарь храпел, и непременно же он! Я вскочил, поставил себе самовар, напился чаю, взял ружье и отправился в лес на старое место. К тому же самому дереву я прислонился спиной и замер в ожидании рассвета. Теперь, после кур, гусей, мой слух разбирал отчетливо не только храп сидящего надо мной глухаря, но даже и соседнего.

Когда известная вестница зари пикнула и стало белеть, храп прекратился. Открылось и окошечко в моей осинке, но голова не показывалась. Вставало безоблачное утро, и очень быстро светлело. Соседний глухарь шевельнулся и тем открыл себя: я видел его всего хорошо. Он, проснувшись, голову свою на длинной шее бросил, как кулак, в одну сторону, в другую, потом вдруг раскрыл весь хвост веером, как на току. Я слышал от людей об осенних токах и подумал, не запоет ли он. Но нет, хвост собрался, опустился, и глухарь очень часто стал доставать листы. В это самое время, вероятно, мой глухарь начал рвать, потому что вдруг я увидел в окошке его голову с бородкой.

Он был так отлично убит, что внизу совсем даже и не шевельнулся, только лапами мог впиться крепко в кору осины, — вот и все! А стронутые им листья еще долго слетали. Теперь, раздумывая о храпе, я полагаю, что это дыхание большой птицы, выходящее из-под крыла, треплет звучно каким-нибудь перышком. А, впрочем, верно я даже не знаю, спят ли действительно глухари непременно с запрятанной под крылом головой. Я это с домашних птиц беру. Догадок и басен много, а действительная жизнь леса так еще мало понятна.

Двойной выстрел

Ночью была метель, я несколько раз выходил на двор — все метет и метет. Казалось, назавтра никак нельзя думать о волчьей облаве. Но случилось так, что матерая пара волков задержалась до света на приваде. Их кто-то подшумел на темнотозорьке, они вышли на озеро и сели в раздумье, куда им идти. Начальник нашей волчьей команды, великан Федя, с своим помощником, кассиром из казначейства, Дмитрием Николаевичем, подсмотрели их, сели в кусты, и, когда волки тронулись в нежеланную сторону, выскочили, поднажали и так вогнали в наш лес. Сытые волки недолго шли и улеглись недалеко от села, за коровьим кладбищем.

Хаживал я с Федей в оклад по глубокому снегу. В спешке за его шагом убьешься до того, что свалишься и, как собака, хватаешь ртом снег и видишь, как пар валит от себя, а великан подойдет и, упрекнув в малодушии, еще лыжей поддаст. Больше я не хожу с ним в оклад и прямо являюсь на номер стрелком.

Я никак не думал в этот день об охоте, и вдруг за мной приезжают.

— Волки зафлажены!

Это значит, по окладу развешаны флаги, и волки сидят в роковом кругу, дожидаясь стрелков. Если охотнику скажут "волки зафлажены", то он бросает все и спешит без памяти потому, что день очень короткий. Лошадей нигде не было, все возят лес, приехал за мной мальчик на жеребенке и почти что на салазках. Но мы едем скоро и на жеребенке, пока встречный обоз не обрушивает нас в снежное море, и мы там, пропуская подводу, считаем ее за долгую версту.

Пропустив обоз, попадаем на другой и опять версты считаем. А день заметно бежит под уклон. Это одно из самых главных препятствий на волчьих охотах — короткий день, из-за этого часто не удастся облава. Но мы в селе при хорошем свете, остается только верста до болота без встречных обозов.

И вот в селе при такой-то нашей спешке хозяин жеребенка велит нам:

— Слезайте!

— Как?

— Рядились до села.

Так постоянно бывает в борьбе с "серыми помещиками", что зимой, когда стада на дворе, крестьяне охотнику ставят палки в колеса, а когда волка убить невозможно, летом, и он ежедневно режет скотину, все вопят о помощи. Мы к этому привыкли и спокойно набавляем хозяину жеребенка рубль, два, три. Когда волк будет убит, расплачиваться будет Федя лыжей по задку, а вокруг будут смеяться и приговаривать: "Наддай, наддай еще, Федя, ему, подлецу".

Через минуту мы освобождаемся от хозяина и катим без задержки. На развалине лесных дорог нас дожидается человек и машет рукой. Мы оставляем сани, подходим, он шепчет:

— Скорей, скорей, ждут!

Курить уже больше нельзя. А чтобы не кашлять, как это всегда бывает, если оборвешь курево, — в рот кусок сахара. В других богатых командах за кашель полагается штраф, но у нас ни с кого ничего не возьмешь, у нас и так все боятся, потому что за кашель Федя побьет: штраф у нас натуральный.

Второпях мы лыжи забыли, а спешить по глубокому снегу — значит в несколько минут запыхаться, и сердце так бьется, что в лесу отчетливо слышится эхо от его ударов, а в ушах звенят колокольчики.

Юноша мой, завидев первые флаги, пускается бежать. И трудно не взволноваться при виде этих следов таинственного лесного дела. А Федины флаги необыкновенные: правильные, разноцветные, так что будто это фонарики.

Мы с версту идем по линии флагов, пересекаем входные волчьи прыжки и тут видим молчуна. Его дело молчать и слушать кричан, и если волки сюда бросятся, — нажать и послать на стрелков, потому что, испуганные, иногда они могут перескочить через флаги. Молчун может иметь удовольствие не меньше, чем и стрелок: нажмет, и вслед за тем послышится выстрел.

Флаги кончаются. Мы подошли к тем роковым для волков воротам, через которые они должны проходить. Тут у ворот выкопал себе в снегу яму кассир казначейства, Дмитрий Николаевич, обставил елками, и над засадой видна только его шапка, повязанная белым платком. Через сто шагов такая же засада у Феде. Великан подымается, снимает и для нас флаги, из кожаного футляра вынимает пилку и в один миг из елочек делает новые засады для нас. Мне кажется, что и пилку эту он сделал собственными руками, чтобы пилила бесшумно, и лыжи такие только у него, сам делал, сам пропитал их каким-то снадобьем, чтобы в оттепель не прилипал снег. Он знает сотню ремесел, и говорят даже, когда-то в прежние годы своими руками сделал магазин, раздал в долг товары охотникам и прогорел навсегда.

Волки сделаны отлично, но загонщики пошли без ерша, значит, без руководителя.

Обыкновенно ершом бывает сам Федя, но в этот раз он не надеялся, что мы успеем приехать, и сам стал на номер. До его слуха сразу дошло, что загонщики пошли дуром, и как же, наверно, чешутся у него руки на них! Слева от меня стоит мой юноша, и я за него очень побаиваюсь. В одиночку можно прекрасно стрелять бекасов, а на людях иногда труднее в волка попасть. Бывает, волк проходит на шестьдесят шагов, — девяносто процентов, что положишь его, но этот волк идет так, что, если удержишься от выстрела, он к соседу придет и на десять шагов; значит, надо овладеть собой и удержаться. Бывает, выходит один волк и в пята ему наступает другой, надо пропустить первого, стрелять второго и, когда первый от этого замешается, бить и его. А неопытный ударит первого и тогда второго ему не видать. Таких случаев множество.

Передо мною стожар, левее елка, по одну сторону ее стоит мой юноша, по другую идет волк на махах. Волк миновал ель и, как бы ослепленный поляной, на мгновение останавливается: задние ноги глубоко в снегу, передние не провалились. Странный цвет у волка на снегу, не серый, нет... И вдруг он весь проваливается в снег, пробует подняться, еще выстрел, и он совсем исчезает в снегу, а я так и остаюсь с вопросом, какой у него живого на снегу был цвет.

Убита матерая волчица так чисто, что не успела даже снега примять, как живая положила морду на передние лапы, уши торчат.

— Чисто убита, — говорит Федя, довольный прекрасным выстрелом. — Только зачем же ты еще раз стрелял?

Юноша молчит, но это известно почему: за упущенного волка штраф в нашей команде тоже бывает натурой, так уж лучше для верности еще раз стрельнуть в мертвого.

Волчица была неопределенного цвета, серое с желтым, но это совсем не то, что мне показалось, когда она так гордо стояла живая на снегу; потихоньку я спросил юношу, какой она ему показалась, когда стала против стожара.

— Зеленая, — ответил юноша.

Два парня, выдернув стожарину, продевают через связанные ноги волка и несут его совершенно так же, как на картинках убитых львов носят в Центральной Африке. Федя устраивает волка в саях так, что при малейшем повороте встречная лошадь, увидев страшную голову зверя, бросалась бы в снег и так без спора освобождала дорогу борцу с "серыми помещиками".

1925 г.

Птицы под снегом

У рябчика в снегу два спасения: первое — это под снегом тепло ночевать, а второе — снег тащит с собой на землю с деревьев разные семечки на пищу рябчику. Под снегом рябчик ищет семечки, делает там ходы и окошечки вверх для воздуха. Идешь иногда в лесу на лыжах, смотришь — показалась головка и спряталась: это рябчик. Даже и не два, а три спасения рябчику под снегом: и тепло, и пища, и спрятаться можно от ястреба.

Тетерев под снегом не бегают, ему бы только спрятаться от непогоды. Ходов больших, как у рябчика под снегом, у тетеревов не бывает, но устройство квартиры тоже аккуратное назади отхожее место, впереди дырочка над головой для воздуха.

Серая куропатка у нас не любит зарываться в снег и летает ночевать в деревню на гумна. Перебудет куропатка в деревне ночь с мужиками и утром летит кормиться на то же самое

место. Куропатка, по моим приметам, или дикость свою потеряла, или же от природы неумная. Ястреб замечает ее перелеты, и, бывает, она только вылетать собирается, а ястреб уже дожидается ее на дереве.

Тетерев, я считаю, много умнее куропатки. Раз было со мной в лесу: иду я на лыжах, день красный, хороший мороз. Открывается передо мной большая поляна, на поляне высокие березы, и на березах тетерева кормятся почками. Долго я любовался, но вдруг все тетерева бросились вниз и зарылись в снег под березами. В тот же миг является ястреб, ударился на то место, где зарылись тетерева, и заходил. Ну, вот, прямо же над самыми тетеревами ходит, а догадаться не может копнуть ногой и схватить. Мне это было очень любопытно, думаю: "Ежели он ходит, значит — их чувствует под собой, и ум у ястреба велик, а такого нет, чтобы догадаться и копнуть лапой на какой-нибудь вершок-два в снегу, значит, это ему не дано".

Ходит и ходит.

Захотелось мне помочь тетеревам, и стал я скрадывать ястреба. Снег мягкий, лыжа не шумит, но только начал я объезжать кустами поляну, вдруг провалился в можуху^[8] по самое ухо. Вылезал я из провалища, конечно, уж не без шума и думал: "Ястреб это услышал и улетел". Выбрался, и о ястребе уж и не думаю, а когда поляну объехал и выглянул из-под дерева — ястреб прямо передо мной на короткий выстрел ходит у тетеревов над головами. Я выстрелил, он лег. А тетерева до того напуганы ястребом, что и выстрела не испугались. Подошел я к ним, шарахнул лыжей, и они из-под снега один за другим как начнут, как начнут вылетать, кто никогда не видал — обомрет.

Я много всего в лесу насмотрелся, мне все это просто, но все-таки дивлюсь на ястреба: такой умнейший, а на этом месте оказался таким дураком. Но всех дурашливей я считаю куропатку. Избаловалась она между людьми на гумнах, нет у нее, как у тетерева, чтобы, завидев ястреба, со всего маху броситься в снег. Куропатка от ястреба только голову спрячет в снег, а хвост весь на виду. Ястреб берет ее за хвост и тащит, как повар на сковороде.

Болото

Знаю, мало кто сиживал раннею весною на болотах в ожидании тетеревиного тока, и мало слов у меня, чтобы хоть намекнуть на все великолепие птичьего концерта в болотах перед восходом солнца. Часто я замечал, что первую ноту в этом концерте, далеко еще до самого первого намека на свет, берет кроншнеп. Это очень тонкая трель, совершенно не похожая на всем известный свист. После, когда закричат белые куропатки, зачуфыкают тетерева и токовик, иногда возле самого шалаша, заведет свое бормотанье, тут уж бывает не до кроншнепа, но потом при восходе солнца в самый торжественный момент непременно обратишь внимание на новую песню кроншнепа, очень веселую и похожую на плясовую: эта плясовая так же необходима для встречи солнца, как журавлиный крик.

Раз я видел из шалаша, как среди черной петушиной массы устроился на кочке серый кроншнеп, самка; к ней прилетел самец и, поддерживая себя в воздухе взмахами своих больших крыльев, ногами касался спины самки и пел свою плясовую. Тут, конечно, весь воздух дрожал от пения всех болотных птиц, и, помню, лужа при полном безветрии вся волновалась от множества пробудившихся в ней насекомых.

Вид очень длинного и кривого клюва кроншнепа всегда переносит мое воображение в давно прошедшее время, когда не было еще на земле человека. Да и все в болотах так странно, болота мало изучены, совсем не тронуты художниками, в них всегда себя чувствуешь так, будто человек на земле еще и не начинался.

Как-то вечером я вышел в болота промять собак. Очень парило после дождя перед новым дождем. Собаки, высунув языки, бегали и время от времени ложились, как свиньи, брюхом в болотные лужи. Видно, молодежь еще не вывелась и не выбиралась из крепей на открытое место, и в наших местах, переполненных болотной дичью, теперь собаки не могли ничего причуять и на безделье волновались даже от пролетающих ворон. Вдруг показалась большая птица, стала тревожно кричать и описывать вокруг нас большие круги. Прилетел и другой кроншнеп и тоже стал с криком кружиться, третий, очевидно, из другой семьи, пересек круг этих двух, успокоился и скрылся. Мне нужно было в свою коллекцию достать яйцо кроншнепа, и, рассчитывая, что круги птиц непременно будут уменьшаться, если я буду приближаться к гнезду, и увеличиваться, если удаляться, я стал, как в игре с завязанными глазами, по звукам бродить по болоту. Так мало-помалу, когда низкое солнце стало огромным и красным в теплых, обильных болотных испарениях, я почувствовал близость гнезда: птицы нестерпимо кричали и носились так близко от меня, что на красном солнце я видел ясно их длинные, кривые, раскрытые для постоянного тревожного крика носы. Наконец, обе собаки, схватив верхним чутьем, сделали стойку. Я зашел в направлении их глаз и носов и увидел прямо на желтой сухой полоске мха, возле крошечного кустика, без всяких приспособлений и прикрытия лежащие два большие яйца. Велев собакам лежать, я с радостью оглянулся вокруг себя, комарики сильно покусывали, но я к ним привык.

Как хорошо мне было в неприступных болотах и какими далекими сроками земли веяло от этих больших птиц с длинными кривыми носами, на гнутых крыльях пересекающих диск красного солнца!

Я уже хотел было наклониться к земле, чтобы взять себе одно из этих больших прекрасных яиц, как вдруг заметил, что вдали по болоту, прямо на меня шел человек. У него не было ни ружья, ни собаки и даже палки в руке, никому никуда отсюда пути не было, и людей таких я не знал, чтобы тоже, как я, могли под роем комаров с наслаждением бродить по болоту. Мне было так же неприятно, как если бы, причесываясь перед зеркалом и сделав при этом какую-нибудь особенную рожу, вдруг заметил в зеркале чей-то чужой изучающий глаз. Я даже отошел от гнезда в сторону и не взял яйца, чтобы человек этот своими расспросами не спугнул мне, я это чувствовал, дорогую минуту бытия. Я велел собакам встать и повел их на горбинку. Там я сел на серый, до того сверху покрытый желтыми лишайниками камень, что и селось нехолодно. Птицы, как только я отошел, увеличили свои круги, но следить за ними с радостью больше я не мог. В душе родилась тревога от приближения незнакомого человека. Я уже мог разглядеть его: пожилой, очень худощавый, шел медленно, наблюдая внимательно полет птиц. Мне стало легче, когда я заметил, что он изменил направление и пошел к другой горюшке, где и сел на камень, и тоже окаменел. Мне даже стало приятно, что там сидит такой же, как я, человек, благоговейно внимающий вечеру. Казалось, мы без всяких слов отлично понимали друг друга, и для этого не было слов. С удвоенным вниманием смотрел я, как птицы пересекают красный солнечный диск; странно располагались при этом мои мысли о сроках земли и о такой коротенькой истории человечества; как, правда, все скоро прошло.

Солнце закатилось. Я оглянулся на своего товарища, но его уже не было. Птицы успокоились, очевидно, сели на гнезда. Тогда, велев собакам, крадучись, идти назад, я стал неслышными шагами подходить к гнезду: не удастся ли, думал я, увидеть вплотную интересных птиц. По кусту я точно знал, где гнездо, и очень удивлялся, как близко подпускают меня птицы. Наконец, я подобрался к самому кусту и замер от удивления: за кустом все было пусто. Я тронул мох ладонью: он был еще теплый от лежавших на нем теплых яиц.

Я только посмотрел на яйца, и птицы, боясь человеческого глаза, поспешили их спрятать подальше.

Разговор птиц и зверей

Занятна охота на лисиц с флагами. Обойдут лисицу, узнают ее лежку и по кустам на версту, на две вокруг спящей развешат веревку с кумачовыми флагами. Лисица очень боится цветных флагов и запаха кумача, спугнутая ищет выхода из страшного круга. Выход ей оставляют, и около этого места под прикрытием елочки ждет ее охотник.

Такая охота с флагами много добычливей, чем с гончими собаками. А эта зима была такая снежная, с таким рыхлым снегом, что собака тонула вся по уши и гонять лисиц с собакой стало невозможно. Однажды, измучив себя и собаку, я сказал егерю Михал Михалычу:

— Бросим собак, заведем флаги, ведь с флагами можно каждую лисицу убить.

— Как это каждую? — спросил Михал Михалыч.

— Так просто, — ответил я. — После пороши возьмем свежий след, обойдем, затайдем круг флагами, и лисица наша.

— Это было в прежнее время, — сказал егерь, — бывало, лисица суток трое сидит и не смеет выйти за флаги. Что лисица! Волки сидели по двое суток. Теперь звери стали умнее, часто с гону прямо под флаги, и прощай.

— Я понимаю, — ответил я, — что звери матерые, не раз уже бывшие в переделке, поумнели и уходят под флаги, но ведь таких сравнительно немного, большинство, особенно молодежь, флагов и не видывали.

— Не видывали! Им и видеть не нужно. У них есть разговор.

— Какой такой разговор?

— Обыкновенный разговор. Бывает, ставишь капкан, зверь старый, умный побывает возле, не понравится ему, и отойдет. А другие потом и далеко не подойдут. Ну вот, скажи, как же они узнают?

— А как ты думаешь?

— Я думаю, — ответил Михал Михалыч, — звери читают.

— Читают?

— Ну да, носом читают. Это можно и по собакам заметить. Известно, как они везде на столбиках, на кустиках оставляют свои заметки, другие потом идут и все разбирают. Так лисица, волк постоянно читают; у нас глаза, у них нос. Второе у зверей и птиц я считаю голос... Летит ворон и кричит. Нам хоть бы что. А лисичка наострила ушки в кустах, спешит в поле. Ворон летит и кричит наверху, а внизу по крику ворона во весь дух мчится лисица. Ворон спускается на пададь, а лисица уж тут как тут. Да что лисица, а разве не случалось тебе о чем-нибудь догадываться по сорочьему крику?

Мне, конечно, как всякому охотнику, приходилось пользоваться чекотанием сороки, но Михал Михалыч рассказал особенный случай. Раз у него на заячьем гону скололись собаки. Заяц вдруг будто провалился сквозь землю. Тогда, совсем в другой стороне, зачекотала сорока. Егерь, крадучись, идет к сороке, чтобы она его не заметила. А это было зимой, когда все зайцы уже побелели, только снег весь растаял, и белые на земле стали далеко заметны.

Егерь глянул под дерево, на котором чекотала сорока, и видит: белый просто лежит на зеленом мошку, и глазенки черные, как две бобины, глядят.

Сорока выдала зайца, но она и человека выдает зайцу и всякому зверю, только бы кого ей первого заметить.

— А знаешь, — сказал Михал Михалыч, — есть маленькая желтая болотная овсянка. Когдаходишь в болото за утками, начинаешь тихонько скрадывать, вдруг откуда ни возмись эта самая желтая птичка садится на тростинку впереди тебя, качается на ней и попискивает. Идешь дальше, и она перелетает на другую тростинку и все пищит и пищит. Это она дает знать всему болотному населению; глядишь — там утка не в меру вылетела, а там журавли замахали крыльями, там стали вырываться бекасы. И все это она, все она. Так по-разному сказывают птицы, а звери больше читают следы.

Рябчики

Три лесные птицы, очень близкие между собой родственники, совсем по-разному ведут себя, когда к их заповедным лесам приближается человек со своими полями. Глухарь, как старOVER, не переносит близости человека, уходит все дальше и дальше в глушь. Спасти его от исчезновения на земле можно только охраной заповедников. Тетерев, наоборот, так прилаживается к хозяйству человека, что из лесного становится полевым и пасется во ржи, в овсе, в гречихе. А рябчик прячется, оставаясь на прежних местах, и, ничем не поступаясь, никуда не уходит, но и с полей ничего не берет. И пусть не глухие леса, а только кустарники останутся, он так и в мелком лесу спрячется, что никак его не возьмешь. Очень редко случается, рябчик выдержит стойку собаки и даст охотнику подойти на выстрел. Обыкновенно ведет, ведет собака, и вдруг где-то в кустах: "пр... пр... пр!" — порхнет. Недалеко и отлетит, растянется где-нибудь по сучку в густой елке, и ты его никак не заметишь, а он смотрит на тебя, выжидает и, когда подойдешь совсем близко, опять свое "пр... пр... пр!" только и слышишь.

Рябчик остается чисто лесной птицей, как глухари; там, где есть глухари, обыкновенно водятся и рябчики, хоть обратно нельзя сказать: часто бывает рябчиков множество, а глухари уже давно перекочевали в более глухие леса.

Раз мы пошли на глухаринные выводки. Собака скоро причуяла след и повела. Долго мы за ней ходили. Когда она останавливалась, с разных сторон обходили куст, чтобы не тому, так другому птица показалась и можно бы в нее было стрелнуть. В глухом лесу, в густых можжевельниках и кочках, волнуясь от всякого шороха, перекликаясь тихонько, чтобы знать, где товарищ, и не стрелнуть в его сторону, мы скоро измучились. Собака же вдруг, бросив подводу, стала носиться в разные стороны, спрашивая лес всеми способами, куда птицы пропали. И мы тоже думали о глухарях, что, вероятно, скот забрался сюда и перепугнул, а то, может быть, на поляне сверху их оглядел ястреб, бросился, разогнал и остались только следы, по которым напрасно мы бродим. Так мы думали о глухарях, а это были рябчики. Заслышав далеко наше приближение, они вспорхнули на елки и, когда мы ходили внизу по следам, принимая их за глухаринные, смотрели на нас сверху все время.

Зайцы-профессора

В нашем городе множество охотников с гончими. С первого же дня разрешения охоты на зайцев поднимается великий гон, и через месяц, когда только и начинается интересное время охоты по чернотропу в золотых лесах, у нас верст на десять вокруг города нет ничего. При первой пороше, однако, вдруг появляются всюду следы, и кажется, вместе со снегом выпадают

и белые зайцы. Откуда они берутся, я вам скажу.

У наших охотников разве только у десятого есть опытная, увязчивая собака, а девять только учат своих молодых собак или бьются всю жизнь с глупыми. Пока собаки учатся, зайцы тоже не дремлют и проходят высшую школу обмана.

Никогда не забуду одного случая, который остается в моей памяти как пример крайней наивности первых молоденьких зайцев, бегущих правильным кругом на лежку. Однажды приехал гость из Москвы и просил меня показать ему, как надо подстаивать беляков. Мы пошли в лес, подняли зайца. Я указал гостю на след и велел ему дожидаться. Гость мой вычертил на указанном месте крестик, отошел шагов на тридцать, положил ружье на сучок, навел на крестик и стал дожидаться. Подсмеиваясь, отошел я, уверенный, что гостю зайца никак не убить. И вдруг через несколько минут раздается выстрел и ликующий крик. Заяц был убит как раз на крестике. Так бывают глупы эти первые молоденькие зайцы. Но мало-помалу зайцы учатся таким фокусам, что оставляют и собаку и охотника в дураках постоянно. Вот этим, по-моему, охота на беляков так особенно интересна: каждый беляк вырабатывает свой собственный план бега, и разгадать его не всегда бывает легко. Само собой, зайцы выучиваются и хоронятся после своей ночной кормежки, и поэтому в конце осени кажется, что все зайцы пропали, а при первой пороше будто с неба свалились.

Вот когда покажутся эти следы по первой пороше, высыпают на них из города все охотники, стар и мал. Это бывает зайцам самый страшный экзамен, после которого в лесах остаются только «профессора». Так у нас их постоянно и называют охотники: зайцы-профессора.

Я давно имею пристрастие к ученым зайцам, для меня только и начинается охота с гончей, когда все охотники отказываются и остаются только «профессора» в лесу. Весь день с темна до темна я имею терпение перебегать, равняясь с гончей, или подстаивать в частом болотном ельнике зайца-профессора. Невозможно всего рассказать, что случилось со мной в лесу лет за пятнадцать этой охоты, — один случай вызывает в памяти тысячу других и тонет в них безвозвратно. Но один трудный год, когда «профессора» собрались в незамерзающее болото, не сливается с другими, и я о нем расскажу.

Научились в тот год «профессора» с подъему жарить по прямой линии версты за три и кружить в одном болоте, покрытом густейшим ельником. Собака едва лезет в густели, а он — ковыль-ковыль, тихонечко переходит с кочки на кочку, посидит, послушает, скинется, ляжет. Пока собака доберет, пока разберет, он отлично себе отдохнет, прыгает и опять ковыль-ковыль по болоту. Моего терпения, однако, и на это хватает, бью постоянно и в самых крепких местах. Но в этом болоте невозможно было долго стоять, потому что, когда в первые морозы оно покрылось слоем льда, вода подо льдом понизилась, и так образовался лед-тошак: заяц, собака бегут — не проваливаются, а охотник ломает лед и в воду. Так осталось и до больших морозов, когда болото было уже засыпано снегом. Лед-тошак — это страшная вещь: и гремит ужасно, и долго ли можно простоять в кожаных сапогах в ледяной воде?

Сколько раз я ни пробовал, все «профессора» летели в это болото, и я уже хотел было сдаваться. Однажды пришел ко мне Васька Томилин и стал умолять меня сходить с ним на охоту. С этим Васькой мы давно связаны, когда у него был Карай, а мою собаку Анчара застрелили на охоте. В то время Васька меня выручил, и мы охотились зиму с Караем. Потом Карай умер, и Васька пристал к моему Соловью. Теперь из уваженья к памяти Карая я не мог отказать Ваське, и мы пошли на «профессоров»: я в сапогах на суконный чулок, Васька в своих обыкновенных валенках. К слову сказать, знамениты эти Васькины валенки: он в них зимою и летом, даже рыбу ловит в них, чтобы не резалась нога в реке о гальку. Одна подошва снашивается, он пришивает другую, и так без конца: самая дешевая обувь.

Вышли мы за «профессорами», взяли след, пустили Соловья, подняли вмиг и прогнали в болото.

Что делать? Хожу я по краю болота час, другой, третий. Мороз порядочный, нога и на суходоле начала мерзнуть, а не то что лезть в воду. Горе было еще и в том, что Соловья нельзя отозвать, пока не убьешь зайца; уйти же и бросить собаку не могу: волки могут сцапать за мое почтение.

Наконец я до того уже смерз, что стал сухие сучки ломать и разводить костер, о зайце и не думаю, какой тут заяц!

И вдруг в самой середке болота, в самой густели и топике раздается выстрел и крик:

— Гоп, гоп!

"Гоп-гоп" — у нас значит: заяц убит.

Соловей скоро добрал и смолк. Заяц убит несомненно. Только я ничего не понимаю, и невозможно понять: ведь лед-тощак гремит, значит, чтобы подстоять зайца, надо не двигаться, а Васька в валенках. Спрашивается, как же это он мог столько времени простоять в валенках в ледяной воде?

Далеко слышу — трещит, гремит, лезет из густели на мой крик. Глянул я на него, когда вылез, и обмер — это не ноги были, а толстые ледяные столбы.

— Ну, снимай, — говорю, — скорей снимай, грей ноги на костре.

— Я, — говорит, — не озяб, у меня ноги сухие.

Вынул ногу из ледяного столба, — сухая нога. Запустил я в валенок руку: тепло.

Тут я все понял: подмоченные валенки на сильном морозе сверху сразу покрываются ледяной коркой; эта корка в ледяной воде не тает и воду не пропускает.

Я дивлюсь, а Васька мне говорит:

— Я так постоянно.

И стал я с этого разу валенки подмораживать: вечером окуну, и на мороз, еще окуну и оставляю в сених на всю ночь, а утром в них смело иду в болото. Васька-то оказался над всеми учеными зайцами самым главным профессором.

Беляк

Прямой мокрый снег всю ночь в лесу наседавал на сучки, обрывался, падал, шелестел.

Шорох выгнал белого зайца из лесу, и он, наверно, смекнул, что к утру черное поле делается белым и ему, совершенно белому, можно спокойно лежать. И он лег на поле недалеко от леса, а недалеко от него, тоже как заяц, лежал выветренный за лето и побеленный солнечными лучами череп лошади.

К рассвету все поле было покрыто, и в белой безмерности исчезли и белый заяц и белый череп.

Мы чуть-чуть запоздали, и, когда пустили гончую, следы уже начали расплываться.

Когда Осман начал разбирать жировку, все-таки можно было с трудом отличать форму лапы русака от беляка: он шел по русаку. Но не успел Осман выпрямить след, как все совершенно растаяло на белой тропе, а на черной потом не оставалось ни вида, ни запаха.

Мы махнули рукой на охоту и стали опушкой леса возвращаться домой.

— Посмотри в бинокль, — сказал я товарищу, — что это белеется там на черном поле и так ярко.

— Череп лошади, голова, — ответил он.

Я взял у него бинокль и тоже увидел череп.

— Там что-то еще белеет, — сказал товарищ, — смотри полевей.

Я посмотрел туда, и там, тоже как череп, ярко-белый, лежал заяц, и в призматический бинокль можно даже было видеть на белом черные глазки. Он был в отчаянном положении: лежать — это быть всем на виду, бежать — оставлять на мягкой мокрой земле печатный след для собаки. Мы прекратили его колебание: подняли, и в тот же момент Осман, перевидев, с диким ревом пустился по зрячему...

Стремительный русак

Мы пошли было на беляков, но в одной деревне нам сказали, что этой ночью у них волки разорвали собаку. Мы побоялись своих гончих пускать на лесных зайцев и занялись русаками. Скоро мы увидели, как один русак, желая забраться под кручу, переходил ручей и провалился. Но Соловей не побоялся, сам пошел по следу, сам провалился, выбрался, разобрался в следах и вытурил зайца. Мы его ранили, но скорости этим на первых порах зайцу не убавили, он помчался, скрылся на горизонте за холмами. Соловей и Пальма перевалили туда и скоро вышли из слуха.

Известно, как полевой заяц-русак бежит, — всю-то округу ославит, все-то в деревнях его перевидят, всякий, у кого есть ружье, снимает его с гвоздика.

— Заяц, заяц! — орут мальчишки без памяти.

И бегут за ним по деревне — кто с поленом, кто с камнем, кто с топором.

Редко заяц достается тому, кто его поднял.

Наш раненый русак несли из последних сил полями, оврагами, перелесками, деревнями в иной деревне прямо по улице мчится — и за ним собаки. Опытные наши собаки не скальвались и на дорогах, зайцу наступал конец, и он с отчаянья ударился в Дубовицах в Пахомов овин. Как раз в это время Пахом сидел возле огня и подкладывал дрова. Вдруг какая-то сила врывается, какой-то забеглый черт с длинными ушами влетел и — бах! — прямо в огонь, и так, что самого Пахома засыпало искрами и головешками.

Не помня себя, выбежал из овина Пахом и видит и слышит, как навстречу ему рубом рубят собаки. Тут только он понял, какой это черт влетел к нему, и, конечно, стал крыть нас, охотников, из души в душу. Но пороша была очень глубокая, он понял, что мы далеко и нес скоро придем. Зайца нашего он отбил у собак, отнес в избу и велел старухе спешить. Пока мы добрались, пока разобрались в следах возле овина и, наконец, все поняли, заяц у старухи в чугунке, поставленном на горячие угли, поспел. Поблагодарили мы хозяев за угощение, они

нас. Тем и кончилась наша охота.

Сметливый беляк

Приехали мы в деревню на охоту по белым зайцам. С вечера ветер начался Агафон Тимофеич успокоил. "Снега не будет". После того начался снег "Маленький, — сказал Агафон, — перестанет". Снег пошел большой, загудела метель "Вам не мешает, — успокоил хозяин, — в полночь перестанет, выйдут зайцы, вам же легче будет найти их по коротким следам. Все, что ни делается, все к лучшему". Утром просыпаемся — снег валом валит. Мы хозяина к ответу, а он нам рассказывает про одного попа в далекое, старое время.

Рассказывает Агафон, что будто бы тогда у одного барина пала любимая лошадь. Пришел поп и говорит: "Не горюй, все к лучшему". А на другой день у барина еще одна лошадь пала. Опять тот же поп говорит: "Не горюй, что ни делается на свете, все к лучшему". Так терпел, терпел барин и, когда, наконец, десятая лошадь пала, велит позвать попа: хочет отколотить, а может быть, и вовсе решить. А было это в самое половодье, по пути к барину попади поп в яму с водой. Пришлось вернуться назад, отогреться на печке. Утром же, когда поп явился, гнев у барина прошел, и поп рассказывает, как он вчера шел к нему и в яму попал. "Ну, счастлив же твой бог, — сказал барин, — что ты вчера в яму попал". — "Счастлив, — ответил поп, — ведь я же вам и говорил постоянно, что ни делается на свете, все к лучшему".

— К чему ты нам рассказываешь все это? — спросили мы Агафона.

— Да что вы на метель жалуетесь: идите на охоту и увидите, что всё к лучшему.

Метель вскоре перестала. Но ветер продолжался. Мы все-таки вышли промяться. И, переходя поле, говорили между собой, что вот, если случится нам поднять беляка и был бы он вправду умный, то стоило бы ему только одно поле перебежать, и след за ним в один миг заметет, и собака сразу же потеряет. Но где ему догадаться: будет вертеться в лесу, пока не убьем. Вскоре мы вошли в лес. Трубач случайно наткнулся на беляка и погнался. Весело нам стало: нигде ни одного следа, и по свежему, нетронутому снегу бежит наш беляк, как по книге. "Что ни делается, все к лучшему!" — весело сказали мы друг другу и разбежались по кругу. И только стали на места, гон прекратился. Пошли посмотреть, что такое. И оказалось, беляк-то был действительно умный и как будто услышал наш разговор: из лесу он выбежал в поле, и следы его перемело, да так, что и мы сами кругом поле обошли и нигде следа не нашли. Пришли домой с пустыми руками и говорим Агафону:

— Ну, как это ты понимаешь?

— Так и понимаю, что тоже все к лучшему, — сказал Агафон, — зайчик спасся, а вот увидите, сколько от него разведется к будущему году. Что ни делается на свете, все к лучшему.

Орел

Верхами на маленьких лошадаках, похожих на диких куланов, едем мы к пустынной горе Карадаг ловить охотничьих орлов, беркутов.

У меня к седлу привязана орлиная сеть, у спутника моего Хали в руке приманка: кровавое дымящееся сердце только что убитого нами горного барана архара.

В долине горы Карадаг мы ставим орлиную сеть так, чтобы в ее отверстие, когда падает сверху камнем орел за добычей, свободно он мог бы залететь, но, распустив крылья, остался бы в

сетке. Внутри этого сетяного шатра мы оставляем кровавое сердце и сами прячемся в ближайшей пещере.

До рассвета в темной пещере знаменитый охотник на беркутов Хали мне рассказывает про орлов, как они на охоте ловят зайцев, ломают спину лисицам и, если с малолетства приучать, даже и волка останавливают. До рассвета мы шепотом беседуем про орлов и, когда начинает светлеть и черная гора наверху зацветает, видим, как один орел делает круг над нашей долиной. Полет его такой спокойный, — кажется, это мальчики змей запустили и где-то держат невидимую нам нить. Он сделал круг над нашей долиной и скрылся на вершине горы: конечно, заметил добычу, но сразу взять не решился. Верно, он там посоветовался со своими или проверил хозяйство, обдумал, стоит ли рисковать. С тревогой, затаив дыхание, ждем мы в своей пещере орлиного решения и вот видим, орел вылетает, делает еще круг, на мгновение как бы останавливается в воздухе над ловушкой и вдруг камнем падает на кровавое сердце архара, и нам в пещере слышен шум падающего орла.

Да, он упал...

Мы спешим к ловушке, он упал и запутался, но пока повадки своей орлиной не бросает: клюв открытый, шипит, сердито нахохлился, запрокинул назад голову, и глаза мечут черный огонь.

Но Хали не обращает на это никакого внимания, обертывает орла сеткой, как рыбу, подвешивает к седлу, и по блестящим искоркам осеннего мороза-утренника мы возвращаемся в аул с богатой добычей.

Мы радость привозим в аул: не часто попадают в сетку орлы, и за хорошие деньги можно сбыть его Мамырхану, любителю охоты с орлами. Только перед тем, как продавать, конечно, нужно приручить орла и приучить к охоте.

И вот как мы приручаем орла и приучаем его ловить зайцев, ломать спины лисицам и, может быть, если орел окажется очень хорош, на всем ходу останавливать волка.

В нашей юрте от стены к стене мы протягиваем бечеву, посередине сажаем орла, привязываем его лапы к бечеве, надеваем на голову кожаную коронку и закрываем ею глаза. Слепой и привязанный орел сидит на веревочке, балансируя, как акробат, а веревочку нарочно всегда шевелят и дергают, чтобы ни на одну минуту орел не успокоился и не пришел в себя: он должен себя самого навсегда потерять и свое совершенно слить с волей своего хозяина. Орел должен сделаться таким же послушным, как собака — друг человека.

Вокруг юрты, прислонившись спинами к подушкам, сидят, пьют кумыс киргизы-охотники, и среди них на самом почетном месте сидит и ест кувардак из жеребенка самый главный любитель охоты, наш почетный гость Мамырхан. Он глаз не сводит с орла, и чуть только тот успокоится, делает знак, и киргиз дергает за веревочку.

Наелись охотники баранины и жеребятины, напились кумысу, улеглись спать, но и тут нет покоя орлу: кому надо бывает по своей нужде выйти из юрты, проходя, непременно дернет за веревочку, и орел на пол-юрты взмахнет крыльями; кому забота на душе и надо проверить, все ли целы бараны, не крадутся ли волки, — тот, проходя мимо орла, непременно потрясет веревочку. И даже кто, с боку на бок переваливаясь, заметил в покое орла, хлещет по веревке нагайкой. Так проходит день, два; задерганный, слепой, голодный орел еле-еле сидит, нахохлился, распустил перья, вот-вот упадет и будет висеть на веревке, какдохлая курица. Тогда снимут с глаз его кожаную коронку и покажут — только покажут! — кусочек мяса. А потом опять ставят орла, и это мясо вываривают и дают немного поклевать этого белого

вываренного бескровного мяса. Продержат, подергают еще дня два, показывают свежего, кровавого, теплого, дымящегося мяса и отпускают орла.

Теперь, как пес, плетется орел за мясом по юрте. Мамырхан довольный улыбается, смеются охотники, маленькие дети подхлестывают орла прутиком, и даже собаки удивленно и нерешительно смотрят, не знают, что делать: по перьям — орел, хватать бы его, а ведет себя, как собака — друг человека.

— Ка! — кричит киргиз. — Ка!

Орел плетется себе. И над царем птиц все покатываются.

Мамырхану очень понравилась птица. Он сам хочет испытать орла на охоте, садится на коня, показывает орлу кусочек мяса.

— Ка!

Орел садится к нему на перчатку.

Мы едем охотиться туда, где много водится зайцев, — к пустынной горе Карадаг. Вот загонщики и выгнали зайца, кричат:

— Куян!

Заяц бежит по той самой долине, где мы поймали орла. Мамырхан снимает с глаз орла коронку, отвязывает цепь и пускает. Взлетает орел над долиной, с шумом, как камень, бросается, — вонзил в зайца когти, пригвоздил его к земле. Вот клевать бы, клевать и что еще проще: взмахнуть крыльями и унести зайца на вершину горы Карадаг. И, может быть, он уже и подумывает об этом, алая горячая кровь бежит у него из-под лап, в глазах опять загорается черный огонь, крылья раскрыты...

Мгновенье еще, и он улетел бы в горы к родным и был бы свободен, и, наученный, никогда бы больше не попадался в человеческую ловушку, но как раз в это мгновенье Мамырхан крикнул:

— Ка!

И показал вынутый из-за голенища припасенный в ауле кусочек мяса.

И этот полувывсохший, пропитанный потом и дегтем кусочек имеет какую-то силу над могучим орлом: он забывает и горы свои, и семью свою, и свою богатую, еще теплую добычу, летит к седлу Мамырхана, позволяет надеть себе коронку на глаза, застегнуть цепь. Магический кусочек мяса Мамырхан опять прячет за голенище и спокойно берет себе зайца.

Так приучают орлов.

Медведи

1

Тигрик облаял берлогу в одном из самых медвежьих углов бывшей Олонецкой губернии, в Каргопольском уезде, в тринадцатом квартале Нименской дачи, недалеко от села Завондошье. Павел Васильевич Григорьев, крестьянин и полупромышленник, легким свистом отозвал Тигрика, продвинулся на лыжах очень осторожно, в чаще и на полянке с очень редкими

тонкими елками привычным глазом под выворотнем, защищающим лежку медведя от северного ветра, заметил довольно большое, величиной в хороший блин, чело берлоги. Знакомый с повадкой медведей и, как северный житель, спокойный характером, Павел, чтобы совершенно увериться, прошел возле самой берлоги: зверь не встанет, если проходить не задерживаясь. Глаз не обманул его. Продушина в снегу была от теплого дыхания. Зверь был у себя. После того охотник обошел берлогу, время от времени отмечая эту свою лыжницу чирканьем пальцем по снегу. По этому кругу он будет время от времени проверять, не подшумел ли кто-нибудь зверя, нет ли на нем выходных медвежьих следов. А чтобы сбить охотников за чужими берлогами и озорников, рядом с замеченным он сделал несколько ложных кругов.

Через несколько дней после этого события Тигрик облаял и второго медведя в семнадцатом квартале той же Нименской дачи. В этот раз полянка была сзади выворотня, защищающего лежку от северного ветра, зверь лежал головой на восток, глядел на свою пятую и частый ельник. Окладчик продвигался из этого крепкого места и чуть не наехал на открыто лежащего зверя. В самый последний миг он сделал отворот и прошел, не взбудив, всего в трех шагах. Случилось вскоре во время проверки круга недалеко он нашел вторую покинутую лежку того же самого зверя и по размеру ее догадался, что зверь был очень большой. Вот эта догадка и сделала, что обе берлоги достались не вологодским, не архангельским, а нашим московским охотникам. Вологодские давали по пятьдесят рублей за берлогу. Павел просил по девять рублей за пуд битого медведя, рассчитывая на большого, или по шестьдесят за берлогу. Во время этих переговоров Павел на счастье послал письмо в наш Московский союз.

Эта волна медвежьего запаха, попавшая сначала в нос Тигрика, потом в охотничье сознание Павла Григорьевича в Завондошье, охотникам в Вологду, в Москву, очень возможно, не дошла бы до меня в Загорск, если бы я не устал от беготни по своим делам в Москве, где бываю всегда обыденкой. Мне осталось заглянуть в «Огонек», но редакция была на Страстном, а я был на Никольской вблизи "Московского охотника". Я решил завернуть в охотничью чайную и отдохнуть. Чудесный мир для отдыха в этой чайной комнате, где собираются охотники и часами мирно беседуют: старые о былом, молодые о будущем. И нет такого места на земле, где бы так дорожили писателем, добросовестно изображающим охоту и природу. Но кто знает, не будь их охотничьи сердца целиком заняты сменой явлений в любимой природе, быть может, они бы стали самыми восторженными читателями общей литературы. Раз одному пожилому я рассказал о Гоголе и подарил книги. Гоголь открыл ему целый мир. Как счастлив был этот человек, до сих пор не слыхавший о Гоголе, как я завидовал ему. Но вот пришло время тому же старику мне позавидовать: я, всю жизнь занимавшийся охотой, ни разу не бывал на медвежьей берлоге!

— Да как же это вы? — спросил меня старик, до крайности удивленный.

И вот тут-то я познакомился с первым письмом окладчика Павла и обещал, если все сладится, ехать. Так медвежья волна, причуянная Тигриком, дошла до меня.

Отдохнув в чайной, я отправился в «Огонек» и между прочим проболтался в беседе с редактором о предстоящей медвежьей охоте. Известно, какое преувеличенное изобразительное значение придают фотографии в иллюстрированных журналах. Пыл редактора передался и мне, я обещал ему, если поеду, взять с собой и фотографа.

— Если убьете медведя, — сказал редактор, — решусь на обложку и разворот.

Я не понимал, он пояснил: на обложке буду я с медведем и на обеих развернутых страницах журнала фотографии будут только медвежьи.

— Будьте уверены, — сказал он еще раз, прощаясь со мной, — у вас будет обложка и разворот.

Невозможно автору божиться в правде написанного: все эти клятвы читателями принимаются, как изобразительный прием. Но я клянусь всеми человеческими клятвами, что не о себе я думал, когда в ответ на присланную мне через несколько дней телеграмму о благополучном продвижении переписки с окладчиком просил телефонировать в «Огонек» о фотографии. Мне просто хотелось сделать удовольствие охотникам, зная, как они любят сниматься с ружьями и убитыми зверями. Кто не видал таких фотографий! Но оказалось, медвежьи охотники — люди совсем иного закала: им важно добыть медведя, а не свое изображение лишний человек, особенно фотограф, для них только горе. Они были в отчаянии и лишь из уважения ко мне позволили. Только в самом конце охоты мы поняли требования фотографа и убедились, что он был вовсе не трус, но как было понять это вначале, если в первых словах фотограф спросил, можно ли ему на охоте пользоваться лестницей и где достать спецодежду, в которой легко бегать. В чайной до вечера был хохот, и медвежьи охотники успокоились в решительный момент фотограф не будет мешать и убежит.

Вскоре после того окладчик в последнем письме неясно просил за одну берлогу шестьдесят рублей, а за другую по весу убитого зверя. На неясное письмо был дан неясный телеграфный ответ, но с точным обозначением дня приезда. Дело было покончено, медведи остались за московскими охотниками, а окладчик стал проверять круги, каждый раз прибавляя к этим окладам, отмеченным чирканьем пальцев по снегу, и лыжные.

2

Одни говорят, будто первое впечатление всегда обманчиво, и проверяют его до тех пор, пока не сотрут все его краски. Другие, напротив, целиком отдаются первым впечатлениям, уверенные, что сохраненные краски его значат для познания мира во всяком случае не меньше, чем твердые, верные факты. Я лично верно могу говорить только о том, что впервые увидел сам и удивился. Почему никогда я от зверей в зоопарке не получал таких впечатлений, чтобы они заставляли сами своей внутренней силой делиться с другими? Как бы ни было в зверинце искусно построено, непременно я схвачу какую-нибудь мелочь, все разгадаю, пойму, тут зверь сам не свой. И если бы в настоящем лесу на одно лишь мгновение мне удалось увидеть медведя, просто по своему делу переходящего поляну, мне кажется, в это мгновение знал бы я о нем больше, чем если бы целыми днями разглядывал его в зоопарке, снующего взад и вперед, или на улице, заключенного в цепи. Думается даже, если бы пришлось убить медведя в условиях нашей Московской губернии, это бы мне ничего не дало; изредка к нам заходят и ложатся медведи, но это уже пережиток, — у нас медведь по ошибке, он уже тут не у себя. Но теперь я бросаю все свои дела, чтобы поделиться восторгом от яркой весны света в таежных северных лесах, где в это время рожают медведицы и в ожидании скорого тепла лежат в своем полусне старые и молодые медведи. Перед моими глазами теперь северные худые, но сильные стволами высокие ели, на буреломных торчках подушечки, сложенные из бесчисленного множества слетавших за зиму снежинок, совершенно занесенные, обращенные в самые фантастические белые статуи кусты можжевельников. Сколько про себя срисовал я снежных фигур: тут был чудной старичок вроде фавна с рогами, и очень грустное лицо милой женщины, изящной, но с тяжелым мешком за спиной — кого-кого не было в засыпанном снегом диком лесу! Я все узнавал, называл и, если бы сто верст ехать, не устал бы читать фантастическую лесную зимнюю повесть. И особенно удивительно, что когда пришлось ехать обратно, то многих я опять узнавал и догадывался по ним, насколько мы приблизились к дому. Но самый как будто фантастический образ и в то же время самый реальный, по которому я чувствую себя самого, свою кровь, свое сердце и ум, это темнотная голова из-под выворотня, занесенного снегом. Она вырастала, как на восходе луна или солнце, из-под земли так же медленно и неуклонно и неизбежно, а я стоял в нескольких шагах от нее и целился.

Полная луна Венера в кулак, Большая Медведица, все небо со всеми своими звездами так освещали снега, что мы различали следы не только лисиц, зайцев и белок, но даже цепочки белых куропаток и тетеревов. Так мы проехали от станции весело семь верст до села Завондошье. В двух комнатах Павла на полу спало все бесчисленное семейство. Тигрик, не стесняясь, ходил по старым и малым. Топор висел в воздухе. Все быстро пришло в движение, когда мы постучались. Спящих ребят перекинули в другую комнату, расчистили стол, возник самовар.

С этого разу начала обозначаться пропасть, разделяющая нас, безрассудно, бесцельно подступающих к опасным переживаниям, от человека, который хочет это снимать и показывать. Наши разговоры были фотографу скучными спецразговорами, а, как оказалось потом, от их направления при охоте на второго медведя зависела жизнь...

У меня не было штуцера, я легкомысленно, по незнанию этой охоты, взял свою легонькую гладкоствольную двадчатку[9] с жаканами[10]. По книгам я, конечно, знал, что выходить на медведя с жаканами из двадчатки рискованно. Мне так представлялось дома, что главным действующим лицом я не буду и пушу свои пули только, если случится с другими несчастье. Все оказалось по-иному. Я был хозяин одной берлоги, хозяином другой был стендовый стрелок, бухгалтер союза, чех родом. Мне случилось назвать его нечаянно греком, и да простит он меня — так и буду в шутку называть его Грек. Он был такой же новичок на берлоге, как и я, но вооруженный штуцером самого большого калибра. Третий охотник, старый медвежатник, ехал только распорядителем, защитником и учителем. Мы сразу стали называть его Крестным.

— Я бы не вышел на берлогу с двадцаткой, — сказал он, — но мы будем вас защищать, выходите.

Отказаться значило прослыть трусом. Конечно, и с жаканом можно при счастье отлично убить, но... Всякое время имеет свою технику и своего артиста. Будь теперь господствующим орудием борьбы с медведями рогатина и я на высоте искусства с ней обращаться, то это было бы совершенно не странно: гибнут неискусные, артисты гибнут случайно. Теперь время штуцера с экспрессными, разрушительными пулями, а с жаканом идут кустари, я не в эпохе, я не первый — вот что обидно: не первый со штуцером, не последний с рогатиной — середка наполовине.

— Нельзя ли, — сказал я, — посмотреть охоту на первого, а самому выходить на второго?

— Можно, — ответил Крестный, — но, может быть, второго не будет, подшумим и уйдет, кто же будет описывать нашу охоту? И потом, какой же это материал: если быть только свидетелем, вам самому будет обидно.

Я согласился. Крестный предложил Греку отдать мне без жребия первый выстрел на первой берлоге. Превосходный товарищ без колебания ответил согласием.

Мы спали всего два-три часа. Великий дипломат и политик в медвежьих делах, наш Крестный только в самый последний момент, когда все было собрано и уже лошади готовы, приступил к объяснению неясного договора с окладчиком: мы даем или по шестьдесят рублей за берлогу, или по девять рублей с пуда убитого; в случае же мы упускаем медведя, платим шестьдесят.

Павел крепко задумался о шкуре неубитого медведя. И когда, наконец, он сказал твердо "все на вес", Крестный очень обрадовался, это значило, что медведи были не шуточные.

Перед самым отъездом Павел потребовал от нас четвертую подводку.

— Для кого?

Павел внимательно посмотрел на Крестного, и тот понял и велел поскорее подводу найти. Вслух сказать было нельзя: подвода была для будущего покойного медведя, в которого стрелять буду я.

Потом фотограф стал требовать лестницу и так настойчиво, что мы наконец поняли: она ему была нужна. Лестница скоро явилась вместе с четвертой подводой. На долю фотографа выпало великое счастье.

Редко я видел такое сияние дня весны света. Таежный лес был пронизан золотыми лучами, везде следы рыси, лисиц, зайцев, белок, куропаток, тетеревов, глухарей. Глаза разбегались. И как особенно невыразимо прекрасно пахло снегом на солнце!

Не дорога, а след чьих-то саней в глубоком снегу. Сани наши и без разводов постоянно застревали между деревьями. Задетые дугой нависшие глыбы снега рушились на голову. Фотограф перед каждой аркой кричал нам сзади. Мы останавливались. Он снимал, а Крестный потихоньку ворчал:

— Опять представление.

Лес был очень серьезный. Ни одной дорожки, ни одной тропинки и если лыжня — то было всем нашим возчикам хорошо известно, кто, куда и зачем тут прошел. Так мало-помалу явилась и наша лыжня, все перед ней остановились: это был след окладчика к первой берлоге. Мы встали, скинули тулупы в сани, наладили лыжи. Крестный и Грек привели в готовность свои штуцера. Я вынул из футляра щегольское бекасиное ружье, сердце мое тут екнуло: с таким ружьем на медведя, и выстрел мой непременно.

Маэстро распоряжается:

— Поверните голову к солнцу, лица не видно, сдвиньте шапку.

Крестный шепнул мне:

— На него никакого внимания, идемте за окладчиком. А я запрещаю всем говорить.

Исчезла вся красота сияющего лазурью и золотом северного леса. Не до того! Мысль только, чтобы не задеть лыжей сучка, отлетающего на морозе с треском. Верста показалась за десять. И вот, наконец, мы перешли магический круг оклада. Павел, не останавливаясь, рукой и бородой показывает на север в чашу. Там спит медведь. Может быть, от него теперь мы в нескольких десятках шагов, и цель наша обойти чашу и на чистом месте оказаться против чела. Вот когда как самое желанное стала мечта, что в последний момент все сложится как-нибудь так, что сегодня я не буду стрелять и только посмотрю, а завтра, конечно, с радостью... Вернулись мучительные минуты далеких гимназических времен, когда вынимаешь билет на экзамене, а из головы все вылетело, ничего не помнишь и совершенно серьезно, по-настоящему молишься: да минует меня чаша сия... Еще мне было теперь все, как ответ на свои бесчисленные охотничьи рассказы, что если вдруг окажется, я только бумажный охотник и держусь на обмане. Да еще и так выходило, — если я обман как охотник, то непременно обман как писатель.

Вот показалась поляна с редкими елками. Окладчик остановился и показал.

Дело его кончено.

Теперь, если зверь выскочит и уйдет, я плачу ему за берлогу. Он достиг своего. Я выступаю. Он

отходит назад. Я продвигаюсь, куда мне показано. Крестный слева меня обгоняет Грек справа. Впереди группа елочек, между ними виднеется выворотень, под ним в сугробе темнеет дырка величиною в шапку, и это значит чело.

Вдруг забота: начинают зябнуть пальцы от нечаянного прикосновения к стали стволов, и погреть невозможно, каждое мгновение зверь может выскочить. В двадцати шагах короткое совещание шепотом: Грек идет вправо в обход берлоги, на случай если у медведя есть выход назад. Крестный становится влево, стреляет, если я промахнусь или задену и раненый бросится в атаку.

Вот я теперь один против чела. Требуется сойти с лыж и обмять себе место. Погружаюсь в снег выше пояса. Чело берлоги исчезло. Как же теперь быть? Об этом нигде не написано, и никто мне об этом не говорил. Я в плену. Медведь сейчас уйдет, и я его не увижу. А Крестный устроился высоко и шепотом велит мне продвигаться до елочек. Как так, елочки же в семи-восьми шагах от чела! Но я слушаюсь и лезу туда. Вот миновал их. Гляжу на старшего. Он кивнул головой. Нога сама обминает снег, выходит ступенька, потом другая, третья, показывается близко чело и то рыжеватое, что издали очень смущало, теперь уже не медведь, а внутренняя сторона выворотня. Я утвердился, свободен. Кто меня научил?

Что там делалось сзади, я не знал и вовсе даже забыл о фотографе и его лестнице. Все события впереди, и они совершаются и беспрерывно нарастают. Грек растерялся и не понимает задачи беречь зад берлоги. Крестный выходит из себя, покрывается белыми и красными пятнами. Машет руками, громко шепчет. Грек понял, подался и вот...

Как ясно теперь мне и понятно, что борьба в себе свободного, гордого человека с трусом необходима, без труса нет испытания.

Уговаривать себя так же невозможно, как остановить сердце, а оно колотится все сильнее и сильнее. Кажется, немного еще, и оно разорвется, но вдруг черта, за которой нет больше борьбы, и трус исчезает: все кончено, я механизм, работающий с точностью стальной пружины в часах.

Такой чертой было ясное и довольно громкое слово Крестного:

— Лезет!

Что-то зашевелилось на рыжем. Я ждал, и мушка стояла на этом неколебимо. Стали показываться и нарастать медлительно, верно и неизбежно уши, такие же, как в зоопарке, и линия шерсточки между ушами, а мне нужна линия между глазами, и до этого, если так будет расти, очень долго. Все было, как если смотреть на восход луны и метиться мушкой.

Неужели всему этому огромному и спокойному времени мерой была одна наша секунда? Когда в промежуток этого необыкновенного времени сзади меня послышался голос, мне казалось, это было из какого-то давно забытого мира, где крошечные люди кишат, как в муравейнике. А это был голос фотографа с лестницы Крестному:

— Станьте немного левее!

Необыкновенно было, что воспитанный и утонченно-вежливый Крестный чисто по-мужицки ответил:

— Поди к чертовой матери!

Как раз в это время и показалась нужная долгожданная линия между глазами, такая же, как в зоопарке. Сердце мое остановилось при задержанном дыхании, весь ум, воля, чувства, вся душа моя перешла в указательный палец на спуске, и он сам, как тигр, сделал свое роковое движение.

Вероятно, это было в момент, когда медведь, медленно разворачиваясь от спячки, устанавливается для своего быстрого прыжка из берлоги. После выстрела он показался мне весь с лапами, брюхом, запрокинулся назад и уехал в берлогу.

Все кончилось, и зима вдруг процвела. Как тепло и прекрасно! Бывает ли на свете такое чудесное лето?

Медведя выволокли. Он был не очень большой. Но не все ли равно? Крестный обнимает и поздравляет с первой берлогой. Грек подходит сияющий. Крестный просит прощения у фотографа. Он оказался мужественным совсем около, сзади меня безоружный стоял на лестнице. Мы все теперь хотим ему услужить. И он пользуется. Повертывает нас направо, налево, то заставит согнуться, то прицелиться. Мнет нас, как разогретый податливый воск, и мы все ничего. Ему остается снять отдельно берлогу, а для этого ему надо срубить одну елочку. Как! Ту самую елочку, из-за которой медведь, может быть, и выбрал себе место под этим выворотнем! Ту самую елочку, что маячила мне, когда я к ней приближался в глубоком снегу и совершался суд надо мной — быть мне дальше охотником или не быть!

— Не надо! — сказали мы все.

И не дали рубить эту елочку.

3

До самой ночи мы разбирали сражение с медведем, занявшее всего несколько секунд, и после целого дня, проведенного на морозе, не хотелось, как обыкновенно на зимних охотах, выпить. Так во всей очевидности открывалось происхождение потребности пить вино из необходимости иллюзии в жизни, не удовлетворяющей всего человека. Весело было мне встать на другой день спозаранку, будить товарищей и слушать за чаем рассказ окладчика об этом втором, по его убеждению, огромном медведе. Как ему не знать, если он прошел от него всего только в трех шагах и видел своими глазами: медведь открыто лежал между двумя елками, с севера защищенный выворотнем. Но не то, что медведь большой и открыто лежит, веселило меня, а что я отделался и сегодня могу быть спокойным свидетелем и наблюдателем. Я поддразнивал Грека:

— Посмотрим, как-то вы, молодой человек!

На эти слова Крестный только улыбался. Он десятки раз бывал на берлогах, и еще ни разу не было, чтобы два случая одинаково складывались: всегда выходило по-разному, и очень часто предназначенный для последней роли на охоте занимал первое место. Были такие слова, я хорошо их запомнил, но когда мы приехали на место и стали заряжать ружья, все улетело. Чисто юношеские желания владели мной. Я представлял себе, что Грек, такой же неопытный, как и я, не сумеет нанести медведю убойную, поражающую на месте рану. Огромный медведь сбрасывает охотника в снег и сидит на нем. А я подхожу и всаживаю зверю два жакана между глазами. Я заговариваю себя не стрелять и беречь свои заряды для страшного случая.

Мы теперь продвигаемся на лыжах в новом порядке: впереди, как и вчера, конечно, окладчик, за ним Грек, хозяин берлоги, потом Крестный, а вслед за мной мальчики Павла несут: один лестницу для фотографа, другой веревку для будущего нашего медведя. Сегодня, не

стесненный тяжкой обязанностью, я заметил на одной мачтовой ели, на самой вершине, обыкновенные еловые шишки светились в лучах яркого солнца, как золотые шары, и над ними на последнем пальце ели во всей красе лазури весны света какая-то птичка сидела. А следы в этой глуши только рысь: медведь и рысь, это как-то вместе выходит, и, очень возможно, звери эти сознательно ищут друг друга...

Вдруг окладчик сделал знак всем остановиться. Лицо его очень встревожено.

Не ушел ли медведь?

Скрывается в чаще и появляется. Продвигаемся дальше, но неуверенно. От одного к другому слух добежал до меня: окладчик круг потерял. Вероятно, поземок замел его чирканья пальцами по снегу, и теперь среди ложных кругов он не может найти свой настоящий оклад. Нам казалось, до медведя еще далеко. Ружья были замкнуты предохранителями, но мы все ошиблись, окладчик потерял не круг, а берлогу, мы же были в кругу.

Из частого ельника мы продвинулись к поляне. Вышел Павел, за ним вышел Грек и потом Крестный, все они трое в нескольких шагах друг от друга двигались уже на поляне. Мне оставалось пройти в трех шагах от двух стоящих рядом значительных елок. Я даже заметил сзади них стену выворотня, мне бы только опустить глаза чуть-чуть пониже, и я увидал бы... Но все трое охотников прошли, никто почему-то не опустил глаза вниз. И мы все бы непременно прошли.

На поляне стояло сухое желтое дерево без вершины. Последняя моя мысль в обыкновенном моем состоянии была: "Как странно, что окладчик по этому сухому, такому заметному дереву не может узнать свой круг". И как раз в этот самый момент Павел узнал и сделал знак нам остановиться. Мы поняли, — это он свой круг узнал, а он искал берлогу; вероятно, думал, что все мы давно готовы, и вдруг, узнав точно место берлоги, показал на меня. Настолько было неважно нам, что Павел узнал свой круг, что Крестный даже и не обернулся и не посмотрел в мою сторону. Я же, увидав знаки Павла, остановился. Идущий вслед за мной мальчик с лестницей принужден был тоже остановиться. И в тот момент, как мы остановились, я услышал сзади себя тревожный шёпот мальчика с лестницей:

— Дяденька, дяденька!..

Мы потом смирили тот выворотень ровно в трех шагах от меня.

Я услышал рев где-то под собой в снегу. Рев этот был взрывами два раза и выражал собою то самое, что я видел вчера своими глазами, когда внутри темной дырки под выворотнем что-то зашевелилось и медленно стало принимать форму лесной головы. Я сбросился с лыж и утонул. Но ружье мгновенно стало к плечу, и глаз мой увидел не открыто, а с планки ружья через мушку не совсем то, что видят открыто глазами. Было очень отчетливо в голове: "Совершается то же самое, что и вчера, все очень знакомо, действуй так же, как и вчера". И началось то самое медленное время нарастает, нарастает... Вот знакомая полоска между ушами с шерстью становится все шире, шире, сейчас должны показаться маленькие глаза, и тогда, конечно, прекрасно выйдет, как и вчера: сегодня мушка моя еще тверже, нет на земле такой стали, чтобы держала ее так же твердо, как моя рука. И вдруг полоска лба становится не шире, а уже, уходит назад, показывается нос и обнажается очень широкое горло. Как же быть? Я этого не знал, об этом никто не сказал, куда мне стрелять, горло такое огромное. Верней всего нужно разделить пополам и целить в середину. Такой выстрел часто бывает, когда нет времени разобраться, и охотник спускает курок с нелепою мыслью в последний момент: "Будь, что будет". Мой указательный палец в этот раз не собрал всего меня и как-то не сам по себе, а по

моему неясному велению "будь, что будет" сделал движение.

4

Мне казалось, все происходило на очень большом пространстве, что стрелки были далеко от меня, но потом с точностью, проверяя долго друг друга, установили: Крестный стоял в четырех шагах от меня, Грек от него был в шести или семи. Но если так близко было, то почему Крестный не выстрелил в висок медведю, когда он поднимался почти возле меня? Он же лучше всех знал, что на широкой шее только случайно можно угадать место позвонка и что, если бы угадать, жакан из двадцатки, затронув отростки, может не разрушить основного хребта, что одного только конвульсивного движения лапы смертельно раненного зверя довольно, чтобы снести мне череп. Гибель моя была неизбежна, и Крестный не выстрелил. Как это понять?

Вот в этом-то и есть самое удивительное при охоте на опасного зверя: в такие моменты время бывает совершенно не то механическое, по которому мы заводим часы и ходим на службу. Это время было живое. Кто в жизни своей любил и боролся, сразу поймет меня. Кто ухитрялся трезво и с расчетом прожить, пусть залпом выпьет чайный стакан коньяку, и тогда, очень возможно, он тоже приблизится к пониманию этого времени. Оказалось из расспроса мальчика с лестницей для фотографа, он заметил медведя по движению лапы под выворотнем, одна из лап, прикрывавших глаза медведя в спячке, стала медленно отодвигаться, и тут он сказал свое: "дяденька, дяденька!" И потом все это: как зверь лез из берлоги, вырос больше меня, утонувшего в снегу, обнажил свое горло, вместе с тем последовательный ряд мыслей и действий вплоть до нажима указательного пальца на спуск, — всего этого времени было мало, чтобы Крестному обернуться назад на рев зверя и утвердить на лыжах позицию для выстрела. Грек все видел, но от него прямо за медведем показались возчики, они издали по любопытству крались за нами и тут как раз подошли Грек, увидев людей против мушки, на мгновение смутился.

И потом, какое же ничтожное время нужно, чтобы подвинуть предохранитель, но когда я нажал на спуск, и выстрела в ревущего зверя не последовало, и я сделал одно движение глазами на предохранитель, передвинул пуговку на огонь и опять хотел прицелиться, широкий зад зверя, удаляясь, мелькал в частом ельнике. Наудачу, не считаясь с деревьями, я послал туда, как в бекаса на вскидку, свои два жакана. В этом частом ельнике со стороны Грека, стоявшего лицом к левому боку уходящего зверя, наверное, была какая-нибудь проредь, отличный стрелок воспользовался мгновением и выстрелил тоже два раза. Мне было видно — зверь круто повернулся в сторону выстрела и с огромной, в ладонь, красной раной в левом боку пошел открыто через поляну в сторону Грека. Крестному этого маневра зверя не было видно, я крикнул ему: "Завернул, стреляй!" Крестный сделал шаг вперед, все увидел и выстрелил. И точно так же, как перед этим, зверь опять завернул в сторону выстрела. В это мгновение голова его обнажилась для Грека; тот выстрелил, и медведь ткнулся носом в снег и остался лежать в нем неподвижно темно-бурым пятном.

И все это от самого начала и до конца, — кто поверит? — было в какую-нибудь одну долю минуты! Крестный, белый как снег, подходит ко мне и говорит: "Вы такой белый!" Грек о том же спрашивает Крестного, а сам такой же, как мы. Между тем все мы внутри не испытывали ни малейшего признака страха, потому что наш трус где-то гулял и не успел прибежать и помешать, когда мы расправлялись с внезапно вставшим медведем. Отчего же лица-то побелели?

Больше всего меня удивило, что и Павел тоже сделался белым. Не мог же он делать какой-нибудь разницы между жаканами и экспрессными штуцерными пулями, ему тоже не видно было, что сзади медведя шел народ. В наш охотничий опыт он сразу поверил, не сомневался ни

на одно мгновение, что мы трое, если он верно покажет, не выпустим медведя. Вот в этом-то, мне кажется, и было все дело: он должен был показать берлогу, и тогда ему все равно — убьем мы или зверь уйдет, но вышло так, что берлогу он потерял, зверь для нас нечаянно встал и удалялся. Если бы он ушел, то с ним ушло бы двенадцать с половиной пудов по девять рублей: сто двенадцать рублей пятьдесят копеечек! Надо переключить на свою жизнь каменнотвердые житные лепешки, полную избу ребят от самых маленьких, хождение на лыжах за двадцать верст для проверки берлоги, постоянную радостную мысль, что зверь лежит большой, дорогой... И вот на глазах он уходит! Тут, мой друг московский храбрый, доведись хоть до вас и то побелеете.

5

Наша прилипчивость к пережитой минуте, готовность разбирать ее без конца объясняется, конечно, общими законами человеческой природы схватить мгновение и купаться в нем всю жизнь. Но кроме всего этого, общего всем, у каждого из нас была и личная заинтересованность: правда, последняя пуля в голову, несомненно, была от Грека, но и без нее было ясно, что зверь бежал обалделый и все равно бы очень скоро упал, — так вот кто же из нас остановил зверя смертельным выстрелом? В этом выстреле каждый из нас был заинтересован и невольно представлял себе картину согласно интимному своему желанию. Стараясь это скрыть, мы уступали друг другу и кое-что выяснили, но только вскрытие с точностью могло установить роль каждого в борьбе с этим медведем.

С огромным трудом выволокли медведя из лесу на дорогу, и ночью он прибыл в село. Утром его втащили в избу, оттаяли и начали вскрывать. Мне теперь очень жаль, что не осталось на память фотографии. Медведь лежал задними ногами к красному углу на спине, а передние лапы его, у печки, были очень похожи на волосатые гигантские руки, закинутае через голову, чтобы схватить громадную русскую печь и со всей силой обрушить ее на меня. Я чувствовал слабость своего тела, и это перенесло мое воображение в такую даль времени, когда человек обладал такою же чудовищной силой и боролся с медведем на равных правах.

Ножик уже начал свое дело, открывая на темной шубе медведя белую полосу подкожного жира.

— Вот бы снять, — сказал я фотографу.

— Неприятная картина, — ответил он и удалился.

При первом взгляде на рану в левом боку, от которой медведь из ельника круто повернул на поляну и предстал мне с огромным красным пятном в боку, стало понятно, что мои жаканы были тут не при чем и, наверно, не долетев до медведя, застряли в частом ельнике. Эта рана была от разрыва пистонной экспрессной пули в ребро. Взрыв разбил три ребра, и обломок кости был найден в сердце. Оболочка пули со многими осколками была найдена тоже в сердце, легкое было иссечено, как дробинками. И с такою-то раной зверь мог бежать еще сорок шагов! Что если бы он завернул не на стрелков, а на возчиков? Рану эту нанес медведю Грек одним из первых своих выстрелов. Пуля Крестного вошла под лопаткой в левом боку, задела околосердечную сумку, разорвалась о ребра в правом боку и совершенно уничтожила правое легкое. И все-таки после этой второй раны зверь несколько шагов пробежал. Только последняя пуля Грека, перезарядившего штуцер, попала в голову, и зверь ткнулся в снег. Физиологу трудно поверить моим словам, но так было. Эта живучесть медведя поразила меня. А между тем Павел уверял, что этот медведь с короткими и толстыми когтями не трогал скотины. Значения этой примете охотников, что будто бы медведь-озорник непременно должен быть с длинными тонкими когтями, я не придавал, но понял из этого: не всякий медведь нападает на

скотину, большинство их раскапывает муравейники, слизывает землянику, малину, терпеливо собирает разные корни, мед. Какое же знание леса, сколько труда надо затратить медведю, чтобы из этого скудного материала создать себе тесные синие мускулы! А Грек, повседневно занятый в бухгалтерии, выпросил себе у приятеля десяток экспрессных пуль и пускал их, очень возможно, не имея понятия о том, как они изготавливаются. И создатель их, какой-нибудь лабораторный работник, едва ли тоже умел пустить их и мало интересовался даже их назначением: ему бы только выдумать, бухгалтеру только пустить. Вот почему, вероятно, у медведя, собравшего в себя нераздельно всю силу леса, оказалась такая живучесть.

Жалко немного медведя, но и слава хороша, вот уж слава, так слава!

Рост нашей славы начался уже там, где медведи живут и постоянно встречаются с людьми летом в малинниках. Высыпали навстречу медведю стар и мал, и как они потом обходились с медведем, разглядывали, говорили, поднимали, качали его — трудно было отогнать мысль, что этот особенный, страстный интерес к владыке не является остатком древнего культа медведя. Давно ли я дома, начитавшись новейших статей ученых охотников о том, что будто бы медведя никогда не подымали на рогатину и что рогатиной убить его невозможно, что рассказы об охоте с рогатиной не больше как сказка, — я сам начинал уже склоняться к этому и увлекался происхождением легенды. Теперь к убитому медведю старики принесли ржавую рогатину, точно показывали, как в старину действовали ею: бросали будто бы на подъеме медведя в пасть шапку, он задерживался, и тут один всаживал в него рогатину, а другой бил топором по затылку. Лучше всех об охоте с рогатиной знал кум Ермоша, но, к сожалению, он был теперь на лесных заготовках: этот кум Ермоша не только понимал охоту с рогатиной, но даже одного порядочного уже медведя ремешком застегал.

В селе гул стоял до тех пор, пока, наконец, мы не уехали на станцию. Начальник оказался новым лицом и почти что за голову схватился, когда я предложил ему отправлять медведя в неупакованном виде. Потом он бросился к книгам за справками и, поравняв битого медведя с битой скотиной, потребовал представить это дело на рассмотрение ветеринарного надзора. Тогда выступил Крестный и рассказал начальнику подробно, как в прежнее время обходились с убитым медведем. В то время охотник вез медведя в Москву в неупакованном виде, и слава его росла от станции к станции. В Москве медведя везли открыто в санях прямо к Лоренсу, где охотник заказывал или чучело или ковер. Лоренс принимал медведя и, когда приступал к вскрытию, приглашал охотника смотреть попадание...

— Больших денег стоила эта охота, — говорил Крестный, — кроме славы, охотнику ничего не доставалось, и какой же смысл в том случае отправлять медведя в упакованном виде!

После того молодой начальник стал сдаваться и продиктовал мне расписку:

— Отправляю медведя в неупакованном виде и принимаю на себя все последствия.

Медведь по пути не ожил, и последствий никаких не было, но у меня в Вологде украли кошелек с багажной квитанцией на медведя. Я был очень взволнован, опасаясь в своем городке встретить формальности и мучиться с получением медведя до тех пор, пока не съедят его крысы в пакгаузе. Списав номер квитанции от шкуры другого медведя, я пригласил свидетелями товарищей и постучался было в комнату нашего ОПТУ. Там никого не было. Не было на месте начальника, дежурного станции, весовщика. Всех их мы увидели возле медведя и с ними была масса народу. Явился ломовик, медведя понесли на подводу. Десятки школьников бежали за санями, кто-то видел в окно, кто-то встретился. К трем часам дня весь город говорил о медведе, стали звонить знакомые и незнакомые, поздравлять, удивляться, расспрашивать.

Три года живу я на своей улице, и все меня тут знают, но уже на другой я должен давать свой адрес "рядом с Мелковым", а Мелков — лошадиный драч. В уезде, нанимая лошадь, постоянно говоришь "рядом с Мелковым".

Но вот я медведя убил. Мальчишки почтительно расступаются. Обыватели, сидя на лавочках около своих домов, слышу, между собой говорят:

— Курица в сердцах и то бросается, а поди-ка к медведю!

Вот слышу еще разговор:

— Где тут драч живет?

— Рядом с охотником.

— Это что медведя убил?

— Он самый, писатель известный по всей Московской губернии.

И они правы, я так понимаю теперь. Ничтожно время существования письменности в сравнении с тысячелетиями, прошедшими от начала борьбы человека с пещерным медведем.

1925 г.

Охотничьи собаки

Охотничьи собаки

Охотничья собака — это ключ от дверей, которыми закрываются от человека в природе звери и птицы. И самое главное в этом ключе — собаке — это ее нос, удивительный аппарат для человека, способного чуть ли не немного дальше своего носа.

Нос собаки, или чутье, как говорят охотники, эта холодная мокрая замазка с двумя дырочками, никогда не перестанет удивлять человека. Бывает, ветер нанесет собаке на открытом болоте запах маленькой птички гаршнепа с такого расстояния, что скажешь потом другому охотнику и он улыбнется и припишет это общей слабости охотников все удачу свои преувеличивать. Да вот и сам я сейчас, рассказывая о чутье собак, остерегаюсь выразить свои чудесные случаи в метрах. Знаю, что скажут он врет, знаю, впрочем, что спроси его самого о своих случаях в опытах на дальность чутья — и он махнет еще много дальше, чем я.

Еще удивительней кажется чутье гончих, несущихся во весь дух по невидимому на чернотропе следу зайца или же лисицы. И мало того! Случается, портая гончая на своем сумасшедшем пробеге старается держаться в стороне от следа, чтобы сила запаха зверя не сбивала чутье. Поразительна тоже для человека мощность легких у гончих и мускульная сила их ног. Сплошь и рядом бывает, что гончая с короткими перерывами лая и бега на заячьих скидках и сметках так и прогоняет зайца весь день.

А какой слух у собак! В лесу глухом, заваленном снегом, охотник идет с лайкой по следу куницы. Вдруг куница махнула на дерево и, невидимая, верхом пошла по кронам, почти сходящимся. Тогда охотник глядит на царапки куньих лапок по снежным веткам деревьев, на посорки, падающие сверху из-под лапок зверька, царапающих кору на стволах и ветках деревьев. И вот как будто и нет никаких признаков зверя, охотник ничего больше не слышит и ничего не может рассмотреть. Но лайка остановилась, поставила уши рожками и все поняла по

слуху: она слышала, как упала посорка, точно определила место на дереве, откуда слетела частичка коры, и что-то увидела там. Охотник поглядел туда внимательно и тоже увидел.

Точно так же каждый охотник-любитель, что бывал с легавой собакой на тяге вальдшнепов, когда в полной для нас тишине в напряженном ожидании вдруг видит, будто электроток пробежал по собаке. Как стрела компаса, повернулась собака туда-сюда и, наконец, стала, и носом своим, как стрелкой, указывает место, откуда следует ждать желанного звука. Охотник повертывается по собаке, как по компасной стрелке, ждет, ждет и вот сам действительно слышит, — собака никогда его не обманет, — слышит известный волнующий звук токующего на лету вальдшнепа, знакомый всякому охотнику: "хор-хор!" и "цик!"

Так собака на охоте бывает как бы дополнением человека, как тоже и лошадь, когда человек на ней едет верхом.

Но собака не лошадь, собака настоящий, можно сказать, задушевный друг человека, и все-таки не сливается с ним в один образ, как сливается лошадь с человеком в кентавре. Может быть, это потому так, что самое главное в собаке для человека — это чутье. Но чутье это не как хвост у лошади: чутье надо приставить к самому лицу человека, а лицо человека для поэта неприкосновенно. Впрочем, и то надо помнить, что время древних натуралистов прошло, и теперь мы больше заняты душой человека и животных, не внешним их выражением, а внутренней связью.

И если понадобится нам найти имя такой связи между человеком и собакой, то мы все знаем, имя этой связи есть дружба.

И тысячи поэтических произведений в стихах и прозе, тысячи живописных и скульптурных произведений посвящены дружбе человека с собакой.

Среди охотников распространено даже такое поверье, будто у настоящего охотника за всю его жизнь бывает только одна-единственная настоящая собака.

Конечно, фактически это поверье является нелепостью: собачья жизнь короткая в сравнении с жизнью человека, мало ли за жизнь свою человек может раздобыть себе собак с превосходным чутьем и поиском. Смысл этого поверья относится, конечно, не к рабочим качествам собаки, а к самой душе человека: по-настоящему любимой у человека может быть собака только одна.

И это правда!

Лада

Три года тому назад был я в Завидове, хозяйстве Военно-охотничьего общества. Егерь Николай Камолов предложил мне посмотреть у своего племянника в лесной сторожке его годовую сучку, пойнтера Ладу.

Как раз в то время собачку себе я приискивал. Пошли мы наутро к племяннику. Осмотрел я Ладу: чуть-чуть она была мелковата, чуть-чуть нос для сучки был короток, а прут толстоват. Рубашка у нее вышла в мать, желто-пегого пойнтера, а чутье и глаза — в отца, черного пойнтера. И так это было занятно смотреть: вся собака в общем светлая, даже просто белая с бледно-желтыми пятнами, а три точки на голове, глаза и чутье, как угольки. Головка, в общем, была очаровательная, веселая. Я взял хорошенькую собачку себе на колени, дунул ей в нос — она сморщилась, вроде как бы улыбнулась, я еще раз дунул, она сделала попытку меня за нос схватить.

— Осторожней! — предупредил меня старый егерь Камолов.

И рассказал мне, что у его свата случай был: тоже вот так дунул на собаку, а она его за нос, и так человек на всю жизнь остался без носа. И какой уж это есть человек, если ходит без носа!

Хозяин Лады очень обрадовался, что собака нам понравилась: он не понимал охоты и рад был продать ненужную собаку.

— Какие умные глаза! — обратил мое внимание Камолов.

— Умница! — подтвердил племянник. — Ты, дядя Николай, главное, хлещи ее хвощи, как ни можно сильнее, она все поймет.

Мы посмеялись с егерем этому совету, взяли Ладу и отправились в лес пробовать ее поиск, чутье. Конечно, мы действовали исключительно лаской, давали по кусочку сала за хорошую работу, за плохую, самое большее, пальцем грозили. В один день умная собачка поняла всю нашу премудрость, а чутье, наверно, ей досталось от деда Камбиза чутье небывалое!

Весело было возвращаться на хутор: не так-то легко ведь найти собаку такую прекрасную.

— Не Ладой бы ее звать, а Находкой, настоящая находка! — повторял Камолов.

И так мы оба очень радостные приходим в сторожку.

— А где же Лада? — спросил нас удивленно хозяин.

Глянули мы — и видим: действительно, с нами нет Лады. Все время шла с нами, а как вот к дому подошла, как провалилась сквозь землю. Звали, манили, ласково и грозно: нет и нет. Так вот и ушли с одним горем. А хозяину тоже несладко. Так нехорошо, нехорошо вышло. Хотели хоть что-нибудь хозяину дать, — нет, не берет.

— Только собрались Находкой назвать, — сказал Камолов.

— Не иначе, как леший увел! — посмеялся на прощанье племянник.

И только мы без хозяина прошли шагов двести по лесу, вдруг из кустика выходит Лада. Какая радость! Мы, конечно, назад, к хозяину. И только повернули, вдруг опять Лады нет, опять — как сквозь землю. Но в этот раз мы больше ее не искали, мы, конечно, поняли: хозяин колотил ее, а мы ласкали и охотились, вот она и пряталась, вот и все... И как только мы повернули домой, Лада, конечно, из куста явилась. По пути домой мы много смеялись, вспоминая слова хозяина: "Хлещи, дядя Николай, хвощи, как ни можно сильнее, она все поймет!"

И поняла!

Лада теперь у меня уже четвертое поле работает отлично и по лесу и по болоту. Но самая любимая у нее дичь — это жирные длинноносые дупеля. В этой охоте все дело в чутье и в широте поиска. Охотников на дупелей великое множество, и надо успеть в короткое время обыскать места как можно больше. У меня есть жест такой: махну рукой по всему горизонту и Лада летит, расширяя круги все дальше и дальше. И когда сделает стойку очень далеко и разглядит, что я не тороплюсь, возьмет и ляжет. Люблю я это гостю показать. Увидит он, что Лада легла по дупелю, затрясется весь от радости и бежать, а я его за рукав удерживаю, посмеиваюсь:

— Успокойся, успокойся, с этой собакой можешь не торопиться.

И даю закурить. И по дороге что-нибудь нарочно рассказываю забавное.

Вот убьет гость дупеля, положит в сетку жирного, доволен-предоволен, весь так и сияет.

— Ну и собака! — скажет. — А на какое самое большое расстояние от охотника она так может лечь и ждать?

— А хоть на полверсты, — говорю, — хоть на версту ляжет и ждет. Бывает, жарко, иду, не тороплюсь, она заждется, скучно станет, возьмет и свернется калачиком. Прихожу, а из болота от ее тяжести вода выступит, и она в воде хоть бы что! Подивлюсь я, посмеюсь и говорю ей: "А вот ведь пословица говорится: "Под лежащий камень и вода не побежит..."

Гость расхохочется.

— Собака замечательная, — говорит, — вижу своими глазами и всему поверю: и что за полверсты ляжет, и даже что за версту. А вот что калачиком перед птицей свернется, этому, хоть убей меня, не поверю!

Ну, конечно, мне тоже не хочется сознаваться, что на радости немного увлекся, и в оправдание себе привожу гостю всем известный охотничий рассказ: все его знают, и все охотно еще раз выслушивают. Наверно, и вы это слышали, как один охотник пришел на болото, и собака его сделала стойку по дупелю. В тот самый момент, когда охотник направился к собаке, ему подадут телеграмму, и он, не помня себя, бежит к лошади. Долго спустя вспомнил, что оставил на болоте собаку на стойке по дупелю. И махнул рукой на собаку. Через год является на то же место с другой собакой, и вот видит: на том же месте, где прошлый год собака стояла, теперь в той же позе скелет ее стоит, и дупель тоже умер на месте и тоже превратился в скелет.

— Вот как, — говорю я гостю, — по-настоящему врут, а что Лада от скуки свернулась калачиком...

— Лучше я скелету поверю, — говорит гость, — чем чтобы в ожидании охотника перед самой птицей в воде собака свернулась калачиком.

Белая радуга

Видал ли кто-нибудь белую радугу? Это бывает на болотах в самые хорошие дни. Для этого нужно, чтобы в утренний час поднялись туманы, и солнце, показываясь, лучами пронизывало их. Тогда все туманы собираются в одну очень плотную дугу, очень белую, иногда с розовым оттенком, иногда кремовую. Я люблю белую радугу.

Белая радуга в это утро одним концом своим легла в лесистую пойму, перекинулась через наш холм и другим концом своим спустилась в ту болотистую долину, где я сегодня буду натаскивать Нерль.

Рожь буреет. Луговые цветы в этом году благодаря постоянным дождям необыкновенно ярки и пышны. В мокрых, обливающих меня ольховых болотных кустах я скоро нашел тропу в болота и увидел на ней далеко впереди: утопая в цветах, свесив на грудь мглистую бороду, спускался в долину простой Берендей. Я залюбовался долиной, над которой носились кроншнепы, и до тех пор не мог тронуться с места, пока Берендей скрылся в приболотных кустах. Тогда и я сам, как Берендей, утопая в роскошных цветах, среди которых была, впрочем, и Чертова теща, стал спускаться по следам того старого Берендея в приболотницу, высокий кочкарник, заросший

мелкими корявыми березками. Эта широкая полоса приболотницы, сходящая на нет возле пойменного луга, казалась мне прекрасным местом для гнездования бекасов и дупелей. Я только собрался было ползти в кочках, как вдруг вдали над серединой зеленой долины услышал желанный крик, похожий на равномерное повизгивание ручки ведра, когда с ним идут за водой: "Ка-чу-ка-чу..." — кричал бекас, вилочкой сложив крылья и так спускаясь в долину. Точно заметив место, куда опустился бекас, я с большим вниманием веду туда на веревочке Нерль. Трава очень высокая, но там, где спустился бекас, все ниже, ниже, и вот, наконец, на топкой, желтоватом мошом покрытой плешине, по-моему, и должен бы находиться бекас. Ставлю собаку против ветра и даю ей немного хлебнуть. А мой головной аппарат на это время почему-то занялся темой: "человек на этом деле собаку съел". Мне думается, эта поговорка пошла от егерей: в дрессировке тугой собаки человек до того может себя потерять, что стоит и орет без смысла, без памяти, а безумная собака носится по болоту за птицами, это значит — собака съела охотника. Но бывает, собака не только слышит и понимает слова, но даже если охотник, вспомнив что-то, тяжело вздохнет на ходу, идущая рядом собака остановится и приглашает глазами поделиться с ней этой мыслью, вызвавшей вздох: вот до чего бывает очеловечена собака, и это называется, значит, человек на своем деле собаку съел.

Нерль у меня полудикая, и, пуская ее возле самого бекаса, я волнуюсь, что сегодняшним утром с белой радугой съест она во мне доброго и вдумчивого человека, каким стараюсь я быть. И тут же, волнуясь, ласкаю себя надеждой, что не ошибся в выборе собаки, что совершится почти невозможное: собака с первого раза поймет запах бекаса и поведет. Но нет, или она его не чует, или вовсе нет его вблизи этой плешинки. Раздумывая об исчезнувшем бекасе, я вспомнил Берендея и подумал, не он ли это тогда поднял бекаса. В то же время слышу кто-то кричит:

— Эй, ты, борода!

Вижу, сам Берендей, свесив на грудь мглистую бороду, одной рукой опирается на косу, а другой показывает мне куда-то на мысок, поросший мелкими корявыми березками. Теперь все вдруг мне стало понятно: проходя мысиком, Берендей спугнул самку бекаса, она, бросив пасты своих молодых, высоко взлетела, опустилась, и тут на спуске я ее увидел. А в то время как я подходил, пустилась бежать между кочками, как между высокими небоскребами, невидимая мне, в ту сторону, где оставила своих молодых. Все эти проделки я наблюдал множество раз и теперь не ошибся: только я стал на березовый мысок, бекасица с криком «ка-чу-ка-чу» взлетела и неподалеку, как в воду, канула в болотную траву. Внизу в невидимых глазу темных таинственных коридорах кочкарника бекасица бежит свободно, взлетает, когда ей вздумается на нас посмотреть, опять садится близехонько и сигнализирует детям.

Там в осоке есть небольшой плес, и к нему лучами сходятся среди обыкновенной болотной травы темно-зеленые полосы: это бегут невидимые ручьи под травой. У самой воды редет осока и плес окружает драгоценная для ночной жизни бекасов открытая грязь, в нее они запускают длинные свои носы и этими пинцетами отлично достают себе червяков. На середине воды кувшинки, их стволы, свернутые кольцами, охотники называют батышками, тут на этих батышках дневной утиный присадок. Около плеса мы и нашли сразу весь выводок молодых, их всех было четыре, в матку ростом, но вялые на полете. Взяв Нерль на веревочку, я направил ее к месту, где опустился замеченный мною молодой бекас. И много же мы помяли травы, но найти не могли даже и молодого бекаса. Потом я перешел на другую сторону плеса, где опустился второй из выводка, много и тут намесил, но разыскать не мог и второго. Утомленный долгой бесплодной работой, вынул я папиросы, стал закуривать, а веревочку бросил. В тот момент, когда я все свое внимание сосредоточил на конце папироски и горящей спички, чтобы одно пришлось верно к другому, я вдруг почувствовал, что там, вне поля моего ясного зрения, что-то произошло. Взглянув, я увидел: бекасеночек тряпочкой летит в десяти шагах от меня, а

Нерль, крайне удивленная, смотрит на него из травы. Я еще не догадывался, почему же именно бекас нашелся в то время, когда я пустил свободно веревку и занялся своей папироской. Звено моей мысли, соответствующее настоящему сознанию собаки, выпало, и потому дальнейшее мне явилось вдруг...

...В данный момент я не иду по болоту, а записываю звенья своей, осмелюсь сказать, творческой мысли. И как же не творческой, если хотя бы одну охотничью собаку я прибавляю к общему нашему богатству. Я видел, на стороне Берендей во время моей долгой работы с собакой косил траву и, отдыхая, иногда глядел на меня. Я уважал его дело: он тоже творил, его материал была трава. А Нерль? Сейчас я покажу, она была тоже творцом, ее материал был бекас. А у того тоже свое творчество — свои червяки, и так без конца в глубину биосферы смерть одного на одной стороне являлась созданием на другой. Вот вдали слышится свисток плавучего экскаватора. Эта замечательная машина, мало-помалу продвигаясь руслом речки вверх, приближалась к нашим болотам, чтобы спустить из них воду и осушить и сделать ненужной, бессмысленной мою артистическую работу в этих местах.

Я был утомлен, свисток машины был готов переключить мое жизнеощущение творца, уверенно и радостно поглощающего свои материалы, на унылое чувство необходимости самому рано или поздно для кого-то стать материалом. А человек, по колено в воде подсекающий осоку для зимнего корма своей единственной коровы, мне казалось, с насмешкой смотрел на мое бесполезное дело...

И вдруг... вот в том-то и дело, что никакого вдруг и не было вовсе. Это произошло только потому, что я, желая закурить, предоставил Нерли свободу. Множество лет предки породистой Нерли были в руках человека, который естественное стремление собаки подкрадываться к добыче и останавливаться, чтобы сделать прыжок и схватить, разделил: она останавливается, это ее стойка, а прыжок человек взял себе — этот прыжок, его выстрел, достигающий цели, гораздо вернее собаки. За множество лет культуры это вошло в кровь легавой собаки — стоять по найденной дичи, выполнение стойки стало ее свободой, а дело дрессировщика — только умело напомнить о живущем в ней ее назначении. Но я не напомнил своей Нерли, а только сбивал, потягивая веревочку. И когда я сбросил веревку, она осталась на свободе и сразу нашла бекасенка, — это действие чувства свободы, необходимое и для собачьего творчества, и было пропущенным мною звеном. Теперь я все восстанавливаю. Причужав на свободе бекасенка, она не сразу нашла в наследственных навыках, потянулась, спугнула. Она подняла голову высоко из травы, чтобы поглядеть в сторону улетающего, но ветерок принес ей какой-то новый запах с другой стороны, она поиграла ноздрями, на мгновение взглянула на меня и что-то вспомнила... Совершенно так же, как в жмурках, бывало мы, ребята, шли с завязанными глазами, так и она переступала с лапки на лапку в направлении леса. Там на грязи было множество ночных следов. Я бы рад был, если бы она верхним чутьем подвела к ночным следам улетевших на рассвете бекасов. Довольно мне, чтобы она остановилась по ним с подогнутой лапой и так замерла. Но она, кроме того, повернула ко мне голову и просила глазами:

"Дело какое-то очень серьезное, такого еще не бывало, иди помогать, только не торопись, не шлепай, я же все равно почему-то дальше не могу тронуться".

А когда я к ней, наконец, подошел совсем близко, дрогнула, заволновалась, как бы стыдясь, стесняясь.

"Так ли я все это делаю?"

Я гладил ее, вглядываясь своим охотничьим взглядом и такое заметил, чего бы ей никогда не

разглядеть: шагах в десяти от нас из-под травы густой и темной выбивался в плес небольшой ручеек, между рукавами его был ржавого цвета круглый, не больше сиденья венского стула, остров, и тут на нем я сразу обратил внимание на две золотистые, округло по бутылочке к горлышку сходящиеся линии, все кончилось длинным носом, отчетливым на фоне дальнейшей воды, — это был маленький гаршнеп, только по золотистым линиям и носу различимый от окружающей его ржавчины, согласной с остальным его оперением.

А Нерль все стояла.

Как хорошо мне было!

Я посмотрел в ту сторону, где Берендей косил осоку. Опираясь на косу, этот другой творец внимательно смотрел на меня.

Я показал ему рукой на собаку, передавая слова:

— Смотри, не напрасно я трудился все утро, смотри, стоит!

Берендей бросил косу, развел руками, передавая слова:

— Удивляюсь, егерь, удивляюсь, больших денег теперь стоит собака!

Соловей-топограф

Если бы не собрался целый архив писем охотников, свидетельствующих мне свое доверие, я не решился бы ни за что рассказывать об этом удивительном случае с моим гонцом — Соловьем, показавшим невероятный пример топографической памяти гончих собак.

Было это под Загорском.

В густом тумане лисица ходила неправильными кругами, и, как мы ни бились, не могли ее подстоять. Свечерело, я выстрелил по мелькнувшей в кустах тени, промахнулся, и лиса пошла наутек, и за ней, удаляясь в прямом направлении и постепенно затихая, понесся и Соловей...

Мы ждали Соловья чуть ли не до полуночи, а когда вернулись домой, то оставили калитку к нам на двор открытой. Так сплошь и рядом у нас бывало: Соловей ночью вернется и ляжет в своей теплой конуре.

В этот раз мы утром проснулись, глянули на двор — и обмерли: возле будки Соловья лежала неподвижная цепь с растянутым ошейником.

Вот только этим, одним только этим и тягостна бывает охота с гончим мастером. Самые хорошие мастера не позывисты, они до тех пор не бросят гон, пока ты не убьешь зверя. А сколько раз случается, что до вечера не постоишь, и потом, уходя, потихоньку все оглядываешься, все ждешь, трубишь, трубишь, губы обморозишь, горло высушишь, и все нет и нет. А наутро встанешь рано, выйдешь в поле, глянешь через поле в лес, и вот заметишь, бывает, там вдалеке сорока, тоненькая как спичка, на березе сидит, и голова у нее вниз, а хвост вверх. Это значит, что там внизу падаль лежит и кто-то на падали сидит и не пускает сороку, и она дожидается, когда этот кто-то наестся и освободит место.

— Не волк ли?

И направишься туда. Но поле большое, идти не хочется. Возьмешься тогда за трубу: если это

волк, то он от трубы убежит, а сорока слетит вниз. И трублю, вот трублю! Сорока же сидит и глядит вниз. Значит, не волк, и является надежда.

А еще потрубишь — и вот из овражка показывается самая дорогая для охотника, самая милая на свете и такая знакомая голова. Сорока же стрелой летит вниз...

Раз было еще и так, что пришли мы в лес на другой день после гона и слышим: кто-то глухо и странно отзывается на трубу. Прислушиваемся лучше и не понимаем: это не вдали отзывается, а тут же где-то близко, и вроде как бы даже и под землей. Вскоре затем разобрались хорошенько, и вдруг поняли: это возле лисьих нор отзывается. Пришли к лисьим норам, и вот какая вышла беда: лиса вчера влетела в барсучью нору, и Соловей за ней, и сгоряча залез в отнорок, и так залез, что ни вперед, ни назад.

Понемногу он все-таки, очевидно, подавался вперед, а то бы, наверное, замерз. И так, согреваясь, за ночь он продвинулся, и всего оставалось до выхода каких-нибудь полметра, но тут выход преградили корни березы.

Лиса прошмыгнула, а Соловей застрял, и так бы скоро погиб, если бы мы не услышали его хрип, стон и вой в ответ на трубу...

Возвращаюсь к нашему рассказу.

Вот, как только мы увидали, что возле будки Соловья лежит неподвижная цепь с растянутым ошейником, сразу же мы кто куда: кто в лес, кто в милицию, надо же где-то собаку искать.

Так проходит день, а на другой день, когда в городе о пропаже собаки моего знаменитого во всей округе Соловья — всем стало известно, у нас дверь на петлях не стоит, то и дело слышим: "Идите скорей, ваш Соловей на улице ходит". Поглядишь, а это совсем не Соловей.

Так и работа остановлена, и есть не хочется, и сон отлетает, и одна только мысль о собаке, и жизнь без такой собаки как-то даже и вовсе не нравится.

И вдруг неожиданно-негаданно приходит из Васильевского Илья Старов и ведет на поводке Соловья.

Вот тут-то и приходится мне просить поверить невероятному.

Только единственный раз, год тому назад, был я у этого Старова на охоте за русаками, от Загорска это село верст восемнадцать.

Мы убили в Васильевском за день двух русаков и ночевали у Старова. Хорошо помню, что железка горела, и ребятишки лежали возле железки, и Соловей растянулся рядом с ребятишками.

И после с тех пор мы не бывали в Васильевском. А через год Соловей за лисой прибежал в окрестности Васильевского и, когда ночью опомнился или, может быть, просто загнал лисицу в нору, вспомнил Васильевское, разыскал в нем дом Старова и лег на сено в сарае. Утром Старов и нашел его в сарае и не повел его ко мне в тот же день только потому, что Соловей на ноги не мог наступить.

Первая стойка

Мой легавый щенок называется Ромул, но я больше зову его Ромой, или просто Ромкой, а

изредка величаю его Романом Василичем.

У этого Ромки скорее всего растут лапы и уши. Такие длинные у него выросли угли, что когда вниз посмотрит, так и глаза закрывают, а лапами он часто что-нибудь задевает и сам кувиркается.

Сегодня был такой случай: поднимался он по каменной лестнице из подвала, зацепил своей лапиной полкирпича, и тот покатился вниз, считая ступеньки. Ромушка этому очень удивился и стоял наверху, спустив уши на глаза. Долго он смотрел вниз, повертывая голову то на один бок, то на другой, чтобы ухо отклонилось от глаза и можно было смотреть.

— Вот штука-то, Роман Василич, — сказал я, — кирпич-то вроде как живой, ведь скачет!

Рома поглядел на меня умно.

— Не очень-то заглядывайся на меня, — сказал я, — не считай галок, а то он соберется с духом, да вверх поскачет, да тебе даст прямо в нос.

Рома перевел глаза. Ему, наверное, очень хотелось побежать и проверить, отчего это мертвый кирпич вдруг ожил и покатился. Но спуститься туда было очень опасно: что если там кирпич схватит его и утянет вниз навсегда в темный подвал?

— Что же делать-то, — спросил я, — разве удрать?

Рома взглянул на меня только на одно мгновение, и я хорошо его понял, он хотел мне сказать.

— Я и сам подумываю, как бы удрать, а ну как я повернусь, а он меня схватит за прутик?[\[11\]](#)

Нет, и это оказывается невозможным, и так Рома долго стоял, и это была его первая стойка по мертвому кирпичу, как большие собаки постоянно делают, когда носом почуют в траве живую дичь.

Чем дольше стоял Ромка, тем ему становилось опасней и страшней: по собачьим чувствам выходит так, что чем мертвее затаится враг, тем ужаснее будет, когда он вдруг оживет и прыгнет.

— Перестояю, — твердит про себя Ромка.

И чудится ему, будто кирпич шепчет:

— Перележу.

Но кирпичу можно хоть и сто лет лежать, а живому песику трудно, устал и дрожит.

Я спрашиваю:

— Что же делать-то, Роман Василич?

Рома ответил по-своему:

— Разве брехнуть?

— Вали, — говорю, — лай!

Ромка брехнул и отпрыгнул. Верно со страху ему показалось, будто он разбудил кирпич и тот чуть-чуть шевельнулся. Стоит, смотрит издали, — нет, не вылезает кирпич. Тихонечко подкрадывается, глядит осторожно вниз: лежит.

— Разве еще раз брехнуть?

Брехнул и отпрыгнул.

Тогда на лай прибежала Кэт, Ромина мать, впилась глазами в то место, куда лаял сын, и медленно, с лесенки на лесенку стала спускаться. На это время Ромка, конечно, перестал лаять, доверил это дело матери и сам глядел вниз много смелее.

Кэт узнала по запаху Роминой лапы след на страшном кирпиче, понюхала его: кирпич был совершенно мертвый и безопасный. Потом, на случай, она постепенно обнюхала все, ничего не нашла подозрительного и, повернув голову вверх, глазами сказала сыну:

— Мне кажется, здесь все благополучно.

После того Ромул успокоился и завиял прутиком. Кэт стала подыматься, он нагнал мать и принялся теревить ее за ухо.

Ужасная встреча

Это известно всем охотникам, как трудно выучить собаку не гоняться за зверями, кошками и зайцами, а разыскивать только птицу.

Однажды во время моего урока Ромке мы вышли на полянку. На ту же полянку вышел тигровый кот. Ромка был с левой руки от меня, а кот — с правой, и так произошла эта ужасная встреча. В одно мгновение кот обернулся, пустился наутек, а за ним ринулся Ромка. Я не успел ни свистнуть, ни крикнуть "тубо"[\[12\]](#).

Вокруг на большом пространстве не было ни одного дерева, на которое кот мог бы взобраться и спастись от собаки, — кусты и полянки без конца. Я иду медленно, как черепаха, разбирая следы Ромкиных лап на влажной земле, на грязи, по краям луж и на песке ручьев. Много перешел я полянок, мокрых и сухих, перебрел два ручейка, два болотца, и, наконец, вдруг все открылось: Ромка стоит на поляне неподвижный, с налитыми кровью глазами; против него, очень близко, тигровый кот — спина горбатым деревенским пирогом, хвост медленно поднимается и опускается. Нетрудно мне было догадаться, о чем они думали.

Тигровый кот говорит:

— Ты, конечно, можешь на меня броситься, но помни, собака, за меня тигры стоят! Попробуй-ка, сунься, пес, и я дам тебе тигра в глаза.

Ромку же я понимал так:

— Знаю, мышатница, что ты дашь мне тигра в глаза, а все-таки я тебя разорву пополам! Вот только позволь мне еще немного подумать, как лучше бы взять тебя.

Думал и я: "Ежели мне к ним подойти, кот пустится наутек, за ним пустится и Ромка. Если попробовать Ромку позвать..."

Долго раздумывать, однако, было мне некогда. Я решил начать усмирение зверей с разговора

по-хорошему. Самым нежным голосом, как дома в комнате во время нашей игры, я назвал Ромку по имени и отчеству:

— Роман Василич!

Он покосился. Кот завыл.

Тогда я крикнул тверже:

— Роман, не дури!

Ромка оробел и сильное покосился. Кот сильнее провыл.

Я воспользовался моментом, когда Ромка покосился, успел поднять руку над своей головой и так сделать, будто рублю головы и ему, и коту.

Увидев это, Ромка подался назад, а кот, полагая, будто Ромка струсил, и втайне, конечно, радуясь этому, провыл с переливом обыкновенную котовую победную песню.

Это задело самолюбие Ромки. Он, пятясь задом, вдруг остановился и посмотрел на меня, спрашивая.

— Не дать ли ему?

Тогда я еще раз рукой в воздухе отрубил ему голову и во все горло выкрикнул бесповоротное свое решение:

— Тубо!

Он подался еще к кустам, обходом явился ко мне. Так я сломил дикую волю собаки.

А кот убежал.

Школа в кустах

Необходимо научить молодую легавую собаку, чтобы она бегала в поле вокруг охотника не далее ружейного выстрела, на пятьдесят шагов, а в лесу еще ближе, и главное всегда бы помнила о хозяине и не увлекалась своими делами. Вот это все вместе — ходить правильными кругами в поле и не терять хозяина в лесу — называется правильным поиском.

Я пошел на холм, покрытый кустарником, и прихватил с собой Ромку. Этот кустарник отводят жителям слободы для вырубки на топливо, и потому он называется отводом. Конечно, тут все поделено на участки, и каждый берет со своей полосы, сколько ему понадобится. Иной вовсе не берет, и его густой участок стоит островком. Иной вырубают что покрупнее, а мелочь продолжает расти. А бывает и все вырубают дочиста, на такой полосе остается только ворох гниющего хвороста. Вот почему весь этот большой холм похож на голову, остриженную слепым парикмахером.

Трудно было думать, чтобы на таком месте вблизи города могла водиться какая-нибудь дичь, а учителю молодой собаки такое пустое место на первых порах бывает гораздо дороже, чем богатое дичью. На пустом месте собака учится одному делу: правильно бегать, ни на минуту не забывая хозяина.

Я отстегнул поводок, погладил Ромку. Он и не почувствовал, когда я отстегнул, стоял возле

меня, как привязанный.

Махнув рукой вперед, я сказал:

— Ищи!

Он понял и рванулся. В один миг он исчез было в кустах, но, потеряв меня из виду, испугался и вернулся. Несколько секунд он стоял и странно смотрел на меня, — казалось, он фотографировал, чтобы унести с собой отпечаток моей фигуры и потом постоянно держать его в памяти среди кустов и пней, не имеющих человеческой формы. Окончив эту свою таинственную работу, он показал мне свой вечно виляющий прут и убежал.

В кустах — не в поле, где всегда видно собаку. В лесу надо учить, чтобы собака, исчезнув с левой руки, сделала невидимый круг и показалась на правой руке, вертелась волчком.

И я должен знать, что если собака не вернулась с правой руки, значит, где-нибудь она вблизи почуяла дичь и стала по ней. Особенно хорошо бывает следить за собакой, когда идешь просекой, собака то и дело пересекает тропу.

Вот мой Ромка исчез в кустах и не вернулся. Я очень рад, его чувство свободы оказалось на первых порах сильнее привязанности к хозяину. Пусть будет так, я его понимаю: я охотник и тоже это люблю. Я только научу его пользоваться свободой согласно со мной, так и мне и ему будет лучше. Большими скачками, чтобы не оставлять за собой частых следов, по которым легко было бы ему меня разыскать, я перебегаю через кусты на другую полянку. Там на середине стоит большой куст можжевельника. Я разбежался, сделал огромный скачок в середину куста и затаился.

По мокрой земле не был слышен топот собачьих лап, но зато издали донесся до меня треск кустов и частое ха-ха-нье. Я понимаю хорошо это ха-ха-нье, он хватился меня, бросился со всех ног искать и сразу от сильного волнения задыхался. Однако он довольно верно рассчитал место моего нахождения: проносится по первой поляне, откуда я начал скакать.

Когда все снова затихло, я даю сигнал своим резким свистком. Очень похоже на игру в жмурки.

Мой свист достиг его слуха, вероятно, как раз в то время, когда он в недоумении стоял где-нибудь на полянке и прислушивался. Он верно определил исходную точку звука, пустился во весь дух с паровозным ха-ха-ньем и стал в начале полянки с кустом можжевельника.

Я замер в кусту.

От быстрого бега и ужасного волнения у него висел язык на боку челюсти. В таком состоянии, конечно, он ничего чують не мог, и расчет его был только на слух: уши переполовинил, одна половина стоит, другая, обламываясь, свисает и все-таки закрывает ушное отверстие. Пробует склонить голову на сторону, — не слышно, на другую — тоже не слышно. И, наконец, понял, в чем дело: он не слышит потому, что заглушает хозяйский звук своим дыханием, исходящим из открытого рта. Закрывает рот, второпях одну губу прихватил и так слушает с подобранной губой.

Чтобы не расхохотаться при виде такой смешной рожи с поджатой губой, я зажимаю себе рот рукой.

Но ему не слышно. Природа без хозяина ему кажется теперь как пустыня, где бродят одни

только волки, его предки. Они ему не простят за измену волчьему делу, за любовь к человеку, за его теплый угол, за его хлеб-соль. Они его разорвут на клочки и съедят. С волками жить, надо по-волчьи выть.

И он пробует. Он высоко поднимает голову вверх и воет.

Этого звука я у него никогда еще не слышал. Он действительно почувал волчью пустыню без человека. Совершенно так же воют молодые волки в лесу, когда мать ушла за добычей и долго не возвращается...

Да оно так и бывает. Волчья matka схватила овцу и несет ее к детям. Но охотник проследил ее путь и притаился в засаде. Волчица убита. Человек приходит к волчатам, берет их к себе и кормит. Неизмеримы запасы нежности в природе, свои чувства к матери волчата переносят на человека, лижут ему руки, прыгают на грудь. Они не знают, что этот человек застрелил их настоящую мать. Но дикие волки все знают, они смертельные враги человеку и этой изменнице волчьему делу, собаке.

Ромка так жалобно воет, что у меня сжимается сердце. Но жалеть мне нельзя: я учитель.

Я не дышу.

Он повертывается задом ко мне и слушает в другой стороне. Может быть, где-нибудь в поднебесье свистнул пролетающий кулик?

Не туда ли забрался хозяин и не он ли зовет к себе на небеса?

А вот это, наверно, в ближайшем болотце корова спугнула чибиса, и он, взлетая, высвистывал свое обыкновенное: "Чьи вы?" Это уж и не так высоко и не так далеко, очень возможно, это свистнул хозяин.

Ромка со всего маху ринулся на это "Чьи вы?", а я вслед ему резко в свисток: "Вот я!"

Он вернулся.

В какие-нибудь пятнадцать минут я измучил его и на всю жизнь напугал лесом пустым, без человека, поселил в нем ужас к жизни его предков, диких волков. И когда, наконец-то, я нарочно шевельнулся в кусту и он услышал это, и я закурил трубку, а он почувал запах табаку и узнал, то уши его опустились, голова стала гладкой, как арбуз. Я встал. Он лег виноватый. Я вышел из куста, погладил его, и он бросился в безумной радости с визгом скакать.

Ярик

Однажды я лишился своей легавой собаки и я охотился по бродкам, значит, росистым утром находил следы птиц на траве и по ним добирал, как собака, и не могу наверно сказать, но мне кажется, я немного и чуял.

В то время верст за тридцать от нас ветеринарному фельдшеру удалось повязать свою замечательную ирландскую суку с кобелем той же породы, та и другая собаки были из одного разгромленного богатого имения. И вот однажды в тот самый момент, когда жить стало особенно трудно, один мой приятель доставил мне шестинедельного щенка-ирландца. Я не отказался от подарка и выходил себе друга. Натаска без ружья мне доставляет иногда наслаждение не меньшее, чем настоящая охота с ружьем.

Помню, раз было... На вырубке вокруг старых черных пней было множество высоких, елочкой, красных цветов, и от них вся вырубка казалась красной, хотя гораздо больше тут было Иван-да-Марьи, цветов наполовину синих, наполовину желтых, во множестве тут были тоже и белые ромашки с желтой пуговкой в сердце, звонцы, синие колокольчики, лиловое кукушкино платье, каких, каких цветов не было, но от красных елочек, казалось, вся вырубка была красная. А возле черных пней еще можно было найти переспелую и очень сладкую землянику. Летним временем дождик совсем не мешает, я пересидел его под елкой, сюда же в сухое место собрались от дождя комары, и как ни дымил я на них из своей трубки — собаку мою, Ярика, они очень мучили. Пришлось развести грудок, как у нас называют костер, дым от еловых шишек повалил очень густой, и скоро мы выжили комаров и выгнали их на дождик. Но не успели мы с комарами расправиться, дождик перестал. Летний дождик — одно только удовольствие.

Пришлось все-таки под елкой просидеть еще с полчаса и дожждаться, пока птицы выйдут кормиться и дадут по росе свежие следы. Когда по расчету это время прошло, мы вышли на красную вырубку, и, сказав:

— Ищи, друг! — я пустил своего Ярика.

Ярику теперь пошло третье поле. Он проходит под моим руководством высший курс ирландского сеттера, третье поле — конец ученью, и если все будет благополучно, в конце этого лета у меня будет лучшая в мире охотничья собака, выученный мной ирландский сеттер, неумимый и с чутьем на громадное расстояние.

Часто я с завистью смотрю на нос своего Ярика и думаю: "Вот, если бы мне такой аппарат, вот побежал бы я на ветерок по цветущей красной вырубке и ловил бы и ловил интересные мне запахи".

Но не чуткие мы и лишены громадного удовольствия. Мы постоянно спрашиваем: "Как ваше зрение, хорошо ли вы слышите?", но никто из нас не спросит: "Как вы чувствуете, как у вас дела с носом?" Много лет я учу охотничьих собак. Всегда, если собака причует дичь и поведет, испытываю большое радостное волнение и часто думаю: "Что же это было бы, если бы не Ярик, а я сам чуял дичь?"

— Ну, ищи, гражданин! — повторил я своему другу.

И он пустился кругами по красной вырубке.

Скоро на опушке Ярик остановился под деревьями, крепко обнюхал место, искоса, очень серьезно посмотрев на меня, пригласил следовать: мы понимаем друг друга без слов. Он повел меня за собой очень медленно, сам же уменьшился на ногах и очень стал похож на лисицу.

Так мы пришли к густой заросли, в которую пролезть мог только Ярик, но одного его пустить туда я бы не решился: один он мог увлечься птицами, кинуться на них, мокрых от дождя, и погубить все мои труды по обучению. С сожалением хотел было я его отозвать, но вдруг он вильнул своим великолепным, похожим на крыло, хвостом, взглянул на меня; я понял, он говорил:

— Они тут ночевали, а кормились на поляне с красными цветами.

— Как же быть? — спросил я.

Он понюхал цветы: следов не было. И все стало понятно: дождик смыл все следы, а те, по

которым мы шли, сохранились, потому что были под деревьями.

Оставалось сделать новый круг по вырубке до встречи с новыми следами после дождя. Но Ярик и полукруга не сделал, остановился возле небольшого, но очень густого куста. Запах тетеревов пахнул ему на всем ходу, и потому он стал в очень странной позе, весь кольцом изогнулся и, если бы хотел, мог во все удовольствие любоваться своим великолепным хвостом. Я поспешил к нему, огладил и шепотом сказал:

— Иди, если можно!

Он распрямился, попробовал шагнуть вперед, и это оказалось возможно, только очень тихо. Так, обойдя весь куст кругом, он дал мне понять: "Они тут были во время дождя".

И уже по самому свежему следу, по роске, по видимому глазом зеленому бродку на седой от капель дождя траве повел, касаясь своим длинным пером на хвосте самой земли.

Вероятно, они услышали нас и тоже пошли вперед, я это понял по Ярику, он мне по-своему доложил:

— Идут впереди нас и очень близко.

Они все вошли в большой куст можжевельника, и тут Ярик сделал свою последнюю мертвую стойку. До сих пор ему еще можно было время от времени раскрывать рот и хахат, выпуская свой длинный розовый язык, теперь же челюсти были крепко стиснуты, и только маленький кончик языка, не успевший вовремя вобраться в рот, торчал из-под губы, как розовый лепесток. Комар сел на розовый кончик, впился, стал наливаясь, и видно было, как темно-коричневая, словно клеенчатая, тюпка на носу Ярика волновалась от боли и танцевала от запаха, но убрать язык было невозможно: если открыть рот, то оттуда может сильно хахнуть и птиц испугать.

Но я не так волновался, как Ярик, осторожно подошел, ловким щелчком скинул комара и полюбовался на Ярика сбоку: как изваянный, стоял он с вытянутым в линию спины хвостом-крылом, а зато в глазах собралась в двух точках вся жизнь.

Тихонько я обошел куст и стал против Ярика, чтобы птицы не улетели за куст невидимо, а поднялись вверх.

Мы так довольно долго стояли, и, конечно, они в кусту хорошо знали, что мы стоим с двух сторон.

Я сделал шаг к кусту и услышал голос тетеревиной матки, она квохнула и этим сказала детям.

— Лечу, посмотрю, а вы пока посидите.

И со страшным треском вылетела.

Если бы на меня она полетела, то Ярик бы не тронулся, и если бы даже просто полетела над ним, он не забыл бы, что главная добыча сидит в кусту, и какое это страшное преступление бежать за взлетевшей птицей. Но большая серая, почти в курицу, птица вдруг кувыркнулась в воздухе, подлетела почти к самому Ярикову носу и над самой землей тихонько полетела, маня его криком:

— Догоняй же, я летать не умею!

И, как убитая, в десяти шагах упала на траву и по ней побежала, шевеля высокие красные цветы.

Этого Ярик не выдержал и, забыв годы моей науки, ринулся.

Фокус удался, она отманила зверя от выводка и, крикнув в кусты детям.

— Летите, летите все в разные стороны, — сама вдруг взмыла над лесом и была такова.

Молодые тетерева разлетелись в разные стороны, и как будто слышалось издали Ярику:

— Дурак, дурак!

— Назад! — крикнул я своему одураченному другу.

Он опомнился и виноватый медленно стал подходить.

Особенным, жалким голосом я спрашиваю:

— Что ты сделал?

Он лег.

— Ну, иди же, иди!

Ползет виноватый, кладет мне на коленку голову, очень просит простить.

— Ладно, — говорю я, усаживаясь в куст, — лезь за мной, смирно сиди, не хахай: мы сейчас с тобой одурачим всю эту публику.

Минут через десять я тихонько свищу, как тетеревята:

— Фиу, фиу!

Значит:

— Где ты, мама?

— Квох, квох, — отвечает она, и это значит:

— Иду!

Тогда с разных сторон засвистело, как я:

— Где ты, мама?

— Иду, иду, — всем отвечает она.

Один цыпленок свистит очень близко от меня, я ему отвечаю, он бежит, и вот я вижу у меня возле самой коленки шевелится трава.

Посмотрев Ярику в глаза, погрозив ему кулаком, я быстро накрываю ладонью шевелящееся место и вытаскиваю серого, величиною с голубя, цыпленка.

— Ну, понюхай, — тихонько говорю Ярику.

Он отвертывает нос: боится хамкнуть.

— Нет, брат, нет, — жалким голосом прошу я, — поню-хай-ка!

Нюхает, а сам, как паровоз.

Самое сильное наказание.

Вот теперь я уже смело свищу и знаю, непременно прибежит ко мне matka: всех соберет, одного не хватит — и прибежит за последним.

Их всех, кроме моего, семь; слышу, как один за другим, отыскав мать, смолкают, и когда все семь смолкли, я, восьмой, спрашиваю:

— Где ты, мама?

— Иди к нам, — отвечает она.

— Фиу, фиу: нет, ты води всех ко мне.

Идет, бежит, вижу, как из травы то тут, то там, как горлышко бутылки, высунется ее шея, а за ней везде шевелит траву и весь ее выводок.

Все они сидят от меня в двух шагах, теперь я говорю Ярику глазами:

— Ну, не будь дураком!

И пускаю своего тетеревенка.

Он хлопает крыльями о куст, и все хлопают, все вздымаются. А мы из куста с Яриком смотрим вслед улетающим, смеемся:

— Вот как мы вас одурачили, граждане!

Кэт

Кэт — собака от премированных родителей, хорошо известных всем знатокам собак. Порода ее современная, легавая континенталь. Рубашка у Кэт двухцветная, на спине два седла, остальное все по белому как бы кофейные зерна рассыпаны.

Это я переименовал ее в Кэт, а у хозяев она звалась Китти. Владельцы собаки были интеллигентные молодожены. Первые два года у них не было детей, и Китти заменяла им ребеночка. Все два года она лежала у них на диване в Москве. Еще бы немного, и охотничья собака прекрасной породы превратилась бы в бесполезную изнеженную фаворитку. Но к концу второго года молодой женщине стало трудно спускаться и подниматься с собакой на пятый этане, а муж весь день был на службе. В это время у меня случилось несчастье с Верным — его искусила бешеная собака, и мне было бы теперь слишком тяжело рассказывать, как пришлось с ним расстаться. Узнав о легавой, я, все-таки недовольный своим слишком горячим Яриком, решил заняться этой собакой, уговорил хозяев, они недорого мне ее продали и, всплакнув, просили никогда не бить.

Я слышал от опытных дрессировщиков, что двухлетний возраст для натаски не беда, лишь бы только собака была не тронута неумелой рукой. А Кэт была до того не испорчена, что даже за птичками не гонялась, охотилась вначале только за цветами: на ходу очень любила скусить и

высоко подбросить венчик ромашки. Свойство ее породы — исключительная вежливость и понятливость, и хорошо было, что она самка: сучка всегда умней. Все, что называется комнатной дрессировкой, я проделал с ней почти что в один день. Я положил на пол белый хлеб, и, когда собака сунулась было к нему, я с громким криком «тубо» угостил ее щелчком.

— Это тебе, — говорю, — не на диване лежать.

В четверть часа я не только научил ее не хватать пищи без позволения, а даже не трогать кусочек, если он лежал на носу.

Потом я выучил ее вперед и назад, действуя исключительно только повышением голоса, ищи, сюда, тише, к ноге. На другой день я учил собаку в густом орешнике, где не было никакой дичи: я прятался в кустах, она меня разыскивала, и так в один день я научил ее короткому лесному поиску. В поле, конечно, не сразу далось: я ходил, как яхта против ветра, галсами, движением руки или легким посвистыванием заставлял ее делать то же самое. Дня три я так ходил, и, наконец, все необходимое для начала натаски по живой дичи было сделано.

Я повел Кэт в натаску на болото, когда бекасы и дупеля еще не высыпали из крепких мест в открытые, и там были только молодые чибисы. Написано совершенно неверно в охотничьих руководствах, что будто бы чибис плохой материал для натаски: я не знаю лучшего. Правда, горячих собак старые чибисы несколько волнуют, но их легко разогнать выстрелами, зато уж молодой лежит рыжей лепешкой до того крепко, что очень легко ногой наступить.

Кэт поначалу не чуяла этих лепешек, я нашел сам, скovyрнул, лепешка сделалась чибисом, и он, не умея еще летать, заковылял между кочками. Сказав умри, я уложил собаку, но позволил ей провожать глазами чибиса, пока он опять не залег между кочками лепешкой.

— Тихо, вперед!

И Кэт пошла, ужимаясь. Стойки не сделала, а только понюхала, и тот опять тронулся в ход. Я повернул голову собаки в другую сторону, чтобы она не видела, где снова заляжет чибис, сам же заметил и пустил искать против ветра галсами.

Ветру она не взяла, но нижним чутьем прихватила и принялась строчить, как на швейной машинке, пока не нашла. Стойки опять не было, опять она спихнула чибиса носом. Я проделал то же сто раз и ничего не добился: причуять по воздуху и остановиться собака не могла. Я ушел с болота в раздумье: очень может быть, что собака за два года комнатной жизни в Москве потеряла природное чутье. Но, может быть, в новых условиях чутье возродится.

Ляхово болото, где я проделывал опыты с чибисами, от меня восемь верст. Мне невозможно было ходить туда часто и следить, когда появятся на чистых местах бекасы и дупеля. Но зато возле озера, в зарослях, я нашел болотинку десятины в две, и Кэт скovyрнула тут двух старых бекасов. По этим двум бекасам я и стал ежедневно натаскивать собаку. Все-таки и эта прогулка у меня отнимала утром часа два, и притом каждый раз необходимо было переодеваться, потому что пролезать на болотинку надо было по очень топким местам. И досадно же было возвращаться всегда с одним и тем же результатом: Кэт, ковыряя в болоте, спугивала бекасов без всякой для себя пользы.

Однажды я взял с собой на болото ружье и убил одного из бекасов. Он свалился в крепь. Кэт его там разыскала, но совершенно так же, как молодого чибиса: крутилась до тех пор, пока устави́лась в него носом в упор. Все-таки польза была от этого, что она познакомилась с запахом птицы, так что на другой день я мог рассчитывать на какое-нибудь новое достижение.

Муки творчества, я думаю, переживают не только поэты, в собачьих делах муки не меньше, и тоже вдруг ночью приходит в голову иногда ясная мысль, от которой потом начинаются новые пути в исканиях. Мне вспомнился ночью спор в журнале «Охотник» о жизни бекасов: одни писали, что самец-бекас после оплодотворения самки не участвует в дальнейшей жизни семьи, другие, напротив, говорили, что бекас-самец часто держится возле гнезда. И вот я подумал о своих двух бекасах, что один был самец, а другая самка и что тут вблизи должно быть у них непременно гнездо. Утром я с большим интересом иду на болотце. Кэт ковыряется, бекас вылетает, она добирает и торчит в одной точке. Раздвигаю болотную траву и нахожу на кочке четыре бекасиных яйца, поражающих своей величиной относительно тела самого бекаса.

Хорошо, как хорошо! Я теперь буду ежедневно приучать собаку к стойке, буду непременно подводить на веревочке, разовью постепенно чутье, потом выведутся молодые бекасы, буду их ловить, прятать...

Как интересно было на другой день прийти на это болото, но того, что случилось, я не ожидал. Всего от входа в болотце и до гнезда, я думаю, шагов двести, и вот как только вышла Кэт из кустов, самое большее, может быть, прошла шагов пятьдесят, значит, уже наверное на полтора шага, делает стойку, ведет, ближе, ближе, да как ведет-то: тят, тят своими тонкими ножками, как балерина. Сапожищи у меня конские, огромные, сделаны так хозяйственно, что нужно на ногу целый дом тряпья накрутить. Она ступит, и слышно разве только, что капелька стукнет о воду. Я иду, как мамонт. Из-за моего шума она останавливается, смотрит на меня страшно строго и только не говорит:

— Тише, тише, хозяин!

Шагов за пять она остановилась окончательно, я оглаживал ее, поощрял двинуться еще хоть немножечко, но дальше двинуться было невозможно: как только я хляпнул своим сапогом, бекасица вылетела.

Кэт взволновалась, казалось, говорила:

— Ах, ах, что такое случилось?

Но с места не двинулась. Я позволил ей осторожно подойти и понюхать гнездо.

Я был счастлив, но когда выходил с болота, то заметил начало болотного сенокоса, и мне сказали, что это болотце тоже будут косить сегодня же вечером. Нельзя было попросить крестьян не трогать гнезда, их было много, и один непременно нашелся бы такой, который нарочно бы и разорил, если бы я попросил. Я вернулся на болото, срезал несколько ивовых веток, воткнул их возле гнезда, и получился кустик. Я боялся только одного, что бекасица испугается веток и бросит гнездо. Нет, на другой день Кэт повела меня по скошенному болоту совершенно так же, как и вчера, и остановилась возле окошенного кустика опять на пять шагов, и опять бекасица вылетела.

Одновременно со мной, конечно, где-то в других местах натаскивали своих собак художник Борис Иванович и один доктор. У Бориса Ивановича был французский пойнтер, у Михаила Ивановича ирландская сука. Вот я позвал их к себе, будто бы просто чаю попить, побеседовать, а потом завел их в болотце и показал...

Словом, я затрубил в трубу, счастье мое было так велико, что даже неловко было, и я говорил художнику:

— Вы очень умно сделали, Борис Иванович, что для натаски взяли пойнтера, видите, мой в три

недели готов.

Доктору я говорил:

— Вы очень умно сделали, Михаил Иванович, что выбрали ирландского сеттера: поработаете, но зато потом уж собаку получите незаменимую.

Конечно, они мгновенно разнесли слух о моих необыкновенных способностях натаскивать собак, и в своем месте я стал знаменитостью.

Нет, молодые собачники, охотники, молодожены, поэты, не верьте никогда внезапному счастью, знайте, напротив, что иллюзия эта в самом деле есть величайший барьер на вашем пути, и вы должны не сидеть на нем, а перескочить. Неделью, не больше, я наслаждался идеальными стойками замечательно породистой Кэт.

Болотце, когда сено убрали и прошло еще с неделю времени, еще лучше позеленело, чем было, и раз, когда я пришел на него в чудесный серенький день, выглядело страшно аппетитно, казалось, вот-вот должен вылететь бекас. И он, правда, как только ступила Кэт, вылетел. Она на него не обратила никакого внимания. Потом вылетел у нее прямо из-под ноги совсем еще молодой бекасенек. Собака, не обращая внимания, вела к гнезду, как безумная. И другой молодой вылетел, и третий, и четвертый, пятый. Она все вела и вела. И так же, как раньше, стала мертво в пяти шагах от гнезда, а, когда я посмотрел, в гнезде были только скорлупки.

Я подумал, что гнездо пахнет сильнее самих бекасов, и выбросил скорлупки.

На другой день собака вела по кочке.

Уничтожаю кочку, складываю на месте гнезда сушь, зажигаю костер.

Собака сталкивает ногой молодых бекасов и ведет по кострищу.

Значит, все время с самого начала она работала только по памяти.

Значит, все было только представление.

Значит, собака не чувствует самую жизнь, а только ее представляет. Это не собака — друг и помощник охотника, не производительница живых чутыстых щенков, — это собака-актриса.

Многие охотники в таких случаях щеголяют выстрелом. Я же решил попробовать уговорить ее прежних хозяев взять ее обратно, намекнув на обычный конец таких собак у охотников.

В день разрешения охоты я позабавился с ребятами стрельбою уток это не моя охота.

Через неделю ходил по тетеревиным выводкам — люблю, но не совсем. Я люблю стрелять самых поздних тетеревов, и когда собака останавливается на громадном от них расстоянии, сам соображаешь, как бы так зайти, чтобы их встретить, и когда это удастся, то каждый убитый за десять летних считается.

Рябина все краснеет и краснеет. Стрижи давно улетели. Табунятся и ласточки. Скосили овсы. Пожелтели сверху донизу липы, а в болотах — осины и березы. Было уже два легких морозца. Почернела ботва картофеля, и начался разрыв души у охотника в лесу — интересные черные тетерева, в болоте жировые бекасы, в поле — серые куропатки.

Стараюсь все захватить, но сказали:

— Вчера Борис Иванович убил пролетного дупеля.

Тогда тетерева, куропатки — все брошено, и я за восемь верст в Ляховом болоте стерегу валовой пролет, и если сегодня два убито, а завтра три, говорю: подсыпают.

Вот однажды в самый разгар дупелиных высыпок мои ужасные сапоги, наконец-то, растерли так мою ногу, что идти в болото было уже невозможно. Нанять лошадь во время рабочей поры и дорого и, главное, мне стыдно: такой уж я уродился, не могу ехать на охоту.

Денек задумался. В больших березах золотые гнезда.

Такая грустная, такая жалкая подходит ко мне Кэт. Как она похудела!

Мне стало жалко хорошенькую собачку. Серые куропатки у нас прямо за двором на жнивье, и потому, что это так близко, я их за дичь не считаю, берегу, не стреляю. Но почему же не попробовать на них собаку и парочку не убить на жаркое?

Выхожу в поле в сандалиях. Ветерок дует как раз на меня. Пускаю Кэт, как яхту, галсами против ветра. На одном из первых галсов она схватила воздух, прыгнула в сторону и стала. Она постояла немного и грациозно, как балерина, прыгнула в другую сторону, опять стала и глядела все в одну точку. Потом она постояла и начала все это пространство между мной и невидимой целью, бегая из стороны в сторону, срезать, как сыр, тонкими ломтиками. Когда, обнюхав, она поняла, что уже недалеко, вдруг повела совершенно так же, как тогда по пустому бекасиному гнезду.

Стала она, как мотор, вся дрожала, удерживаясь с трудом от искушения прыгнуть в самую точку запаха.

И вдруг! Знаете, с каким треском вылетает громадный, штук в тридцать, табунок серых куропаток? Я выстрелил и раз и два. Обе куропатки упали недалеко.

И она это видела.

Тогда-то, наконец, мне все стало ясно. Я натаскивал собаку в лесном болотце, окруженном кустами, где не было движения воздуха. Там она не могла понять, что от нее требуют и тыкалась носом в землю. Тут от сильного ветра у нее сразу пробудилось забитое Москвой умение пользоваться чутьем.

Но раз она поняла по куропаткам, то непременно должна в открытом болоте взять бекасов и дупелей. Я совсем забыл, что вышел в сандалиях, что с собой у меня нет и корочки хлеба. Да разве можно тут помнить! Прямо, как есть, я спешу, почти что бегу в Ляхово болото за восемь верст.

Первое испытание было в очень топком месте, так что собаке было по брюхо. Она повела верхом к темнеющей кругловинке. Это оказалось прошлогодней остожиной. Там поднялись сразу дупель и бекас. Я успел убить только дупеля. Но она разыскала и перемещенного бекаса. Я убил и бекаса. А потом все пошло и пошло.

Ляхово болото тянется на пять верст, а солнце спешит. Я до того дохожу, что прошу солнце хоть немножечко постоять, но бесчеловечное светило садится. Темнеет. Я уже и мушки не вижу, стреляю в наброс.

Потом я выхожу из болота на жнивье и чувствую страшную боль в ноге: жнивье впилося в мои

раны, а сандалии давно и совершенно нечувствительно для меня потонули в болоте.

После больших и прекрасных охот в Ляхове мне случилось однажды зайти на ту болотинку-сцену, где Кэт когда-то давала свое, чуть не погубившее ее жизнь, представление. И вот какая у них оказывается память: ведь опять подобралась и повела было по пустому месту. Но запах настоящего живого бекаса перебил у нее актерскую страсть, и, бросив фигурничать, она повела в сторону по живому. Я не успел убить его на взлете, стал вилять за ним стволом до тех пор, пока в воздухе от этих виляний мне не представилась как бы трубочка, я ударил в эту трубочку, и бекас упал в крепь. В этот раз я, наконец, решился послать собаку принести, и скоро она явилась из заросли с бекасом во рту.

Анчар

Люблю гончих, но терпеть не могу накликать в лесу, порскать, лазать по кустам и самому быть, как собака. У меня было так: пущу, а сам чай кипятить, не спешу даже когда и подымет: пью чай, слушаю, и как пойму гон, перехватываю, становлюсь на место — раз! и готово.

Я так люблю.

Была у меня такая собака Анчар. Теперь в Алексеевой сече, откуда лощина ведет на вырубку, — в этой лощине над его могилой лесная шишига стоит.

Не я выходил Анчара. Привел раз мне один мужичок гончую, был это рослый, статный кобель и на глазах очки.

Спрашиваю:

— Краденый?

— Краденый, — говорит, — только давно было, зять щенком из питомника украл, теперь за это ничего не будет. Чистая порода...

— Породу, — говорю, — сам понимаю, а как гоняет?

— Здорово.

Пошли пробовать.

И только вышли из деревни к завору, пустили, поминай, как звали, только по седой узерке след остался зеленый...

В лесу этот мужичок говорит мне.

— Я что-то озяб, давай грудок разведем.

"Так не бывает, — думаю, — не смеется ли он надо мной?" Нет, не смеется, собирает дрова, поджигает, садится.

— А как же, — спрашиваю, — собака?

— Ты, — говорит, — молод — я стар, ты не видал такого, я тебя научу: о собаке не беспокойся, она свое дело знает, ей дано искать, а мы будем чай пить.

И ухмыляется.

Выпили мы по чашке.

— Бам!

Я так и рванулся.

Мужичок засмеялся и спокойно наливает себе вторую чашку.

— Послушаем, — говорит, — что он поднял.

Слушаем.

Густо лает, редко и хлестко гонит.

Мужичок понял:

— Лисицу мчит.

Мы по чашке выпили, а тот уж версты четыре пролетел. И вдруг скололся. Мужичок в ту сторону рукой показал, спрашивает:

— Там у вас коров пасут?

И верно, в этой стороне пасут карачуновские.

— Это она его в коровий след завела, теперь он добирать будет. Выпьем еще по одной.

Но недолго пришлось отдохнуть лисице, опять схватил свежий след и закружил на малых кругах, — видно, была местная. И как на малых кругах пошел, мужичок чай пить бросил, грудок залил, раскидал ногами и говорит:

— Ну, теперь надо поспешать.

Бросились перехватывать на полянку перед лисьими норами. Только расставились, и она тут на поляне, и кобель у нее на хвосте. Трубой она ему показала в болото, он же не поверил — тят! за шею, она — вию! и готово: лисица, — и он рядом ложится лапу зализывать.

Его звали глупо: «Гончар», я же на радости крикнул:

— Анчар!

И так пошло после: Анчар и Анчар.

Сердце охотничье, вы знаете, как раскрывается? Знаете, утро, когда мороз на траве и перед восходом солнца туман, потом солнце восходит и мало-помалу туман отдалается, и то, что было туман, стало синим между зелеными елями и золотыми березками, да так вот и пошло все дальше и дальше синеть, золотиться, сверкать. Так суровый октябрьский день открывается, и точно так открывается сердце охотничье: хлебнул мороза и солнца, чхнул себе на здоровье, и каждый встречный человек стал тебе другом.

— Друг мой, — говорю мужичку, — по какой беде ты собаку такую славную за деньги отдаешь в чужие руки?

— Я в хорошие руки отдаю собаку, — сказал мужичок, — а беда моя крестьянская: корова

зелеными морозцухватила, раздулась и околела: корову надо купить, без коровы нельзя крестьянину.

— Знаю, что нельзя, жаль мне очень тебя. А что же ты просишь за собаку?

— Корову же и прошу, у тебя две, отдай мне свою пеструю.

Отдал я за Анчара корову.

Эх, и была же у меня осень, в лесу не накликаю, не порскаю, не колю глаза сучьями, хожу себе тихо по дорожкам, люблюсь, как изо дня в день золотеют деревья, бывает, рябцами займусь, намну тропок, насвистываю, и они ко мне по тройкам сами бегут. Так прошло золотое время, в одно крепкое морозное утро солнце взошло, пригрело, и в полдень весь лист на деревьях осыпался. Рябчик на манок перестал отзываться. Пошли дожди, запрела листва, наступил самый печальный месяц — ноябрь.

Вот нет этого у меня, чтобы шайками в лес на охоту ходить, я люблю идти в лесу тихо, с остановками, с замиранием, и тогда всякая зверюшка меня за своего принимает, всякую такую живность очень люблю я разглядывать, всему удивляюсь и бью только, что мне положено. И это мне хуже всего, когда шайками в лесу идут, гамят и бьют все, что попадается. Но бывает, какой-нибудь согласный приятель, понимающий охотник явится — люблю проводить его, другое это удовольствие, а тоже хорошее: хорошему человеку до смерти рад. Так пишет мне в начале ноября из Москвы один охотник, просится со мной погонять. Вы все знаете этого охотника, не буду его называть. Конечно, я очень ему обрадовался, отписал ему, и в ночь под седьмое он ко мне является.

И вот нужно же так: перед этим лег было славный зазимок и как раз под седьмое растаял: грязно, моросит мелкий холодный дождик. Всю ночь я не спал, беспокоился, как бы дождик не помешал и не смыл ночные следы. Но счастливо вызвездило после полуночи, и к утру зайцы славно набегали.

До рассвета, при утренней звезде мы чаю напились, наговорились и, когда заголубело в окне, вышли с Анчаром на русаков.

Озимый клин в эту осень начинался у самой деревни, была озимь в ту осень густая, тугая, сочно-зеленая, хоть сам ешь. И русак на этой озими так наедался, вы не поверите, сало внутри висело, как виноград, и я почти по фунту с русака надирал. Весело взял Анчар след, покружил, разобрался в жировке и пошел прямым ходом на лежку. В лесу в это время капель, шорох. Этого русак очень боится, выбирается и ложится у нас на вырубке против Алексеевой сечи. И как я понял Анчара, что он с зеленой пошел на вырубку, скорей на пустошь к ложине: с вырубки русаки непременно этой ложинкой бегут. На первое место я поставил приятеля, у края оврага, сам же стал по другой стороне, и ему не видно меня, а мне он весь, как на ладони.

План, конечно, и на охоте необходим, но только редко по плану приходится. Ждем-пождем — нет гона, и Анчар как провалился.

— Сережа, — кричу я.

Ах, виноват, не хотел я называть вам этого охотника, вы все его знаете, ну, да ведь, Сергеев у нас много.

— Сережа — кричу я, — потруби Анчара.

Свой охотничий рог я ему отдал он большой мастер трубить и любит. И только взялся Сережа за рог, гляжу — Анчар к нам бежит по ложине. Сразу я понял по его походке он тем же самым следом бежит и еще понял, это того русака лисица или сова перегнали с лежки, он прошел уже ложину, и Анчар его добирает. Вот когда он поравнялся с моим приятелем, гляжу, тот поднимает ружье и прицеливается.

И ничего бы не было если бы в ту минуту я вспомнил, что как раз с этого самого места раз я сам в человеческую голову целился и только вот чуть-чуть не убил ложиной шел человек в заячьей шапке мне была только шапка видна, и вот только бы курок спустить, вдруг вся голова показалась Мелькни мне это в памяти, я понял бы, что сверху видна только шерсточка, крикнул бы и остановился. Но я подумал — приятель мой балуется, это постоянно бывает у городских охотников, как у застоялых коней.

Думал, шутит, и вдруг — бац!

Было тихо, дым весь пал в ложину и все застелил.

Обмер я и сразу вспомнил как с того места сам в человеческую голову чуть-чуть не выстрелил.

Синий дым лег на зеленую ложину. Жду я жду, и мгновенья проходят, как годы, и нет Анчара, нет из дыма не вышел Анчар. Как рассеялось, вижу, спит мой Анчар на траве вечным сном, на зеленой траве, как на постели.

С высоких деревьев на малые каплют тяжелые осенние капли, с малых — на кустики, с кустов — на траву, с травы — на землю печальный шепоток стоит в лесу и стихает только у самой земли тихо принимает в себя земля все слезы.

А я на все сухими глазами смотрю.

"Ну, что же, — думаю, — бывает и хуже, и человека по случаю убивают".

Перегорелый я человек, скоро с собой справился, и уж стало у меня складываться, как бы лучше мне сделать приятелю, поласковой с ним обойтись, знаю ведь, не лучше ему, чем мне, и на то мы охотники, чтобы горе умыть радостью. В Цыганове самогонка живет в каждой избе, так я и решил идти в Цыганово и все замыть. Сам думаю так, а сам смотрю на приятеля и удивляюсь сошел вниз поглядел на убитого Анчара, опять стал на место и стоит себе будто все еще гона ждет.

В чем же тут штука?

— Гоп! — кричу.

Отозвался.

— Ты в кого стрелял?

Помолчал.

— В кого, — кричу, — ты стрелял?

Отвечает:

— В сову.

Оторвалось у меня сердце.

— Убил?

Отвечает:

— Промазал.

Сел я на камень и вдруг все понял.

— Серега! — кричу.

— Ну!

— Потруби Анчара.

Гляжу, схватился Серега за рог и остановился. Сделал шаг в мою сторону видно, стыдно стало, шагнул другой раз и задумался.

— Ну же, — кричу, — потруби!

Он опять берется за рог.

— Скорей, — кричу, — скорей!

К губам рог приставляет.

— Да ну же, ну.

И затрубил.

Сижу я на камне, слушаю, как приятель трубит, и страшной чепухой занимаюсь вижу вот, как ворона за ястребом гонится, и думаю, почему же он ей не даст по затылку, ему бы только раз тюкнуть. С такими думами можно на камне сколько угодно сидеть. И тут же колом стоит вопрос о самом человеке почему ему нужен обман? Смерть есть конец, все кончается так просто и зачем-то всем надо трубить? Вот убита собака, никакой охоты у нас быть не может, и сам же он собаку застрелил и знает он, — человек я, не безделушка, с него не взыщу и слова попрека не скажу.

Кого он обманывает?

— Вот, — указываю, — иди ты по той тропинке, она тебя в Цыганово приведет, мы там с тобой выпьем, иди туда и потрубливай, все потрубливай, я же буду в лесу ходить и слушать, не викнет ли где-нибудь Анчар на трубу.

— Да ты, — говорит, — возьми рог и сам труби.

— Нет, — отвечаю — не люблю я трубить, у меня от этого в ушах звук остается, ничего не слышу, а тут надо слушать малейшее.

Оробел он и спрашивает нерешительно:

— А ты сам куда пойдешь?

Я показал в сторону, где Анчар лежит.

"Ну, — думаю, — деваться теперь ему некуда, сейчас признается".

И вот нет же, говорит:

— В ту сторону я тебе идти не советую, там и деревьев нет, на кусту он не может повеситься.

— Хорошо, — отвечаю, — я вон туда пойду. А ты, пожалуйста, не завывай, все потрубливай и потрубливай.

Как я сказал, что в другую сторону пойду, очень он обрадовался и затрубил, и так ему надо версты три все трубить и трубить.

"Нет, — говорю ему вслед, — на живых началах много бывает чудес, а на мертвых концах чудес не случается: не отзовется Анчар. Оттого настоящий охотник смотрит прямо в глаза и говорит: выпьем, друг, все кончилось".

Да, кого он обманывает?

У меня за поясом всегда маленький топорик для всякого случая, отрубил я им конец у сушины, вытесал вроде лопаты и выкопал яму в мягкой земле. Уложил Анчарушку в яму, холмик насыпал, нарезал дерну, обложил. На гари был у меня примечен чертик из обгорелого дерева, в сумерках он очень наших баб пугает, и все зовут его шишигой. Сходил я на гать, приволок эту шишигу и поставил Анчару памятник.

Стою, любуюсь на черта, а Сережа все трубит, трубит.

"Кого ты, Сережа, обманываешь?"

Моросит дождик, мелкий, холодный. С высоких деревьев падают тяжелые капли на малые, с малых — на кусты, с кустов — на траву и с травы — на сырую землю. Во всем лесу шепоток стоит и выговаривает: мыши, мыши, мыши... Но тихо принимает в себя мать-земля все слезы и напивается ими, все напивается...

Стало мне так, будто все дороги на свете в один конец сошлись, и на самом конце стоит лесной черт на собачьей могиле и с таким уважением на меня смотрит.

— Слушай, черт, — говорю, — слушай...

И сказал я речь над могилой и что сказал — потаю.

После того стало мне на душе спокойно, прихожу в Цыганово.

— Перестань, — говорю, — Сережа, трубить, все кончено, я все знаю. Кого ты обманываешь?

Он побледнел.

Выпили мы с ним, заночевали в Цыганове. Охотника этого вы все знаете, у каждого из нас есть такой Сережа на памяти.

Предательская колбаса

Ярик очень подружился с молодым Рябчиком и целый день с ним играл. Так в игре он провел

неделю, а потом я переехал с ним из этого города в пустынный домик в лесу, в шести верстах от Рябчика. Не успел я устроиться и как следует осмотреться на новом месте, как вдруг у меня пропадает Ярик. Весь день я искал его, всю ночь не спал, каждый час выходил на терраску и свистел. Утром — только собрался было идти в город, в милицию — являются мои дети с Яриком: он, оказалось, был в гостях у Рябчика. Я ничего не имею против дружбы собак, но нельзя же допустить, чтобы Ярик без разрешения оставлял службу у меня.

— Так не годится, — сказал я строгим голосом, — это, брат, не служба. А кроме того, ты ушел без намордника, значит, каждый встречный имеет право тебя застрелить. Безобразный ты пес.

Я все высказал суровым голосом, и он выслушал меня, лежа на траве, виноватый, смущенный, не Ярик — золотистый, гордый ирландец, а какая-то рыжая, ничтожная, сплюснутая черепаха.

— Не будешь больше ходить к Рябчику? — спросил я более добрым голосом.

Он прыгнул ко мне на грудь. Это у него значило:

— Никогда не буду, добрый хозяин.

— Перестань лапиться, — сказал я строго.

И простил.

Он покатался в траве, встряхнулся и стал обыкновенным хорошим Яриком.

Мы жили в дружбе недолго, всего только неделю, а потом он снова куда-то исчез. Вскоре дети, зная, как я тревожусь о нем, привели беглеца: он опять сделал Рябчику незаконный визит. В этот раз я не стал с ним разговаривать и отправил в темный подвал, а детей просил, чтобы в следующий раз они только известили меня, но не приводили и не давали там ему пищи. Мне хотелось, чтобы он вернулся по доброй воле.

В темном подвале путешественник пробыл у меня сутки. Потом, как обыкновенно, я серьезно поговорил с ним и простил. Наказание подвалом подействовало только на две недели. Дети прибежали ко мне из города:

— Ярик у нас.

— Так ничего же ему не давайте, — велел я, — пусть проголодается и придет сам, а я подготовлю ему хорошую встречу.

Прошел день. Наступила ночь. Я зажег лампу, сел на диван, стал читать книжку. Налетело на огонь множество бабочек, жуков, все это стало кружиться возле лампы, валиться на книгу, на шею, путаться в волосах. Но закрыть дверь на террасу было нельзя, потому что это был единственный выход, через который мог явиться ожидаемый Ярик. Я, впрочем, не обращал внимания на бабочек и жуков, книга была увлекательной, и шелковый ветерок, долетая из лесу, приятно шумел. Я читал и слушал музыку леса. Ко вдруг мне что-то показалось в уголке глаза. Я быстро поднял голову, и это исчезло. Теперь я стал прилаживаться так читать, чтобы, не поднимая головы, можно было наблюдать порог. Вскоре там показалось нечто рыжее, стало красться в обход стола, и, я думаю, мышь слышней пробежала бы, чем это большое подползало под диван. Только знакомое неровное дыхание подсказало мне, что Ярик был под диваном и лежал как раз подо мной. Некоторое время я читаю и жду, но терпения у меня хватило ненадолго. Встаю, выхожу на террасу и начинаю звать Ярика строгим голосом и ласковым,

громко и тихо, свистать и даже трубить. Так уверил я лежащего под диваном, что ничего не знаю о его возвращении.

Потом я закрыл дверь от бабочек и говорю вслух:

— Верно, Ярик уже не придет, пора ужинать.

Слово ужинать Ярик знает отлично. Но мне показалось, что после моих слов под диваном прекратилось даже дыхание.

В моем охотничьем столе лежит запас копченой колбасы, которая чем больше сохнет, тем становится вкуснее. Я очень люблю сухую охотничью колбасу и всегда ем ее вместе с Яриком. Бывало, мне довольно только ящиком шевельнуть, чтобы Ярик, спящий колечком, развернулся, как стальная пружина, и подбежал к столу, сверкая огненным взглядом.

Я выдвинул ящик, — из-под дивана ни звука. Раздвигаю колени, смотрю вниз — нет ли там на полу рыжего носа, — нет, носа не видно. Режу кусочек, громко жую, заглядываю, — нет, хвост не молотит. Начинаю опасаться, не показалась ли мне рыжая тень от сильного ожидания и Ярика вовсе и нет под диваном. Трудно думать, чтобы он, виноватый, не соблазнился даже и колбасой, ведь он так любит ее; если я, бывало, возьму кусочек, надрежу, задеру шкурку, чтобы можно было за кончик ее держаться пальцами и кусочек ее висел бы на нитке, то Ярик задерет нос вверх, стережет долго и вдруг прыгнет. Но мало того: если я успею во время прыжка отдернуть вверх руку с колбасой, то Ярик так и остается на задних ногах, как человек. Я иду с колбасой, и Ярик идет за мной на двух ногах, опустив передние лапы, как руки, и так мы обходим комнату и раз, и два, и даже больше. Я надеюсь в будущем посредством колбасы вообще приучить ходить его по-человечески и когда-нибудь во время городского гулянья появиться там под руку с рыжим хвостатым товарищем.

И так вот, зная, как Ярик любит колбасу, я не могу допустить, чтобы он был под диваном. Делаю последний опыт, бросаю вниз не кусочек, а только шкурку, и наблюдаю. Но как внимательно я ни смотрю, ничего не могу заметить: шкурка исчезла как будто сама по себе. В другой раз я все-таки добился: видел, как мелькнул язычок.

Ярик тут, под диваном.

Теперь я отрезаю от колбасы круглый конец с носиком, привязываю нитку за носик и тихонько спускаю вниз между колен. Язык показался, я потянул за нитку, язык скрылся. Переждав немного, спускаю опять — теперь показался нос, потом лапы. Больше нечего в прятки играть: я вижу его, и он меня видит. Поднимаю выше кусочек Ярик поднимается на задние лапы, идет за мной, как человек, на двух ногах, на террасу, спускается по лесенке на четырех по-собачьи, опять теперь он понимает мою страшную затею и ложится на землю пластом, как черепаха. А я отворяю подвальную дверь и говорю:

— Пожалуйста, молодой человек.

Теплые места

Когда мокрая, холодная Нерль возвращается с болотной охоты, мать ее Кента вперед покрикивает, зная, что она, мокрая, непременно приблизится к ней погреться на теплом матрасике. А когда разлежится Нерль и мокрой возвращается Кента, молодая, любопытная Нерль, желая поскорее узнать, что я убил, вскакивает, и Кента занимает ее теплое место. Случается, я не иду на охоту, а только проведываю собак. Обе они тогда вскакивают,

навязываясь.

— Меня возьми, меня возьми!

Поглажу одну, другую. Каждая думает от этого, что я ее возьму, а не другую, и от волнения лезут на грудь с лапами. Но это им строго запрещается. Я приказываю:

— Охоты не будет. Ложитесь на место!

И они ложатся на матрасики, но непременно Кента ложится на место Нерли, а Нерль на матрасик своей матери. Каждой собаке кажется, что место, занятое ее соседкой, теплее.

Как я научил своих собак горох есть

Лада, старый пойнтер десяти лет, — белая с желтыми пятнами. Травка рыжая, лохматая, ирландский сеттер, и ей всего только десять месяцев. Лада спокойная и умная. Травка — бешеная и не сразу меня понимает. Если я, выйдя из дому, крикну: "Травка!" — она на одно мгновение обалдеет. И в это время Лада успевает повернуть к ней голову и только не скажет словами: "Глупенькая, разве ты не слышишь, хозяин зовет".

Сегодня я вышел из дому и крикнул:

— Лада, Травка, горох поспел, идемте скорей горох есть!

Лада уже лет восемь знает это и теперь даже любит горох. Горох ли, малина, клубника, черника, даже редиска, даже репа и огурец, только не лук. Я, бывало, ем, а она, умница, вдумывается, глядишь, и себе начинает рвать стручок за стручком. Полный рот, бывало, наберет гороху и жует, а горох с обеих сторон изо рта сыплется, как из веялки. Потом выплюнет шелуху, а самый горох с земли языком соберет весь до зернышка.

Вот и теперь я беру толстый зеленый стручок и предлагаю его Травке Ладе, старухе уж конечно, это не очень нравится, что я предпочитаю ей молодую Травку. Лохмушка берет в рот стручок и выплевывает. Второй даю — и второй выплевывает. Третий стручок даю Ладе. Берет. После Лады опять Травке даю. Берет. И так пошло скоро один стручок Ладе, другой — Травке. Дал по десять стручков.

— Жуйте, работайте!

И пошли жернова молоть горох, как на мельнице. Так и хлещет горох в разные стороны у той и другой. Наконец, Лада выплюнула шелуху, и вслед за ней Травка тоже выплюнула. Лада стала языком зерна собирать. Травка попробовала и вдруг поняла и стала есть горох с таким же удовольствием, как и Лада. Она стала есть потом и малину, и клубнику, и огурцы. И всему этому я научил Травку из-за большой любви ко мне Лады. Лада ревнует ко мне Травку и ест, Травка Ладу ревнует и ест. Мне кажется, если я устрою между ними соревнование, то они, пожалуй, скоро у меня и лук будут есть.

Серая сова

Часть I. Путешествие в страну непуганых птиц и зверей

Кто это серая сова?

Мое знакомство с Серой Совой книжное, но книга Серой Совы, по которой я с ним

познакомился, взята целиком из его жизни это жизнь потомка одного из самых воинственных племен индейцев Северной Америки.

Когда-то, еще мальчиком, я не в шутку пытался убежать к индейцам.

Не удалось мне тогда побывать у индейцев. А вот теперь — счастье какое! — моя книга приводит прямо как бы в мою комнату тех самых индейцев, к которым в детстве своем пытался я убежать.

Получив книгу Серой Совы на английском языке, я дословно ее перевел, но такой перевод, как огромное большинство переводов, не был языком самого автора. И мне показалось, что будет гораздо лучше, если я своим языком свободно расскажу русским читателям о жизни и приключениях Серой Совы в его поисках страны непуганых птиц и зверей.

Мне нравится в этой книге прежде всего совершенная искренность рассказа о себе и правдивость в изображении животных.

Рассказ Серой Совы о жизни бобров имеет как бы два лица, или героя одно лицо — это бобры, как они есть, без очеловечивания; другое лицо — это сам человек, ухаживающий за животными, Серая Сова. Такое параллельное изображение человека и животного я давно считал верным приемом изображения животных, пользовался им постоянно. Но Серая Сова вовсе и не думал о каком-нибудь художественном приеме, он просто описал свою жизнь канадского охотника за бобрами. Эта жизнь начинается описанием гибнущих от спекуляции канадских лесов, истребления последних остатков когда-то священного для индейца животного — бобра — и кончается сознательной охраной и разведением бобров. Параллельно с описанием жизни бобров перед нами проходит жизнь автора — от носильщика, лодочника, пушника-зверолова до видного сотрудника канадского заповедника и прославленного, переведенного на все языки писателя-анималиста^[13].

Мне, русскому читателю, особенно близко это страстное чувство охотника-индейца, эта неумная тяга узнать, изведать, что там, "За горами", как говорит индеец, и, как у нас говорят, — "за синими морями".

Я лично еще захватил немного из того времени, когда гимназисты, под влиянием чтения романов Густава Эмара^[14], пытались всюду бежать из гимназий к индейцам.

Свой побег из гимназии я считаю определяющим мою биографию, мое вечное странствование, охоту и писательство.

На почве этого чувства у нас много выросло замечательных ученых, из которых достаточно назвать одного Пржевальского^[15].

И я не раз пытался рассказать о своих странствованиях туда, куда-то в страну непуганых птиц, а теперь вот оттуда, из той самой страны, куда я еще мальчиком хотел убежать, сам индеец, потомок прославленного воинственного племени, пишет, что он там, в той стране, пережил.

Серая Сова, прозванный так своими сородичами за ночной образ жизни, был не совсем индейцем по крови он был сыном одного служащего в Канаде англичанина, который женился на чистокровной ирокезке и до того близко принял к сердцу несправедливости, чинимые до сих пор белыми в отношении краснокожих, что отказался от службы и, по-видимому, жил бедняком.

Сын его, Серая Сова, целиком воспринял лесной образ жизни своих сородичей — краснокожих

охотников он ставил свои ловушки на пушных зверей в лесах, был носильщиком, проводником, лодочником. Во время войны он был призван в европейскую армию, был снайпером в европейской войне, повидал "белый свет", был даже два раза ранен и возвратился обратно в свои канадские леса — по-прежнему заниматься охотой на пушных зверей и этим добывать себе средства существования. Европейская цивилизация наградила молодого человека ранами, а у себя, в родимых северных лесах, он застал полное опустошение: леса изуродованы, зверь истреблен. Можно бы в таком положении впасть в отчаяние, но вера охотника, что там где-то, за горами, должна быть блаженная страна с нетронутыми лесами, населенная зверем и птицей, поддержала энергию молодого человека. Книга и начинается с того, как он на своем каноэ отправляется искать за тысячи миль эту блаженную, не тронутую топором человека страну.

Охота за счастьем

Путешествие начинается от маленького городка северной Канады, где с давних времен Серая Сова продавал свою пушнину, добываемую им в окрестных лесах. Собственно говоря, весь этот город состоял из единственной лавки "Компании Гудзонова залива" и лесопилки; еще было тут разбросано беспорядочно по горному склону около пятидесяти домиков, и в стороне стоял индейский лагерь. В этом городе, Биско, не было ни обычных городских улиц, ни палисадников. Несмотря на это, Биско довольно известный городок, потому что он занял положение в центре многоводных рек, из которых можно назвать хотя бы только Испанскую и Белую, Миссисогу и Маттавгами. Из этого городка открывалось множество путей на юг — к Гуронскому озеру и Верхнему, а также и на север — к Ледовитому океану. Далеко вокруг гремела слава местных лодочников и проводников. И еще так недавно район Альгама в провинции Онтарио считался богатейшим пушным местом во всей северной Канаде. Но вскоре после того, как в этот богатейший край нахлынули так называемые "странствующие охотники за пушминой", или, попросту говоря, охотники за длинным рублем, край опустел, и звери почти совершенно исчезли.

Городок Биско, конечно, падал, но как бы то ни было, этот городок был почти что отечеством нашему герою, Серой Сове, проводшему большую часть своей жизни среди необъятных лесов, с проникающими в глубину их на сотни миль водными путями. Два раза в году из недр этих водно-лесных дебрей Серая Сова прибывал на своем послушном каноэ в Биско, продавал свою пушнину, закупал продукты питания и опять уплывал обратно в родные леса.

Ну, теперь все кончено. Прощайте, белые и краснокожие друзья! Серая Сова уплывает далеко, в страну непуганых птиц и зверей. Тяжело было у него на душе, но он не один покидал в этот день свою охотничью родину Опустошенную, разграбленную местность покидали и другие охотники, но только Серой Сове на его пути в страну непуганых птиц не досталось ни одного товарища: все они устремились в даль Миссисоги, к ее еловым скалам и кленовым хребтам.

С невеселыми думами весенним вечером, в полном одиночестве, Серая Сова покинул родимый городок. С каждым ударом весла легкое каноэ уносило его все дальше и дальше по пути к неведомому счастью. Около девятнадцати километров так он плыл, под песню воды при мерных ударах весла, и прибыл к первому волоку. Шесть с половиной километров волока — это порядочное расстояние, если принять во внимание, что и багаж и каноэ надо тащить на себе. Но земля под ногами была довольно ровная, хорошо освещенная полнолунием. Закаленному лесной трудной жизнью индейцу не страшен был этот путь, — напротив, работа выгнала из его головы невеселые думы. Все сразу унести было невозможно, пришлось отнести и вернуться за второй половиной; так что, в общем, сделалось из шести с половиной километров волока тринадцать с тяжестью и шесть с половиной — без всего. Пожалуй, что такая работка у каждого выбьет из головы лишние мысли! Вскоре после восхода солнца работа была окончена,

искатель счастья спал до полудня и потом продолжал свой путь в каноэ.

Далеко впереди была желанная страна, вокруг же все были знакомые, исхоженные вдоль и поперек когда-то богатые охотничьи угодья. Лесной пожар пронесся по всей этой местности и оставил после себя совершенную пустыню, с оголенными скалами и обгорелыми стволами, — вот невеселое зрелище! И Серая Сова все спешил и спешил отсюда вперед, на северо-восток, в район Абитиби в северном Квебеке, где, как сказывали, местность была мало обжита и очень редко заселена индейцами из племени Отшибва.

Как много было исхожено мест в поисках пушного зверя! Большая часть пути в страну непуганых зверей лежала по исхоженным и теперь едва узнаваемым местам. Везде были железнодорожные рельсы, проложенные на пожарищах, везде опустошение и разрушение. На людей и смотреть не хотелось: то были лесорубы из местных лесных людей, опустившихся, грязных и нечесаных. Эти люди прозябали в своих "каменных дворах", собирая ежегодно два «урожая»: один снегом, другой камнями. Невероятная была перемена! Беспокойство забиравлось в душу; путешественник невольно задавал себе вопрос: "Что же дальше-то будет?"

И дальше все новые и новые разочарования. Да, не так-то легок путь в страну непуганых зверей! Вот старый, так хорошо знакомый когда-то форт Маттавгами. Теперь он совершенно затоплен, и от него осталась только на сухой вершине целиком залитого холма малюсенькая миссионерская церковь. Прямо к лесенке паперти подплыл Серая Сова и тут устроился обедать. На другом берегу виднелся торговый пост, холодное и неприятное строение. Пообедав, Серая Сова проплыл мимо него, не завертывая, по крайней мере в расстоянии сот восьми метров.

Попадались в пути иногда знакомые люди и рассказывали Серой Сове о его прежних друзьях и товарищах убийственно печальные истории. Вот старый мельник из того же затопленного Маттавгами: так и не мог старик вновь подняться, жил на ренте "Компании Гудзонова залива" и все горевал о своей мельнице и все горевал... А старые друзья и товарищи, лодочники, носильщики, проводники — "индейская летучая почта", — в каком положении они теперь все были! Вот Мак Леод с озера Эльбоген, — какая печальная судьба: повредил себе при гребле бедро, потом гангрена dokonчила дело, пришлось охотнику отнять ногу. Никто не мог его утешить, и он умер с проклятиями и ругательствами. Умер также и знаменитый старый охотник, почти символ индейской страны, старый Джон Буффало с реки Монреаль. И так было почти со всеми друзьями: одного гангрена, другого ревматизм выгнали из лесу и заставили прозябать всю жизнь в городишке. Подумать только! Великий, такой великий мастер охоты, как Анди Люке, которому нести на себе четыреста фунтов было детской игрой, служил теперь поденщиком на железной дороге! Великий Алек Лангевин, которому пробежать на лыжах какие-нибудь восемьдесят километров вовсе ничего не значило, вынужден был отправиться в Квебек за куницами. И Серая Сова встретил его с пустыми руками на обратном пути. А то вот еще Томми Савилле, белый индеец, принятый родом Отшибва еще в детстве: во время золотой лихорадки он сумел нажить себе целое состояние и тут же прожить, — теперь он жил где-то в городе, пожираемый тоской по свободным лесам. Говорят, иногда тоска по лесам до того его доводила, что он спускался в подвал дома, из щепочек устраивал маленький костер, варил себе чай и переживал тут, в каменном подвале, очарование былой лесной охоты.

Все это значило, конечно, что вся лесная вольная пустыня рушилась, и оставалась от нее только мечта, будто не здесь, а вдали все-таки где-то еще сохраняется в нетронутом виде страна непуганых птиц и зверей.

Но и дальше все было не лучше даже в таких, когда-то богатейших местах, как Шайнинтри и Гаваганда. В прежнее время, когда эти местности еще не пересекались вдоль и поперек

железнодорожными путями и буржуазный прогресс не смешал еще всех в одну кучу, в людях тут сохранялся хороший лесной закал. Никакая сила бывало не могла у этих людей отнять надежду на лучшую жизнь, на то, что рано или поздно найдется для них какая-нибудь богатейшая золотиносная жила. Теперь вся эта местность возле Гавагандского озера была выжжена, и на месте лесов торчали голые камни скалы.

Так изо дня в день, продвигаясь вперед, проехал в своем каноэ Серая Сова не больше, не меньше как шестьсот пятьдесят километров и достиг города на железной дороге Темискаминг — Онтарио. Бывал он здесь и раньше, еще в то время, когда тут был только пограничный пост. Тогда еще, до железных дорог, здесь, в девственной стране, разные любители спорта удовлетворяли охотой свою страсть к приключениям. Тогда Серая Сова и подобные ему индейцы служили этим людям проводниками. И когда приходила зима и проводники оставались одни, было весело вспоминать летние приключения и показывать друг другу дружеские письма «господ». Так было всего тому назад лишь пятнадцать лет, и за этот срок пограничный пост превратился в шумное гнездо туристов с автомобильным шоссе. В этом гнезде как раз к прибытию Серой Совы одно нью-йоркское общество искало себе проводника. Серая Сова взял это место. То были все веселые люди, вели себя по-приятельски, как это всегда у американцев бывает во время отпуска. И все-таки теперь между ними и проводниками был какой-то фальшивый тон. Раньше проводники были товарищами и соучастниками, теперь проводники — это слуги, лакеи и прихлебатели. И до того даже доходило, что господ надо было обслуживать в белых перчатках! Кто привык жить по старине, тот, глядя на эти новые порядки, только покачивал головой, но сам-то поступал, как все. И что поделаешь! Если не стало в лесу пушного зверя, человек должен как-нибудь жить.

Поглядев на эти новые порядки, Серая Сова уложил присланные сюда почтой свои вещи и направил их дальше, еще на четыреста девяносто километров вперед. Пополнив тут свои пищевые запасы, он поплыл в своем каноэ, разочарованный и возмущенный. Воспоминания о прежних лесных охотах оставались воспоминаниями, а на леса вокруг и смотреть не хотелось.

Свадьба серой совы

Пустыня лесная отступала, надо было ее догонять, и Серая Сова, пересылая с места на место свои вещи, пополняя в более крупных местечках свои запасы, плыл все дальше и дальше. Только осенью останавливал он свое продвижение и ставил ловушки где попало. Так прошло целых два года, и так проехал он три тысячи двести тридцать километров в своем каноэ. Двигаться дальше становилось все трудней и трудней из-за того, что прямой путь пересекался встречными потоками. Чаше и чаще приходилось с одного водного пути на другой перетаскивать вещи и каноэ волоком. Так замучился на этих волоках Серая Сова, что, к стыду своему, последнюю часть пути должен был проехать по железной дороге. Впрочем, едва ли индеец, верный сын лесной пустыни, сел бы на поезд, если бы для этого не было причины более серьезной, чем простое физическое утомление. Дело в том, что Серой Сове понадобилось во что бы то ни стало с кем-то обмениваться письмами. Первая встреча со своим корреспондентом у Серой Совы произошла в одном курортном местечке, где год тому назад он служил проводником. Там жила одна милая, способная и даже относительно образованная девушка-индианка, ирокезского племени. Может быть, она стояла в общественном своем положении ступенькой выше Серой Совы, но, тем не менее, как ему казалось, унывать вовсе не стоило. И он стал за ней решительно ухаживать. И правда, дело пошло без всяких интермедий. Попросту говоря, Серая Сова, доехав в своем каноэ до определенного пункта с железнодорожной станцией, купил тут своей невесте, как раньше уговорились, билет, послал ей, она приехала и вышла за него замуж.

Вот и вся свадьба Серой Совы!

Молодожены во многих отношениях представляли собой полную противоположность друг другу. Серая Сова рос у своей тетки, англичанки, и тут у него, кроме некоторого интереса к географии, истории и английскому языку, особенных каких-нибудь дарований не открывалось. Серая Сова, впрочем, совсем даже не плохо занимался английским языком. Но, к сожалению, уже в ранней юности он остался на собственном лесном иждивении и большую часть своего времени или молчал или говорил с такими людьми, которые вовсе не знали английского. Только замечательная память да, пожалуй, необычайная жажда чтения еле-еле поддерживали зажженный когда-то в детстве огонек интереса к языку. Английский язык у Серой Совы был как новый костюм, который надевают лишь в парадные дни и чувствуют в нем себя очень неловко. Так себя вообще и держал Серая Сова в обществе, чуть что покажется ему обидным, он смолкает и затаивается в глубине себя, как бы опасаясь расстаться со своей личной свободой. Эта черта в характере Серой Совы особенно усилилась во время военной службы. Такого рода люди, как Серая Сова, редко встречаются в романах. Ни малейшего интереса он не имел к достижению офицерского звания во время войны. Ни малейшей охоты не имел к чинам. Рядовым он вступил в армию и рядовым ушел из нее вследствие ранения, чтобы опять таким же, как был, вернуться в родные леса. Служба снайпером не могла переменить его убеждений в отношении белых господ в лучшую сторону, — напротив, в нем еще более окрепло индейское убеждение в том, что капиталистическая цивилизация людям хорошего не может дать ничего. Да и что, в самом деле, мог получить для себя в европейской войне представитель угнетаемой и даже истребляемой народности?

Не нужно только смешивать нашего Серого Сову с настоящими пессимистами. Не могло создаться такого тяжкого положения, в котором бы этого индейца могла покинуть охотничья вера, что где-то там, за горами, есть страна непуганых птиц и зверей. И ничто не могло остановить его в стремлении узнать, повидать своими глазами новый, особенный мир где-то там, за горами.

Гертруда, жена Серой Совы, или, как он звал ее по-индейски, Анахарео (что значит "пони"), не была очень образованна, но она обладала в высокой степени благородным сердцем. Происходила она от ирокезских вождей. Отец ее был один из тех, которые создавали историю Оттавы[16].

Анахарео принадлежала к гордой расе и умела отлично держаться в обществе, была искусной танцовщицей, носила хорошие платья. Ухаживая за такой девушкой, Серая Сова тоже подтягивался. У него были длинные, заплетенные в косы волосы, на штанах из оленьей кожи была длинная бахрома, и шарф свешивался сзади в виде хвостика. На груди как украшение было заколото в порядке рядов направо и налево множество английских булавок. И почему бы, казалось, Серой Сове не украшать себя булавками, которые в то же самое время могли быть очень полезными: днем как украшение, ночью же при помощи их можно развешивать и просушивать свою одежду. К этому внешнему облику Серой Совы надо еще прибавить, что у него было много закоренелых, не совсем салонных привычек. На воде, во время гребли, он никак не мог разговаривать, а на суше, в лесу, до того привык ходить по тропам гуськом, что если шел рядом с человеком по улице, непременно его так или иначе подталкивал. Месяц, проведенный молодыми на охоте в лесу, был наполнен прелестными и разнообразными приключениями.

Скоро в лесу на охоте оказалось, что Анахарео владела топором ничуть не хуже, чем Серая Сова. И можно было любоваться устройством ее походной палатки. Несмотря на то, что в то время еще очень косо глядели на женщину в мужском костюме, Анахарео стала ходить в удобных мужских штанах, носила высокие охотничьи сапоги и макинанскую рубашку. К свадьбе Серая Сова купил ей несколько метров саржи или чего-то вроде этого, но когда увидел

ее на охоте, то подумал, что не материю бы ей надо было покупать, а топор или оружие. Увидев подарок, Анахарео развернула материю, взяла ножницы, карандаш и принялась тут же что-то кроить. Боязливо, со стесненным сердцем смотрел Серая Сова, как гибла хорошая и дорогая материя. Но сравнительно в очень короткое время жалкая куча лоскутков превратилась в безупречные и даже прямо элегантные брюки-бриджи. Конечно, на чисто мужской работе ей многого не хватало, но уж по части портновской она оказалась мастерицей прекрасной.

Ее приданое состояло из большого сундука с платьями, мешка с бельем, одной огромнейшей книги под заглавием "Сила воли" и пяти маленьких зачитанных тетрадей «Письмовника» Ирвинга, захваченных нечаянно вместо руководства домашней хозяйки. Кроме того, в этом приданом была еще превосходная фетровая шляпа, которую Серая Сова присвоил себе и в особенных случаях носит ее и до сих пор «Письмовник» Ирвинга, захваченный, как сказано, совершенно случайно, принадлежал сестре Анахарео, муж которой имел слабость к писательству. Лесные супруги собирались при первой возможности отослать эти тетрадки, но так и не собрались и, как будет ниже рассказано, хорошо сделали.

Временами Анахарео очень и очень тосковала, но виду никогда не показывала. Только раз она было попросила своего мужа купить ей радиоприемник. Но Серая Сова в то время разделял тот предрассудок, что будто бы электрические токи, пробегающие в атмосфере, влияли на погоду. И ему было неловко от мысли, что где-нибудь в Монреале или Лос-Анджелесе поет какой-то юноша, а в лесу из-за этого какому-нибудь достойному рабочему человеку бывает невозможно на лыжах идти. Вот почему Серая Сова с большим тактом отклонял всякую мысль, всякий разговор о радиоприемнике. Вместо этого у них было постоянное развлечение — смотреть в единственное окошко хижины и каждый день провожать солнце: это было всегда прекрасно! Много шутили за едой. Вставали до восхода солнца, а то даже целые ночи проводили в лесу. За санками, лыжами, каноэ ухаживали, как за кровными рысаками, и маленькая женщина часто должна была пропускать обеденное время. Мало-помалу она стала ревновать Серую Сову к лесу. А он все шептал ей о каком-то лесном участке, населенном бесчисленными куницами, и поискам этого заповедного края непуганых зверей отдавал все свое свободное время Анахарео начала ненавидеть этот край непуганых птиц и зверей. А Серая Сова в своем ослеплении вообще в ней не замечал никаких перемен.

Так они ели, спали, видели во сне все те же ловушки, охотились; вечерами, склонившись над картой, обдумывали новые пути или делали приготовления к новым странствованиям. Работа поглощала все время Серой Совы, так что ни о чем другом не могло быть и речи. Охота была религией Серой Совы, и, как всякий фанатик, он стремился навязать свою веру другому.

Переворот

Жизнь в напряженном труде, вечные отлучки из дому, вызываемые охотничьей профессией, не давали возможности сглаживать неровности семейной жизни интимными объяснениями, — до того ли уж тут! Такая была спешка, такая гонка с установкой и осмотром ловушек в осенний и предзимний сезон, — язык высунешь. И вот однажды перед самым рождеством, вернувшись домой после кратковременной отлучки, Серая Сова увидел свою гордую индейку в жалком виде: растрепанная, лежала Анахарео в кровати, с глазами, опухшими от слез. Вот тогда-то мало-помалу и стала показываться во всех подробностях сокровенная жизнь. Вначале муж никак не мог понять, в чем тут дело. Казалось, ведь так же все отлично шло! Не был же он вовсе никогда тем равнодушным и невнимательным супругом, как это бывает у индейцев, совсем даже нет: он так уважал, так ценил свою жену, так ею восхищался! Да и как не уважать, как не восхищаться такой женщиной среди таких невозможных лишений?!

— Уважение! — получил в ответ Серая Сова. — Но ведь это больше всего относится к

покойникам. Восхищение! Какой толк из этого? Можно восхищаться спектаклем. А где же тут сам живой человек?

И в конце концов.

— Мы живем, как упряжные собаки греем печку, равнодушно пожираем свою пищу...

С великим изумлением теперь выслушивал Серая Сова горькие жалобы на отсутствие чопорной церемонии во время еды той самой женщины, которая могла с улыбкой на лице спать под дождем на открытом воздухе.

— А дальше, а дальше-то что!

— Вечные мечты и думы над тем, где бы получше и побольше можно было наставить ловушек. А после того, как это удастся, мы еще и хвастаемся: "Мы набили, намучили больше других!"

Последним обвинением Серая Сова был огорчен и возмущен.

"Чем же я-то виноват? — думал он. — Ведь я же старался просто заработать для нашего существования, а то как же иначе? Вот сейчас падает цена на мех, значит, надо убивать все больше и больше для добывания средств... При чем же тут я?"

И тем не менее Серая Сова, несмотря на все свои совершенно правильные рассуждения, чувствовал, что какая-то непрошенная правда мерцала в ее жалобах...

Несколько задетый, в замешательстве, но совсем не рассерженный, выслушал все это Серая Сова и отправился из дому на свой любимый холм. Там он развел костер, сидел, курил, раздумывал о всем случившемся, привычной рукой снимая шкурку с убитой куницы. В то самое глубокое раздумье погрузился он и переживал ту самую борьбу с собой, какую до сих пор в своем одиночестве переживала Анахарео. И он постарался тут сам с собой довести спор свой с ней до конца.

И вот внезапно, как при свете молнии, увидел он весь свой эгоизм, развившийся во время скитаний. Стало понятно, как узка была дорожка, по которой он шел. Уважение, внимание, восхищение! Да ведь это были только крохи от его настоящих переживаний. И эти крохи он подносил женщине, вручившей ему свое сердце!

Поняв это все, Серая Сова отбросил всю свою мужскую самоуверенность и свои мужские права и на лыжах узкой горной тропой ринулся вниз, к лагерю.

"Не опоздать бы! Вот только бы не опоздать!"

В этот знаменательный вечер, когда Серая Сова впервые только глубоко заглянул в себя, и начинается его медленное внутреннее продвижение в действительную страну непуганых птиц и зверей, в ту страну, которую создает человек своим творчеством, а не в ту, о которой он только мечтает по-детски. В этот вечер зародился тот самый переворот, который потом переменял всю его жизнь.

Охота за бобрами

Не нужно думать, что душевный переворот у охотника на бобров произошел внезапно: скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Да если и случаются иногда под давлением обстоятельств такие внезапные перемены, то это бывает обыкновенно на короткое время. Нет,

в этом случае речь идет о перевороте как длительном процессе чередующихся умственных сдвигов, самоанализа, порывов вперед, возвращения к исходным позициям и опять вперед, к новым достижениям. Такой переворот требует самодисциплины и, само собой, сразу совершиться не может.

Во всяком случае, грозные тучи, висевшие над семейной жизнью Серой Совы, в тот знаменательный вечер совершенно рассеялись. Супруги по-прежнему усердно работали на промысле, но зато уж когда возвращались домой, то прекращали всякий разговор о своей профессии. У них даже появилась потребность в домашнем уюте, хижину свою они стали украшать и разговоры вели о таких вещах, о каких раньше и помину не было. Если же днем, смотря по ходу промысла, нужно было расходиться в разные стороны, то обоим тянуло поскорее снова сойтись. Бывало при лыжных пробегах путь раздваивался, — тогда тот, кто первый выходил на общий путь, писал на снегу шаловливые послания. Так мало-помалу счастье снова вернулось, и Анахарео стала такой же деятельной и жизнерадостной, какой была раньше. Вот только для Серой Совы полученный им жизненный урок не прошел даром и привел в конце концов к самым невероятным последствиям.

Анахарео при новом отношении к ней мужа стала неизменно сопровождать его во всех охотничьих предприятиях. И хотя охотой она занялась по-настоящему только теперь, в эту последнюю зиму, но, тем не менее, быстро овладела техникой, научилась отлично расставлять ловушки и следить за ними. Часто она даже первая прокладывала лыжный след и пользы приносила Серой Сове даже больше, чем в прежнее время его компаньоны-охотники. Но сильная и закаленная женщина, работая на промыслах, не закрывала себе глаза на жестокости своей новой профессии. Глубокое сострадание вызывал у нее вид окоченевших, искаженных предсмертной агонией, скорченных мертвых существ, или зрелище добывания животных рукояткой топора, или удушение животных, умирающих с мольбою в глазах, и после того — новые и новые ловушки для новых жертв. Хуже всего было, что в ловушки случайно попадало множество ненужных птиц и белок, и часто при осмотре они были еще живы, некоторые кричали или слабо стонали в мучениях. И вот странно! Животные как будто отгадывали, что делалось в душе Анахарео, и в последней своей борьбе за жизнь всегда обращались к милосердию женщины; так, особенно ярко выделяется случай с рысью, которая, умирая, подползла к ее ногам.

Все эти случаи делали Анахарео глубоко несчастной. И не раз Серая Сова дивился, как это кровавая индейка не могла привыкнуть к смерти животных, убиваемых для существования человека.

Серая Сова, как и все подобного рода бродяги по обширным и безмолвным пространствам лесной страны, всегда был склонен наделять животных личными свойствами. В глубине души благодаря этому он, конечно, должен был иметь к животным какое-то чувство сострадания. Но от этого человеческого чувства самим животным не было легче. Да и как это можно было думать о каком-нибудь милосердии в условиях крайней нужды, вечной задолженности у промышленника-пушника! Единственное, что можно было спрашивать с охотника, это чтобы он не мучил животных зря, не убивал без нужды.

И не будь Анахарео, Серая Сова так бы и оставался в пределах обычной этики канадского охотника и не стал бы беспокоить себя лишними мыслями. Но необходимость считаться с душой своего товарища заставила его вылезть из своей скорлупы и открыть глаза на мир непривычных явлений. И оттого, действительно, он стал обращать внимание на такие вещи, которые при одном только голом стремлении к наживе должны были бы от него ускользать. Мало-помалу Серая Сова благодаря этим новым мыслям начал чувствовать некоторое отвращение к своему кровавому делу.

Конечно, нельзя сказать, что душа охотника была жестокой и все перерождение Серой Совы совершилось исключительно под влиянием милосердия женщины. Далее и в те дни суеверного прошлого, когда Серая Сова еще верил, что будто бы радиоволны как-то влияют в дурную сторону на климат, в отношении к животным он не лишен был некоторого чувства справедливости, еще не осознанного и проявлявшегося в странном виде. Тут не обошлось, конечно, без влияния предков-индейцев, этих примитивных фантастов. Унаследованные от них правила, доходившие до чистого суеверия, Серая Сова с юности своей выполнял, не жалея ни времени, ни труда. Со стороны едва ли можно относиться к этим обрядам сколько-нибудь серьезно, однако для Серой Совы эти ритуальные торжества значили очень много. Ни одного медведя не убивал он без того, чтобы какая-нибудь часть его тела — обыкновенно череп или лопатка — не подвешивалась где-нибудь на видном месте в районе его обитания. Тело ободранного бобра устраивалось в удобном положении, и рядом складывались отрезанные «руки», ноги и хвост. Когда было возможно, тело со всеми указанными частями спускалось в воду через прорубь, часто с трудом проделанную во льду. Если случалось употреблять бобра в пищу, то его коленную чашечку, столь необычную для животных, отделяли и предавали ритуальному сожжению. Все эти обряды выполнялись не только полудициализованными индейцами, но даже и относительно развитыми. И если бы кто-нибудь спросил о причине этих обрядов, ему бы ответили: "Озаам тапскохе аницинабе магуин", то есть: "Потому, что они так сильно похожи на индейцев".

К этим обычаям предков Серая Сова присоединял еще и свои собственные и выполнял эти собственные правила с той же строгостью, как и правила предков. Так вот, например, провожая в лес туристов-охотников, он никогда не позволял им фотографировать раненое животное до тех пор, пока оно не умирало. Точно так же, если приходилось раненое животное донести живым до лагеря, то тут надо было его непременно выходить и отпустить. Однажды весной Серой Сове попался маленький, месячный, волчонок, и охотник принес его домой и стал ухаживать с добрым намерением выходить его и, когда он будет в состоянии сам добывать себе пищу, отпустить на волю. При самом лучшем уходе маленький сирота чувствовал себя несчастным. У него было только два развлечения или он жевал старый мокасин^[17] под кроватью — единственное развлечение, похожее на игру, или часами, уставившись неподвижно, смотрел на стены хижины своими косыми непроницаемыми глазами, как будто он сквозь стены видел что-то вдали. Волчонок не обращал на Серую Сову никакого внимания и замечал его лишь тогда, когда тот приносил ему корм. Так он все и продолжал глядеть затуманенными зелеными глазами в свою желанную страну, пока, наконец, не умер.

Сироты

Однажды по окончании зимнего охотничьего сезона Серая Сова отправился продавать свою пушнину, но цены были низкие и падали все ниже и ниже из недели в неделю. В это время роковые слова о конце первобытных лесных промыслов уже были написаны в лесной чаще.

За год перед этим участок, на котором теперь работал Серая Сова, был обловлен хорошим охотником и мало попадалось, и цены были так низки. Что делать? Всего только около шестисот долларов было заработано — вовсе ничтожная сумма в сравнении с обычным заработком. После погашения долгов и закупки летнего провианта не останется от шестисот долларов ни малейшей основы для возможности двинуться вновь куда-нибудь на поиски девственного, не видевшего охотника участка, а без этой возможности какой же интерес томиться ловлей зверей в таких поруганных человеком местах? Чтобы как-нибудь выйти из трудного положения, Серая Сова решил поохотиться и в весеннее время, когда мало-мальски смыслящий что-нибудь в своем деле охотник вешает ружье на стенку бить зверей, когда у них рождаются дети, — это все равно, что рубить сук, на котором сидишь. Но что же делать!

Положение было безвыходное, а на участке еще оставалась одна семья бобров Серая Сова успокоил себя тем, чем всякий успокаивает себя в этих случаях если он не возьмет этих бобров, придет другой и покончит с ними.

Случилось, запоздал один покупатель, и пришлось из-за этого провести даром целую неделю, а потом длинная дорога на участок, где Серая Сова должен был сдать пушнину, отняла еще больше времени, и вот к охоте надо было приступить лишь в конце мая, когда бобрята непременно должны были уже родиться. Не оставалось в этом никакого сомнения. Но Серая Сова все-таки пошел на охоту, и, когда ставил свои капканы, из старой, но подновленной бобровой хатки слышались слабые, тоненькие голоса бобрят. Услышав эти знакомые звуки, Серая Сова загремел веслами и тем отвлек внимание Анахарео. Пойми женщина, в чем дело, она упростила бы снять капканы. Никогда не приходилось раньше делать этого, поэтому, услышав писк бобрят, и сам Серая Сова почувствовал боль.

Но работу свою он продолжал: деньги были очень нужны.

На следующий день Серая Сова вытащил из капканов тела трех бобров, но четвертого капкана не было: бобровая мать оборвала цепь и ушла в воду вместе с капканом. Было прощупано все дно в поисках тела бобра, была отчасти спущена и вода, но ничего не помогло: нигде ничего не находилось. В этом горе от потери самой ценной шкуры Серая Сова и вовсе забыл о маленьких беспомощных бобрятах, обреченных теперь, без матери, на голодную смерть. После целого дня, истраченного на поиски бобра, он уложил свои капканы, снаряжение и направился в лагерь, не думая возвращаться еще к этому опустелому месту. Но события иногда вторгаются в нашу жизнь и действуют как будто по собственной воле. На другой день Серая Сова вдруг почему-то переменял свое вчерашнее решение не возвращаться больше к пруду, и ему захотелось проверить, не вернулась ли самка в свою хижину. Вместе с Анахарео они стали грести к опустелой бобровой хатке. Но никаких признаков жизни там не было: ни по следам, ни по звукам.

Ничего не оставалось больше делать, как повернуть обратно и покинуть это место окончательно и навсегда. И только они повернули лодку, вдруг позади себя Серая Сова услышал плеск, оглянулся и увидел какое-то животное вроде выхухоля на поверхности воды возле бобрового домика. Хоть чем-нибудь вознаградить себя за потерянный день! И охотник поднял ружье, стал прицеливаться. На таком расстоянии промахнуться было невозможно, и палец уже готов был нажать на спуск, как вдруг это животное издало тихий крик, и ему ответило другое животное таким же голосом. Они сплылись, и их можно было убить одним выстрелом; но они опять закричали, и по этому крику вдруг стало все понятно: то были маленькие бобрята. Тогда Серая Сова медленно опустил ружье и сказал Анахарео:

— Ну, вот тебе и бобрята!

При виде маленьких сирот у нее сразу же пробудился инстинкт женщины.

— Спасем их! — воскликнула она взволнованно.

И потом более тихо:

— Мы обязаны.

— Да, — ответил смущенно Серая Сова, — мы обязаны. Возьми их.

Однако поймать их оказалось не так-то легко: бобрята были уже не маленькими и отлично могли плавать. Но, терпеливо преследуя их, охотники своего добились: странного вида

пушистые зверьки были пойманы и спущены в лодку. Они были каждый около полуфунта весом, с длинными задними ногами и чешуйчатыми хвостами. По дну лодки оба зверька стали ходить со свойственным бобрам видом спокойствия, настойчивости и целеустремленности. Супруги-охотники смотрели на эту парочку несколько смущенно, с трудом представляя себе, что же дальше-то делать с ними. Однако милосердные люди и вообразить себе не могли невероятных последствий появления этих животных в семье человека.

Приемыши

Молодые супруги, конечно, не представляли себе того, как свяжут их по рукам и ногам принятые на воспитание дети звериного царства. Бобрята вовсе не были похожи на дикие существа, как мы их себе представляем: не прятались они по углам в ужасе, не глядели тоскующими глазами и ни в чем не заискивали. Совсем напротив: они гораздо более походили на два глубоко сознательных существа, видевших в людях своих защитников. Правда, они всецело отдались в человеческие руки, но зато уж, со своей стороны, требовали к себе непрерывного внимания, напоминая людям о взятой на себя ответственности, приучая даже и спать-то начеку, с рукой, положенной на жестянку со сгущенным молоком.

Не так-то легко было найти способ кормления их. Что делать, если они не хотели пить молоко из тарелки, а бутылки с соской нигде нельзя было скоро достать? К счастью, осенила мысль погружать веточку, взятую с дерева, в банку со сгущенным молоком, а потом давать ее в рот бобренку обсосать и облизать.

После еды эти кроткие существа, полные обезоруживающего дружелюбия, считающие как бы вполне естественным такое отношение к ним людей, просились на руки, чтобы их поласкали. А скоро они взяли себе в привычку засыпать за пазухой, или внутри рукава, или свернувшись калачиком вокруг человеческой шеи. Переложить их из выбранного ими места в другое было невозможно, — они немедленно просыпались и решительно, как в свой собственный дом, возвращались назад. Если же с излюбленного места их перекладывали в ящик, то они пронзительно кричали, прямо требуя своего возвращения, и стоило протянуть к ним руку, как они хватались за нее и по руке взбирались и опять калачиком свертывались вокруг шеи.

Голоса людей они скоро научились различать и, если к ним, как к людям, обращались со словами, то оба, один перебивая другого, старались криками своими что-то тоже сказать. Во всякое время им разрешено было выходить и бродить вокруг палатки, и все было у них хорошо до тех пор, пока они не теряли друг друга из виду. Неистовый крик поднимался, когда им приходилось поодиночке заблудиться. Тут они теряли всякую свою самоуверенность, самообладание и звали на помощь людей. А когда их соединяли, то нужно было видеть, как они кувыркались, катались, вертелись, визжали от радости и потом ложились рядышком, вцепившись друг в друга своими цепкими лапками, чрезвычайно похожими на руки. Часто, когда приемыши спали, им в шутку что-нибудь говорили, и они слышали и сквозь сон пытались ответить по-своему. Если же это повторялось слишком часто, бобрята становились беспокойными и выражали свою досаду, как дети. Действительно, их голоса очень напоминали крики грудных детей. Смотря по времени дня или ночи, в определенные часы из глубины ящика слышались соответственно часу и определенные звуки. Легче всего было людям понять, конечно, громкие, настойчивые и продолжительные крики, требующие еды и повторяющиеся приблизительно через каждые два часа.

Серая Сова не был сентиментальным человеком, но эти причудливые маленькие создания сумели привязать к себе охотника до того, что он сам дивился своим чувствам. Каждый из бобренков сразу же выбрал себе своего шефа и оставался верен своему первому выбору. Бобрята изливали свою любовь забавными способами: завидя людей, они опрокидывали свой

ящик и мчались навстречу им или ночью залезали под одеяло и располагались калачиками вокруг шеи избранного шефа. Если им что-нибудь грозило снаружи, они пугались и тихо крались, животами почти касаясь земли, к людям; каждый садился возле своего друга, и так они ждали, пока воображаемая опасность не проходила.

Они постоянно удирали, и в первое время немало было тревоги и хлопот, чтобы находить таких крошек в кустарниках. Но после вся эта тревога оказывалась напрасной, потому что, чуть заслышав где-нибудь шаги или зов своих друзей, они сами со всех ног бросались им навстречу. Мало-помалу маленькие бродяги вошли в такое доверие, что их хозяева стали забывать о разных мерах предосторожности и однажды перед отходом ко сну забыли закрыть ящик, а утром нашли его пустым. В тревоге бросились за бродягами, искали, плавая в каноэ целый день; всю ночь стерегли в кустах, постоянно проверяя, не вернулись ли они в палатку. Трудно было вообразить себе, чтобы бобрята, столь привязанные к людям, могли их по доброй воле покинуть. Но все-таки они были дикими животными, способными бегать где захочется, самостоятельно питаться и, может быть, вообще даже обходиться без людей: взбрело что-нибудь в голову, и вдруг одичали и ушли навсегда. Забиралась в душу еще и худшая тревога: везде было множество ястребов и сов, а какой-нибудь выдре и вовсе ничего не стоило расправиться с ними по-своему. Так прошло более тридцати часов со времени их исчезновения. За это время, думалось, если они только остались в живых, они должны были удрать так далеко, что поиски вблизи палатки делались вовсе напрасными. Измученные, с понурыми головами, вернулись супруги в палатку на отдых. А там, в палатке, и не подозревая, сколько они своим друзьям причинили тревоги, восседали на постели оба беглеца и выжимали воду из своих шуб прямо на одеяла.

После этого тяжелого испытания супруги перенесли свой лагерь прямо к старому озеру и, конечно, принимая разные меры предосторожности против хищных птиц и зверей, дали бобрятam волю уходить и бродить где им только нравится. Часто бобрята ненадолго спускались вниз, к озеру, своей обдуманной походкой, купались там, плавали в тростниках и возвращались важно, с видом двух старичков, делающих прогулку для моциона. Бобрята были неплохие хозяева. Когда окончился молочный период их кормления, в дополнение к их естественной пище приходилось давать им еще овсянку. Каждый бобренок получал свою отдельную тарелку, и вот нужно было видеть, как они обходились с этими тарелками! Инстинкт бобров — накладывать все полезные материалы друг на друга где-нибудь в стороне, чтобы они не мешали, — перешел и на тарелки: заботливо вычищенные тарелки отодвигались к стене палатки, и тут их непременно нужно было поставить на ребро у стены. Это было, конечно, нелегко сделать, но они упорно добивались, и большей частью им удавалось прислонить тарелки к стене.

К трем месяцам своего возраста бобры перестали доставлять своим хозяевам беспокойство, и нужно было только удовлетворять их жадный аппетит к овсянке да остерегаться их особенного, неустанного любопытства к мешкам и ящикам с запасами провизии. Они нуждались в частой ласке, и приходилось считаться с их обыкновением появляться во всякие часы ночи на постелях хозяев насквозь промокшими и обдавать своих спящих друзей сыростью и холодом. Но они были сами щепетильно опрятны, кротки, воспитанны, совершенно ничем не пахли, и, в общем, это была парочка представителей Маленького Народа, которая так себя вела, что каждому бы доставило удовольствие с ними жить. Они старались держаться незаметно, и большую часть времени их было не видно и не слышно, и только перед закатом обыкновенно они чувствовали особенную потребность во внимании, и с этим надо было считаться. В эти минуты они попискивали, хватали за руки своих хозяев, слегка покусывали кончики пальцев, карабкались вверх, насколько только могли повыше, сопровождая все это курьезными ужимками, с тем чтобы показать свою особенную привязанность к людям. И вот эта

потребность в человеческой ласке, зовущий голос, игра то с локоном волос, то с пуговицей или бахромой от одежды делали их очень похожими на детей. Но подобные приливы чувств не были длительными: поиграв с людьми на вечерней заре, они исчезали по своим делам до рассвета и появлялись утомленными, промокшими и сонными.

Нет ничего удивительного в том, что Анахарео как женщина не только полюбила этих деток звериного царства, но всецело себя им посвятила, как будто они были ее собственные дети. Серая Сова решительно терялся в этом неожиданно нахлынувшем на него чувстве: оно грозило подорвать главный источник средств его существования — охоту на бобров. По временам он даже стыдился этих чувств, как недостойных мужчины. Однако в этих случаях вспоминался ему один громадный и с виду злой индеец, безобразного вида, с изуродованным оспой лицом; его все не любили. Однажды он провел целый день под дождем в поисках своего потерянного бобра; найдя его, он снял с себя верхнюю одежду, завернул в нее бобра и под проливным дождем шел домой в одной нижней рубашке. Другой индеец застрелил свою прекрасную ездовую собаку, вожака, за то, что она заела бобра, которого он два года выращивал. Значит, было же что-то привлекательное в этих чертенятах, если под их влиянием изменяли свой характер самые грубые люди!

Серая Сова вначале старался затаиваться в своих чувствах, когда это происходило на глазах Анахарео, но это было чрезвычайно трудно. Их чихания и детские покашливания, нежные хныканья и другие разные звуки, выражавшие их любовь к людям, — как они были привлекательны! А их постоянные пылкие ответы на всякую ласку, крохотные цепкие, похожие на руки лапки, их по временам нетерпеливо топающие ножки и маленькие взрывы чувств при защите своей независимости, — все, казалось, в них было создано для того, чтобы вызывать самые нежные чувства, дремлющие в каждом человеческом сердце. Большей частью они были шумно счастливы, но бывали у них иногда приступы сварливости и повышенной возбудимости, когда они ссорились между собой, били друг друга и даже своих хозяев. Но такое дурное состояние духа длилось обыкновенно недолго, и — как удалось установить — причиной его было плохое пищеварение. Их «руки» (иначе и нельзя назвать их передние конечности) были для их дела столь же совершенны, как и человеческие. Они могли ими подбирать очень маленькие предметы, манипулировать палками, камнями, ударять, толкать, поднимать тяжести и так сильно обхватывали вещи, что трудно было их вырвать. Очищая зубами сочную кору с палки, они вращали стволик «руками», так что работа шла, как на токарном станке.

Жадные зверюги постоянно стремились что-нибудь друг у друга стащить, но редко это было всерьез, и еще реже затея удавалась. Владелец какой-нибудь палочки всегда был настороже и в случае злонамеренного приближения товарища поднимал протестующий крик и до того в этом расходился, что долго не унимался и после того, как неприятель оставлял всякую мысль о грабеже. Ни малейшего недовольства они не выказывали, когда подходили к ним во время еды; можно было даже их и погладить; но стоило только потянуться за их деревянными сандвичами, как они резко вскрикивали и повертывались, заслоня задом свои съедобные прутки от людей.

Молодые супруги перенесли на своих бобрят, по-видимому, всю заботу и нежность, какие таились в них для воспитания собственных детей. Случалось им уплывать куда-нибудь по озеру, и, когда возвращались, они, не доезжая до берега, принимались звать, и приемыши подплывали, вытягивали руки, хватались за спущенные пальцы, глядели вверх, просились и что-то бормотали по-своему. Для такого случая припасались кусочки чего-нибудь лакомого, и приемыши поедали это на воде, звучно чмокая губами и всячески выражая свое довольство. Впрочем, покровителям детей звериного царства такая встреча, кажется, доставляла не меньшее удовольствие, чем и самим зверятам. В особенности им стало это занятно, когда оказалось, что лакомым кусочком можно было на воде манить бобрят за собой, и они старались

даже вскарабкаться в каноэ. В этом им было очень легко помочь, так как хвост бобренка может быть удобнейшей ручкой. Восторг приемышей при встрече с хозяевами в каноэ был неописуемый, и если Анахарео и говорила иногда, что этот восторг небескорыстный, то Серая Сова урезонивал ее такими словами:

— Укажи мне даже самого близкого друга, теплое сердце которого еще более не теплело бы оттого, что ты его приглашаешь к своему столу.

И не раз после таких забавных сцен, собираясь в новую поездку, Серая Сова и Анахарео, представители двух племен, самых воинственных, изводили друг друга спором о том, какую приманку взять в этот раз, что больше любят или не любят два маленьких существа, которые, по нравственным нормам спекулянтов цивилизации, не стоили даже заряда пороха.

Дети звериного царства

В середине лета понадобилось непременно Серой Сове побывать на железной дороге и там посоветоваться с людьми той же профессии о перспективах предстоящей зимы. Во время этого путешествия бобрам разрешалось бегать свободно, потому что выскочить за борт каноэ они никак не могли. Когда же приходилось каноэ тащить за собой по суше, то их сажали в мешок от зерна и подвешивали к лавочке для гребца в перевернутом каноэ. Один из этих волоков был длиною в две мили, и бобрята всю дорогу кричали, потому что тучи комаров облепляли мешок. Не было с собой удобного ящика, чтобы бобров устроить хотя бы на время остановки; приходилось от комаров привешивать мешок у костра и подкапчивать бедных зверьков. Почти все время они спали и ничего не ели, но, тем не менее, прибыли в довольно хорошем состоянии и только казались немного пьяными. Посмотрев на, них в таком состоянии, один индеец даже сказал, что они умирают. Но всего через какой-нибудь час или два, проведенные в воде, они вполне отдохнули. Теперь пришлось их днем и ночью держать в заключении из-за множества бегавших на свободе ездовых собак. Бобры не оставались равнодушными к своему заключению, а проворно выгрызали себе выход из всякой посуды, в которую их приходилось сажать.

Вслед за этим путешествием предстояло совершить еще одно плавание назад в лагерь за оставшимися вещами. Пришлось отдать бобров на попечение одному приятелю, который запер их в свой бревенчатый сарай. Через несколько дней путешественники прибыли, и, как только выгрузились на берегу, Анахарео отправилась навестить бобров, а Серая Сова пошел раздобыть крепкий, хороший ящик, чтобы в тот же вечер сесть на поезд и отправиться дальше. На обратном своем пути Серая Сова встретил бледную, обезумевшую от горя Анахарео: бобры исчезли. Они выгрызли себе выход в сарае на более тонком месте, где одно бревно соединяется с другим, и отправились в свое путешествие. Владелец сарая, зная, как молодые супруги дорожили бобрами, крайне взволнованный, надел намордник своей охотничьей собаке и отправился искать беглецов по следам. Взяв направление к отдаленному озеру, Серая Сова, в свою очередь, принялся широко обшаривать мель. Бобры не могли быть далеко, и при обычных условиях их легко бы можно было найти; опасность угрожала от упряжных собак и от охотников-шкурятников, убивающих все, что им на глаза попадает.

Однако спустя немного самка показалась сама во дворе; она беспечно пробиралась между собаками, и они ее заметили и уже со всех сторон бросились, чтобы схватить. Но с криком, дикими прыжками Анахарео бросилась, выхватила бобренка и, преследуемая врагами, унеслась в ближайшую дверь. Серая Сова узнал об этом, вернувшись из своих безуспешных поисков.

Поиски с охотничьей собакой тоже не дали никаких результатов, вероятно, потому, что детеныши большинства животных не оставляют на следу никакого запаха, и это именно им

служит защитой от хищников. Узнав об этом, Серая Сова и Анахарео значительно между собой переглянулись, оба думая об одном: что самец, чрезвычайно любознательный и страстный бродяга, отправился в свое последнее путешествие. И тогда большой крепкий ящик с одним бобренком им показался слишком большим и пустым. За свою короткую жизнь бобрята не разлучались между собой больше чем на несколько минут, и оттого теперь самочка причитывала тем голосом, который являлся у нее в одиночестве при больших неприятностях.

Серая Сова искал безуспешно весь вечер, пока наконец не стало темнеть. Вся местность кишела издыхающими от голода упряжными собаками, для каждой из которых бобренок — один-единственный глоток. Шансов найти теперь оставалось немного, а пропавший бобренок как раз и был любимцем Серой Совы. Печаль стала глубоко проникать в его душу. Трудно было думать, чтобы маленький бобр успел добраться до озера, но искать нужно было, тем более что этот маленький бродяга часто попадал в трудные положения и все как-то счастливо отделялся. Быть может, он и в этот раз ускользнет от верной гибели? И Серая Сова, размышляя об этом, вдруг с достаточной ясностью увидел на другом берегу узкого залива что-то темно-коричневое, быстро исчезающее в наступающей темноте. Несколько раз Серая Сова громко позвал, и в ответ немедленно, только вовсе не со стороны того коричневого предмета, а совсем недалеко впереди, в расстоянии броска камня, слышался горестный вопль. Ивняк был густой, и разглядеть что-либо в нем было невозможно. Серая Сова, однако, шел вперед и кричал, и каждый раз на свой призыв получал ответ, пока, наконец, бродяга, с выпученными глазами и шерстью, поднявшейся дыбом, не прорвался через чащу и не бросился к ногам Серой Совы. Вмиг Серая Сова подхватил маленькое пушистое тельце, крепко прижал к своей груди, и бобренок, тыкаясь носом в него, тоже выражал свои чувства едва слышным жалобным писком. Он был совершенно сух и, значит, почти достигнув воды, не пошел в нее, а вернулся на голос, столь хорошо ему известный.

Никогда Серая Сова раньше не испытывал такой радости от находки чего-нибудь потерянного. Что же касается Анахарео, то она была вне себя от восторга. И пусть ящик по-прежнему был слишком велик для двух маленьких бобров, — теперь пустота его людьми больше не чувствовалась; напротив, он казался полным, и уже неслись оттуда знакомые звуки ссоры из-за лакомого кусочка, той самой ссоры, которая выражается словами: милые бранятся только тешатся.

Наблюдая теперь зверушек, живущих в полном неведении опасностей, прошлых, настоящих и будущих, Серая Сова с некоторой тревогой думал о своей к ним привязанности, перерождающей его самого из охотника — истребителя бобров в их покровителя. С чисто экономической точки зрения, Серая Сова давно уже был противником массовой бойни, естественно теперь приходящей к концу из-за отсутствия жертв. Но такого рода холодный расчет был совсем другое, чем прямая любовь к живым существам. Оказалось, что эти животные обладали чувствами и могли отлично их выражать; они могли разговаривать, имели привязанности, знали, что такое счастье и что такое одиночество; одним словом, они были маленькими людьми. А наблюдение над двумя маленькими неизбежно сопровождалось пониманием всего Бобрового Народа: что он весь такой! Под влиянием этого у Серой Совы всплывали в памяти разные истории о бобрах, слышанные им в детстве и потом казавшиеся неправдоподобными. Недаром же дикие индейцы давали своим бобрам такие имена, как Бобровый Народ, Маленькие Индейцы, Говорящие Братья. Недаром матери-индейки, потеряв ребенка, кормят грудью бобров и в этом находят утешение. И как нежно ухаживали за ними все индейцы, в руки которых они попадали! Но почему же раньше Серая Сова, ни на мгновение не задумываясь, предавал их смерти? Это прежнее свое отношение к бобрам Серая Сова теперь считал совершенно чудовищным.

Так, раздумывая о маленьких детях звериного царства, Серая Сова в последний раз на ночь

заглянул к ним и отправился спать. Но неугомонные зверьки в течение ночи выгрызли себе выход из нового жилища и, утомленные этой работой и еще разными своими делами, крепко заснули снаружи, возле прогрызенной ими стенки ящика. Тут их и нашли поутру, когда решался вопрос, садиться в поезд или еще один пропустить.

Между тем слухи о ручных бобрах привлекли в лагерь одного торговца мехами, пожелавшего посмотреть на бобров. Он рассказал, что есть недалеко отсюда еще парочка бобрят, которых один индеец принес хозяину магазина в уплату своего долга, и что он собирается их купить. Он прибавил, что те бобрята очень неважно выглядят и могут умереть в пути. И потому он их не хочет касаться и ждет, что владелец сам на свой риск ему их доставит.

Напротив, бобры Серой Сова показали торговцу превосходными и произвели на него сильное впечатление. Он даже сделал очень выгодное предложение, которое, конечно, было отвергнуто, хотя денег было и вовсе мало. После ухода торговца явилось желание поглядеть и на тех бобрят. Собираясь туда, Серая Сова и Анахарео поместили своих в оцинкованную лоханку, приставили сторожа и наказали в свое отсутствие никому бобров не показывать. Владелец бобров оказался не простым торговцем: его универсальный магазин соединен был с гостиницей, самым же главным источником его дохода была торговля контрабандным вином. Этот торговец контрабандными напитками в душе был неплохой парень и тратил на угощение почти столько же виски, сколько и продавал. Притом он был еще и набожным человеком и в своей личной комнате имел нечто вроде алтаря с неугасимой лампадой. Здесь он обыкновенно и молился со своей семьей; и весьма нередко случалось, что, поднявшись с колен, приходилось идти прямо за прилавком, отпускать запрещенную водку покупателю, а потом возвращаться в свою священную комнату и, осенив себя крестным знамением, снова опускаться на то же самое место. Купив бобрят, этот хозяин не имел ни малейшего понятия об уходе за ними, и потому маленькие создания имели вид до крайности жалкий, в полном смысле слова, можно сказать, умирали и своими слабыми голосами непрерывно кричали. Когда к ним в ящик просовывали руку, они хватались своими крохотными ручками за пальцы с жалобными криками, как будто они умоляли спасти их, вытащить из черной бездны, в которую они погружались.

Серая Сова мог только жалеть, но не осуждать хозяина: сам когда-то так поступал.

— Если бы только он нам позволил их взять к себе! — говорила Анахарео. — Пусть бы хоть они умерли возле наших и не были такими одинокими!

— Мы их купим! — ответил Серая Сова.

И пошел к лавочнику.

— Сколько вы хотите?

— Много, — ответил торговец. — А сколько у вас денег?

Серая Сова ответил.

— Мало, — сказал торговец.

Анахарео предложила торговцу ухаживать за бобрами. Но, как ни старалась она втолковать ему, что от этого бобры поправятся и будут стоить дороже, хозяин отказался и от такого бескорыстного предложения. Он послал за лицензией, чтобы иметь право отправить бобров к торговцу мехами, и говорил, что будет вполне удовлетворен, если бобры проживут до заключения сделки и будут погружены живыми.

— Если же они, — говорил он, — подохнут после заключения сделки, то это будет даже забавно.

Одним словом, это был типичный представитель спекулянтов среди торговцев мехами, порожденных последними аферами.

Но бобрята, без воды, подходящей пищи, какого бы то ни было ухода, к их счастью, не долго промучились. Один маленький пленник в ближайшее воскресенье утром был найден мертвым в своей темнице, другой так же безжизненно растянулся возле ведра с водой, до которой он, мучимый жаждой, напрасно старался добраться. С глубокою скорбью смотрел Серая Сова, как бросили в помойное ведро два существа, рожденные в чистой, благоуханной свободе безмолвных лесных просторов, чудесные существа, не понятые людьми, опозоренные...

И позже, глядя на своих двух маленьких крошек, Серая Сова не мог забыть тех несчастных и давал себе нерушимый обет никогда, ни при каких условиях не продавать своих зверенышей в рабство и сделать их свободными существами во что бы то ни стало. С болью вспоминал он при этом их загубленную мать.

— Пусть никогда не будет, — говорил он, — в жизни моей, столь же тяжелого дня и не буду я больше участвовать в чем-нибудь подобном тому, чему я был свидетелем в жалкой лавке спекулянта. Я на это не пойду, если даже и придется самому голодать.

В неясном еще сознании, но, по всей вероятности, именно в это время у Серой Совы созрело решение бросить охоту на бобров навсегда.

Из-за чего пришлось подтянуть пояса

Как сожалеешь, когда исчезает любимый пейзаж или погибает последний представитель какого-нибудь благородного животного! Так было, когда пал последний бизон: были охотники, которые после этого навсегда отrekliсь от ножа и винтовки. И сколько ветеранов-охотников из индейцев посвятили себя делу восстановления исчезнувшей породы животного! То же самое теперь происходило с бобрами: их добивали. И трудно было уйти от этого, не участвовать самому в этой бойне. Легко сказать — бросить охоту на бобров! Но чем же существовать, особенно такому, как Серая Сова, с малолетства связавшему свою жизнь с судьбою бобра? Нет, ни в каком случае это решение отказаться навсегда от охоты на бобров не могло быть осуществлено прямо же вслед за тем, как вздумалось. Еще и еще много раз жизнь должна была убеждать в бессмыслице истребления бобров, и должен был явиться какой-нибудь случай, за который можно было бы схватиться и спастись от ненавистного дела истребления любимого животного.

Сто тысяч квадратных миль земли Онтарио теперь оставались совсем без бобров, и если бы не встречались кое-где их брошенные хатки, то можно было бы думать, что они здесь никогда даже не существовали. Около двух тысяч миль проплыл Серая Сова в каноэ по стране, считавшейся бобровой, и нашел только кое-где еще уцелевшие колонии и разрозненных одиночек. Серая Сова сидел на совете у оджибуев на Симоновом озере, беседовал с другими племенами с большого озера Виктория, с верховьев реки св. Маврикия, и все в один голос говорили одно и то же: что бобр или вовсе пропал, или находится на границе исчезновения. И по всему так выходило, что в очень скором времени бобры должны вовсе исчезнуть. Лес без бобров! Но как это представить себе человеку, который связал свою судьбу с судьбой бобра и всей окружающей обстановкой! Без бобра, казалось ему, исчезал всякий смысл в природе. И что же оставалось думать о себе самом, в сущности, помогавшем нашествию незаконных трапперов[18] и спекулянтов мехами?

Глубоко задумывался об этом Серая Сова и вспоминал ранние дни своей лесной жизни, те беззаботные дни одиночества среди молчаливых обширных и безлюдных просторов. Увы! Эти дни, когда можно было бездумно убивать живые существа, ушли безвозвратно. В то время ведь он был один, спешки не было, и убийство животных в целях добывания средств существования казалось занятием вполне естественным. Нашествие безрассудных трапперов с их нечеловечески жестокими приемами убийства бобров, — вот что заставило впервые призадуматься. Индейцы как воспитанные, профессиональные звероловы ставили обыкновенно капканы свои подо льдом, и там, в воде, животное, захваченное капканом, или тонуло, или вырывалось и спасалось. Но у пришельцев были совсем другие приемы...

Что может быть ужаснее спрингпуля[19], который выхватывает бобра из воды за лапу и подвешивает его живым в воздухе?! Так, давно, в первые времена нашествия варваров, Серая Сова нашел однажды мать, схваченную за лапу, а бобрята сосали у нее молоко. Она стонала от боли, и, чтобы освободить ее, пришлось отрезать ей лапу. Несмотря на боль, она поняла, что добрый человек ее освободил, и, доверяя ему, уходила медленно, поджидая своего маленького. Другая самка в то время встретилась в еще более ужасном положении: пойманное спрингпулем животное кричало голосом, до странности напоминавшим наш, человеческий. Спасти ее было невозможно, оставалось только опустить ее в воду, чтобы она поскорее задохлась. И вот, умирая, несчастное животное своей одной, неповрежденной, лапой крепко сжало палец помогавшего ей умереть человека. Оказалось, что эта самка была на последних днях беременности. Довольно и двух случаев жертв этого дьявольского изобретения убийства животных. Но они встречались десятками: выхваченные из воды животные висели много дней живыми, пока не умирали от жажды и голода. Часто птицы выклевывали глаза еще у живых...

Подобная бесчеловечность белых цивилизованных людей у индейца вызвала чувство особенной близости к животным и первобытной природе, и пусть эта природа в борьбе за существование была тоже безжалостна, но все-таки она, даже разграбляемая, оставалась благородной. И оттого убийство бобров белыми варварами вызвало у Серой Совы чувство глубокой солидарности с животными: собственное убийство бобров ему стало казаться особого рода предательством, как если бы он стал ренегатом, помогающим завоевателю обирать своих соотечественников. И так вот Серая Сова был приведен к сознанию необходимости заключить мир со всеми жителями лесов, с тем чтобы начать общую борьбу против гнусного и беспринципного врага.

Истребление зверей белыми варварами сопровождалось и другими прискорбными бытовыми явлениями. Появилось неведомое раньше воровство. Началось это бедствие с похищения капканов и скоро распространилось на все. Звероловы, возвращаясь с промысла в свою лесную избушку, оказывались без продовольствия, без лыж, печей, одеял и капканов. Лагери очищались от запасов и бросались в загаженном виде; угонялись даже каноэ. Рушились старые лесные заветы. Охотники делались осторожными и недоверчивыми. Особенно удручающее впечатление оставалось в тех случаях, когда осторожность некоторых приводила к необходимости запираť свои хижины на замок. В старое время своровать запасы провианта было таким позорным делом, что виновный расстреливался. Если бы в те времена кто-нибудь вздумал себе на хату повесить замок, его бы сочли за чужеземца или за человека, не заслуживающего никакого доверия. И этот позорный способ охраны своего жалкого добра, казалось, столь противный самому существу человека, теперь становился необходимым и законным средством. Такими явлениями сопровождалась цивилизация индейской страны.

Бобрята рождаются со середины мая и до конца первой недели июня. В северных районах в это время бобровая шкура, бывает, еще сохраняет все зимние качества. Вот почему весенняя охота может быть вполне рентабельной и отчего бродячие охотники в это время смерчем проносятся

по стране, вторгаются в чужие участки, бьют легко доступных в этот сезон самок и обрекают сотни бобрят на голодную смерть. Помимо особой жестокости, этот способ охоты ужасен тем, что он в десятки лет опустошил страну больше, чем зимняя охота уничтожает, быть может, лишь только в сотни лет. Часто бедные маленькие существа, обреченные на голод, пытаются следовать за каноэ охотника, увозящего труп их матери; плывут и отчаянно кричат. Местные жители в таких случаях почти всегда приручали таких сирот. Но дальнейшая судьба их всегда была плачевна: они живут в заточении, стонут и молят о внимании к себе до того жалобно и неустанно, что когда недели через две умирают, то хозяевам все чудятся их голоса.

Серая Сова в своей жизни их много спасал, и теперь эти случаи спасения маленьких зверенышей с таким удовольствием вспоминаются. Так вот был один малыш у Серой Совы, спал всю ночь непременно возле головы, свернувшись в меховой шар. Когда приходилось переворачиваться, то и он переползал на другую сторону и там свертывался в шар. Он очень любил взбираться на плечи, а во время работы за столом лежал, прижавшись к шее, под одеждой. Это был больной бобренок; под конец он до того ослабел, что уж не мог больше всего этого проделывать и однажды умер, делая слабую попытку взобраться на свое любимое место.

Давно уже Серая Сова томился в глубине своей души необходимостью вечной бойни, в полном смысле слова бойни, потому что в марте приходилось бить бобров просто дубинкой, когда они показываются на поверхности воды. Их смирение пред лицом смерти не могло не волновать чуткого человека: некоторые ведь, даже понимая неизбежность удара дубинкой, пытались защитить свою голову передними лапками. Был один случай, когда смертельно раненный бобр припыл к берегу, лег в нескольких футах от охотника и чего-то ждал, как будто просил добить себя, но у охотника долго не могла подняться рука.

Давно уже от всего этого тошнило, но мало ли на свете профессий, от которых тошнит, и все-таки люди до конца не оставляют их, потому что им надо жить. И Серая Сова тоже, как все, продолжал бы оставаться в плену ужасной профессии, если бы не встретила женщина, если бы маленькие пленники не заставили обратить на себя особенное внимание и не заменили одиноким людям в диком лесу родных детей. Они иногда казались людьми с какой-то иной планеты, язык которых надо было еще научиться понимать. Такие любознательные, такие любвеобильные, детски милые — и вот такие-то существа убивать! Нет! Серая Сова теперь будет наблюдать, изучать, учиться понимать их. А может быть, удастся основать собственную бобровую колонию и вступить в борьбу за жизнь бобров и не дать им исчезнуть с лица земли. Пример с бизонами был недалек, и если идея охраны их принесла свои плоды, то почему же Серая Сова не может сделать чего-нибудь подобного с бобрами? С чего бы, однако, начать? Надо, конечно, начать с того, чтобы найти какую-нибудь бобровую семью, на которую не мог бы претендовать никто из охотников и защитить ее от охотников бродячих, случайных людей. Но найти, охранить и приручить — задача нелегкая... На все это нужно время, а чем существовать в дикой, отдаленной от населенных пунктов местности? Безумное занятие, обрекающее на голод. Если же поселиться в богатом пушном районе, где можно было бы приладиться к какому-нибудь побочному занятию, то пришлось бы иметь своего сторожа, и началась бы из-за этого вражда с другими охотниками, которые Серую Сову сочли бы за предателя...

И все-таки через все эти препятствия надо было пройти и с чего-то надо было немедленно же начинать. А пока что все оборудование состояло из двух маленьких бобров и счета из бакалейной лавки.

После некоторых размышлений, с большой опаской Серая Сова наконец решился вовлечь в свои планы Анахарео.

— Ну вот, — сказал он насколько мог решительно и бесповоротно, — мы займемся какой-то другой работой: охоту на бобров я бросаю навсегда.

Недоверчиво поглядела на него Анахарео и буркнула:

— На что уж бы лучше...

— Нет! — перебил ее сомнения Серая Сова. — Это решение совершенно серьезное. Отныне я и президент, и казначей, и единственный член общества покровителей Бобрового Народа. Что ты скажешь о наших фи-нансах?

— Фи! — сказала она, чрезвычайно обрадованная.

Что такое финансы, если вопрос переходит к самым существенным вопросам жизни! Она никогда не думала, что Серая Сова может быть способным принять такое решение.

— Что ты теперь намерен делать? — спросила она.

Серая Сова тогда подробно посвятил Анахарео в свои планы.

— Может быть, — заключил он, — нам туговато будет, придется, может быть, подтянуть пояса...

— Подтянем как-нибудь, — ответила Анахарео.

Давид белый камень

Мечта одинокого человека... Сколько раз такая мечта засыхала подобно кустику, выросшему на берегу бурного Соленого моря! Сколько бродяг с мечтой в голове были вынуждены покинуть свою семью только потому, что редко понимают пророка в своем отечестве! И как она оживает, как прорастает эта мечта, если встречается тут же, на родной почве, таких энергичных людей, какой была Анахарео! Вскоре в помощь двум чудакам, затеявшим дело спасения Бобрового Народа, присоединился третий — старый индеец племени Алгонкинов, по имени Давид Белый Камень (Уайт Стоун), родом, как и наши индейцы, из того же Онтарио.

Давид был представителем того типа индейцев, которые много усвоили из науки белого человека, сохранив почти все особенности своей расы. Он хотя и с заметным акцентом, но все-таки бегло говорил по-английски и по-французски. Был он высокий, суровый человек, мускулистый, со скромными манерами и замкнутым характером своего народа. У него были пронизательные глаза, исключительное чувство юмора, и мог он замечательно искусно выть по-волчьи. Под хмельком он распевал довольно посредственно псалмы из молитвенника; имел дробовик, из которого заряд вылетал так кучно, что, по словам владельца, "им можно было, как из винтовки пульей, подстрелить в толпе на выбор любого человека". Во время своих, к счастью редких, припадков религиозного усердия он не на шутку стремился продемонстрировать могущество этого редкого оружия. В дни своей юности он слышал о знаменитых набегах ирокезов на северное Онтарио, и теперь старик был уверен в том, что их отряды и до сих пор, может быть, скрываются где-нибудь в неприступных местах, замышляя новые нападения. Он участвовал в строительстве Канадской Тихоокеанской железной дороги; присутствовал, когда Эдуард, принц Уэльский, с избранными гребцами начинал свое историческое путешествие в каноэ по древнему пушному пути вниз по реке Оттава в Монреаль. Он еще верил, что в таинственных, пока не открытых местах было множество зверя и золота. Он был золотоискателем.

Как это было кстати: золото — людям, желающим посвятить жизнь свою счастью Бобрового Народа! Давид всего год тому назад нашел золотиносный участок, на который еще не было сделано никаких заявок. Но Серая Сова до сих пор был равнодушен к золотоискательству, хотя как гребец и носильщик принимал участие в разного рода золотых горячках и лихорадках. Он чувствовал легкое презрение к этому обманчивому пути, к этим людям, со страстью копающим камни и грязь. Но теперь невозможно было и самому удержаться, когда энтузиазм старика воспламенил воображение Анахарео, происходившей тоже из семьи золотоискателей. Вечерами все трое долго разговаривали о золотых россыпях, разглядывали с видом знатоков образцы пород и углублялись в изучение карты. Однажды, после длительной беседы, дело дошло до того, что только невозможность в ночной, поздний час достать продовольствие удержала энтузиастов от решения немедленно, в эту же ночь пуститься в экспедицию туда, в золотые края. Один только Серая Сова оставался до некоторой степени благоразумным и с некоторым трудом уговорил Давида и Анахарео подождать хотя бы до весны, когда можно будет отправиться без значительного риска. Уверенность в грядущем счастье была так велика, что Давид предложил великодушно все добытое в его участке разделить пополам, потом закупить хорошее снаряжение и направиться на север, в дикую страну, за пределы цивилизации, ибо все трое еще верили, что где-то "за далекими холмами" есть зверь.

Сколько еще было разговоров об устройстве бобров, которые к тому времени будут большими! Сколько любовной заботливости было к ним проявлено, как будто это были не животные, а собственные дорогие дети! Добрый Давид часами играл с ними, как маленький, и учил благопристойному поведению в обществе людей. Серая Сова, однако, план свой от него пока скрывал, отдавая долг суеверной примете многих людей: если о чем-нибудь загадал, то ни в коем случае, пока не приступил к делу, нельзя рассказывать об этом людям непричастным.

До весны, однако, было еще далеко, и надо было обдумать, как бы теперь получше скоротать оставшееся длинное время. В тех местах, кроме того, жить становилось довольно опасно. В этой части Квебека три лета подряд лили непрерывные дожди, отчего стало чрезвычайно сыро, и жить в палатке было неприятно. Индейцы умирали, как мухи, от туберкулеза и других болезней, связанных с дурной погодой. Их охотничьи участки были совершенно выбиты бродячими разбойниками, и кто из индейцев еще не умер с голоду, тот до того истощался на голодухе, что не мог оказывать сопротивления болезни. Индейский доктор из Оттавы был завален работой с больными и рекомендовал настойчиво трем искателям счастья как можно скорее бежать из этого края.

Тут, к великому счастью, подвернулась одна охотничья компания, и, чтобы сдвинуться с места, все трое, и даже вместе с бобрами, нанялись к ней на службу. Бобры сразу же сделались счастливым талисманом охотничьей компании и получили тут множество развлечений: они знакомились со спортсменами, прогрызали дыры в палатках и в брезенте, воровали хлеб, залезали в масло, били яйца и всем мешали. По ночам они отпускались на полную свободу и часто терялись, потому что стоянки были очень короткие и они не успевали ознакомиться с местностью. Но рано или поздно, а домой все-таки они всегда возвращались. Однажды утром, в три часа, по ошибке ввалившись в чужую палатку, один из них вскарабкался на спящего спортсмена и начал об него вытирать свою промокшую от хвоста и до носа шубу. Это вызвало целую сенсацию и коротенькие, но ядовитые замечания. К концу экспедиции иссякли запасы провизии, и все тогда завидовали бобрам, потому что их пища росла кругом в большом изобилии. Так несколько дней сытыми членами экспедиции были одни только бобры.

Джо Айзек

В юности казалось очень странным такое явление, что когда задумываешь что-нибудь и о своем загаде держишь, как Серая Сова, язык за зубами, то случай сводит с такими людьми,

которые живут и думают в том же самом направлении. Теперь я не вижу тут никакого волшебства: просто задуманное заставляет обращать внимание в желанную сторону и выслушивать соответствующих людей. Так вот: не будь в голове у Серой Сова фантастического плана устройства республики Бобрового Народа, не стал бы он, наверное, задерживаться на фантазиях золотоискателя Давида и потом не отправился бы он вместе с ним служить в охотничьей экспедиции.

Около этого же времени трое милых чудаков познакомились еще с одним индейцем из Нью-Брунсвика, по имени Джо Айзек. В своих скитаниях такой человек, как Серая Сова, конечно, встречал великое множество всякого рода вралей как бездарных, так и художников. Но такого художника-враля, как Джо Айзек, ему довелось встретить впервые. Природа как будто для этого только его и создала. Слушателя своего он как бы гипнотизировал и заставлял верить себе в желанном ему отношении, хотя во всех других отношениях тот вполне понимал его как лгуна. Он много болтал о себе, что он, например, отличный профессиональный атлет, и не отрицал того, что он хороший, покладистый человек. Но вот какие курьезы бывают с такими покладистыми людьми. Он отлично зарабатывал своей профессией атлета, но ввиду того, что он всегда и всюду непременно брал первые призы, у других исчезал самый стимул заниматься атлетикой, и потому ему запретили выступать на всем материке. Вот почему, не желая простой, грубой работой портить себе мускулы, он выжидает снятия запрещения и ничего не делает.

Для Джо Айзека неведомых географических названий не было, — в любой, кем-нибудь названной местности он был. Если же вы сами бывали в названной местности и смущались его рассказами, то он сейчас же вас успокаивал тем, что спутал название, и очень ловко выходил из затруднения. У него были шрамы, полученные им будто бы в битвах, на самом же деле, как потом это выяснилось, шрамы эти были просто следами хирургических операций. Обширность его житейского опыта казалась великоватой для его возраста и возбудила в некоторых подозрение. Кто-то сделал точное вычисление на основании показаний рассказчика, и оказалось, что ему должно быть не менее ста восемнадцати лет.

И вот подите поймите, как мог такой-то джентльмен сыграть огромную роль в жизни хороших людей, пожелавших стать на путь пионеров бобрового дела?! Не дети же были эти люди! Тяжелым трудом они добывали себе средства существования, знали нужду, видели всяких людей... Джо Айзек увлек их рассказами о местности Темискаута, которая, как потом оказалось, действительно существовала. Там, в Темискауте, на озере Тулэйди, он будто бы имел свой собственный охотничий домик с лодками и всяким оборудованием; там он имел отличный кредит в лавках, множество приятелей, которые всякого из его друзей встретят с распростертыми объятиями. Серая Сова все слушал внимательно, высчитал всю ценность названного имущества, для верности почему-то разделил все на шесть, и даже после такого деления Темискаута на Тулэйди, или как бы там она ни называлась, была местностью, достойной внимания.

Самое же главное, конечно, было в том, что местность была для искателей счастья Бобрового Народа совершенно новая и далекая; даль манит воображение охотника, и в таком состоянии человек имеет способность населять всякий такой неведомый, далекий край зверем и птицей. Но как ни далеко был заманчивый край, все-таки он не выходил за пределы Канады, а уж кто же, как не Серая Сова на своем опыте, на своей собственной шее, не изведаль нынешние пушные богатства вконец разоренной Канады! Между тем Джо говорил — и ему верили, будто в том далеком благословенном краю человеческие поселки были вследствие вторжения диких животных доведены до состояния полнейшей нищеты. Олени там будто бы вытаптывали хлеб на корню, речные хорьки и выдры не давали жить рыбакам, а на сплаве леса до того одолевали бобры, что на лесопилку бревна приплывали вовсе изгрызенными и никуда не годными. И еще

там будто бы водится порода страшных кошек-людоедов, за истребление которых взялось даже правительство и выдает охотникам премии.

Высказав столь яркие и убедительные факты девственного состояния края, Джо погрузился в молчание, которое было, несомненно, короткой паузой для собирания в памяти своей новых материалов. Серая Сова воспользовался случаем и подверг его маленькому перекрестному допросу.

— Вы сказали, Джо, что там есть бобры? — спросил он его небрежно.

Джо лучше укрепился на своем стуле, как будто затем, чтобы удобнее было сдерживать свое негодование, и поднял губу, как будто с тем, чтобы свистнуть.

— Бобры! — сказал он. Глаза его загорелись, и вот он понесся. — Да, бобры там действительно во множестве. Там столько бобров, что маленькие ручьи перенаселены до последней крайности. Говорят, что некоторым из них в ручьях вовсе даже не хватает жилой площади и приходится жить им исключительно на суше, вследствие чего замечаются у них некоторые органические перемены: на хвостах вырастает короткая шерсть, как у выдры. Подобные экземпляры известны под названием "травяных бобров".

Странно, что при дальнейших вопросах о травяных бобрах Джо несколько смешался и ответил, что не ручается вполне за факт существования подвида травяных бобров, так как об этом не имеется никаких сведений, кроме его личных наблюдений. Было действительно странно, что на таком пустяковом вопросе он смешался, но, по-видимому, и у лжи есть свои пределы.

Темискаута была недалеко от его родины, вот почему, быть может, он и глядит на нее без тех розовых очков, в которых люди видят обыкновенно чужие, отдаленные страны. Но все-таки кое-что верное было и в его рассказах, иначе Серая Сова вовсе не мог бы и поехать туда и найти там материал для этой книги, — во всяком случае, сама Темискаута была. Что же касается "охотничьих рассказов", то и они были поистине увлекательны при всех своих величайших и разнообразнейших противоречиях. Тая в душе свою идею охраны бобров, Серая Сова несколько пересолил в своих перекрестных допросах, после чего Джо обнажил свою руку и стал задумчиво смотреть на шрам. Вероятно, он хотел этим сказать, что рубец был получен от укуса бобра в какой-нибудь битве со стадом одной из разновидностей бобров — наземной водяной или травяной.

Серая Сова поспешил из деликатности переменить тему: творец охотничьих рассказов чрезвычайно расстраивался, если ему не верили. Да и довольно уж было рассказано, потому что Серой Сове, в сущности, вовсе и не нужно было много бобров, ему для начала разведения их было довольно одной только семьи. И потому опять были извлечены карты, и опять трое энтузиастов чертили палкой на песке свои маршруты и целую неделю только и разговаривали что об этой Темискауте на Тулэйди.

Охотничьи рассказы! Ведь знаем же мы им цену, эту цену летящего в небе журавля, но почему же все-таки мы так любим их слушать, любим сами рассказывать и — самое смешное — до какой-то степени все-таки им немного и верим. И вот почтенные люди, умеющие по-настоящему работать, срываются с места из-за того только, что какой-то Джо сказал, что он от какого-то охотника слышал о каком-то месте со множеством бобров.

— Обратите внимание, — говорил Джо, — напиленные ими горы деревьев столь велики, что, перебираясь через них, один человек сломал себе обе ноги и умер на месте. И тем самым открывается секрет, почему тут никто больше не охотится: боятся тоже сломать себе ногу.

Зато какая там теперь охота, какой лыжный путь, сколько бобров!

И он, тесно сжимая пальцы на руке, через щелочки пытается глядеть на собеседника, давая тем понять, как много их там живет.

Давид имел привычку стоя слушать такую брехню и, будучи чрезвычайно умным, никогда не возражал ни одним словом, как будто хотел сохранить всю чудесную фантастику в совершенной неприкосновенности. Конечно, и все другие очень мало верили охотничьим рассказам, но это мало имело значения, когда манило неизвестное и пробуждался от этих рассказов бродяжнический дух коренное свойство индейской души. Достаточно было двух-трех коротеньких намеков в каком-нибудь рассказе, чтобы слушатели вспыхивали, схватывались за карту и в каждой ее линии начинали видеть свой особенный смысл. И вот эти люди, постоянно высмеивающие неправдоподобные рассказы, отдавались сами их влиянию и готовились всем рисковать.

Но почему же, в самом деле, и не рискнуть, если риск — благородное дело? И так вот, в результате слушания охотничьих рассказов, люди отправлялись в какую-то Темискаату.

Далекий путь

Серой Сове пришлось продать для этого путешествия каноэ, истинного своего друга, спутника далеких плаваний, и кое-как наскрести на билеты себе и Анахарео. Бедный Давид почти плакал, не будучи в состоянии купить себе билет, и невозможно было ничем помочь ему. На вырученные от продажи вещей деньги можно было только доехать двум до места, рассчитывая там, в чужом месте, на авансы в счет будущей охоты. Нечего делать! Искателям счастья пришлось расстаться со своим другом и обещать ему выписать его немедленно после того, как что-нибудь попадется в капканы.

У путешественников, конечно, было другое, новое каноэ и полное охотничье снаряжение: лыжи, ружья, продукты и всякая всячина. Бобры поехали в обитом жестью ящике с чашкой для воды, прикрепленной в углу. В багажном вагоне для них поместили целую охапку тополевых веток. Во время пересадок Серая Сова переносил на спине ящик с бобрами, придерживая его ремнями. В городе Квебеке пришлось кормить бобров на станционной платформе; собралась громадная толпа, и пошли толки о том, что "везут диких животных, недостаточно прочно запертых в ящик на спине". Бобры непрерывно вопили, карабкались и пролили даже всю воду на спину Серой Сова. Индейцы привлекали всеобщее внимание, частью недоброжелательное, но большей частью дружелюбное. Занятно было наблюдать выражение лиц окружающих, когда неслись крики. Один джентльмен, изрядно выпивший, даже просил индейцев "ради бога выпустить ребенка из ящика, как подобает добрым христианам".

В конце концов путешественники опять благополучно укатили на поезде. Это удалось сделать благодаря доброте посторонних людей и их желанию помочь, что вообще очень характерно для населения восточной части провинции Квебек.

Поезд тронулся, бобры прекратили ныть, и путешественники стали наблюдать из окна новую местность. Скоро Серая Сова с беспокойством заметил, что поезд все более и более забирает на юго-восток, в густо населенные места, для охотника чрезвычайно унылого вида. Там и сям торчали отдельные деревья, в которых легко было узнать последних представителей дремучих лесов, когда-то покрывавших весь этот край. И невольно, конечно, эти одинокие деревья возвращали мысль индейца на себя самого, тоже как на одного из последних представителей когда-то могучего племени.

Большая река св. Лаврентия в нижнем своем течении резко отделяет дикое нагорье от более культурной низменности. И когда поезд пересек реку и стал по низменности катиться все дальше и дальше на юг, тоска по родине взялась мучить странников леса с большой силой; им казалось, они теперь навеки отрезали себя от родины и друзей. Было очень похоже на сказочную расстань; казалось, досталось им идти по гибельному пути, и путь назад был отрезан. В это время окончательно вскрылось гипнотическое влияние рассказов Джо Айзека, а быстро бегущие колеса поезда уносили все дальше и дальше, в глубь неведомой, чужой страны с такой неумолимой силой, что невольно судьба людей, увлеченных своей мечтой, сближалась с судьбой диких животных, пойманных в лесной чаще, упакованных в ящик и отправленных неизвестно куда.

Мало ли где приходилось ездить Серой Сове в поезде и тоже так, из окошка, разглядывать чужие, неведомые края! Ведь он был даже в Европе, на войне. Но все эти путешествия были так или иначе обеспечены кем-то и теперь, в сравнении с этим настоящим путешествием, казались очень легкими. Да, это вышла, во всяком случае, не увеселительная поездка и в сравнении с теми поездками была похожа на битву — действительную битву на передовых позициях в сравнении с битвой на экране в кино.

Мысль о пропитании тоже совсем иначе сверлит душу, если приходится думать не только о себе, но и о судьбе связанных с тобой существ. Будь то лес кругом, индейцу бы не было жутко: в лесу он всегда добудет себе и своим близким трем существам пропитание. Но что делать в безлесной населенной местности человеку, совсем к ней не приспособленному? И чем дальше и дальше поезд удалялся на юго-восток, тем Серой Сове ясней и ясней становилась неразумность этих поисков страны непуганых птиц и зверей в населенной местности с опустошенными лесами.

Анахарео, подняв голову от ящика с бобрами, вдруг поймала озабоченный взгляд Серой Совы.

— И о чем ты так беспокоишься? — сказала она. — Непременно как-нибудь мы да выпутаемся.

— Да ты посмотри только, — ответил Серая Сова, — погляди в окошко, так ли выглядит страна, где добывают зверей!

А поезд все больше и больше забирал на юг.

— Поезд переменит направление. Я готова спорить, что Темискаута вся покрыта лесами.

Тогда Серая Сова сказал как только мог веселей и спокойней:

— Может быть, может быть, и правда — скоро будут леса, а что мы выпутаемся из трудного положения, то и я в этом совершенно уверен.

Пришла в голову мысль поговорить с кондуктором о местности: может быть, он хоть что-нибудь знает и скажет, куда несет поезд лесных жителей с их бобрами. Серая Сова нашел это должностное лицо возле киоска газетчика. Кондуктор оказался добродушным человеком с оптимистическими взглядами.

— Вам, — сказал он, — выдан билет до Кобано, и все ваше имущество в багажном вагоне следует тоже до этого пункта. Ну, вам тут нечего особенно раздумывать: местность эту я знаю, она вовсе не так уж плоха. Может быть, там и неважная охота, — этого я не могу сказать, — но люди там отличные.

И, подумав немного, добавил:

— Если вы ищете лес, то лесов там прямо уйма... Вот то-то и плохо, что там слишком много лесов.

Слишком много лесов!

— Ну как? Что сказал кондуктор? — спросила Анахарео, когда вернулся назад ее муж.

— Говорит, что там слишком много лесов, — ответил Серая Сова. — Пустая болтовня. Наверное, воображает, что несколько миль тополевой поросли называются лесом.

А фермы, города, шоссе и дороги так и мелькали, так и мелькали в окне, и бедные индейцы, тесно прижавшись друг к другу, сидели на скамейке и со стесненным сердцем вглядывались в эту страну, столь не похожую на родной дикий и любимый север. Здесь индейцы были, правда, как рыба на сухом берегу. И два маленьких звереныша у их ног были единственной живой связью с родным лесом и водой, и никогда раньше не казались они столь близкими им существами. И представлялось индейцам, что ехали не два человека и не два животных, а ехали и скитались в чужой стране четыре друга.

Пришлось еще раз пересечь в Ривьер-дю-Лю, и хотя отсюда поезд двинулся на юг, прямо как по компасу, вид из окна становился более утешительным: показались далекие пурпуровые, покрытые лесом холмы, и время от времени блестели озера.

Между тем бесконечное путешествие стало серьезно расстраивать самочувствие маленьких зверенышей. К счастью, симпатичный кондуктор разрешил нарушить поездные правила — ввиду того, что вагон был почти что пустой, и маленьких пассажиров выпустили свободно гулять по вагонному проходу. После того кондуктор еще посоветовал перейти всем с бобрами в товарный вагон, где воздух был много свежее. И когда путешественники, послушавшись доброго совета, перешли и напоили бобров свежей водой прямо из холодильника, зверушки ожили. И так с ними бывало всегда: вода и свежий воздух их оживляли больше, чем пища.

Благородный дух старого Квебека стал сказываться и в поезде: узнав, что бобры всю дорогу почти ничего не ели, и люди тоже не ели, волнуясь за своих друзей, поездная бригада всех, и людей и зверей, отлично покормила, отдав, наверно, большую часть своего обеда.

Такое дружелюбное отношение и вид большого Темискаутского озера с высокими зелеными горами на другом берегу освежили и людей, как зверей освежили вода и воздух. А когда приблизились к месту назначения, то увидели, что, начиная от восточной части озера и куда только можно было бросить взгляд, был наконец-то настоящий лес.

Серая Сова погрузил все свое снаряжение в фургон, который должен был доставить его к озеру. Город оказался маленьким, но сразу было видно, что это город лесной. На этом берегу, правда, были все фермы, но дальше, за водой, места были совершенно в индейском вкусе, и можно было понять, что их очень много. Стало много веселей, но тревога все-таки совсем не могла оставить путешественников: провизии было на месяц, а кормиться нужно еще целую зиму, пока охота не принесет своих плодов. Все зависело, конечно, от получения аванса под охоту.

Итак, заплатив хозяину фургона, Серая Сова подсчитал свой капитал и положил его весь обратно в карман куртки из оленьей кожи: весь этот капитал состоял из одного доллара и сорока пяти центов.

Город-консерв

Город Кобано — это большая деревня, очень типичная для Французской Канады просторная деревня, раскинутая с заветренной стороны старого лесистого горного края.

Тут приезжего не испугает холодное городское равнодушие. В этом милом солнечном местечке у людей вовсе не было того измученного выражения на лицах, какое видишь обыкновенно у горожан. Даже обрамленные рядами деревьев тротуары и непритязательные, но изящные дома по-своему выражали доброту хозяев. Главной достопримечательностью города был, конечно, лесопильный завод, без которого город вообще не имел бы никакого смысла существования. Каменная церковь на холме стояла так высоко, что казалось, будто под кровом ее собирается все население.

Приезжие шли по городу рядом с телегой, в которой было погружено их имущество. Им встречалось много народу, и разговор всюду был слышен на одном французском языке. Английской речи вовсе не было слышно, и Серая Сова поднимал в своей памяти те приблизительно сорок французских слов, которые он усвоил когда-то во время европейской войны.

— Индейцы! Дикари! — разобрал он долетевшие до него слова.

Индейцы явно интересовали всех встречаемых. Но, при всей откровенности их любопытства, даже особенного, пристального внимания к приезжим, назойливости, свидетельствующей о невежливости, не было. Наоборот, вот какой был характерный случай: один раз, когда индейцы хотели пробраться через группу людей, забывших в оживленной беседе, что они загородили путь идущим по тротуару, они, вдруг завидя индейцев, опомнились, расступились, женщины кивали головами, мужчины раскланивались.

Дальняя часть восточного берега была покрыта уймой лесов без всяких видимых признаков человеческого жилья. Там где-то и была Тулэйди: врата в страну непуганых птиц и зверей. Туда! Конечно же, туда, как можно скорее, чтобы там, у края лесов, раскинуться лагерем, и отдохнуть, и собраться с новыми силами! Так вот люди обыкновенно из лесу стремятся поскорее добраться до гостиницы и там принять ванну, заказать обед в ресторане, а эти индейцы из благоустроенного города стремились к лесному уюту. По бурному озеру катились валы, и пассажиры, сидевшие на пароме, стали беспокоиться за судьбу индейцев: можно ли по таким волнам плыть в хрупком каноэ! Однако эти индейцы им скоро показали, что каноэ может плыть не только по тихой воде, но и там, где никакое другое судно не может проплыть.

Паром назывался "Св. Иоанн Креститель" ("Св. Джон"), как и все в этой стране называлось именами святых. Он ходил одну милю через озеро и служил соединительным звеном между Кобано и дорогой в другой, значительно меньший городок — выселок. В этом выселке проживало приблизительно около ста семейств, и, как расположенный на Тулэйди, он был доступен и едущим в каноэ.

Так вот, имея в голове план как можно скорее добраться до Тулэйди, путешественники уложили все свои вещи на "Св. Джон", сами же рядом с ним пустились в каноэ Бобрам, столько времени лишенным воды, была предоставлена полная воля; но, завидев огромное пространство воды, плыть они не решились. Они просто бежали вдоль берега, время от времени бросаясь в воду и вновь появляясь на суше.

Спустя некоторое время за поворотом послышались голоса: это, оказалось, шли те самые люди, которые предостерегали индейцев от плавания по бурному озеру; они шли, чрезвычайно обеспокоенные судьбой каноэ, потому что, потеряв его из виду, они допускали возможность катастрофы. Один из них на беглом английском языке сказал путешественникам, что все они

очень обрадованы благополучным окончанием плавания. Можно себе представить, какое впечатление произвела эта дружественная заинтересованность на людей одиноких, изнеможенных борьбой с мрачным предчувствием! Серая Сова даже почувствовал, будто у него как-то непривычно запершило в горле. Не находилось слов благодарности. Но французы открыли принесенную с собой корзину, начали выкладывать и печенье, и сандвичи, и конфеты. И, предлагая, уговаривали принять все это в такой деликатной, исключавшей всякую возможность отказа форме, что у Анахарео заблестели глаза, и только чуть бы еще — и по щекам у нее покатались бы росинки.

Вдруг кто-то закричал:

— Les babettes![\[20\]](#)

Это бобры показались из воды и остановились на берегу с наблюдающим видом.

— Посмотрите на этих крошек! — кричали женщины и наклонялись, чтобы их приласкать.

Но почему-то женщины вдруг испугались, отскочили, бобры — за ними; потом и бобры чего-то испугались, прыгнули в озеро и ударами хвостов о воду забрызгали все общество и оживили всех чрезвычайно.

День превратился в увеселительную прогулку на берегах старой Темискааты, и единственным тeneвым местом было только сомнение Серой Совы: не истолкует ли все это веселое общество некоторую растерянность приезжих от неожиданного внимания в том смысле, что индейцы чуть-чуть глуповаты?

Милые люди, возвращаясь к себе в город, упростили индейцев на память о себе написать им свои имена по-индейски и по-английски и нарисовать свое животное-покровителя. Анахарео охотно изобразила свою лошадку (пони), а Серая Сова, рисуя, тоже постарался придать особенную важность своей птице серой сове. К сожалению, от большой важности она казалась вроде как бы дохлой...

Но компания вполне удовлетворилась таким художеством и, оставив полный ящик печенья, бутылку красного вина к ужину, со словами: "Не забывайте нас!" — ушла. И после того даже, когда они обогнули мыс, долго были слышны их голоса.

Куда девалось это чувство подавленности и одиночества, охватившее перед тем искателей страны непуганых зверей! А добродушные люди едва ли даже в малой степени понимали, сколько своим вниманием они сделали добра этим пленникам своего собственного воображения. Проводив веселых гостей, путешественники пришли в себя и стали быстро приводить в порядок разбросанные вещи, устраивать лагерь и на всякий случай в незнакомой местности сделали загон для бобров.

Когда озеро успокоилось, по тихой воде явился еще один гость и поднес в подарок странникам леса несколько пойманных им маленьких форелей. Он, как можно было думать, вовсе не знал английского и потому ничего не говорил, а только улыбался, кланялся и предлагал свою рыбу, стоя в лодке. Серая Сова всеми силами старался поблагодарить его при помощи того, что считал у себя французским языком, то есть разных вежливых, подходящих к случаю фраз. Слова были, казалось Сове, вполне верными и подходящими к случаю, но гость, очевидно ничего не понимая, только улыбался и кивал головой.

— Это забавно, — сказал, наконец, Серая Сова своей Анахарео в большом смущении: — я говорю вполне правильно, он же не хочет понять своего собственного языка.

— Лучше, лучше старайся! — ответила Анахарео. — Припомни все, что ты знаешь, и рано или поздно он тебя непременно поймет.

— Хорошо, в чем же моя ошибка? Ведь я же по-французски говорю и, кажется, правильно?

— Какое тут по-французски! — сказала Анахарео по-английски.

Услыхав английский, гость вдруг повеселел.

— Вот и отлично! — сказал он на прекрасном английском Серой Сове. — Это моя ошибка! Я почему-то думал, что вы говорите на одном только индейском.

Анахарео была совершенно права: то, что Сова принимал за французский, гость-француз принимал за индейский.

В лагерь индейцев, пока они стояли на берегу Темискааты, приплывало на лодках много гостей, и некоторые в своем местечке были даже и важными гражданами. И, видимо, их влекло к индейцам не одно, свойственное людям любопытство — нет! Можно было понять, что они как хозяева здесь считали своим долгом так устроить чужеземцев, чтобы те чувствовали себя на чужбине по возможности, как у себя дома. Гости даже привозили дары: одни картофель, другие — вино. Кто-то даже надавал адреса лиц, с которыми, по его словам, не мешало бы познакомиться. Торговец мехами из соседнего города приехал с предложением продать ему бобров за такую сумму, с которой можно бы было прожить до Нового года. И что бы там ни было — любопытство, дело, дружелюбие, — почти все были вежливы и внимательны. Один или два инцидента были, конечно, и рассказу совершенно без всяких неприятностей никто бы и не поверил. Но, в общем, хорошее отношение французов для Серой Совы было совсем неожиданно. Да, слишком много пришлось ему перенести от французских дезертиров в 1917-1918 годах — отвратительных людей, наводнивших канадские леса, шкурятников, истреблявших всякую дичь. Французы-дезертиры, с их живым темпераментом, легко поддались самым скверным влияниям и превратились в омерзительные существа. И вот после таких-то французов Серая Сова попадает к французам строго аристократического Квебека, с тремя столетиями за спиной. Тут люди в благоприятнейших условиях как бы консервировались и не могли испортить свой природный характер. Кто знает, какие они люди были в своем существе и как они в глубине души относились к лесным скитаниям индейцев, не все ли равно? Серая Сова столько горя хлебнул и у себя на родине, в опустошенных лесах, и на войне цивилизованных народов, что если приходили к нему люди с улыбающимися лицами, то этого было вполне довольно.

Манна небесная

Если бы появились охотники-индейцы где-нибудь в северном пушном промысловом районе, то спекулянты пушниной давно постарались бы снабдить их продуктами в долгосрочный кредит. Но здесь никто и не думал об этом, и в городе даже не было никаких признаков учреждений, занимающихся скупкой мехов. Надо было полагать, что местные лавочники и понятия не имели о таких операциях, как выдача аванса под охоту. Между тем время все двигалось к охоте, и в воздухе уже кружились осенние листья.

Как же все-таки быть-то? Где достать денег? Занялись пока что сбором сведений об этой стране по источникам более надежным, чем прежние заманчивые рассказы Джо. Таким образом, узнали, что лес, начинающийся на гребне горы, похожей на спину слона, тянулся от устья реки Тулэйди до самого Нью-Брунсвика и почти до Атлантического океана. Все это было очень хорошо, но только мистер Джо, приманивший своими яркими рассказами охотников в эти края,

в свое время нарисовал картину местности несколько иначе, чем она была на самом деле. Охотничьего участка у него никакого не было, а была только хижинка. И лодочного флота тоже не было. Пушные звери вовсе не причиняли никакого вреда населению, и разве только олени иногда трогали сено. Что же касается кошек-людоедов, то у кого-то был дедушка, а у дедушки этого... Но не стоит докапываться до той правды, которая отнимает охоту у талантливого рассказчика повторить свою легенду еще раз какому-нибудь легковерному своему слушателю.

На одном ирландском пароходе люди, знавшие все окрестности вдоль и поперек, рассказали Серой Сове, что если отправиться отсюда миль за сорок или пятьдесят, то, может быть, и удастся раздобыть несколько норок, лис и одиночных выдр.

Они тоже утверждали, что и бобры были, несколько семейств, на очень больших друг от друга расстояниях. На них-то, конечно, на этих бобров, и был смысл охотиться, но Серая Сова зарекся истреблять бобров и нарушить свое обещание не мог. Из этих, теперь уже бесспорных сведений одно становилось ясным, что свое торжественное обещание не убивать никогда бобров Серой Сове придется выполнять в не очень-то легких условиях. Но мысль о создании бобровой колонии не покидала его, согревала и давала возможность мечтать и строить планы на будущее: правда, зачем унывать, если не одни только бобры доставляют пушные товары, — можно жить и другой пушиной. Но так именно жил и поступал каждый охотник, каждый вкладывал в свое дело много-много труда, каждый много-много видел на своем веку и каждый много-много радовался жизни. Сколько ни ставь на карту, много ли, мало ли, результат выходил почти одинаковый. Серая Сова за все время своих скитаний еще ни разу не видел такого охотника, который, много поработав, к старости стал бы покойно жить на свои сбережения.

Есть леса, есть звери, — и ладно! Но вот новые тревоги появились на горизонте искателей страны непуганых зверей. Ни с того, ни с сего, вдруг почему-то начали лысеть бобры, и со скоростью чрезвычайной. Днем и ночью они непрерывно терлись, чесались, выдирали целые пригоршни шерсти и в короткое время сделались такими же голыми, как змеи, и только на середине спины оставались узкие гривы, недоступные для вытирания. В таком виде бобры несколько напоминали изображения индейцев с выбритыми головами в исторических книгах. Как раз родичи Анахарео в особенности любили приводить себя в такой вид, за что Серая Сова и Анахарео теперь стали в шутку называть своих бобренков Маленькими Ирокезами. Болезнь была, однако, вовсе не шуточная. Ирокезы сделались беспокойными, отказывались от еды, избегали воды: все очень скверные признаки для этих животных. Пришлось обратиться к врачу, и он, осмотрев бобров, посоветовал переменить корм, так как, по его мнению, овсянка перегревала кровь, отчего они могут даже и умереть. Так что дело с бобрами было неважное: зима на носу, а они вовсе без шуб. Доктор оставил баночку мази, успокаивающей чесотку, и рекомендовал кормить бобров патентованными средствами для кормления маленьких детей. Ни за совет, ни за лекарство доктор не взял ничего и сказал на хорошем школьном английском языке:

— Я старый солдат и никогда не беру деньги с товарищей. Когда заболеее, идите прямо ко мне, и это вам ничего не будет стоить. Я всегда ваш друг.

Вот повезло! У Серой Сова всего-навсего было тридцать центов. С этими деньгами он отправляется в лавку в надежде, что их хватит на патентованное средство. Как раз в этот день он решился, наконец, где-нибудь занять денег, — где-нибудь, все равно, только бы дали.

— Soixante et quinze![\[21\]](#) — сказал лавочник, выкладывая лекарство.

Серая Сова посмотрел на лекарство и подумал, что с таким же успехом он мог сказать и

семьдесят пять долларов. Между тем там, на берегу озера, два несчастных, больных существа ждали этого лекарства. Но когда положение становится безвыходным, откуда-то берется и храбрость.

— А нельзя ли в кредит? — спросил Серая Сова.

И принял вид человека, вполне заслуживающего доверия, хотя внутри себя чувствовал, будто он падает и ему при этом наносят последний удар.

— Mais certainement, monsieur... Ensuite?[\[22\]](#)

Серая Сова повернулся к Анахарео, у которой, как ему сейчас казалось, слух к французскому был лучше.

— Что такое он говорит? — спросил он.

— Еще что-нибудь угодно? — спросил лавочник во второй раз.

Серая Сова изумленно сжал пальцы, потрогал прилавок, переступил с ноги на ногу и охотно прочитал бы молитву, если бы знал хоть одну. По всему выходило, что торговец сам напрашивался, и Серая Сова вдруг, наконец-то, понял, что ему сейчас надо хватать быка за рога.

— В ближайшее время, — сказал он, — я отправляюсь охотиться на Тулэйди. Мне нужен запас провизии на зиму.

— В какое место реки?

— На рукав Хортон.

— Прелестное место! — сказал лавочник.

А Серая Сова, кроме Хортон этого, и не знал ничего.

После того лавочник, достав книгу заказов, взял карандаш и стал записывать в нее все, что нужно было Серой Сове. В конце концов, выходя из лавки, Серая Сова имел еще сто двадцать долларов сверх провизии на конец зимы. На улице Анахарео сказала:

— Сегодня мы должны раскупорить нашу бутылку шампанского.

Вернувшись в лагерь, индейцы нашли своих маленьких бобров в том самом виде, как их и оставили жалкими, молчаливыми, голыми, слабыми. Бывало при встречах после разлуки они так комично скакали, — где тут! А когда им открыли загон, то они вовсе даже и не захотели оттуда выходить. Стали втирать лекарство в их шелудивые тельца это вызвало новое раздражение кожи, они стали еще больше чесаться и тем самым втирать в себя мазь еще глубже. После того им предложен был отвар из патентованного укрепляющего средства. Бобры — из тех животных, которым ничего нельзя делать насильно, и вот почему Серая Сова и Анахарео облегченно вздохнули, когда бобры, предварительно обнюхав и несколько раз испробовав, принялись есть, и съели порядочное количество. В тот же самый день к вечеру их самочувствие значительно улучшилось, и они опять отлично ели. А через несколько дней к ним вернулось в значительной степени их прежнее бодрое состояние духа. Редко можно встретить других животных, способных столь скоро восстанавливать свои силы, как вышло в этот раз у бобров. На основании последующих опытов Серая Сова пришел к заключению, что

при том питании, которое было до сих пор, бобрята только случайно не умерли. И месяца не прошло, как они обросли шерстью, мало того, у них прекратились даже их обычные припадки сварливости.

Но мы забегаем далеко вперед в своем рассказе. После получения аванса Серая Сова дал сроку только три дня, чтобы бобры стали на ноги, погрузил в каноэ половину запасов провизии и ясным осенним утром снялся с лагеря.

В воздухе пахло морозом, над водою стлался легкий туман, слетали золотые и багровые листья. Отважная четверка двигалась вперед, за холмы, в далекие леса, в страну непуганых птиц и зверей.

Холодная ванна

Река оказалась не из глубоких и в то же время без тех частых бурных порогов, на которых так привычно работать обитателю лесов северной Канады. Довольно часто приходилось плыть вплывычку, упираясь шестами о дно. Это, конечно, не представляло особенных трудностей и опасностей, но стоять часами в каноэ, как требуется при этом способе передвижения, настоящему, природному гребцу, каким был Серая Сова, было чрезвычайно надоедливо. Плыть приходилось против течения в перегруженном каноэ, так что на восемь миль до цепи озер Тулэйди пришлось истратить весь день. Здесь, наконец-то, можно было сесть в лодку и грести обычным приятным способом! На второй день в полдень по тихой воде странники приплыли в поселок, где можно было все разузнать о дальнейшем пути.

На окраине поселка жили люди, все знание мира которых ограничивалось районом их крошечных ферм и наставлениями их духовников. Те, кого правильней всего назвать передовыми людьми их общества, были добры, радушны и прогрессивны. Один из них был до того даже предприимчив, что, имея всего одну только руку, разбирал на части старые автомобили и делал из них моторные сани. Кроме того, он выстроил маленькую электростанцию и завел собственный паром на Темискауате. Но встречались и такие, что на проходящих индейцев глядели через едва приоткрытые окна и двери. Иные же, увидев индейцев, от избытка любопытства застывали с выпученными глазами. Те же граждане, которые ехали навстречу, повертывали своих лошадей и затем медленно ехали рядом с индейцами, рассматривая их в упор широко открытыми глазами.

На берегу был склад, принадлежавший владельцу мельницы, и тут удалось сдать на хранение провиант, а из расспросов выяснилось, что ехать нужно еще миль за тридцать к устью реки Стоуни Крик. Там у верховьев реки было озеро, рекомендованное как хорошее место для жизни. Как говорили, там должно быть некоторое количество норок, выдр и лисиц, кроме того, в этом же озере жила семья бобров, быть может даже и единственная во всем районе. Единственная! Слышать об этом Серой Сове было странно. Какой путь проделан в страну непуганых зверей, чтобы услышать это: единственная на весь район! Казалось, что чем больше углубляешься в действительную географическую страну, тем скорей спешат разлетаться птицы, разбегаться звери, тем дальше и дальше отступает страна непуганых птиц и зверей. Вот еще тоже «хорошим» сюрпризом было узнать от местных жителей, что дальше река эта разделяется на два рукава, отчего становится очень мелководной и быстрой: в нагруженном каноэ ехать там и думать нечего. Как же быть? Оказалось, груз следовало отправить на лошади по лесной дороге вдоль берега реки. Перевозка стоила десять долларов, которых не было. Казалось, можно было бы впасть в уныние от такого сюрприза, но уныния отчего-то и вовсе даже не было у лесных странников. Как и все лесные существа, живые и бодрые, они были исполнены веры в жизнь, в то, что будет день — будет и пища, будут и деньги, и десять долларов откуда-нибудь да явятся.

Случилось, во время возвращения за остатками не вошедшего в каноэ имущества наши индейцы заметили красную лисицу, которая как раз в это время вздумала переплыть на ту сторону реки. Она уже почти достигла противоположного берега, как вдруг совсем неожиданно для нее из-под яра показалось каноэ. Так бывает с курицей на шоссе, когда наезжает на нее автомобиль: ей надо бы броситься вот к этому близкому краю, а она бросается в длинный путь, по которому пришла, и, конечно, попадает под колеса машины. Так и всякий зверь при опасности спешит на лежку, да и сам человек — может быть, по тем же самым законам природы — стремится на родину. Лисице оставалось сделать небольшое усилие, и она бы спаслась, но, увидев внезапно каноэ, она повернула назад. Ее, конечно, очень легко настигли, поймали и посадили в мешок. И нужно же так, что эту живую лисицу удалось сейчас же продать как раз за десять долларов!

Торговец, купивший лисицу, был тот самый, который старался когда-то купить бобров. Подумав, что индейцы начали распродаваться, он опять принялся торговать бобров и поднял цену до ста долларов наличными. Торговец был чрезвычайно настойчив, отвязаться от него было до крайности трудно, и все-таки пришлось бобров отстоять. Каждый из них теперь весил уже по восьми фунтов, хотя, вследствие недостатка движения и особенно плавания, нормального для своего возраста веса они еще не достигли. Но зубы от этой недохватки в развитии тела ничуть не пострадали. Свой ящик, обитый жестью, они уже переросли, и в связи с этим возник трудный вопрос, как их перевозить. Вот из-за этой-то тесноты ящика случилось, что однажды при переезде через озеро бобры вывалились в воду, и пришлось потерять почти полдня в ожидании, когда они наконец соизволят пожаловать обратно в каноэ. Снег уже лежал на земле, в затишных местах вода подергивалась льдом, надо было очень спешить, и невозможно было растрачивать по полдня времени на ожидание бобров. И вот тут пришла в голову "гениальная идея": бобров посадили в жестяную печку, устроенную в виде продолговатого ящика, при этом, конечно, туго привязали кружки и крепко заперли дверцу. Кормили же их через отверстие для трубы, откуда перед едой несясь столь знакомый длительный и громкий крик. Это остроумное изобретение было самым удобным приспособлением из всех, какие только были испробованы: ночью, когда печка нужна была самим хозяевам, бобры шныряли в воде; днем, когда надо было двигаться, бобры исчезали в печке и входили в состав обычного груза. К этой печке бобры очень скоро привыкли и послушно отправлялись спать в свой жестяной дом, на постели из веток. Однако из-за этого же гениального изобретения индейцам чуть-чуть не пришлось навсегда расстаться со своими любимцами.

Вот как это случилось.

Устроив все для отправки груза кружным путем к устью реки, которому суждено было стать местом длительного обитания странников леса, сами они наконец-то отправились вверх по реке в каноэ. Несколько раз уже были основательные зазимки, и сама неумолимая зима была почти на носу. Каноэ быстро обросло льдом, на обитых железом шестах столько намерзло, что они сделались толстыми дубинами, шлепали по воде, разбрасывали брызги так, что борты каноэ превратились в глыбы льда, а дно — в каток. При этих условиях стоять на скользкой корме, как требуется для человека,двигающего лодку шестом, было очень трудным делом. В лодке были вещи, только самые необходимые для привала людей, для питания и ухода за бобрами. Эти немногие вещи, включая каноэ, легко можно было бы отправить вместе со всем грузом и самим идти пешком, но что-то вроде чувства собственного достоинства не позволяло унижить каноэ, позволить тащить его в позоре, вверх дном, по земле вдоль совершенно судоходной реки. Но оказалось, что и на воде можно опозорить каноэ — еще сильнее, чем на суше. Когда Серая Сова в одном очень трудном месте быстро бежавшей реки хорошенько нажал шестом, то его скользкие, как стекло, обледенелые мокасины поехали по ледяному дну

каное, как коньки, и сам он, весь целиком, головою вперед полетел в реку. Можно было так упасть в воду, что каное моментально бы опрокинулось, но Серая Сова, падая, успел об этом подумать. Легкое каное от сильного толчка и напора воды быстро стало наполняться водой и постепенно опрокидываться вверх дном. Анахарео, конечно, при этом бросилась в воду головой вперед. После этого благополучного легкого прыжка обоим странникам леса сразу же пришла в голову страшная мысль где-то в стремительно мчащемся ледяном потоке уносятся запертые в свою железную тюрьму и бобры. Они ведь заперты наглухо и самостоятельно никак не могут спастись...

Тюки мало-помалу начали всплывать, и освобожденное от них каное тоже скоро должно было всплыть на поверхность. На все это странники не обращали никакого внимания: стоя до плеч в ледяной воде, они только и занимались тем, что ощупывали дно ногами. Один раз Анахарео даже была сбита с ног, но каким-то чудом очень ловко справилась с водой и опять встала. Что делать? Ведь бобр, внезапно погруженный в воду, тонет, конечно, как и всякое животное, а между тем времени прошло уж порядочно. Но скорее всего у индейцев, до плеч стоявших в ледяной воде, здорово что-то замутилось в голове, иначе как же это объяснить, что когда они очнулись, то увидели, как они ногами на дне реки ищут печку с бобрами, а в руках держат эту же самую печку, и вода из нее выливается в реку.

— Они живы, они живы! — очнувшись, закричала Анахарео.

Но Серая Сова стоял бессмысленно, сжимая в руке ручку от крышки бачка, в то время как сам бачок, наполненный салом, плотно закрытый крышкой, весело мчался на глазах вдаль по реке.

Температура была значительно ниже точки замерзания, ледяная вода резала ноги, и странники леса рисковали потерять способность стоять, что значило быть унесенными стремительной водой.

Берег был приблизительно в пяти «родах» (род равняется почти пяти метрам), но Анахарео, обдуманно пользуясь шестом, перешла это значительное при таких условиях расстояние очень благополучно и опустила на берег печку со взбешенными, ревущими бобрами. После того она еще три раза выдерживала напор холодного стремительного потока и, бросаясь в воду, выносила разные вещи. В то же время Серая Сова как более сильный и опытный спасал каное.

К счастью, каное в этом случае не изменило путешественникам: пострадала только часть обшивки, брезент же был цел, и суденышко вполне могло служить в дальнейшем путешествии.

Времени у индейцев, чтобы поздравить друг друга с победой, вовсе не было. Сильно морозило, все замерзло вокруг, и одежда тоже становилась ледяной. Промокли, конечно, и сами до костей, и страшно было подумать о голых бобрах. К счастью, часть одеял в узле оставалась сухой. Серая Сова, завернув в эти одеяла Анахарео вместе с бобрами, сам бежал рысью — собрал много хвороста, развел громадный костер. Как бы там ни было, но беда прошла. Через короткое время эти же самые люди, веселые и счастливые, сидели у костра в ожидании, когда закипит чайник и зажарится на сковороде оленина.

В то же самое время водолазы уютно устроились на новых постелях в своем жестяном ящике и поедали конфеты, припасенные хозяевами для особенных случаев, из-за этих конфет у них там иногда поднимался шум и гам.

За исключением бачка и еще одного пакетика с салом, при катастрофе ничего не было утеряно; даже два оконных стекла, привязанные к стиральной доске, были найдены целыми на некотором расстоянии вниз по течению.

Часа через два путешественники продолжали свой путь как ни в чем не бывало и сожалели единственно только о том, что потеряли времени на обед не час, как следовало, а два. Большую часть ночи потом они провели за сушкой подмоченного имущества, а их лысые приятели не обнаруживали ни малейшего желания лезть в воду; очевидно, накупались достаточно. Вместо плавания свой избыток энергии они посвятили земляным работам и, прежде чем уснуть, прорыли внутри холма длинный тоннель.

"Приятное развлечение"

На следующий день, еще довольно рано, странники добрались до того самого места, где нанятый возница сложил весь их провиант. И вот какой неприятный сюрприз ожидал их здесь. Те, кто рекомендовал здешний ручей, чтобы добраться по нему до района охоты, к Березовому озеру, сказали, что он был длиною в восемь миль. Это было совершенно верно, только одно они забыли сказать: что при длине в восемь миль ручей был шириною в три фута и глубиною в шесть дюймов.

Конечно, каноэ тут выходило в отставку. По суше до озера оставалось шесть миль пути, земля была покрыта снегом толщиной в полфута, и по такому-то снегу предстояло по частям перенести туда не менее восьмисот фунтов груза! Судьба решительно издевалась над бедными искателями страны непуганых зверей и создателями колонии Бобрового Народа.

Будь ровное место, такой профессиональный носильщик, как Серая Сова, не стал бы и разговаривать; но все это место до самого озера было загромождено верхушками поваленных деревьев и всяким хламом от вырубленного леса. И по такому-то пути переносить такое чудовищное количество груза.

Но делать было нечего, пришлось заняться этим истинно сизифовым[23] трудом. Серая Сова перевез все вещи на другой берег, под покровом ночи сложил их в укромном месте, на высоком берегу спрятал каноэ, чтобы до него не мог добраться весенний разлив. На другой день он размотал ремни для ношения грузов, и приятное развлечение началось.

Нести зараз можно было не более ста или ста пятидесяти фунтов, потому что приходилось все время или перелезать через поваленные деревья, или пробираться через непролазную чащу зарослей, а также еще бороться и со снегом. Каждый шаг до остановки доставался с борьбой. Остановкой же у индейцев называется удобное место, где сбрасывается груз. Это обыкновенно делается через шесть — восемь минут ходьбы, потому что с хорошим грузом именно столько минут может идти человек без утомления. По дороге назад за следующей порцией груза он восстанавливает свои силы. Этим способом, индейцы считают, можно скорее и больше перенести груза, чем если брать груз меньший и нести его до конца.

Карабкаясь через скользкие от снега стволы деревьев, пробиваясь через путаный кустарник, проваливаясь в прикрытые снегом ямы, искатели счастливой страны ходили вперед и назад, с грузом и без груза, весь день без разговора, без отдыха, кроме того только, что в полдень чаю напились. Лишь с наступлением темноты наконец-то вернулись они в лагерь, мокрые от пота, усталые и голодные, но удовлетворенные сознанием успешно выполненной работы: перенесли груз весом в восемьсот фунтов на расстояние полумили.

Счастливая находка

На следующий день так хорошо уже не работалось: лесные завалы были так велики, что не было отдыха даже на обратном пути, без груза. В некоторых местах по вырубке идти было совсем невозможно, в таком случае шли по дну ручья, ступая с камня на камень или же по

смеси льда и воды. Наконец, чтобы время даром не пропадало, пришлось пожертвовать днем и проложить дорогу. В течение третьего дня, к концу его, в стороне от ручья удалось найти заброшенную тропу, и трудности ходьбы кончились. Правда, продвинулись только на милю, но все-таки теперь работа стала иной. Явилась охота даже к своего рода рационализации труда: тюки разделили на более легкие и тяжелые; для легких грузов остановки сделали реже — с ними удобнее было разведывать путь для тяжелых нош.

На четвертый день лагерь со всем имуществом был перенесен несколько вперед от последнего пункта, а ночью весь переносимый груз значительно уменьшился: из трех мешков картофеля два промерзли, и еще промерзло фунтов пятьдесят луку, так что теперь более двухсот фунтов не нужно было уж больше носить, и в этом было, что бы там ни говорили, хорошее утешение. Одного было все-таки жаль: что дурацкая картошка не замерзла дней пять тому назад.

Бросалось в глаза, что вся эта местность была недавно покрыта большим лесом, и оттого можно было надеяться на близкие нерубленные места. И еще больше бы приободрился Серая Сова, если бы показались следы каких-нибудь пушных зверей. К сожалению, вокруг ничего не было, кроме следов оленей, чрезвычайно многочисленных. Во всяком случае, обилие оленей было тоже неплохо: это значило, что охотник будет хорошо обеспечен свежим мясом, а у сытого и удача должна быть, — как же иначе? Около дороги стоял старый деревянный барак, в который путешественников загнала непогода. В этом бараке нашли бочонок емкостью более чем в сто литров и в полной сохранности. Много радости доставила труженикам эта находка: бочонок мог быть превосходной спальней для бобров и не был мертвым грузом, потому что во время переходов в него удобно класть еду и разные мелочи.

С тех пор как индейцы расстались с ручьем, бобры не делали никаких попыток бродить по ночам и спали с ними под одним одеялом. Они ложились каждый к плечу своего шефа головой, нос прижимали к шее, и, если шеф двигался, сердито дули носом, пыхтели, иногда и храпели. При такой непомерной работе, какая выпала странникам леса в эти дни, легко могло случиться, что в непробудном сне кто-нибудь навалится на бобра всем телом и задавит его или даже просто сам бобр задохнется под одеялом. Вот почему найденный бочонок был истинным счастьем: в нем и безопасно и тепло, и, казалось, вследствие вогнутой поверхности, едва ли бы они могли его так скоро разгрызть. Но как только бобры попали в этот бочонок, из которого они не могли выглянуть, и почувствовали себя в неволе, в заточении — как же страстно они запротестовали, какой ужасающий подняли вопль! Люди, конечно, им уступали и вынимали из бочонка, но они и сами, не будь плохи, очень скоро на середине высоты бочонка прогрызли себе квадратное отверстие. Они любили возле этого отверстия стоять, по-своему тут, у ветерка, болтать, а то вытянут оттуда руки и выпрашивают чрезвычайно любимые ими оладьи. А что за потеха, когда они сами высунутся оттуда и с курьезной жестикуляцией стремятся что-то сказать на своем языке, звучащем иногда совсем по-человечески! Иногда же они из своей дырки смотрели с выражением такого страстного любопытства, какое можно наблюдать только на железнодорожной станции у людей, глядящих на мир из окошка поезда. Поймав однажды это выражение на лицах бобров, индейцы стали их звать не Ирокезами, как раньше, а Иммигрантами, и эта кличка осталась за ними надолго.

Вскоре бобры полюбили бочонок и признали его за собственный дом. Когда им хотелось из него выйти и погулять, они подгребали подстилку в сторону отверстия и выпрыгивали на подставленный ящик и по этому ящику так же и возвращались назад. Они много спали, но, проснувшись, умели наверстать все проспавшее — до того были проказливы! Кроме того, они были невероятно самовольны, упрямы, настойчивы в достижении своих целей, будь то изучение ящика с бакалейными продуктами или сокращение числа домашних вещей. Всякое противодействие в них вызывало только новые пароксизмы решимости довести свое дело до конца или привести в исполнение многочисленные свои затеи, для осуществления которых

набитая вещами палатка давала столько возможностей. И если они все это проделывали еще будучи совсем молодыми, то чего же можно было хорошего ждать в будущем, когда они сделаются еще более изобретательными!

Путь через бездну

Маленькие бобры своим паясничаньем, перебранками и болтовней вносили веселье в жизнь индейцев, покинувших свою родину. Если бы теперь, когда они так глубоко вошли в жизнь людей, представить себе внезапную утрату их, то без этих животных у людей осталась бы такая пустота, какую заполнить было бы трудно до крайности. Люди теперь даже начали иногда удивляться, как только могли они раньше жить без этих пронзительных криков, которыми их встречали животные после рабского труда по переноске вещей. Возвращаясь домой, люди развлекали себя, обсуждая и гадая, какие новые проказы затеяли звери в их отсутствие. Но ни для какого, даже волшебного воображения нельзя было представить то, что они придумают сделать в отсутствие хозяев. В первый момент открытие какой-нибудь их проказы, конечно, мало доставляло удовольствия: печка опрокинута, тарелки исчезли с обычных мест, пресные лепешки, только что приготовленные, перегрызены и превращены в бесформенную массу. Но все это после первого потрясения в конечном счете, оказывалось, не имело серьезного значения. Было что-то бесконечно трогательное в привязанности этих зверушек друг к другу и в полной зависимости их от людей. Бывали моменты, когда их нежность к людям и уступчивость как будто не имели ничего общего с их поведением, с их отношением ко всему другому. Обычно они относились к своим покровителям, как будто те были существа одной с ними породы. Ко всякому постороннему вторжению в их жизнь они относились враждебно. Вот раз вздумалось ласке посетить палатку. Один из бобров это заметил и попытался лапой своей угостить ее хорошей затрещиной. Однажды Серая Сова внес в палатку тушу молодого оленя, чтобы она тут оттаяла. Бобры приняли эту «дичь»... за врага и всю ночь с ней храбро сражались.

Трудно себе представить другие существа, которые могли бы так приспособливаться к новой среде, и только этим можно объяснить себе, что они счастливо выжили в таких суровых условиях. Конечно, они были животными с одинаковой потребностью воды и суши, но если не было много воды, то они довольствовались только одной единственной чашкой, поставленной возле их гнезда. Курьезно, что ведра возле них нельзя было ставить, — напротив, ведро надо было держать от них как можно дальше, потому что они его принимали за отверстие и прыгали туда, как в прорубь, со всеми последующими из этого неприятностями. Не имея возможности набрать себе теперь подстилки из-под снега, который был не менее фута толщиной, они собирали возле печки хворост и превращали его в стружки.

Как только лагерь был перенесен на другое место, они тоже, конечно, приступили к работе для своего в нем устройства. Ни в чем не уступая людям в умении использовать всякий материал, который находился под руками, они строили баррикады, выскивали подстилку, а иногда, если было не очень уж холодно, срезали молодые тополевые прутья и приносили их домой для пищи. И часто случалось, когда люди и звери вместе работали, что те и другие сталкивались, и не раз людям приходилось стоять с охапкой дров в руках или с ведром воды в ожидании, пока бобры тоже протащат в дверь свою ношу. Они прекрасно приспособлялись к условиям погоды. Когда бывало тепло, они бегали по палатке, никогда не покидая ее без крайней надобности; если было холодно, они оставались в своем бочонке и закупоривали отверстие. В таком случае люди обыкновенно закрывали их крышкой и о них уж больше не думали.

Становилось мучительно холодно, и по ночам даже лепешки замерзали накрепко. С каждым днем снег становился все глубже, но пользоваться лыжами все-таки было невозможно: с грузом за спиной на вырубке переломаетесь всякие, даже самые хорошие лыжи. Трудность

работы быстро возрастала, а свертывание и установка лагеря на снегу превращались в регулярное мученье, гораздо большее, чем самая переноска. Дело в том, что палатка, вечно мокрая от тающего на ней снега, замерзала в ту же минуту, как погасала печка, становилась твердой, как дерево, и сложить ее было так же трудно, как если бы она была железная. Постоянная тяжелая работа, наконец, стала сказываться на людях, и Анахарео совсем изнемогла. С большим трудом Серая Сова наконец-таки отговорил ее от переноски груза, ссылаясь на то, что теперь для бобров нужно всю ночь поддерживать огонь.

К счастью, везде вокруг было множество хороших дров.

Время шло, приближался сезон осенней охоты. Серая Сова в удобных местах поставил ловушки, чтобы, на худой конец, хоть в одну что-нибудь попало. Но ничего не попадалось в ловушки и никак не могло попадаться, потому что с тех пор, как странники леса покинули поселок, нигде не попадалось следов и не было никаких признаков пребывания здесь каких-нибудь пушных зверей. Это путешествие, на основании непроверенных слухов, начинало казаться все более и более безнадежным. Утешало только одно: что за десять дней переноски груза была исследована сравнительно совсем ничтожная часть территории, и можно было надеяться, что впереди непременно будут следы. Бывали дни, когда продвигались вперед всего лишь на несколько ярдов: работать-то ведь теперь приходилось одному Серой Сове, а тут того и жди — еще хватит непогода и дорога делается невозможной.

Однажды явилось даже сомнение в правильности взятого направления: приведет ли еще этот путь к Березовому озеру? Разведка впереди не обнаружила никаких даже признаков Березового озера, и вообще никакого там, впереди, не было озера, а все та же самая унылая вырубка. Так оказалось, что направление было взято неверное, и Серая Сова решил вернуться назад, к ручью, и оттуда пройти вверх вдоль него до озера и наметить хорошую дорогу назад, к лагерю. Оказалось, там, к северу, местность быстро понижалась, обнаружилось наличие озерных формаций. Пробив себе путь по болоту через густейший кедровник, какой только бывает на свете, Серая Сова вышел к узкому водоему длиной не более полумили. И тут, оказалось, в самом деле, жила семья бобров, которая запрудила выход воде и так создала из обыкновенного болота это озеро. Дальше озера не было никаких заготовок и начинались леса — открытие самое приятное! Дорога через болото шла по еще незамерзшему торфу, хотя и закрытому снегом, и эта часть пути была опасна для нагруженного человека. Однако все-таки путь этот был совершенно свободный — не было ни одного поваленного дерева, что же касается болота, то ведь оно будет с каждым днем, замерзая, все крепнуть... Так и шел Серая Сова по этой дороге, представляя себе, что он с грузом идет, тщательно выбирая, где нужно ступить, оставляя заметки в нужных местах. Шел Серая Сова по дороге, пока позволяло направление, и затем свернул на кряж, поросший лиственным лесом. Отмечая, насколько возможно при лунном свете, удобный путь, он поднялся на вершину холма над той самой равниной, где находился лагерь. Тут он остановился, чтобы чуть-чуть отдохнуть. Вокруг царило белое молчание. Дурные предчувствия угнетали душу искателя страны непуганых зверей.

Пусть все его мысли и чувства вертелись пока в кругу маленьких дел, но ведь в этой простой пустынной жизни он был человеком, затеявшим создать себе лучшую жизнь, найти лучшую страну, быть может, создать себе своим собственным усилием новую родину.

Далеко внизу он видел маленький огонек освещенной палатки, где приютились те, которыми он теперь так дорожил, единственные на свете ему действительно близкие существа, напоминавшие о безмятежных днях прошлого: ожидающая его утомленная женщина и двое крошечных сирот звериного царства.

"Неужели, — думал Серая Сова, — от всей моей мечты останется позор возвращения нищим,

обесчещенным в город, принявший нас так дружелюбно и доверчиво?.."

Долго смотрел Серая Сова на маленький огонек, такой слабый, такой ни с чем не сообразный, героически все-таки посылавший свой бледный свет из самых недр опустошенного края, из дебрей, остатков поваленного и погубленного леса.

Серая Сова спустился вниз с тяжелой душой.

Но внутри палатки, куда скоро вошел Серая Сова, все оказалось светлым и счастливым. Там было так приятно покурить и понежиться в тепле маленькой жестяной печки, которая служила так хорошо! Она гудела, потрескивала, в веселье своем докрасна накалялась, а Серая Сова рассказывал о своих дневных приключениях: о том, как он нашел озеро, как открыл бобровый дом, имеющий такое огромное значение для их путешествия, высказывал полное свое удовлетворение тем, что за день он связался-таки наконец с местом, где будет устроен их зимний дом.

Мало-помалу Серая Сова вовсе забыл о своих злых предчувствиях, стал рассказывать из жизни своей до встречи с Анахарео о разных случаях, о курьезнейших оригиналах. Анахарео заливалась смехом, слушая о похождениях некоего Бангалу Билла, который жил в такой тесной лачуге, что когда жарил блины и нужно было перевертывать блин, приходилось для этого высовывать сковородку в дверь наружу. А то еще было с Бангалу необычайное приключение, когда он пошел в лес за черникой. Наполнив оба взятые с собой ведра, Бангалу, понес их домой и по пути заметил мчащийся на него циклон. Поставив ведра, сам он бросился бежать к своему каноэ и потом оттуда глянул на ведра с черникой. Как раз в это время вихрь подошел к ведрам, всосал в себя ягоды, и вся черника из двух ведер поднялась в воздух двумя темными столбами. При рассказе своем сам Бангалу в этом месте звучно щелкал себя по коленкам и говорил:

"Поверите ли? Внезапно вихрь оборвался, и ягоды вернулись обратно в свои ведра. Да, сэр, ни единая ягода не пропала!"

Оглушительный смех после этого рассказа возбудил любопытство в бобрах; через окошко своего бочонка они вылезли и стали бороться среди обеденных принадлежностей. Опрокинулся бачок с тарелками, и пошла у них уже настоящая драка из-за этих тарелок, а у людей — веселье.

Флаг Серой Совы

Все на свете имеет конец, и даже сизифова работа однажды, перед самым наступлением темноты, была закончена, и решительно все, до последнего фунта, до последнего пакета, лежало на берегу Березового озера. За неимением саней, или тобоггана, странники леса при свете костра соорудили нечто вроде нашего клина, посредством которого в некоторых местах у нас еще до сих пор расчищают на шоссе снежные заносы. Погрузив на этот клин все лагерное снаряжение вместе с бочонком, они потащили его во мраке по малонадежному льду к тому самому месту, где жили бобры и где Серая Сова заранее облюбовал местечко для лагеря.

В эту ночь искатели счастья в лесу погрузились в такой праведный сон, какой немногим дается: завтра им не надо будет пробивать себе путь по вырубке, завтра замерзшие ремни от груза не будут давить на онемелые плечи, завтра там, на постоянном местожительстве, не надо будет разбирать лагерь, прикованный к снегу жестоким морозом, завтра не будет такого рабского, напряженного труда.

Среди ночи, когда все спали, Серая Сова проснулся от напора нахлынувших мыслей. Он

поднялся, открыл дверцу печки и, сидя в ее свете, курил и размышлял. Свет из узкой дверцы падал на усталое лицо Анахарео — этой женщины, с такой отвагой и верностью отдавшей борьбу с такими тяжелыми испытаниями. Какие узы брака, какое чувство долга могли бы сравниться в своей силе со стальной силой, связавшей этих двух товарищей, которые бок о бок бились и одержали победу над невыразимыми бедствиями!

В то время как Серая Сова так думал, Анахарео зашевелилась и в полусне сказала:

— Мы больше не пойдем носить груз по снегу, нет! Совсем не будем. Мы дошли.

— Да! — ответил Серая Сова, выпуская клуб дыма.

— Мы дошли! — повторила она.

И, улыбнувшись, заснула.

А Серая Сова все курил и думал о будущем. Дошли, конечно, дошли, но куда? Предстояло строить хижину на выбранном чудесном участке, в роще из величественных сосен, среди которых было несколько скромных изящных и нежных берез. Несказанная красота и величие окружающей природы на первых порах как бы несколько подавляли людей, открывая им взгляд на самих себя, как на жалких карликов. И в то же время сила мощного леса тут же чарует, заставляет забыть, что буржуазная цивилизация тут где-то, совсем близко, что всего лишь в нескольких милях отсюда начинаются унылые развалины леса из пней и сучьев.

Но раздумывать, особенно над ходом цивилизации, не было времени. Начиналась вторая неделя ноября, и глубина снега была больше фута. Надо было спешить с постройкой, и на другой же день Серая Сова принялся за новую работу. Деревья замерзли и с трудом поддавались топору. Деревья нужного размера для постройки были довольно далеко, приходилось впрягаться в ремни и тащить их на полозьях. Конечно, легче было и строить дом там, где рос подходящий для этого лес, но роща сосновая, с чудесными березами, была так привлекательна, что ради возможности жить среди такой красоты не жалко было никакого труда. Но при условии доставки материалов издалека, конечно, постройка дома не могла двигаться быстро. К тому же, каждый день шел снег, и каждое утро приходилось, прежде чем приступить к самой работе, порядочно поработать лопатой. Без конца обсуждалось при этом, как лучше поместить фасад дома, где сделать дверь, с какой стороны вырубить окна. Последнее потом удалось превосходно: окна были прорублены в сторону красивейших групп деревьев.

Работа шла на берегу озера, противоположном палатке.

Однажды вечером строители вернулись домой и нашли бочонок пустым, и два запутанных нерешительных следа, каждый отдельно, шли к озеру. С момента ухода прошло порядочно времени, и первую мысль индейцев было, что бобры почуяли близость своих сородичей и отправились к ним. Но это предположение оказалось неверным: следы, как бы блуждая, уходили в другом направлении, вниз по берегу озера. Бобры обладают таким большим чувством дома, что инстинкт безошибочно их приводит туда, куда надо. Но молодые бобры, возможно, еще не могли оценивать расстояние с точки зрения запаса своих сил, и оттого Серая Сова опасался, что они пошли к месту последней стоянки, где они над чем-то очень много трудились. Весь этот день погода стояла мягкая, но к вечеру стало морозить, образовалась корка, на которой не оставалось никаких следов. Самая же беда была в том, что бобры обросли шерстью еще только наполовину и при таком дальнем пути неминуемо должны были замерзнуть. Но невозможная путаница следов на берегу сразу же открыла, что у них не было

никакой определенной цели и желали они только побродить. Разобраться же в их следах не было никакой возможности, и пришлось сделать большой круг, освещая себе путь фонарями. Приходилось очень спешить, потому что морозило все сильнее: шли, спешили и все время звали и звали... И, наконец, почти у половины пути к озеру, на призыв послышался слабый ответ: маленький зверек это был самец — лежал на снегу головой к дому; видимо, он понял беду и хотел вернуться домой, но обессилел и потерял даже надежду. Анахарео подхватила его и помчалась скорее домой, а Серая Сова продолжал поиски.

Очень скоро, однако, он увидел условленный сигнал светом и, вернувшись, узнал, что другой еще до прихода Анахарео вернулся и ждал в бочонке.

Оказалось, что, прежде чем отправиться в безрассудную экспедицию, предприимчивые искатели приключений подрыли и опрокинули печку, отчего нескоро удалось наладить тепло и вернуть всем обитателям палатки хорошее расположение духа. С тех пор строители стали брать бочонок с его обитателями с собой на работу и поддерживать возле него постоянный огонек для тепла.

Хотя супруги оба очень усердно работали над хижинкой, но прошло целых одиннадцать дней, пока наконец-то она была объявлена вполне годной для вселения. В это время условия жизни в палатке стали очень неприятными из-за тесноты: в нее все втащили от мороза. И потому однажды вечером строители с великой радостью отправились в свое новое помещение. В то время эта хижина была похожа на ледяной дом, потому что маленькая печка оказывала слабое действие на замерзшие стены, и щели между бревнами не были еще законопачены. Мох, запасенный для конопатки, был заготовлен в большом количестве, но, для того чтобы пустить его в дело, надо еще было его оттаять. Чтобы ускорить таяние, его разложили вокруг печки в трех кучах.

Кто видел когда-нибудь строительство бобров, тот непременно останавливался в большом раздумье, потому что это строительство напоминает что-то близкое: человек в животном узнает или как бы вспоминает себя самого. Но сейчас примитивное строительство человека зимой в лесу, в свою очередь, наводило мысль на работу бобров. Как только люди, измученные дневной работой, крепко уснули, а мох у печки все таял и таял, из своего бочонка вышли бобры погулять по новой избе. Они, конечно, почувствовали, что отовсюду дует, и сейчас же принялись, по своей бобровой привычке, заделывать щели — таскали мох и конопатили, и, когда люди утром проснулись, все было превосходно законопачено до той высоты, до которой бобры могли дотянуться.

Такой человек, как Серая Сова, наверное, и во сне тоже готовился к предстоящей днем работе, и можно себе представить его изумление, когда он, проснувшись, застал бобров за той самой работой, к которой готовился...

Весь этот день Серая Сова заделывал щели мхом, засыпал землей внутри и потом укреплял стены снаружи, в то же время Анахарео мастерила и подвешивала полки на стены, сколачивала стол и вообще делала уют для жилья. Когда все было готово, с гордостью любовались строители на свой дом, на эти гладкие красные бревна канадской сосны с темно-зеленым мхом между ними, на султан белого дыма, который медленно рассеивался там высоко, между темными ветками сосен-гигантов.

Да, они любовались на дым своего дома, как любят все лесные жители на свой первый огонь вид дома был радостный, мысли рождались о хорошем житье, о прочной оседлости. Внутри в это время стены отходили, на стенах, на балках была сырость, и капало. Но это не мешало новоселам отпраздновать конец строительства. Вот только печная труба оказалась

несколько узкой, и при плохом ветре в печке не хватало тяги — появлялся дым. Однако это была небольшая беда: дым можно было очень скоро выгнать в открытую дверь одеялами. Во всех других отношениях дом был превосходным сооружением.

Закончив постройку хижины, Серая Сова перенес весь провиант из сделанных по дороге запасных складов, запасся дровами, убил и приволок оленя и после того начал осматривать местность. Было уже начало декабря, и охота на норок, если они тут водились, была на исходе. Оставался расчет на куниц, на лисиц и рысей. На поиски следов этих зверей и отправился теперь Серая Сова. Было мало, очень мало лисьих следов, от остальных же пушных зверей не то что следов, а даже и волоска нигде не нашлось. Захватывая с собой кусок холста для прикрытия от ненастья, половинку одеяла, немного чая, муки, топленого сала, ружье, он странствовал далеко и широко по холмам и долинам, по лугам, некогда занятым бобрами, пересекал овраги и водоразделы, прослеживал ручьи до истоков. Случалось проползать в путаных кустах на трясинах, переходить цепи горных кряжей, всюду высматривая лазы животных; он изнурял себя ходьбой до невозможности, спал, где заставала ночь, — но все было напрасно.

Странно, что при таком положении дела Серая Сова не падал духом, и ему уж казалось, что самое трудное было теперь за спиной. Он совершенно бескорыстно заинтересовался страной, и ему хотелось знать о ней все больше и больше. Он рассуждал так: хуже того, что было, не может быть, и перемена должна быть только к лучшему.

Но Серая Сова ошибался. Совсем неожиданно и как будто никак не ко времени начало таять, и дорога сделалась отчаянно плохой. Настали сырые, пасмурные, промозглые, туманные дни. Снег спрессовался, осел, на лыжи так налипало, что передвигать их стало почти что невозможно. Вслед за этим вдруг хватил мороз, оледенивший деревья; снег покрылся коркой, разлетавшейся под лыжами вдребезги, как стекло. Как бы осторожно ни двигаться по такому прозрачному стеклу, все равно не миновать провала, от которого сотрясается тело и теряется ритм, столь необходимый для управления лыжами. А то, бывало, корка зацепит за лыжу, и от внезапного толчка человек падает на колени. Никакой возможности, конечно, не было на такой корке найти какой-нибудь след: животные ходили по ней без следа. Вот эти последствия дряблой погоды для северного жителя были до крайности неприятны; тут, в этой новой, неведомой стране, постоянно вспоминался родной далекий север, где человек скользит мягко, ритмично, бесшумно по снежному покрову глубиной в шесть футов. Серой Сове казалось, что все стихии объединились, чтобы мешать ему в достижении цели; он не находил в себе способности переносить это безропотно и проклинал, сколько духу хватало проклинал этот край. Что делать! Человек всегда готов проклинать свою розгу, хотя, быть может, одна она только способна вывести его из летаргии самодовольства, в которой он пребывает. Трудно было, однако, покориться Серой Сове, пусть хоть она, эта розга, и была бы для него в какой-то мере и благодетельной. Ведь в конце-то концов вся затея спасения Бобрового Народа рушилась, приходилось спускать флаг с корабля или свертывать знамя.

На другом конце озера стоял бобровый домик, и в нем жили четыре бобра. С каким трудом далась эта близость к ним, это начало осуществления великой идеи! Эта небольшая семья и свои два бобренка — больше бы, кажется, ничего и не надо. Но как же выйти из положения? Казалось, карты были крапленые с самого начала.

Так вот после мучительного раздумья Серая Сова однажды вечером решил спустить флаг со своего корабля и приступил к приготовлениям. Ему казалось, что он готовится к выполнению смертной казни, а не к охоте. Он взял лом для рубки льда, приманку, четыре ловушки. Не каждая должна была поймать по бобру, но в два приема их можно было переловить всех дочиста. Анахарео стояла рядом; она помогала: передавала Серой Сове ветки, которые должны

были направить жертву в ловушку. Она была взволнована до глубины души, но ничего не говорила, зная по опыту, что бесполезно мужа просить, раз он решился на что-нибудь. А кроме того, это, пожалуй, и не было в ее природе — просить.

Солнце закатывалось и своими зимними лучами грустно освещало бобровую хатку, покрытую снегом: весной эти бобры не увидят солнца. Но Серая Сова выкинул из головы эти дряблые мысли и закончил работу: дня через два уплата долга будет обеспечена.

И, только охотники собрались уходить, вдруг послышался резкий дискантовый голос, почти что детский, из самой глубины бобровой хатки. Серая Сова остановился, пораженный. Анахарео тоже слышала.

— Совсем как у наших, — сказала она.

— Да, то же самое, — согласился Серая Сова.

И прислушался. Другой голос запротестовал. Вся домашняя сценка стала понятна во всех своих подробностях.

— Один ест, — сказала Анахарео, — а другой хочет отнять.

После того — звуки примирения, бормотание, шепот удовлетворения, хруст грызущих зубов.

— Палку у него отняли, — детально излагала Анахарео. — А теперь она вернулась к нему, он ест.

— Пони! — сказал резко Серая Сова. — К чему ты мне все это говоришь?

Затем кто-то нырнул, и вода в одной из только что сделанных прорубей поднялась; во всяком случае, это должна была быть старая бобриха, мать. Серая Сова быстро подбежал к ловушке, быстрым ударом воткнул в нее лом и задрожал, когда она захлопнулась. Затем быстро обежал все другие и все их захлопнул.

После того между супругами не было никаких разговоров. Они даже избегали друг на друга смотреть. Собрав все принадлежности, они молча пошли домой, а солнце еще не успело сесть и продолжало освещать бобровую хатку.

Серая Сова опять поднял свой флаг.

Мак-Джинти и Мак-Джиннис

Серая Сова вовсе бросил странствовать в этой местности, очевидно до того изученной, исследованной в таких подробностях, что открытия в ней сделать можно было бы разве лишь в области каких-нибудь исторических древностей. Кроме того, такому артисту лыжной тропы, каким был Серая Сова, здесь никогда не было хорошего пути.

Для таких людей, каким был Серая Сова прекращение странствий, отказ от неутолимого желания узнать, что же находится там, за холмами, означает застой, означает пребывание в часах безделья с их мрачным спутником самоанализом. Но бобры были спасением. К этому времени они значительно выросли, весили каждый по пятнадцати фунтов, а мех их стал густой, пышный, блестящий.

Их возмужание, однако, вовсе не влияло на их детские отношения к людям. По-прежнему они

лезли к ним на кровати. К сожалению, часы их сна не совсем совпадали с хозяйскими по утрам особенно они всегда стремились встать пораньше людей. Притворяясь спящими, люди тихо лежали, в надежде, что бобры понемногу успокоятся и снова заснут, но, видимо, бобрам нравилось видеть всех на ногах по утрам, и потому они начинали своих хозяев щипать за брови, за губы, беспокоить всяким способом, пока, наконец, те не поднимутся. Спать из-за них приходилось на полу, на койке с ними было бы тесно, а не взять их к себе тоже нельзя было они вопили до тех пор, пока их не возьмут. Можно бы, конечно, поместить их на свое место, как животных, но их понимание всего было такое ясное, близость отношений зашла так далеко, что не хотелось их обижать.

Малейшую перемену в отношениях, даже в настроении они хорошо замечали. Суэта каких-нибудь приготовлений побуждала их, в свою очередь, к такой же деятельности. Например, когда люди стлали постель, бобры бегали вокруг них и тянули во все стороны одеяла, а то прямо даже и удирали с подушками. Когда люди смеялись или вели оживленный разговор, они тоже по-своему начинали болтать и оживляться. Случалось и Серой Сове, как всем людям, расстраиваться и всердцах на что-нибудь не считаться с возможностью причинения обиды другому своими словами, — бобры это понимали и старались в такие минуты не показываться людям на глаза Серая Сова это хорошо заметил, и такое наблюдение помогало ему сдерживать свой нрав.

Мертвая точка, на которой очутились охотники при перспективе полного безделья в течение трех месяцев, до начала мартовской охоты, была бы невыносима, не будь этих живых созданий, о которых никогда нельзя загадать, что они завтра выкинут. Если разнообразие является солью жизни, то они своим разнообразием действительно оказывали на людей самое оживляющее действие. Они вытворяли самые непредвиденные, неслыханные вещи и по временам приносили непоправимый вред. Часто требовалось немало самообладания, чтобы смотреть сколько-нибудь спокойно на результаты их работы в течение целого дня. В свободное время они всегда чего-нибудь требовали, или передвигали какой-нибудь маленький предмет с места на место, или резвились между ног, и вообще избавиться от них можно было, лишь когда они спали, да и то не всегда. Но они были истинно счастливы и довольны всей окружающей их обстановкой, их смехотворные проделки так оживляли скучную и закоптелую хижину, что им все прощалось.

И когда эти маленькие эльфоподобные существа, работая, прыгали, скакали, бегали взад и вперед или ковыляли на задних ногах, появляясь, исчезая в полутьме под койкой, столом или в углах, — то казалось, будто их не два, а множество, и у хижины получался такой вид, будто она населена целой толпой деловитых духов. Непрестанно они издавали странные крики и сигнализировали друг другу пронзительными детскими дискантами. Иногда они усаживались на корточках на полу, подняв туловище вертикально, и делали свой регулярный и очень тщательный туалет или сидели, крепко прижав передние лапки к груди, положив хвосты перед собой, и так очень походили на маленьких идолов из красного дерева.

Случалось в разгаре их бурной деятельности они вдруг оба, как по сигналу, останавливались в позах прекращенного движения, вглядывались в людей с внезапной молчаливой настороженностью, впивались в них глазами так пытливо, так пристально и мудро, как будто внезапно догадались, что люди вовсе не такие, как они, бобры, и им надо поэтому немедленно прийти к какому-то решению.

"Да, большие друзья, — казалось, говорили они, — мы знаем, что мы еще малы, но погодите немножко!"

И разглядывали людей глазами, полными смысла, и этим производили на них такое жуткое впечатление, будто они были маленькие люди с сумеречным умом, которые когда-нибудь

заговорят с большими людьми.

Но к концу дня обычно наступало время, когда вся эта мудрость и бдительность, все их мастерские, искусные затеи, все дела и делишки отбрасывались и забывались, — тогда дух получеловеческого сверхинстинкта у них исчезал, и оставались два усталых маленьких животных, которые с трудом тащились каждый к своему человеческому другу, просили, чтобы их подняли на руки, и затем с глубоким вздохом громадного и полного удовлетворения погружались в сон.

Эти переменчивые существа в гостях у людей принимали лагерную жизнь как нечто вполне естественное, несмотря на условия, столь неестественные для их породы. У них не было бассейна с водой, и жили они совершенно так, как жило бы любое сухопутное животное, удовлетворявшееся одной только миской для питья, прибитой к полу.

Они были вполне удовлетворены этим оборудованием и, хотя в мягкую погоду дверь наружу обыкновенно была открыта, они все-таки не делали попыток спуститься к озеру. Один раз их взяли к проруби, но они отказались влезать в нее или пить, а убежали со льда как можно скорей и стали карабкаться вверх, к дому, по снежной тропинке.

У них в головах роились разные планы, и в результате попыток выполнить их человеческая хижина принимала фантастический и часто неряшливый вид. Наиболее замечательной в этом отношении у них была попытка выстроить собственный дом. Пространство под койкой они захватили в свою собственность и ходили туда именно как собственники, с таким видом маленьких буржуа, что можно было, глядя на них, покатиться со смеху. Они взялись это пространство под койкой превратить в нечто вроде личной комнаты, для чего однажды ночью перетащили все содержимое дровяного ящика и построили баррикады со всех сторон, оставив себе только выход. Внутри отгороженного места они прогрызли дыру в полу и выкопали тоннель под задней стеной. Впоследствии этот тоннель стал служить им спальней, но первоначальное его назначение было другое: это была шахта с материалом для штукатурки.

Люди долго не подозревали существования грязевой шахты в их собственном доме, как вдруг однажды заметили, что через эту стену возле койки перевалилось нечто тяжелым шлепком: кусок глины. За глиной последовал камень порядочного размера, позднее — еще комок глины. Обследование обнаружило тоннель, внутренняя сторона перегородки была отлично и гладко оштукатурена, а странные предметы, валившиеся в комнату, были избытком штукатурного материала. Между прочим, бобры отлично сэкономили материал: заметив через некоторое время, что часть штукатурки свалилась в комнату, они ее подобрали и оштукатурили стену и с наружной стороны. Но мало того — они пользовались в совершенстве тем, что у людей называется организацией труда: пока в узком тоннеле можно было работать только одному, они работали посменно, а когда можно было действовать вместе, то один был занят тем, что только приносил материал, а другой штукатурил.

Исследование сооружения, между прочим, объяснило людям таинственные глухие удары и ссоры, ворчанье и тяжелое дыхание, исходившее несколько ночей из-под койки. С течением времени баррикада из дров и снаружи была полностью оштукатурена и оставлено одно только наблюдательное отверстие, подобное тому, которое они сделали в бочонке. Нора была под нижней стороной хижины, и, когда случалась теплая погода, вода с крыши сливалась в нее, просачивалась насквозь, превращая сухую глину в жидкое тесто. В таких случаях бобры обыкновенно выползали в хижину к людям настолько облепленные глиной, что были почти неузнаваемы, и в таком-то виде пытались вскарабкаться на колени.

Около этого времени супруги достали где-то книгу о строительстве в давние времена

Тихоокеанской железной дороги в Соединенных Штатах и, читая в ней о трудолюбии и настойчивости ирландских рабочих, думали о строительстве бобров под кроватью: чем они хуже ирландцев? И так они дали своим бобрам ирландские имена: Мак-Джиннис и Мак-Джинти. Имена эти, в самом деле, очень подходили бобрам, потому что бобры были так же энергичны, а порой и так же вспыльчивы, как любые два джентльмена из Корка (город в Ирландии).

У самца (ныне Мак-Джиннис) была своя маленькая и любимая игра с людьми. Каждый день к полудню, когда он просыпался, ложился он настороженно за углом своего укрепления и ждал, пока не пройдет тут кто-нибудь из людей. Затея эта была каждое утро, без пропусков, и потому люди уже знали вперед, что будет, и нарочно шли мимо этого места. И как только человек подходил, Мак-Джиннис с ожесточением бросался в атаку. Затем после этого нападения выходила Мак-Джинти, чтобы произнести свой утренний монолог, декламируя громким голосом со множеством различных интонаций. Иногда они оба усаживались рядом, как бы для смотра или для парада, торжественно качали головами и издавали самые странные звуки.

Индустриальные имена Мак-Джиннис и Мак-Джинти были похожи, как были похожи между собою сами бобры, и потому, когда звали одного, приходили оба вместе: очень прижились эти имена и прижились.

После утренних упражнений Мак-Джинниса в своей воинственной забаве и Мак-Джинти в ее морализировании, в витиеватых речах, люди их кормили разными лакомыми кусочками, которые бобры уносили в свой дом, и там, сидя как можно дальше друг от друга, ели, вполголоса поварчивая, чтобы предотвратить попытки возможного пиратства. Их звучное чавканье во время еды было очень аппетитно, но в пище они были очень разборчивы и вкусы имели индивидуальные. Остатками или объедками они никак не довольствовались. До того иногда были капризны в еде, что из нескольких кусков одной и той же лепешки иногда не сразу брали любой, а несколько раз колебались в выборе того или другого. Так герой одного романа в трудную минуту много времени тратил, чтобы выбрать себе папиросу из дюжины совершенно одинаковых.

Покончив с завтраком, бобры в отличном расположении духа появляются для выполнения своих дневных дел на полу, двигаются проворно, суетливо, как бы говоря: "Ну, вот и мы! Что прикажете делать?" Вслед за этим они обыкновенно включаются в общую работу люди по-своему делают и они тоже по-своему. Источником постоянного интереса для людей была та правдивость, с которой их голоса и действия регистрировали их эмоции. Казалось, они были даже одарены в какой-то степени чувством юмора. Однажды Серая Сова заметил, как один бобр мучил другого до тех пор, пока жертва не испустила жалобный крик; тогда он, достигнув, очевидно, своей цели, закачал головой взад и вперед, скорчился как бы в конвульсиях смеха и затем повторил свое представление: казалось, что вот-вот и не в шутку послышится смех...

Серая Сова постоянно пристально наблюдал жизнь своих маленьких друзей, и мало-помалу у него созрело убеждение в том, что бобры обладали способностями, необычайными для животных. Он сомневался только в том, что в таких самостоятельных и независимых существах эти способности могли бы совершенствоваться и развиваться...

На своем веку лесного бродяги видел он не раз, как боролись между собой собаки, волки, лисицы, наблюдал за большинством других животных, от кугуара до белки, и все они во время игры скакали и били лапами друг друга. Одни только бобры не удовлетворялись подобной свойственной всем животным игрой. Эти необыкновенные создания при борьбе становились на задние лапы, обхватывали маленькими, короткими лапами друг друга и боролись совершенно как люди: назад и вперед и кругом, но никогда не в сторону. Наступая, толкая, топя, ворча и

пыхтя от прилагаемых усилий, применяя все приемы, какие только они знали, изо всех сил так они боролись за первенство. Когда же, наконец, один из них громким криком давал знать, что побежден и больше не в силах стоять за свое первенство, схватка заканчивалась, и оба, сделав по несколько прыжков, обращали свое внимание на дела более серьезные.

Капризной и предприимчивой Мак-Джинти эти вполне легальные занятия были недостаточны для удовлетворения ее натуры, жаждущей более острых переживаний. Она разработала себе целую систему умеренных преступлений, выходов, столь известных и в человеческом обществе. Так вот, например, она имела свободный и вполне законный доступ к небольшому запасу картофеля, который во время переноски удалось спасти от мороза. Она брала его, когда хотела, совершенно открыто, никто ей в этом не мешал. Но ей было гораздо интереснее его воровать, и она продырявила сзади мешок и таскала картофель потихоньку. Так, ее можно было видеть крадущейся с добычей вдоль стены с выражением наслаждения страхом быть пойманной. Люди, конечно, и сами наслаждались ее наслаждением и позволяли ей носить картофель, сколько ей вздумается. Но противодействие — это дыхание жизни бобров; вся их жизненная школа связана с преодолением препятствий. И как только Мак-Джинти заметила, что таскать картофель ей можно, это занятие для нее потеряло всю свою прелесть.

Вслед за этим преступница начала воровать табак. Однажды ночью раздался жалобный стон, означавший, как оказалось, настоящую беду: отважного вора нашли распластным на полу возле украденного табака, часть которого была съедена. Бедная зверушка сильно страдала, пыталась подползти к людям, но у нее не действовали задние ноги: они были будто парализованы. Любимицу Анахарео осторожно подняли и положили на койку. В серьезной беде бобр очень льнет к человеку и глядит на него чрезвычайно выразительным умоляющим взглядом. Мак-Джинти прижалась к Анахарео, уцепилась за ее платье лапками, потерявшими силу, с немой мольбой ожидая от нее, только от нее, своего спасения.

Серая Сова впервые в жизни своей видел такую сцену, и она его сильно растрогала. В своем прошлом опыте он стал искать средство лечения. Рвотное она не хотела или не могла проглотить. Через короткое время она впала в оцепенение, сердечная деятельность ее почти прекратилась, и тут Серая Сова вспомнил один случай отравления опиумом. Он сказал Анахарео, чтобы она растирала ее тело покрепче, массировала руки и ноги и ни в каком случае не давала ей заснуть. Это было несколько жестоко, но вопрос шел о жизни и смерти. В свою очередь, и Анахарео вспомнила о пользе в таких случаях горячих горчичных ванн. Когда ванна была готова, бобр был уже без сознания и настолько обессилен, что, когда его опускали в ванну, голова его безжизненно погрузилась в жидкость. Не сразу проникла жидкость сквозь мех, но было достаточно даже того, чтобы ноги и хвост подверглись ее действию, результат сказался почти что мгновенно: держа руку под грудью бобра, Анахарео сказала, что сердечная деятельность возрастает.

Потерявшее сознание животное настолько жило, что стало слабо стонать и приподнимать голову. Но только вытащили ее из ванны, как бедная зверушка снова поникла, и сердечные удары были почти неощутимы. Пока Серая Сова готовил вторую ванну, Анахарео усердно растирала животное и не давала ему уснуть. Помещенная во вторую ванну, Мак-Джинти пришла в себя: после того ее опять растирали, опять купали, стараясь всеми силами сохранить маленькому созданию жизнь. Более десяти часов так работали, чередуя ванны с растиранием, и временами вовсе теряли надежду: неподвижная, слабеющая, с закрытыми глазами, она выскальзывала из рук людей... Три раза начинались конвульсии, но все-таки она при постоянном воздействии людей жила, и время рассвета, по замечанию Серой Совы, фатальное в споре жизни и смерти, миновало: рассвело, а Мак-Джинти еще не умерла. При наступлении полного дня кризис как будто миновал, сердце сильно забилося, она встала, и вдруг тут ее схватила судорога — она упала и вытянулась.

Серая Сова уронил полотенце: это был, очевидно, конец.

— Ну, Пони... — начал он.

И отвернулся, чтобы положить дрова в печку, и стал там возиться, чтобы только не глядеть. Сердце разрывалось...

— Ну, Пони... — начал он второй раз.

И вдруг он услышал крик сзади себя — не крик смерти, как ожидал, а что-то вроде рассуждения, декламации, с получеловеческими звуками...

Серая Сова оглянулся.

Мак-Джинти сидела на задних лапках совершенно прямо и даже делала попытки причесать свою мокрую, растрепанную шубу.

Анахарео плакала. Серая Сова в первый раз в своей жизни видел ее плачущей.

Между тем Мак-Джиннис, по свойственному всем животным инстинкту, понял, почуял беду и все время пытался пробраться на койку к Мак-Джинти. Теперь, когда она ожила, конечно, прежде всего им позволили встретиться Мак-Джиннис обнюхал свою подругу очень тщательно, как бы стараясь, после столь долгой разлуки (одиннадцать часов!) убедиться, действительно ли это она. Он издавал тихие звуки, похожие на отрывистые стенания, звуки, которых раньше от него никогда не слышали. Она же восклицала пронзительным голосом, по своей обычной привычке. Хнычущие звуки продолжали раздаваться довольно долго и под койкой, а позднее, когда к ним заглянули, они лежали в обнимку, крепко вцепившись лапками в мех, как делали, когда были совсем маленькими.

Этот драматический эпизод надолго отбил охоту у Мак-Джинти заниматься скверными делами: она исправилась. Всякое подлинное несчастье действовало на них исправительно. То же было и с Мак-Джиннис после той беды, когда он чуть-чуть не замерз на льду, он до того сделался примерно-порядочным, что Анахарео стала опасаться за его судьбу: она верила, что хорошие дети долго никогда не живут.

У бобров были характеры если не сложные, то очень противоречивые, с резко выраженными индивидуальными особенностями. Мак-Джиннис, если ему делали выговор, беспрекословно подчинялся, принимался за что-нибудь другое, а потом, сделав невинную мину забывчивости, принимался опять за то самое, что ему запрещали. Мак-Джинти не поддавалась никаким увещаниям, и только насилие могло прекратить ее преступные замыслы. И как только она начинала понимать, что нехорошие дела ее замечены, она принималась визжать, как бы авансом протестуя против вмешательства. Но в какую бы форму ни выливалась борьба людей с их своеволием, в конце концов враждебных чувств она не вызывала у бобров: привязанность их к людям оставалась прежней. Главное, неприкосновенным оставался всегда и неизменно тот час их дня, когда все споры, все неприятности исчезали и тесная дружба их к людям выходила как бы из какой-то задумчивости: быть может, это чувство приходило от материнской любви, навеки ими утраченной.

Но как бы ни были разны их характеры, как бы ни менялись обстоятельства, в одном они были неизменно единодушны, и одно желание у них никогда не остывало: это была жажда узнать всеми возможными и невозможными путями, всеми правдами и неправдами, что же там было скрыто, за пределами их досягаемости, там, на столе.

С самого момента начала жизни в этой хижине стол и то недоступное им, что было там, на столе, обладали необычайной силой чарующего притяжения для бобров, и они, казалось, думали, что вот именно там, на столе, находится все то желанное, чего им не хватало тут, внизу, на полу. Они были особенно крикливо-требовательны во время еды людей за столом, и хотя им всегда давалось, сколько они могли съесть, все равно, сколько бы они ни ели, — еда едой, а территория стола оставалась для них неисследованной. Всеми им доступными средствами они стремились узнать, что там находится, и однажды им удалось стащить клеенчатую скатерть. Грохот упавших железных тарелок, казалось, должен был бы послужить им хорошим уроком, и все-таки нет: этого урока, оказалось, им было еще недостаточно. Серая Сова, наблюдая эту постоянную тягу бобров к столу, понимал, конечно, что рано или поздно, каким бы там ни было способом, они своего непременно достигнут, но ему никак не могло прийти в голову то, что случилось в действительности.

Серая Сова и Анахарео никогда до сих пор в этой хижине не оставляли бобров одних более чем на несколько часов, потому что было холодно и надо было поддерживать тепло в хижине. Но однажды случилась большая оттепель, и супруги предприняли небольшое путешествие, за несколько миль, в лесозаготовительный лагерь. Ночью возвращаться домой им не захотелось, они приняли приглашение переночевать. На другой день повар, слыхавший о бобрах, пожелал их посмотреть, и Серая Сова, расставаясь с ним утром, предложил ему зайти к концу дня. Повар пообещал зайти и на прощанье дал для угощения бобров сверток солидных размеров. Это был первый визит в хижину лесных странников, и, чтобы подготовиться к встрече дорогого гостя, они поспешили скорее домой.

Так с этой мыслью, чтобы поскорей взяться за дело и не ударить в грязь лицом перед гостем, Серая Сова и Анахарео подошли к своему дому, но, взявшись за дверь, отворить ее не могли: дверь была забаррикадирована изнутри кучей одеял.

Но это были пустяки в сравнении с тем, что открылось хозяевам, когда они вошли в свое жилище, комната была разгромлена.

Бобры нашли простейший способ опустить пониже недоступный им стол: они подгрызли ножки, и стол сам опустился. Вещи, лежавшие на столе, то самое, чего достигнуть им так страстно желалось, оказались не особенно интересными: посуда. Однако они не пощадили и посуды; большую часть этих вещей позднее нашли в норе, но некоторые вовсе не были найдены; вероятно, они запрятали их в самом отдаленном конце тоннеля. Все остальные вещи были разбросаны на полу и находились в разных стадиях разрушения. Умывальник был опрокинут, и мыло исчезло. Банка с керосином, емкостью в пять литров, упала на пол, но, к счастью, удачно: отверстием вверх, так что ничего не вылилось. Сам пол не пострадал, но был густо покрыт стружками, щепками, обломками разного изгрызенного имущества. В дальнейшем были нападения гораздо более разрушительные, но первый разгром произвел потрясающее впечатление и отбил всякую охоту принимать гостя.

Между тем сами-то бобры по-своему задумали что-то построить. То, что людям представлялось картиной разрушения, с их, бобровой, точки зрения это было лишь этапом какого-то, им только известного созидания, они не чувствовали ни малейшей вины и, прерванные в своем строительстве, разглядывали вошедших через свою бойницу, а когда убедились, что это свои, то сразу оба выскочили и запрыгали через груды развалин, чтобы радостно приветствовать своих милых друзей.

Какой смысл был наказывать этих маленьких гномов? Им дали лакомства, присланные поваром, и они ели среди обломков, наслаждаясь таким чудесным завершением, быть может, самого прекрасного дня их жизни.

Как Серая Сова стал писателем

Кто может сказать, где именно кончается инстинкт и начинаются сознательные умственные процессы? Этот вопрос много раз ставил себе Серая Сова, наблюдая жизнь своих бобров. Вспомнилась ему однажды виденная где-то в газете фотография японской железнодорожной станции с надписью: "Точно такая же, как и у нас". Издатель, очевидно, был изумлен, что японская станция сделана не из бамбука или бумаги. И Серая Сова, вспомнив наивного издателя, подумал о себе самом, что его отношение к уму животных было точно такое же: "У них, как у нас". Но после появления в обстановке его повседневной жизни маленьких послов, детей животного царства, подобная снисходительная точка зрения была невозможна, а дальнейшее углубление в этот замечательный мир обещало волшебные возможности: сфера жизни, совсем не изученная. У бобров их внутренняя жизнь сказывалась, конечно, эффективнее для наблюдателя; но в какой-то мере, конечно, и все животные обладают своими, неизвестными людям свойствами в том же роде, — область неизвестная, сулящая целый мир открытий.

Это новое для Серой Совы, как бы родственное внимание ко всему животному миру настойчиво искало своего применения. К счастью, зима была очень мягкая; разного рода животные пользовались ею, всюду шныряли, и Серой Сове захотелось интерес свой, возбужденный бобрами, расширить вообще интересом к жизни природы. Можно ведь было начать приручение разных животных — не только бобров. Началось с ондатры, с которой подружилась Анахарео. Это был жирный курьезного вида самец. За свое толстое брюхо он был прозван Фальстафом. Очень часто он посещал прорубь, из которой бралась питьевая вода, и засорял его то травой, то ракушками съеденных им улиток, чем доставлял поселенцам некоторые неприятности. Он любил сидеть у самой кромки льда и поедать разные кусочки, которые Анахарео оставляла тут для него. В конце концов Фальстаф до того привык к людям, что ел прямо из рук. По всей вероятности, он вообще стал ее подстерегать, потому что сейчас же высовывал из воды голову, как только Анахарео начинала спускаться вниз. Он даже бежал по льду к ней навстречу, но уже через несколько метров терял уверенность, его охватывал страх, и он мчался назад в прорубь и оттуда снова выглядывал. День за днем, однако, росло его доверие к Анахарео, и путешествия к ней навстречу по льду удлинялись, отступления становились не столь стремительными. У Фальстафа был домик на берегу, сделанный из травы и грязи, у него кто-то там жил, но выходил к поселенцам только один Фальстаф, другие никогда не показывались.

Удалось так же скоро приручить двух белок: они стали даже приходить на голос, прыгать людям на плечи, из рук брать кусочки лепешек. Между собой эти белки ссорились, жестоко дрались, но к людям неизменно выказывали дружелюбие, — возможно, оно было притворное, возможно, и нет; во всяком случае, оно было вызвано надеждой получить подачку.

Еще из живых существ возле хижины поселенцев было около дюжины соек, которые поселились в соседстве с людьми. Как будто они даже в присутствии людей несколько изменили свой нрав и не болтали, как всегда. Они глаз не сводили с двери и в то же время старались показать всем своим скромным поведением, что в подачках они совершенно не заинтересованы. Как только открывалась дверь, они становились очень оживленными, некоторые даже начинали и посвистывать. Но все прекращалось, как только закрывалась дверь.

Дружеские отношения между ними, однако, не удерживались при появлении еды. На них еда оказывала такое же влияние, как деньги на весьма многих людей. Если бросалась пригоршня крошек, то каждая сойка, не обращая внимания на другую, стремилась захватить себе как можно больше и улетала. Однако все-таки при этом они не теряли вовсе ума, и если случалось, что в такой момент сойка была только одна, то она обыкновенно ходила между кусками и

крошками, спокойно выбирая себе самые большие. Сойки скоро сжились с поселенцами, так что, какую бы вещь ни выбросили из хижины, они в воздухе бросались на нее, как атакующие самолеты. Некоторые же сойки на мгновение садились даже на протянутые пальцы и явно при этом наслаждались новыми, не испытанными ими переживаниями, а может быть, просто теплом рук.

Сначала все сойки людям казались совершенно одинаковыми, но вскоре люди стали их различать, открывать в каждой сойке индивидуальную внешность и свой личный характер. Можно бы назвать такое отношение к животным родственным вниманием, потому что нужно, конечно же, сознать себя до некоторой степени в единстве со всем миром, если находишь возможность открывать личность даже в таком отдаленном существе, как сойка. Они были легкими птицами, и хотя полет их и не был особенно быстр, но этот недостаток силы они возмещали проворством. Они напускали на себя самый мрачный вид, когда были сильно голодными, хотя, возможно, делали это бессознательно, и вдруг, как только появлялась еда, становились воинственно-бойкими. Одна из них хитроумную способность соек притворяться довела до того, что во время перебранок из-за лакомого куса начинала кататься по снегу со всеми признаками дурноты. Всегда это среди других птиц производило смутение, пользуясь которым она прокладывала себе путь к лучшему куску, схватывала его и в полном здравье улетала с ним. Почти всё добытое сойки упряты в укромных уголках и щелях, где находили его очень деятельные белки. А после кладовые белок, в свою очередь, ограблялись сойками.

Помимо бесстыдного попрошайничества, эти пернатые подхалимы еще и отлично мошенничали, так что будь они людьми, то принадлежали бы к категории тех очаровательных негодяев, которые вытянут у вас последнюю папиросу и дадут вам почувствовать, что делают вам одолжение.

В свое время Серая Сова десятками ловил соек в ловушки, поставленные для более крупных хищников. Взятые за ноги, они бились и теряли свою безобидную жизнь в безнадежной борьбе. Станным казалось теперь Серой Сове то, что он от любимых бобров пришел в царство животных с тем же чувством родственного внимания. Теперь это не была сойка вообще, одна и та же сойка во множестве экземпляров, как номер газеты в своем тираже. Теперь самые разнообразные существа бежали за ним, всползали по ногам, бросались к рукам и пальцам, чтобы посидеть на них в полном доверии, заглянуть ему в глаза своими глазами, в которых сияло радостное чувство бытия...

Анахарео очень гордилась всеми этими животными, окружавшими дом, они придавали месту какое-то очарование. Поселенцы от этого чувствовали, что на чужбине они приняты как друзья и сограждане пернатого и пушного народа. Конечно, такое равновесие в отношениях людей и природы стоило немало забот; семья поселенцев разрослась до больших размеров, и это была семья дикая и вечно голодная: нелегко было всех удовлетворить. В конце концов, чтобы жить с такой семейкой, пришлось выработать правила и расписания...

Несмотря на такие развлечения, часто дни были монотонными и тянулись долго. К счастью, странники леса оба были большими любителями чтения и в свое время натащили в лес множество журналов. Эти журналы более чем окупали труд по своей переноске тем развлечением, которое они доставляли: их постоянно читали и перечитывали и в одиночку и вслух.

Очень часто припадки тоски по великой, свободной, покинутой ими стране были так велики, что прямо приходилось изыскивать средства и способы для успешной борьбы с ними. Анахарео в таких случаях становилась на лыжи, бродила по лесам или же делала эскизы знакомых по

памяти мест, в чем была большим мастером. В то же время Серая Сова пописывал на блокнотах, или на полях журналов, или на оберточной бумаге. Он делал комментарии к несообразностям, какие встречались в рассказах из жизни природы, описывал достопамятные происшествия собственной жизни, излагал свои краткие впечатления от необычайных явлений или от личностей, с которыми в жизни своей встречался. Так, восстанавливая в памяти утраченное, он до некоторой степени восполнял прежнюю жизнь, вновь переживал ее и получал некоторое удовлетворение.

Иногда поселенцы тушили свет и, широко открыв дверцу печки, сидели на полу у огня, и колеблющийся свет тлеющих углей бросал огненно-красные и малиновые лучи в призрачную мрачную хижину, рисовал странные узоры на стенах. Снопы света озаряли оловянную посуду, котелки и другую утварь, начинавшую светиться, как начищенная медь в древнем замке барона, превращая висевшее на двери одеяло в редкостную драпировку. Из земляного сооружения, сделанного бобрами, доносилось их бормотанье, как заглушенные далекие голоса прошлого. Обоим добровольным изгнанникам в чужую страну тогда все казалось таинственным, они начинали говорить только шепотом; смотрели пристально, как вспыхивал жар, как он гас, ломался, рассыпался на куски в красной, пламенной пещере. Тогда являлись лица, образы показывались и уходили, как на сцене. Призрачные эти образы вызывали из глубины памяти полузабытые истории, случаи, мысли. Тогда, вспоминая каждый свое, лесные друзья, сидя в маленьком красном кругу света печи, начинали друг другу рассказывать.

Анахарео любила рассказывать о некоторых из бесчисленных подвигов Нинно-Боджо, колдуна, который бывал иногда злым, иногда добрым, по временам святым, — бес на все руки. Это был правдоподобный образ негодяя с удобными, вследствие гибкости, понятиями о чести; не то бог, воплощенный в жизнь, не то бес, живущий в фольклоре ирокезов, народа Анахарео.

Серая Сова, в свою очередь, рассказывал о нужде и голоде и о рискованных приключениях в великих темных лесах по ту сторону Высокой Страны. Иногда беседа была о войне и давних днях времен Биско. Так в хижине, около маленькой печки, всплывало многое давным-давно погребенное. Друзья до того углублялись в свои воспоминания, что действующие лица выходили на сцену огненного амфитеатра с мельчайшими подробностями. Похоже было, что их вызывали сюда, в эту избушку, из их могил, и они тут снова селились и жили и уйти совсем опять в свое темное неизвестное больше уже не могли...

Некоторые из этих рассказов Серая Сова попробовал записывать и получал от этого величайшее удовлетворение. Мало-помалу он стал возвращаться к этому занятию: исписанные лоскутки стал собирать, прятать и хранить. Скоро из них собралась целая большая кipa. Вместе с тем, он писал еще маленькие рассказы об ондатрах, белках, птицах и читал их вслух Анахарео. Глубокого впечатления на нее они не производили, хотя Серая Сова втайне на это рассчитывал. Но рассказы были забавные, — Анахарео потом с удовольствием пересказывала их бобрам. И они ее слушали и трясли затем головами и катались на спине. Вот и вся оценка, которую Серая Сова получал за свои рассказы. Но это не мешало ему продолжать свое дело, и так, занимаясь, он мало-помалу пришел к тому, что английских слов для писания ему не хватает. Этот недостаток он стал восполнять, находя такие слова в английских журналах. Занятие писательством, наконец, дошло до того, что Анахарео намекнула ему, и он понял, он начал делаться для окружающих надоедливым.

Однажды Серая Сова, не имея какого-нибудь действительно серьезного намерения, решил критически пересмотреть все написанное и попробовать, нельзя ли из него извлечь что-нибудь цельное. Он заметил, что многие из прочитанных им рассказов, несмотря на все мастерство их авторов, если хорошенько их разобрать, содержат на костях своих мало «мяса». И он решил взяться написать такой очерк, чтобы в нем была масса «мяса». С этой целью он начал спаивать

все кусочки воедино. Приблизительно через неделю из этих клочков у него вышло произведение в шесть тысяч слов длиною, очень «мясистое», в котором рассказывается о северной Канаде, с подробным описанием эпизодов из жизни большинства животных того края. Было в нем и о бобрах и о тех иждивенцах, которые сейчас тут жили во дворе и на озере.

Несколько раз перечитывал Серая Сова свое произведение, и каждый раз ему казалось, что написано хорошо. Исправив замеченные места, он, лихорадочно работая до глубокой ночи, все окончил, переписал начисто. Еще раз он теперь прочитал вслух Анахарео и, кажется, охотно прочитал бы бобрам, если бы они только дали согласие его выслушать. Анахарео прослушала все терпеливо, но отметила несколько неясных мест. Эти неясности Серая Сова легко исправил, прибавив длинные и точные объяснения. Над этими неясными местами Анахарео тоже работала, и до чего не мог додуматься один, давал другой. Так они часами ломали себе голову, боясь упустить что-нибудь. Эти дополнения и вставки увеличили первое творение Серой Совы до восьми тысяч слов, что считал он очень неплохим достижением для первого раза. Анахарео пробовала осторожно намекнуть, что очерк несколько растянут. Серая Сова, однако, резко отверг это возмутительное предположение. Он же читал подобный очерк, и там автор мог из своей темы выжать не восемь тысяч, как он, а только полторы тысячи слов!

Чем больше мог автор выжать из своей темы слов, тем, казалось Серой Сове, получалось больше «мяса». Ему тогда и в голову не приходило, что многословие находится в противоречии с этим «мясом».

"О нет, — думал Серая Сова, — исправлять тут больше нечего. История, попавшая на бумагу, делается воплощением мечты, зданием, усеянным драгоценными камнями, и без особенной причины ни один из них не должен быть сдвинут с места".

Всякое предложение теперь вычеркнуть что-нибудь для улучшения целого вызывало в нем чувство, похожее на ужас при виде убийства. Нет, конечно, никаких изменений больше не будет! Он сделал тщательную копию со своего манускрипта, запечатал его, вложив около пятидесяти фотографий, иллюстрирующих, как он надеялся, очерк. После того он сделал для отправки пакета пробег в город за сорок миль.

Он отправил пакет в Англию одному знакомому со времени великой войны в Европе, полагая, что эта страна, Англия, и есть мировой рынок для подобного рода материалов. Своему посреднику он дал инструкции в том, что права на перепечатку в периодических изданиях, переводы, воспроизведения в фильмах, напечатания в отдельных изданиях удерживаются за автором. Сделал это распоряжение Серая Сова, конечно, потому, что прочитал в своем журнале, как распоряжаются относительно своих произведений настоящие авторы. Сам он о деньгах не думал, ему хотелось только, чтобы его произведение прочло много-много людей. Впрочем, конечно, если бы дали деньги, то он бы не отказался, и это было бы хорошо. Но именно только влияние журнала толкнуло его сделать все по форме. После он немало дивился, какой это демон толкнул его связаться с журналом фешенебельным, обслуживающим аристократию.

Всякий, кто в жизни боролся за счастье быть самым собой, знает, что сила и успех этой борьбы зависят от уверенности, с которой идет искатель к своей цели. Все пораженные потом, истратив веру в себя, не в состоянии больше "собраться с духом" и снова ринуться в бой. Поступок Серой Совы может быть исключительно ярким примером. Такой простой вещи, как отказ журнала напечатать очерк, ему даже и в голову не приходило. Да, конечно, во всем этом важно было одно: что многие прочтут его писание. Но после этого-то все-таки деньги ему ведь очень же нужны. Но это выйдет само собой: раз напечатают, то, конечно, и деньги пришлют. И непременно пришлют, приблизительно через месяц чек должен быть здесь. Но если он так

уверен в этом, то почему же теперь, раз дело сделано, авансом не купить чего-нибудь хорошего к празднику: рождество не за горами. Итак, захватив с собой кое-что в лавке, Серая Сова отправился домой. Была сильная снежная метель; человек прокладывал себе лыжный путь, и сразу же за ним заметало следы.

В этом мерном ритме лыжного хода задумывается человек, и там, в этой «задумчивости», мысли порхают, как в метели снежинки. Он чувствовал, благодаря писанию, будто крылья выросли у него за спиной, а до тех пор он, бескрылый, был привязан где-то далеко от своей желанной родины. Раньше ему тяжело было давать полный ход своей мечте: эта мечта бескрылая неизменно приводила на родину, вызвала острую боль, почти что до крика. Теперь это мученье кончилось, и нет больше одиночества: на всяком месте, при всяких условиях он может из себя самого извлекать целый мир, и с пером в руке он может скитаться в стране дикой красоты, вновь переживать приключения, которые без помощи пера, по всем признакам, больше уже никогда не повторятся.

Чувство родства с природой, годами росшее в Серой Сове, достигло теперь силы сознательного действия; последние опыты с дикими животными показали ему свою силу родственного внимания к ним, силу, которой можно управлять как созидательной силой. Нет! Не только бобров, столь близких к человеку, но и всех животных нельзя считать бессмысленными существами!

"Как можно сомневаться в этом смысле, — думал Серая Сова, — раз все они так удивительно быстро отвечают на всякое малейшее проявление в отношении к ним человеческой доброты!"

Вспомнился Серой Сове один молодой олененок, который кормился на том берегу их озера. Он был всегда один, и Серая Сова догадывался, что, вероятней всего, олененок остался от одной из самок, которых ему пришлось застрелить для своего питания. Этому маленькому одинокому существу еще не было времени выучиться бояться человека, и он иногда переходил озеро и, поднимаясь вверх по дороге, проходил мимо самой хижины. Это бывало всегда приблизительно в один и тот же час через день. Поселенцы, заметив это, стали выходить из хижины и поджидать его. Олененок не обращал на это никакого внимания и проходил безмятежно. Иногда он останавливался, рассматривал людей. Скоро он стал вовсе ручным, и можно было свободно ходить около него, когда он обгрызал тополевые ветки, припасенные для бобров. Поселенцы чрезвычайно радовались этому новому другу, а его доверчивость, или, может быть, незнание, или невежество были лучшей гарантией его безопасности. После его появления Серая Сова за мясом стал уходить далеко в глубину леса, чтобы выстрелом не пугать молодого олененка. А всего только год тому назад Серая Сова, чтобы не тратить пулю, убил бы его дубинкой. А что было бы, если бы он в свое время не обирал, не оскорблял свой любимый север непрерывным убийством? Но откуда же взять средства существования для жизни? Серая Сова не был тем сентиментальным человеком, который ест мясо, а сам рук своих не хочет марать для убийства животного. Раз нельзя не есть, нельзя обойтись без еды, то почему же и не убить? Но если бы явилась такая возможность, чтобы лично можно было обойтись без этого и свои силы тратить на то, к чему больше лежит душа, то как бы это было хорошо! Не может ли вот это писательство дать возможность жить наблюдением животных, разведением их? Сколько платят за такой товар?

Сколько можно всего передумать, совершая путь в сорок миль! Снежинки кружатся, падают без конца, и пусть себе падают — об этом нечего думать, и мысль, привыкая к снежинкам, как бы освобождается от необходимости внешнего мира, она прочищается и начинает принимать какую-то форму.

Вот теперь только стало совершенно ясно, что не надо жалеть о том невольном поступке, когда

Серая Сова, будучи в долгах, сам захлопнул капканы перед тем, как им надо было убить бобров. Бобры теперь были целы, решение не убивать бобров от этого стало серьезней. Открылся путь приручения диких животных. Все эти маленькие животные — белки, сойки, ондатры, молоденький олень, — по мере того как вырастало их доверие к человеку, в то же время открывали ему путь для увлекательного изучения природы; живые они были интересней, чем мертвые. Но ведь это же несомненно: они гораздо интереснее, и самое дело охраны должно быть полезнее, чем дело разрушения, и если кто занимается этим серьезно, то, наверное, он должен и зарабатывать гораздо больше, чем просто за шкурки. Нет никакого сомнения, что основанное на этом чувстве охраны жизни писательство должно хорошо оплачиваться. А если это так и Серая Сова может жить и писать, как ему хочется, то вовсе и не нужно будет искать охотничий участок. На каждом месте тогда он может своим собственным усилием создавать страну непуганых птиц и зверей.

Серая Сова, конечно, понимал, что для перемены своей профессии охотника в желанном направлении требуется что-то большее, чем обычное физическое мужество лесного человека. Но относительно своих литературных попыток он не понимал, что в его положении даже ангел нуждался бы в спасательном круге.

Да, конечно, он фантазировал, он строил воздушные замки.

Лесная жизнь воспитывает железную волю. Серая Сова так понимал, что если человек считает себя способным на что-нибудь направить все свои силы со всей искренностью, то он добьется любой разумной цели. Он в своей жизни этому видел сотни примеров.

Но что, если он теперь ставит задачу научиться ходить по воде?

Бушевала метель, но в душе Серой Совы совершалось такое, что эта ярость стихии только бодрила его, она вызывала в нем такое чувство, будто сейчас совершается в природе какое-то торжество, вроде стихийного карнавала, и он шествует, сливаясь душой с этим диким разгулом, и чувствует, что нет ничего такого, чего бы он не мог преодолеть. Серая Сова несся на лыжах через бурю в своем собственном ритме, в бешеном вое находил такое упоение, что вот только бы петь, — и он кричал, он орал, как зверь...

После он сам, вспоминая этот решительный момент своей жизни, записал:

"Но вдумайся глубже, я понял бы, что, несмотря на все мои выкрики, хваленое искусство и опытность, я не мог бы остановить падения ни одной из этих тысяч летящих снежинок".

Серая Сова прибыл домой в самый разгар снежной бури, и было так уютно войти в маленькую хижину прямо из метели. Анахарео к мешкам от сахара, разрезанным и вымытым для занавесок, пришивала теперь яркоцветные шерстяные бордюры. На окнах такие занавески придавали всему домику уютный вид.

Бобры, как рассказала Анахарео, почувствовали отсутствие Серой Совы, и особенно Мак-Джиннис: после ухода он, казалось, что-то искал и провел много времени около двери, поглядывая на нее снизу вверх. При входе Серой Совы ни один из них не показался, но через наблюдательное отверстие их крепости виднелись носы: очевидно, бобры старались еще понять, кто бы это мог быть. И как только поняли, то сразу выскочили и запрыгали вокруг него. А Мак-Джиннис непрерывно бросался, до тех пор, пока Серая Сова не стал на колени и не угостил его специально для этого припасенными конфетами. Оба бобра с громким чавканьем принялись за угощение.

После того Серая Сова выложил свои скромные покупки, сделать которые уговорил его добрый

лавочник ввиду близости рождества. Серая Сова был всегда слишком занят охотой в лесу и никогда не мог быть уверенным, что вот сегодня такое-то число. И потому рождество он обыкновенно пропускал. А может быть, ему в душе и не особенно хотелось вспоминать праздник, когда из-за какой-то лицемерной сентиментальности нельзя бывает лишать жизни животных. Но теперь он был семейный человек, жил в стране, где рождество для всех праздник, и он решил в этот раз не отставать от людей и тоже по-своему отпраздновать.

Хорошо выстрогав несколько досок из сухого кедра, Серая Сова разрисовал их индейскими рисунками и повесил возле окон как наличники. Если смотреть отступя, казалось, будто эти наличники разукрашены бусами. Кроме того, лесные отшельники развесили в освещаемых местах украшения с племенными эмблемами. На пол положили два коврика из оленьих шкур. Наперед зная, что они сделаются игрушками бобров, их прибили гвоздями. Но и это не помогло: заведя коврики, бобры стали из них целыми пригоршнями выщипывать шерсть. Из перьев убитого орла Серая Сова сделал военный головной убор — это целое сооружение из перьев, красок и поддельных бус. Вырезав из дерева подобие лица воина, он нарисовал на нем, на случай прихода гостя, дружественные знаки и надел головной убор. С другого конца стола у этого воина был очень внушительный вид. Везде на видных местах были расставлены раскрашенные свечи, к балкам подвешены японские фонари. От всего этого и получилось так, что если заглянуть снаружи в окно, то можно было бы подумать, что хижина заселена какими-то индейскими духами, вкусы которых были наполовину дикарскими, наполовину благочестивыми.

К сочельнику все было готово: загорелись свечи, освеща с лучшей стороны украшения. На тарелках были разложены яблоки, апельсины, орехи.

Увидев все это, Анахарео решила устроить для бобров елку; взяла топор, стала на лыжи. А Серая Сова остался смотреть за куском оленины, шипевшим на печке, и за рождественским пудингом, купленным в лавке.

Легкий ветер колебал сосновые ветки, и они сначала еле слышно гудели, но ветер, наверное, усиливался, — звуки нарастали низкими волнами, поднимались до высокой дрожащей ноты и замирали. Слушая эти звуки, Серая Сова поднял окно и увидел Анахарео: она тоже слушала восторженно эти чудесные звуки сосен и говорила, что это, пожалуй, не хуже рождественских колоколов. Чудесное дерево принесла Анахарео. Его воткнули в трещину пола, к вершине прикрепили горящую свечу, на ветках привесили все так, чтобы можно было добраться бобрам: конфеты, кусочки яблок и разные вкусные вещи со стола.

Бобры довольно равнодушно смотрели на все эти приготовления, но запах дерева их привлек к себе; они вгляделись, обнаружили висевшие лакомства, начали немедленно обрывать веревочки, спускать лакомства на пол и смаковать. Сами хозяева тоже сидели за столом, тоже ели и наблюдали своих маленьких приемешей. Бобрята быстро истребили все висевшее на дереве; пришлось им подбавлять, привешивать повыше, и вот началась такая забава, что сами хозяева забыли о своей собственной еде. Маленькие существа становились на задние ноги, хватали, срывали подарки, воровали лучшие куски друг у друга, толкались в спешке с такой силой, что какой-нибудь падал и комично спешил подняться, опасаясь, что другой в это время все съест. Болтали, кричали, визжали от возбуждения. Новые и новые лакомства подвешивали добрые хозяева, показывали бобрам, говорили:

— Глядите, что еще мы нашли!

Зверюги начали уносить еду про запас, то шествуя на задних ногах с подарком в руках, то на четвереньках — с добычей в зубах. Когда же все было съедено, растащено и больше уже ничего

не добавлялось, то мудрая и бережливая Мак-Джинти опрокинула дерево и поволокла его, как бы желая упрятать подальше самый источник снабжения до будущего урожая. Но тут уже началась такая потеха, такое веселье охватило людей, что похоже было, будто в благодарность за рождество бобры стали сами по-своему для людей устраивать свое, бобровое рождество. И они как будто в самом деле были счастливы, что забавляют людей. И Анахарео счастлива была, что бобры счастливы, и Серая Сова радовался, что все были счастливы.

Наевшись до самого горла, утомленные кутилы удалились за перегородку и завалились спать с полными желудками среди собранных рождественских даров. После их ухода воцарился покой и молчание; раскрашенный воин стал особенно серьезно глядеть из-под своего оперенного головного убора. Пришлось удовлетворить его немую просьбу — выпить, и Серая Сова достал заветную бутылку красного вина. Начались тосты за этих спящих бобров, и за бобров на той стороне озера, и за величавого индейца в перьях, и за доброго француза, снабдившего таким отличным вином. Вылив последний тост за здоровье друг друга, новоселы установили, что во всем Квебеке не было никогда такого веселого рождества, и если уж не во всем Квебеке, то, во всяком случае, на этом озере.

Счастье

Какому разумному человеку придет в голову связывать свою судьбу с каким-то рассказом, написанным в лесу и отправленным в Лондон? Кто, послав такой рассказ, пойдет через какой-нибудь месяц в город получать за него деньги по чеку?

Но Серая Сова пошел, прихватив с собой для верности и свою подругу Анахарео. И надо же было так случиться когда они спросили на почте о чеке чек был тут.

В отдельном конверте любезно был прислан экземпляр журнала, в котором был напечатан очерк Серой Совы, сокращенный приблизительно до одной четверти оригинала, иллюстрированный пятью из пятидесяти присланных им фото.

Анахарео и Серая Сова, когда открыли указанную страницу в этом царственного вида журнале, вдруг увидели и узнали слова, фразы, возникшие в столь жалкой обстановке; тут было даже изображение хижины, сделанной собственными руками, бобровой плотины, самих Мак-Джинниса и Мак-Джинти...

Чудеса! Может ли быть?

Анахарео бросилась отнимать журнал у Серой Совы. Отняла и впилась: все, действительно, как у них, и все-таки странно.

— Возможно ли?

И он, в свою очередь, тоже вступает в борьбу с Анахарео, отнимает журнал.

Так несколько раз журнал переходит из рук в руки, пока, наконец, Серая Сова не уступает его в полное владение Анахарео, а сам принимается с необычайным волнением разглядывать ярко-розовый кусок бумаги, представляющий собой деньги, которыми можно уплатить почти что весь долг, взятый под пушнину в районе Тулэйди.

Но мало чека! Редактор прислал ему лично самое любезное письмо, в котором просил писать еще и еще в этом роде. Случилось — чувствовал всей душой Серая Сова — нечто для него великое и, если хотите, даже торжественное, но без всяких ненужных для истинного торжества церемоний и суеты. Во мраке он сделал свой первый шаг, но шаг был сделан верно.

"Как же так может быть? — думал он. — Ведь никакого же плана не было в этом писательстве, и если взять труд, которым добывается в лесах пушнина, то тут вовсе не было даже этого труда; было пустяковое, праздное и приятное времяпрепровождение в тяжелые часы уныния. Как же из этих пустяков могла встать для него, загореться ослепительно заря новой жизни?"

Прежде чем написать согласие на сделанное предложение, Серая Сова с легким головокружением вышел из маленькой гостиницы, купил для себя толстое желтое "вечное перо", немного чернил, много бумаги и для Анахарео новый "кодак"[\[24\]](#). Добрый лавочник, на которого лесные жители привыкли уже смотреть, как на небесного покровителя, услышав приятные новости, потрепал Серую Сову по плечу, сердечно, во французском духе, поздравил и сказал, что, конечно, он всегда был уверен в чем-то подобном. Но, по правде говоря, он мог бы с той же самой уверенностью рассчитывать, что Серая Сова будет на египетском троне.

Закон клыка и когтя

Обратное путешествие в шестьдесят километров Серая Сова и Анахарео совершили весело по лесу, сверкавшему снежным покровом, не соблюдая ради привалившего счастья суровый закон молчания на лесном пути. Шли даже и не гуськом, как всегда, а рядом и все время разговаривали и строили планы о приручении тех бобров Березового озера, которые так счастливо спаслись, когда уже были на них расставлены капканы. Для своих бобров можно тут же выстроить что-нибудь вроде бобрового домика. Они — и ондатры, и белки, и молоденький олененок — должны тоже улучшать свое положение, по мере того как оно будет улучшаться у людей. Хорошо бы вот еще найти где-нибудь лося. Хорошо бы расширить хижину, сделать пристройки, населить их рогатыми, пушными, пернатыми друзьями. Серая Сова будет о них писать, Анахарео снабжать иллюстрациями при помощи нового «кодака». Раз уже есть теперь свои ручные бобры, есть на озере бобры дикие и разные прирученные животные и самое счастливое — написан очерк и получены деньги, то почему и не могло совершиться и дальше так именно, как вот теперь хочется? Здесь ведь вовсе нет трапперов, которые могли бы вторгнуться и помешать осуществлению плана устройства Бобрового Народа. Ручные бобры и дикие смешаются, размножатся, заполнят пруд, распространятся и населят вокруг него пустые ручьи, и "Дом Мак-Джинниса", как уже и теперь зовут лесорубы лагерь Серой Совы, станет центром бобровой культуры и со временем даже станет знаменитым местом.

Так вот как расширяется душа у людей, когда им повезет, и вот так бы нам всем всеми средствами помогать такому расширению души у людей: сколько бы они в таком состоянии наделали всего хорошего!

Хотя прошло вот уже пять ночей, как лесные жители оставили свою хижину, но беспокоиться им было не о чем: морозы были самые легкие и повредить бобрам не могли. В свою очередь, и бобры ничего не могли для своих хозяев наделать дурного, ножки стола, койки, умывальника теперь были защищены запасными печными трубами, вещи были сложены на эти бронированные укрепления и на полки.

Не было никаких дурных предчувствий. Но в нескольких милях от лагеря новоселы заметили странный лыжный след, идущий прямо по их пути. Отпечатки следов, сделанных в мартовскую оттепель и теперь замерзших, было бы легко разобрать и, может быть, о чем-нибудь догадаться, но уже темнело, когда был замечен этот след, и понять что-нибудь было невозможно.

В этом пустынном жительстве люди, конечно, всегда настороже, и им, как и Робинзону, именно след человека больше всего и вселяет в душу тревогу. Стали делать всякие предположения и в то же время, конечно, помчались вперед на лыжах как можно скорей.

Первое, что пришло в голову, что это кто-нибудь из лесорубов приходил посмотреть на бобров, но это предположение сразу же отпало: след шел не с той стороны. И этот человек не расставлял широко лыжи, как делают белые, а держал лыжи одну к одной, как индейцы. Вот показалась и хижина, и в ней был свет! И когда, наконец, хозяева с таким волнением открыли дверь своего дома, перед ними с широчайшей улыбкой, с протянутыми вперед руками стоял Давид Белый Камень! Старик-алгонкинец достиг своего и добрался до своих желанных друзей.

Какое же это было чудесное свидание! Серая Сова не помнил дня в своей жизни, когда бы он был так рад человеку. Оказалось, тот знаменитый дробовик, с таким кучным боем, из которого можно было в толпе на выбор, как пулей, подстрелить любого человека, все еще был цел. Давиду посчастливилось хорошо подработать с охотничьей экскурсией на лосей. Он занимался трапперством всю зиму в Нью-Брунсуике, и, найдя там партию бобров, хорошо выручил.

Сели ужинать, и после того, как за ужином переговорили обо всем и разговор на время замер, Серая Сова и Анахарео стали звать Мак-Джинти и Мак-Джинниса, которые по какой-то причине не показывались. Какие-то неясные звуки слышались из-за перегородки; несомненно, они были тут, но почему же они все-таки не показывались?

Почему? Давид посмотрел на Анахарео и хитро подмигнул обоими глазами, как сова.

— Понимаю, — сказал он, оскалив зубы, — они там работают, но и я тоже у вас тут не бездельничал! Вот вам подарок.

И, дойдя до перегородки, вытащил одного за другим двух взрослых бобров, еще мокрых и... мертвых.

Анахарео уронила ложку, которую она вытирала, и та с легким стуком упала на пол. Серая Сова вынул трубку. Тихий треск спички показался взрывом, — такая вдруг в комнате наступила тишина.

Потом Анахарео подняла ложку и приступила к тарелкам. За промежуток времени, показавшийся таким длинным, Серая Сова вспомнил, что человек этот ведь был же другом.

— Спасибо, Дэйв, — ответил он.

И хотел еще что-то сказать, но вдруг пересохло в горле. А когда оправился, то спросил:

— А где же остальные?

— Там стоят еще капканы, — ответил Давид.

Серая Сова зажег фонарь и сказал:

— Пойдем же, друг, посмотрим на них.

Давид, конечно, что-то почуял неладное и, когда вышли, спросил:

— В чем дело, Арчи? Кажется, я сделал что-то нехорошо... Скажи мне, в чем дело?

— Почему? — ответил Серая Сова. — Успокойся, пожалуйста, вовсе же нет ничего такого.

И поднял фонарь, чтобы видеть его лицо и в то же время скрыть свое лицо от него.

— Нам всю зиму, — сказал он спокойно, — как-то не везло ну вот и все, а так решительно нет

ничего. Не беспокойся, пожалуйста.

Около бобровой хатки они вытащили пять капканов оба бобренка поймались Давид был один из самых лучших охотников.

— Ну, теперь мы их всех выловили, — сказал он нерешительно.

И затем прибавил:

— Это все, что здесь было.

— Да, — согласился Серая Сова, — это все, что здесь было.

И посмотрел вниз, на двух маленьких бобрят, безжизненно лежавших на льду, под звездами. Возле них был домик, теперь пустой и холодный. Но делать было нечего, старый закон клыка и когтя, очевидно, был сильнее всего, а все, что строилось мечтой, рассыпалось в прах.

Последний крик

На другой день в глубокой печали Серая Сова снял шкуры с бобров и отдал их Давиду. Останки же — четыре туши — отнес он к озеру и засунул под лед возле хатки. Быть может, он тут про себя, по старой привычке, прошептал и одну языческую молитву.

Начало таять, и когда Давид предложил всем вместе отправиться разбить лагерь на озерах Тулэйди, то с этим все согласились: переселяться. Теперь не было никакого смысла оставаться здесь: таких друзей, как сойки, ондатры, молодой олененок и белки, можно было найти везде. И они как жили без человека, так и будут продолжать свою жизнь без всякого для себя ущерба. Итак, старик сделал салазки, и однажды на рассвете в них погружено было все имущество, бочонок с бобрами и знаменитая печка.

Все было готово Анахарео спустилась на берег к домику из грязи, покормила там ондатру в последний раз. В это время на руки к Серой Сове садились сойки, по ногам взбегали белки и брали от него его последние дары. Потом попрощались с воином в перьях, с домиком Мак-Джинниса, с задумчивыми соснами, его окружающими, поглядели тоже в сторону того, другого, теперь пустого домика.

Давид теперь ясно разглядел печаль на лицах своих друзей и даже высказал во время пути, что он догадывается случилось что-то неладное. Потом он замолк и больше никогда не заводил об этом речь. Только сделал для чего-то пометку на кедре, нарисовал знак Утки, своего животного-покровителя, в зарубку сунул кусочек прессованного жевательного табаку и произнес слова, другим непонятные.

Бочонок с бобрами находился на самом верху воза, и когда проходили берегом незамерзшего ручья, то Мак-Джиннис не упустил случая и совершил полет сверху из бочонка в ручей. Поиски бобренка несколько рассеяли печаль путешественников, и отряд двинулся с холма на холм по тяжелой дороге, в голубую даль Тулэйди.

Это был очень утомительный путь, и отряд четыре дня еле тащился. Двигались больше ночью, когда подмерзало, и наст держал лыжи. Несколько раз тобогган с бочонком наверху опрокидывался и пассажиры вываливались в снег. Не очень-то им нравились такие сотрясения, — они спешили опять залезть в бочонок и ссорились за первенство, когда залезали. Двигаться так двигаться! Если же почему-нибудь происходила остановка, то крышка с окошка немедленно сбрасывалась, и две коричневые мордочки с маленькими черными

глазками недовольно выглядывали. Если их немая просьба не достигала цели и сани не приходили в движение, то они беспокоились и начинали жаловаться. Серая Сова был сам точно такой — двигаться так двигаться! — и потому бобров хорошо понимал. Но у Давида была другая точка зрения: ему казалось, что бесплатные пассажиры на казенных харчах могли бы немного и потерпеть и помолчать. Все эти неприятности, однако, совсем прекратились, когда путешественники добрались до дороги, — тут их подобрали повозки «Компании». В этой стране редкая подвода проходит мимо путника, не предлагая ему присесть. Но мало того! Один служащий «Компании», узнав о том, что охотники предполагают жить в палатках, предложил им маленькую уютную хижину на берегу Тулэйд. Этот лагерь, известный под кличкой «Половинка» (половина пути), и был отдан охотникам до тех самых пор, когда им вздумается двинуться дальше.

Бобрам тут дали полную волю, и они по ночам принялись изучать местные воды, а днем спали в лагере, который находился теперь всего лишь в пяти милях от Кобано. Жить тут стало куда веселей, потому что тут было много посетителей, и было бы даже и совсем хорошо, если бы не эта трагедия на Березовом озере. Спустя некоторое время, однако, энергия опять вернулась к Серой Сове, и с новой силой охватила его мысль об охране Бобрового Народа. Он даже написал второй очерк, но только сомневался в его пригодности для журнала: ему казалось, что его новое "вечное перо" писало несколько меланхолично.

Тем временем пришлось усилить охрану бобров, потому что этот район был заселен и довольно густо, и много тут было всяких бродяг, сплавщиков. Все они во время посещений были приятным обществом, но Давид, свободно говоривший и по-французски, однажды подслушал обрывки разговора о бобрах такого характера, что охрану пришлось еще больше усилить. Все трое по очереди ходили дозором по окрестности, не спуская со слуха бобров. Обязанности следить, однако, не были трудны: бобры всегда где-нибудь шумели. Они были заняты сейчас тем, что строили себе маленький забавный бобровый домик недалеко от лагеря, там, где берег очистился от снега и открылась вода. Они подгрызали и валили маленькие тополя, ивы, их крики, драки, споры были далеко слышны в любое время. Перед самым рассветом они царапались в дверь, просились домой, потом лезли в постели хозяев и спали. Около полудня они просыпались и, не ожидая еды, спешили по своим великим строительным делам.

Вскоре сюда приехал один старик, уже много лет ловящий ондатр на этих озерах: охота по праву тут ему принадлежала, и от него зависела. Его появление было угрозой для жизни бобров, и, нечего делать, пришлось поскорей утекать. Давид отправился в Кобано и, как знающий французский язык, хотел поискать там себе работу. А Серая Сова и Анахарео собрали бобров, посадили их в бочонок и, погрузив все в попутную повозку, перевезли на одно маленькое озеро возле дороги, еще ближе к городу. Под большими вязами здесь разбили лагерь, бобры же забавлялись в старой бобровой хатке и на плотине в конце маленького пруда. Для них, не говоря уже о старых стройках, здесь было много воды и еды, здесь они могли бы жить в очень хороших условиях, пока Серая Сова не выберет постоянное место для бобровой колонии.

Окончив работу по разбивке лагеря, Серая Сова и Анахарео пошли к озеру и позвали бобров. Услышав знакомый призывный сигнал, они бросились наперегонки и в величайшем возбуждении стали ластиться, прыгать, бормотать. Не оставалось никакого сомнения в том, что им хотелось каким-нибудь образом передать друзьям свое огромное удовольствие от находки бобрового «замка». Поев немного наспех конфет, они опять бросились туда, к своей новой собственности, бесконечно счастливые. Ведь уже почти год прошел, как они попали совсем маленькими существами под надзор людей. И теперь как было не оценить, что они, совсем взрослые и будучи на полной свободе, будучи возбуждены своей интересной деятельностью в новом месте, все-таки не забывали людей и при первом призыве спешили к

ним, только чтобы выразить свое удовольствие старым друзьям.

Однажды вечером они пришли в лагерь, почесались, долго и громко о чем-то поговорили, потом вышли, побродили вокруг палатки, как в старину: ведь эта палатка была их домом полжизни. Они обнюхивали печку, участницу стольких приключений, Мак-Джиннис обжег себе нос, Мак-Джинти, вытаскивая лепешки, опрокинула ящик для пищи. Лепешек они съели изрядное количество и вообще чувствовали себя совершенно как дома и превосходно. Особенно нежно они потом приласкались к своим хозяевам и напомнили им даже те далекие теперь уже дни на Березовом озере, и людям было приятно вспоминать о тех вечерах в старой палатке с горящей печкой и сидящими в ее свете маленькими друзьями.

Бобры даже поспали немного в палатке и вообще ни малейшего повода не дали думать о какой-нибудь перемене в их отношениях к людям. Отдохнув, они направились к своему озеру.

Люди, как всегда, проводили их до берега и в душе желали, чтобы они опять стали маленькими.

Серая Сова и Анахарео стояли на берегу и смотрели на следы на воде от двух бобров, плывущих по озеру к своему домику. Два следа расходились углами и мало-помалу скрывались в сумраке. И при свете звезд все были видны серебряные волны, поднятые бобрами, — как они катились к берегу и тут терялись. В ответ на зов людей последовал ответ на долгой звенящей ноте, потом был ответ на другой ноте. И оба голоса слились, смешались, как в хоре, и эхом отражались от холмов — тише, тише и вовсе замерли.

И этот долгий плачущий крик из мрака был последним криком, который слышали от них Серая Сова и Анахарео.

Сознание полной утраты любимых животных пришло, конечно, не сразу. В следующий вечер зеркальная поверхность пруда не покрылась рябью и на зов не последовал обычный пылкий ответ. Прошла вторая ночь, и третья, и еще четвертая, — с воды больше не доносился шум, веселая болтовня и знакомые коричневые тельца не скакали вверх из воды. Дождь смыл их следы, конфеты их лежали нетронутыми. В лагере «Половинка» их маленькие постройки разрушались, недоконченный домик был затоплен и скоро вовсе снесен. От них ничего, совсем ничего не останется.

Вслед за весенним разливом они непременно должны идти к устью ручья или, может быть, вернуться домой.

Прошли по ручью вверх до истока, проваливаясь в подрытом течением снегу, прошли таким же образом и вниз до устья, ковыляли по талому снегу на поломанных лыжах и все звали... Обегали весь окружающий район, обследовали шаг за шагом все берега Тулэйди, проверили каждый ручей. Действовали, пока не исчерпались все возможности. Прислушивались к каждому выстрелу, выслеживали, проверяли следы всех людей во всех направлениях. Все могло быть! Нашли убитого оленя, шкуру с которого потревоженные браконьеры не успели снять. Несмотря на время года, всюду были расставлены ловушки. Нет! Едва ли бобры могли добраться до устья. Как все прирученные животные, они не могли утратить свое доверие к человеку, и оттого этих любвеобильных зверушек каждый легко мог убить просто дубинкой.

Все кругом холодно говорили: одни, что бобры, конечно, убиты; другие, что они непременно живы и их надо искать. Ну и, конечно, искали с надеждой, искали и без надежды...

И, наконец, вблизи все было обыскано, оставалось только расширить район при помощи каноэ. Но каноэ находилось отсюда в сорока милях. Что же делать? Искать так искать! Пошли, и

оттуда три дня плыли на каноэ обратно. Видели по пути место старого лагеря; там, на берегу реки, еще стояли шесты от палатки и рядом уцелел загон для бобров. Молча прошли мимо того места, где тогда бобры чуть-чуть не утонули вместе с печкой. Ночевали на берегу Темискааты. И на следующий день возобновили свои поиски. И еще много дней ходили по окрестностям, почти не ели, спали беспокойно, бодрствовали в печали. Часто, когда доходил какой-нибудь слух, совершали длинное путешествие только для осмотра какой-нибудь шкуры: у Мак-Джинниса был обожженный нос и седые волосы; Мак-Джинти была черна, как смоль. И каждый раз радовались только тому, что шкуры были не от их бобров. Расспрашивали всяких странников, некоторых выслеживали, одного или двух даже и обыскивали. Мрачными и молчаливыми стали поиски. Ходили всегда вооруженные и нажили себе много врагов. Оживали, когда попадали хоть на какой-нибудь лыжный след, но скоро, проверив, опять приходили в уныние. В утомлении, в полуснах являлись полувидения, полупредчувствия, и это нереальное часто толкало к новым поискам. При таком исследовании мало что укрылось, — нашлись даже бобры, о существовании которых никто не подозревал.

Анахарео похудела, побледнела, у нее впали щеки, глаза приобрели напряженное выражение, как от голода. Однажды она сказала:

— Хотела бы я знать теперь, в чем же мы виноваты?

В другой раз:

— Пусть бы с нами случилось все что угодно, только не это.

И еще:

— Мы думали, что они будут всегда у нас.

И далее:

— Они любили нас.

Серая Сова и Анахарео все надеялись долго и после того, как потерялась всякая надежда. По ночам сидели во мраке около несчастного лагеря под вязами, ожидая, наблюдая, прислушиваясь, — не донесется ли столь памятный крик приветствия или топанье неуклюжих, с тредом идущих ног. И все ждали и ждали существ, которых нет, которые не могут прийти. И ничего не было видно, кроме кольца обступающих деревьев, и ничего не было слышно, кроме журчания ручья. Мало-помалу деревья оделись, даже на старом бобровом доме выросла трава. Пруд высох и превратился в болото, и остался только ручей, медленно бегущий по его дну.

И, наконец, все кончилось, иссякли все родники надежды. Ничего не осталось от бобров, кроме пустого бочонка на берегу озера, и он тоже мало-помалу рассыпался на части и превратился в грудку досок и ржавых обручей.

Часть II. Королева бобров

Золотые россыпи

Для французского населения, среди которого у всех на глазах разыгралась драма с бобрами, было вовсе непонятно отношение индейцев к природе, их самоотверженная любовь к двум маленьким животным. Они смотрели на индейцев как на диво, как на остатки язычества. И Серая Сова, которому не раз приходилось выслушивать замечания в этом роде, соглашался возможно, что да, что все его благоговение к дикой природе является остатком язычества. Но

что же из этого? Чем плохо такое чувство, если оно, развиваясь все сильнее и сильнее, приводит человека к необходимости деятельности, гораздо более благотворной, чем та, которой он занимался раньше. Вот исчезли те два маленьких существа, и он теперь хочет возместить потерю, чтобы они жили в сердцах множества людей и образы двух милых существ побуждали бы всех, кто может, охранять Бобровый Народ.

Старая шрапнельная рана, оставленная без призора за этот тяжелый месяц поисков маленьких друзей, открылась и вывела Серую Сову из строя Давид Белый Камень, узнав о трудном положении своих друзей, бросил свою новую службу, пришел помогать. Ему что-то пришло в голову, и он с какою-то мыслью сидит и глядит теперь на остатки бочонка на берегу озера. Он покачал головой и улыбнулся Анахарео такой улыбкой, какой у него почти никогда не бывало.

— Знаешь, — говорит он, — я тоже вроде как бы захотел видеть бобров возле себя.

Оказалось, что где-то, за двадцать пять миль отсюда, среди холмов Сахарная Голова, есть бобры он это узнал и хочет идти туда за ними, чтобы опять тут, возле людей, жили бобры. Услыхав это, Анахарео тоже хочет идти помогать Давиду. Они скоро собираются и уходят Бобры действительно нашлись возле Сахарной Головы, в хатке их было четыре, но старик взял только пару из-за того, что бобровой матери было бы тяжело перенести плен, она бы погибла.

Анахарео всю дорогу несла их на спине в мешке, и они прибыли расстроенные, полуголодные — два комочка, которые можно бы спрятать в полулитровой банке, и весом каждый не больше ста граммов. Они были очень хрупкие, жизнь еле-еле теплилась в их крошечных тельцах.

Давид остался еще на две недели, чтобы помочь поставить бобрят на ноги. Но как ни старались, маленький самец, названный Сахарной Головой, не выдержал и погиб. Самочка была тоже близка к этому не ела ни хлеба, ни сгущенного молока и лежала, положив голову на угол ящика. Хотя для населения, как сказано выше, непонятна была привязанность индейцев к животным и вообще их отношение к природе, но населению это все нравилось, оно сочувствовало и старалось помочь индейцам всеми средствами. Со всех сторон в отношении больного маленького бобренка столько давалось советов, что будь он человеком, то никак не мог бы получить большего внимания. Одна женщина предложила снабжать молоком, два врача, — а их и было в городе всего два, — пришли на помощь. По их совету, стали коровье молоко очень сильно разводить, чтобы приблизить состав его к бобровому. Ухаживала за бобренком одна пожилая ирландка. Каждые два часа происходило кормление при помощи стеклянной спринцовки.

Двое почтенных супругов решили довести это дело до конца один из них держал бобра, другой выдавливал молоко. После третьего или четвертого впрыскивания бобенок стал крепнуть. А через два дня был здоров совершенно и стал проявлять признаки той смелости и независимости, благодаря которым сделался потом одним из самых известных диких животных Северной Америки.

Да, пожалуй, это несколько мрачное начало можно считать первым выступлением в обществе ныне знаменитой Джелли Ролл, звезды экрана, любимицы общества номер первый, королевы Бобровой Колонии.

Да, Джелли Ролл — ведь это персона, о которой говорили даже на заседании правительства Оттавы!

После выздоровления Джелли Ролл лагерь был перенесен на Большую Темискауту, к устью того самого ручья, по которому в последний раз уплыли Мак-Джиннис и Мак-Джинти.

Надежда на их возвращение до конца все-таки еще не покидала индейцев, и им казалось, что если они когда-нибудь вернутся, то скорее всего сюда. Тут, в тихой заводи возле ручья, Джелли Ролл забавлялась, рыла на отмелях пещерки, сооружала забавные постройки из палок или же просто носилась галопом вверх и вниз по дорожке к палатке. Она быстро росла и, как только значительно окрепла, начала таскать журналы, овощи, дрова и все, что только могло привлечь ее капризное внимание. Из всех ее поступков мало-помалу стала обрисовываться крупная индивидуальность, подготовленная к встрече со всевозможными превратностями жизни. В палатке жить она вовсе не захотела, а предпочитала одно из четырех или пяти выстроенных ею самую жилищ там внизу, на прудке.

Если не считать привязанности к человеку, которая у нее проявлялась стихийно, бурными припадками, то она ни в чем не была похожа на своих предшественников. Она рано потеряла своего товарища, и оттого эта утрата прошла для нее незаметно. Для Мак-Джинниса и Мак-Джинти характерна была их зависимость от людей Джелли Ролл, напротив, считала людей и их имущество своей собственной, естественной средой.

Преданность индейцев животным, их великое чувство природы, видимо, производили все более и более сильное впечатление на жителей города, симпатии их к лесным жителям возрастали, и, наконец, несмотря на разницу в религии, языке, цвете кожи, их дружески признали гражданами города. По праздникам целые партии народа приплывали к «индейскому» берегу, устраивались пикники в тени березовой рощи Джелли всегда внимательно осматривала каждого члена этих компаний — прием знакомства, сохраненный ею и до сих пор. Изучив гостей, она никогда не выражала кому-нибудь из них особенного предпочтения, с таким презрительным видом она убегала после осмотра, что все покатывались со смеху, а кто-нибудь, может, и чувствовал облегчение. Среди этих гостей иногда бывали и очень почтенные люди, так, был один языковед, проникательный знаток человеческой природы, — тот прямо заинтересовался жизнью Серой Совы, изучал ее с большим вниманием и чрезвычайно благожелательно.

Первое время Серая Сова и Анахарео несколько стеснялись гостей, но их тактичное и внимательное отношение скоро победило все неловкости. Никто, кроме французов, не мог ладить с индейцами начиная с первых французских поселенцев, это повелось и сохранилось до сих пор. Только у французов краснокожий не чувствовал себя существом, которое должно быть стерто с лица земли. И до сих пор врожденная вежливость, инстинктивное уважение к чувствам других сохранялись в самой атмосфере этого городка Кобано. Мальчики вежливо снимали шапки перед людьми, одетыми в оленьи куртки. Маленькие девочки, застенчиво краснея, кланялись женщине побежденной расы. Женщины улыбались и приветствовали, мужчины останавливались и дружески разговаривали. Приходилось во время нечастых посещений города индейцам возвращаться и с какой-нибудь ношей, — в таких случаях люди сходили с тротуара и уступали дорогу. И это ни в каком случае не было тем фальшивым, напускным лоском вежливости, имеющей в конце концов корыстное происхождение. Случались, например, в городе пожары, тогда тушить пожар, помогать пострадавшим бросались все. Если же кто-нибудь из граждан умирал, то на время движения погребальной процессии останавливалось всякое движение в городе, лавочники выходили на улицу с обнаженными головами в знак уважения; жизненная репутация умершего теперь не имела никакого значения: раз умер — о том молчи или говори только хорошее.

В этой тихой заводи бурного потока человеческой жизни проходила угрюмость, сглаживалась угловатость в характере. И наши индейцы тоже мирились с белыми и забывали себя как представителей истребляемой расы. Давид Белый Камень до того часто стал отлынивать от своей работы, чтобы в чем-нибудь помогать своим друзьям, что место свое потерял и другого найти так и не мог. С большой радостью Серая Сова и Анахарео приняли его в свою семью и

стали всем делиться с ним поровну.

Пришел гонорар и за второй очерк. Все было уплачено по счетам и пополнены запасы в палатке. Серая Сова снабжал хозяйство бакалеей. Давид добывал в соседних лесах и озерах мясо и рыбу. Так сложилась эта маленькая община, самостоятельная, независимая. Можно бы так долго и жить, ни о чем не горюя, если бы не постоянная тоска о севере, не эти вечные разговоры с воспоминаниями о прошлом, с планами на возможное будущее.

Некоторое состояние равновесия в отношении средств существования не могло удовлетворить надолго индейцев. Здесь осуществить свой проект Бобровой Колонии Серая Сова не видел никакой возможности. Давид, в свою очередь, очень волновался о своих золотых россыпях. Мало-помалу эта мечта о золотых россыпях овладела всеми одинаково: старику Давиду нужно было золото, чтобы удалиться на покой; Анахарео влекла наследственная страсть к золотоискательству; Серой Сове нужны были средства, чтобы создать свой заповедник. Путешествие на золотые прииски было хорошо обдумано, не хватало только средств. Между тем был уже июль, нужно было теперь же, не дожидаясь осени, позаботиться о зимних запасах и всех предстоящих расходах на трех человек, на это трудное плавание за двести миль, со многими волоками, в перегруженном каноэ. Золотоносный участок принадлежал Давиду. Чтобы самому не войти в это общество золотоискателей с пустыми руками, Серая Сова решил заработать денег и стал для этого особенно внимательно наблюдать жизнь Джелли. Вскоре он написал рассказы и длинный очерк о дикой природе с его новой точки зрения. Эти свои произведения Серая Сова прочитал кое-кому, понимающим по-английски, и, по их словам, они получили большое удовольствие.

Один из этих слушателей Серой Совы, кто-то вроде публичного лектора, сказал, что выслушанное им годится как хороший материал для лекций. Но Серая Сова для этого недостаточно знал по-французски. Ближайший поселок, где все говорят по-английски, был дачный поселок на южном берегу реки св. Лаврентия, известной под именем Метис-Бичо. Это было несколько далековато, но Серая Сова захотел попытать счастья: ему очень хотелось поделиться своим опытом с другими людьми. Итак, недолго раздумывая, Серая Сова передал свое хозяйство Давиду, а сам вместе с Анахарео, пожелавшей его сопровождать, упаковали Джелли Ролл, провиант, лагерное снаряжение и сели на поезд, идущий в Метис-Бичо.

Индейцы прибыли на место, по обыкновению своему, с пустым карманом; всего наличными было один доллар и шестьдесят девять центов. Между тем для выступления с лекциями, оказалось, нужны были кое-какие расходы: например, на объявления, на оплату устроителя и т. д. Но еще раньше денежных затруднений встретилось такое неожиданное препятствие, как необходимость в разрешении стать лагерем. К счастью, нашелся один француз, который разрешил раскинуть лагерь на своей собственной земле, и это затруднение кончилось. Но тут же возникло новое, обидное и невозможное: оказалось, что для лекции необходимо заняться саморекламой! Услыхав об этом, Серая Сова и Анахарео съежились, как два червя, попавших в тарелку с солью. Читать лекции — это одно, а заниматься такой пошлостью, как самореклама, — это совсем другое. Так создалось опять трудное положение. Джелли, привыкшая к большой воде, приходила в своем ящике в бешенство и непрерывно кричала.

Прошло две недели в таком раздражении, что тошно было и думать о лекции. От обидной неудачи в своей попытке объясниться с людьми Серая Сова и Анахарео захирели и затворились в своей палатке на берегу столь недружественного Атлантического океана. Джелли исхудала от жажды плавать в воде, но пустить молодого бобра в соленую морскую воду было опасно. Давид писал, выражая надежду на хорошие дела. А дела были такие, что все запасы приходили к концу. Мелькала уже мысль дать телеграмму доброму лавочнику в Кобано — выслать деньги, как он обещал, на случай неудачи, на обратный билет. Но Серая Сова преодолел это

малодушие, удалился в лес — остаток лесной страны — и там написал лекцию величиной приблизительно в пять тысяч слов.

Между тем слух о намерениях прибывших индейцев разнесся по всему дачному поселку, и один из первых здешних поселенцев, владевший почти всею землей, наконец-то отвел площадь для лагеря, на которой находился маленький пруд. Здесь Джелли Ролл опять зажила припеваючи. В это время одна дама, видное лицо в поселке, заинтересовалась планами Серой Совы, прочитала его лекцию и очень одобрила его мысли и чувства. Она твердо решила пустить интересную затею в ход и сама сделалась секретарем, устройтелем и казначеем всего этого предприятия. Ее молодые сыновья и друзья продавали билеты. Сама же она, — как оказалось, большая мастерица в этих делах, — нарисовала много плакатов. Назначен был день чтения, место определено было в танцевальном зале. Кроме того, добрая дама дала Серой Сове несколько ценных советов в ораторском искусстве.

Пришел назначенный вечер. Серая Сова и Анахарео скромно прошмыгнули в здание через черный ход. Ожидая вызова, они сидели в задней комнате в большой тревоге за Джелли: не опрокинула бы она в лагере молоко, не переехал бы ее один из автомобилей, которыми кишела эта страна. Представляя себе это свое чтение, Серая Сова, казалось ему, охотно бы поменялся своим положением с положением Джелли под колесом автомобиля. Наконец лектора вызвали, и это шествие в комнату экзекуции Серая Сова считал одним из самых храбрейших поступков своей жизни Анахарео шла за ним как моральная поддержка, хотя, в сущности, это было похоже на то, как если бы слепой вел слепого.

Когда же Серая Сова очутился лицом к лицу с тесной массой нескольких сот устремленных на него лиц, он почувствовал себя, по собственному его выражению, как змея, проглотившая ледяную сосульку и пронзенная холодом от головы до хвоста.

Спасение, однако, было тут же, рядом. Леди-покровительница выступила вперед и произнесла короткое, но хорошо составленное вступительное слово. Собрание ей аплодировало. Наступило молчание. Пришел час броситься в бой.

И вот что пишет об этом решительном шаге своей жизни сам Серая Сова:

"Я остановил свой взгляд на добром лице в первом ряду и неожиданно обнаружил, что говорю. Я слышал шепот. Люди смотрели друг на друга, кивали головой, казались заинтересованными. Тогда я почувствовал уверенность, увлекся темой и развил ее до конца. На мгновение была пауза, и затем аплодисменты, громкие, настойчивые, долгие. У меня закружилась голова: такой шум — и для нас! Поднялся полковник со словами высокой оценки, и он — я с трудом мог верить своим ушам — сказал, что это была не лекция, а поэма. Новые аплодисменты. Затем весь этот народ столпился вокруг нас, пожимал руки, поздравляя".

Последовали другие лекции. Серую Сову приглашали говорить в других залах, в отелях. Всегда рядом с ним на лекциях стояла Анахарео. Тяжело ей было выносить свою долю участия: какие мужественные усилия нужно было иметь, чтобы, преодолевая мучения застенчивости, самой держаться спокойно и свободно! Некоторые родители приводили своих детей, прося поучить их мудрости индейцев, живущих в лесах. Серая Сова не отказывал наивным родителям в их просьбе, и, наверное, из его рассказов и советов детям не все упало на каменистую почву. Анахарео с ее женским тактом в отношении детей имела, конечно, большой успех. Она догадалась рассказать истории ее Ирокезского народа, о привлекательном, но в каком-то отношении и жестоком Нинно-Боджо. Что же касается Серой Совы, то он совсем упустил из виду, что дети в известном возрасте питают склонность к рассказам кровожадного содержания. Он слишком много останавливался на чувстве родственного внимания человека к

слабейшим существам, населяющим лес. Нет никакого сомнения в том, что особенно восприимчивые дети хорошо поняли Серую Сову, но однажды он был вовсе огорошен, когда в ответ на предложение задавать любые вопросы поднялся рослый парень лет тринадцати и спросил:

— Убили вы кого-нибудь?

— Нет! — признался Серая Сова несколько робко. Он так сказал это «нет», как будто извинялся в таком маленьком своем упущении.

— Снимали ли вы когда-нибудь скальп? — продолжал этот эмбрион прокурора.

— Нет! — опять повторил Серая Сова.

Эмбрион бросил долгий презрительный взгляд и сказал:

— Ну, так вы просто дурак!

На таких беседах всегда присутствовала Джелли и звуками своего неодобрения скучным лекциям много вносила оживления.

Хорошо ли, худо ли, но деньги за лекции поступали, и в банке был открыт текущий счет. Лагерь индейцев был всегда окружен толпою детей, и Джелли сделалась самой популярной личностью в Метис-Бичо.

По возвращении домой Серая Сова и Анахарео были радостно встречены Давидом, который долго не мог опомниться от изумления и поверить вполне в правду походов Серой Совы. Но он должен был поверить текущему счету в банке и двум билетам до Абитиби, которыми их снабдил один добряк. Да не то что Давид, но и сами они, Серая Сова и Анахарео, неясно сознавали еще, что ведь теперь же они были свободны, они могли осуществить свои заветные планы, могли вернуться на свой суровый вольный север с его романтикой, с его дикой свободой, с его золотом. И они могут же, наконец, оставить эту печальную, изуродованную страну с ее замученными, опустошенными лесами и воспоминаниями печальными, бедственными.

Времени оставалось мало, а ехать было далеко. Потому на следующий день уже лагерь был свернут, и золотоискатели направились к станции Каноз со всеми пожитками было погружено в багажный вагон, а Джелли, в особом ящике с вентиляцией, — в пассажирский.

Сидя на станции в ожидании поезда, Серая Сова смотрел на Темискауту, на темную Слоновую гору, стоявшую так тихо и спокойно на страже у входа в Тулэйди. Каждый знал, о чем думал другой, и эта дума действительно была одна и та же: они думали, что два любимых существа, возможно, и живут где-то там, сзади этих гранитных скал, увенчанных соснами. С этими существами у них было связано все самое душевное. Через них в Анахарео пробудилась женщина со всей ее нежностью, через них Серая Сова открыл себе путь такой широкой свободы, о которой и не мечтал. И сейчас Серая Сова хотел бы лучше там, за этими скалами, сидеть, писать, искать потерянных друзей, ждать их возвращения, чем искать золото: он никогда не любил это дело. Напротив, Анахарео, как дочь золотоискателя, стремилась душою заняться этим, но вспомнила, глядя на скалы, что, возможно, милые звери живут себе где-то там, и она теперь ради золота изменяет своему долгу найти их, дожидаться...

Нужно и еще кое-что вспомнить, более ясно представить себе жизнь этих лесных людей и сравнить ее с жизнью людей так называемых вполне современных, чтобы понять дальнейшее.

— Я ухожу, — сказала Анахарео сдавленным голосом.

Серая Сова сразу понял ее. Он взял свои тщательно упакованные для путешествия ружья.

— Ты права, — согласился он. — Один из нас должен здесь остаться, и я остаюсь.

Сразу стало легче.

Серая Сова никогда не менял своих решений, и это решение было ясное: какой же он золотоискатель! И вот Джелли ведь тоже не любит езду в поезде, она даже умереть может от этой езды.

Так Серая Сова и Джелли вышли из поезда. Осталось взять из багажа одну палатку, немного провианта, свои личные вещи, потихоньку сказать своему старому любимому каноэ "Прощай!"

Да, конечно, Серая Сова хорошо знал, как его дорогим людям хочется ехать. Давид вышел из поезда на станцию. Его лицо было решительно и серьезно, в глазах волнение индейцы никогда не разлучаются случайно.

— Заботься о ней, старина! — сказал Серая Сова.

Давид уже шестьдесят семь лет в пути Серая Сова знал, в каких она будет руках, — быть может, лучше, чем в его собственных.

— Да, буду, — просто ответил Давид.

— Все садись! — раздавалась команда.

Давид крепко сжал, моргая сразу обоими глазами, руку Серой Совы и, догоняя убегающие ступеньки вагона, закричал:

— Мы вернемся с мешком золота, вот погоди только, и какую же мы тогда устроим попойку!

И потом, уезжая, издали закричал, как в старину кричали индейцы.

— Хей-ей-ей-иа!

Поезд быстро набирал скорость, и Серая Сова напряженно следил глазами за двумя коричневыми лицами, черными, развевающимися на ветру волосами и махавшими руками. Они делались все меньше, пока поезд не повернул и все не закрылось. Тогда Серая Сова погрузил свой багаж в фургон, крепко обхватил одной рукой Джелли и пошел по пустым и грязным улицам к парому, назад на Тулэйди.

Зима вдвоем с королевой

Оказалось, не так легко приспособиться жить в полном одиночестве. Уехала Анахарео, доблестная, верная, пережившая вместе такие испытания. А этот Давид с его взволнованными глазами, при прощании потерявший самообладание, может быть, единственный раз в жизни! И его теперь больше нет! Серая Сова в тоске своей чувствовал свою душу, обнаженную, пустую, измученную, голодную, потерянную.

Привязанность индейца к своим вещам бывает не менее сильная, чем к людям. Теперь он впервые за двадцать пять лет, исключая время военной службы, оставался без каноэ и чувствовал себя точно так же, как всадник, оказавшийся в пустыне внезапно без лошади. Это

каное было его верным спутником во многих утомительных путешествиях и было ему теперь совсем как живое существо. Правда, он был горд, что мог подарить его Давиду, а тот был горд тем, что этот дар принимал. Но все-таки, потрогав в последний раз то стертое место на борту каное, где так долго работало весло, Серая Сова испытал волнение капитана, когда на его глазах его возлюбленное судно погружается в волны. Одно только и утешало, что каное будет в достойных руках и послужит достойной цели. Благополучие Анахарео было в тех же руках, и ей, исполненной честолюбивых надежд в поисках счастья, не ведающей, с чем придется встретиться в суровой действительности, нужна была такая рука. Они ехали к Лабрадору, холод и бури сурового климата могли бы устроить кого угодно, только не такую дочь своего народа, как Анахарео. С этой стороны Серая Сова за нее не боялся.

Но сам он был так одинок в первый раз в своей жизни. Ему оставался теперь только единственный забавный и веселый товарищ — маленький бобренок Джелли, которая если и чувствовала когда-нибудь свое одиночество, то во всяком случае этого никогда не показывала. Она уже перестала быть детенышем и развилась в прекрасный экземпляр своей породы. Она всегда была веселая, оживленная, у нее была прекрасная пушистая темноблестящая шуба, которую, бывало, Анахарео каждый день расчесывала с такой гордостью.

Как бы там ни было на душе, к зиме надо было сейчас же готовиться. По указаниям местных людей, Серая Сова в пяти милях за Слоновой горой на берегу маленького озера, нашел лагерь, хорошо выстроенный и сохранившийся. Туда вела лесная дорога, большей частью по болоту. Наняв телегу для перевозки запасов, сам Серая Сова двинулся туда пешком. За спиной в мешке у него была Джелли, голова и руки у нее были свободны, и она могла во все стороны обзирать окрестности.

Серой Сове теперь казалось, что он сейчас удаляется от линии, разделившей его старую жизнь от новой. Он идет теперь вперед, в новую жизнь, и в свидетельство этого за спиной его сидел этот маленький визгливый ребенок Джелли болтала, бормотала, ругалась, теребила волосы Серой Совы, и он никак не мог в это время думать, что такая дурочка со временем станет знаменитой леди и создаст имя себе и ему. В полной сумятице прошли первые пять месяцев ее жизни. Ее возили туда и сюда на поездах и в фургонах, в разнообразных ящиках, показывали на лекциях как главный экспонат, и под конец целых два дня она провела в конюшне, где вместо пруда для плавания она имела только таз и вместо тополевых веток кормилась оладьями. Немудрено, что теперь эта актриса в мешке за спиной безумствует и теребит волосы Серой Сове. Но переход был небольшой, скоро пришли к маленькому, но глубокому озеру, расположенному высоко в горах. Здесь маленькая Джелли может сколько ей угодно кружиться на воде, нырять в глубину. Глины здесь тоже довольно для игры — можно из глины строить бобровые хатки на берегу. Была даже длинная нора со спальней в конце, оставленная когда-то семьей ее племени. Такого счастья Джелли в своей жизни еще не знавала, и оттого первое время она была в совершенном экстазе. Она спала в норе, находившейся в полумиле от хижины вверх по ручью, но каждый вечер около заката она появлялась около хижины и царапалась с просьбой впустить ее в дверь. Ночью тоже она любила заглянуть на часок к хозяину, с любопытством проверяя, что он делает, чем занимается. В особенности ее интересовала койка, на которую она взбиралась по особому приспособлению, а уходила, просто сваливаясь. Оставляя дверь хижины всегда полуотворенной, Серая Сова часто по утрам находил ее спящей возле себя.

Между тем для писательства Серой Совы открылись новые возможности. Однажды в его руки попал номер спортивного журнала, целиком посвященный идеям охраны природы. В нем была помещена статья одного автора из Онтарио, которого Серая Сова в свое время хорошо знал. Автор был теоретик, писал с чужой опыта и во многом был введен в заблуждение. Взяв темой ошибки автора, Серая Сова тут же в городе написал статью и отправил в этот журнал, бывший

официальным органом "Канадской лесной ассоциации", пожизненным членом которой вскоре он и сам сделался. Это было первое выступление Серой Совы в печати родной страны.

Статью напечатали, и Серая Сова в этом журнале стал постоянным сотрудником.

А тот английский журнал, в котором были напечатаны два очерка и целая серия длинных, написанных во время припадка тоски одиночества писем к издателю, тоже не забывал Серую Сову. Ему было прислано оттуда предложение написать книгу.

"Я принял это предложение, — пишет Серая Сова, — не имея в то время ни малейшего представления о том, как надо приступить к делу. Когда я пал об этом размышлять, то при незнании техники писания вот что, казалось мне, было непреодолимой трудностью как можно описать какое-нибудь событие, в котором я не только наблюдатель, но и действующее лицо, чтобы, описывая, избежать неприятного углубления личного местоимения в первом лице. Я знал два приема холодно говорить об авторе в третьем лице и заменять местоимение «я» числительным «один». Однако это мне казалось жонглированием словами. Такое неестественное пользование подменами привносило в рассказ дух ужасного лицемерия, недостойного такой простой и благородной темы, как моя возлюбленная дикая природа. Впоследствии я сделал открытие, что эти подчас удобные формы могут быть по меньшей мере увертками, под которыми скрывается ваш собственный чистейший эгоизм. Вот почему я решил писать не личную биографию, а серию очерков о самом севере. Однако в настоящей книге я решил допустить в небольшом количестве честно стоящие на своем месте естественные, безуверточные «я».

Серая Сова получал множество предложений продать Джелли Ролл, и всем он должен был постоянно объяснять, что есть вещи непродажные и никакие деньги никогда не соблазнят его расстаться с любимым зверьком. Одно из таких предложений было от лица, жившего в ближайшей деревне — Нотр-Дам-дю-Лак. По его приглашению, — конечно, без всякого намерения расставаться с Джелли, Серая Сова навестил его. Он оказался горбуном и занимался дрессировкой животных. У него было что-то вроде цирка, благодаря которому он и существовал. Цирк состоял главным образом из собак, некоторые из них танцевали, а одна могла ходить по натянутой проволоке. Еще у него был солидных размеров медведь, умевший вертеть ручку шарманки и ездить на трехколесном велосипеде. Медведь мог и ружье носить на плече, и падать после пистолетного выстрела, делая вид, будто умер, и по приказанию опять воскресать. А все вместе — и медведь и собаки — могли под граммофон танцевать. Чтобы следить за порядком танцев, горбун тоже ходил в кругу между животными, и казалось, будто он вместе с ними танцует. Горбун был пониже медведя, и оттого казалось, что странными танцами руководит медведь. В темной, плохо освещенной галерее эти танцы производили несколько жуткое впечатление. Горбун был широко известен под кличкой "Горбун из Нотр-Дам" и многим казался довольно жуткой фигурой. Но при ближайшем знакомстве в нем открывалась самая нежная, самая добрая душа, так что нельзя было сомневаться в его словах, что всех результатов с дрессировкой животных он достигал только добротой и терпением. Самым замечательным в его представлениях был непринужденный, почти неслышный голос, которым он пользовался, так что слепое повиновение животных было похоже на сотрудничество, вольное соучастие. Вскоре человек этот умер, и опасение, выраженное им перед смертью, оправдалось его зверинец был расформирован, и животные рассеялись. Медведь, отпущенный на свободу, решительно отказывался жить в лесу и, сколько ни прогоняли его, все возвращался в старый дом, пока не был убит трусливыми крестьянами.

Около этого времени пришло, наконец, письмо от Анахарео. Все шло там у них хорошо, если не считать чувства одиночества, с которым, в свою очередь, и Серая Сова познакомился. Отправляя это письмо, Анахарео готовилась отплыть в тяжело нагруженном каноэ на озеро

Чибаугамау, за двести миль на север от железной дороги.

В городе Квебеке, рассказывала Анахарео, были приключения Давид пропал где-то в бесчисленных тавернах. Прождав его возвращения два дня, Анахарео, наконец, собралась его разыскивать и расспрашивала в каждой пивной. Конечно, его прекрасно знали везде, и в последний раз, когда его видели, он был порядком-таки навеселе. Учитывая его церковные наклонности в этих случаях, она искала его и в церквах и обошла все, начиная с самых больших. Нигде не было никаких следов — ни в церквах, ни в пивных. На очереди были полицейские пункты, — и там о Давиде никто ничего не слышал. И, наконец, она нашла его, измученного, голодного, на железнодорожной станции.

Оказалось, что Давид до того доходился по тавернам, что потерял всякое представление о времени. Он почему-то решил, что опоздал к тому поезду, на котором Анахарео уехала без него. Испуганный этой ужасной мыслью, он бросился в первый попавшийся поезд — без билета, без денег, без снаряжения, притом поехал и проехал миль шестьдесят совсем даже и не в том направлении. Поняв свою ошибку, он выскочил из поезда и так вот кое-как добрался. Серая Сова вспотел, читая эту историю, но, поняв из письма, что они теперь уже в лесу, уже в лодке, успокоился в лесу равных Давиду не было.

Открылся охотничий сезон, и леса наполнились охотниками. Серой Сове стало жить здесь беспокойно пришлось охранять район деятельности Джелли всю ночь, а иногда и спать возле норы. Между тем он вовсе не думал плохо о людях, что они возьмут и убьют его Джелли, но он думал, что, как в случае с Мак-Джинти и Мак-Джиннисом, один какой-нибудь убийца всегда может найтись.

Вот и приходится теперь спать у норы из-за этого одного.

В деле охраны Джелли неожиданно оказался полезным тот самый охотник, который как старожил имел претензии на этот участок. Вместо того чтобы стараться выгнать Серую Сову, он дал ему свое каноэ и начертил план местности. Благодаря такой возможности двигаться водой дело охраны упростилось.

Охотничий сезон прошел. Леса опустели. Серая Сова и Джелли, каждый по-своему, стали готовиться к зиме. Сток воды из озера, около которого находилась хижина, проходил по торфяному болоту, и ближайшие окрестности были покрыты карельской березой, которую Серая Сова принялся теперь рубить на дрова. Джелли выбрала себе место с более красивым пейзажем: она устроилась жить у ручья, сбегавшего с горы по заросшему лесом оврагу. Она соорудила себе из глины, палок и мха целую крепость. Внутри же у нее была чудесная чистая постель из стружек, наструганных ею из сворованной доски; тут же был у нее маленький склад съестных припасов. Но ей одной тут было, наверное, не всегда весело: она часто спускалась вниз и много часов проводила в лагере. Когда шел снег, она боялась ходить, и тогда делал визит к ней сам Серая Сова. Обычно она слышала его шаги на большом расстоянии и бежала навстречу с криками, вся извиваясь в знак приветствия.

Так, посещая друг друга, зверь и человек необычайно сближались. Серая Сова иногда часами сидел, наблюдая за ее работой, а случалось, принимался и сам помогать. Когда вода покрылась льдом и посещения Джелли прекратились, Серая Сова часто приносил ее к себе в ящике за спиной. Видимо, она не сердилась на такие путешествия и по дороге произносила длинные речи и всячески старалась поддержать разговор. К себе домой она проложила каким-то таинственным способом свой собственный путь подо льдом и всегда благополучно добиралась. Однако Серая Сова сопровождал ее берегов" с карманным электрическим фонарем и уходил обратно, лишь когда убеждался, что она благополучно дошла. Расстояние было свыше

полумили, и она могла путешествовать так долго подо льдом лишь плутовским способом: она вставляла свой нос в норы ондатр и так пополняла запас воздуха.

Однажды ночью после ее ухода Серая Сова уснул, а утром нашел дверь широко открытой, и она спала рядом с ним на подушке. Больше она уже и не уходила, очевидно решив зимовать вместе с хозяином. Имея в виду эту зимовку, Серая Сова купил небольшой оцинкованный бак, вставил его в пол, выкопав яму под одной стеной. Этот бак после продолжительного осмотра был признан вполне подходящим, но самый дом оказался неудобным; он был решительно отвергнут и даже закупорен мешочной материей и оленьей кожей. Затем она, потратив много труда, вырыла длинный тоннель под углом хижины, причем грязь она вытаскивала целыми кучами и затем размазывала ее по полу, как блины. Всякая попытка Серой Совы вычистить грязь вызывала у нее новую лихорадочную деятельность, и снова участок пола радиусом в шесть футов покрывался грязью. Из всей этой земли она устроила себе прочный тротуар к баку с водой; и еще у нее была около своей двери хорошо утрамбованная площадка для игр. Когда она убедилась, что Серая Сова ей не мешает и землю не убирает, она успокоилась и больше не подрывала здание, которое при дальнейшем упорстве хозяина должно было свалиться. После окончания этих земляных работ оказалось, что они были только предварительными. На зиму ей надо было переменить все внутреннее устройство лагеря.

По ночам она начала работать над дровяным ящиком с целью устроить из дров леса, по которым она могла бы лазить на стол и на окна. Все сделанное не из железа и стали подлежало переработке, имевшей характер настоящей оргии разрушения. Особенно привлекал ее внимание низ двери, из которой немного дуло. Она заделывала его любыми материалами, какие только находились в ее распоряжении, и в особенности она любила заделывать одеялом. Выговоры только временно приостанавливали подобную опустошительную деятельность, а шлепки и порка вызвали визги с энергичным кружением, качанием головой и другими курьезными кривляниями, благодаря которым эти животные кажутся такими смешными в первый год их жизни.

Случалось, Серая Сова, выведенный из терпения, решался серьезно ее наказать, и она это сразу же понимала: она становилась на задние лапы, смотрела прямо в лицо, спорила ворчливым дискантом и, оскорбленная, возмущенная, сама шлепала своего хозяина по спине. Однако и в этих случаях крайнего возмущения она никогда не пользовалась своими страшными зубами. Попадая в немилость, она обычно залезала в ящик, стоявший возле стола, голову клала на колени к хозяину, смотрела на него, болтала на своем нехитром языке вроде того, что: "какое значение могут иметь в отношениях между людьми несколько ножек от стола или ручка от топора?" И она всегда получала прощение, потому что ведь она же, по существу, была такая хорошая, что долго сердиться было невозможно.

Часто бывало Серая Сова сядет на коврик из оленьей шкуры возле печки; тогда появляется Джелли, кладет на его колени голову и, глядя вверх, начинает издавать ряд колеблющихся звуков в разных тонах, — не иначе это была попытка петь. Во время этих представлений она не сводила глаз с Серой Совы, и потому он считал себя обязанным слушать со всей серьезностью. Это времяпровождение скоро стало регулярно повторяться каждый день, и мелодичные звуки, ею издаваемые, Серая Сова считал самыми странными, какие он когда-либо слышал от животных.

Так вот человек и животное, с поведением человека и голосом ребенка, несмотря на некоторые разногласия, в течение зимы сближались между собой все тесней и тесней, вероятнее всего потому, что оба по-своему были так одиноки. Мало-помалу животное стало согласовывать с человеком даже свои часы вставания, ухода ко сну и еду. Лагерь, обстановка, постель, бак с водой, ее маленькое логовище, сам Серая Сова и были теперь всем ее собственным миром. На

человека она смотрела, как на бобра, и, возможно, надеялась, что сама тоже, когда дорастет до этого большого бобра, будет сидеть рядом с ним за столом, или, наоборот, что у человека когда-нибудь вырастет хвост и он станет точно таким, как и она.

Серая Сова часто уходил за продуктами, покидая лагерь дня на два, а когда возвращался, она яростно била его по ногам, пытаясь опрокинуть. Когда же он опускался на корточки и спрашивал ее, как шли у нее дела за это время, она садилась, трясла головой назад и вперед, каталась на спине, неуклюже вокруг него скакала. Как только он разгружал тобогган, она тщательно изучала каждую вещь, каждый пакет, пока не находила желанных ей яблок: это для себя она всегда находила. Найденный пакет с яблоками она немедленно разрывала, набирала, сколько могла ухватить руками и зубами, и, стоя, отправлялась к баку с водой, где одно съедала, а остальные пускала в воду.

В воду она входила не часто и после выхода из ванны шла обычно на определенное место, где садилась и выжимала из меха воду и действовала при этом передними лапами совершенно как руками. В луже, образовавшейся под нею, она не любила сидеть и в этих случаях завладевала берестой, пользуясь ею как банным ковриком. Но вскоре она открыла, что гораздо лучше это выходит на постели, потому что одеяло впитывает влагу. После значительных усилий хозяина и не без возмущения с ее стороны она остановилась на том, что сдирала бересту и на нее настилала слои мха, вытащенного из стен. Периодически она вытаскивала просушивать из своей спальни постель, состоявшую из прекрасных длинных стружек, содранных с настилки пола, и лоскутьев от мешков, и раскладывала все это на полу для проветривания. Через некоторое время она считала проветривание достаточным и убирала опять свою постель в спальню.

Обе эти процедуры Серая Сова считает замечательным примером приспособления животных, и в особенности проветривание подстилки, потому что в природе бобры подстилку просто меняют на свежую. Кончив еду, она всегда тарелку перетаскивала в угол и до тех пор не успокаивалась, пока не ставила ее на ребро, прислонив к стене. Серая Сова убедился, что ставить тарелки на ребро свойственно всем бобрам и происходит от желания держать внутренность своего жилища в чистоте, точно так же и все обломки, все палочки они собирают и ставят к стене.

Если приносились ветки для еды и складывались на необычном месте, она их перетаскивала и аккуратно складывала возле воды. Она терпеть не могла, чтобы палки и всякие материалы разбрасывались по полу. Все это она уносила и складывала в кучу всякого хлама, устроенную под одним из окон. Но это правило — все лишнее отправлять на помойку — к сожалению, распространялось и на носки, и на мокасины, и на стиральную доску, на веник и т. п. Веник у нее был чем-то вроде символа власти уборщика, она его постоянно носила при своих инспекторских осмотрах, а иногда вдруг переворачивала его низом вверх и начинала им завтракать. Откусывая по одной соломинке из веника, она втягивала ее в себя, крошила зубами с такой быстротой, что напоминала шпагоглотателя, а издаваемые ею при этом звуки были похожи на шум испортившейся швейной машины. Из-за этих веников у нее с хозяином были великие перебранки, пока он не догадался, что проще всего покупать новые.

Иногда она была не расположена выходить из своих покоев и тогда сонным голосом заводила с хозяином бесконечные разговоры через отверстие. Она то повышала, то понижала тон, и в таком ритме, что казалось, она действительно говорит. А может быть, это и на самом деле с ее стороны было попыткой говорить? Ведь на всякие же вопросы человека его пушистый товарищ непременно старался что-то ответить; не только днем, во время работы или еды, но даже и ночью, сквозь сон, достигшее слуха человеческое слово вызывало со стороны бобра попытку ответа.

Нужно было пять раз сходить за водой, чтобы наполнить бак, и оттого звяканье ведра стало для нее сигналом к перемене воды. Тут она выходила из своего уединения, вертелась между ногами и контролировала, насколько плотно закрылась дверь по выходе хозяина за водой: не дует ли из двери страшный холодный воздух. Такие попытки сотрудничества хотя и несколько затрудняли работу, но ей доставляли такое большое удовольствие, что Серая Сова терпел. Но самое большое удовольствие было для нее делать что-нибудь запрещенное. У нее даже глаза загорались какой-то нечестивой радостью, когда она, набезобразив, видела приближение Серой Совы в каком она была восторге, с каким визгом от страха быть пойманной она удирала! Она считала себя собственницей пола и всего, что находилось в пределах ее достижения значит, всего, что лежало на высоте двух с чем-то футов, — это было большинство вещей. Пока зима была в самом разгаре, собственно разрушительной деятельностью она занималась мало. Ее вполне удовлетворяло занятие перетаскивания вещей с места на место или изучение их с целью выбора и последующего присоединения к тем самым разнообразным вещам, из которых был сложен ею вал, вдоль которого она ходила из своего жилища к ванне. Некоторые вещи — например, кочергу, жестяную банку, железный капкан — она расставляла на определенных местах, и, если их передвигали, она переносила их обратно, и сколько бы раз ни убирали, столько же раз она их возвращала обратно. Осуществляя какой-нибудь свой проект, она работала с таким увлечением, что забывала все другое и делала перерывы только для еды и чтобы расчесывать себе шубу своими гибкими лапами.

Проказливость мартышки у нее соединялась с капризами ребенка, а неуклюжие шаловливые приветствия очень оживляли Серую Сову при его возвращении домой после утомительной дороги. Невероятно своевольная, она имела сильный собственнический инстинкт, вполне естественный для существ, строящих себе жилища и окружающих себя предметами, сделанными собственными руками. Весь лагерь, несомненно, она считала личной своей собственностью, и, когда кто-нибудь приходил даже издалека для того только, чтобы на нее поглядеть, она не всякого желающего пропускала в лагерь. Подвергнув длительному, внимательному осмотру, некоторых она безоговорочно пропускала, но если кто ей не нравился, она становилась против него на задние лапы и старалась вытолкнуть вон из лагеря. Это среди гостей производило сенсацию, и они стали ее называть кто Хозяйкой, кто Госпожой озера, а кто Королевой. Из всех этих кличек удержался только царственный титул. И нужно сказать, что Королева правила своим маленьким государством не мягкой рукой.

Замечательна та перемена, которую внесла Королева в строй мыслей такого человека, как Серая Сова. Возможно, что именно вследствие отшельнического образа жизни встреча с людьми для Серой Совы всегда имела особенно сильное значение. Но до появления Анахарео встречи эти были случайны и редки. Место людей тогда в его сердце занимали вещи, которыми он себя окружал. Это были: каноэ, проверенное во всякую погоду, пара легких лыж, топор с тонким, хорошо закаленным стальным лезвием, прочные ремни для ношения груза, меткие ружья, искусно сделанный для метания нож. Все эти вещи для Серой Совы были как живые существа, даже целое общество живых существ, от которых зависели его жизнь и благополучие.

После отъезда Анахарео, казалось бы, Серая Сова должен был в своем одиночестве снова вернуться к прежнему своему благоговейному очеловечиванию своих дорогих вещей, но оказалось — нет их место заступила целиком одна Королева. И немудрено! В этом существе жизнь была создана не рукой самого человека оно само возникло в лесу, в этом существе было свое понимание, оно говорило, отвечало человеку, двигалось, — сколько во всем этом было действительно близкого, общего с человеком! И вот это общительное, домолюбивое животное, игривое, трудолюбивое, сознательное, утолило жажду дружбы одинокого человека, да так, как никто бы другой не мог сделать, кроме человека, и притом человека именно той же самой

духовной природы, каким был сам Серая Сова.

Собака, несмотря на свою привязанность и верность, мало имеет средств для выражения своей личности, и ее деятельная жизнь слишком далека от человеческой, собака часто бывает слишком покорна Джелли, напротив, вела себя как существо, единственное в своем роде, как личность, и занималась тем самым, чем и человек стал бы заниматься в ее положении, если бы не захотел потерять своего достоинства она строила хижину, приносила запасы, задумывала и осуществляла разные собственные планы, стояла твердо и решительно на своих собственных ногах, имела независимость духа, близкую к человеческой, смотрела на человека как на сожителя, принимала как равного и не больше Серая Сова действительно находил в своей Джелли такое существо и никогда и ни в чем не хотел ставить себя выше, кроме случаев ее разрушительной деятельности.

Попытки установить какое-то общение с человеком, подчас забавные, подчас вызывающие сострадание, — вот эти попытки, думал Серая Сова, и ставят бобра значительно выше уровня обыкновенных животных. К этому надо прибавить еще общность интересов в сохранении вещей в порядке, в поддержании дома в чистоте.

Скоро снег сделался достаточно глубоким для хорошего лыжного пути и дал возможность Серой Сове начать систематические передвижения по стране с целью окончательно установить, живы ли Мак-Джиннис и Мак-Джинти, или их больше нет. Зимой, даже самой снежной, для охотника определить местожительство бобров не так уж трудно, как это кажется. И Серая Сова так решил, что зимой он определит, по возможности, все хижины бобров, а после, в летнее время, проверит, кто именно в них живет. Вскоре Серая Сова, таким образом, нашел в нескольких милях от хижины, в тех же водах, еще три семьи. Это открытие не принесло много радости Серой Сове, потому что мысли свои — устраивать заповедник в стране, где так дешево ценили жизнь животных, — он совершенно оставил. Конечно, потерянные бобрята могли найти приют в любой из колоний, но решение этого вопроса откладывалось до позднего лета.

Серая Сова начал составлять план книги, но писать самую книгу чувствовал себя не в состоянии. Он никак не мог себе представить, как это можно такое множество всего связать в одну книгу. Вспомнив о захваченном вместо поваренной книги «Письмовнике», он извлек его из приданого Анахарео и погрузился в такие вопросы, как Форма, Диалог, Точка зрения, Единство впечатления, Стил. Из всего этого Серой Сове более понятным было только Единство впечатления, и он стал сводить все свои тропинки воспоминаний, думая постоянно об этом Единстве впечатления. Что же особенно трудно было это чтобы все продуманное входило в план; рассказы Серой Совы, напротив, имели способность сами собой писаться, вопреки всяким продуманным планам, и к концу убегать совсем в другом направлении.

Обдумывать книгу очень мешало беспокойство за судьбу Анахарео; правда, хотя она была и хорошо снаряжена и находилась на попечении человека, равного которому не было по знанию леса, все же она отправилась в страну громадных озер, суровых бурь и с таким климатом, в котором здешняя зима, в Темискаuate, как раз соответствует тамошней поздней осени.

Чтобы хоть как-нибудь отделаться от таких мешающих работе тревожных мыслей, Серая Сова придумал совершить паломничество в те места, где зародились его первые литературные устремления, где так много было пережито. Не удастся ли на том месте целиком сосредоточиться на книге? Недолго раздумывая, Серая Сова поручил лагерь одному из своих новых хороших и надежных знакомых, нагрузил тобогган снаряжением и отправился на Березовое озеро.

Печально изменилось старое гнездо человека. Хотя в крыше и появились отверстия и в стенах трещины, в общем хижина имела вид почти такой же, как и была, когда ее оставили. Но вот бобровая плотина без починки своих покойных хозяев сдала, и озеро ушло, и настолько, что, не будь снега, тут были бы только камни и тростники. Бобровый домик, никем не населенный, теперь высоко возвышался над пустым бассейном, и отчетливо виднелся даже и самый вход. После ухода воды, конечно, и ондатры должны были переселиться. Птицы улетели, и чужая белка быстро бросилась бежать, завидев Серую Сову. Только громадные сосны все еще стояли возвышаясь, могучие в своем молчании.

Войдя в хижину, Серая Сова почувствовал себя, как в храме. Все реликвии были на своих местах, но протекавшая крыша плохо их защищала. Знаменитый военный головной убор из перьев висел безжизненно; веселые орлиные перья упали в грязь; с лица воина сошли знаки приветствия, и сам он превратился в чурбан. Милые рисунки, когда-то столь похожие на бусы, потеряли форму, а то и вовсе были смыты. В углу лежало высохшее рождественское дерево. Подрезанные ножки стола, выщипанные олени шкуры, тарелка для питья на полу, вся с пометками от бобровых зубов, занавески на окнах, сделанные руками Анахарео, — все сохранилось. Крепость, выстроенная столь трудолюбиво, осталась нетронутой, и только не выглядывали пытливо из ее отверстий черные глазки бобрят, не слышно было тоненьких дрожащих голосов.

С грустью сел Серая Сова на свое обычное место на скамье, раскаиваясь, что пришел на старое пепелище. И так, пока он сидел в задумчивости в избушке, наступили сумерки. Но снаружи небо еще алело от заката, и через щели и отверстия печной трубы пол и стены были покрыты красными пятнами. От этого волшебного света закоптелая пустая хижина преобразилась и опять получила обаяние прежних дней, опять стала Домом Мак-Джинниса и Мак-Джинти во всей его прежней славе. Все зашевелилось в этом доме Серая Сова зажег свет и тут же начал писать.

Две ночи писал Серая Сова, обманывая себя и читателей в том, что его маленькие друзья Мак-Джинти и Мак-Джиннис еще были живы. Но почему же обман непременно? Возможно, они и жили тут где-нибудь, даже и недалеко. Как бы там ни было, во всяком случае, Мак-Джинти и Мак-Джиннис живут теперь и путешествуют по всему свету, переходя с книжных страниц в сердца людей самых разнообразных.

Об этом своем творчестве в домике у пересохшего Березового озера Серая Сова так записал:

"Неделю я неистово писал, а в ушах у меня звучали и нежный смех женщины и тоненькие голоса, столь похожие на детские. Призраки сидели возле меня, двигались, играли, и действующие лица рассказов жили опять. Эти привидения вовсе не были печальны, — напротив, они радостно проходили возле меня, когда я писал. И, наконец, я оказался в силах справиться с мыслями, ранее недоступными мне для выражения. Тут, наконец, я понял, почему эти маленькие звери производили на нас такое впечатление. Они были по своим привычкам Маленькими Индейцами, символом расы, живой связью между нами и средой, живым дыханием и проявлением неуловимого нечто, этого духа опустошенных земель: леса вырублены, звери истреблены, как будто с виду и нет ничего, а вот, оказывается, остается все-таки какое-то нечто. В каком-то вполне реальном отношении эти бобрята, их природа типически представляют собою основу всей природы. Это высшее животное леса есть воплощение Дикой Природы, говорящей Природы, всего Первобытного, бывшего нашим родным домом и живой основой. Через них я получил новое понимание природы. Я много размышлял об этом душевном перевороте, перемене всего моего отношения к природе, полученной через бобра. И я думаю, что и каждое другое животное, а может быть, даже и вещи в соответствии со своим местом и употреблением в той же мере могли бы выполнить

подобную миссию, хотя, может быть, и не так очевидно. Я всю жизнь свою жил с природой, но я никогда не чувствовал ее так близко, как теперь, потому что раньше я имел всегда дело лишь с частью ее, а не с целым. И это близкое понимание существа природы породило во мне благотворительную силу самоограничения, теперь я уже ясно понимал свою неспособность толковать это или описывать, и если бы я стал это делать, то это было бы равносильно попытке написать историю творения. Нет, я должен был в силу этой необходимости самоограничения придерживаться темы, оставаясь в границах личных наблюдений и опыта.

Ритм бега индейца на лыжах, качающаяся, свободная походка медведя, волнообразное движение быстрого каное, жуткое, стремительное падение водопада, тихое колыбание верхушек деревьев — все это слова из одной рукописи, мазки одной и той же кисти, отражение неизменного ритма, убаюкивающего Вселенную. Это не благоговение перед языческой мифологией, не учение о почитании животных и природы, а отчетливое понимание всепроникающей связи всего живого на свете, того, что заставило одного путешественника в экстазе воскликнуть: "Индеец, животные, горы движутся в одном музыкальном ритме!"

Чувство всепроникающей связи всего живого породило и мои писания как элемент связи. Дерево падает и питает другое. Из смерти восстает жизнь таков закон связи. Эти писания перестали быть моими, и я теперь смотрю на них, как на отражение эха. Не как на горделивое творчество, а как на подхваченное при моем убожестве эхо тех сущностей, которые раньше меня обходили.

Я почувствовал наконец, что создан был для понимания этого. И Дом Мак-Джинниса и Мак-Джинти, когда я покидал его при звездном небе, больше не казался мне камнем над могилой потерянных надежд и вообще был не концом, а началом. Перед уходом я взял две ободранные палочки, несколько стружек, коричневых волосков, ветку рождественского дерева и туго завернул их в кусок оленьей кожи, чтобы они были моим лекарством, моим счастьем, символом.

Я попрощался с духами и ушел, оставив их всех у себя за спиной. И когда я шел вперед памятным путем, на котором теперь не было ничьих следов, кроме моих собственных, я чувствовал, что там где-то сзади меня, в хижине у печки сидела женщина с двумя бобрятами.

Поиски слов

По возвращении домой Серая Сова нашел у себя второе письмо Анахарео. Писала она, что оба они с Давидом живы, здоровы, но все золотые надежды на скорое обогащение рухнули. За двадцать восемь дней до их приезда участок Давида был закреплен за другим, и он действительно оказался богатейшим участком в краю. Обоим искателям золотого счастья пришлось работать на жалованье на том самом месте, которое считали за свою собственность. Пропало последнее Эльдorado Давида, и он сразу же сделался стариком. Потрясенный горем, вовсе разбитый, он теперь ушел назад, в свою страну Оттаву, чтобы сложить свои кости рядом с предками под поющими соснами. Анахарео теперь ждала только вскрытия реки, чтобы самой вернуться, — ранее июля этого быть не могло.

Итак, книга теперь для Серой Совы была не одним развлечением, а самым серьезным делом; от успеха этого рискованного предприятия зависел самый отъезд его с Джелли из этого чужого края. И, конечно, работа пошла горячая как у хозяина, так и у его Джелли. Он работал над книгой теперь непрерывно, писал по целым ночам, выходя только за тем, чтобы пополнить запасы дров.

"Я, — говорит Серая Сова, — не претендовал и не претендую на высокие литературные

достоинства — они недоступны мне — и ограничивался правильным распределением красок в словесной картине. Я чувствовал тогда, и теперь это чувствую, что если я при моих слабых знаниях буду обращать внимание на технические красоты, то мои мысли облекутся в железо, а не в мягкие одеяния, которыми природа покрывает даже самую мрачную действительность. Если я считал, что, поставив на первое место слово, которое должно бы стоять сзади, я лучше выражу мысль, то я делал это по тому же принципу, по которому часто удобнее рыть снег лыжей, а не лопатой, и выгодней бывает прокладывать себе путь через поросль ручкой топора, а не лезвием. Я, конечно, всегда с презрением смотрел на свой искусственный английский язык, но теперь, оказывалось, его можно было употреблять. Я извлек его из холодных складов, где он попусту у меня лежал три десятилетия, и, рассмотрев его при свете новых нужд, признал его до ужаса ограниченным в отношении количества слов. Нужно было его улучшить, и я часами воевал со справочниками по английскому языку. Из сборника стихов, из «Гайаваты» Лонгфелло[25], из "Песни Сурду" Сервиса[26] я выкапывал стихи, подходящие к главам, предварять которые они должны были. Это мне сказали, давно вышло из моды, но мне нужно было высказаться, а до моды мне дела не было.

Груда рукописей выросла до внушительных и довольно угрожающих размеров. Я часто просыпался, чтобы внести изменения, постоянно делал заметки, и, чтобы добиться нужного эффекта в трудных местах, я читал их вслух Джелли, которая, обрадовавшись вниманию к ней и шороху бумаги, кружилась и кувыркалась в восторге. Я соорудил стол около койки, так что я мог, сидя там, добраться в любой момент до рукописи, набросать любую мысль, пришедшую в голову.

Когда я писал, Джелли преследовала свои цели и занималась чрезвычайно важными делами, как, например, перетаскиванием и перемещением предметов и мелкой домашней работой, вроде заделывания щелей под дверь или реорганизации кучи дров. Часто она садилась, выпрямившись, рядом со мной на койке и с напряженным вниманием смотрела вверх, на мое лицо, как будто пытаюсь проникнуть в глубину тайны, для чего я могу заниматься странным царапаньем? Она была любительницей бумаги, и ее внимание очень привлекал шорох страниц. Она постоянно воровала оберточную бумагу, журналы и книги, утаскивая их к себе в дом. Сидя на койке со мной, она то и дело добиралась до записной книжки и других бумаг, и мы по временам оживленно препирались, причем не всегда я выходил победителем. Однажды она достигла успеха, превышавшего, я думаю, всякие ее или мои ожидания. Я забыл поставить барьер между койкой и столом и, вернувшись с рубки дров, нашел все перевернутым, включая аппарат, лампу, посуду и книги. Она засвидетельствовала свое полное одобрение моим литературным опытам, утащив всю рукопись целиком. Только немногие листы моей работы валялись на полу: остального не было видно. Я посетил для обыска жилище преступницы, встреченный визгом страха и протеста. Однако я выставил ее вон и извлек рукопись вместе с закоптелой деревянной кочергой и куском проволоки, несмотря на безнадежные старания этой чертовки восстановить свои права на владение. К счастью, все, кроме одной страницы, нашлось. Джелли, несомненно, схватила всю стопку бумаги сразу мощной своей пастью, и потому она мало была повреждена. Зато все так перепуталось! Представьте себе около четырехсот перепутанных листов, убористо исписанных карандашом с обеих сторон, со вставками, приписками и заметками, вложенными в разных местах, с черточками, стрелками и другими каббалистическими обозначениями того, что за чем шло, а главное — непонятных, и вы только тогда поймете всю беду по-настоящему. У меня пропало три дня на приведение в порядок, а иногда и на переписывание рукописи. На этот раз я тщательно пронумеровал страницы.

Так мы двигали вперед книгу — Джелли и я, — и дело стало приближаться к концу.

Неуклонно моя мысль возвращалась на Миссисогу, ревущую между горами, увенчанными кленами, к громоподобному реву водопада Обри, падающему на красные скалы, к Гросс Кэпу с его отвесными гранитными стенами, с сучковатыми, скрюченными, убогими соснами, растущими на неустойчивых выступах, к темным пещеристым сосновым лесам, запаху увядающих березовых, ясеновых, тополевых листьев, ритмичному, заглушенному стуку весел о борт каноэ, голубому дыму, поднимающемуся от тлеющих углей слабых костров, к спокойным наблюдательным индейцам, расположившимся лагерем под красными соснами около быстрого потока...

И все время в душе моей жила болезненная тоска по простом добром народе, товарищах и учителях юных дней, чьи пути стали моими путями и чьи боги — моими богами; народ, ныне умирающий с голоду терпеливо, спокойно и безнадежно, в дымных жилищах, на обнаженных, ограбленных пустошах, которые им Прогресс определил для жизни. Я думал о маленьких детях, так жалостно умирающих, в то время как родители с окаменевшими лицами бодрствуют над ними, отгоняя мух, пока они, как маленькие бобры, не улетят на серых крыльях рассвета, которые уносят так много душ в Великое Неизвестное. И я вспомнил, что их положение, несмотря на весь мой ропот, бесконечно хуже моего, и почувствовал, что мое место — быть с ними, страдать, как они страдают, что я должен разделить их несчастья, как разделял когда-то их жизнь в счастливые времена.

Пришло рождество, которое мы провели вместе. Я думаю, Джелли получила удовольствие, потому что она так наелась, что на следующий день явно чувствовала себя плохо. Но мое одинокое празднование было пусто и несчастливо. Как бы там ни было, а я повесил бумажный фонарь под потолок, и, когда зажег свечу в нем, Джелли много раз смотрела на него, и потому я не чувствовал себя так уж вяло и нелепо, в конце концов. Я получил приглашение на Новый год и, оставив Джелли хорошо запертой с едой и водой в нагретой хижине, провел вечер и ночь в Кобано.

У всего города был такой праздничный вид, что он не мог не оказать влияния даже на самого кислого наблюдателя. Улицы были полны народу, одетого в лучшие свои платья. Звонили церковные колокола, люди ежечасно прибывали из лесов, распевая на улицах, и весь город был полон такой доброжелательной атмосферы, что никакая погода, даже самая бурная и свирепая, не могла бы проникнуть или заглушить ее. Музыка неслась со всех сторон, начиная с организованного разгула радио и до рева граммофона, и на морозный воздух летели пронзительные звуки скрипок, наигрывавших дикие ритмы жиги и "восьмерок"^[27], а также и искусные и запутанные танцы с разными па, в которых этот народ нашел выражение и выход для своих чувств.

Что-то мне показалось таким напоминающим внутренний общинный дух индейской деревни, что волна тоски по дому захлестнула меня, когда я проходил по узким улицам, обрамленным рядами деревьев. Но она скоро прошла, потому что меня приветствовали со всех сторон, пожимали руку, звали в дома, где я никогда не бывал раньше, и заставили принять участие в веселье, которым они наслаждались. Все это делалось безыскусственно, искренне и просто, и я совершенно забыл, что был мрачный полукровка, и в ответ отдал должное веселью.

Каждый дом был полон музыки, игр и смеха. Здесь не было заунывных, отупляющих «ритмов» или эротических, сентиментальных нелепостей, а были веселые кадрили, чудесные старые вальсы, живые фокстроты. Каково бы ни было материальное положение хозяина, — давал ли он торжественный званый пир, или мог предложить не больше, чем жареную свинину или оленину и прекрасный французский хлеб, — гостя всегда спешили накормить доотвала и с добрыми пожеланиями подкрепляли на дороге, пожалуй, еще и несколькими стаканами красного вина. Церемонным людям, если были такие, не было нужды рисоваться или

принимать позы, потому что ничьи глаза на них долго не останавливались в этом здоровом, сердечном веселье, и многие солидные граждане теряли свое достоинство в эту ночь, возвращая его себе только утром.

На одном из этих вечеров присутствовал старый джентльмен, занимающий довольно видное положение в городе. Он под конец забыл свой возраст и сказал во всеуслышание, что он мог бы, как уверен, перепрыгнуть даже через дом (конечно, не через слишком большой), и рассказал, какой удачей он отличался в молодые годы. Он поведал, как однажды, попав в засаду хулиганов, прорвался через целый нападавший отряд и перешел сам в наступление из-за их же прикрытий, нанося удары направо и налево так энергично и ловко (в этой части рассказа, оказалось, ему было необходимо несколько раз наклонить голову, как бы уклоняясь от удара), что враг обратился в бегство в ужасе и замешательстве, оставляя на месте упавших товарищей. Он так увлекся, воспроизводя доблестные деяния былых славных дней, что, покидая дом, надел чужое пальто и, будучи невысоким человеком, величественно шествовал по улицам в одеянии, слишком большом для него, с рукавами, доходившими почти до колен, и полами, волочившимися сзади него по снегу.

В другом доме был гость, тоже не здешний, как и я. У него был маленький грузовой фورد, на котором он разъезжал с места на место, нигде не селясь надолго, и, объезжая деревни, продавал швейные машины, сигары, поваренные книги и даже хорошие рецепты самогона. Лицо его было в шрамах; будучи близоруким, он носил очки с необычайно толстыми стеклами. Он надевал ковбойскую шляпу. На правой руке у него остался только один палец. Он и не думал скрывать свои физические недостатки или уменьшать их, как сделало бы большинство из нас, но щеголял ими, как счастливыми дарами. Судьбы, дававшими ему возможность оказывать удовольствие другим, не столь одаренным. При помощи этих недостатков он представлял, пел комические песни, играл на рояле шестью пальцами, изображая великих музыкантов, и танцевал на проворных ногах. Потому дамы были рады запечатлеть новогодний поцелуй на его несчастном, обезображенном лице, а мужчины — пожать изуродованную руку этого благородного, приятного в общении клоуна и все бывали огорчены, когда он уезжал, и желали успеха.

В полночь раздалась стрельба из всех видов огнестрельного оружия. Стреляли после каждого удара часов, а так как часы шли вперед или отставали, то залпы раздавались несколько минут. Хотя пули летали над озером во всех направлениях, никто особенно не тревожился, куда они упадут, потому что ни у одного доброго гражданина не могло быть причин оставаться вне города в эту ночь.

В разгар празднования и веселья я вдруг вспомнил о маленькой коричневой крошке, одиноко ожидающей меня в темной пустой хижине. И я ускользнул, не прощаясь, на лыжах по полуночному лесу домой, за Слоновую гору. За пакетом с земляными орехами, яблоками и конфетами Джелли также отпраздновала Новый год и наслаждалась, как я, а пожалуй, больше, — ведь у нее не было воспоминаний. Где бы и в каких бы условиях я ни находился, я никогда не забывал о своей миссии и, в случае успеха, о ее возможных результатах. Я никогда не переставал внимательно прислушиваться, изучая язык и задавая осторожные вопросы; я всегда был на страже. Я искал не только живых бобров, или, может быть, их шкуры или кости, но самого человека[28]. И часто я ходил, чувствуя ненависть к людям, которые должны были бы быть друзьями.

В конце февраля я отправил законченную рукопись и, освободившись, приступил к изучению слов с помощью книги синонимов и словаря. Я нашел, что слова увертливы и трудно уловимы. Но всякое слово, попавшее в книгу или журнал, было уже поймано, переходило в мою записную книжку, постоянно возобновлялось в памяти и перечитывалось. Я так усердно

занимался этой записной книжкой и непрерывной охотой в непролазных джунглях книги синонимов, что по временам забывал об обеде. Я стал думать по словарю и пользоваться такими редкостными словами, что часто меня не понимали даже говорящие по-английски друзья. Со мною случались припадки рассеянности, и в конце концов я дошел до того, что взял бутылку с чернилами, желая набить трубку табаком, а в другой раз поймал себя на том, что хотел наполнить "вечное перо" из жестянки с табаком.

У меня был знакомый юрист, часто меня посещавший, всегда с собою приносивший оживление, а иногда приводивший и веселую толпу своих друзей. Он редко приходил без подарка и однажды, заблудившись по дороге, появился глубокой ночью и возвестил, что недалеко по дороге оставил радиоприемник. Это была портативная модель. На следующий день мы притащили его из лесу со всеми принадлежностями. Машина для меня была таинственная, но юрист сам все наладил и сделал антенну, и в эту ночь лагерь, обычно тихий, был полон музыки.

Я, ради слушания через этот приемник, довольно легко преодолел свое отвращение ко всем видам машин, начиная с плугов и кончая железными дорогами. Скоро я сделал открытие, что приемник был неисчерпаемым источником слов. Скоро моя ночная компания состояла из дикторов, авторов, обозревателей книг, чтецов новостей по радио, политиков и других людей. Этот народ, а также книги Шекспира — все они дали свое для удовлетворения моего всепожирающего аппетита в погоне за средствами себя выразить".

Побег королевы

Ночные скитания для Серой Совы с давних пор имели неизъяснимую прелесть, за что, собственно, он и получил свое имя. (Уа-Ша-Куон-Азин: Тот, Кто Ходит Ночью, — Серая Сова.) Эта привычка жить в темноте теперь очень помогала ему охранять Джелли, и в любой час ночи он мог легко ее разыскать. В промежутках между обходами и часами сна он изучал английский язык. Конечно, такое ночное изучение требовало большого расхода керосина, и оттого его долг в лавочке за керосин все возрастал. Но было много оленей вокруг, и оттого можно было экономить на одежде: Серая Сова носил теперь одежду из оленьих шкур и сам занимался их выделкой. Вот это занятие дубильным делом однажды привлекло внимание местного лесного сторожа, и он явился с письменным приказом наложить штраф. Когда же Серая Сова объяснил сторожу свое положение, тот понял, что произошла ошибка, и посоветовал написать в город Квебек. Вскоре было получено письмо от главы районного лесного управления, в котором начальник очень извинялся за причиненное беспокойство и тут же прилагал разрешение на право постоянной охоты. Так старый французский Квебек и тут в грязь лицом не ударил.

Во время новогодних празднеств Серая Сова познакомился с одной ирландской семьей, которая приняла его к себе в дом на положение близкого любимого родственника — сына или брата, — и ему тут было все так устроено, что он чувствовал себя совершенно как дома. С ними Серая Сова заключил дружбу на всю жизнь, и каждый приход Серой Совы здесь был сигналом для веселой вечеринки с музыкой и пением.

Однажды, вернувшись домой с такой веселой вечеринки, Серая Сова увидел, что дверь его домика открыта, а маленький товарищ зимнего уединения исчез.

Серая Сова обезумел от горя и тупо уставился на открытую дверь. Первый момент он думал о похищении и закипел гневом, но после внимательного осмотра мысль эту пришлось отбросить: Джелли ушла сама, разрешив наконец-то проблему открывания двери изнутри. Теплое солнце ранней весны манило ее из дому на возможную гибель от замерзания: вода еще не открылась, а в лесу снег был до четырех футов. Следы показали, что она отсутствовала целый день, и вели

вдоль озера к ее осеннему игрушечному дому.

Не найдя отверстия во льду, она пошла вверх по течению ручья, но пробраться к воде нигде не могла. Ручей терялся в болоте, в лабиринте ольховых и кедровых деревьев и она тут, в лабиринте, блуждала во всех направлениях. Ее шаги делались все короче, а во многих местах она ложилась и долго пережидала. Под ней далее успевал подтаивать снег, и легко можно было понять, где ее застала ночь. Стало сильнее морозить, начала образовываться корка, отпечатки следов делались все менее ясными. Наконец слабые безобразные, косолапые следы лапок, с пальцами, обращенными внутрь, продолжая удаляться от дома, совершенно исчезли. Температура резко упала, а лапы и хвост бобра легко замерзают, совершенно искалечивая животное.

В эту ночь Серая Сова вовсе не возвращалась в лагерь; до рассвета он обходил болото и все звал и звал свою Джелли. Последующие дни и ночи, кроме болота, он обыскивал овраги, ущелья. Наступил период нулевой температуры, нередкий ранней весной. Теперь уже Серая Сова знал, что если его маленький друг и миновал нападения таких врагов, как например, лисица, то без воды она должна за это время совершенно замерзнуть. В подтверждение этому он нашел в таком замерзшем состоянии дикобраза. После нулевого периода погода стала мягкая, и Серая Сова все искал, все искал хотя бы каких-нибудь признаков своей беглянки, искал далее возле таких озер, куда она никак не могла добраться. После двадцатидневных поисков Джелли лыжи отказались служить, потому что по мокрому снегу физически ходить невозможно, и все-таки Серая Сова ходил; он измучился, но выдерживал, а лыжи рассыпались. Но вот после нескольких дней проливного дождя хватил сильный мороз, и Серая Сова взялся хоть как-нибудь починить лыжи, чтобы, пользуясь морозом, обегать еще раз все места, где беглянка могла бы найтись хотя бы мертвой. И, только вышел Серая Сова из домика, вдруг увидел — что-то коричневое движется вдоль линии берега, в пятидесяти ярдах от него, и направляется к хижине. Никакого сомнения не оставалось: это в сильно потрепанном виде сама Хозяйка возвращалась домой.

В дни поисков, подобных таким, какие были у Серой Совы, люди как будто, сами не зная того, копят горе свое, как уксус, для того чтобы когда-нибудь посредством волшебных дрожжей переделать его в самое чудесное вино и тут же все сразу и выпить. Так пьяной радостью, созданной из своего собственного же горя, встретил Серая Сова свою Королеву. Она же как ни в чем не бывало наелась до отвала и проспала двадцать четыре часа. Позже Серой Сове удалось найти то место, где инстинкт безошибочно подсказал ей воду в почти пересохшем ручье; там она и сидела, в этой норе, под снегом, пока дождь не образовал течения, по которому она спустилась в озеро и вышла на волю через полоску открытой воды.

Вскоре вскрылось все озеро, и Королева ушла из лагеря Серая Сова опасался, что она теперь станет шататься далеко по окрестностям в поисках супруга и, когда найдет, не вернется. Но это предположение оказалось неверным: она отправилась вверх по озеру, завладела там одной норой и в то же время не забывала лагерь, — за ночь она Серую Сову посещала несколько раз. Часто, завидя каноэ Серой Совы, она плавала рядом, а раз даже вскарабкалась на борт и шлепнулась внутрь. После того она стала проделывать этот прием постоянно и разнообразила его тем, что забиралась на корму и оттуда, с высоты, бросалась в озеро.

Иногда она устраивала разные шутки с Серой Совой: покажет ему направление, и он поплывет, а она нырнет и вдруг окажется совсем в другой стороне. А когда он подъедет, начнет кувыркаться, как бревно, на воде, крутиться, так разбрасывать брызги, что они попадали ему в лицо. Иногда она дурачилась таким образом долго, полчаса и больше, играя с хозяином. А то, бывало, на быстром ходу каноэ она нырнет неглубоко и думает, что скрылась, а Серой Сове даже видно, с каким напряжением работает у нее каждый мускул, какие она тратит усилия,

чтобы перегнать его и появиться на поверхности воды впереди. А когда он ее догоняет, она проделывает то же самое вновь и так движется вместе с каноэ все дальше и дальше.

Она часто давала сигналы пронзительным криком на высокой ноте, слышным за полмили. И если тем же самым звуком и он звал ее, то редко не отвечала. Еще любимым развлечением ее было схватить хозяина своими руками около запястья и, прижав к груди, стоя, толкать то от себя, то к себе в напряженном усилии его опрокинуть. Иногда она откидывалась назад, чтобы сильно дернуть вперед и заставить хозяина потерять равновесие. Теперь ведь она уже весила двадцать фунтов, у нее был крепкий костяк, сильные мускулы. Впоследствии Серая Сова узнал, что ничего особенного не было в этих забавах бобра с человеком: это самые обычные развлечения каждого бобра. Замечательно другое: она предпочитала оставаться в обществе человека, в то время как в каких-нибудь трех милях жили легко ей доступные сородичи.

Приход Роухайда

Как раз перед тем как распуститься листьям, Серая Сова поставил капкан в ручье на безобразного разбойника — выдру, в помете которой он нашел бобровые волосы.

"Так ведь, — думал он, — в ее зубы может попасть и доверчивая, жизнерадостная Джелли", и поставил капкан на выдру. А однажды утром он заметил, что капкан куда-то исчез. Заглянув под бревно, там внизу он заметил хвост бобра, а когда потянул за цепь, почувствовал сопротивление и потом вытащил живого бобра. Захлебнувшись водой, испуганный до полусмерти, он почти и не пробовал защищаться, дозволив посадить себя в джутовый мешок. У него была сильно повреждена задняя, самая важная для плавания нога, и оттого Серая Сова, прежде чем отпустить его на свободу, решил попробовать полечить. Первые сутки бобр прятался от Хозяйки, выходил только попить и совсем ничего не ел. В конце же суток он вышел на середину комнаты, до крайности подавленный чувством страха. В руки он никак не давался, но позволял с собой разговаривать и не отказался от яблока. Когда же Серая Сова провозился с ним всю ночь, то добился такого успеха, что бобр начал обходить комнату, правда, хромая, — изучая все последовательно, включая и дверь, которую вовсе и не пытался даже погрызть. В ходе исследования он открыл койку, вскарабкался на нее по сходням, сделанным для Джелли, признал ее очень удобной и с тех пор и ел и спал на ней, спускаясь только для личных надобностей, — чтобы разложить напильные чурбачки или же принять ванну. Спал он между подушкой и стеной, но среди ночи начинал тосковать, перебирался спать под руку Серой Совы, а утром до рассвета опять уходил к себе за подушку.

Хотя погода и продолжала оставаться холодной, печку топить Серая Сова остерегался, в такую ярость приводил бобра шум этой печки. Даже табачный дым заставлял его часами скрываться. Занятие перевязкой ноги было чрезвычайно трудное. Она напухла до ужасных размеров, и две кости плюсны проткнули кожу. Зубы его от попыток перекусить капкан расшатались, и нужны были недели, чтобы они могли снова служить. Оторванная часть скальпа высохла и свисала с головы. Серая Сова отрезал эту кожу и дал при этом кличку бобру «Роухайд» ("Роухайд" значит "Ободранная Кожа").

Целых две недели Серая Сова возился над спасением ноги Роухайда, но ничего не добился; и только пиявки, гроздьями присосавшиеся к ране, сделали то, над чем долго ломал себе голову человек.

Трудно сказать, что именно повлияло: внимательный ли уход, или, может быть, одиночество, но только животное очень скоро и сильно привязалось к Серой Сове, — Роухайд ковылял за ним по пятам, кричал громко и жалобно, когда он отлучался. Эти звуки однажды привлекли внимание Хозяйки. Увидев в своей хижине чужого бобра, она с такой силой бросилась назад,

что о закрытую за ней дверь чуть-чуть не сломала себе шею. Когда же одумалась, то стала внимательно разглядывать гостя и, поняв, что он калека, решила, что его следует просто побить. С большим трудом разнял Серая Сова сцепившихся врагов и стащил свою вояку в озеро, где она продолжала беситься. Да и как не беситься, если она — Королева и Хозяйка, а тут появился какой-то непрошенный чужак, тоже, наверное, с какими-то своими правами! "Знать ничего не хочу!" говорил весь ее вид, и с тех пор Серая Сова стал от нее дверь держать всегда на запоре.

Когда пациент Серой Совы оправился, не без чувства огорчения пришлось пожелать ему счастья и отпустить на свободу. На другой день, направляясь к жилищу своей царственной Джелли, Серая Сова заметил бобра и позвал его. Животное ответило на крик и поплыло к каноэ. С изумлением и радостью Серая Сова узнал своего калеку, который поплыл вслед за каноэ и потом, когда хозяин вышел на берег, потащился за ним в лагерь. Полежав немного на оленьем коврике, похныкав, поласкавшись немного об руки, он ушел назад к себе в озеро. Это он продолжал делать и дальше; иногда с некоторой помощью влезал на колени к Серой Сове и усердно занимался тут мокрым своим туалетом. Можно ли это назвать благодарностью? А если нельзя, то как назвать это чувство животного, заставлявшее всюду ходить за человеком по пятам до тех пор, пока другое животное, по ревности своей, не отгоняло его? Да, Королева была безумно ревнива и не позволяла даже близко подходить к лагерю, когда сама была дома. Не раз она преследовала его далеко вниз по ручью. Но он был тверд и возвращался.

Несмотря на ее злость, он бегал вслед за ней везде, прихрамывая на поврежденную ногу и издавая жалобные звуки. Казалось даже, что он с трогательной настойчивостью добивается ее близости как вернейший ее поклонник. Складывалось у Серой Совы даже и такое понимание, что, умирая с тоски по дружбе, вечно отвергаемый Джелли, он именно потому так и тянулся все к человеку: деваться больше некуда. Однажды он до того осмелел, что после нескольких неудачных попыток вдруг ввалился в каноэ в то самое время, как в нем на своем царственном троне восседала сама Королева. Ну и задала бы она ему трепку, если бы не вступился Серая Сова! Все подобные необычайные поступки Роухайд совершал так бессловесно-покорно и вместе с тем с таким спокойно-решительным видом, что Серая Сова всегда становился на его сторону против самоуверенной Джелли. Своей спокойной настойчивостью, непреклонной решительностью, действием скрытой в нем какой-то силы Роухайд преодолел одно за другим все препятствия, везде выдвигаемые новой средой, и, наконец, нашел свое место, получил свою власть и стал не просителем, а вождем.

Хозяйка продолжала дружить с Серой Совой, как дружат иногда равные. Они были грубыми и беспорядочными товарищами по играм, старыми сожителями, могли позволять себе разные вольности и расходиться в разные стороны, кому куда захочется. Но Роухайду для полного его счастья надо было только немножко доброты. Он был так же нежен, как прикосновение ночного ветра к листьям. И в то же время Серая Сова однажды видел своими глазами, как, разъяренный слишком затянувшимся злобным преследованием Хозяйки, он так встряхнул ее, как будто она была только бумажным мешком.

И, возможно, эта Королева дожила до наших дней благодаря только Роухайду.

Какой-то негодяй-бобр, старый и умный, очевидно из какой-нибудь разоренной охотниками колонии, обозленный несчастьем, блуждал вокруг лагеря. И однажды он спустился в самый лагерь, и ему захотелось у двух чужих ему бобров отнять все их имущество. Когда Серая Сова вернулся домой, Джелли лежала на земле возле лагеря. Тонкий след крови вел к двери, но она, должно быть, была слишком слаба, чтобы пойти, и потащилась назад к берегу, чтобы подождать там возвращения друга. Горло у нее было разорвано и обнажено, нижняя губа почти оторвана, обе руки прокушены, распухли и были никуда не годны; хвост тоже насквозь

прокушен около корня почти на дюйм. Оставалось только как можно скорее дезинфицировать раны. Она лежала при этом инертная, с закрытыми глазами, и тихо стонала, а кровь медленно стекала на ту самую землю, где она утверждала свою власть.

Всю ночь просидел около нее Серая Сова и время от времени кормил ее молоком из той самой спринцовки, которая когда-то один раз уже помогла ее спасти. К утру, как показалось, в ней ожили скрытые источники жизни, и она медленно, с мучением поползла в хижину. Весь день она оставалась в хижине, выпила большую часть молока из двух банок и ночью, очевидно находясь на пути к выздоровлению, ушла. Только волшебные восстановительные силы диких животных помогли ей спастись. Целую неделю она не выходила из своей норы, не отвечала на голос. По разным признакам, найденным около озера, и по всему, что произошло, можно было догадаться, что посетитель был колоссальных размеров, и, несомненно, она была бы убита, если бы находилась одна. Роухайд тоже имел знаки встречи не меньшие, и на основании уж неоднократно проявленных им способностей Серая Сова был уверен, что только его участие решило исход этой битвы.

С этого дня оба бобра стали жить и действовать в совершенном согласии. Но зато, поняв по себе, какую боль, какие страдания могут принести посторонние существа, Королева всех их предала анафеме. Теперь гости, желавшие поглядеть на бобров, желавшие любоваться красотой меха, выразительностью глаз, благородством очертания головы и т. п., имели право стоять только на определенных местах. Малейшее сопротивление с их стороны вызывало неприятности. Между тем она претендовала и на берег, и на озеро, и на каное. Даже лагерь — она, кажется, воображала, что сама его выстроила: выгоняла людей из него, гнала их по дороге...

Бобры усердно работали над прудом и его окрестностями, и без них он скоро превратился бы в мелкую, жалкую большую тинистую лужу. Их присутствие каким-то образом всему сообщало жизнь; сама долина приобрела жилой вид, что может вообще сделать только один человек. И действительно, бобры, обжившие долину, понемногу вслед за собой стали привлекать и человека. Много людей стало ходить сюда только за тем, чтобы поглядеть на бобров. Некоторые из проходящих, люди с поэтическим инстинктом французов, стали в честь бобров давать имена местности. Так, холмы, сбегавшие от высокой вершины Слоновой горы и собравшиеся вокруг озера, стали называться холмами Джелли Ролл; пруд стал озером Роухайда, а лагерь — Бобровым Домом.

Так все три деятеля долины, человек и два бобра, официально попали в местную летопись, утвердились во владении и работали над улучшением своего имения. Бобры прочищали водные протоки, места для выхода на берег, строили дом и постоянно поддерживали плотину в полном порядке. Сам же Серая Сова делал завалинку у своей хижины, законопачивал щели в стенах и выравнивал двор.

Около своего дома бобры устроили себе площадку для игр, на которую нога ни одного человека, кроме Серой Совы, не смела ступить. Джелли однажды так преследовала трех гостей, что два из них убежали на высокий холм, а третий взлез на дерево. После этой победы Королева стала в центре площадки, трясла, крутила головой, непрерывно весело кривлялась: так обыкновенно бобры выражают свое удовольствие после какой-нибудь удавшейся шутки.

Джентльмен с седыми волосами

Так вот и шло время в постоянных тревогах, если смотреть на все со стороны человека, а если смотреть на бобров, то все шло к росту и благополучию: они достигли уже трех четвертей своего полного роста и были могучие звери. В разгар браконьерского периода тревожные

слухи дошли до Серой Совы, и он, от греха, запер своих бобров в хижину. В первую же ночь, проведенную в лагере, они подгрызли стол, разломали часть пола, опрокинули ведро с водой и разбили окно. Способ, каким они добрались до окна, достоин внимания зоопсихологов. Вот как это вышло. На полу вдоль одной из стен лежал шест для каноэ длиной в восемь футов, с железным наконечником. Серая Сова заметил, что они с этим шестом играли, но мало обращал на это внимания, пока, наконец, зачем-то они не взялись вдвоем и не потащили шест по полу тяжелым концом вперед. Когда Джелли дошла до противоположной стены, она стала там на задние ноги, а шест подняла высоко над головой. В то же время Роухайд на противоположном конце продолжал движение и, толкнув железным наконечником с силой вперед, разбил окно. Не нужно думать, что бобры знали свойство стекла биться. Нет, их цель была в устройстве помоста, по которому можно бы взобраться и закупорить отверстия, по их убеждению, существовавшие в окне. Таков был этот замечательный случай настоящей совместной работы бобров с точно продуманным планом действий.

Серая Сова, внимательно наблюдавший подобные случаи, все посылал и посылал свои очерки о бобровых повадках своему издателю, и тот это все безотказно брал. В последнем письме своем этот издатель сообщал, что описания жизни бобров побудили его сообщить о них Управлению национальными парками департамента внутренних дел в Оттаве в надежде, что деятельность бобров можно снять на киноплентку. Почти немедленно вслед за письмом к Серой Сове прибыл один служащий Управления национальными парками, джентльмен с пышными сидящими волосами стального цвета. У него было острое, но доброе лицо с пронизательными голубыми глазами, смотревшими из-под косматых шотландских бровей до смущения пристально. Он сообщил Серой Сове, что хотя он лично совершенно уверен в правдивости его рассказов, но прежде чем приступить к дорогостоящим операциям по съемке, он должен на все посмотреть своими глазами. И он сам говорил, что приготовился увидеть нечто необычайное, но когда Серая Сова привел его на озеро, усадил в каноэ и позвал бобров, джентльмен пришел в совершенное изумление. Началось с того, что бобры, услышав голос своего друга, незаметно для гостя поднялись на поверхность, неожиданно высунулись из воды возле него, вскарабкались в каноэ и усадились на гостя, тщательно его изучая. Они испачкали его платье, но он не обратил на это никакого внимания; главное, он сразу же убедился, что рассказы Серой Совы о бобрах были совершенной правдой.

Гость остался на два дня, и все это время бобры находились или внутри, или около хижины. В конце концов джентльмен признался, что виденное им ни с чем не сравнимо и что нужно немедленно же принять меры, чтобы эта сказка не развеялась от какой-нибудь случайности. Серая Сова при этом рассказал ему, что душой всего дела были Мак-Джинти и Мак-Джиннис. Выслушав эту историю, до крайности растроганный джентльмен сказал, что подобное больше не должно повториться.

На что намекал этот седой джентльмен? Ничего определенного в этот свой приезд он не сказал и только просил подготовиться к встрече кинооператоров. Меньше чем через неделю загудели киноаппараты, а Джелли и Роухайд плавали, ныряли, ходили, бегали, таскали палки, влезали в каноэ и, кроме того, проделывали тысячи всяких фокусов, которых, кроме Серой Совы, на свете еще, может быть, никто не видал. Все это и послужило для первого на всем свете фильма "Бобровый Народ".

Трудностей по съемке бобров было множество. Один оператор, в своем энтузиазме, провел много времени, стоя в воде и глина, а однажды даже погрузился в воду по грудь. Но он мало знал о бобрах, а Серая Сова еще меньше этого понимал что-нибудь в технике съемки. Сами бобры много помогали они целыми днями охотно позировали, и вся трудность состояла только в том, чтобы удержать их на соответствующем месте.

Фильм вскоре был выпущен. Картину встретили овациями по всему доминиону, и было решено показать ее во всех других странах. После того опять приехал седой джентльмен с новым и совершенно особенным предложением Серой Сове было предложено работать над бобрами под покровительством доминиона и за определенное жалованье. Бобрам гарантируется безопасность на всю жизнь, судьба их не будет зависеть от каких-либо политических перемен, и они никогда не будут служить материалом для каких-либо экспериментов. Управление бобрами, точно так же как и увеличение их числа, будет находиться исключительно в руках Серой Совы. Будут даны также все возможности развивать дело охраны природы в том именно направлении, как думает об этом Серая Сова, и без необходимости бороться за материальные средства. Мало того! В предложении было предусмотрено, что для Анахарео будет выстроен дом, какой ей вздумается, что бобры будут снабжаться таким количеством яблок, сколько им только захочется. Вот за эти последние удобства Серая Сова должен будет нести некоторые обязательства, а именно: он со своими бобрами должен помогать изучению дикой природы и биологии, предоставлять все, что может, для исследований ученых-специалистов. Ожидается, что вклад, вносимый Серой Совой со своими бобрами в дело распространения среди публики знания жизни национальных животных, будет делом государственной важности и, в свою очередь, будет побуждать к развитию дела охраны природы. Таким образом, Серая Сова, потомок воинственного племени индейцев, неукротимых в лютой ненависти к цивилизации белых господ, должен теперь стать слугой правительства Канады.

Седой джентльмен, делая свое предложение, сумел тонко внушить Серой Сове, что он чрезвычайно расположен к индейцам, что он действительно друг животных и всей природы. Седой джентльмен сумел для своей дипломатии воспользоваться тоном такого дружелюбия, такого почти родственного внимания, что Серая Сова не выдержал и рассказал обо всем, что лежало бременем у него на душе. Он рассказал о своих идеях и целях и о жестокой борьбе, выдержанной за их выполнение. После окончания этой исповеди седой джентльмен кратко сказал:

— Вы тот, который нам нужен.

И с бесконечным тактом дал понять, что от согласия Серой Совы выигрывают только бобры.

Распростившись на станции с гостем, Серая Сова пошел в глубокой задумчивости назад к себе, за Слоновую гору.

Вот как он сам рассказывает о своей борьбе за свободу и как она ему теперь представилась, эта вечно носимая в индейской груди столь желанная свобода.

"Кроме скитания по лесу, — пишет Серая Сова, — и работы проводником, я никогда ни у кого не служил. Теперь же, поступив на службу со всеми ее многочисленными выгодами, мне казалось, я совершенно откажусь от свободы, и тут будет конец моим лесным скитаниям. Мне это представлялось слишком решительным, несколько пугающим и неожиданным. Но, с другой стороны, раз я должен был оставаться верным своим обязанностям, добровольно взятым на себя при достижении цели, то я должен был отбросить всякие мысли о личной свободе. Два факта стояли передо мной повелительно ясно, как свет: первое самая головка намеченной цели сейчас была в моих собственных руках; второе оба маленьких друга избавлялись от возможности несчастья и гибели от охотников. Вот что было ясно, все остальное ничтожно.

Итак, наконец, я окончательно решился и тут же стал, быть может, свободнее, чем когда-либо был...

В своем согласии принять предложение и предоставить бобров и себя в распоряжение

Национального парка Канады я просил, чтобы никогда не разлучали бобров и меня и чтобы разрешено было взять Мак-Джинти и Мак-Джинниса, если я их когда-либо найду.

Оба требования были приняты.

Так вот пришло исполнение моих долгих желаний, и пришло так, как мне и не снилось".

В то время как все было решено и Серая Сова стал собираться к отъезду, наступала мало-помалу зима, и он, имея сказочные планы охраны Бобрового Народа впереди, вовсе выпустил из виду, что в действительности в жизни наступает зима со всеми своими неуволимыми последствиями. Когда все было уложено и готово к отъезду, оставалось только взять самих героев, самих действующих лиц, из-за которых все и происходило. И что же? Наступила зима, и герои ушли под лед зимовать в своем собственном доме... Они были теперь для Серой Совы совсем недоступны и дальше от него, чем сам Китай.

Тайна ондатры

Странное и унылое положение — зимовать на берегу озера совершенно одному, без всякой даже возможности общаться со своими маленькими друзьями и ни в коем случае не иметь возможности серьезно куда-нибудь отлучаться: охотников на бобров везде множество. Кроме того, постоянно мелькала ужасная мысль, что совершенно взрослая пара бобров могла одичать, уплыть по весеннему паводку неизвестно куда и пропасть точно так же, как пропали Мак-Джиннис и Мак-Джинти.

Много раз теперь Серая Сова совершал паломничества к высокому домику на дальнем конце озера, засыпанному снегом. Часто говорил он в отверстие для воздуха знакомые слова и фразы, которые раньше всегда вызывали странные кривляния и крики радости. Теперь оттуда ничто не отвечало, и голос разносился в пустоте. Под белым коническим холмом, высоко стоящим над торфяным болотом, была все-таки жизнь, и два пушистых круглых тела лежали в глубоком сне. Они спали под надежной охраной, но Серая Сова знал, что, если он почему-нибудь снимет эту свою охрану, им не дожить до весны. И при одной только мысли о возможности опасности какого-нибудь нападения на них Серая Сова чувствовал, что в борьбе с врагом он готов не только эту свою жизнь отдать, но и заложить всю свою будущую жизнь...

Всегда готовый к такой борьбе, Серая Сова однажды пришел проверить бобровую хатку и на тонком льду возле нее нашел вырубленное топором отверстие. Сильная буря совершенно смела все следы на болоте. Счистив с отверстия снег, Серая Сова нашел там красное пятно — кровь.

В какие-нибудь пять секунд промчавшихся, как одно мгновение, Серая Сова стал таким же диким, как его предки, и все свои ожившие способности обратил на одну охоту — на высшую, на охоту за человеком. Не на открытом пространстве, где буря с ног человека сбивала, а под кровом леса он нашел признаки... И несомненно было, что кто-то хотел запутать человека, который пойдет по следам. Беглец знал свое дело, но все-таки и недостаточно хорошо его знал. Лыжа, врезаясь глубоко в снег при подъеме, делает такие отпечатки, какие не может занести и множество метелей. И этому делу зарубцевания самой метелью следов нельзя подражать: человек искусственно так никогда не сделает.

К счастью для всех участников этого дела, они ушли часа на два раньше прихода Серой Совы и теперь находились где-нибудь в безопасности, дома. По разрозненным признакам следопыт кое о чем догадался, позднее кое о чем расспросил, и так мало-помалу лицо было найдено... Целых две недели Серая Сова страдал в проклятых душевных муках, строя планы, тщательно и хладнокровно продуманные. И после долго эта картина мщения не раз беспокоила мирный сон

Серой Совы...

Но случилась оттепель, и на некотором расстоянии от бобрового домика открылось искалеченное тело ондатры, очевидно убитой совой, потому что голова была оторвана и шкура содрана. И как раз в это время подозреваемый человек, — может быть, кое-что и услышав, — пришел и рассказал, что он раскопал нору ондатры около бобрового домика, чтобы достать себе воды, и тогда заметил кровь. Сообразив, какие могут быть из этого сделаны выводы, он побоялся зайти и сказать Серой Сове, а понадеялся на бурю и утек.

Услышав этот рассказ, Серая Сова признался себе, что он немножко перестарался.

История Давида

С этого раза Серая Сова применил тот же метод дозора, каким пользуются у нас крестьяне, когда находят медвежью берлогу. Сделав медвежью берлогу центром, они описывают вокруг нее на лыжах круг и до тех пор, пока не кончится торг с охотниками о шкуре неубитого медведя, ежедневно совершают по своему следу обход, во время которого можно открыть даже мышь, если она вздумает переместиться через заветный круг в сторону медведя.

И вот однажды, когда Серая Сова возвратился из своего обычного дозора, он нашел в своей хижине ожидавшую его Анахарео! Оказалось, она прилетела сюда со своих золотых россыпей на самолете. Узнав о таких превосходных новостях, Анахарео потеряла интерес рассказывать обо всех своих неудачах.

— Погуляла по белому свету, — призналась она.

И в свете предстоящей новой жизни все это стало казаться ей просто жизненными мелочами. Только не могла, конечно, она не рассказать печальную историю бедного Давида.

Какой-то человек, из тех, кто без просьбы лезет в чужие дела, озабоченный идеями развития и просвещения диких умов, усерднейшим образом растолковал Давиду, что взлелеянная им мысль об обширных нетронутых охотничьих участках, существующих где-то далеко за северным горизонтом, иллюзия; что белые люди проникли в самые глухие места дикой страны и добрались до конца и не нашли ни бобров, ни сосен; все это — один миф. Никому до сих пор в голову не приходила мысль тревожить веру простого человека. Но этот тупой реформатор не погнушался трудом, чтобы убедить свою жертву: нет на свете страны непуганых птиц и зверей. И добился успеха, целыми месяцами угощая его ядом с древа познания. Хотя и существовали, и сейчас существуют, основания для подобных мыслей, Давид только наполовину в них верил; но эта жестокая и полная утрата иллюзий в соединении с потерей богатства, чуть-чуть не полученного, безжалостно потрясла его картонный домик. Его мечты разбились вдребезги, его последняя надежда исчезла, и он погрузился в меланхолию, из которой не мог уж больше выбраться. Жизненный источник в нем иссяк, и он стал увядать и сохнуть. Его возраст сразу навалился на него и превратил в изношенного, несчастного старика.

И однажды ночью, незадолго до листопада, он пришел попрощаться с Анахарео. Он отправился домой. И в каноэ, последнем даре Серой Совы, с маленьким снаряжением, своим возлюбленным ружьем и воспоминаниями, он уплыл в тихую лунную ночь по пути к местам детства — с разбитой душой, без надежд и одинокий.

Пришло мое время

Так зима проходила не без событий. Книгу приняли, издали слово в слово, изменив только название. Последовали многочисленные и интересные результаты. В банк на текущий счет

Серой Совы начали просачиваться маленькие деньги.

"Мои статьи, — пишет Серая Сова, — начали появляться в разных органах печати. Некоторые издатели любезно хотели вносить в них поправки, заменяя ошибочные выражения более соответствующими правильному словоупотреблению. Но эти изменения, как мне казалось, как-то нарушили то впечатление, которое я пытался произвести, и, не будучи в состоянии сам достигнуть лучшего, я решительно протестовал. После оживленных и всесторонних прений по почте (забавных и вполне безопасных) с моими требованиями соглашались, — возможно, больше для того, чтобы положить конец переписке, а не по другой причине. Я представляю, как некоторые мои письма по этому поводу выносились из редакции щипцами и с чувством облегчения бросались в печь для кремации.

Несомненно, меня спасало только то, что я был любителем, а не профессионалом. Да и издатели к тому же, в конце концов, не были уж такими плохими ребятами.

Я получил много газетных заметок. Большинство обозревателей прессы, понимая, быть может, отсутствие у меня знания техники писания, были добры и снисходительны и даже хвалили. Некоторые из них, возможно, желая увидеть, как далеко я могу пойти, ободряли меня и советовали продолжать. В некоторых американских и английских газетах напечатали сочувственные статьи в несколько столбцов. Приходили письма из Германии, Австрии, Лондона и Нью-Йорка. Канадский университет в Онтарио — моей родной провинции — дал свое одобрение. Я находился в приподнятом настроении духа, но и в некотором страхе: я начал что-то большое. Я послал стрелу наугад в воздух, и она вернулась назад в пышном оперении. Один или два критика (хотя, впрочем, я должен быть более точным и сказать: один критик), очевидно, несколько шокированные тем, что какой-то некультурный обитатель лесной глуши, с заведомо туземной кровью, осмеливается выйти из подходящего ему положения и членораздельно говорить, — были более суровы. Они, казалось, сочли за личное оскорбление, что нашлись два существа, не просвещенные благами официального образования, знающие многое такое, чему не обучают в учебных залах, и выражали сомнение в нашем знании того, о чем сами-то они могли иметь только смутное представление.

Затем появилось жестокое и самое болезненное обвинение, что почти весь текст моей книги был продиктован духом какого-нибудь писателя. Это было несправедливое обвинение, и я пережил несколько неприятных минут. Значит, это не я писал книгу, а два каких-то других молодца из Утики в штате Нью-Йорк, или какой-нибудь человек из Абердина? Ну, хорошо! А мое пыхтение над книгами, мое выуживание слов даже по радио и договоры вот с этим самым словарем синонимов! Впрочем, и Шекспир имел, кажется, те же неприятности с человеком по имени Бэкон[29], и все-таки он вполне хорошо справлялся с писательским ремеслом. Что касается намека, сделанного немного презрительно, что я должен был иметь некую более высокую эрудицию для выполнения любого труда, что я, наверное, как-то обманываю, что я в действительности самозванец, выдвинувшийся из своего класса, то опять-таки мне удачно приходит на помощь Эмерсон.

"Они не могут представить, какое право видеть имеете вы, чужестранец, как вы могли увидеть, и говорят: "Значит, он как-то своровал свет у нас". Они даже не понимают, что свет без системы упорно льется во все хижины и даже в их".

Я был очень утешен мыслью, что всегда найдутся отдельные такие люди, которые не станут на нас смотреть через свою щель, рассаживать по категориям в отдельные ящички и запирают в них.

Другими словами, пришло мое время.

Были и другие последствия. Моя переписка разрослась до угрожающих размеров. Мир, оказалось, был полон чудеснейших людей, и некоторые письма заставили почувствовать, что я, наконец, из положения разрушителя перешел в ряды творцов, хотя и меньшего калибра. Эти выражения одобрения делали нас обоих очень счастливыми. Теперь уж мы больше не кричали бессмысленно во мрак ночи. Наши задачи признавались вполне здоровыми и разумными. Некоторые из просьб были немного неисполнимы. Какая-то дама из Чикаго, мужа которой посадили в тюрьму, настаивала, чтобы мы поменьше энергии тратили на животных, и предлагала в качестве альтернативы[30], чтобы мы ее приютили, пока заблудший супруг не будет освобожден; это, по ее мнению, будет достойной попыткой уменьшить страдания человечества.

Появились репортеры, прощупывавшие нас деликатно насквозь. Мы были приглашены на съезд в Монреале, и предполагалось, что я буду говорить. Убедив Анахарео отправиться со мной для известной моральной поддержки, мы организовали группу друзей для охраны бобров и уехали вдвоем.

С этих пор я начал встречаться с защитниками природы, профессиональными и действительными. Истинных можно узнать безошибочно, и я вступил в ценное и высокопоучительное общение со многими, причем не с малым числом, — оно до сих пор продолжается.

Было и гнетущее подозрение, что многие не интересовались делами, если не слышали за ними заглушенного шелеста денег. Потому появился грустный страх, что левые руки у большинства этих джентльменов отлично уже наперед знали, что будут делать правые. Слушая их разговоры, я начал понимать разницу между доверием и доверчивостью в делах. Мне стали понятны слова автора комедии, что доллар никогда не падает так низко, как низко падает человек, чтобы его получить.

Но больше мне пришлось соприкасаться с искренними и серьезными людьми, относившимися к дикой жизни очень сердечно, и я установил многие связи, бывшие источником вдохновения и послужившие основой для дружбы. Я получил несколько коммерческих предложений от групп, которые, будучи честными в своих намерениях, хотели войти в это рискованное предприятие, полагая, что я стану богатейшим владельцем пушной фермы.

Они смеялись с видом знатоков, когда я говорил, что совершенно не собираюсь коммерчески пользоваться тем, что со временем накопится благодаря знанию.

Были и другие предложения, но никто не мог предоставить бобрам такую охрану, какую гарантировало Управление национальными парками".

Пробуждение спящих героев

В письмах из Оттавы сообщили Серой Сове, что его Королева, Джелли Ролл, и ее друг Роухайд привлекли широкое внимание публики не только здесь, но и за границей, за океаном. А в то время как слава гуляла по свету, сами прославленные лежали себе и похрапывали в своем замке из замерзшей глины. Бывают же на свете такие чудеса!

В марте Серая Сова и Анахарео решили принять какие-нибудь меры к пробуждению спящих счастливицев. Начали с того, что прорубили дыру во льду около пищевого склада, и тут обнаружили пустоту. Стали пополнять склад свежими ветками березы, тополя, ивы. И хотя бобров не было видно, ветки исчезали.

Пришел апрель, и с ним настали теплые дни. Снег таял, лед размяк. Наступил критический момент в отношении к бобрам: или, одичавшие, они уплывут по весеннему паводку, или вернутся к людям, определившим себя на службу Бобровому Народу. Серая Сова серьезно опасался, что дух независимости их возьмет верх над привязанностью к человеку. Однако он ни одной минуты не позволял себе быть нерешительным и вообще ставить свои действия в зависимость от того или иного будущего поведения бобров. Он составлял и заполнял накладные для отправления бочек и ящиков, как будто совершенно уверенный, что когда бобры проснутся, то придут и тоже будут отправлены по железной дороге. Из своего большого опыта с животными он вывел себе правило никогда ни в чем не быть нерешительным: он подозревал, что животные каким-то шестым чувством своим понимают нерешительность человека и это состояние используют для своей дикой независимости.

Мало-помалу все имущество, кроме самого необходимого, было перевезено на станцию: так были сожжены мосты за собой, и оставалось приступить к решительным действиям. Около домика во льду были прорублены два отверстия и в них положены ветки ивы и тополя, уже покрытые свежими почками. На провизию набрасывались голодные ондатры, но веток хватало для всех: их все клали и клали в изобилии.

Наблюдение за отверстиями было поочередное в течение круглых суток. Почти только через неделю, во время своего дежурства, Серая Сова, наконец, заметил рябь и большие пузыри от проплывшего бобра. Прежде чем взять ветку, бобр несколько раз проплыл вокруг отверстия, но так далеко, что рассмотреть его было невозможно. Очевидно, бобр остерегался нападения какого-нибудь врага через отверстие. Тогда Серая Сова положил приманку на середину отверстия, чтобы бобр мог всю ее рассмотреть. Но до темноты ничего не было взято.

Погода сделалась теплой, и лед начал таять вдоль линии берега. Серая Сова и Анахарео по очереди сидели неподвижно на небольшом расстоянии от прорубей и тихо звали бобров таким голосом, на который в прежнее время всегда получался ответ. В третий теплый вечер, после предварительных долгих осмотров, наконец из-под воды выскочил бобр, испустил долгий низкий зов и с громадным шумом исчез. Его продолжали ждать на берегу с напряжением и легкими позывами. Приблизительно через полчаса бобр появился опять, неуверенно поплавал несколько минут, удостоверился, понял все, узнал и вскарабкался на лед. Это была Джелли Ролл. Хозяйка своей собственной персоной появилась и сразу же начала обычный свой туалет. Тот же голос, та же неуклюжая перевалка, тот же высокомерно-самодовольный вид, с каким она приняла яблоко: потрясла головой и с короткими визгами принялась есть тут же, в непосредственной близости.

Вот это триумф! Ведь почти после шести месяцев отдельного жилья она вернулась к людям, верная, как времена года. Оставался под сомнением теперь только Роухайд, и вот еще через две ночи, при свете молодого месяца, Серая Сова и Анахарео разглядели что-то темное, лежавшее неподвижно на поверхности воды на большом расстоянии. Джелли суежилась тут же возле ног, а плававший предмет по форме казался бобром. В том, что это бобр, и бобр, который вполне пробудился от зимнего сна, можно было судить по одному тому, что он вдруг мгновенно исчез. В следующую ночь он так приблизился, что взял яблоко и следующий вечер почти весь провел тут же, вместе с Хозяйкой около людей. Но это был уже новый триумф, потому что это был не выросший у людей бобр, как Джелли, а совершенно дикий, и вернулся он почти после полугодового отсутствия. Атмосфера прояснилась. Можно было не сомневаться в исходе, и Серая Сова телеграфировал в Управление национальными парками о самостоятельном возвращении бобров.

Теперь оставалось только захватить их и, таким образом, подвергнуть ужасным страхам и трудностям путешествия больше чем за тысячу миль, и притом не спугнуть доверия и верности

в простой душе животного. Ведь достаточно всего раз или два их обмануть и многолетняя работа вся пропадет, после чего только тончайший такт и дипломатия вернут прежнее, и то лишь в наиболее умных представителях.

Серая Сова пробовал поймать Джелли Ролл, но она стала такой большой и сильной, что поднять ее от земли без борьбы было невозможно; но именно насилия-то и хотелось бы избежать совершенно. Анахарео тоже пробовала и тоже не имела никакого успеха. Таскали за уши, открывали рот, дергали за хвост, опрокидывали на спину, а вот поднять себя она не позволяла. Сделали деревянный ящик, положили набок; крышка лежала горизонтально в сторону озера. Хозяйка вошла в ящик, ничего не подозревая. С виноватым чувством людей, обманывающих друга, хотя бы и для его собственной пользы, Серая Сова и Анахарео захлопнули крышку. Приладив ремни, Серая Сова взял груз на спину и понес. Хозяйка замерла и до самого своего освобождения в хижине молчала. Потом ее немое замешательство сменилось дикими завываниями и потягиванием Серой Совы за платье. Ее ребячья обида была так велика, что утешать ее пришлось совсем как ребенка. Серая Сова взял ее к себе на колени, — а это был уже порядочный бочонок! Она прижалась к нему, и он покачивал ее и уговаривал и уговаривал. Потом понемногу она стала глядеть по сторонам и, разобрав привычную обстановку, постепенно пришла в себя и успокоилась.

Роухайд не хотел входить в ящик, и поймать его было труднее; но с ним Серая Сова бросил всякие церемонии: просто схватил его руками и принес в хижину.

Ночью бобры не делали никаких попыток удрать и позволили поместить себя в проветриваемый оцинкованный ящик, приготовленный специально для них. После этого труднейшего дела все было окончено и оставалось всем вместе двинуться в город.

Квебекское правительство отказалось от всех прав на бобров, и разрешение на перевоз было тут же получено. Индейцы оставляли в городе множество настоящих друзей. От города прощаться пришла депутация — веселые, приветливые французские канадцы.

В краю непуганых птиц и зверей

Вот как описывает Серая Сова жизнь в его бобровом заповеднике:

"Сейчас осень, время урожая, и Королева и маленький отряд озабоченно собирают запасы на долгую зиму, как делают везде полезные члены общества, имеющие чувство ответственности.

Были расчищены места для выхода на берег и протоки воды. В них со странной точностью сваливались деревья с шумом почти каждый час, начиная с четырех часов вечера и до рассвета. Громадные запасы пищи, сваленные в воду перед хижинкой, делались с каждым днем все грузнее, все шире и солиднее. Сверху наваливались тяжелые бревна, чтобы погрузить пищу глубже в воду. Ветки же сваленных деревьев, и особенно лучшие части из них, укладывались ниже линии будущего льда.

Тяжело нагруженные бобры медленно плывут в одиночку, группами или выстроившись в линию, как на параде, с грузами, весело покрытыми ветками с разноцветными листьями, как украшениями, — Пышные Шествия Работников Леса. Иногда я настраиваю радиоприемник, и тогда бобры плавают в своих упорных медленных процессиях под звуки симфонического оркестра. Я хотел бы, чтобы весь мир был здесь и увидел эту картину.

Осенью начали и молодые бобры выполнять полезную работу, но до сих пор, видимо, к ним относятся только немногие из правил поведения взрослых. Они ведут счастливую, беззаботную жизнь игр, борьбы и изучения мира. Они парами и группами носятся по воде родного пруда.

Среди них образуются дружественные группировки, и, отделившись, они зовут друг друга пронзительными криками. Они надоедают старшим на работе, и, хотя это должно очень раздражать, взрослые не проявляют никаких признаков возмущения, и им приходится иметь много хлопот, чтобы нечаянно не ранить молодых. Это кажется трудным делом, потому что молодые постоянно попадают на пути тяжелых бревен или груды веток, заполняют толпой дорогу. Видимо, эти безответственные любимцы находятся под особым покровом счастья и из каждой катастрофы не только выходят невредимыми, но ищут еще и новых развлечений.

Проплывет мимо большой бобр с грузом на буксире — вот и повод, посланный небесами, для суматохи. Точно по уговору, они стремительно налетают на груз, прицепляются к нему, толкают, отрывают куски, влезают на спину нагруженного животного или тщетно стараются вовлечь его в матч борьбы или другой вид водного спорта. Такие развлечения вызваны желанием нарушить монотонность жизни на маленьком пруде, но они доставляют серьезные неприятности взрослым бобрам, хотя те и относятся к ним добродушно. Взрослые, конечно, сопротивляются этим выходкам: не ожидают неподвижно, когда такая банда мародеров рассеется, а ныряют неожиданно вместе с буксиром и плывут под водой, чтобы сбить неприятеля с позиции, но эти военные хитрости редко удаются, — при первом же движении или, наоборот, при появлении из глубины воды эти паразитические маленькие чертенята обрушиваются и преследуют, пока не завладеют грузом.

Описываемое здесь, сопровождаясь разнообразными шумными движениями и соответствующими волнениями, придает веселый и карнавальное настроение слишком серьезным работам, требующим значительной затраты энергии и терпения. Однако с течением времени эти корсары прекращают пиратскую деятельность и направляют преизобилующую энергию на более продуктивные дела. Их можно увидеть таскающими собственные маленькие грузы по всем правилам и с большим терпением.

Оживленные драки и борьба, которыми бобрята занимаются друг с другом, часто носят буйный, но безвредный характер. Среди них всегда находится кто-нибудь, считающий себя выше всех по силе, и в один прекрасный день он неминуемо попадает в засаду целой толпы молодцов. Если это случается на берегу, где избежать их трудно, он быстро разочаровывается в своей хвастливой удаче. Не будучи в состоянии выдержать давления, он устремляется к воде и бросается в нее как попало — вперед головой, спиной, боком — и исчезает из виду, как камень. Инцидент быстро забывается — эти маленькие животные ничего не принимают близко к сердцу и изложенного чемпиона по его возвращении больше не тревожат.

Большую часть дня над прудом царствует полная и совершенная тишина. За час до заката из воды появляется первая, затем другая темная голова, несутся громкие крики со всех сторон, и скоро спокойная поверхность воды и пустые берега озера около хижины имеют вид, оживлением напоминающий двор старой кирпичной школы в четыре часа дня.

Казалось бы, что задача опознавания отдельных, да и всех бобров — так они все похожи по внешности — почти неосуществима. Однако это возможно. До двухмесячного возраста они держатся очень близко от дома, и в это время я особенно напряженно занимаюсь приручением. Затем они, развиваясь, получают индивидуальные особенности в голосе и движениях и легкие отличия в форме тела, что, если изучать их усердно, и дает возможность их узнавать. Прежде чем дойти до этого, я насчитывал среди них не менее двадцати бобров, похожих друг на друга, как горошины или комнатные мухи.

Мы обычно даем имя бобрам сейчас же, как только они делаются различными. Так, у нас есть Счастливый и Хулиган, Уэйкини и Уэйкину, Серебряные Пятки и Крупная Дробь, Сахарная Голова и Джелли Ролл Номер Второй, и у нас уже истощаются запасы

имен. Во всяком случае, они никогда не отвечают на свои имена, но всегда приходят на определенный зов, состоящий из заунывного дрожащего звука, очень приближающегося к их собственному обычному сигналу, но настолько отличный, что они могут узнать, от кого он исходит. Этот крик, протянутый, как «ма-у-и-и-и-и», с колеблющимися модуляциями и повторенный несколько раз, редко не привлекает того или другого из них или хотя бы не вызывает ответного крика. А вскоре он превратился в общее имя для всех, и мы начали всех и каждого звать Ма-Уи. Если мы зовем одного, то приходят все: очень удобная выдумка. Это имя удобно и по другим причинам: оно напоминает по звукам оджибуэйское слово, означающее «кричать», а этому занятию бобры предаются при всяком удобном случае. Но независимость их характера такова, что, раз появившись или ответив на зов, они вновь ответят не ранее чем через несколько часов. Однако по ночам они появляются не менее трех раз, и обязательно при утренней проверке, перед уходом ко сну.

Разрушения продолжаются, как и во время оно. Часто, вернувшись в хижину после долгого обхода дозором, я находил следы набегов на мое жилище, и почти неизменно происходили какие-нибудь кражи со взломом. Искусно открывали крышку на котелке и утаскивали всю, до последней, картошку. Однажды картошка была в соусе, руки же бобров для вылавливания не приспособлены, и они нашли простой выход — опрокинули котелок и достигли цели. Иногда очищался ящик для дров или открывался ящик с яблоками. Был утащен в озеро даже стул, но за полной бесполезностью брошен. Тарелки, очевидно, считались трофеем высокой ценности. Не прикрепленные к полу тарелки с рисом немедленно исчезали после съедения риса, и больше мы их не видывали.

Так пропало их несколько, хотя одна, впрочем, через три месяца была вежливо возвращена и брошена сухой и чистой на берегу около хижины.

Как-то я вернулся после несколько затянувшегося посещения лагеря лесничего и пошел набрать дров позади хижины, где я наколот их для ночи, но все они исчезли. Не было видно также и свежесрубленных палок, приготовленных для поддержания медленного огня. Интерес, вызванный этим, был так велик, что я сразу не заметил еще более серьезных провинностей. Только почувствовав какую-то пустоту вокруг, я обнаружил исчезновение палатки со складом. Исследование показало, что она лежала на земле, а большинство шестов, ее поддерживавших, исчезло. К счастью, в ней ничего не было. Неподвижные козлы для пилки, сделанные из свежего тополя, были срезаны около самой земли, целиком похищены, и я больше их никогда не увидел. Все это, конечно, были труды Королевы, налагавшей подати на свои владения. Во всем этом не было ничего необычного, кроме того, что все случилось, когда я — единственный раз! — позволил себе задержаться вне дома в необычное время.

Я получал массу писем об охране природы и близких мне вопросах. Их у меня было несколько мешков, причем я разделил их по темам. Захотев просмотреть один из мешков еще раз, я принес его в хижину и необдуманно поставил в углу. Занятый вне комнаты, я не обращал внимания на него, пока не собрался посмотреть письма, но мешок с ними исчез! Волнение, происходившее в бобровом доме, о причине которого я спокойно недоумевал, означало, что награбленная добыча была перенесена туда и с драками делилась. Неистовые визги и крики хорошо знакомого голоса известили меня о личности вора, потому что это Джелли Ролл боролась, безнадежно отстаивая свои права. Последовавший гвалт был почти ужасающим, и вся сцена должна была быть до крайности нелепа, потому что Джелли Ролл храбро и тщетно боролась за обладание добычей, состоявшей из нескольких сот писем, объять которые она не могла.

Быть может, она решила, что, будучи уже долгое время звездой экрана, и, несомненно, крупной величины, ей пришло время для поддержания достоинства иметь свою собственную

переписку с поклонниками. Во всяком случае, вся эта почта до сих пор осталась без ответа. Авторы писем, даже при самом диком воображении, никогда не могли себе представить, что написанное ими будет использовано для устройства подстилки целой семье бобров. Однако в конце концов они послужили идеям охраны природы, то есть того, что авторы, во всяком случае, и не намеревались делать.

Когда начал замерзать лед, бобры с успехом поддерживали открытую воду на канале, по которому они до последней минуты буксировали нарезанные ветки для пищевых запасов. Вся семья для этого каждый день часами ломала лед, что удавалось им, пожалуй, около недели, но затем водный проток, естественно, замерз. Джелли почти до рождества посещала прорубь, сделанную нами для наших личных нужд, и через нее я давал ей яблоки. Она их уносила через определенные промежутки времени, и после ее возвращения домой следовали звуки спора, сменяющиеся мерным и довольным чавканьем и жеваньем. Как я подозреваю, морозный воздух может вызвать болезнь в легких у животных, привыкших к мягкой погоде и влажной атмосфере бобрового дома. Меня к этой мысли привело то, что в холодную погоду, когда из проруби появлялась Джелли, она никогда не издавала обычных приветствий. Ближайшие же наблюдения показали, что в холодные ночи она задерживала дыхание на воздухе и быстро убегала назад. Теперь я позволяю в проруби образовываться корке льда и подсовываю яблоки под нее, потому что Королеву я больше не вижу, но яблоки регулярно исчезают.

Полтора года тому назад в быстро растущем королевстве Джелли появилась новая подданная — у нас родилась маленькая дочь. Она и Джелли хорошо проводят время вместе, но мы не пускаем дочь в неподходящие места — из-за обычая Джелли присваивать понравившиеся ей вещи.

Хотя Джелли и тяжелее дочери фунтов на десять, они приблизительно одного роста. Они храбро становятся во весь рост друг против друга и подчас разговаривают. Разговор у них ведется на языке, которого, как мне кажется, еще никогда никто не слышал. Маленькая девочка приходит в восторг, когда эта большая черная меховая игрушка, этот добродушный плюшевый мишка с такими красиво покрашенными зубами[31] берет у нее из рук яблоко. Бобреха берет подношение мягко, без тех безобразничаний, которые она позволяет по отношению к нам, однако никогда так нежно, как Роухайд, скромный, неугомонный, терпеливый Роухайд. Он никогда, видимо, не вспоминает о хромой ноге, такой уродливой рядом с нормальной, и, возможно, забыл, как я чуть не отнял у него жизнь. Теперь все это для него имеет ничтожное значение. У него есть работа, собственные, бескорыстно любимые дети, и он по-своему просто счастлив. Иногда, когда он сидит и смотрит на меня так спокойно, внимательно и непроницаемо, много дал бы я, чтобы узнать, какие мысли таятся за этой бесстрастной маской, за этими серьезными, наблюдающими глазами.

Ибо он — безмолвная власть Бобрового Дома. И если он решит в любой день увести отсюда свой народ, то ничто на земле, кроме заточения и смерти, не сможет его остановить. И мне нужно быть осторожным, чтобы его не обидеть.

Он и Джелли хорошо известны во многих странах, но они мирно спят в невинном неведении своей славы. И когда они там лежат, удовлетворенно похрапывая, я сижу в размышлениях: вспоминает ли Королева о темной хижине на далекой Темискауте, о койке, столе, коврике из оленьей шкуры, на котором около печки она любила спать, и о приветствиях при моем возвращении домой? Не проносятся ли у нее воспоминания о долгих одиноких днях до прихода Роухайда, когда мы были такими друзьями, часто спали вместе, о том, как она любила «помогать» мне носить воду, захлопывая дверь перед самой физиономией, как мы писали вместе нашу книгу, как она пропала и чуть не умерла и как Анахарео вернулась к нам?

Возможно, что она только смутно припоминает все это, потому что ныне она уже господствует над Роухайдом, и Анахарео, и маленькой Доун[32] и всеми нами — и удовлетворена".

Примечания

[1] Ладило — бондарный инструмент Переславского района Ярославской области.

[2] Палестинкой называют в народе какое-нибудь отменно приятное местечко в лесу.

[3] Елань — топкое место в болоте, все равно, что прорубь на льду.

[4] Беличье гнездо.

[5] Глудка — комок земли.

[6] «Труба» — охотничий рынок, что был на Трубной площади в Москве.

[7] Бурак — небольшой улей для ловли диких пчел.

[8] Можжуха — можжевельник.

[9] Двадцатка — облегченное ружье двадцатого калибра.

[10] Жакан — пуля для стрельбы из дробового ружья.

[11] Хвост у пойнера называется по-охотничьи прутом.

[12] Тубо — нельзя.

[13] Анималист — писатель или художник, изображающий животных.

[14] Густав Эмар (1818-1883) — французский писатель, автор приключенческих романов.

[15] Пржевальский Н.М. (1839-1888) — знаменитый русский путешественник.

[16] Оттава — столица Канады.

[17] Мокасины — обувь из оленьей шкуры.

[18] Траппер — охотник на пушного зверя в Северной Америке, пользующийся чаще всего западнями.

[19] Спрингпуль — вид капкана.

[20] Бобры! (франц.)

[21] Семьдесят пять! (франц.)

[22] Ну, конечно, сударь... Что еще? (франц.)

[23] Сизиф — легендарный древнегреческий царь, осужденный богами вечно вкатывать на гору камень, который достигнув вершины, скатывался снова вниз. Сизифов труд —

изнурительная и бесполезная работа.

[24] «Кодак» — маленький ручной фотоаппарат.

[25] Лонгфелло Г. (1807-1882) — американский поэт, автор известной поэмы "Песнь о Гайавате".

[26] Сервис Р. - англо-канадский поэт.

[27] Шотландский танец (Прим. Серой Совы.)

[28] Имеется в виду человек, убивший Мак-Джинниса и Мак-Джинти.

[29] Бэкон Ф. (1561-1626) — английский философ.

[30] Альтернатива — необходимость выбора между двумя возможными решениями, одно из двух.

[31] Передние зубы у взрослого бобра темно-оранжевого цвета.

[32] Доун значит «Заря». Имя дочери Серой Совы.